ЛАРИСА РЕЙСНЕР







Галины Пранскорбской

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Лариса Рейснер (1895–1926) – поэт, писатель, журналист, комиссар отряда разведки Волжской военной флотилии, комиссар Морского Генерального штаба, «нелегал» в Германии – еще при жизни была окружена ореолом мифов и легенд, как поклонением, так и ненавистью современников. «Большевистская мадонна», «Валькирия революции», она стала прототипом комиссара в «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского; Б. Пастернак писал о ней: «Лишь ты, на славу сбитая боями, / Вся сжатым залпом прелести рвалась…» Через ее яркую 30-летнюю жизнь прошли самые знаменитые и известные люди той эпохи: Л. Андреев, Н. Гумилёв, А. Ахматова, А. Блок, О. Мандельштам, М. Кольцов, Вс. Рождественский, Ф. Раскольников, К. Радек и др. Судьба Ларисы Рейснер, находившейся в самом эпицентре революционной драмы, многое объясняет нам, пережившим потрясения 1990-х, в движущих силах государственных переворотов и революций. На сегодняшний день это первое полное жизнеописание Л. М. Рейснер. Автор книги Галина Пржиборовская, много лет собиравшая материалы о своей героине, успела записать живые воспоминания родственников, коллег и современников Л. Рейснер. В книге использованы неизвестные архивные документы, биографические факты, дополненные богатым и малоизвестным фотоматериалом.

- Галина Пржиборовская
  - НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ
  - Глава 1
    - Мы – балты. Остзейская земля
    - Из тверского поместья
  - Глава 2
  - Глава 3
    -
    - М. А. Рейснер – Е. Н. Трубецкой
    - Рейснеры в Гейдельберге
    - В Томске
    - 1900 год в калейдоскопе
    - Религиозно-философские собрания
    - Студенческие волнения
    - «Рейснеры никогда не скучали»
  - Глава 4
    -
    - Берлин, Фазанекштрассе, 58

- Кёнигсбергский процесс
- Война с Японией
- Революция 1905 года
- Высшая школа общественных наук в Париже

○ Глава 5

-
- В гостях у Леонида Андреева
- Увлечение мистическим анархизмом
- Дружба Михаила Рейснера с Владимиром Бурцевым
- Детство на Черной речке

○ Глава 6

-
- По дороге на Острова
- Окраина дворцов, нищих слобод, благотворительных домов
- Дом Лейхтенбергского
- Отрочество на «боевой» улице

○ Глава 7

-
- Александровский парк
- Антреприза «Петербургский театр»
- Лариса о своем доме
- Развлечения петербуржцев

○ Глава 8

-
- Четырнадцать лет и «Капитал» Маркса
- Михаил Рейснер о Леониде Андрееве

○ Глава 9

-
- Первые русские летуны и авиатриссы
- Первая авиационная неделя в Петербурге

○ Глава 10

-
- Почему молнии обрушились на Михаила Рейснера?
- Очищение на Черной речке

○ Глава 11

-
- Совершенная красавица
- Первая фигуристка
- Легкое пламя Петербурга

○ Глава 12

-

- Студенческий и профессорский Петербург
- Психоневрологический институт
- Питирим Сорокин
- Отец и дочь

○ Глава 13
-
- Офелия и Клеопатра: гибель от чистейшей и от продажной любви
- Жертвоприношение – открытое послание в другие миры

○ Глава 14
-
- Игорь Рейснер
- На Рижском взморье с Мандельштамом
- Лев Михайлович Рейснер
- Портрет Ларисы Рейснер кисти Василия Шухаева

○ Глава 15
-
- Лозина-Лозинский
- Переписка Лозина-Лозинского и Рейснер
- Война 1914 года
- Владимир Злобин
- «Богема»
- «Посмертные дневники» Лозина-Лозинского и Георгия Иванова

○ Глава 16
-
- Литературно-художественное общество «Медный всадник»
- Сергей Кремков
- Университетский поэтический кружок
- Свой журнал
- В новогоднюю ночь 1916 года
- Владимир Святловский и Екатерина Рейснер

○ Глава 17
-
- В «Бродячей собаке»
- Беглый календарь гумилёвских дней и романов:
- Первые беседы Гумилёва и Рейснер

○ Глава 18
-
- Продолжение бесед
- Переписка Рейснер и Гумилёва

- Гондла и Лера
- Северный Гафиз
- На Мадагаскаре
- Продолжение переписки

○ Глава 19
-
- Статьи Ларисы Рейснер о творчестве Николая Гумилёва
- Февральские встречи
- Последняя открытка Николая Гумилёва
- Последнее письмо Ларисы Рейснер Николаю Гумилёву

○ Глава 20
-
- Пересечение с Федором Раскольниковым
- Новелла о Патрике
- «Летопись» и «Новая жизнь»
- Зовут по-гречески Чайка
- «Мы жили во все стороны»
- Три, два, один… залп…
- В Зимнем дворце
- От «Аполлона» до комиссара

○ Глава 21
-
- «Забастовка» Луначарского и «баррикада» Горького
- Культурное строительство
- Анкета Ильиных
- Переезд в Москву
- Петербургская «стая годов»

○ Глава 22
-
- «Мы расстреляли Щастного»
- Великий собеседник

○ Глава 23
-
- Деклассированные
- Комиссар разведки
- На царской яхте «Межень»
- Предыстория «Оптимистической трагедии»
- Комфлот Федор Раскольников
- Расстрел дезертиров
- От Свияжска до Сарапула
- Гражданская война – апокалипсис истории

- Офицеры на флотилии
- Глава 24
  -
  - «Поток воли, труда и творчества»
  - Первая леди большевистского Адмиралтейства
  - Альтфатер, первый коморси Республики
- Глава 25
  -
  - Ковер-самолет над Каспием
  - За круглым столом
  - Дверь Востока
  - Смерть Леонида Андреева
  - Во весь рост
  - Реввоенсемейство: из переписки Рейснеров
  - Матросские университеты
  - В Персии
  - Начало автобиографического романа
- Глава 26
  -
  - «Единственная в России духовная культура»
  - Философские пароходы Петрополя
  - Праздник освобожденного труда
  - Субботник
  - В Адмиралтействе
  - Дни с Блоком
  - Гумилёв о «Всемирной литературе»
  - ДИСК
  - «Болдинская осень» Гумилёва
  - Вечер Ларисы Рейснер и Сергея Городецкого
  - Верхом на Острова
  - Дух есть музыка
  - Блок – Рильке – Гумилёв
- Глава 27
  -
  - Рядом с Ахматовой
  - Под взглядом «Богоматери» Петрова-Водкина
  - Встреча с Уэллсом
  - Рейснер и Гумилёв в Союзе поэтов
  - Мазурка с командармом
  - Бал-маскарад в ДИСКе
  - Кронштадтское восстание
- Глава 28
  -
  - По дороге, проложенной Тимуром и

Александром
- По Хезарийской дороге
- В эмирской шапочке
- Первая книга – «Фронт»
- Праздник Независимости
- «Правительницы Афганистана»
- Опять «балтийские конференции»
- Последняя весна в Афганистане
- «Иду в последний путь»

○ Глава 29
-
- Живые ниточки знакомств
- Шлейф Афганистана
- «Ни имени, ни адреса не надо»
- Единственный друг
- «Завтра надо жить, сегодня – горе»
- По журналистским дорогам
- Передышки в 1924 году
- «Приеду и прославлюсь»

○ Глава 30
-
- «Наследие гетто»
- Тридцатый день рождения в Висбадене
- Алеша
- «Моя любимая Лидия Николаевна!»
- Декабристы

○ Глава 31
-
- «Я устала»
- Предвестия смерти. Завещание

○ ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Л. М. РЕЙСНЕР
-
- Краткая родословная Рейснеров[3]

○ БИБЛИОГРАФИЯ
○ ИЛЛЮСТРАЦИИ

• notes
○ 1
○ 2
○ 3

Галина Пржиборовская
Лариса Рейснер

Автор приносит искреннюю благодарность

филологу, преподавателю Казанского педагогического института Людмиле Коноваловой, филологу, автору первой диссертации о Л. Рейснер Нурие Такташевой, гумилёвоведу Нинель Иванниковой, создателям фильма «Ариадна» о Л. Рейснер Людмиле Шахт, Сергею Балакиреву и Олегу Стрижаку, племяннику Л. Рейснер Георгию Рейснеру, а также Ирме Кудровой, Ирине Траньковой, Галине Николаевой, Жанне Мозговой за помощь в работе над этой книгой.

НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

Яркая 30-летняя жизнь Ларисы Михайловны Рейснер притягивала внимание многих людей. Легенды рождались уже при ее жизни, а после смерти возникли разные толкования ее личности вплоть до полярно противоположных. Жизнь Ларисы Рейснер похожа на горную гряду, столько в ней было взлетов и падений. Она воевала в Гражданскую войну на Волге вместе с Всеволодом Вишневским, который сделал ее основным прототипом комиссара в пьесе «Оптимистическая трагедия». При знакомстве с юностью комиссара погружаешься в события «серебряного» возрождения русской культуры. В последние годы жизни вместе с Ларисой Рейснер попадаешь в Афганистан, Германию, на Урал, в шахты Донбасса; вместе с ней собираешься лететь в 1926 году в Тегеран, ехать в Китай.

Поражает размах интересов Ларисы Рейснер – от увлечения творчеством Рильке, Блока, Гумилёва, Ахматовой, Мандельштама до анализа массовой культуры в очерке о газетно-журнальном тресте Улыштейна в книге «В стране Гинденбурга». **С**опытом понимаешь, что по разные стороны баррикад могут стоять прекрасные люди, что человеку свойственно нетерпеливое желание сбыться, состояться, что он не застрахован от ошибок, что душа человека растет в испытаниях всю жизнь и у каждого свой путь.

С годами я убеждалась, что возникшая в моей душе с юности любовь к Ларисе Рейснер не исчезает, и через 40 лет после начала собирания материалов о ее жизни я неизменно радуюсь любому отголоску ее горячей души, сопереживаю ее драмам и испытаниям. Любить – значит видеть человека таким, каким его задумал Бог, считала Марина Цветаева. Мое представление об этом замысле совпало с убеждением писателя Марка Криницкого, знавшего Ларису Рейснер: «Она, как маленькое солнце, прошла через загадку жизни, разрешив ее в высоко гармонической душе».

Книгу о Ларисе Рейснер хочется начать с благодарности человеку, который дал возможность зазвучать голосу самой Ларисы. Это литератор Анна Иосифовна Наумова (1900–1980), издавшая в 1958 году первое «Избранное» из произведений Л. М. Рейснер, первые подборки ее писем, сборник воспоминаний о ней. По инициативе А. И. Наумовой был открыт памятник на Ваганьковском кладбище – на предполагаемом месте захоронения Л. Рейснер, а на студии «Центрнаучфильм» в 1977 году снят первый 20-минутный фильм «Лариса Рейснер». Последней работой А. И. Наумовой стало издание незаконченного

автобиографического романа Л. Рейснер «Рудин» в серии «Литературное наследие» (М.: Наука, 1983. Т. 93).

В послезвучании жизни Рейснер произошло еще одно событие из ряда удивительных: в 1989 году вышел фильм «Ариадна» («Леннаучфильм»), где вновь встретились 20-летняя Лариса и 30-летний Николай Гумилёв, вспыхнула их любовь и ожила душа героини фильма. Такое возвращение питает и меня надеждой, что голос души Ларисы – радостный, насмешливый, ироничный, гневный, бесстрашный, порывистый, всегда влюбленный («вызолоченный», как говорили ее современники) – зазвучит и на этих страницах.

«Живым о ней надо вспоминать ради вкуса к жизни», – утверждала подруга Рейснер писательница Лидия Сейфуллина. В двадцатые годы XX века имя Ларисы Рейснер было широко известно. Моряки знали ее как бойца Волжской военной флотилии, офицеры – как комиссара Морского Генерального штаба, читатели «Известий» – как автора «Писем с фронта»; ее книги и публикации ждали. Рейснер знали Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Блок, Бабель, Пильняк, Горький, Андреев, художники Шухаев, Чехонин, Лансере, Альтман. А также – Троцкий, Бухарин, адмирал Альтфатер, академик Бехтерев, Луначарский, Коллонтай. О своей влюбленности в Ларису писал Варлам Шаламов.

Люди тянутся к тому, от кого мощным потоком идет энергия солнечности и напряженной мысли. Увлечения Ларисы Рейснер включали и работу в институте Бехтерева над проблемами бессмертия человека, и блестящее катание на коньках. Превыше всего она ценила в человеке творчество, радовалась раскрытию всех его способностей. И революцию она приветствовала прежде всего за открывшуюся возможность для каждого человека, независимо от происхождения, пользоваться всем богатством культуры, созданной человечеством.

«В каждой капле нервов бродит своя творческая искра… Я хожу и молюсь цветущим деревьям», – писала Лариса Гумилёву. Родилась она в ночь с 1 на 2 мая 1895 года. Попробуем пройти по маршруту жизни нашей героини, отмечая ее дни рождения, встречаясь с многоликой Ларисой. И первая загадка ее судьбы связана с происхождением. Лариса Михайловна – из рода потомственных дворян Рейснеров, но ее прадед Георгий Иванович Рейснер – по документам – имел звание почетного гражданина Риги без указания на потомственное дворянство. В известной мне части генеалогического древа фамилии Рейснеров место ветви Ларисы пока только предполагаемое.

В книге использованы воспоминания ее современников,

архивные материалы, записи моих бесед со знавшими Л. М. Рейснер людьми, которым я также приношу искреннюю благодарность.

Глава 1
РЕЙСНЕРЫ – ХРАПОВИЦКИЕ – ХИТРОВО

…И я спала все прошлые века
светло и тихо в глубине природы.
В сырой земле, черней черновика,
души моей лишь намечались всходы.

Б. Ахмадулина. Моя родословная

Мы – балты. Остзейская земля

Самое раннее известие о роде Рейснеров относится к 1359 году, когда Карл IV подарил представителям рода два больших участка земли. Этот германский и чешский император известен Золотой буллой 1356 года, которая узаконивала привилегии высших сословий. Зародился род Рейснеров в Галиции, потом вышел в Германию. Самые частые профессии в роду – пасторы (как правило, старшие сыновья), врачи, юристы, писатели.

Одним из предков Рейснеров был знаменитый юрист, поэт, сподвижник Эразма Роттердамского – Николаус Рейснер (1545–1602). Он написал 86 томов сочинений, из них 15 томов истории Польши. За научные заслуги получил чин пфальцграфа (владетельный князь, «дворцовый»). Писал стихи по-латыни – о любви, долге, будущем.

В Стокгольме жил Кристофер Рейснер (?—1637), который в 1633 году основал первую в Таллине, при гимназии, типографию «Юхисэлу» для печати на немецком, латыни и других языках. Выпустил первую книгу на эстонском языке – том Г. Шталха «Домашний и церковный требник».

По имени анатома, профессора Дерптского университета Э. Рейснера (1824–1878) названа Рейснерова ушная перепонка (мембрана).

По женской линии в роду Рейснеров были крестоносцы. А по мужской? В XII–XIV веках в завоевании Прибалтики участвовал Ливонский орден, орден меченосцев. «Как известно, начало балтийского блаженства относится к середине XII века, когда немецкие культуртрегеры, движимые корыстью и христианскими чувствами, попали в устье Двины и решили насадить там христианство. Помогли им немецкие рыцари. Верны были своему германизму и русскому царствующему дому… Куры и ливы не выдержали влияния рыцарского „духа“ и скоро вымерли совсем. Эстонцы и латыши уцелели», – писал М. А. Рейснер в статье «Мы – балты» в журнале «Русское богатство» в 1906 году.

В начале XVII века две ветви рода остались в Германии, в Страсбурге, Йене, а одна – старшая – ветвь во главе с Георгом-Иоганном, любимым сыном Иоганна-Андреаса, переселилась в Курляндию. Представители рода в основном были служилые, не поместные дворяне. Учились в Гейдельбергском, Йенском, Кенигсбергском, Виттенбергском, а в XIX веке в Дерптском или Варшавском университетах.

В статье М. А. Рейснера «Мы – балты» имеется ссылка на Тацита:

«Есть в России особая порода людей, которая столько же принадлежит России, сколько Германии. Порода прирожденных господ, посланных самой судьбой для командования остальными народами. Их описывал еще Тацит: „чудные голубые глаза, рыжевато-белокурые волосы и мощные тела, приспособленные к дикому бою“… с ранних лет учились они гарцевать на коне и обращаться с ружьем… Его подруга также высока ростом, стройна, белокура и обладает голубыми глазами… весьма богата детьми и при всем этом часто бывает образованнее мужа и всегда имеет больше духовных интересов… Воспитывают детей в строгой любви.

Основным китом, на котором держится балтская культура, является китайское преклонение перед всем старым, традиционным… Для себя немцы не жалели денег – прекрасные гимназии и другие средние школы устроены с роскошью и со знанием дела. Главным центром подготовки будущих господ был Дерптский университет со своим чисто немецким складом… За 100 лет существования при Дерптском университете не открыли профессуру для эстонской культуры, и это в крае, где на 1 миллион 200 тысяч латышей, на 1 миллион эстонцев всего 200 тысяч немцев, из которых 15 тысяч германских подданных… Во времена Александра II остзейская провинция называлась Вандеей русского царя… Балты занимают в России важные государственные посты… До 1886 г. из 17 дерптских студентов (а их было 14 тысяч) один дослуживался до высоких постов действительного статского или тайного советника в России. Недаром пословица, что у каждого балта спереди крючок, а сзади петелька, которыми они друг за друга цепляются… Русская революция была полным сюрпризом для чиновных паразитов немецкого происхождения в народном организме России».

Еще одно предание гласит, что некий фон Реуснер ехал из Германии в Персию, а остался в Москве *(Олеарий А.* Описание путешествия в Московию, через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906).

У старейших членов рода Рейснеров есть приставка фон ***(von),*** означающая дворянство, чаще всего баронское. В семье брата Ларисы – Игоря хранились некоторые фамильные вещи, среди них кубок с баронскими медальонами. В тридцатые годы XX века, во времена Торгсина и голода, все ценное было продано. У потомков двоюродной сестры Ларисы – Зои Вадимовны и ее сына Вадима сохранилась хрустальная ваза на ножках, на которой выгравировано – Софи Реуснер 1823 год (Sophie Reussner).

Среди троюродных родственников бытовало мнение, что Екатерина Александровна Рейснер-Пахомова, мать Ларисы,

хлопотала о восстановлении титула барона для своих детей. Лариса Михайловна в разных заявлениях, например о приеме ее студенткой в Психоневрологический институт в 1912 году или вольнослушательницей в Петербургский университет, указывала перед фамилией – «пот. двн.» (потомственная дворянка). На некоторых заявлениях ее отца Михаила Андреевича тоже иногда указано – «из дворян». Но в официальных паспортных книжках и свидетельствах о крещении нет указаний на дворянство.

Михаил, Андреас, Иоанн, Георг, Карл – наиболее часто встречающиеся имена в ветвях древа Рейснеров.

У знаменитого Николауса фон Рейснера, упомянутого выше, было много детей (они рождались через год-два, но многие умирали в детстве). Его старший сын был назван Михаилом (р. 1590). Его внук – тоже Михаил – был пастором и похоронен в соборе Святого Якова в Риге в 1715 году. Его праправнук Михаил ***vonReussner,*** родившийся в 1714 году, – пастор.

И отец Ларисы – Михаил Андреевич, старший сын в семье, в юности хотел стать священнослужителем, продолжая традицию первенца.

Сохранились документы его деда Карла-Георгия, которого в семье звали Георгием Ивановичем. Он был главным врачом больницы в Риге и почетным гражданином этого города. Его сын (отец М. А. Рейснера) Иоанн-Андрей (1840–1900, Рига) – коллежский советник, почетный гражданин Лифляндской губернии. Андрей Егорович, как его называли, окончил Дерптский университет, работал в прибалтийских акцизных управлениях. Любил искусство, имел хорошую библиотеку. Стоит сказать и о последней вспышке баронского самосознания. Лариса Михайловна, находясь на Волжской флотилии в 1919 году, то есть на фронте Гражданской войны, начала писать автобиографический роман «Requiem» (ведь «она все время на краю гибели», – сокрушалась ее мать). И на титульном листе имя автора обозначено так: L vr – то есть Лариса фон ***(von)***Рейснер.

Когда исчезла эта приставка «von» в ветви наших Рейснеров? Она могла исчезнуть из-за смены вероисповедания, из-за чьей-то незаконнорожденности или непризнания брака среди старших родственников. Информационных разрывов в рейснеровском древе несколько. Может быть, кто-нибудь их восстановит не ради тщеславия, а ради увлекательного знакомства с взаимосвязью людей, ради истории, когда время, события, страны связаны живой непрерывностью лиц, когда проявляются тайная закономерность и ритмичность рождения таланта.

Писатели (а Лариса, как и ее брат Игорь, как и их отец Михаил Рейснер, – прежде всего пишущие люди) чаще всего

рождаются среди дворянства, на стыке взаимодополняющихся сословий, смешанных браков, полярных обстоятельств, географических разнородностей. Так, например, энтузиастами установлено, что в России больше всего талантливых писателей родилось на Среднерусской возвышенности, где перемежаются холмы и равнины.

Из тверского поместья

Дед Ларисы Михайловны – Андрей Егорович Рейснер служил корнетом 2-го лейб-уланского Его императорского величества полка. В 1860-х годах он оказался в городке Старица на Волге, в поместье Михаила Алексеевича Храповицкого: портрет хозяина до сих пор хранится у его праправнука Вадима Репина, сопутствуя легенде о том, что М. А. Храповицкий – прямой потомок Александра Васильевича Храповицкого (1749–1801), статс-секретаря Екатерины II. В портрете Михаила Алексеевича действительно есть сходство с портретом Александра Васильевича кисти Левицкого. Но если он и прямой потомок, то незаконнорожденный, потому что семьи Александр Васильевич не имел, но имел много романов. У его сына Храповицкого родилось шесть законных и пять незаконных детей.

Михаил Алексеевич также не был женат на Ольге Захаровне, матери своих двух дочерей, которые носили фамилию Михайловы. В этом разливе незаконнорожденностей и упрямых семейных преданий все было возможно. Родство с Храповицкими нравилось Ларисе Рейснер. Для своих критических статей о литературе она взяла псевдоним «Л. Храповицкий». Ведь и ее предок сочинял стихи, драматические произведения, занимался переводами, собирал библиотеки, был знаком с М. Ломоносовым, дружил с Г. Державиным. Десять лет рядом с Екатериной Великой Александр Храповицкий вел «памятные записки». Благодаря его дневнику мы можем представить Екатерину без парадного грима, сердито брюзжащей или веселой, высказывающей нелицеприятные суждения об окружающих ее людях; порой она – слабая стареющая женщина, но чаще – сильная и властная государыня, дальновидный политик.

На Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры, недалеко от церковных стен, можно видеть старинный саркофаг со стихотворной эпитафией:

Ум быстрый, прочное познанье,
В трудах поспешность, испытанье,
Обширна память…

Итак, в Старице Надежда Алексеевна и ее брат Михаил Алексеевич Храповицкие имели поместье. Известно тверское имение «Бережок» брата Александра Васильевича Храповицкого – Михаила, откуда была родом их мать. Дочери Михаила

Алексеевича – бастарды, тем не менее они получили прекрасное образование, знали языки, хорошо играли на фортепьяно. Каким образом попал в Старицу – древний город XIII века с громадой старого городища, крутые откосы которого нависают над водой, – прибалтийский немец, мне неизвестно. Только в одну из дочерей Михаила Храповицкого, Екатерину, он влюбился.

Старицу любил Иван Грозный, называл ее «Любимое», там в 1581 году проходили переговоры о мире в длившейся 25 лет Ливонской войне. Уезжая из Старицы, царь сделал щедрый вклад в местный Успенский монастырь. В помещении Введенской церкви в советское время размещался музей, который значится в Лейпцигском справочнике «Музеи мира». Он славился редчайшей коллекцией оружия – от каменного века до наших дней, обширной коллекцией монет. Кроме того, здесь хранилось множество древних рукописей, а также подлинные произведения Рембрандта, Кипренского, Айвазовского. Некоторая часть этих сокровищ перешла в столичные музеи, другая часть погибла в Отечественную войну.

Андрей Рейснер (1840–1900) и Екатерина Михайлова (1848–1928) встретились, прямо скажем, на достойном географическом, природном и культурном фоне. Где обвенчались, неизвестно. Андрей остался лютеранского вероисповедания, а Екатерина – православного. Все дети – два сына и три дочери – были крещены в православие.

Андрей оставил по болезни военную службу, увез жену из тверского поместья на свою остзейскую землю. В своем акцизном ведомстве дослужился до коллежского советника… Старший сын Миша родился 7 марта 1868 года (в тот же день, что и А. В. Храповицкий). Крестили первенца уже в Вильне, 1 апреля. Восприемниками были, как указано в документах: «…помощник надзирателя Виленского Акцизного управления 6 округа Густав Яковлевич Вестерман и помещица Тверской губернии Старицкого уезда девица Надежда Алексеевна Храповицкая. Таинство крещения совершал священник Иларион Выржиковский с дьяконом Уильским. Таинство совершалось в Мариинской церкви г. Вильна».

Младшая из детей Екатерина (1887–1973) стала зубным врачом и проживала в Ленинграде. Среди внуков, младших потомков были писатели, музыканты, историки, один из правнуков – священник в США.

Надежда Михайловна, другая дочь Михаила Алексеевича Храповицкого, вышла замуж за М. И. Щастного. Создатель Детского музыкального театра в Москве Наталья Сац приходится ей внучкой. Надежда Михайловна умерла рано при родах

последнего сына в 1887 году, и ее четырех детей воспитывала сестра Екатерина Михайловна, обладавшая сильным характером. Андрей Егорович, напротив, имел мягкий характер.

Однако вернемся к первенцу. Учился Миша в 6-й петербургской гимназии на Чернышевой площади около улицы Зодчего Росси. Видимо, какое-то родственное гнездо в Петербурге у них было.

В автобиографии М. А. Рейснер напишет:

«В юности мечтал посвятить себя религии… бросался в мистику, толстовство, был под сильным влиянием Достоевского. Гимназию кончил с ненавистью к классицизму и отрицанием науки. Одновременно учился в художественной школе Общества поощрения художеств, где на ученических выставках получал премии. В университет поступил в Варшавский, поблизости к месту службы отца и ввиду полного безразличия к научному знанию.

Перелом испытал под влиянием профессора Александра Львовича Блока (отца известного поэта). Профессор Блок совмещал в себе причудливым образом громадную эрудицию, материалистический скепсис и славянофильство».

Возникший у студента Михаила Рейснера научно-исследовательский интерес был тогда направлен на тему «Немецкое государство и Церковь». Через много лет случится довольно забавная ситуация. В 1908 году, 12 декабря, в Литературном обществе Александр Блок читал доклад «Народ и интеллигенция».[1] Тетушка поэта М. А. Бекетова вспоминала: «Профессор М. А. Рейснер, ученик А. Л. Блока, объявил, что Александр Александрович опозорил своим докладом имя глубокоуважаемого родителя».

После окончания университета Михаил пошел на военную службу вольноопределяющимся, поступил рядовым на артиллерийскую батарею. Но через несколько месяцев по неизлечимой болезни был признан полностью непригодным к военной службе. Летом 1892-го получил назначение в Люблинский окружной суд как кандидат на должность. Сразу стать чиновником было не так просто. К примеру, когда Александр Бенуа захотел сам содержать свою рано возникшую семью, ему с трудом удалось устроиться в петербургское учреждение, где полтора года он работал без зарплаты в качестве кандидата на должность.

Почему Люблин? Там служил с 1885 года отец Михаила и жила его бабушка по матери Ольга Захаровна – невенчанная жена уже покойного Михаила Алексеевича. Там же в 1893 году Михаил Рейснер женился на 19-летней дочери чиновника Александра

Петровича Пахомова – Екатерине Александровне (к тому времени ее отца уже не было в живых). По информации С. С. Шульца, она имела отношение к роду Хитрово, кроме того являлась четвероюродной племянницей своему мужу, тем самым тоже имея отношение к Храповицким.

Осенью того же года Михаила Рейснера назначили преподавателем законоведения в Ново-Александринский институт сельского хозяйства и лесоводства с содержанием тысяча рублей в год. «Я женился очень рано на бедной девушке, – писал он. – Мое материальное положение в то время было чрезвычайно тяжело. И тысяча рублей годичного содержания спасала меня и семью только от нужды и бедности».

Второго мая 1895 года у Рейснеров рождается первенец – дочь Лариса. Ольга Захаровна дарит ей свою фотографию с надписью «Правнучке Ларе». Этой фотографии больше ста лет и хранится она у Георгия Игоревича Рейснера, внучатого племянника Лары.

Глава 2
РОЖДЕНИЕ

По документам Лариса родилась 2 мая 1895 года. По какому календарю? Польша была в составе Российской империи. Наверное, по европейскому, ведь Европа рядом. Лариса писала 1 мая 1922 года в письме к родителям: «Обыкновенно в этот вечер говорилось о гусарике, принесшем букет наутро после моего рождения, о том, как мама, оборванная и легкая, гуляла под лапчатыми соснами ночью, в темном городском саду». Сад этот с соснами мог быть в Люблине или недалеко от него, в Ново-Александрии (ныне Пулавы) на реке Висле. В Пулавах сохранился дворцово-парковый ансамбль, один из крупнейших в Польше. В пейзажном парке – дворец, с конца XVIII века резиденция Чарторыжских, дворец Маринки (1794), парковые павильоны, храм «Сивиллы» (1801), «Готический домик» (1809). Один из первых в Европе Сельскохозяйственный институт, в котором работал М. А. Рейснер, располагался в уютной глубине старинного парка. И все же Ново-Александрия считалась захолустьем, где не было даже театра.

Скорее всего мама гуляла по Люблинскому саду; ведь в это время в Люблине жили родственники: и Рейснеры, и Храповицкие. Андрей Егорович Рейснер – ревизор в Люблинском акцизном управлении.

Первые сведения о Люблине относятся к X веку. На левом берегу реки Быстрица – королевский замок XIII–XVI веков, костелы доминиканцев, бригиток, кармелитов, костел Святого Николая X века. Тринитатская башня, башня иезуитов, «Краковские ворота», здание ратуши. «Люблин хотелось рисовать на каждом шагу. Прекрасный город», – признается известная польская писательница Иоанна Хмелевская. Так что родилась Лариса среди готики и барокко.

Екатерина Александровна отвечала дочери: «Оказывается, когда ты родилась, Кант лежал на столе папином и смеялся своими страницами „Чистого разума“ над суетой и надеждой моей по поводу рождения безобразной девочки». О том, что девочка родилась некрасивой и что Екатерина Александровна мазала ей брови касторовым маслом, чтобы гуще росли, рассказывала мне Екатерина Михайловна Шереметьева, писательница, в тридцатые годы – актриса ленинградского ТРАМа (Театра рабочей молодежи), двоюродная сестра Ларисы. Екатерину Александровну за желание восстановить баронство для

детей и отсутствие демократизма родственники мужа не очень жаловали. Кроме того, две сестры Михаила Андреевича Рейснера рано потеряли мужей, жили с детьми трудно и надеялись на выгодные браки братьев. Надежды не оправдались. И Михаил, и Вадим женились на бедных девушках и не могли помочь в достаточной мере.

Лариса Рейснер родилась в ночь на 2 мая. Ей, видимо, хотелось родиться 1 мая, поскольку именно это число называет в своей статье о ней Карл Радек, близкий ей человек. А вслед за ним это число повторяется во многих статьях и справочниках. Интересно, знала ли Лариса, что предыдущая ночь на 1 мая, называемая в Европе Вальпургиевой, по народным поверьям, считается празднеством ведьм. А 1 мая – один из самых ярких и веселых праздников – праздник начала весны, уходящий корнями в седую старину древних германцев. На Британских островах – это кельтский Белтан.

В эту ночь роса на траве считается в народе волшебной, целебной. Полагается жечь костры на возвышенностях, дабы отпугнуть злых духов и ведьм, которые в это время активизируются, собираясь на свой «великий шабаш». Как следует их отпугнув, наутро окрестное население собирается у нарядно украшенного «майского» дерева, которое должно быть срублено в лесу этой ночью, чаще всего ель или вяз. Дерево прячут в чьем-то доме или во дворе, причем соседи должны попытаться его украсть. Если дерево уберегли, народ водит вокруг него хороводы и гуляет, дети обегают его и обливаются водой. В Англии юноши и девушки уходят этой ночью в лес.

Веселый праздник весны и любви в XX веке в России превратился в маевки по инициативе «мистических анархистов». По старой традиции Воланд в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» появляется в Москве именно 1 мая.

Земные, природные мифы мая, естественно, отразились на личности Ларисы Рейснер. Год она меряет от весны до весны. И лучшие ее строки, на мой взгляд, посвящены весне:

«Белые, розовые, мелово-желтые метели цветения. Начали самые молодые яблони. Потом совсем особо, не спеша – старые яблони, могучие шатры благословенного белого цвета… навстречу им разгорается сирень, фиолетовые лилии кадят маю чистым и головокружительным фимиамом. Счастье всего свежее, всего легче в конце мая, цвет насыщения, благодарности. Любви это время, зеленой, несущей легкое бремя завязей и пернатых цветов… Часто бывает грустно – от избытка, особенно, от избытка формы, от красоты внешнего мира. Вот опять впала в лирический тон. „Рейснер, не выставляйтесь!“… но еще два слова о гармонии,

два слова… чтобы поговорить на те звучные темы с примесью золота и звездной пыли, без коих не может жить Ваша негодная и беззаботная дочь. Под этими навесами из живых цветов я устроила сборище всего нашего кабульского дипкорпуса, которое Наль усердно крутил и прятал в безобразный ящик своего кино. Вы это, вероятно, увидите. Боюсь, не много ли я смеялась, но соседи потихоньку острили с серьезными лицами и некому было, взглянувши сурово, сказать: „Ляля, не раскрывай рот до ушей!“, „Ляля, Упутьевна, воздержись!“… За зимой всегда приходила весна. В этом привилегия творчества».

А что говорит астрология? Родившимся под знаком Тельца присущи накопление и творчество. Склонность к накоплению проявляется на разных уровнях бытия: материальном, интеллектуальном, духовном. Стремление к приобретению опыта и навыков приводит к высокому мастерству. Лариса Рейснер в творчестве росла медленно, но проза ее всегда тщательно выверена по форме, насыщена энергией, зримой метафоричностью.

Тельцы трудолюбивы, практичны, тщательны. Обладают скрытой энергией, волей, стойкостью, мужеством. Эти качества иногда переходят в недостатки – периоды капризов и упрямств. При встрече с препятствиями немедленно становятся чрезвычайно твердыми, поражая окружающих этой метаморфозой. Современники вспоминали, что Лариса обладала бесстрашием. Видимо, не случайно Всеволод Вишневский взял ее прототипом комиссара в «Оптимистической трагедии». Еще вспоминали «жадность и вкус к жизни», любовь к красивой одежде. Это – «по звездам».

Но вернемся в 1895 год. Этот год называют годом кино (первый сеанс во Франции в декабре 1895 года), годом радио, джаза и авиации. 7 мая А. С. Попов демонстрировал первый в мире радиоприемник.

В январе 1895 года состоялось первое выступление Николая II, проходившее в Аничковом дворце. Многие с надеждой ждали от него закона об участии земства в управлении государством. Но прозвучало иное: «Пусть все знают, что я, посвящая все силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо, как охранял его мой незабвенный и покойный отец». До первой революции оставалось десять лет. В 1917 году Ларисе будет 22 года. И она станет революционеркой. Юности во все века свойственна жажда переустройства мира.

«Бунтарский дух этой девушки возмужал на старых и трудных подлинниках, она судила мир, спрятавшись под суровую мантию Спинозы, и сквозь шлифованный камень его седой и

целомудренной философии, Грину смеялись и гневались ее молодые глаза. Это во всяком случае было ново», – писала Лариса на первой странице автобиографического романа «Рудин». Спинозой были увлечены многие молодые люди. Ромен Роллан, прочитав в 17 лет «Этику», был поражен «молнией Спинозы». Особенно уважительно относился к Спинозе Александр Герцен: «Высота Спинозы поразительна. И какое полное жизни мышление! И не мудрено: он мышление почитал высшим актом любви, целью духа».

Философ голландского золотого века Бенедикт Спиноза (1632–1677) – дерзкий глашатай свободы личности, правового государства, построенного на твердых гуманистических принципах, на гармоничном сочетании частных интересов граждан с интересами общества, выступил против философии стяжательства, предательства. Он готов был за крупицу истины отдать все золото мира. Для человеческого сознания, по мнению Спинозы, открыты только две характеристики единой субстанции, которая есть тождество Бога и природы, – протяжение и мышление. Другие знаменитые выводы Спинозы касались «интеллектуальной любви к Богу» и идеи вечности человеческой души.

Итак, к «Чистому разуму» Канта добавилась «суровая мантия Спинозы» с его трактатом о бесконечном разуме. Почему «суровая мантия»? Наверное, потому, что 24-летнего Спинозу руководители амстердамского еврейского общества отлучили от Церкви. Философ вынужден был скитаться, зарабатывая на жизнь шлифовкой стекла. В его философии появились элементы оптимистического стоицизма. Бросить вызов обывательскому сознанию и за это стать отверженным – это было свойственно и Ларисе. Как и в горячем порыве сердца сохранять холодный, все анализирующий разум.

Влюбленный в Ларису Николай Гумилёв напишет: «Как шапка Фауста прелестна / Над милым девичьим лицом…».

Глава 3
МЛАДЕНЧЕСТВО НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Мы живем, потому что мы разные, все вместе мы составляем путь к истине.

Ю. М. Лотман

За год до рождения дочери Михаил Андреевич получил командировку в Варшаву и Петербург. Он хотел зацепиться за Петербургский университет, но это не удалось.

М. А. Рейснер – Е. Н. Трубецкой

В 1896-м Рейснеры продолжали жить в Люблине. Май проходил под знаком подготовки главы семейства к экзаменам на степень магистра государственного права. Свою кандидатскую диссертацию Михаил Андреевич защитил у Александра Львовича Блока. Но вскоре произошел разрыв ученика с учителем, и Михаил Андреевич обратился в Киевский университет, где 7 июня 1896 года и сдал экзамен у профессора Евгения Николаевича Трубецкого. Трудно представить себе беседу этих столь разных ученых.

Евгений Трубецкой дружил с Владимиром Соловьевым, который на его руках и в его имении Узкое умер 31 июля 1900 года. Оба друга считали главным смыслом жизни любовь и «всеединство» – органическое единство мира. Впоследствии Е. Н. Трубецкой станет известен своим трактатом «Умозрение в красках», а также книгой «Россия в ее иконе». Евгений Николаевич верил, что страна должна пройти через тяжелые очистительные страдания. Он не уехал после революции из России, а примкнул к Белому движению и умер от тифа в Новороссийске в 1920 году.

Михаил Андреевич начал свой поиск объективного закона в системе мировоззрения и пришел от монархии к марксизму. Сколько интеллигентов-мыслителей двигалось тогда мимо друг друга в полярных направлениях. К марксизму шли – Чичерин, Луначарский… От марксизма к христианству – Бердяев, С.Булгаков… Вспоминает Мстислав Добужинский: «В конце века в Петербургском университете я держался вдали от поголовного увлечения студенчества политикой. Я никак не мог найти своего отношения к социализму, как ни старался, так и не мог одолеть „Капитал“ Маркса. Логика говорила одно, а внутреннее чувство другое.

Какую форму правления предпочитать – эта тема была частой в спорах. С двоюродным братом Сашей (определенным монархистом) мы перестали спорить, чтобы не ссориться…»

Четвертого мая 1896 года в «Аквариуме», увеселительном саду на Каменноостровском проспекте в Петербурге, впервые в России был показан «Синематограф братьев Люмьер», а 6 мая – в Москве. Кино Лариса очень любила, что отразилось в ее автобиографическом романе «Рудин»: «Когда в темноте замелькала белая пленка кинематографа, Ариадна широко и радостно вздохнула, точно ее корабль вышел в море».

Рейснеры в Гейдельберге

С 1 января 1897 года Михаил Андреевич командирован в Германию для работы над своей научной темой отношений государства и Церкви, со стипендией 80 рублей в месяц. А в феврале Рейснеру предложили уволиться из Сельскохозяйственного института после студенческих волнений, которые преподаватель не склонен был осуждать. Стипендию ему, видимо, платило Министерство народного просвещения, имеющее статью расходов на поддержку молодых ученых. 15 января 1897-го был принят закон о введении в России золотого обращения (реформа Витте), что обеспечило стране вплоть до 1914 года твердую валюту и приток иностранного капитала.

Первый выезд за границу у многих вызывает похожие чувства. Это видно по свидетельству Александра Бенуа, впервые уехавшего из России в 1890 году: «Не знаю, как сейчас относятся в России к загранице, но в моем детстве в Петербурге и в нашем кругу заграница – что-то в высшей степени заманчивое, какой-то земной рай. О загранице мечтали: и стар и млад. Ездили за границу все и даже люди со скромным достатком и „патриоты“, чужеземное всё хаявшие. Из-за границы шли все самые прелестные вещи… Иностранцы казались более воспитанными и изящными, нежели русские знакомые. Много было смешного и несправедливого в этом поклонении русских чужому. Жизнь тогдашней России обладала в сущности большей, и даже ни с чем не сравнимой прелестью, но к этой прелести так привыкли, что даже не замечали. О ней с восторгом отзывались особенно англичане».

Двадцатидвухлетний Мстислав Добужинский впервые побывал в Гейдельберге в 1897 году, в одно время с Рейснера-ми. «Все оказалось еще очаровательнее, чем я предполагал.

Не думал я и не гадал, что за дивный уголок Гейдельберг. Городок небольшой, типично немецкий. Старина на каждом шагу. Немцы, молодежь берегут ее и не портят… Жил на самой крыше в мезонине, в доме по узенькой улице, упиравшейся в громаду готического собора. В нижнем этаже моего дома помещался кабачок «Zum grunen Baum» («Под зеленым деревом») с качающейся вывеской, где изображен зеленый дуб. Из моего окошка были видны крутые крыши и множество дымовых труб, из которых вились белые дымки, повсюду на подоконниках стояли горшки с цветами и тут же висели клетки с птицами. Иногда высовывалась рука с лейкой или показывался белый чепчик. Я с наслаждением гулял один по городу (трамваев еще не было). Забирался и к необыкновенно живописным развалинам

ренессансного замка на горе, мне только мешало, что там пили пиво. В Гейдельберге училось много русских. Они мне показали главную достопримечательность города – знаменитый университетский карцер, стены которого были сплошь разрисованы карикатурами, силуэтами, смешными изречениями и вензелями… Зарисовал всевозможные типы немецких студентов с их разноцветными шапочками».

Александр Бенуа в Гейдельберге тоже побывал и обзавелся там двумя студенческими фуражками. Одна была предназначена для каждого дня, другая – парадная, расшитая золотом и с буквой V (корпорация «Вандалия», в которую записывались русские). «Я даже рискнул напялить фуражку, пройтись по всему знаменитому университетскому городу, примкнув к какой-то очередной манифестации».

Еще один взгляд студента того времени: «Мой отец учился в Германии в конце XIX века. В Гейдельберге читал лекции по философии знаменитый Виндельбанд. В преподавании господствовал отвлеченный идеализм-неокантианство… Быт немецкого студенчества конца XIX века очень своеобразный и по-своему жестокий. Тогда еще никто не знал о расовой теории. Но уже проявлялась „белокурая“ бестия. Немцы считали уже себя „избранным“ народом. Ницше был „великим учителем“… Старшие курсы издевались над младшими. Были дуэли. Пивной церемониал. Немецкие барышни уходили при иностранцах (быть с ними – неприлично). Корни немецкого фашизма были видны… это нравы студенческих „ферайнов“ – презрение к представителям других наций… сложный и нелепый внешний ритуал… Знаком тайного ферайна была древнегерманская свастика» (*Березак.* Штрихи и встречи. М.: Советский писатель, 1982. С. 222).

В те же годы в Гейдельберге Михаил Андреевич, изучая христианские государства с психологической и социологической точек зрения, пришел к выводу о неизбежной интеграции всех стран на всех основах, на экономической тоже.

В Томске

В мае 1899 года четырехлетие Ларисы семья отмечала в Томске. Брату Ларисы Игорю было четыре месяца, он родился 28 декабря 1898-го там же, в Томске, куда Михаил Андреевич был направлен Министерством просвещения на открываемый юридический факультет Томского университета. Игорь родился через два месяца после переезда. Крестили его скорее всего в Воскресенской церкви, самой большой в городе, построенной на рубеже XVIII–XIX веков.

Основан Томск в 1604 году в связи с усиленной добычей золота в Енисейской губернии. Расположен он на берегу реки Томь, недалеко от ее впадения в Обь. «Окружают город большие березовые леса. Сам же город весь белый, состоит из каменных домов, центр умственной жизни», – писал К. Ф. Жаков, знакомый Михаила Андреевича. В 1896 году в город была проложена железнодорожная ветка от Транссибирской магистрали. В 1888-м там открылся первый в восточной части России университет, потом первый Технологический институт. Томичи говорят, что их город – островок интеллекта среди природных просторов. И гордятся своей немецкой диаспорой, которой уже 200 лет.

Михаил Андреевич служил профессором и секретарем на юридическом факультете, который помогал организовывать. В 1907–1910 годах на этом факультете учился Валерьян Куйбышев и вел революционную работу вместе с Кировым. Томск с 1880 года был местом ссылки, и политические ссыльные в 1901 году создали там Сибирский союз РСДРП.

За три года работы в Томском университете М. А. Рейснер издал ряд трудов об отношении государства и Церкви, о праве свободного вероисповедания, в которых разоблачал полицейский характер российского церковного законодательства. На опыте протестантизма Рейснер доказывал, что всякая религия является в зародыше организацией жесточайшего деспотизма: пока она гонима, религия взывает к свободе, а когда у власти, то укрепляет веру «государственными» средствами – штрафами, тюрьмой. Мечтой молодого профессора было создание «Новой Философии Самодержавного Государства», философии просвещенного абсолютизма.

Летом 1899 года Михаил Андреевич уехал в командировку один и опять в Гейдельберг. Семья осталась в Томске, а точнее – в деревне Аксеновке. Сохранилось письмо на имя ректора Томского университета от Екатерины Александровны Рейснер, где она сообщала о появлении дифтерии среди деревенских детей и

просила врачебную помощь. Этим годом помечена фотография Ларисы в клетчатом платье, она держит за руку сидящего младенца Игоря.

1900 год в калейдоскопе

Новый век начинался для Рейснеров печально: 5 марта скончался отец Михаила Андреевича Андрей Егорович в возрасте 60 лет. Похоронили его в Риге. За полгода до смерти он был пожалован орденом Святого Владимира за 35-летнюю безупречную службу. В этом году летней командировки у Михаила Андреевича не было. Екатерина Александровна продолжала вести большую общественную работу, в частности, как секретарь Комиссии народных чтений.

Европейские страны в основном вели отсчет нового века с двух нулей в числе (в отличие от других, кто начинал его с 1901-го). В Петербурге новое столетие встретили 1 января 1900 года два издания: «Новое время» Суворина и газета «Свет». В последней писали:

«Первый день XX века. С крепкой верой, с сильным духом, с мощью мысли и энергией вступает сегодня Россия в новый год и вместе с тем в новое столетие.

Вера и энергия русского народа необъятны и то, что принесет нам новый год и новое столетие, есть награда Божия за добродетель и труд народный, которыми и обусловится наше будущее благоденствие… Если смотреть вдаль, то мы имеем перед собой необъятные перспективы. В далеком будущем мы видим борьбу племен за первенство… Но на первом плане виднеется нечто уже ярко очерченное, нечто вкладывающееся в определенную программу, которую ближайшему времени предстоит осуществить.

Мы, сильное славяно-русское племя, представляем в настоящее время то аллегорическое море, в котором да сольются славянские ручьи! Велика будущность Русской земли и светла перспектива славянских народов, собираемых под свой стяг миролюбивой Россией». Увы, более далекое от действительности предсказание трудно представить.

Спор о начале века был всегда. Предыдущий, XIX век, Павел I, сославшись на Петра I, решил начать с 1800 года.

В «Русском богатстве» Владимир Короленко представил свою оценку XIX века: «Век не осуществившейся идеи общего блага, но привившей ее всему человечеству. Что нам должен дать новый век? Электричество, аэронавтику?»

В петербургской прессе пытались осмыслить не только итог XIX века, но и предыдущие рубежи веков, приходя к выводу, что они имеют схожие черты: землетрясения, наводнения, стихийные бедствия, войны на рубежах веков умножаются. 1900 год начался

с голода, экономического кризиса (возникший во второй половине 1898-го, он срифмовался с 17 августа 1998 года), войны Европы с Китаем. В октябре 1899-го вспыхнула война Англии с бурами (а новая волна войны в Чечне – в сентябре 1999-го)… и т. д.

Вот некоторые «знаковые толчки» событий в 1900 году:

спуск «Авроры» на воду на Балтийском заводе в мае 1900-го, при котором присутствовала царская семья. В том же году открытие в Берлине нового здания рейхстага;

в 1900-м умерли И. Левитан, И. Айвазовский, В. Соловьев; родились И. Дунаевский, М. Исаковский, О. Волков – писатель, проведший около 30 лет в лагерях и одним из первых написавший об этом книгу «Погружение во тьму».

В газетах 1900 года немало и наших тем. «Скандал в Петербургской Думе»: один гласный назвал другого гусаком. Драки время от времени вспыхивают и в Думе XXI века. Карикатура на вкусы публики 1900-го – в Театр оперетты ломятся толпы людей, а в Большом зале филармонии сидят семь человек и те спят. Из сатирических предсказаний: о давно ожидаемом (как и в XXI веке) открытии в Петербурге «туалетных павильонов», в которых устроят «буфет и музыку по вечерам». Или: в Юсуповском саду состоится с благотворительной целью состязание на коньках между должниками и кредиторами. Еще из юмора 1900-го: русские массами двинутся на Всемирную парижскую выставку «за неимением пассажирских вагонов в багажных».

Парижская Всемирная выставка работала с 1 апреля по ноябрь 1900 года. Эта вторая Всемирная выставка (первая состоялась лет 15 назад) была развернута около Эйфелевой башни (самый большой экспонат), рядом построен мост Александра III. Присуждение золотых медалей оказалось очень трудным делом. Но после бурных споров Александр Попов получил-таки медаль за создание беспроволочного радио. На русской территории выставки наибольшей популярностью пользовалась панорама самой протяженной в мире Сибирской железнодорожной магистрали.

В Петербурге вошел в моду балет и появились ночные очереди за билетами у Мариинского театра, как вспоминала Тамара Карсавина.

На рубеже столетий возрастает интерес к статистике. Благодаря ей выяснилось, что в XIX веке на несколько десятков лет продлилась средняя продолжительность жизни человека, что люди умственного труда живут на 30 лет больше остального населения. По статистике в США: на примере 530 знаменитых

людей установлена средняя продолжительность жизни – 68 лет. Оказывается, известность прибавляет два-три года, а небольшое число лауреатов живет больше обыкновенных смертных почти на 30 лет. По профессиональному признаку: дольше всех живут государственные деятели – 70 лет, в Англии – 75 (в XIX веке – 66), а натуралисты, полководцы и историки – 72 года.

На рубеже веков появляется больше книг об искусстве жить долго. Вот несколько примеров: Доктор Л. Эйнек. Происхождение и предупреждение преждевременной старости нервной системы. СПб., 1898; В. Высочко. Чудодейственные средства от всех болезней и старости, испытанные 60-летней девочкой. СПб.,1894; Гигиена жизни. Как прожить целые сотни лет. Составил по новейшим источникам С. И. Глебов. СПб.; Гораций Флетчер. Флетчеризм, или Как я в 60 лет стал юношей. Пг.: книгоиздательство «Новый человек».

На рубеже столетий не только усиливаются природные и социальные катаклизмы, космическая нестабильность, затмения, но и резко возрастает обращенность к сакральным тайнам мира, которые начинают приоткрываться. С прилавков магазинов не сходит мистическая, апокрифическая литература. «Эпидемии идей существуют», – считал наш современник выдающийся ученый и просветитель Василий Налимов.

Религиозно-философские собрания

В «Петербургской газете» от 31 декабря 1900 года помещен рисунок: на земном шаре стоит мальчик – XX век. Он сражается мечом с извивающимися вокруг него змеями вопросов и проблем XIX века, которые ему предстоит решать (большинство этих проблем перешло в XXI век, в первую очередь проблема взаимопонимания людей).

Разрыв между интеллигенцией, имевшей высшее образование, и народом, в большинстве малограмотным, в XIX веке попытались уменьшить «святые шестидесятые», когда в «народ» ушло очень много добровольных учителей.

Разрыв между интеллигенцией и Церковью попытались уменьшить петербуржцы в неожиданно и ярко начавшемся «серебряном» возрождении русской культуры на рубеже веков. Прообразом религиозно-философских собраний стали лекции философа Владимира Соловьева, ориентированные на светскую аудиторию. На диспуте представителей Церкви и культуры князь С. Волконский, человек эрудированный, широких взглядов, утверждал, что свободы веры нет и не будет, пока православие не избавится от «полицейского покровительства» со стороны властей… Он напомнил собравшимся слова Петра I: «Совесть человеческая единому Богу токмо подлежит и никакому государю не позволено оную силою в другую веру принуждать». Думается, что и до Томска, и до Гейдельберга дошли известия об этих собраниях в Петербурге, стенограммы которых печатались в журнале «Путь». То, что пропускалось цензурой.

История возникновения религиозно-философских собраний такова. Осенью 1901 года к обер-прокурору Святейшего синода К. П. Победоносцеву пришли за разрешением на собрания Д. Мережковский, Д. Философов, В. Розанов, Н. Минский, журналист М. Миролюбов. Победоносцев разрешение дал, зная, что митрополит Антоний Вадковский живо откликнулся на идею собраний. (Вадковский имел мягкий характер и слыл либералом.)

Двадцать девятого ноября 1901 года в помещении Географического общества, расположенного в Министерстве народного просвещения на улице Зодчего Росси, впервые сошлись представители творческой интеллигенции, преимущественно молодые: Д. Мережковский, З. Гиппиус, князь С. Волконский, В. Розанов, сотрудники журнала «Мир искусства»: С. Дягилев, Л. Бакст, А. Бенуа, журнала «Аполлон» – С. Маковский. Председателем был епископ Сергий Страгородский, 40-летний автор смелого богословского исследования, ректор Петербургской

духовной академии (в 1920 году – патриарх Русской православной церкви). Присутствовали также грубоватый и шумный архимандрит Антонин Грановский (в будущем епископ, спустя 20 лет возглавит в Москве церковный раскол реформистского направления и уйдет в 1927 году из жизни нераскаянным бунтарем), Антон Картышев, 26-летний сын уральского шахтера, доцент Духовной академии (станет министром вероисповеданий во Временном правительстве; в эмиграции, до смерти в 1960 году, будет профессором Парижского богословского института), а также Павел Флоренский, тогда 19-летний студент-математик, приехавший из Москвы.

Сергий Страгородский считал, что религиозные умозрения – это различные мостики, по которым человеческий разум доходит до истины, а значит, границ богословствующей мысли не должно быть.

На первом собрании выступил с докладом «Русская Церковь перед великой задачей» Валентин Александрович Тернавцев, который служил в Синоде, был своим и для представителей церкви, и для тех, кто не разделял его безоговорочной веры. Он отметил нарастание глубокого кризиса в стране и высказал мысль, что ее возрождение должно произойти на религиозной почве. Но наставники Церкви, по его словам, видят в христианстве один только загробный идеал, оставляя весь круг общественных отношений без воплощения истины. Единственное, что они хранят как истину для земли – это самодержавие, с которым не знают, что делать… Ими не рассматривается «предмет мучительных раздумий для интеллигенции – вопрос об устройстве труда, о его рабском отношении к капиталу, проблема собственности, противообщественное ее значение с одной стороны и совершенная неизбежность с другой стороны… Религиозное учение о государстве, о светской власти, общественное спасение во Христе – вот о чем свидетельствует наступившее время. Творческое воздействие Церкви на мир – есть реализация ее подлинной универсальной природы».

На втором заседании прозвучал доклад Дмитрия Философова о двух главных христианских заповедях: любви к Богу и к ближнему. О первой забыла интеллигенция, утверждал он, о второй – Церковь. На десятом и одиннадцатом заседаниях говорили об отношении между христианским аскетизмом и культурой. Церковь не отворачивается от культуры, – пытались доказать преподаватели Духовной академии.

За два года состоялось 22 заседания. «Первый год, – вспоминал Александр Бенуа, – были очень содержательные

встречи. С течением времени они стали приобретать тот характер суесловных говорилен, на который обречены всякие человеческие общения, хотя бы основанные с самыми благими намерениями».

Дмитрий Мережковский высказал свое мнение: «Вот уже два года как длится поразительное недоразумение в этих Собраниях. Нас все время обращают в христианскую веру. Мы говорим, что верим, а нам отвечают: „Неправда, и вы настолько погибшие, что всякий безбожник нам ближе“».

Бенуа продолжал в воспоминаниях: «Мне становилось ясно, что тут, как и во всем на свете, дело складывается не без участия Князя Мира Сего… Каково же было мое изумление, когда я удостоверился в „реальном“ присутствии бесовского начала. За черной доской стояло чудовище с рогами, привезенное из Монголии или Тибета какой-либо научной экспедицией Географического общества. Оно показалось мне до жути уместным – суетное софистское тщеславие вместо поиска истины – в этом зале».

Николай Бердяев вспоминал о Собраниях, как «о небывалом еще в русской жизни явлении… после цензурной зимы вдруг свобода совести и свобода слова временно утверждается в маленьком уголке Петербурга».

Студенческие волнения

На одной из студенческих лекций Михаил Андреевич Рейснер сказал: «В России нет права, оно смешивается с моралью, которая со своей стороны имеет полицейский характер». В 1901 году он открыто поддержал политическую забастовку студентов, подвергая обструкции тех, кто продолжал посещать занятия вопреки постановлению сходки. В приказе министра просвещения Рейснер расценивался как лектор, «злоупотребляющий кафедрой для произнесения речей, которые побуждают относиться с неуважением и враждой к установленному в России законному порядку вещей». Тем не менее с 1 января этого года М. А. Рейснер был назначен экстраординарным профессором по кафедре политической экономии и статистики и награжден орденом Святой Анны 3-й степени. Два учебных года стали для Михаила Андреевича периодом его сближения со студенчеством и отчуждения от профессуры. Томский университет, желая избавиться от беспокойного профессора, отправил его с мая 1901 года по 1 сентября 1902-го в заграничную командировку.

Студенческие волнения начались в Петербургском университете в феврале 1899 года и стали распространяться по главным университетам России. В июле были введены «Временные правила», по которым бастующих студентов отдавали в солдаты. Через два года в солдаты были отданы 183 студента Киевского университета «за учинение скопом беспорядков». Возле Петербургского университета дежурили наряды полиции и конные казаки. Тем не менее на лекциях открыто передавались прокламации. 14 февраля 1901 года студент П. Карпович насмерть ранил министра народного просвещения Н. П. Боголепова.

Девятнадцатого февраля 1901 года отмечалось 40-летие отмены крепостного права. У Казанского собора собралось несколько сотен студентов. На Невском к ним присоединились тысячи людей. Демонстрацию разогнали, многих арестовали.

Двадцать пятого февраля русская общественность была извещена об отлучении графа Л. Н. Толстого от Русской православной церкви. 4 марта того же года у Казанского собора повторилась политическая демонстрация. Рядом со студентами были бастующие рабочие, служащие, интеллигенция. При разгоне демонстрации оказались избитыми Н. Анненский, И. Рубакин (библиограф, филолог), редакторы журнала «Жизнь» М. Ермолаевич и В. Поссе, писатели В. Вересаев, Е. Чириков, профессор Военно-медицинской академии П. Лесгафт. Член

Государственного совета, генерал-лейтенант князь Л. Вяземский пытался остановить побоище, обратившись к офицерам, за что впоследствии его выслали из Петербурга. Лев Толстой написал ему письмо с благодарностью.

Непримиримость Толстого и к церкви, и к власти вызывала восхищение самых разных людей. При этом Лев Толстой хлопотал об освобождении Максима Горького, арестованного в Нижнем Новгороде «за усиленную агитацию», обращаясь и к товарищу министра внутренних дел П. Д. Святополк-Мирскому, и к принцу П. Ольденбургскому. В Лондоне Чертков печатал в «Листах Свободного Слова» толстовский «Ответ Синоду»: «Я действительно отрекся от Церкви, перестал исполнять ее обряды… я отвергаю непонятную Троицу и басню о падении первого человека… я отвергаю все таинства…» Были там и такие слова: «Рост насилия, который ширится как снежный ком, никогда не выведет страну из того ужасного состояния, в котором она находится сотни лет».

М. Добужинский и А. Бенуа учились в то время в Петербургском университете. Бенуа писал: «В нашем отрицательном отношении к революционности действовало очень сильно отвращение в нас от всего стадного, модного… Мы все были плохими патриотами. Нам была дорога идея объединенного человечества. Я остался ненавистником всего, что носит характер ограниченного предпочтения своего перед чужим… Ни в ком из нас не жила склонность к революционности, не было соблазна вмешиваться в общественную и политическую жизнь. Между тем этому соблазну поддавалось в те дни великое множество русской молодежи».

Ему вторил М. Добужинский: «В университете я держался вдали от поголовного увлечения студенчества политикой. Многие из моих приятелей принадлежали к разным политическим партиям… но меня никто не тянул в политику, так как убедились в моей „незрелости“ и на меня махнули рукой. Я никак не мог найти своего отношения к социализму, как ни старался, так и не смог одолеть „Капитал“ Маркса. Логика говорила одно, а внутреннее чувство – другое. Тема споров – какую форму правления я предпочитаю. С двоюродным братом Сашей перестали спорить, чтобы не ссориться. С его точки зрения я был презренным западником и либералом».

«Рейснеры никогда не скучали»

Длительная командировка М. Рейснера проходила в Берлине и Гейдельберге. Жизнь за границей в эти годы семилетняя Лариса уже хорошо запомнила и писала о ней в автобиографическом романе: «Четыре человека: два больших и два маленьких никогда не скучали. Каждый день был источником бесконечной радости, которая соединяла счастье зрелой любви, гордость труда, благословенного призванием, аскетическую чистоту и бредни детей, начинающих жить в полном солнечном свете, на высоте, где воздух чист и разряжен прикосновением творческих грез. Возвращался ли Михаил Андреевич с ученого собрания или парламентской сессии, приносила ли Екатерина Александровна с базара в плетеной кошелке вместе с пучком укропа, хлебом и фруктами целую охапку роскошных мелочей, свежих и сочных, обрызганных каплями смеха – они раскладывали за обедом свои рассказы как редкие драгоценные находки – превращали их в пьесу, разыгранную вчетвером, в мистерию, в памфлет или диалог, смотря по тому, кто был действующим лицом в этот день: ректор старого гейдельбергского университета, горбатый своей мудростью, или цветущая липа в саду библиотеки, пахнущая средневековьем и медом…»

Ректор Томского университета добивался увольнения Рейснера, этого «заносчивого либерала, заигрывающего с анархически настроенными отдельными студентами». Вот выдержка из автобиографии, которую М. Рейснер напишет для словаря «Гранат»: «Я боролся, стоя на почве самодержавия, и тем невольно углублял пропасть между идеальными сторонами просвещенного деспотизма и фактическими извращениями». В «Сибирском вестнике» он писал: «Можно пожелать только, чтобы светлые идеалы гуманности и правды надолго остались в памяти томичей». Кроме политической конфронтации между ректором и беспокойным профессором была и научная. Михаил Андреевич считал, что Германия, точнее Пруссия, будет объединять Европу, а ректор был славянофилом. Профессиональная деятельность Михаила Андреевича, рассказывал С. Шульц, всегда шла со скандалами. Он не умел влиться в коллектив, был очень честолюбив. Когда его деятельность стала известна Сталину, то последний приказал, чтобы никаких упоминаний о Ларисе Рейснер и ее отце нигде не было.

В марте 1903 года Михаилу Андреевичу пришлось ехать в Петербург и объясняться в Министерстве народного просвещения, куда шли докладные записки от ректора университета и томского

губернатора. В Министерстве внутренних дел сохранилась объяснительная записка Рейснера: «Неужели же политика до такой степени поглотила все области научной мысли, что нет уже в громадном организме России места скромному ученому, который только стремится к истине и к правде и не желает принимать места в активной политической борьбе, так как чувствует себя к ней совершенно неспособным?» После длительного объяснения с директором Департамента государственной полиции Рейснер был корректно уволен с должности.

Спустя несколько месяцев на годовом собрании студентов Томского университета председатель сказал во вступительном слове, что в прошлом году на этот праздник был приглашен профессор Рейснер. «Он один из профессорской среды разделял наши взгляды. Ему не чужды были идеи свободы. Более того, он боролся за них. Он явился жертвой политического гнета. Я предлагаю послать ему приветственную телеграмму».

В 1914 году «красный профессор» посетил Томск с чтением публичных лекций. Из его письма к Леониду Андрееву: «Из Сибири я привез удивительные впечатления. И от людей и от природы. Яркая сибирская зима с голубым небом и солнечным светом. Сладкий морозный воздух, прозрачная зелень быстрой Ангары, черная пропасть Байкала, маньчжурские лазоревые ночи, скалы и реки Забайкалья – ах, право, всего не перечислишь… А какие типы! Опустившийся и обовшивевший аристократ. Китаец с торсом Аполлона, маленькими ручками и ножками маркиза и детским цинизмом на лице. Живописные монголы, зашитые в бараньи шкуры, буряты с красными кистями на коленках, сибирские чалдоны с парой преступлений на совести, американцы-золотопромышленники – какая красочная, сильная и вольная жизнь. Боже мой, мы увлекаемся Джеком Лондоном. А на Руси не найдется писателя, который не поленился бы посмотреть на этот золотой край. Воистину новая и великая Русь! И еще одно. Это единственный край, где живет история. Начиная с московского раскольника-бунтаря XVII века и кончая каторжанином-садистом – все это там наверху, наружу, не закрыто никакой плесенью, никакой гнилью. И как там помнят 1905 год! В каждом городе Вас поведут по всем святыням, покажут места расстрела друзей и детей, поезда смерти Ренненкампфа и Меллера, воскресят их милые героические тени. Вот где конец вольного и смелого человека, тесная связь с титанической природой. Музей русской личности, святой и преступной, но всегда вольной. И признаться, ездил по Сибири, читал о Вас, думал о Вас – вот где Леонид Андреев мог бы найти

тех, кого он любит и о ком тоскует, вот где его герои были бы своими, настоящими…»

А вот быстрый взгляд Ларисы: «Зеленые леса открылись посредине, как книга. И чтобы она не захлопнулась, между двух листов положена синяя закладка – ясная, веселая речка…» Она не вернется в Томск, но в 1924 году привезет с Урала книгу «Уголь, железо и живые люди».

Глава 4
«МАТЬ ПОЕТ…»

Перед отъездом в эмиграцию Михаил Андреевич получил приглашение Н. К. Михайловского сотрудничать с журналом «Русское богатство», редактором которого был В. Г. Короленко. Статьи о жизни в Германии М. Рейснер подписывал чаще всего псевдонимом М.Реус.

Берлин, Фазанекштрассе, 58

В первое время в Германии Рейснеры общались только со студентами, уволенными вместе с профессором, а также с соседом-врачом и одним давним другом. Через 20 лет о себе, восьмилетней, Лариса начнет писать рассказ «Мать поет…» и не напишет. Есть только начало: «Вероятно, каждому человеку в дни его ранней юности, почти на пороге младенчества, на несколько коротких мгновений приоткрывается вся скорбь и радость его будущей жизни. Это просветы бездонного ясновидения, почти невыразимые словами, оставляют след, подобный радуге на краю свинцового залива в ветреный осенний день, когда розоватые облака с безумной скоростью бегут над рдеющими золотыми соснами в темно-зеленых шапках, над песками, янтарными от заката, над мшистыми влажными склонами. Некоторым великим мастерам это выраженье было знакомо и они придали его лицу младенца Христа, и мудрому и не ведающему одновременно. Случай, о котором я сегодня помню так ясно, произошел 20 лет тому назад, когда мне было всего лет 8 и мои родители…» Еще одно воспоминание о детстве спустя 20 лет появилось в письме к родителям из Афганистана: «Давно мне не было так хорошо, и запах горных трав, вся эта дикость и высота напоминают что-то из времен детства. Особенно зеленые гладкие хвощи. Такие росли, если не ошибаюсь, в Schwarzwalde».

Одна из ее детских фотографий была снята в фотоателье, в Тюбингене. У декоративного плетня с хворостиной в руке и в белом платье с крылышками стоит очень серьезная девочка, лет восьми. Этот город известен своим университетом, основанным в 1477 году. А университет известен тюбингенской школой немецкого протестантизма. В университете учились Гегель, Шеллинг, Гельдерлин. Сохранился средневековый центр города. В конце XX века Тюбинген считался самым экологически чистым городом Европы несмотря на машиностроительную и текстильную промышленность.

Кёнигсбергский процесс

Май 1904 года в Берлине. Семья уже полгода как находится в критическом материальном положении. Статьи в «Русском богатстве» задерживались цензурой. Болела Екатерина Александровна, даже была при смерти. Лариса пошла в школу, надо было платить за обучение. Жили они в Целендорфе – рабочем районе, одном из 20 районов города с населением в начале XX века почти три миллиона жителей. Школьная плата здесь меньше, чем в других районах, но денег все равно не хватало. Частый рефрен в письмах Михаила Андреевича: «Остался без гроша, мое положение довольно-таки критическое…» Задерживались статьи цензурой, возможно, из-за того, что на недавно состоявшемся Кёнигсбергском процессе имя профессора Рейснера стало известным среди европейских юристов и политиков. Сотни газет давали отчеты с этого процесса. Начатый по желанию российского правительства Кёнигсбергский процесс неожиданно превратился в место судилища над этим правительством. Прусские юристы разыскали в архивах позабытый закон, который гласил следующее: Германское государство защищает на своей территории интересы других государств, если эти государства, в свою очередь, защищают на своей территории интересы Германии. На основании этого закона осенью 1903 года четверо немецких социал-демократов, помогавших русским революционерам переправлять нелегальщину через границу, были арестованы. В случае их осуждения открывался путь для преследования и разгрома в пограничных с Россией странах всей системы революционных связей. Из русского консульства на суд были представлены тексты русских законов, которые якобы защищали германский правопорядок на территории России. Обвинитель потребовал «взаимности в отношениях с нашим великим соседом». Суду были представлены также переводы захваченных при обыске русских брошюр – эти переводы сделал русский консул, их содержание доказывало, что русские революционеры суть «нигилисты, бомбисты и мошенники».

Затем слово получил адвокат Карл Либкнехт. Совсем молодой человек, он почтительно попросил дозволения произвести экспертизу по статьям русского государственного права. В зал пригласили эксперта. Им был М. Рейснер. И он заявил «высокому суду»: статей закона, охраняющих правопорядок Германской империи на территории Российской империи, в русском праве не существует! Они просто сочинены

лицом, передавшим суду эти материалы. Это известие произвело эффект разорвавшейся в зале бомбы.

Далее по просьбе адвоката эксперту пришлось объяснить суду, что и перевод «цареубийственных» брошюр сделан, деликатно говоря, тенденциозно: либо для него выбирались фразы, опровергаемые остальным текстом, либо – переведенные фразы просто сочинялись переводчиком. Консул ответил, что переводил второпях и теперь не может найти указанные цитаты. Особенно сильное впечатление произвели на суд произведения народовольцев – «чудовищных цареубийц», которые, оказывается, желали «скромнейшей конституции с достаточными гарантиями» и хоть «плохонького народного представительства, но имеющего право на самоулучшение путем агитации», то есть всего того, что уже полвека в Германии считалось нормой жизни. С этого момента адвокат К. Либкнехт с экспертом М. Рейснером уверенно повели суд за собой.

– Господин эксперт, объясните суду положение чиновников в России, – говорил Либкнехт.

Рейснер упоминал про знаменитый пункт, по которому русских чиновников увольняли со службы без объяснения причин, по одному желанию начальства. Судьи не верили: как же таким бесправным людям можно поручать управление государственными делами?

– Существует ли в России возможность произвести хотя бы ничтожные реформы легальным путем? – спросил адвокат.

– В России нет даже права петиций. Такое право предоставлено дворянским собраниям, но и им запрещено касаться общегосударственных дел.

Надо заметить, что русское самодержавие, как всякое другое, лелеяло свою добрую славу в мире. И вдруг здесь перед всем миром обнажились «систематическое и бессмысленное зверство, совершаемое при полной тишине и спокойствии; усмирительные оргии исключительно ради административного восторга; истребление человеков и уничтожение их прав в слепом азарте бесшабашного разбоя, не разбиравшего ни правого, ни левого» – так позже оценивал процесс Рейснер.

Сильное впечатление на общественность произвел тот факт, что эксперт Рейснер не числился нигилистом или социал-демократом. Он был из «фонского» рода. И не обличал, а просто перечислял статьи, параграфы, инструкции… Даже правые газеты писали: «С возрастающим любопытством глядит Европа на эту громадную империю. Сила ее парализуется недостатками ее управления». Об этом процессе М. Рейснер выпустит брошюру «Кёнигсбергский процесс К. Либкнехта против русского царя»

(Рязань, 1925). А в 1969 году в третьем номере журнала «Аврора» в рассказе о Ларисе Рейснер «В какой-то высшей точке бытия» Михаил Хейфиц с блистательным мастерством раскроет эту тему.

После Кёнигсбергского процесса Рейснеры подружились с Либкнехтами, с Бебелями. Тетушка Бебель потчевала Ларису сладкими пирогами. Стали иногда приходить письма от Ленина с благодарностью за «чрезвычайно ценное ваше сообщение… с надеждой на наше свидание с вами здесь. С пожеланиями успеха в борьбе». Статьи М. Рейснера начали печататься в ленинской газете «Пролетарий». Стали появляться связные. Одного из них, В. Воровского, Лариса узнает в дни революции. В таких обстоятельствах Михаил Рейснер быстро переходил, как писал в автобиографии, от «возмущенного либерализма к боевому решительному марксизму». Из его письма: «Я за границей стал каким-то присяжным экспертом по русским делам, участвовал в немецких публичных собраниях, читал доклады на немецком языке в Берлинском университете, в Вене».

В начале 1904 года против Михаила Рейснера в «Новом времени» выступил Петр Столыпин. В марте 1904 года Екатерина Александровна Рейснер писала к Иванчину-Писареву в журнал «Русское богатство»: «Михаил Андреевич жадно следит за событиями в России, жаждет возвращения туда. „Я возвращусь в Россию для более основательного знакомства с российскими архангелами, а семью приютят тогда томские друзья“». Либеральные веяния вызывают у него насмешку: «Суворинская весна идет. Все жду, что меня сам Святополк пригласит на место столоначальника в департаменте Петра Накатникова или Иудушки Головлева».

«Архангелы», то есть сотрудники охранки, уже ответили ударом из-за угла. «Недавно из Петербурга возвратился П. О. Шутяков, сотрудник „Мира Божьего“ и „Новостей“, – писал Рейснер, – и просил передать мне через моего старинного друга Вл. Мих. Фелькнера – чиновника здешнего финансового агентства, что обо мне он слышал в Петербурге на обеде писателей следующее: „Рейснер-де отлично умеет сидеть на двух стульях, работает в 'Русском богатстве', в то же время водит знакомство с посольскими…“ эту пошлую и дикую сплетню я без внимания оставить не могу… Вы знаете, я ехал за границу не из-за материальной выгоды. Я хотел работать под общим знаменем журнала и этим по возможности закончить то дело, которое я начал на кафедре… Мои цензурные неудачи заставили меня поломать голову над их причиной. Я не могу не заметить, что мои коллеги по Парижу и Лондону пишут нисколько не осторожнее меня, напротив, даже резче, а между тем их работы проходят… Я

отослал „японцев“ (о японском государственном строе)».

Сама Лариса вспоминала эмигрантскую жизнь в автобиографическом романе «Рудин». В приведенном из него отрывке описывается визит к Рейснерам художника-карикатуриста для работы в журнале «Рудин»:

«Топиков с любопытством:

– Скажите, зачем вы сделали такой важный стол. Он к вам обоим не подходит – такой чванный монумент. Зеленый глупый стол, нет? Вы не находите?

Мама заволновалась:

– Что вы, Топиков! Он деревянный, некрашеный, с сухими скрипучими ногами. Мой бедный важный стол.

Она подняла край бархатной скатерти, спускавшейся до самого пола самоуверенными складками, и стали видны козлиные, белые, скрещенные ноги великана, между которыми жались кипы старых книг, детские игрушки и елочные украшения.

– Раз вы теперь знаете секрет ученого стола, давайте я вам расскажу историю этой зеленой бархатной скатерти.

Все лицо Елизаветы Алексеевны смеялось, отчего исчезли страшные следы кухни, прачечной лоханки и черной лестницы с котами, нанесенные на ее тонкую и сухую кожу, точно графитом на благородный пергамент.

– Этот наглый зеленый бархат я купила за границей, когда Мише вдруг стали платить настоящими деньгами за его сумасшедшие писания и речи: у человечества иногда бывают свои странности. Так вот: чувствуя в кармане свои гроши и в душе нечто от прародительницы обезьяны, я носилась по огромному магазину, подыскивая для кабинета нечто могущее внушить уважение репортерам, приходившим в большом числе. Эти лихоимцы любят для своего вранья обстановку декоративную и устойчивую. Скатерть и сделалась взяткой их размашистому вкусу. Потом… потом газетчики перестали ходить на нашу Фазанекштрассе, швейцар получил от специального бюро полицейпрезидиума подробные инструкции относительно наблюдения, мы в тайне заложили ложки, а Михаил Николаевич сел писать новую книгу, которая, увы, и поныне не закончена…»

Война с Японией

Двадцать шестого января 1904 года с нападения японцев на русскую эскадру у крепости Порт-Артур началась война. На следующий день был затоплен крейсер «Варяг». Через два месяца при взрыве броненосца «Петропавловск» погибли адмирал Макаров и художник Верещагин. В конце года после 157 дней обороны был сдан Порт-Артур. Японский флот, будучи совсем молодым, безукоризненно скопировал всё лучшее, что существовало в мировом кораблестроении. 14 мая 1905 года произошло Цусимское сражение, и к утру 15 мая русская эскадра перестала существовать как боевая сила.

Перед Цусимским боем адмирал Зиновий Петрович Рожественский отдал приказ: «Японцы беспредельно преданы престолу и родине. Они не снесут бесчестья и умирают героями. Но и мы клялись перед Престолом Всевышнего». В бою адмирал Рожественский, раненый и без сознания, был взят с горящего миноносца в плен японцами. К нему в госпитальную палату пришел победитель адмирал Того со словами: «Поражение – это рок, участь, судьба, которая ожидает всех нас. Но в нем нет ничего постыдного, ни бесчестия, ни бессилия. Вы и ваши люди проявили подвиги изумительные. Я хотел бы выразить вам мое уважение и мое соболезнование. Надеюсь, вы скоро выздоровеете». Рожественский ответил: «Благодарю вас за то, что пришли меня навестить. Я больше не стыжусь, что был побежден вами» (журнал «Петербург-Классика», 2005, № 5). В июле 1905-го С. Ю. Витте прибыл на пароходе «Кайзер Вильгельм» в Америку, чтобы подписать мирный договор с Японией.

Леонид Андреев в письме К. М. Пятницкому в 1904 году писал: «Действительно, творится какая-то российская чепуха. Можно осатанеть от злости, живя в этой проклятой России, стране героев, на которых ездят верхом болваны и мерзавцы. Если война не закончится революцией, то наступит такая черная, глухая, беспросветная реакция… Самодержавная бессмыслица – кошмар, а не жизнь».

Революция 1905 года

В феврале Михаил Андреевич послал 165 рублей для помощи пострадавшим 9 января 1905 года на улицах Петербурга на имя Короленко в редакцию «Русского богатства».

Незадолго до баррикад в Киеве состоялся Второй съезд российских психиатров. Владимир Бехтерев говорил о необходимых условиях для развития личности и ее здоровья, о том, что российская казенная школа «нарочитое создание охранительной политики режима, а самый духовный климат страны губителен для существования полноценного человека».

В Таврическом дворце Петербурга в марте открылась выставка русских портретов. Собирая ее, Сергей Дягилев объехал более сотни помещичьих усадеб. Россия как будто прощалась с дворянской культурой, впервые представив с таким размахом и блеском ее представителей.

Ларисе десять лет. Из автобиографического романа «Рудин»: «Двое детей, рожденных со смертельной опасностью, были выкормлены легким и разрушительным гением анализа, царившего в семье. Они знали жизнь в десять лет, умели оценивать без ошибки все отчаянные схватки и наводнения, бросавшие их шаткое гнездо с места на место. Они привыкли видеть отца и мать в позе вечной обороны, в постоянном одиночестве, вызванном непримиримостью критериев, приложенных к жизни».

Четвертого февраля 1905 года эсер Иван Каляев у Никольских ворот Кремля бросил бомбу в карету московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, который погиб. Каляев был повешен в Шлиссельбургской крепости.

Четырнадцатого июня началось восстание на броненосце «Потемкин», поднялся мятеж на Черноморском флоте, летом 1906 года – Кронштадтское восстание. Вспыхнули крестьянские волнения, продолжавшиеся два года. В октябре 1905 года началась всероссийская политическая стачка. Одновременно происходили массовые еврейские погромы на Украине и в России. Об одном из самых кровавых кишиневских погромов летом 1903 года С. Ю. Витте писал, что устроенный при попустительстве Плеве, он свел евреев с ума и толкнул их окончательно в революцию. «Ужасная, но еще более идиотская политика».

Семнадцатого октября 1905 года Витте привез в Зимний дворец для подписания текст манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка». «На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли: 1)

Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний, союзов… предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права…»

В манифесте просвечивала явная двусмысленность обещаний, недоговоренность; исполнение всех его пунктов предоставлялось будущему «объединенному кабинету». Предотвратить революцию манифест уже не смог. Слишком долго откладывались необходимые реформы.

Начиналось вооруженное восстание в Москве. Михаил Рейснер оказался в Нарве, где участвовал в образовании Нарвского комитета РСДРП, таким образом вступив в партию большевиков. Под именем Иванова, сотрудника газеты «Эду», он приехал на Таммерфорскую конференцию РСДРП. Таммерфорс или Тампере – второй после Хельсинки город, озерный порт на юго-западе Финляндии. Большевики называли Финляндию «красным тылом революции». Всего на конференцию прибыл 41 делегат от 26 партийных организаций, из них 14 рабочих. Среди участников – Ленин, Красин, Сталин. Конференция высказалась за немедленное и единовременное слияние партийных центров на началах равенства и за бойкот Государственной думы.

К слову сказать, в разгар революции 15 декабря 1905 года в Петербурге был основан Пушкинский Дом.

Двадцать второго декабря 1905 года Рейснер был задержан во время нелегального собрания в квартире бывшего студента Ф. Н. Фальковского. В 1906 году Михаил Андреевич работал в комитете помощи прибалтийским беженцам-революционерам. Его уголовное дело закрыли по амнистии 1907 года «за неимением улик».

В 1905 году у Михаила Рейснера вышли две книги: «Русекая борьба за права и свободу» на немецком языке и «Государство и верующая личность» в серии «Библиотека „Общественной пользы“» в Петербурге.

Высшая школа общественных наук в Париже

Пока глава семьи занимался революцией, его жена и дети оставались в Париже, куда Михаила Андреевича пригласил Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) для работы в своей школе. Юрист, социолог, историк, он жил за границей, после того как его отстранили от преподавания в Московском университете. Читал лекции в Оксфорде, Стокгольме. Был знаком с Марксом и Энгельсом. Организовал Высшую социальную школу, для которой из Америки прислали средства, а Брюссельский университет дал школе права на свой докторский диплом. Лекции читались почти на всех европейских языках. Михаил Андреевич решил создать из школы центральный социалистический университет. Школа закрылась из-за партийных разногласий, и в 1906 году Ковалевский уехал в Россию. В Петербургском университете Ковалевский и Рейснер будут коллегами, но не единомышленниками. Ковалевский придерживался идеи эволюции, которая заключалась в постепенном усовершенствовании общественных учреждений. Прогресс он видел в росте социальной солидарности, но активно противопоставлял себя марксизму. Классовую борьбу рассматривал как признак незрелости того или иного строя и отводил немалую роль психологическим и биологическим факторам в жизни общества.

В апреле 1906 года Рейснеры вернулись из Парижа в Берлин. Еще в 1905-м Михаил Андреевич подавал прошение в Министерство народного просвещения с просьбой открыть курс лекций в Петербургском университете, но выехать в Россию все не удавалось. «Хотелось домой, учить детей дышать своим воздухом. Мы до того дошли, что ходили по вечерам на вокзал смотреть поезда, отходившие в Россию. Кондуктора кричали нагло, по огромным колесам стекало масло, пар взлетал горячим воздухом и уходил под сумрачное черное стекло крыши облаком какой-то идиотской надежды», – вспоминает в автобиографическом романе мать Ларисы. «Идиотская надежда» вскоре сбудется благодаря амнистии.

А пока Лариса «прыгает с парты на парту», как писал о дочери отец. В немецкой школе, где она училась, при хорошей успеваемости и поведении учеников сажали на первые парты, при плохом – на последние.

Один из знакомых Михаила Андреевича вспоминал: «Да

неужели это та, бойкая, правда, маленькая девочка, которая провожала нас с сыном в Берлине до трамвая? Положим, и тогда она поразила нас своей самостоятельностью. Как можно было поручать такое ответственное дело, как проводы с переходом через улицу, такому ребенку. И вдруг – взрослая девица, красавица, смелая, эффектная…»

Глава 5
ФАНТОМ ПЕТЕРБУРГА НА ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ

Финляндией дышал дореволюционный Петербург. Я всегда смутно чувствовал особенное значение Финляндии для петербуржца, и что сюда ездили додумать то, чего нельзя было додумать в Петербурге.

О. Мандельштам

Май 1907 года. В начале года объявлена амнистия политическим эмигрантам. Михаилу Андреевичу Рейснеру, согласно его прошению, пришло разрешение от попечителя учебного округа на чтение лекций в Петербургском университете и зачисление его на кафедру истории, философии, права приват-доцентом. Разрешение пришло по адресу: Троицкая улица, дом 38, квартира 15. Может быть, на этой улице было родственное гнездо Рейснеров? Недалеко, на Чернышевой площади, находилась 6-я гимназия при Министерстве народного образования, которую окончил Миша Рейснер. Поскольку в этом же доме в XIX веке жил Антон Рубинштейн, то улицу в 1920-х годах переименуют в улицу Рубинштейна.

Семью Михаил Рейснер привез не в Петербург, а сначала поселил на даче в Финляндии. Первым «своим воздухом» оказался для них финский морской. Лара и Игорь Рейснеры провели летние месяцы на побережье Финского залива, там, где в него впадает Черная речка, Ваммельйоки, у деревни Ваммельсуу. Это место на Карельском перешейке одно из самых красивых. От Ушкова до Черной речки вдоль залива рядом с зеленогорским шоссе тянется длинная гора, вся поросшая деревьями. Недалеко от Черной речки гора выходит к шоссе и открывается песчаным карьером. Если бежать вниз по песчаным склонам к заливу, возникает состояние полета. Петербуржцы в начале XX века называли эту местность «Финляндской Ривьерой», но чаще – «Черной речкой».

Дачный бум возник в 1830-х годах. Петербург считался самой нездоровой столицей в Европе. Существовали летние лагеря, куда обязательно вывозились детские приюты. Дачи сдавались в

начале XX века вплоть до Выборга. Финляндия привлекала, как и Эстония, устроенным бытом и чистотой. Поезда туда шли так же часто, как и сейчас. До Териок (Зеленогорска) дорога занимала один час двадцать минут. В дачных поселках были общества по благоустройству. За Черной речкой, в Молодежном, возникли кооперативные дачные поселки. Дача Владимира Бехтерева стояла особняком на берегу залива дальше Молодежного. Впоследствии у Бехтерева Михаил Андреевич будет преподавать в Психоневрологическом институте, а Лариса – учиться. Еще дальше, в Приветнинском, с 1901 по 1911 год, то есть до конца жизни, жил Валентин Серов. Бывал здесь и Николай Рерих.

И на Черной речке было много дач. В них селилась в основном, интеллигенция: Л. Андреев, Г. Чулков, П. М. Милюков, композитор А. Серов. В устье Черной речки располагалась дача Александра Бенуа. Он писал, что исходил все ближайшие окрестности и находил много поэтических мотивов. Ходили в лиственничную рощу, посаженную по инициативе Петра I для корабельных мачт (Мустомяки-Рощино).

Где-то на Черной речке снимали дачу летом 1907 года и Рейснеры. Здесь завязались дружеские отношения Леонида Андреева с Михаилом Андреевичем, который был восхищен творчеством писателя. В 1909 году Рейснер издаст книгу «Леонид Андреев и его социальная идеология. Опыт социологической критики». Возможно, они сблизились, обсуждая политические новости, и в чем-то нашли единомыслие. А новости были серьезные. 3 июня 1907 года Вторая Государственная дума была распущена правительством. Петр Аркадьевич Столыпин, в то время министр внутренних дел и председатель Совета министров, получил якобы сфабрикованную охранкой фальшивку о существовании заговора социал-демократических фракций против государственного строя. Он добился роспуска Второй думы и провел новый избирательный закон в пользу правых партий. Это означало конец революции, которая принесла России первые демократические свободы, первую конституцию, первые уроки парламентаризма, попытку провести аграрную реформу.

Сближало Андреева и Рейснера их участие в революции. В феврале 1905 года Андреев просидел в Таганской тюрьме несколько недель за то, что предоставил свою квартиру нелегальному собранию большевиков. Горький боялся, что психика Андреева не выдержит тюрьмы, но Андреев нашел в этом и положительный момент: «Это хорошо, когда тебя сожмут, хочешь всесторонне расшириться». Он был выпущен под залог в 10 тысяч рублей, данных Саввой Морозовым.

Леонид Андреев был связан со Свеаборгским восстанием. Он

рассказывал: «Хотели арестовать меня и в 1905 году. Вечером предупредили, пришлось в ту же ночь собраться и нелегально через Финляндию выехать за границу. Может быть, надолго. Но тогда это не огорчало, не пугало. Я знал тогда, для кого пишу. Знал также и то, кому был нужен мой арест. Кто угрожал расправой».

За границей Леонид Андреев вошел в Лозаннский международный комитет для помощи русским безработным рабочим. Комитет обращался к рабочим Европы с просьбой помочь русскому народу «посильным материальным и моральным содействием… Рабочие всего мира должны помогать друг другу в общем для всех освобождении труда от гнета капитала и насилия власти! Эта взаимная помощь сольет их во единую неодолимую силу и ускорит победу справедливости над произволом, правды над ложью, человека над животным». Подписали это воззвание Максим Горький, Леонид Андреев, Александр Амфитеатров и другие.

Андреев, как и Рейснер, вернулся в Россию после амнистии. В 1908 или в 1909 году Леонид Николаевич пригласит семью Рейснера пожить у него на даче в финской деревне Ваммельсуу.

В гостях у Леонида Андреева

Мне царь нужен, мне нужен, хоть призрачный, образ одинокого, свободного и смелого человека, который заглянул во все дыры мироздания, который отверг славу, могущество, мудрость во имя чего-то лучшего, имени чему я не знаю.

Леонид Андреев

Несмотря на многочисленных интересных соседей и ярких личностей, «гением этого места» стал Леонид Андреев, самый знаменитый писатель тогда. Произведения Андреева отличались огромной силой эмоционального воздействия, новизной тем, средствами выразительности. Горький как-то обмолвился: ты, как всегда, царь в неизведанном и на путях тьмы. С 1906 по 1908 год на Черной речке строился дом Андреева. Строил его архитектор Андрей Оль по рисункам писателя. С весны 1908-го по 1919 год Леонид Андреев с семьей будет жить здесь постоянно. Он и похоронен будет в 1919 году на местном кладбище, пока в 1956-м его прах не перенесут на «Литераторские мостки» Волкова кладбища в Ленинграде.

Когда строился дом, писатель со старшим сыном Вадимом и матерью Анастасией Николаевной, которая никогда с «Коточкой» не разлучалась – так любила, жил в Петербурге на Каменноостровском проспекте (дом 13, квартира 20, на пятом этаже) или в «Пенатах» у Ильи Репина.

Дом свой Леонид Андреев задумал в стиле норвежских замков. Летом 1907 года он писал Максиму Горькому, с которым дружил: «Живу я широко и весело. Куоккала, песок, терраса, через забор смотрят дачники, спрятаться некуда. А у меня сердцебиение. Спасаюсь на день – на два на Черную речку, но и там – пронюхали. Купил там кусочек горки и строю крепость. Будет потайная комната, куда лазать на четвереньки».

К другим адресатам: «Нужно в пустыню. Вот и Морозов говорит, что он хочет на месяц в пустыню – устал. То же слышал вчера от одного серьезного работающего человека: эти галопирующие дни очень утомляют. Сидишь в комнате, а впечатление такое, будто едешь в скором поезде». Андреев часто говорил журналистам о своем желании уйти в деревенское уединение, чтобы свободно писать о «вневременном» и

«внепространственном».

«И знать не буду, пока не отойду от житейской суеты и в дикой пестроте явлений не усмотрю какого-то великого и еще неведомого мне единства. От этого так и люблю я будущий дом с его всяческой приспособленностью к одиночеству и работе…»

«Мы сидим в огромном кабинете. Глядишь из одного конца, другой смутно теряется вдали, и лишь блестят на камине старинные еврейские семисвечники. И пол, и потолок, и стены обтянуты серым сукном. В громадной раме зловеще слетелось черное воронье кисти Рериха. Бронзовая статуя Медичи – глаз не оторвешь – Микеланджело. Ничего крикливого, на всем рука строгого художника… Я хочу красиво пожить», – вспоминал А. Серафимович.

Леонид Андреев: «Недалеко время, когда я напишу „Революцию“ (она является третьей в цикле пьес) – тогда Луначарский поймет, что в бессмертии я смыслю больше, чем он, и смерти боюсь меньше, чем он. Да и пролетариат ценю, пожалуй, больше, чем он». Будучи любителем парадоксов, Андреев оставил немало выразительных высказываний о свободе творчества, о праве художника сегодня быть мистико-анархистом, послезавтра идти к Иверской иконе на молебен, оттуда – на порог к частному приставу. Все приводимые высказывания относятся к 1906–1908 годам.

Осенью 1906 года написано одно из центральных его произведений – пьеса «Жизнь человека». Пьесу эту писатель сначала прочитал Георгию Чулкову, который вместе с Вячеславом Ивановым проповедовал мистический монархизм и в это же время написал статью о мистическом анархизме. Андреев не принадлежал ни к каким кружкам, школам, партиям (быстро уходил отовсюду). Он горячо увлекался и уходил с головой в разные идеи и дела. То он, к примеру, становился всего лишь фотографом и делал превосходные редкие в ту пору цветные снимки своих гостей или же становился художником, писал портреты своих близких (в молодости он зарабатывал портретами на жизнь), делал копии с любимых картин Гойи, Рериха, писал свои.

Одна из его картин называется «Один оглянулся». Много людей в сером, как понурое стадо, уходит куда-то, а один – «Некто в сером» – оглянулся и смотрит на нас. Валентину Серову нравились картины Андреева, и он подружился с писателем. Младшего сына Леонид Андреев назвал в честь своего друга Валентином.

Летом писатель становился бывалым капитаном и водил яхты (их было несколько) до норвежских шхер. Все в доме – и близкие,

и слуги, и гости – заражались его увлечениями.

Увлечение мистическим анархизмом

Георгий Чулков писал: «Под мистицизмом я разумею совокупность душевных переживаний, основанных на положительном иррациональном опыте, протекающем в сфере музыки. Я называю музыкой всякое творчество, основанное на ритме и раскрывающее нам непосредственно ноуменальную сторону мира. Борьба с догматизмом в религии, философии, морали и политике – вот лозунг мистического анархизма. И не к безразличному хаосу приведет борьба за анархический идеал, а к преображенному миру, если только наряду с этой борьбой за освобождение мы будем причастны к мистическому опыту через искусство, через религиозную влюбленность, через музыку вообще».

В 1920-е годы мистический анархизм получил широкое распространение среди творческой интеллигенции. Его истоки уходят в гностическое христианство. Гностицизм был одной из самых свободных мировоззренческих систем без догматических ограничений. Мистический анархизм приближался и к протестантизму, и к экзистенциализму. Их объединяло признание внутренней свободы, дающей право на самостоятельное осмысление духовного начала жизни.

Мистический анархизм становится синонимом ненасилия. Из движения преимущественно революционного мистический анархизм превратился в мягкое мировоззренческое движение. Философский анархизм существовал и раньше у таких мыслителей, как Торо, Ганди, Толстой, Кропоткин; его идеи будут развивать Н. Бердяев, В. Швейцер… В наше время представителем этого направления стал удивительный ученый с мировым именем – Василий Васильевич Налимов (1910–1997). Философ, математик, доктор технических наук, автор двух десятков книг, он человек целостного знания. Ненасилие, по Налимову, единственно возможная основа культуры будущего, в противном случае будущего просто не будет. Теория размытых смыслов роднит мистический анархизм с экзистенциализмом. «Мы пришли на землю для проникновенного Дела. Для Бунта. Для встречи с трагизмом, неизменно ведущим к страданию. Пришли, чтобы увидеть Христа во всем. Великое Знание динамично. Его надо раскрывать по-новому, заново, каждый раз».

Стремление расширить границы мировосприятия человека, устремляясь в запредельное, было в природе Леонида Андреева. О любимом Рерихе он писал: «Гениальная фантазия Рериха достигает тех пределов, за которыми она уже ясновидение.

Можно позавидовать рериховскому человеку, что сидит на высоком берегу и видит мир, мудрый, преображенный, прозрачно-светлый и примиренный, поднятый на высоту сверхчеловеческих очей».

Много лет спустя в книге «Роза мира» Даниил Андреев напишет об отце: «Художники слова предчувствовали, искали и находили либо, напротив, изнемогали в блужданиях по пустыне за высшим синтезом религиозно-этического и художественного служения. Обратим внимание на глубокое чувство и понимание Христа у Леонида Андреева, которое он пытался выразить в ряде произведений и, в первую очередь, в своем поразительном „Иуде Искариоте“, – чувство, все время боровшееся в душе этого писателя с пониманием темной, демонической природы мирового закона, причем эта идея, столь глубокая, какими бывают только идеи вестников, нашла в драме „Жизнь человека“ выражение настолько отчетливое, насколько позволяли условия эпохи и художественный, а не философский и не метаисторический склад души этого писателя».

Дружба Михаила Рейснера с Владимиром Бурцевым

В лето 1907 года на Черной речке вспыхнула еще одна дружба Рейснера – с Владимиром Львовичем Бурцевым, который уже был знаменит своими разоблачениями эсера Азефа как платного агента Третьего отделения полиции. Леонид Андреев в 1907 году в «Историко-революционном альманахе» издательства «Шиповник» под редакцией В. Бурцева напечатал свой очерк «Памяти Владимира Мазурина» – эсера, которого за ограбление банка казнили. Этот альманах был уничтожен цензурой.

Этим же летом Владимир Бурцев показывал Корнею Чуковскому секретный ящичек, где хранился документ о том, что Михаил Рейснер причастен к тайной службе доносительства. Михаил Андреевич узнает о сплетне, идущей от его «друга», только через два года. Петербург встречал Рейснеров клеветой. Слухи о различных разоблачениях многих достойных людей носились тогда в воздухе.

Андреев – Горькому: «Еще один признак, по которому можно узнать не уважающего людей: это та легкость, с какою клеймят, грозят, казнят человека. Уважение в том и заключается, что всякий человек по презумпции считается хорошим, и нужно обратное доказывать. И наоборот, человек заранее считается способным на всякую мерзость, и что бы о нем ни сказали, в чем бы его ни обвинили, всему дается легкая, дешевая вера. В дальнейшем развитии своем это приводит к выискиванию в человеке для всех его действий самого гнусного мотива».

Александр Блок в это лето писал А. Белому: «Когда один человек думает о другом – он свободен, когда же об этом другом уже „перемигнутся двое“ – дело кончено, затравлен человек, и от травли увеличатся его пороки и еще уменьшатся его добродетели».

Владимир Бурцев вскоре уехал за границу. Через два года Михаил Рейснер, проведя собственное расследование возникновения клеветы и обратившись к общественному суду чести, разорвет с ним отношения.

Детство на Черной речке

Местность около впадения Черной речки в Финский залив можно назвать уникальной по разнообразию красоты, по влиянию на духовную жизнь Петербурга. Это отмечал не только Осип Мандельштам. Судьба, видимо, безошибочно помещает человека в необходимое ему пространство, круг людей и событий. Время, проведенное Ларисой Рейснер на Черной речке, совпало с вершиной творчества Леонида Андреева. Для Ларисы он был первым учителем литературы. В 1920-е годы она хотела выпускать альманах «Мой любимый писатель», в котором первая публикация должна быть о Леониде Андрееве.

Недалеко от Рейснеров находилась дача Владимира Бехтерева. Позже Лариса будет заниматься в его институте вопросами бессмертия. Один из ее современников считал, что Ларисе надо было посвятить себя только этим научным исследованиям.

А пока Ларисе 12 лет. Поскольку ее записей о пребывании в Ваммельсуу нет, помогают представить ту атмосферу воспоминания детей Леонида Андреева: «Детство» Вадима Андреева (1903–1977), «Дом на Черной речке» Веры Андреевой (1910–1986), «Что помню об отце» Валентина Андреева (1912–1988).

Вере Андреевой в пору ее отъезда из Ваммельсуу было около десяти лет, но в памяти любимые места детства сохранились подробно, ярко, живо. Одни места, одни игры, к тому же Вера, как и Лариса, обладала горячей душой, самостоятельностью, независимостью, отчаянной храбростью, потому к ее воспоминаниям мы и обратимся:

«Дом гордо стоит на холме, его широкие трубы четко вырисовываются на синем небе. Красная крыша весело светится на солнце, от ворот едут коляски. Это гости. Медный гонг звучными ударами сзывает всех к чаю… мы возимся с постройкой своего жилища-шалаша или сидим на ветках излюбленных деревьев, раскачиваясь и напевая „Шумел, горел пожар московский…“. В скользящей тени берез, отдельной группой стоящих на лужайке перед домом, сидит папа за столом, уставленным всякой снедью. Пыхтит самовар, пуская тоненькую струйку пара. Около него суетится бабушка, перетирая и без того чистые стаканы. Самый большой стакан она наполняет крепким пахучим чаем и протягивает папе. Как весело, как добродушно улыбаются его темные глаза, как хорошо, как светло кругом!.. Я любила громадный деревянный дом. Мне было хорошо в нем, так

хорошо, как нигде в мире. Мне странно было слышать от взрослых, что наш дом неуклюж и несуразен, что комнаты слишком велики и неуютны – что они понимают?.. Странный был дом, конечно. Повсюду был заметен мрачный мятущийся дух его владельца – на всем лежала его печать. Широкая лестница на второй этаж образовывала площадку, на которой всегда было темно. И на самой темной стене висел огромный картон с нарисованным на нем „Некто в сером“. Серые тяжелые складки его одеяния падали до самого пола, в руке он держал зажженную свечу. Ее желтый свет снизу резко освещает его каменное равнодушное лицо. Страшные глаза, чуть сощурившись, неотступно глядят в пробегающие фигурки людей… Наверху лестница выходила в большую переднюю-холл. Однажды папа с испуганным видом пришел к бабушке и зашептал ей: „Ты не слышала ночью шагов в прихожей и покашливания? Я прихожу, а там следы на потолке, – наверное, домовой?“ Суеверная бабушка быстро крестилась, шептала: „С нами крестная сила“, а папа, страшно довольный, хохотал, так как не кто другой, как он сам намалевал эти следы черной масляной краской.

У нас, детей, был свой неписаный закон чести, по которому считалось недопустимым и постыдным смалодушествовать перед препятствием… На пляже широкая гряда больших и круглых валунов, которая тянется далеко по берегу, отделяя песчаный пляж от медных колонн соснового леса. Эти камни были навалены в причудливом беспорядке и гладко обточены водой. Они глухо гудели под ногами, когда мы неслись по ним со страшной скоростью, едва касаясь босыми подошвами теплой поверхности. Такой бег требовал быстроты и точности движений, хорошего глазомера, молниеносной находчивости, просто отваги… Папа научил нас прыгать с высокой стены на песок. «Прыгайте на носки, не на пятки!» – говорил он, и мы с замиранием сердца летели с трехметровой высоты… А песок! Такое количество чудесного, мелкого, бледно-желтого песка… Хочется бегать, носиться, бросаться в него с разбега, кататься, обсыпаться без конца. А главное, копать. Руками, лопатками, палками. Выкапывать ямы, бассейны для рыбок, возводить башни, крепости, просто кучи – как можно выше и больше…

Для подбодрения духа и для быстроты срезались хлыстики, непременно из молодых побегов рябины или ивы, причем на конце обязательно оставлялся пучок мягких листочков. Пробираясь рысцой по заросшим подорожником тропинкам, мы легоконько стегали себя по ногам этими хлыстиками, приговаривая в такт: "Мендель-рысью, мендель-рысью… " Что это заклинание должно было означать и откуда оно взялось, этого

никто не знал, но оно значительно облегчало бег и придавало ему известный ритм и гармонию. Такой «мендель-рысью» мы могли пробежать много километров, а на лицах у нас в это время расплывались блаженные улыбки, вызванные ритмичной слаженностью движений…

Однажды – дело было к вечеру и заходящее солнце бросало косые лучи в сторону Петрограда – мы, как всегда, носились по пляжу. Воздух был как-то особенно тих и прозрачен, на море абсолютный штиль и белесые волны, гладкие и ленивые, как будто политые маслом. Вдруг слышим – бегут, кричат: «Смотрите, смотрите!» Все показывают налево, в ту сторону, где Петроград. И что мы видим! Приподнявшись над чертой горизонта, прямо в воздухе – голубой, прозрачный, невесомый – предстал перед нами Петроград. Вот дома, улицы, вот величественная громада Исаакия… Вот какие штуки умеет выделывать море, а взрослые говорят – Маркизова лужа!»

Глава 6
В ПЕТЕРБУРГ С ПЕРВЫМ ТРАМВАЕМ

Самым царственным городом в мире остается, по-видимому, Петербург.

А. Блок

Рядом с Петербургом европейские столицы – немного провинция.

Н. Гумилёв

В очерке «Закат над Петербургом» Георгий Иванов приводит отзывы очарованных блистательным Санкт-Петербургом иностранцев: «Город-мечта, волшебно возникший из финских болот, как мираж в пустыне», «Версаль на фантастическом фоне белых ночей», «Соединение Венеции и Лондона».

И вот фантом Петербурга стал реальностью. Лариса и Игорь – на элегантном, как назвал его Д. Лихачев, Финляндском вокзале. Первый трамвай в Петербурге пустят 16 сентября, через месяц после приезда Рейснеров. Все лето 1907 года усиленно готовят улицы под трамвайные пути, укладывают шпалы и новые рельсы на путях конок, ставят столбы под провода, строят новые подстанции. Первый экспериментальный электрический вагон пошел еще в 1880-м вместе с 40 пассажирами. Этим вагоном стал обычный темно-синий вагон конки с империалом. С Финляндского вокзала до угла Введенской улицы и Большого проспекта поехали на конке. Квартира, которую снял Михаил Андреевич, – на Петроградской стороне, на Большой Зелениной улице, дом 28 (26-6 – при Ларисе).

Художник Мстислав Добужинский вспоминал тогдашнее уличное движение: «Длинную вереницу „Ванек“, державшуюся ближе к тротуару, перегоняли слева лихачи, кареты, ландо, „эгоистки“ (узенькие дрожки или сани на одного седока) и другие собственные экипажи. На кушаке кучера этих экипажей часто красовались прикрепленные над толстым задом армяка большие круглые часы, чтобы барину было удобнее следить за драгоценным временем».

Тротуары из известняковых плит вдоль булыжных мостовых выглядели красиво, отмечал Д. Лихачев и добавлял, что петербурженки имели прекрасную легкую, изящную походку и

держались очень прямо.

По дороге на Острова

У Ларисы от природы был цепкий и памятливый на детали взгляд художника. Ее отец еще гимназистом старших классов получал призы в школе Общества поощрения художников. Позднее литературный стиль Ларисы будет щедр на зримые метафоры, с помощью которых осмыслялась суть происходящего. Куда бы она ни приезжала, всюду искала художественно-исторический образ впервые увиденной местности.

Введенская линия конно-железной дороги проходила через Сампсониевский мост. Слева от моста к 200-летию города решили заложить училищный дом им. Петра Великого (будущее Нахимовское училище). Городская дума хотела оставить по себе добрую память, открыв несколько училищных домов, больницу им. Петра I, Троицкий мост. Тогда же было решено отменить плату за обучение в начальных школах и открыть их для всех городских детей. А тем, кто жил далеко от школы, постановили выдавать бесплатный билет на конку. На праздник 200-летия Дума отпустила мало денег, но все же «город был наряден, красив и интересен», – отмечали очевидцы. 100-летний и 150-летний юбилеи не имели праздничных украшений, Александр I и Николай I не склонны были тратить на это казенные деньги. Петроградскую набережную к 200-летию одели в гранит, а за месяц до приезда Рейснеров приехали из Маньчжурии на эту набережную два гранитных мифологических существа «ши-цза» (львы-лягушки). Рядом с ними – великокняжеский особняк, где в 1919 году начнет работать Институт по изучению мозга и психической деятельности. Его организатором и руководителем станет В. Бехтерев.

Конка поворачивает с Большой Дворянской на Кронверкский проспект, огибая только что построенный особняк балерины Матильды Кшесинской. На небольшом пространстве такое блистательное и странное соединение многообразных смыслов: училище Петра I, крейсер «Аврора», который застынет на стоянке напротив училища в 1948 году, «львы-лягушки», особняк балерины. Напротив особняка Кшесинской – Ортопедический институт (1903) с майоликой Божьей Матери на его стене (автор Петров-Водкин), татарская мечеть. Одновременно с ней в 1910-х годах на Приморском шоссе, напротив Елагина острова, будет построен самый северный в мире и единственный в Европе буддистский храм. Петербург считался самым веротерпимым российским городом.

Введенская улица переходит в Большую Зеленину. В начале

ее еще стоит постоялый двор. На Введенской против Введенской церкви живет будущий первый российский лауреат Нобелевской премии физиолог Иван Павлов, через несколько лет здесь же въедет в новый дом художник Борис Кустодиев. Эти улицы ведут на Острова, поэтому с начала века быстро застраиваются доходными домами. При Петре I на Зелениной, на берегу реки Карповки, были зелейные (пороховые) заводы, переведенные вскоре на Охту. Потом эта улица видела множество экипажей, карет и пешего люда. Улица кончалась перевозом (с 1850 года – мостом) на Крестовский остров. Здесь был целый мачтовый лес, качалось множество шхун, барж, яликов.

На Крестовском острове с XVIII века проходили увеселительные гулянья, имелись немецкий трактир, ресторан «Крестовский» – напротив входа на Елагин остров, проводились спортивные состязания. С конца XIX века появились гребной клуб, речной яхт-клуб, легкоатлетический стадион, теннисный клуб. Каменный остров – с богатыми дачами, на Елагином – царская резиденция.

На Большой Зелениной перед мостом стоял трактир «Крестовский», дом сохранился и, возможно, помнит Александра Блока. На Крестовском мосту на блоковского героя упадет с неба голубая звезда. Поэт любил долгие пешие прогулки по этой окраине Петербурга, в чем признавался художнику Юрию Анненкову, который жил на углу Геслеровского (Чкаловского) переулка и Большой Зелениной, в доме дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества (1900). Общество учредил император Александр I. На другом углу – Институт слепых, Детский ремесленный приют от того же общества и Исидоровский дом убогих.

Окраина дворцов, нищих слобод, благотворительных домов

По сведениям Л. Лурье, историка, директора одной из первых возрожденных ныне гимназий в городе и на Петроградской стороне, – церковный приход от Большой Зелениной до завода «Вулкан» был одним из самых бедных, но имел самую интенсивную духовную жизнь. В небольшом районе Петроградской стороны находилось много благотворительных заведений, при которых были церкви. На Стрельнинской, 11 – Дом трудолюбия Петровского общества вспоможения бедным, на Лахтинской, 12 – приют детей-калек при Ортопедическом институте, на Гатчинской, 5 – приют Господа Христа в память отрока Василия. На Малой Зелениной, 4, недалеко от дома Ларисы – детский приют Великой княгини Александры Петровны. А на Песочной улице и Песочной набережной, тоже неподалеку от рейснеровского дома, там, где еще оставалось много дач XIX века, – целый куст приютов. На углу Песочной набережной и Каменноостровского проспекта – частные школа и богадельня. На Песочной улице, 37 – Александро-Мариинское училище для слепых. Перед ним с 1906 года по 1960-е стоял памятник в честь К. К. Грота, председателя Общества попечения о слепых: сидящая девочка в форменном школьном платье держит на коленях раскрытую книгу с алфавитом для слепых. В доме 14 по Песочной набережной – приют Великой княгини Екатерины Михайловны для призрения детей, когда их родители находятся в больнице. На Песочной улице, 38 – убежище для детей, чьи родители в тюрьме. На углу Песочной улицы и улицы Грота – богадельня для слепых женщин. Эти приюты были столь многообразны, что показалось нелишним привести их названия.

На Большом проспекте Петроградской стороны, 68, находился Лавальский детский приют. Дача Лавалей сохранялась еще в начале века там, где потом построят Дворец молодежи, в конце Песочной улицы. А в XIX веке здесь часто бывал С. Н. Трубецкой, зять хозяина дачи, а также его друзья декабристы и Пушкин; это в пятнадцати минутах хода от Большой Зелениной. А по другую сторону от дома Ларисы, и также от него недалеко, – дворец Петра I на Петровском острове. Он сгорит году в 1912-м. Сохранится на Колтовской набережной перед Крестовским мостом дача Глуховского, единственный сейчас образец в Петербурге типичной усадьбы 1810-х годов.

Странная была окраина, вернее, Петербургская сторона,

когда нищета и дворцы рядом. «…Тихие улицы, плохо мощенные, пестреющие буколистическими вывесками мелочных лавочек… низкие, покосившиеся деревянные дома. На окнах герань, флаконы из-под духов, пузатые с красными цветами чайники. Доносится шум швейной машинки и запах бедности, на крыше – скворечник, над крышей слабое какое-то прозрачное небо. И как дешевы квартиры на Петербургской стороне! Но и за них трудно платить! Вчера приходил старший дворник, и третьего дня… Местами тихие улицы, по которым профессор шел к университету, были овеяны ранним теплом, снежные шапки на деревянных заборах, пухлые наметы отлетевшей вьюги издавали тревожный холодный аромат, какой бывает только в феврале. Самый снег пахнет весной, чуть ли не замороженными фиалками», – писала Лариса Рейснер в «Рудине».

В «крестовской» части Большой Зелениной за новыми домами в обе стороны тянулись огороды и пустыри. Правда, дома эти напоминали маленькие городки. У дома 26 было четыре двора и пять построенных в параллель зданий. В третьей подворотне, выходящей на Корпусную улицу, чудом сохранилась кованая решетка ворот – шедевр этого вида искусства, которым славилась здешняя Колтовская слобода. У дома 28, где поселятся Рейснеры, – два двора, на последних этажах – огромные окна художественных мастерских. Во дворах-колодцах сохранились скверики с сиренью. На фасаде дома между окон двух последних этажей – роскошное мозаичное изображение морских и промышленно-городских далей. Напротив, по углам Барочной улицы, два дома с башенками и флюгерами на них. В одном из домов помещалась государственная библиотека-читальня Островского. Оазис модерна среди огородов окраинной улицы.

Дом Лейхтенбергского

Дом 28, в котором Рейснеры прожили с 1907-го по 1918-й, был создан в 1904–1905 годах архитектором Федором Федоровичем фон Постельсом для герцога Николая Николаевича Лейхтенбергского (1873–1960). Этот дом считается одним из лучших зданий в стиле декоративного модерна, с уникальными мозаичными панно. На Каменном острове у архитектора была собственная маленькая дача, широко известная как «Золотая рыбка». Сейчас осталась одна стена, башни давно нет.

Работал архитектор и как живописец, и как график. Его дед Александр Филиппович, тайный советник, член Совета министра народного просвещения, был знаменит как хранитель минералогического кабинета и директор 2-й гимназии, причем 20 лет его руководства считались лучшими в истории учебного заведения. В юности, после окончания Петербургского университета, дед отправился в кругосветное путешествие на три года на шлюпе «Сенявин». То-то на пяти мозаичных панно дома, построенного его внуком, – паруса и дымки из труб далеких кораблей на горизонте. Отец архитектора Федор Александрович был директором Лесного института, его любили и уважали студенты.

Николай Лейхтенбергский, пятый принц Богарне, правнук Николая I – ровесник архитектора, во время проектирования дома им обоим было около 30 лет. Интересы его предков отразились в судьбе Ларисы. Дед и прадед Лейхтенбергские ездили по Уралу, осматривали частные и казенные заводы, оренбургские золотые прииски. Лариса Рейснер выпустит книгу про эти заводы «Уголь, железо и живые люди».

Старший из Лейхтенбергских – герцог Максимилиан-Евгений-Иосиф-Август-Наполеон (1817–1852) был назван в честь деда, баварского короля Максимилиана-Иосифа. Его отец – пасынок Наполеона Евгений Богарне. Сам он женился на любимой дочери Николая I Марии и стал в России членом Академии наук, так как увлекался гальваникой и любил горное дело. Академия художеств избрала его почетным членом за его дар коллекционера картин. В Петербурге известны Максимилиановская больница, Максимилиановский мост через Обводный канал напротив Балтийского вокзала, Максимилиановская улица (ныне Розенштейна). Он выстроил гальванопластический и паровозный заводы. Его первые в России паровозы много лет обслуживали Царскосельскую железную дорогу. В России этого герцога называли «залетевшим орлом».

Жильцы дома 28 по Большой Зелениной улице не могли не знать о знаменитых петербургских родах Лейхтенбергских и Постельсов.

В новом доходном доме герцога имелись водопровод и телефон. В среднем по городу в 60 квартирах из 100 водопровод был. А вот электричество было тогда только на центральных улицах и появилось на Петроградской стороне лишь в 1916 году. Возможно, имелись и ванные комнаты. Недалеко от Большой Зелениной – на Широкой улице, в доме 52, построенном в 1912 году, в квартире 24 есть ванная комната, где стоит небольшая медная ванна и чугунно-металлическая дровяная колонка. Эта квартира в 1927 году стала музеем Ленина и потому сохранила жилой интерьер и бытовую обстановку. Жил в ней М. Т. Елизаров, директор и управляющий «Первым пароходным обществом по Волге» с женой Анной Ульяновой-Елизаровой, ее сестрой Марией Ульяновой, тещей Марией Александровной Ульяновой, приемным сыном. В квартире три комнаты и гостиная, где стоит пианино. До своей смерти в возрасте 82-х лет Мария Александровна играла на нем ежедневно. Теперь музей называется Елизаровским и, как музей интеллигенции начала века, – один из немногих в Петербурге.

Отрочество на «боевой» улице

У Рейснеров – четыре комнаты. Еще в 1970-х годах старожилы называли квартиру 42, где Рейснеры прожили почти 11 лет, – профессорской. Детская, спальня родителей, кабинет М. Рейснера и самая большая комната – гостиная. Стоила такая квартира на пятом этаже около 500 рублей в год, что могли позволить себе лишь немногие жители Петербурга. Его население в 1 миллион 200 тысяч человек тогда составляли 65 процентов крестьян, 23 – мещан, 6 – потомственных дворян, 3 – личных дворян, 2 – почетных граждан, 1 процент – купцов. Большая часть жителей снимала комнаты в подвале или мезонине, стоившие тогда 110–120 рублей.

Интеллигенция на окраинах жила среди народа. В 1904 году санитарный врач обследовал петербургские трущобы. На две комнаты – четыре семьи и 15 человек. Из 200 одиноких жильцов только 18 спали на отдельной кровати. Пьянство было повсеместным. Уже ранним утром попадались пьяные люди из нижних сословий. Правительственные указы по борьбе с этим злом неоднократно выходили уже при Елизавете. В 1907–1909 годах особенно часто выступал против пьянства знаменитый юрист А. Ф. Кони, а в 1911 году Академия наук организовала семинар ученых на эту тему. Как всегда, особенной популярностью среди народа пользовались и кулачные бои.

В очерке «Субботник» в 1920 году Лариса расскажет, как ее – «буржуйку» не принимали «женщины в фуражках и гимнастерках» в свою артель: «Я обижаюсь и сразу впадаю в тон тех славных уличных драк, в которых лет 12 назад я считалась незаменимым спецом даже среди мальчишек Большой Зелениной улицы. А улица эта была боевая. На каждые два дома по кабачку, и ночью ходили только посередине мостовой».

В те времена дети увлекались запусками в небо ракет, о чем вспоминает в книге «Вся жизнь» А. Чижевский (1897–1964): «Это удовольствие тоже было не из дорогих (сравнительно со змеями). Купив на 20 копеек в „аптекарском“ складе селитры, серы, угля, канифоли и прочих химикалий, можно было устроить несколько петард или ракет, рассыпающихся в воздухе красными, зелеными и золотыми огнями. Кто из мальчишек не запускал ракет! Ракеты, бенгальские огни, вертушки, шутихи, фонтаны, смерчи зажигались у меня одновременно, благодаря действию „пороховой нитки“, о которой в наши электрические дни не имеет представления никто из мальчишек. Но никто не додумался до космической ракеты. До нее додумался Циолковский. Первая его

публикация – в 1913 году».

Для фейерверков и запусков воздушных змеев у Ларисы и Игоря пустырей хватало. Однако 15 августа по старому стилю вольница кончалась. Начинались занятия в гимназиях. Лариса пошла в третий класс одной из гимназий недалеко от университета. Сохранилась страничка из диктанта третьеклассницы – у Ларисы торопливый крупный почерк. Михаил Андреевич 28 сентября откроет курс лекций в университете по истории философских учений об обществе, праве и государстве в древние и Средние века. Платили мало, поскольку у него были небольшой чин и маленькая нагрузка. И Михаилу Андреевичу приходилось читать лекции еще в трех местах.

О дороге в гимназию, сначала на конке, потом по Большому проспекту – в первой очереди пущенного трамвая – на Васильевский остров, Лариса оставила свои впечатления в автобиографических набросках: «Тучков мост… Желтый Биронов замок словно примешивает охру своих квадратных стен к серовато-синему, тоже старинному, петербургскому небу. И здания помнят на этом деревянном мосту рослого Петра, идущего против ветра, наклонив стан, поддерживая треуголку, скрипя башмаками с пряжками по хрусткому снегу, к которому примешиваются смолистые стружки новых досок, тоже уже избитых и оскорбленных тугими, тяжелыми копытами ломовых коней… Когда Ариадна еще маленькой девочкой бегала от университета в гимназию, ей становилось необычайно весело. Она вскидывала чуб русых волос, ступала прямо, обязательно посередине каменных плит, а иногда, если в ранний час не было прохожих, то, раскинув руки, как воображаемые крылья, с воинственным криком, подражая чайкам, неслась вдоль Невы. Ветер свистел в ушах, отчего ее тоненькие ножки танцевали еще легче».

Глава 7
НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ СТОРОНЕ

Май 1908-го. Первый день рождения Ларисы в Петербурге. К 13 годам она научилась драться. «Петербургская сторона славилась, как ни странно, своими уличными хулиганами. Особенно был известен среди них Васька-кот, заявивший в полиции, что он незаконный сын градоначальника Клейгельса, что оказалось дерзкой шуткой. На окраине Петербургской стороны, на глухих колтовских улицах, где жили купцы, мещане, разночинцы, разгуливали местные хулиганы – подростки лет 14, в основном купеческие сынки. В модном среди них наряде: пиджак, косоворотка, пояс с кистями, лакированные сапоги, фуражка-московка, они угрожающе распевали не совсем внятную, но лихую песню: „По одной стороне Гайда свищет идет, по другой стороне Роща бить всех спешит“» (И. А. Муравьева «Век модерна»).

Александровский парк

Большая Зеленина улица приводила в Александровский парк, где устраивались народные гуляния. Парк открылся в день памяти Александра Невского 30 августа 1845 года, в этот день в 1724 году прах полководца был перенесен из Владимира в Александро-Невскую лавру Санкт-Петербурга. Попечителями парка были принцы Ольденбургские и Общество народной трезвости. В 1900 году в парке был открыт Народный дом имени императора Николая II. Здание стояло на месте театра «Балтийский дом». В нем находились драматический театр, зал с аттракционами и эстрадой. В 1910–1911 годах к правому крылу дома был пристроен Большой оперный театр (сейчас Мюзик-холл). Хотя репертуар театра и включал низкопробные произведения, но лучшие оперы русских композиторов ставились в нем значительно чаще, чем в Мариинском театре. Здесь пели Шаляпин, Нежданова, Собинов. Цены на билеты были дешевле, чем в императорских и частных театрах. Лариса и Игорь любили музыку и театр во всех его жанрах. В драматическом театре Народного дома в то время пользовалась успехом историческая хроника в пяти действиях «Петр Великий».

В парке были качели, карусели, комнаты кривых зеркал. И американские горы. К увеселительным аттракционам относилась и железная дорога от Народного дома на Мытнинской набережной с паровозом и тремя вагонами. Парк пользовался большой популярностью. Частым его посетителем был и Александр Блок. Он пристрастился к «сильным ощущениям» и по собственному подсчету за полтора месяца спустился с американских гор 80 раз, правда, с гор «Луна-парка» рядом с его домом на Офицерской улице (ныне Декабристов). Как вспоминают очевидцы, американские горы у Народного дома были крутыми, с многочисленными виражами, и там всегда стоял визг. Госнардом, как называли это место в советское время, сгорел в начале блокады. Горел так сильно, что страшное зарево надолго запомнилось многим горожанам.

Наискосок от входа в Александровский парк, рядом с будущей мечетью, в 1908–1912 годах были построены кинотеатр «Колизей», «Скейтинг-ринк» – площадка для катания на роликовых коньках и цирк «Модерн». Так что Ларе и Игорю соблазны развлечений буквально перебегали дорогу на каждом шагу. А тут еще и зоопарк. Его основала голландка Софья Гебгард еще в 1865 году; зверей было мало, доходы шли от ночного ресторана «Зоология» и эстрадного театра. На вопрос популярной

с середины XIX века анкеты: «Если бы Вы были не Вы, кем бы желали быть?» – Лариса в 1918 году, то есть в 23 года, ответит: «Или совершенным животным, большим северным волком, лосем, дикой лошадью, или кем-нибудь из безумных и мужественных людей Ренессанса». Волки в зоопарке были.

Антреприза «Петербургский театр»

Во дворе дома 16 на углу Большой Зелениной улицы и Гейслеровского переулка было построено в 1904 году здание Театра Неметти. С появлением народных, общедоступных театров зрителями становились все слои населения. Стремление к переустройству жизни, к свободе находило выход на спектаклях по пьесам Горького, Ибсена, Гауптмана, Чехова, превращало театр в своего рода политический клуб. «Для нас театр и пьесы до сих пор то же самое, что, например, для западного европейца парламентские события и политические речи», – писал в 1899 году один из театральных критиков. С другой стороны, театр привлекал возможностью ухода в другой, иллюзорный мир. Игра дополняла жизнь. Многие театрики возникали ненадолго, многие работали годами.

Драматический «Петербургский театр» в здании Неметти организовал в 1907–1908 годах режиссер Н. Д. Красов, ушедший из театра Комиссаржевской. Он решил создать, по его словам, «театр-эклектик», «общедоступный литературный театр». Для начала он поставил «боевики» недавних лет, пьесы «Дети Ванюшина», «Мещане» М. Горького, а также новинку – пьесу С. П. Григорьева «Около фабрики» о вожаках-забастовщиках. Тема рабочего движения 1905 года была главной в спектакле «Белый ангел» А. И. Свирского. Юная героиня выходит к демонстрантам 9 января, чтобы призвать к миру возбужденных людей, но ее убивает шальная пуля. «Не надо крови» – основная идея спектакля.

В мелодраме «Воровка» делался акцент на том, что не тюрьма перевоспитывает преступника, а доброта и сострадание. Комедия М. А. Сукенникова «Депутат» изображала закулисную сторону предвыборной агитации в Государственную думу. Главным событием сезона стала постановка пьесы «Черные вороны» Протопопова о мошенничестве лжесектантов, в которых многие увидели намек на последователей Иоанна Кронштадтского.

В 1908–1909 годах Театр Неметти арендовала антреприза М. Т. Строева. Его труппа профессиональных добросовестных актеров и серьезные пьесы оставили публику петербургской окраины равнодушной. Летом 1909 года Театр Неметти перестал существовать, здание было перестроено в жилой дом, но театральные маски над окнами остались.

«Петербургский театр» посещал Александр Блок. Наверное, ни один поэт столько не бродил по городу, особенно по его окраинам, как он. Бродил часами в полном одиночестве или с

близкими друзьями, любил наблюдать пылающие закаты. «Однажды случилось, – вспоминал Г. Чулков, – что мы не расставались с ним трое суток, блуждая и ночуя в окрестностях Петербурга. Особенно любил он бывать на Петровском острове, на Островах. На Петербургской стороне заходил в ресторан „Яр“ на Большом проспекте или в кафе Филиппова на Ропшинской улице».

Лариса о своем доме

В ее автобиографическом романе Ариадну провожает домой приятель, который говорит: «"Люблю вашу Зеленину. – Урсик вдруг остановился. – Смотрите, какой чудный бык!" Это была вывеска мелочной лавки, писанная золотом и масляными красками, с тем своеобразным пониманием перспективы, которое есть только у художников Раннего Возрождения и у старинных подробных вывесок на Петербургской стороне. Бык стоял на зеленом утесе, сделанном как бы из бархата, и подымал в безоблачное небо свои золоченые рога. Ниже его утка, повернув к Зелениной свой печальный круглый глаз, переплывала пенное фатальное озеро, на берегу которого ее ждали два грустных и толстых барана, петух величиной с римский огурец и недальновидная, неестественно веселая курица. Все эти животные, несмотря на радужное свое перо и кудрявую шерсть, казались натянутыми, встревоженными, как бы нарочно не замечали нарисованного тут же краснощекого юношу с огромным ножом, очень похожего на мясника. Но звери были выше своей судьбы – они презирали Рок». Окраины пестрели примитивными звериными вывесками, а в центре Петербурга сосредоточилось, как и сейчас, сто лет спустя, больше всего вывесок стоматологов и фотографов.

Живописные строки Ларисы передают биение жизни, поэтому о своем доме лучше всего расскажет она сама.

«Первый этаж: он темный и неприличный. Из двери под лестницей выглядывает швейцариха, пахнет спертым запахом нищеты, немытых пеленок и лифта. Во втором брезжила луна. Второй этаж – чиновный. Он уходит на службу в половине девятого, шьет своим дочкам новые шубы на рождественские прибавки и танцует по субботам под граммофон. В третьем приоткрытая дверь в чью-то прихожую: уходят поздние гости. Здесь недавно умер паралитик, устроила огромный скандал француженка-артистка, немолодая, толстая. У нее сын лгунишка, и на олимпийских играх во дворе его за трусость и фискальство жестоко бьют дворниковы дети.

Еще выше – старый адмирал в отставке, бедняк, у которого три дочери – незамужние и немолодые девушки – и по субботам чудесные дуэты Грига. Скрипка и рояль встречаются и бесплотно любят, пока зеленая весенняя звезда, выйдя из-за крыши, не проплывет узкой полосы неба над провалом сырого, темного, вонючего двора. Григ ликует, и наверху в пятом, в своей комнате, полной книг и особенного запаха детской, который еще держится

в пикейном с розами покрывале постели, в простом и чистом белье подростка, в занавесках окна, – сидит и плачет в синем бархатном кресле девушка… В комнате рядом проснулся Гога: Ларочка, отчего ты плачешь?.. Гога вспомнил: – У мамы в столовой есть сладкое.

Разве может быть что-нибудь лучше раковин с кремом, если они заперты на ключ, но достаются через верхний ящик, где набросанные друг на друга карточки родственников придают всей авантюре такой солидный и таинственный вид. По коридору идут тихонько мимо маминой спальни и вдоль правой стены. У левой стоят безобразные остовы деревянных рам для сушки занавесок. На них осенью и перед Пасхой натягивают нежные влажные, пахнущие крахмалом и чистотой тюлевые занавески, штопанные в ста местах, купленные за границей еще до Гогиного рождения… Есть целый ритуал, строго и добровольно соблюдаемый, в котором принимают участие все – от папы до фокса Бублика. Сперва в кухне появляются огромные чаны, полные горячей воды, и до самого кабинета в течение трех дней проникает неприятный запах мыльного пара. Мама исчезает на кухне, превращается в ретивую «прач», дом полон запустения и откликов бурной и фанатичной борьбы с грязью, которую совершенно одна ведет мужественная прач. Книга, которую ей обычно диктует отец, забрасывается, дети разнузданно наслаждаются свободой, фокс спит в неубранной постели… Второе действие происходит в столовой, в нем участвуют рамы, дети, кнопки, рассыпанные по полу и вонзившиеся во все подошвы, и, наконец, лестница и на ней профессор, стоящий на вершине с молотком, гвоздиками и карнизом в руках. Утром солнце золотит старые занавески и сквозь их сказочный узор поливает светом и радостью вялую, но любимейшую пальму профессора, постоянно теряющую листья, голую, как перст, и изнуренную частыми поливами и пересадками. Профессор не позволяет, но дети все-таки называют это растение «штык».

Мальчик зажег электричество, раковины оказались на месте, были уничтожены, и с первыми синими тенями утра в детской воцарилась тишина… Но прежде, чем настали более отчетливые звуки дня, прежде, чем газетчик хлопнул примерзшей парадной дверью и оставил на столе, закапанном чернилами, пачку писем и газет, между которыми была повестка из банка на вексель профессору в 300 рублей, – повестка, из-за которой он всю ночь мучился бессонницей, прежде, чем дворник с багровой шеей и замерзшим потом на затылке и груди втащил на самый верх, в прачечную, свою ежедневную нечеловеческую вязанку дров, – Ариадна еще раз открыла глаза. – Гога! Гога, ты спишь? –

Тишина. – Знаешь, там был один поэт, у него такие странные глаза. Он ничего не понял в стихах. Ах, почему мы такие одинокие – и папа, и теперь я? Гога?»

Поэт, который «ничего не понял в стихах», – Николай Гумилёв, с которым Лариса встретится в «Бродячей собаке» через семь лет, но об этом другая глава.

Вдоль коридора еще тянулись книжные полки, где выстроилась библиотека М. А. Рейснера, которую он продаст в 1918 году, чтобы заплатить долг В. Святловскому, другу его семьи.

Развлечения петербуржцев

Лариса не упомянула ни одной любимой игрушки. На одной из фотографий она снята с куклой, но там ей всего три года. Неужели же из 840 наименований кукол, 100 видов резиновых игрушек и 100 видов общественных игр (например, «Наполеон в России»), 90 видов строительных конструкторов, из 60 видов кукольной посуды (какой впечатляющий ассортимент!) родители ничего не смогли купить? Или дети не захотели? И все-таки лошадка из папье-маше, наверное, была, и железная дорога, и солдатики для Гоги. По вечерам, как вспоминает Д. Лихачев, играли в любимое лото (бочонки с цифрами), в шашки, обсуждали прочитанные книги. Раз в год ездили в Павловск «пошуршать листьями», перед началом года по традиции посещали «Домик Петра Великого».

Достоверно известно, что Рейснеры, и большие и маленькие, увлекались лаун-теннисом, площадки для него были рядом на Крестовском острове. Возможно, Лара и Гога с интересом наблюдали майский парад гвардии на Марсовом поле. Преображенские полки состояли из рыжих солдат, семеновцы – блондины, павловцы – курносы. Там же на Царицыном лугу на спортивных праздниках выстраивались человеческие пирамиды, сотни гимнастов вертелись в унисон на турниках. Многие элементы дореволюционных спортивных праздников развивались потом советскими физкультурниками.

Приходили петербуржцы и на ледоход. Рассказал об этом поэт Всеволод Рождественский: «Мы сидели на гранитных ступеньках у самой воды и провожали медленно скользившие льдины. Лариса была погружена в глубокую задумчивость. „Смотрите – вот они уплывают на взморье и там растворятся в просторе. И как все похоже на стихи. Но как вы думаете: это дактиль? Или амфибрахий?“ – „Дактиль“, – ответил я нерешительно. „Нет, – возразила Лариса. – Если все это писать стихами, то будет размер с обязательным нарастанием к концу. Вот они напирают на устои мостов, берут их приступом, атакуют, крошатся на куски и все же лезут вперед, и только вперед. Тут же настоящий ямб…“ – „Но ведь задние ряды останавливаются, кружатся на месте?“ – „Не это существенно. Важно то, что они в движении, все время в движении. И как это прекрасно…“ Мне запомнился этот небольшой диалог, может быть, потому, что уж очень он соответствовал внутреннему облику Ларисы в те юные времена. Она ведь тоже была вся в движении, в поисках и противоречиях. Всякие ее „неожиданности“, а их в характере ее

было немало, вероятно, и составляли ее очарование, не говоря уже о том, что она была на редкость красива какой-то северной, балтийской красотой, наделена даром иронии, тонкостью ума и вместе с тем и прелестью самой простой и естественной женственности».

После ледохода наступал праздник открытия навигации, и тогда к Петропавловской крепости на всевозможных средствах приплывали горожане и шли за крестным ходом по крышам бастионов, совершая круг. В тюремный прогулочный дворик многие бросали монеты.

В Неве и Фонтанке ловили рыбу, вода тогда была еще чистой. Корюшку, ряпушку, миногу ловили прямо с мостов. Треска считалась рыбой для бедных. Зимой продавалось большое количество сушеного снетка с озера Ильмень. А навигация была очень насыщенной. Пароходы ходили в Стокгольм, Гельсингфорс, Штеттин, Гамбург, Ригу, Ревель, эти причалы располагались на набережной за Николаевским мостом, против Десятой, Двенадцатой, Четырнадцатой, Двадцатой линий. Каждые 15 минут от Летнего сада на Острова отправлялись речные пароходики.

После дня рождения Ларису все гимназические годы ждали экзамены. В мае 1908 года – для перехода в четвертый класс. Осенью она пойдет в другую гимназию, где учитель литературы – знаменитый Николай Васильевич Бадаев.

Глава 8
УРОКИ БАЛАЕВСКОЙ ГИМНАЗИИ

В Петербурге в то время было 36 женских гимназий. Из них семь казенных, одна из них Петровская – недалеко от дома Рейснеров, – на Плуталовой улице, 24 (ныне школа им. Д. Лихачева). В казенных гимназиях плата за обучение была доступной – 25–50 рублей в год, но в классе было по 40 человек. В частных (они стали возникать после 1905 года) – 15–20 человек, плата – 200 рублей. И Лара учится в частной гимназии Марии Дмитриевны Могилянской, продолжая ездить на Васильевский остров. Гимназия открылась в январе 1907 года. В доме 43 на Четвертой линии она заняла третий – пятый этажи. В восьми классах гимназии училось 196 учениц. На нижних этажах – училище Н. В. Бадаева.

Николай Васильевич, директор этого училища, входит в совет гимназии. Преподает и в других гимназиях. На Невском проспекте, 112 у него в это время учится Самуил Алянский, будущий издатель и друг Александра Блока. В своих воспоминаниях «Встречи с Александром Блоком» он пишет об учителе литературы Бадаеве, который заботился не только о том, чтобы ученики правильно писали, умели излагать свои мысли, но и научились самостоятельно мыслить, любить литературу. У вас еще мало жизненного опыта, часто повторял он, используйте знание жизни и искусства крупнейших художников слова – наших классиков.

Бадаев терпеливо помогал ученикам преодолеть застенчивость, исправлял косноязычие. Николай Васильевич не пропускал урока, чтобы не прочитать наизусть стихи любимых поэтов. А когда читал Блока, призывал вслушиваться в музыкальный строй и ритм поэзии. Наиболее увлеченные ученики образовывали литературные кружки. Бадаев привлекал в них своих учеников из других гимназий. «Уроки русского языка формировали и оттачивали наши вкусы, учили ненавидеть мещанство и всякое проявление пошлости. Литература и искусство стали нашей потребностью», – вспоминал С. Алянский.

В казенных гимназиях нередко царили казарменная атмосфера и скука. Алянского выгнали из Введенской гимназии. Александр Бенуа упросил родителей забрать его из гимназии «Императорского человеколюбивого общества», что была рядом с его домом: в ней, по его словам, все было подчинено славянскому патриотизму, даже форма и славянские щи на обед. Бенуа кончил

гимназию Мая, где в 1909 году в первом классе учился Игорь Рейснер. В той же гимназии Бенуа приобрел друзей: Д. Философова, К. Сомова, В. Нувеля, познакомился с кузеном Д. Философова – С. Дягилевым. «В гимназии Мая нашел известный уют, атмосферу, в которой легко дышалось, умеренную свободу, известную теплоту в отношении с педагогами, несомненное уважение к моей личности», – писал Бенуа.

При первой встрече Блок и Алянский увлеклись воспоминаниями о Введенской гимназии. «Блок рассказал, что в его классе окна выходили на Большой проспект и что у них произошел случай, прошумевший на всю гимназию. Это было в шестом классе. Как-то на перемене одноклассник Блока, славившийся большой силой и ловкостью, разыгрался со стулом учителя, подбрасывая и ловя его на лету то за ножку, то за спинку. Вдруг стул бесшумно вылетел в открытое окно, не задев, к счастью, ни стекла, ни рамы. Хорошо, что под окном был небольшой палисадник и стул упал прямо на кусты. И надо же, как раз в этот момент в гимназию входил директор и увидел, как летит стул из окна. Директор два часа трудился, пытаясь выведать, кто виноват в шалости, но ничего не добился. После этого в четверти всему классу была выставлена отметка за поведение – четверка».

Четырнадцать лет и «Капитал» Маркса

Младшая сестра Михаила Андреевича – Екатерина Андреевна Рейснер рассказывала мне в конце 1960-х годов, что часто видела Ларису девочкой. Однажды Лариса поразила ее тем, что в 14-летнем возрасте прочла «Капитал» Маркса. Михаил Андреевич к этому времени уже слыл марксистом среди профессоров, которые все были либералами. Ученица Михаила Андреевича на Бестужевских курсах Лидия Израилевна Розенблюм считала, что именно политическая окраска лекций Рейснера привлекала к нему молодежь. На курсах он читал государственное право. Как хорошую студентку Михаил Андреевич приглашал Лидию домой. Она отметила при первом же визите, что живут они не богато, комнат имеют мало, что Михаил Андреевич не придает этому никакого значения. А вот его жену Екатерину Александровну и скромная обстановка, и самое обычное угощение, которым она потчевала гостей, сильно задевали. Ей хотелось, чтобы ее дети – дети баронского рода – жили в роскоши.

Подруга Розенблюм Сусанна Альфонсовна Укше, также студентка юридического факультета Бестужевских курсов, занималась с Ларой и Игорем иностранными языками. Будучи очень отзывчивым человеком, поддерживала Михаила Андреевича до его смерти в 1928 году. Участвовала в издании двухтомного собрания сочинений Ларисы Рейснер (1928). Погибла она во время репрессий 1937 года.

Вспоминала Лидия Розенблюм и встречу с Ларисой Рейснер на балу в Тенишевском училище. На Ларисе были блузка и юбка с широким поясом, что ей очень шло. Но Лариса не сдержала своей зависти при виде парижского платья на Лидии. Ей хотелось одеваться лучше. «Если бы Лариса не была крупнее меня, то я предложила бы ей обменяться платьем, я так Ларисе и сказала, чтобы ее утешить». Лидия Израилевна призналась, что любила Ларису, добавив, что проживи Лариса больше, она была бы великолепным человеком, изжившим предрассудки молодости и воспитания.

Михаил Рейснер о Леониде Андрееве

Чтобы представить себе влияние отца на Ларису, читавшую «Капитал», обратимся к вышедшей в марте 1909 года книге Михаила Рейснера «Леонид Андреев и его социальная идеология. Опыт социологической критики». На экземпляре книги, хранящейся в Публичной библиотеке, стоит штамп библиотеки Охтенского порохового завода № 4224. Может быть, Михаил Андреевич читал лекции на этом заводе и оставил в дар книгу?

В предисловии он пишет: «В целом ряде публичных лекций, посвященных Леониду Андрееву и прочитанных мною с 7 декабря минувшего и до марта месяца текущего года – в Петербурге и Москве, я хотел, сделав обзор всех произведений этого писателя, выделить из них ядро социального мировоззрения. Под кровом художественной оболочки у Л. Андреева оказался весьма интересный социальный остов, вполне совпадающий с идеологией пережившего себя индивидуализма. Переходя к хозяйственному, строго основанному на мобилизации поземельной собственности, свободном рабочем договоре капиталистическому производству, воспринимая у Запада его политические формы, мы воссоздали у себя точно так же и социальную идеологию Запада, построенную на принципе индивидуализма. Не утихшая революционность нашей интеллигенции придает своеобразный характер идеологии нашего индивидуализма. С одной стороны, Андреев проникнут индивидуалистическим сознанием, с другой – переживает в полной мере весь кризис индивидуализма. От индивида переходит к героической личности и в ней находит примирение с миром… Л. Андреев становится пророком сверхчеловека и вестником Вечного Разума».

Каким образом от рабочего договора с капитализмом Рейснер пришел к таким глубоким выводам о творчестве Андреева? Возможно, сработал парадокс соединения социально-экономических обстоятельств и метафизической сверхзадачи писателя. Книга Рейснера дает неожиданное дополнение к литературоведческому анализу творчества Андреева. Благодаря ей становится понятнее дружба, хоть и недолгая, этих столь разных людей. Какие цитаты из текстов Л. Андреева приводит М. Рейснер? Те, которые и сегодня актуальны:

«Вся красота мира, которая зовет куда-то, но не говорит куда». Человек, «придя из ночи, возвратится к ночи и станет бесследно в безграничности времен немыслимый, нечувствуемый, незнаемый никем. Но в гибели своей ты обретешь бессмертие».

«Человек, который хоть раз услышал, как поют звезды, становится „Сыном вечности“. И над всем господствует один бессмертный дух. Это мы – те, кто здесь, и те, кто там».

Актуальна сегодня, через сто лет, тревога Михаила Андреевича в отношении бездуховной цивилизации: «Индивид современности – это не уникум Ренессанса, не творческий гений Возрождения, это личность, выделанная в бесчисленном количестве экземпляров в одной и той же лаборатории, личность, штампованная по одному рецепту, винтик в капиталистической машине… На заре новой истории Европы выступал сверхчеловек Макиавелли, естественный человек Руссо, нравственная личность Кантовского категорического императива. Новая эпоха русской истории начинает с похоронного гимна когда-то великому и светлому индивиду… По Леониду Андрееву, торжествует пьянство, драка, темный зверский разврат. Л. Андреев отрицает государство и власть как орудие культуры… Душа, по Андрееву, – извечная борьба двух начал в человеке: хаоса и гармонии, к которой она стремится. По Л. Андрееву, мир – тюрьма… Ясны и чисты андреевские небеса. Без искупления, без аскетизма, без греха, без вакханалии обожествленной плоти. Вместо херувимов некто в сером, вместо божества – мировая энергия… Долгий путь грязи, позора и мучений. И только в нем, в герое и подвижнике, и бунтаре, – господине и жертве – новая связь с миром и людьми…»

С этим последним мнением Лариса Рейснер согласится всей своей природой и стремлениями в жизни. И еще одно убеждение Леонида Андреева, выделенное Михаилом Андреевичем, совпадает с ее собственным: «Основным для Л. Андреева является понятие жизни как вечного творческого процесса. „Убивает огонь и живит. К постижению мировой жизни способно только сердце“».

У религиозного сознания есть Главная книга – Библия, у атеистического сознания, на другом полюсе бытия главная книга – «Капитал». Ларисе нужны обе книги. Лидия Сейфуллина писала, что Лариса, «обладая большим разносторонним образованием, упорно, неутомимо, дельно пополняла его чтением. После тщательного усвоения какого-нибудь специального труда она улыбалась изумительной своей улыбкой, от которой в глазах точно потайной фонарик зажигался, они золотились, и говорила: „Теперь можно принести что-нибудь вкусненькое“. Это означало художественное произведение. Но иногда разряжала она перегруженную голову „Ключами счастья“ Вербицкой».

Спорила ли Лариса с Бадаевым, например, по поводу Леонида Андреева? Наверное, да, потому что сохранилась его реплика: «Рейснер, не выставляйтесь». – «Но, дорогой Николай Васильевич, еще два слова о гармонии, два слова», – говорила

она.

В мае 1909 года М. А. Рейснер опять уезжал на лето в командировку в немецкие университеты. Где была семья? Может быть, в гостях у Леонида Андреева.

Глава 9
МЕСТО ВСТРЕЧИ – КОМЕНДАНТСКИЙ АЭРОДРОМ

Скорость такая, которой уже не место на земле. Катастрофическая новизна впечатлений.

Лариса Рейснер

День рождения 2 мая 1910 года Лариса встретила на Комендантском аэродроме. Для пятнадцатого дня рождения трудно придумать лучший подарок, чем первая в России авиационная неделя, проходившая с 26 апреля по 2 мая. А первый полет в мире на первом, полностью управляемом и подвластном пилоту самолете состоялся 17 декабря 1903 года. Аэроплан, построенный американцами братьями Райт, продержался в воздухе 12 секунд и пролетел 40 метров. К 1908 году успешно летали уже многие авиаторы, длительность полета была больше трех часов. В 1909 году Луи Блерио перелетел Ла-Манш. Граф Шарль де Ламбер, француз, один из первых учеников школы братьев Райт, прославился, совершив 18 октября 1909 года полет над Парижем, при этом он обогнул Эйфелеву башню, вызвав у парижан невиданный восторг. За три недели до этого Уилбер Райт обогнул статую Свободы в Нью-Йорке.

Первые русские летуны и авиатриссы

Николай Попов смог взять только один практический урок, зато у графа Шарля де Ламбера. Потом ему пришлось осваивать аэроплан Райтов самостоятельно. Падал он раз восемнадцать. Интересно: присутствовал ли при этом В. И. Ленин? Он жил тогда во Франции и был частым гостем на аэродроме в Жювизи. «…В свободное время, – вспоминала Крупская о времени работы Ленина в партийной школе в Лонжюмо, – ездили мы с ним по обыкновению на велосипедах, поднимались на гору и ехали километров 15 на „заброшенный“ аэродром. Он был гораздо менее посещаем, чем аэродром в Жювизи. Мы были часто единственными зрителями, и Ильич мог вволю любоваться маневрами аэропланов».

Николай Попов получил удостоверение пилота весной 1910-го, покорив всех зрителей авиационной недели в Канне. Газеты «Эктерер де Нис», «Пти нисуа» следили за каждым полетом неугомонного «русака», своего коллеги, ведь Н. Попов был журналистом, сотрудничал в «Русском слове», «Новом времени» и других изданиях. Как журналист он был на Англо-бурской и японской войнах, летел на дирижабле «Америка-2» к Северному полюсу с экспедицией Уэлмана. Достигнуть полюса не удалось. «Лично я не затосковал от происшедшего несчастья, сорвавшего всю нашу экспедицию, к которой мы готовились так долго и с такой любовью, – вспоминал Н. Попов. – В моей жизни, полной разнообразных приключений, выработалась привычка встречать все неожиданное и даже враждебное тому, что готовилось и желалось, не только без огорчения, но даже с интересом… Всегда к лучшему!»

Газеты писали о мужестве, уверенности, скромности Попова, о его «изящном, элегантном» почерке полетов. Стоило биплану Попова коснуться травы после полета над морем и Ниццей, как он снова оказался в воздухе, подбрасываемый множеством рук восторженных людей. Потом его обнимали, целовали, снова обнимали. Он увидел перед собой сияющее лицо великой герцогини Мекленбург-Шверинской, отбросившей всякий этикет и на глазах у всех расцеловавшей его. Деликатно отстранив сестру Анастасию Михайловну, крепко обнял Попова, также вопреки всякому этикету, великий князь Сергей Михайлович Романов. «Это было всеобщее, нескончаемое объятие», – писали в газетах. Великокняжеская фамилия «Михайловичей» увлеклась авиацией. Александр Михайлович, «шеф авиации», создал первый в России аэродром и школу под Севастополем.

В России высшей аристократии явно хотелось летать. Недаром же многие ее представители любили воздушное искусство – балет. В русского летчика Михаила Ефимова влюбилась княжна Евгения Шаховская, которая стала одной из первых русских «авиатрисс». Другой летуньей стала певица Любовь Голанчикова; в 1912 году она поднялась на высоту две тысячи метров, превысив в три раза мировой рекорд высоты полета.

В 1911 году начала обучаться в Гатчинской авиационной школе Лидия Зверева. «Еще будучи маленькой девочкой, я с восторгом подымалась на аэростатах… и строила модели, когда в России еще никто не летал». Первый полет Зверевой на «фармане» длился 20 минут. Она тоже быстро набирала опыт. Летала смело, высоко, расчетливо. А умерла молодой от тифа в 1916 году (как в 1926 году Лариса Рейснер). Похоронили Лидию Звереву на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, но могила не сохранилась.

Первая авиационная неделя в Петербурге

Кроме Николая Попова приехали бельгиец Христиане, французы Эдмонд и Моран, немец Винцире и француженка Раймонда де Ларош, актриса, которая стала первой в истории женщиной-авиатором. Всю спортивную часть, в соответствии с правилами, установленными Международной спортивной комиссией, взял на себя Всероссийский аэроклуб. «Райты», «блерио», «фарманы», «Антуанетта», «Вуазен» выстроились вдоль скакового поля, вблизи зрительских трибун. В один из дней Н. Попов на высоте 500 метров кружился над Петербургом 1 час и 11 минут. Поздравил летчика военный министр генерал Сухомлинов, который кавалерии доверял больше, чем другим видам войск, а аэропланы называл «игрушками блерио».

Владимир Александрович Сухомлинов был родственником матери Ларисы Рейснер, но Екатерина Александровна никогда с ним никаких отношений не поддерживала.

В «Новом времени» было напечатано письмо читателя: «Теперь, когда не только весь Петербург, но и вся Россия со страстным волнением следит за полетами авиаторов, обсуждает и сравнивает достоинства и недостатки летательных аппаратов, всем кидается в глаза несовершенство аппарата, на котором летает наш русский летун Н. Е. Попов. Когда смотришь на смелые попытки авиаторов завоевать царство воздуха, то невольно делается жутко за каждого летуна, боишься за его жизнь… Попов же, связанный контрактом с фирмой „Райт“, каждую секунду своего победоносного пребывания на воздухе больше всех рискует своей жизнью. Его горячо любят не только друзья… русские помогут ему выйти из кабалы… преподнесут своему родному летуну новый, совершенный и менее опасный для жизни аппарат». Сбор средств принял широкий размах. Но почему-то военное ведомство приобрело для Воздухоплавательного парка именно аппарат Райта и пригласило Попова для обучения полетам офицеров.

Французская летунья баронесса де Ларош на Петербургской авиационной неделе самостоятельно так и не взлетела. Один раз Христиане взял ее как пассажирку. С пассажирами взлетали только на высоту 3 метра и 40 метров в длину. Корреспонденту «Биржевых ведомостей» удалось стать пассажиром на аэроплане Христианса. Желающим «пробиться» на такой полет было очень трудно. Корреспондент «Нового времени» И. Кривенко полетит в сентябре 1910 года на второй авиационной неделе с Львом Мациевичем, кто много летал с пассажирами, среди которых

были знаменитый шлиссельбургский узник, народник Николай Морозов и премьер-министр Петр Столыпин.

Летал на аэроплане и Корней Чуковский. Впервые – в Англии. Рассказывал об этом в доме Леонида Андреева. Вадим Андреев записал, что Чуковский был настолько переполнен во время полета восторгом и благодарностью пилоту, что начал сочинять песню в его честь. В мае 1910 года написала «Марш авиаторов» С. М. Квашнина, его издали в почтовой открытке с портретом «Авиатора Попова».

Все участники состязаний получили от Николая II, который тоже смотрел показательные полеты, памятные дорогие подарки. Ежедневно был на взлетном поле и Александр Блок, который стал постоянным посетителем Комендантского аэродрома. Он в 1911 году написал стихотворение на гибель летчика Владимира Смита.

Первую авиационную неделю освещали все газеты Петербурга. А их в Петербурге было более 400 в это время. Журналов тоже выходило невероятное количество – 534 к 1916 году. В журнале «Огонек» было напечатано интервью с Н. Поповым. «Я совершенно очарован приемом, в течение всей недели меня так ласкали и баловали, что я этого, право, не стою. От поведения петербургской публики можно быть только в восторге. Ее корректность, спокойствие и участие к нуждам летунов чрезвычайно поднимают дух во время состязаний. Как жаль, что в наших состязаниях не принял участие наш русский летун Ефимов. Вот кого я считаю первым авиатором в мире… Все, что нужно для авиатора, у Ефимова наблюдается в высшей мере. В нашем деле мало смелости, – отчаянных людей и у нас, и за границей довольно, – нужен особый инстинкт летуна, вроде того, который Суворов назвал глазомером, нужны хладнокровие и выносливость духа. Мне говорили, что в августе предполагается 2 авиационная неделя специально для русских летунов. От всей души хотел бы, чтобы петербургская публика увидела Ефимова». Осенью 1910 года петербуржцы увидели полеты Николая Ефимова.

Из-за большого количества желающих осматривать аэропланы было установлено время от 10 до 12 часов. В автобиографической повести «Рудин» Лариса спрашивает: «Видели Вы… тяжеловесные и вместе с тем невесомые остовы первых летательных аппаратов… смесь ржавых рычагов и воздушнейших, стрекозьих перепонок из слюды, стальной нити и шлифованного металла?» В 1925 году в Германии она посетит заводы Юнкерса, и в очерке о нем вспомнит полеты на Комендантском аэродроме: «Если когда-нибудь авиация была искусством, а не ремеслом, то, наверное, в те годы. Ею

занимались мечтатели, спортсмены, авантюристы и настоящие мученики. Почти всякое состязание кончалось бедой. Два-три раза в день зрители, перескочив через загородки, бежали к месту, где посреди поля дымилась куча обломков… Человечество на бумажных крыльях, обрызганных кровью, пробивало себе путь к небу».

«Благородное безумие», так Лариса определяет страсть к полетам, охватило не только великих князей Романовых, но и высшее имперское офицерство Германии. Эти офицеры стали, по мнению Л. Рейснер, «лучшими кучерами международного неба». В дальнейшем, на фронте, Лариса не раз летала на аэропланах-разведчиках, в 1923 году – из Москвы в Нижний Новгород, в 1925-м – на пассажирском самолете по Германии. В 1926 году должна была лететь в Тегеран. О полете сохранилось несколько строк в очерке про Нижегородскую Всероссийскую выставку: «В мутном стекле впереди просвечивает профиль летчика, жесткая кожа его перчатки на руле. Пропеллер рвет воздух, рвет всякий ветерок в клочья. Скорость такая, которой уже не место на земле. За волной неистовой радости, за легкой тошнотой страха вдруг совершенно новое чувство: катастрофическая новизна впечатлений… 1400 футов высоты… 150 км/ч. Среди облаков, над облаками. Величественно и просто, но кажется, не вспомнить где и когда – поэты все-таки предугадали этот ход белых туч, проплывающих в пространстве мимо человека… Флотилии туч идут внизу, идут над головой… какими они в недосягаемой высоте проходили над Лермонтовым».

В 1920 году в недолгой дружбе Александр Блок и Лариса Рейснер, возможно, вспомнят любимый Комендантский аэродром и пророческое видение поэтов.

Глава 10
БЕСПОКОЙНЫЙ ПРОФЕССОР

«В порядочном обществе не повторяют сплетни без доказательств».

М. Рейснер. К Общественному мнению

Возможно, неделя полетов хоть немного успокоила стрессовое состояние семьи Рейснеров, которая переживала неожиданную, невероятную неприятность. В декабре 1909 года Михаилу Андреевичу стали известны слухи на его счет, почти два года ходившие по Петербургу, а в последние месяцы особенно интенсивно. Судачили о том, что профессор Рейснер предлагал свои услуги в письме охранному отделению Департамента полиции. В разных почтенных редакциях и академических кругах говорили со слов русских эмигрантов, эмигранты говорили со слов Бурцева, последний говорил со слов своих источников; эти в свою очередь говорили со слов охранников, и тут нить обрывалась. Охранники были неуловимы. Один молодой доцент Петербургского университета в сентябре 1909 года привез это известие из Парижа, ссылаясь на Бурцева, который издавал там газету «Общественное дело» и журнал «Былое».

Владимир Львович Бурцев (1862–1942) – известный общественный деятель, публицист. В 1880-х годах как народоволец был сослан в Сибирь, бежал оттуда за границу. Изучая историю русского революционного движения, составил сборник материалов «За 100 лет», изданный в Европе. С 1906 года начал кампанию по разоблачению провокаторов и агентов русской политической полиции. В 1917 году вернулся в Россию, обвинил большевиков, а заодно и Горького в шпионаже в пользу Германии. После Октября снова эмигрировал во Францию. Не принял революции большевиков, стоял за либеральное конституционное правление. Издал в Париже свои воспоминания «Борьба за свободную Россию». В 1928 году книга была издана в России под названием «В погоне за провокаторами» с сокращениями бесконечных повторов.

В 1907 году лето В. Бурцев проводил на даче в Териоках по пути в эмиграцию. Как он познакомился с Рейснерами, жившими на Черной речке, что привело их к дружеским чаепитиям с ним?

Может быть, знаменитый Кёнигсбергский процесс в 1904 году, когда «я открыто обвинил наш дореформенный деспотизм», – писал М. Рейснер, – Бурцеву мы с женой осенью того же года (1907) оказали услугу, которая заставила его высказать несколько горьких слов по адресу нравов в русской общественной среде. Дело состояло в том, что один писатель в нашем присутствии весьма отрицательно характеризовал Бурцева и приписал ему неблаговидные поступки. Мы сочли своим моральным долгом не только протестовать против заочных обвинений, но и сообщить обо всем Бурцеву и дали ему полную возможность реабилитировать себя».

Когда Михаил Андреевич услышал сплетню о себе, он сразу же написал Бурцеву в Париж. Ответ пришел с нарочным 5 января 1910 года: «Дорогой Воля! Передайте это письмо лично и притом с глазу на глаз. Конечно, слухи о М. А. – чистый вздор». Михаил Андреевич прочел письмо Бурцева вслух при «Воле», считая что в деле о слухах тайн быть не должно. Бурцев пишет о двух источниках, от которых он узнал это тяжелое известие. Первый источник – «очень, очень компетентный человек. Он говорил, что в Департаменте полиции в 1904 или 1905 годах было получено заявление от Вас с предложением услуг. На это письмо Макаров не ответил. Второй источник (вне сомнения относительно достоверности) то же самое слышал от видного охранника при обсуждении им некоторых вопросов… Оба источника совершенно независимы друг от друга, друг друга не знали… Я просил разъяснений, доказательств, и должен Вам сказать прямо – никто ничего мне не дал… Я ровно ничего сам не нашел, чтобы подкрепить эти слухи… Но умолчать об этих известиях я тоже не могу. Разберитесь в них Вы. Вы слишком видная фигура в общественном движении… Вы спросите, кто эти источники? … ответить Вам на этот вопрос не имею разрешения». После этого письма Бурцев сразу уехал в Америку и был недосягаем для вопросов Рейснера.

По настоянию друзей Михаил Андреевич разрешает им дать в газеты несколько заметок. «Привлечение к суду Бурцева»: «Из Парижа телеграфируют в „Русское слово“, что Бурцева ожидает крупная неприятность. В своих разоблачениях он заявил, что профессор Р. имел сношения с департаментом полиции. Проф. Р. решил привлечь Бурцева за клевету к суду. В Париже предстоит громкий процесс» («Биржевые ведомости» от 8 января 1910 года, «Русское слово» от 11 января того же года.). За 11 января в «Биржевых ведомостях» появилась заметка «В. Л. Бурцев и профессор Р.»: «По последним сведениям из Парижа В. Л. Бурцев категорически опроверг слух о предосудительных сношениях

проф. Р. с департаментом полиции. Буквальные слова Бурцева таковы: „Конечно, слухи о проф. Р. – чистый вздор“».

В начале февраля Бурцев приходит в редакцию нью-йоркской газеты «Русский голос» и, как пишет Рейснеру редактор «Р-А вестника» 30 ноября 1910 года, объясняет следующее: «2 года тому назад я представил свои обвинения проф. Р., предлагая ему оправдаться, и ввиду того, что он не представил мне никакого оправдания, считаю себя вправе говорить». «Я тогда в Бурцеве еще не видел полного шарлатана, – продолжает редактор, – не знал его лично, был мало знаком с его методами… В Нью-Йорке он свободно болтал о Вас редакторам всей радикальной прессы. В Чикаго он говорил о Вас редактору еврейской газеты „Еврейский рабочий мир“ Г. Заксу».

В этих двух газетах 10 февраля 1910 года появилась полная фамилия Рейснера: «Сотрудник „Русского богатства“, некоторых газет и участник в делах левых партий профессор Рейснер обвиняется в сношениях с Департаментом полиции, которому он в 1904 году предложил свои услуги».

Информация из охранного отделения дошла не только до В. Бурцева, но и до газет. «Биржевые ведомости», например, предупреждают: «В Охранном отделении имеются сведения, что социал-демократы затевают митинг в годовщину 9 января на некоторых заводах. Ночью 7 января прошли аресты».

В январе Михаил Андреевич обращается к сотрудникам «Русского богатства» и другим известным общественным деятелям с безукоризненной репутацией за помощью в своем деле. Они дают Рейснеру свое заключение:

«Михаил Андреевич Рейснер в половине минувшего января просил ознакомиться с имеющимися у него сведениями и оказать ему содействие в его стремлении снять с себя обвинение, марающее его честь… М. А. Рейснеру удалось узнать, что распространяемые слухи основываются на заявлениях, сделанных двумя анонимными лицами и переданных в такой форме, которая исключает возможность проверки. Собравшиеся лица признают подобное положение решительно недопустимым и полагают, что хотя бы косвенно в виде передачи слухов, обвинение кого бы то ни было в низких и позорных поступках возможно лишь при том условии, если оно может быть обосновано на определенных, конкретных, подлежащих контролю данных, и что предъявление таких данных составляет безусловную нравственную обязанность тех лиц, которые содействовали распространению слухов или вообще придали им какое-либо значение.

В настоящем положении дела собравшиеся высказывают готовность поддержать М. А. Рейснера в его твердом намерении

добиться возможности действительной самозащиты. Потребность в такой самозащите тем настоятельнее, что слухи касаются лица с выдающимся общественным положением, получают распространение в широких общественных кругах и могут нанести непоправимый вред.

6.2.1910.

Н. Анненский, К. Арсеньев, М. Ковалевский, А. Пругавин, Вл. Набоков».

Летом переписка с Бурцевым восстанавливается и Михаил Андреевич пишет: «С одной стороны Вы меня реабилитируете, с другой обвиняете… Трудно передать словами то, что я и семья моя пережили после получения Вашего двусмысленного письма. Сознание того, что именно Вы своим именем прикрыли грязную инсинуацию, страшная мысль, что с моим именем соединено самое позорное преступление, какое когда-либо знал свет… Ежеминутная возможность незаслуженных, непоправимых оскорблений. Болезнь, которая была необходимым результатом нравственных потрясений… Все это поставило меня на краю жизни и я с благодарностью могу обратиться к Вам: вряд ли теперь найдется для меня на земле ужас, который мною уже не был пережит».

Бурцев в ответе дает новые сведения о своих источниках – информация-де получена только от общественных лиц, а не напрямую от охранников, и оправдывается: «Мне стало ясно, что без расследования дело оставить нельзя… Для меня было ясно: умри Вы в то время, обвинения когда-нибудь выплыли и были бы раз навсегда приняты, как истина… Мы живем в военное время и не имеем права оставлять ничего не разъясненным… Я делаю необходимое дело, делаю его честно и не остановлюсь ни пред отцом родным, ни пред Желябовым, ни пред Каляевым, если буду считать обязанным остановиться на их именах». Бурцев признавал суд, состоящий только из революционеров. «Мне будет бесконечно больно, – кончает письмо Бурцев, – если Ваша Кася не поймет меня. И, хотя бы на минуту, упрекнет меня».

Эти слова Екатерина Александровна Рейснер вынесла в эпиграф своего ответа Бурцеву:

«…Бурцев, раз вступивший на путь необъективного судьи, раз поверивший на слово больше доносчику, чем всей репутации Рейснера, которого он, Бурцев, знал хорошо в Финляндии, и никому другому, как этому самому Бурцеву, это известно, благодаря его дружеским отношениям с семьей Рейснера, что не было той гнусности на земле, которую почтенные без совести и чести товарищи, сотрудники, революционеры и имя их, Господи веси, не пускали бы про Рейснеров. И не Бурцев ли сам, часто

сидя с ними в Финляндии за дружеской чашкой чая, говорил: „О, у вас много врагов, но хуже всего то, что многие рассказывают про вас ужасы, не будучи с вами знакомы, не зная вас в лицо!“

И Бурцев-судья, взвесив все эти доносы и всю психологию преступной души Рейснера, решился на энергическое действие: "Пойду-ка я, посоветуюсь с видным революционером, что мне тут делать и предпринять против предателя Рейснера… О, беспристрастный и честный судья, крепко храните честь и достоинство Ваших доносчиков, а главное, их морды, которые боятся той пощечины, которую им дает на добрую половину оподлевшее наше общественное мнение, но и для которого клевета Ваших источников будет достаточно ясна!.. Истина не в письме к Макарову, которого не существует, а в том, что враги Михаила Андреевича, которые должны во что бы то ни стало устранить опасного конкурента с дороги, прибегли к неслыханному приему политической клеветы и на помощь прихватили Бурцева, который по своему непостижимому легкомыслию отдал свое доверие и имя клевете, чтобы опозорить друзей… Чувство дружбы до сих пор не подсказало Вам, что Рейснерам нужно от Вас не укрывательство их перед позором, а только или беспощадная казнь нас, или наших клеветников. Бурцев-друг, два года сумевший молчать о невероятной клевете на счет его друзей, умер для меня как друг навсегда, остался единственно Бурцев-следователь, но будет время, и Бурцеву-следователю я публично скажу, что он такой же плохой следователь, как и плохой друг. Окажите последнюю дружескую услугу: верните мне обратно карточки моих детей и мужа, когда-то дружески подаренные Вам.

Готовая к услугам Екатерина Рейснер».

На это письмо Бурцев ответил, что он действовал не как враг или друг, а только как революционер… «Я источников не скрываю от судей – я все говорил судьям, что знал, когда подняты были дела Азефа, Жученко, Каплинского и т. д. Я и теперь судьям, выбранным партией С-Р или С-Д, скажу все». В этом письме Бурцев сообщил нью-йоркский адрес одного из своих «источников», бывшего охранника Л. П. Меньшикова, который ответил Рейснеру только через год:

«Милостивый Государь! Я не ответил на Ваше письмо в свое время, надеясь, что мне удастся более выяснить Ваше дело. Позднее же я думал, что „инцидент исчерпан“, так как о нем, по-видимому, забыли. Недавно мне передали, что Вы продолжаете интересоваться тем, что мне известно по Вашему делу. Охотно удовлетворяю Ваше законное право знать подробности.

Находясь летом 1907 года в Петербурге, я имел беседу с

двумя лицами, очень близкими Департаменту полиции; из разговора с ними я узнал, что бывший томский профессор Рейснер, живя за границей, обратился письменно в Министерство внутренних дел с каким-то предложением, которое бывший тогда товарищ министра внутренних дел Макаров оставил без внимания и, по мнению моих собеседников, тем самым лишил охрану случая приобрести ценного сотрудника. Уехавши за границу, я летом 1909 года в одну из первых бесед моих с Бурцевым, узнав о том, что он знаком с проф. Рейснером, рассказал ему как лицу, занятому, подобно мне, выяснением политического шпионажа, о том, что слышал в Петербурге. Я предупредил при этом Бурцева, т. к. сведения о Рейснере слишком неопределенны и основываются на разговорах, которые свидетели-охранники едва ли захотят подтвердить, то сообщенное мною ни в коем случае оглашению не подлежит. Помимо моей воли и без моего участия сведения, сообщенные мною Бурцеву о Рейснере, сделались известными другим лицам и даже попали в искаженном виде в печать. Несомненно, что если бы я 3 года тому назад знал Бурцева так, как знаю его теперь – то никаких сведений не дал бы вообще. Меньшиков»

В 1913 году Михаил Андреевич выпустит в свет брошюру «К общественному мнению. Мое дело с Бурцевым», где напечатает все письма, относящиеся к его «делу», а в конце брошюры скажет: «Вот так было положено позорное клеймо… на меня, на профессора и руководителя юношества, на представителя старинного рода, высоко державшего знамя чести, на человека, который может передать сыну свое незапятнанное имя, на лицо, которое лишь в своей совести находит награду за все пережитое».

Газетные сплетни о том, что тот или иной человек является агентом охранки, задели в 1921 году даже Корнея Чуковского, записавшего об этом в дневнике.

Члены комиссии Н. Анненский, В. Д. Набоков и другие советовали Рейснеру подать в третейский суд на Бурцева. Михаил Андреевич считал, что он не может себе этого позволить, потому что не было публичного обвинения («Нельзя оправдываться в анонимной сплетне»). Бурцев же требовал, чтобы ему было дано право предоставлять суду секретные, тайные от Рейснера данные. «Этим устранялась та гласность процесса, которая для всего мира является безусловным требованием правильного судопроизводства, – говорил Рейснер. – Такой суд в лучшем случае мог мне выдать свидетельство революционной благонадежности. А в сертификате моей политической благонадежности я совершенно не нуждался и не нуждаюсь… Моими судьями должны были быть не просто порядочные и

честные люди, а специальные революционеры, связанные конспирацией партийной… Моим высшим руководителем было для меня всегда мое личное убеждение, а не партийная дисциплина».

Из третейского суда в «Русском богатстве» в 1913 году тоже ничего определенного не вышло. Суды чести были в то время довольно обычным явлением. В 1910-м состоялся, к примеру, суд чести между Леонидом Андреевым и газетой «Русское слово». В «Общественном мнении» Михаил Андреевич приводит свою докладную записку, поданную в марте 1903 года по требованию Министерства внутренних дел. В ней Рейснер объясняет и опровергает происхождение предъявленных ему министерством доносов на него во время работы в Томском университете. Объективную историю увольнения из Томского университета со ссылкой на докладную записку Рейснер напечатал в двадцать втором номере зарубежного «Освобождения» от 8 мая 1903 года.

Из европейских университетов Михаил Андреевич попал в Томский, где профессора боролись за еще незанятые вакансии только что открытого юридического факультета. Далеко не все обладали европейским уровнем культуры. Рейснер встал в оппозицию всем группировкам и «ректорским», и «антиректорским». Ни в каких средствах «увлеченные партийной борьбой» не стеснялись. Увольнение независимых одиночек, скандальные процессы были в университете и до приезда Рейснера. В Томске попал под следствие дальний родственник Рейснера «горный исправник фон Д.». Рейснер писал в его защиту по инстанциям, взял к себе в гувернантки дочь несчастного, помогал лечиться его сыну, больному туберкулезом. Рейснера сразу стала обвинять университетская администрация в участии в «грязном деле». В конце концов родственника оправдали.

Пользуясь случаем, в докладной записке к высшим инстанциям Рейснер останавливается на положении студентов «в нашем несчастном университете. Принадлежа в большинстве к индифферентной массе, которая идет в университет за дипломом и обладает далеко не высоким уровнем моральной и интеллектуальной подготовки, студенчество в меньшинстве своем, однако, состоит из честных и идеально настроенных юношей, которые входят в университет как в храм науки и к профессорской кафедре несут запросы своих лучших молодых стремлений. Особенно важно, чтобы университет и наука твердо и всесторонне помогли установиться молодому человеку, дали ему не шаблонный критерий для различения благонамеренного или неблагонамеренного, а конкретное знание положительных и отрицательных сторон нашего быта, знание, которое одно, будучи

сведено к основным принципам, – может дать вполне устойчивое мировоззрение. С тяжелым чувством должен признать, что такого ответа на запросы молодежи и вообще нынешние русские университеты, и в особенности, Томский, не дают и дать не могут».

Через десять лет после Томска политическое мировоззрение Рейснера изменилось. Оно изложено в автобиографии М. Рейснера, помещенной в энциклопедическом словаре «Гранат» (т. 36: ч. 1, 2). Рейснер исследовал социальную психологию, которой всегда увлекался, с марксистского подхода, как обусловленную «экономическим бытом и способами производства». Каждый класс поэтому в определенные эпохи вырабатывает свой собственный метод для построения идеологических форм «религии, морали, права, государства».

В частности, Рейснер с марксистской точки зрения поставил вопрос «о революционном значении права и государства». Его теория встретила чрезвычайно враждебное отношение со стороны академической среды. Но студенты признавали самыми интересными в Петербургском университете лекции трех профессоров: В. Святловского, С. Венгерова, М. Рейснера. В университете Рейснер имел очень мало лекций, гораздо больше на курсах Раева и Бестужевских. Л. И. Розенблюм вспоминала, что студентки горячо поддержали своего профессора в деле с Бурцевым. Устроили митинг против клеветы. Как пишет Михаил Андреевич, «травля не закончилась трагическим исходом (то есть Рейснер был близок к самоубийству. – Г. П.) благодаря поддержке рабочих и студенчества». Плодотворной считал Михаил Андреевич свою работу в многочисленных рабочих аудиториях, где вел «научно-социальную пропаганду». Особенно много он работал на Сестрорецком и на Пороховых заводах.

Почему молнии обрушились на Михаила Рейснера?

В «Гранате» дан обобщенный взгляд на творчество Михаила Рейснера: «Характерной чертой его работ является неустанное пульсирование мысли и обостренная исследовательская порывистость. В связи с широким историческим кругозором и ярко выраженным литературным дарованием эти качества сообщают сочинениям Рейснера свойства возбудителя мысли и заражают читателя жаром, которым горел автор» (И. Ильинский).

Понять Михаила Андреевича и его работы трудно: его «жар» убеждения в «просвещенном абсолютизме» и в «революционном праве», в отстаивании веротерпимости на рубеже веков, а в 1920-е годы – «воинствующего» атеизма. Таков был разброс его мыслей – от одного полюса к другому. Сохранилось стихотворение Михаила Андреевича. Возможно, оно объяснит состояние души Рейснера, ведь лирические стихи всегда стремятся к истине.

Порой я устаю, земля, как тяжкий камень,
Меня влечет к себе, подняться нету сил.
И мысли сдавленной едва мерцает пламень,
Пока недуг его навек не угасил…
И я прикован к ней, немой, великой, темной,
Сливаюсь с нею весь, земли бессильный сын,
И хаоса волной меня уносит сонной
В безбрежный океан безликий властелин.
Но в этом тяжком сне и темном созерцанье
Я чувствую разлив каких-то струй живых,
И в блеске трепетном и сумрачном сиянье
рожит видений рой, мне близких и родных.
И реет вкруг туман волнистыми клубами,
Бежит серебряных и тонких нитей ряд,
И сердце бьется ясное за теплыми огнями,
И ласкою своей они меня дарят.
Так общей жизни мне все ближе косновенье,
Я отдыхаю в ней, я пью ее дары.
Меня живит ее покойное стремленье
И медленно целят волшебные дары.

В этих «волнах созерцанья» у Михаила Андреевича есть общее и с Леонидом Андреевым, и с Александром Блоком. В снах, предчувствиях, в моментах творчества Рейснер, как видно по

стихотворению, поднимался в высшие сферы всеединства, но Россия уже стояла на пути революционного «захвата» общей жизни, когда в нетерпении разрушалось старое; на мистическом плане Россия все больше захватывалась силами зла. Опасность бездн чувствовало едва ли не большинство людей в это время. Прикосновение светлой и темной сфер Михаил Рейснер отразил в своем стихотворении. Как пограничник, стоял у этих бездн Александр Блок, который выразил свои чувства гораздо определеннее и ярче в письме Андрею Белому: «…хочу вольного воздуха и простора, „философского“ кредо я не имею, ибо не образован философски, в бога не верю и не смею верить, ибо значит ли верить в бога – иметь о нем томительные, лирические, скудные мысли… я очень верю в себя, ощущаю в себе какую-то здоровую цельность и способность быть человеком – вольным, независимым и честным… Быть лириком жутко и весело… За жутью и весельем таится бездна, куда можно полететь. Веселье и жуть – сонное покрывало. Если бы не носил на глазах этого сонного покрывала, не был руководим Неведомо Страшным, от которого меня бережет только моя душа – я не написал бы ни одного стихотворения… Если я кощунствую, то кощунства мои с избытком покрываются стоянием на страже».

Лариса Рейснер в 16 лет напишет стихотворение «Блоку», которое как будто повторяет письмо поэта к Белому. Любой творческий человек призван идти по грани света и тьмы, осознанно выбирая путь. Если это художник, он делится тем, что видит, освещает тайны жизни, дает имя стихиям, тем самым внося организующее начало в хаос. Михаил Андреевич «выбрал» социальные стихии, то есть возникающие в обществе людей. Искал дорогу сквозь нее для государства и общего блага людей. Его мысли, оказывается, касаются соборности людей, их связи.

Многие мыслители высказывали мысль, что чем больше человек «зацикливается» на чем угодно, кроме любви к Богу, тем ощутимее судьба бьет его по больному месту, будь то жажда денег, слава, власть, честолюбие… По представителю старинного рода, «державшего знамя чести», Михаилу Рейснеру и ударила молния.

Ларисе пришлось уйти из Балаевской гимназии, слухи наверняка доходили до детей от их родителей. В ее автобиографическом романе не отражено «бурцевское» испытание. И только через десять лет в письмах к родителям из Афганистана прорывается: «Уроки Балаевской гимназии не прошли даром – китайская заградительная стена из прозрачных кирпичиков стоит крепко».

Очищение на Черной речке

Письма по «Бурцевскому делу» приходили к Михаилу Андреевичу летом 1910 года по адресу: Малые Мецекюля. Дача Павла Утта. Ныне это поселок «Молодежное». В 1910 году здесь было гораздо больше домов, чем сейчас, и деревня была поделена на большую и малую. Расположена она на другом берегу Черной речки, чем тот, где стояла дача Л. Андреева. На этом берегу выделялась дача «Мариоки». Двухэтажный дом в 14 комнат, с высокой смотровой башней был известен не только среди дачников, но и в Петербурге. Много гостей приезжало в «Мариоки». Хозяйка – Мария Всеволодовна Крестовская-Картавцева, дочь писателя Всеволода Крестовского – тоже писала рассказы, была известна и любима читателями. Она умерла летом 1910 года. По завещанию муж похоронил Марию Крестовскую на возвышенном месте в парке усадьбы, рядом построил церковь, освященную в 1916 году, вокруг нее начало образовываться кладбище. На этом кладбище впоследствии похоронили Леонида Андреева и его мать, пережившую сына на год.

На Черной речке рядом с домом Леонида Андреева жила на даче мать Валентина Серова с его отцом – известным композитором. Однажды она попросила Георгия Чулкова, который также жил неподалеку, объяснить ей, что значит мистический анархизм, так как она не поняла «сие». Г. Чулков объяснял его так: «Книгу мою „Мистический анархизм“, торопливо и неудачно написанную, осмеивали все: декаденты, марксисты, монархисты, народники, не спасло и вступление В. Иванова. Мистический анархизм – не законченное миропонимание, он лишь путь. Все истолковали его как анархический мистицизм (а он торжествовал тогда). Тогда дьяволы сеяли семена бури, а революционная эпоха обостряла все противоречия до предела. У стихии есть своя правда, с ней не сладишь».

На Черную речку к Рейснерам пришло, наконец, письмо от Меньшикова, «первоинформатора» Бурцева; письмо прояснило возникновение слухов и закрыло «дело» М. Рейснера. И еще одну душевную поддержку – поэтическую – дала Черная речка. На даче в июне 1910 года начала заполняться первая тетрадь стихов Ларисы Рейснер «Песни мои»:

Никто этих звезд не зажег,
Они пребывают и были,
Как радость, присущая силе,

Как Истине – Бог.

(Из «Монаде Лейбниц»)

Глава 11
ПРИНЦЕССА И НАСЛЕДНИЦА ПЕТЕРБУРГСКАЯ

В раю мы будем в мяч играть.

В. Набоков

Четверостишие, которым завершается предыдущая глава, отличается от всех стихов из тетради «Песни мои». Оно написано уверенной рукой зрелого человека. Юношеское половодье других стихотворений поверхностно и описательно. В них проявляются увлечения Ларисы, зарождающаяся метафоричность зримых образов и мышления, театральные пристрастия в сюжетах и диалогах. А это четверостишие, озаглавленное «Из „Монаде Лейбниц“», помечено 1913 годом. По Лейбницу, множество монад – психических субстанций – созданы Богом до Вселенной. Они независимы друг от друга, но их развитие идет в соответствии с развитием остальных монад. Монады – души людей и способны к самосознанию.

В других стихах Ларисы самые любимые слова – «окрыленный», «крылатый», но эти стихи не поднимаются от земли, а только фиксируют тяжесть настроения, резкость самоуверенной юности, критическое отношение к жизни, жажду героизма, одинокого, гибельного, перед «ликом человечества» и ради него. Считаные стихотворения обращены к Богу.

Я прошу Тебя, Всевышний, об одном:
Дай мне умереть с открытыми глазами,
Плакать дай кровавыми слезами
И сгореть таинственным огнем.
Пусть умру я, боже, улыбаясь,
И глаза пусть будут полны слез,
Да услышу музыку миров, прощаясь
С царством терниев и роз.

Стихотворений о смерти, о предсмертных состояниях много именно в эти годы ранней юности. «Я молюсь гения и героя предсмертному мучению».

Довольно жизни, чтобы насладиться,

Довольно мига, чтобы полюбить.
Но надо бездну, смерть иль вечность,
Чтоб то, что нужно, сотворить.

Начало «Бурцевской истории» совпало с началом «Песен моих». Обида, злость, желание мести, ненависть к мещанству, несправедливая изоляция семьи со стороны большинства знакомых – все это отразилось у Ларисы в «увертюре» – предисловии к «Песням»: «Когда злоба в тебе поднимается, глухая и горячая, побори себя… но бойся удовлетворенности, как скуки, как жалости, как обжорства и горячей мысли, потаенной и похороненной, которая душит и волнует… И найди то, чего ждешь, и не стыдись себя, и презирай выжидающих… что злы, и мелки, и сильны в своем гадком постоянстве».

В 1911 году вышел из печати первый том собрания сочинений Л. Андреева с предисловием, написанным М. Рейснером. Тем самым Леонид Николаевич невольно оказал очень своевременную поддержку оклеветанному, изолированному Михаилу Андреевичу. А Лариса в своих стихах и мыслях нередко чуть ли не буквально повторяет мысли своего учителя. К примеру, у Леонида Андреева: «Созидать хочет любящий, потому что он презирает». Пятнадцатилетняя Лариса вступает в жизнь с «андреевским» убеждением, что «Вечная мировая гармония – в душе свободной личности – океан радостной и многоцветной жизни». А если герой погибает в «огненном обновлении жизни» (Л. Андреев), то это свободная смерть, добровольный подвиг.

«Никогда еще не проповедовалось верховенство личности с таким воодушевлением, как в наши дни», – писал Вячеслав Иванов в 1915 году. А Борис Пастернак рассказал об этом и с обыденной точки зрения в «Людях и положениях»: «Принято было задирать нос, ходить гоголем и нахальничать, и как мне это ни претило, я против воли тянулся за всеми, чтобы не упасть во мнении товарищей».

Лариса, судя по предисловию к своей тетради стихов, уже знает, что только творчество спасает от чувства мести такие мятежные натуры, как она, у которых смирения нет и быть не может: «Свят дарящий розы от своего цветника. Свят сильный, демон или кто другой, и его душа – алтарь свету… Свят проигравший жизнь или молодость, не вспоминающий, ибо его призвание – гибель и выхода ему нету и ужас – запоздание и сила – смех». Какие бы несовершенные стихи ни писал человек, он все равно вносит гармонию в жизнь. А Ларисе Рейснер действительно предстоял «огненный путь очищения».

Но Ларисе только 15 лет, и, судя по ее письму к дяде и тете (Лариса отдыхала летом 1911 года у них под Варшавой), она по-детски хочет быть еще принцессой, но уже не может справиться со своей вспыльчивостью:

«Прошу поцеловать от нашего имени Его высочество Инфанта Варшавского… ножки, лобик, ручки, животик и проч. не менее милые места Его персоны. Итак, еще раз поклон и привет от Принцессы и Наследницы Петербургской.

…Милая Тека, пожалуйста, прости мне, я знаю, что бываю невыносима, но не нарочно. А оттого, что такая иногда подымается волна горечи и обиды, что уже ничего не видно и ничего не хочется видеть. Какое-то безумие, и каких слов не скажешь, каких злых обид не нанесешь в эти одинокие и темные минуты… Я сама достаточно за них плачусь и стыдом и болью… Целуй крепко дядю и Солнышко. Пусть будет счастливо и здорово и прекрасно. Ваша Ляля».

Лариса не терпела никаких упреков в свой адрес. Впадала в гнев и тогда могла неожиданно вылить стакан чаю на голову обидчика, как вспоминал Лев Никулин. Другим ее полюсом была сентиментальность, на любимых спектаклях она могла заплакать.

Совершенная красавица

Из родившегося некрасивым ребенка (как считала мама) Лара выросла в красавицу. Гимназисткой ее увидел Георгий Иванов, работавший тогда курьером в одном из издательств и посланный к Михаилу Рейснеру с предложениями по изменению текста. Поэт вспоминал:

«Была, наверное, весна. С островов по Каменноостровскому тянуло блаженной свежестью петербургского апреля… По широкой лестнице ультра-модернизированного дома я поднялся на 3 этаж (на самом деле на пятый. – *Г. П.)*. Лакированная дверь, медная доска: проф. Рейснер. Но на мой звонок никто не открыл. Я позвонил еще – то же самое. Может быть, звонок испорчен? Я хотел постучать и толкнул дверь. Она без шума распахнулась. И в прихожей напротив меня была видна большая белая комната с роялем и цветами – гостиная, должно быть. Окно в ней было «фонарем», большое зеркальное стекло, ничем не завешенное на сад и розовое вечереющее небо. На фоне этого окна стояла девочка лет 15-ти и мальчик – морской кадет. Они не слышали, как я вошел. Должно быть, они ничего не слышали: они целовались. Они стояли, отодвинувшись друг от друга. Она, положив руки на погоны, он осторожно держал ее за талию, совершенно так, как на наивных английских картинках изображается «первый поцелуй». Первый или нет, поцелуй был очень продолжительный. Что мне было делать? Я кашлянул. Морской кадет отдернул руки и быстро отвернулся к окну. Девочка слабо ахнула, потом, мотнув белокурой головой, пошла мне навстречу. Лицо ее пылало, глаза блестели. Признаюсь, когда она подошла ближе, я позавидовал морскому кадету, с независимым видом теребившему свой рукав, – так прелестна была его подруга. Она была совершенной красавицей… Психеей».

В дальнейшем Георгий Иванов будет встречать Ларису в разных местах, по-приятельски провожать с разных балов, литературных встреч, посвятит ей акростих.

Лариса страстно любила танцы. Ее видели и на балах в Тенишевском училище, и в своей, «одной из аристократических гимназий», гимназии Д. Прокофьевой на Гороховой улице, 19. В двухсветном актовом зале женской Петровской гимназии и в соседней, мужской гимназии Лентовской (Большой проспект, 61), где учился ее брат Игорь Рейснер, Ларису за удивительную пластичность и красоту выбирали «королевой бала».

Первая фигуристка

Лариса любила движение, была соткана из него. На углу Большой Зелениной улицы (там, где теперь станция метро «Чкаловская», построенная в «Зеленинском» саду) за дощатым забором находились огороды. Зимой все это пространство заливалось водой и огороды превращались в каток «Монплезир». На льду местами, особенно по углам, торчали черные кочерыжки капусты. Гонщики, в черных трико, катались на «бегашах», длинных и острых, как ножи. Гимназисты в серых шинелях – на «снегурочках», уличные мальчишки – на самодельных, подвязанных веревками железных пластинах; фигуристы выписывали тройки, восьмерки, взлетали в перекидном прыжке – на изогнутых «нурмисах» – все это, как вспоминает Вадим Андреев, «неслось, летело, падало под звуки вальса „На сопках Маньчжурии“, под медный грохот оркестра». Именно на этом катке Лара добивалась мастерского владения коньками и до конца жизни оставалась первой фигуристкой на всех катках, где бывала.

В начале XX века коньки стали модой. К 1908 году наивысших успехов в мировом спорте среди фигуристов достигли А. В. Лебедев, ставший первым «некоронованным» чемпионом мира, и Н. А. Панин. В Эрмитаже хранится первая золотая медаль, небольшая, с пятикопеечную монету, завоеванная на Олимпийских играх русским спортсменом Паниным.

Первый чемпионат Европы состоялся в 1891 году в Гамбурге. В России число катающихся на коньках по Неве увеличивалось уже в 1830-е годы. В 1864 году около Медного всадника на специальном катке американский фигурист Д. Гейнс показывал доселе неведомые на Неве высокие прыжки, пируэты и другие фигуры. Первый чемпионат мира по фигурному катанию был проведен Петербургским обществом любителей бега на коньках на катке Юсупова сада в 1896 году. В «школьной программе» тогда уже были «кораблики», сложные пируэты, прыжки в полтора оборота с приземлением на вытянутую ногу, низкие «волчки». В специальной программе появлялись кресты с полумесяцем; лиры, змейки, отражая богатство воображения и техники. В произвольные программы вставляли танцы – мазурки, матросский и русский трепак с присядкой. На первом чемпионате России для женщин в 1911 году сестра композитора Цезара – Ксения стала первой. В 1912 году в помещении театра «Аквариум» (ныне павильон «Ленфильма») был оборудован первый в стране закрытый каток с искусственным льдом. Кинохроника сохранила

катание смолянок на коньках (в фильме «Ах, Федор Федорович»). Коньки любили всю жизнь Алиса Коонен, Анастасия Цветаева, которая каталась на них до 80 лет.

Режиссер фильма «Ариадна» Людмила Шахт и ассистент режиссера нашли в Красногорском киноархиве запечатленный эпизод на дореволюционном катке, там и одиночки, и пары катаются полудугами, то на одной ноге, то на другой – это и есть голландский шаг. Дамы катаются в длинных юбках и шляпках, некоторые – держась за кресло на полозьях.

В своем романе «Рудин» Лариса написала о голландском шаге:

«Шел легкий снежок, и мужики ряд за рядом разметали его своими длинными усатыми метлами. Посередине катка со скрипом опустился висячий фонарь, и вскоре на голубом поле его лимонный свет смешался с едва приметным сиянием молодой луны, взошедшей на голубом, сумеречном небе, полном мороза и ясности. Фигуры катающихся вдруг сделались черными, быстрыми и маленькими. И только посередине, в кругу крепнущего света, тень конькобежца в белой фуфайке летала, еще более легкая, как птица над замерзшим взморьем…

– Подождите, Урсик, мне холодно. Я немножко пробегусь.

Она встала неловко и неуверенно, чуть оттолкнулась одной ногой, как это делают начинающие, – и вдруг раскрыла руки, нагнулась, и начался полет. Это – голландский шаг, широкий царственный, опираясь на выгнутый нож, летит, как над зеркалами, сам себя поддерживая в чудном равновесии, в приливе и отливе равномерных взмахов. Это иллюзия, только одной точкой льда привязанная к земле, это пляшущая зима с румянцем на щеках, с прерывистым и чистым дыханием, с телом лебедя, с быстротой юноши.

На льду пересеклись две плавные орбиты, две непогрешимых тонких дуги. Урсик одной рукой обнял Ариадну, другой спокойно вытянул ее руку, и ни о чем не думая, не зная устали, они все танцевали, все плыли по воздуху, дыша и переводя дыхание одновременно.

Лед чуть скрежетал на плавных поворотах, сумерки все сгущались и лиловели, волосы играющих в эту чистую и молодую игру покрылись инеем. Поэт крепко держал и нес по воздуху тело молодого и бесплотного духа.

Замороженные музыканты, с льдинками на усах, с багровыми лицами, завернутыми в багровые шарфы, расселись, наконец, по своим местам, расправляя ноты, покрытые снегом. Мальчишки столпились у железной печки, поставленной посередине оркестра, затем медные трубы взвились кверху и, подгоняемые

бешеным и хриплым вальсом, все катающиеся ринулись по кругу. Ариадна до смерти любила скверную музыку – шарманку, трубу полкового трубача, рояль за стеной, взятый напрокат и бренчащий по вечерам… Усталые, как после счастливой снежной оргии, они пошли домой».

Петербуржцы самым здоровым видом спорта называли лыжный. В ларьках выдавали напрокат не только финские лыжи, но и «кривоносую обувь для лыжебежцев». Приглашали на лыжные экскурсии в Лесном. Хороший знакомый Ларисы Сергей Городецкий ходил с такой экскурсией из Ланской в Бугры под парусом. Заядлой лыжницей была и Лариса.

Легкое пламя Петербурга

До последнего лета своей жизни Лариса играла в лаун-теннис (лаун – на лугу). Это был аристократический вид спорта, которым увлекались еще современники Аристотеля и Платона.

Летом 1925 года Лариса и Игорь находились на лечении в Висбадене, на фотографии они сняты с ракетками. Учились теннису они на Крестовском острове, где были первые корты. Владимир Набоков в «Университетской поэме» много строк посвятил теннису.

Ах, признаюсь, люблю я, други,
на всем разбеге взмах упругий
богини в платье до колен!
Подбросить мяч, назад согнуться,
молниеносно развернуться,
и струнной плоскостью сплеча
скользнуть по темени мяча.
И, ринувшись, ответ свистящий
уничтожительно прервать, —
на свете нет забавы слаще…
В раю мы будем в мяч играть.

Играл в теннис и писал о нем стихи Осип Мандельштам.

В 1909 году состоялось первое женское соревнование теннисисток, в основном петербургских спортсменок. С этого года выходил в Петербурге журнал «Лаун-теннис».

Георгий Иванов просто обозначил круг петербургских увлечений от весны до весны: «Кончалась музыка в Павловске, начинался сезон в Петербурге. Ничего особенного не случалось – из года в год было одно и то же. Осень, вернисаж, первый снег, балет, новая книга стихов, крещенский мороз – так до первого дыхания ни с чем не сравнимой петербургской весны, до белых ночей, до новой „музыки“.

И только. Но веял над нами
Какой-то таинственный свет:
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет».

И оперу, и балет «наследница Петербургская» любила; может

быть, у нее не было возможности «наслаждаться музыкой иначе чем с галерки» (как пишет Лариса про жену профессора Сильванского в «Рудине»).

Лев Лурье подсчитал, что ежедневно 150–200 учреждений в Петербурге приглашали желающих провести свой досуг. Семь симфонических оркестров, а еще камерные оркестры и хоровые коллективы. Особенно популярны были симфонические концерты, организованные А. И. Зилоти. Любопытно, что А. Зилоти посвятил переложение органных прелюдий Баха М. Горькому, который, оказывается, их очень любил. Откуда Зилоти брал деньги на свою антрепризу? Обычно искали коронованных особ или иных богатых покровителей. Помогали друзья-музыканты. Л. Собинов предложил выступать в концертах бесплатно, делал это постоянно и С. Рахманинов, кузен Зилоти. П. Чайковский, зная о бедности Русского музыкального общества, получал деньги только за дирижирование без авторского гонорара. И в наше время, через сто лет также: если цены на концерт в Большом зале филармонии самые низкие – значит, исполнители ничего не получают.

Кроме музыкальных залов, петербуржцев ждали 70 выставочных залов (помимо музейных). Главным, как и сейчас, был зал ЛОСХа на Большой Морской улице. Существовало 358 художественных обществ. Михаил Андреевич хорошо рисовал, в Томске был заведующим Художественно-промышленной школой. Лариса писала стихи об Эрмитаже, о художниках. В помещениях многочисленных обществ лучшая профессура читала публичные лекции. Кроме того, постоянно соблазнял Ларису кинематограф, только на Большом проспекте было девять кинотеатров. Все библиотеки (и Публичная тоже) были открыты для всех желающих.

В мае 1911 года Лариса пишет стихотворение, как художник – этюд, о родном доме, в котором опять предчувствует свой короткий жизненный путь.

Я не могу забыть ни бледности небес весенних,
Ни легкого рисунка беленьких цветов,
Ни света мягкого под пестрым колпачком,
Ни дорогих мне образов за гранью смутной рамы.
Все это слишком близко мне: до боли, до страданья.
Одна из трепетных страниц необычайной жизни,
В которой все лучи неясные великого восхода,
И ожиданье, и тоска, и, как волна далекого прилива,
Предчувствие полета, и сладостная боль смертельного падения.

Случайная, весенняя, неясная страничка.

Глава 12
СТУДЕНТКА ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Познай человека, служи человеку, люби его.

Девиз
Психоневрологического
института

Для Петербурга весна 1912 года ознаменовалась солнечным затмением, для Ларисы – окончанием гимназии. В день затмения 4 апреля было тепло, уже вскрылась Нева. Поезда с битком набитыми вагонами привезли горожан, желающих видеть затмение рядом со специалистами из Пулковской обсерватории, в Чудово. Немало любителей-астрономов приехало в Вильно, Тверь и другие более удобные места для наблюдения, среди них был Дмитрий Менделеев. На воздушном шаре поднялся в составе экспедиции бывший политзаключенный Николай Морозов. Летели 300 километров, сделали множество снимков солнечного затмения. И в Петербурге на улицах было полно народа, несмотря на будний день. Торговцы бойко продавали осколки стекла, покрытые сажей, и более дорогие цветные стеклышки. Толпы людей – у обсерватории «Урания», выстроенной на Марсовом поле; попавшие туда счастливчики наблюдали затмение целых 17 секунд.

Студенческий и профессорский Петербург

В начале XX века журнал «Вестник знаний» был очень популярен. При поступлении в технические вузы возник большой конкурс: в железнодорожный институт – 10 человек на место, в электротехнический – 7—10. Требования в этих институтах оставались высокими на всех курсах. В 1910 году, к примеру, окончили электротехнический институт только 32 человека. В большом и популярном Политехническом институте был конкурс аттестатов. Правда, самый высокий конкурс оставался в тех институтах, после окончания которых делали быструю карьеру. Как во все времена. В Петербургский университет и на Бестужевские курсы выпускники гимназий принимались без экзаменов. Училось в университете около девяти тысяч студентов, как и сегодня.

В Петербурге существовали две крупные математические школы мировой известности. Модной наукой была микробиология. Славился Петербург и физиологической школой. Из гуманитарных наук лидировали востоковедение и славистика. В науке сформировались две школы – петербургская и московская. Петербургские ученые больше предпочитали семинары, чем лекции; материал они стремились излагать с наибольшей точностью, глубиной, последовательностью, сухо, беспристрастно. Московская школа отличалась большей эмоциональностью, обобщениями, стремлением к публичным лекциям.

На кафедре в институте имелся только один профессор, остальные – приват-доценты. Профессоров в Петербурге было на два порядка меньше, чем сейчас, но научных статей они публиковали больше.

Профессор читал лекции один раз в неделю, главным в обучении были его семинары, которые преподаватель проводил у себя дома. Студенты обращались к профессору «коллега», брали книги из его библиотеки. Так как книги стоили очень дорого, преподаватели покупали их у букинистов и продавали, когда они были уже не нужны. В профессорской среде сформировалась своя этика. Неприлично было участвовать в крайне правых изданиях, разделять взгляды членов партии октябристов (проправительственной партии). При этом высший слой этой интеллигенции отличался большой патриотичностью. Общались ученые, преподаватели в научных обществах, их было около 620. В них мог входить не только профессионал, но и любой желающий. Общества имели библиотеки, буфеты, читальни, где

знакомились с последними работами коллег. У каждого общества было свое издательство. «Вылететь» из общества считалось величайшим несчастьем. Исключали, к примеру, из медицинских обществ тех врачей, которые отказывались лечить бедных больных бесплатно, им не подавали руки.

Можно представить, как тяжело было Михаилу Андреевичу в период «бурцевской клеветы». Не случайно на титульном листе первого тома своего «Государства» он поставил посвящение: «Памяти Николая Рейснера (1545–1602), профессора, юриста и поэта свой труд посвящает автор» и поместил высказывание знаменитого предка на латыни: «Для достижения идеала необходимо иметь правильные законы, учитывающие прошлое, предвидящие будущее. Николай Рейснер. Краткое изложение научного описания разнообразных учений о нравственной философии. 1573 год» (перевод мой. – *Г. П.)*.

Лариса окончила гимназию Д. Прокофьевой (на Гороховой, 19) с золотой медалью. Десять предметов она сдала на «отлично» (Закон Божий, русский язык и словесность, географию, естественную историю, физику и математическую географию, педагогику, немецкий, французский языки), один предмет – математику – на четыре. Средний бал 4,91 давал право на золотую медаль. Оканчивали тогда гимназию далеко не все поступившие в нее ученики. Были случаи самоубийства среди не сдавших такого множества экзаменов. Второгодничество считалось нормой, а не позором.

Сестра Екатерины Александровны – Евгения и ее муж Леонид Крузе поздравили Ларису с окончанием гимназии и пожелали: «Чтобы всегда, в трудные минуты, когда беспощадная жизнь может поставить Тебя совершенно одиноко, без друга, без помощи, без протянутой спасающей руки, Ты всегда слышала тихий, робкий голос совести-души, этого Ангела-Хранителя человека… Святая любовь, радость и справедливость да будут хранителями твоей жизни, мысли и сердца. Да живет борьба!»

Осенью 1912 года золотой медалистке предстояло выбрать институт.

Психоневрологический институт

Женщин принимали студентками только в три высших учебных заведения: на Бестужевские курсы, в Педагогический и Медицинский женские институты. С разрешения ректора женщины могли быть в университете вольнослушательницами. Лариса воспользуется этим разрешением, посещая в 1914–1916 годах филологический и юридический факультеты. Весь преподавательский состав юридического был кадетским.

В 1912 году после гимназии Лариса выбрала «самый вольный институт» – Психоневрологический. На пяти факультетах работало 150 преподавателей. Глава юридического факультета – М. Ковалевский, общее государственное право – М. Рейснер, социология – Е. В. де Роберти, история экономических учений – В. Святловский. Президент института – Владимир Михайлович Бехтерев, который давно мечтал об институте по всестороннему изучению человека, для чего нужны были гуманитарные науки, охватывающие все сферы человеческой деятельности. С осени 1911-го по декабрь 1927 года (времени смерти Бехтерева) институт находился в собственном здании на углу Казачьего переулка и улицы Первого луча (теперь имени Бехтерева).

Открывая институт в 1908 году, Владимир Михайлович говорил: «… Для государства и общества… нужны лица, которые понимали бы, что такое человек, как и по каким законам развивается его психика, как ее оберегать от ненормальных уклонений в этом развитии, как лучше использовать школьный возраст человека для его образования, как лучше направить его воспитание, как следует ограждать сложившуюся личность от упадка интеллекта и нравственности, какими мерами следует предупреждать вырождение населения, какими общественными установлениями надлежит поддерживать самодеятельность личности, устраняя развитие пагубной в общественном смысле пассивности, какими способами государство должно оберегать и гарантировать права личности, в чем должны заключаться разумные меры борьбы с преступностью в населении, какое значение имеют идеалы в обществе, как и по каким законам развивается массовое движение умов и т. п.».

Одновременно в Психоневрологическом институте училось около 600 юношей и 400 девушек. Самое большое количество – три тысячи студентов – было в 1913 году. Кто не мог платить, освобождался от платы. Еврейской нормы Бехтерев не соблюдал. Хлопотал о каждом студенте, освобождая его от армии, фронта, тюрьмы. В его институте учились представители всех

политических партий, каждая издавала свою газету. В Министерстве народного просвещения этот «самый вольный, непослушный институт» пытались закрыть, ежегодно посылая проверки. Но все выводы инспекций В. Бехтерев отрицал и благодаря своему авторитету, своей славе ученого уходил от неприятностей. Он вылечивал тысячи больных, среди которых были и пациенты императорской фамилии. Институт все-таки закрыли, но за три дня до Февральской революции.

Знаменитыми писателями из студентов Психоневрологического института стали Михаил Кольцов, Вивиан Итин. Годы спустя в некрологе Ларисе Рейснер «Милый спутник» М. Кольцов писал: «Зачем было умирать Ларисе, великолепному, редкому, отборному человеческому экземпляру? Сколько радости и бесценных богатств могла дать людям эта яркая человеческая жизнь!.. Рейснер была наиболее интеллигентом в самом лучшем смысле этого слова. Она была человеком особо тонкой, высокой интеллектуальной культуры».

Лариса училась на историко-филологическом и юридическом факультетах. На основном факультете было больше медицинских наук. А остальные два факультета были научно-техническими: физико-математический и естественно-исторический.

Талантливый зырянин К. Ф. Жаков, земляк Питирима Сорокина, языковед, руководил кружком «Всемирной сказки». Лариса была старостой кружка.

С. С. Шульц, рассказывая о Ларисе Рейснер 7 марта 2000 года в особняке Румянцева, назвал Ларису любимой ученицей Владимира Бехтерева. Как было Бехтереву не любить студентку, которая в своих стихах соединяет научные и художественные образы! Бехтерев считал, что в психологии играют роль законы всемирного тяготения, превращения энергии. (Книги Бехтерева «Объективная психология» и «Рефлексология» – энциклопедия человека.) Студентам основного факультета Бехтерев читал свои «Основы учения о функциях мозга», «Общую диагностику болезней нервной системы».

Одно из «научных» стихотворений Ларисы написано 10 мая 1915 года:

ПЕСНЯ КРАСНЫХ КРОВЯНЫХ ШАРИКОВ
Мы принесли кровеносные пчелы
Из потаенных глубин
На розоватый простор альвеолы
Жаждущих соков рубин.
Вечно гонимый ударом предсердий,
Наш беззаботный народ

Из океана вдыхаемой тверди
Солнечный пьет кислород.
Но как посол, торопливый и стойкий,
Радости долгой лишен,
Мы убегаем на пурпурной тройке,
Алый надев капюшон.
Там, где устали работать волокна,
Наш окрыленный прыжок
Бросит, как ветер в открытые окна,
Свой исступленный ожог!

Лариса принимала участие в бехтеревской разработке проблемы бессмертия. В конце февраля 1916 года академик Бехтерев произносил речь о бессмертии человеческой личности: «Если вместе со смертью навсегда прекращается существование человека, то спрашивается, к чему наши заботы о будущем? К чему, наконец, понятие долга, если существование человеческой личности прекращается вместе с последним предсмертным вздохом? Не правильнее ли тогда ничего не искать от жизни и только наслаждаться теми утехами, которые она дает. Нет! Ни один вздох и ни одна улыбка не пропадают в мире бесследно… Человеческая личность продолжает свое существование во всех тех существах, которые с ней хотя бы косвенно соприкасались, и таким образом живет в них и в потомстве как бы разлитою, но зато живет вечно, пока вообще существует жизнь на земле. Поэтому все то, что мы называем подвигом, и все то, что мы называем преступлением, непременно оставляет по себе определенный след в общечеловеческой жизни».

Бехтерев увлекал многих коллег научным изучением таинственных явлений человеческой психики, в частности телепатии. А с волшебным укротителем Львом Дуровым упрямо повторял опыты мысленного внушения собакам на расстоянии различных действий.

Питирим Сорокин

В письмах 1913 года у Ларисы встречается описание научной и студенческой жизни. А в роман «Рудин» она вставила защиту докторской диссертации историком-социологом Павловым-Сильванским.

Из письма к родственникам: «Милые мои Доники, не сердитесь на меня, потому что сама я на себя очень зла. Какая-то безразличная и холодная полоса на меня нашла. Вот только теперь начала оттаивать. Много этому помогла работа в институте: во-первых, экзамены (на днях сдаю первый) и, во-вторых, в папином кружке. Совершенно для меня ново и даже непонятно и подозрительно увлечение, с которым студенчество, такое холодное и анархически поверхностное, в последние годы принялось за работу в кружке. Просто поразительно, чтобы у профессора-юриста, и особенно после Бурцевской истории, оказалась аудитория в 200 человек. И я рада за папу, ему много легче читать в большой аудитории… Между прочим, Сорокин (дядя его знает, кажется) выпустил свою первую книгу „О преступлении и наказании“, очень интересный социологический очерк. У нас состоялся презабавный „обмен“, гм-гм, „печатными трудами“. Папа целую неделю смеялся после этого торжественного „обмена“… Ваша Ляля».

Труды титана социологической теории XX века Питирима Александровича Сорокина (1889–1968) известны во всех странах. А кому известны книги Михаила Рейснера сейчас? Зря Рейснеры смеялись по поводу обмена печатными трудами. Двадцатым веком был востребован Питирим Сорокин. Его теория дает метод анализа социальных явлений и метод уменьшения неопределенности в прогнозах. Для современной науки сорокинское наследие только в будущем станет впору. Он дал миру много плодотворных идей, часть из них была воспринята только после его смерти. П. Сорокин нестандартно мыслил, обладал живым умом.

Исторический процесс, по Сорокину, – пульсация трех типов культуры: первого – чувственного, то есть непосредственного восприятия действительности; второго – с преобладающим рациональным мышлением и третьего – идеалистического типа с интуитивным методом познания. Смена господствующих типов происходит во время революции, войн и кризисов. Выход из кризиса современного общества, связанного с развитием науки и материализма, П. Сорокин видел в будущей победе религиозно-идеалистической культуры, которая вберет в себя лучшее из

других культур. Главное в его теории творческого альтруизма – взаимная солидарность, конвергенция на равенстве разных начал. Ненависть ничего создать не может.

Питирим Сорокин окончил Петроградский университет и с 1919 года в нем же преподавал, был лидером правого крыла партии эсеров. После Февральской революции работал секретарем А. Ф. Керенского. Его выслали из Советской России в 1922 году в числе нескольких десятков ученых, отличавшихся независимостью суждений и поведения. Умер он в США.

Отец и дочь

Про Питирима Сорокина написано, наверное, много книг. А про Михаила Рейснера-ученого написала только дочь в романе «Рудин»:

«Возбужденный ум Михаила Андреевича между тем достиг крепости и мощи, с перелома своих сорока лет он видел все тайны социального механизма и чувствовал в себе спокойную дерзость разрушителя, который весь в белом, с глазами, освобожденными от всякой лжи, с невозмутимой кровью и блестящим чистым скальпелем, стоит над своей эпохой и готовится к вскрытию и обозначению того, до чего не смеет коснуться ни один из современников…»

«Почему ты один? Почему нет ученика, хоть одного, но настоящего, который бы тебе верил?» – спрашивает Екатерина Александровна в романе.

«М. А. следил за иностранной печатью, с торжеством и ревностью замечая, как близко наука других стран подошла к разрешению загадок, которые для него уже были раскрыты, и как сияющий Млечный путь пересекал черту нищеты и вынужденного бездействия. Он испытал тайное соперничество умов в различных углах мира, работающих над сродными задачами, эту атмосферу напряжения догадок, которая соединяет электрическими нитями мозг людей, опередивших свое время.

Михаил Андреевич испытывал минуты ослепительного счастья. Ночью он будил жену и, чувствуя, как медленно холодеет лоб, как сердце отбивает пурпурный такт победы, говорил ей о новом, только что блеснувшем открытии, о невиданных орбитах, по которым с непогрешимой точностью двигаются, погибают и снова родятся культуры и миры. Екатерина Александровна многого не понимала, но у нее был гениальный инстинкт, и то, что муж приносил из лаборатории точного знания, она проверяла искусством, страданием и кислотой неумолимой этики… Но утром М. А., еще горячий от творческой ночи, бежал в университет, потом на всякие курсы и техникумы, ехал на бесчисленных трамваях, шел много-много кварталов пешком и к вечеру возвращался домой разбитый, с неудовлетворенным мозгом, который требовал немедленного освобождения от груза созревших идей, и с глазами, которые смыкались от усталости.

Дни шли за днями, жажда, тянувшая его к письменному столу, постепенно притуплялась и, наконец, исчезала совсем. Видения бледнели, догадки отступали на задний план, пока где-нибудь перед случайной аудиторией, перед школьниками они не

прорывались наружу в последний раз блестящей, неудержимой и шалой волной вдохновения.

Профессор приходил домой взволнованный:

– Милая, какую лекцию я им прочел!

Она подымала на него глаза, полные горечи:

– Ах, опять выболтался, а когда же книга?

А книги не было и не могло быть. Человек, имевший 27 лекций в неделю, не мог ничего написать».

Но, кроме главной книги, которую Михаил Рейснер задумал 25 лет назад, он почти каждый год выпускал «боковые». В 1912 году вышло несколько юбилейных томов «Отечественной войны 1812 года и русского общества». В седьмом томе напечатана статья М. Рейснера «Идеология реакции». Михаил Андреевич подарил книгу дочери: «Моей дочке Лялечке в поучение о том, из какого сора порой могут расти полезные фрукты». В этом томе – богатый материал о декабристах, политике, мистике. Поучение ей очень пригодится.

М. Рейснер вел семинар «Утопический парламент», на котором студенты Психоневрологического института и университета выступали с докладами о различных путях достижения человечеством счастья. Программа семинара объявлялась в студенческой печати и назывались обсуждаемые пути: религиозный, мистический, романтико-эстетический, рационально-практический. Рассматривались также темы и взгляды Вл. Соловьева, Келлами, Л. Толстого, Рескина, Уэллса, Ницше, Герля (утопия сионизма). А на одном из заседаний «Лаборатории мысли» в университете Лариса делала доклад о путях и конечной цели движения человечества.

«Не буду излагать речь докладчицы, скажу только, что речь была захватывающая, смелая, образная, поражающая оригинальностью», – писал Вере Инбер один корреспондент.

Выйдя из гимназии, Лариса за летние месяцы написала два очерка о своих любимых шекспировских героинях – Офелии и Клеопатре. Еще в 1911 году на страницах тетради «Песни мои» она стала записывать книги о Шекспире, а свои письма подписывать, имитируя придворные обороты речи шекспировских героев, – «Принцесса и Наследница Петербургская». В конце 1912 года был напечатан очерк об Офелии, а в начале 1913 года – о Клеопатре. «Могучая и прекрасная стихия страстей» (цитата из ее очерка об Офелии) вырвалась из обязательных гимназических программ и воплотилась в две маленькие книжечки (8х12 сантиметров) в миниатюрной библиотеке рижского издательства «Наука и жизнь» в серии «Женские типы Шекспира». На обложке стоит имя автора – Лео Ринус. Лариса взяла псевдоним

знаменитого предка почти одновременно с отцом. Эти первые напечатанные произведения появились благодаря помощи и связям латышских родственников и друзей. Через короткое время, в том же 1913 году, в литературно-художественном альманахе «Шиповник» (кн. 21) появляется драма Ларисы Рейснер «Атлантида».

1912 год стал для Ларисы временем первого взлета, и ее первые напечатанные произведения, как три прожектора, осветили ее будущую жизнь.

Глава 13
ОБРЕЧЕННОСТЬ. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Жизнь дарит бессмертие тем,
кто бросает в пламень вечного огня
свое земное существование.

Л. Андреев

Пьесу «Атлантида», напечатанную в альманахе «Шиповник», Лариса предварила предисловием: «Источником для настоящей пьесы послужили: общеизвестный мексиканский миф о принесении в жертву юноши, который в течение года пользуется божескими почестями, и древнегреческие утопии, как то: „Атлантида“ Платона, „Святая хроника“ Евгемера, „Град Солнца“ Ямбула и т. п. Пользуясь указаниями этих утопий и фантастических путешествий, автор счел себя вправе придать Атлантиде чисто теократический характер и заменить платоновский храм Посейдона символическим храмом Панхимеры».

Попадать в разные пространства и времена в «фантастических путешествиях» дано интуиции, воображению и тем состояниям сознания, которые аналитическое мышление выключают. Лариса обладала странным сочетанием способности летать «на ковре-самолете» с трезвостью пытливого ума и научного скептического взгляда. Три ее первых опубликованных произведения составляют композицию, включающую в себя обзор трех государственных устройств: рабовладельческого (время Клеопатры), королевского средневекового (время Офелии), жреческого, теократического (время «Атлантиды»). Во всех героях анализируется влияние давящих на них традиций. Герои борются с общественной средой, вырываются из нее ценой жизни. В Атлантиде жреческая деспотия полностью подчинила себе государство и народ, в Египте рабство делает из царей тоже рабов, в Дании – тирания королевской власти и вассалов ее двора. Итак, что же в трех произведениях отражает увлечения и пристрастия самой Ларисы, ее судьбу?

Офелию Лариса сравнивает со спящей красавицей. Но это первый облик Офелии, есть еще и второй – безумный. Лариса предлагает посмотреть на две картины художников Аббея и Уэста, запечатлевшие два облика Офелии. По поводу второго,

безумного, облика она пишет: «Разве это не взгляд жертвы, вырвавшейся из рук палачей?» Офелия теперь не зависит от власти отца, брата. Проживи Лариса Рейснер чуть дольше, и ее мятежная воля, ее окружение (Раскольников, Радек, Бухарин, Троцкий и др.) неизбежно стали бы причиной ее ареста, привели в руки палачей.

Офелия и Клеопатра: гибель от чистейшей и от продажной любви

Во всех произведениях (не только первых) Лариса описывает ложь и лицемерие социальных сред, наложивших отпечаток на героев. На Офелию – придворная «паразитическая жадность тунеядцев, вскормленных на даровой военной добыче… Шпионство, предательство – как средство добывания милостей у кормящей власти». И далее она пишет, что лишь «бесконечность страдания», вызванная смертью отца, безумием Гамлета, уходом его от нее освободила Офелию:

«"Безумная" назвали ее, „свободная“ назовем ее мы. Ее предсмертный бред наполнен образами великой любви, преданности, верности. Офелия оставила всё, и двор, и дом, и обычное платье. И как Офелия сбросила маску среды, времени и женской узости перед своим преображением, так и Гамлет перед своей гибелью вновь повторил высочайшее и чистейшее таинство любви… Над могилой Офелии священник отказался совершить богослужение, но любовь Гамлета совершила над ней свое высочайшее таинство…

Судьбе угодно было поставить сына лицом к лицу с постыднейшим, святотатственным падением матери… [она] лишила Гамлета святая святых – тайны отношения сына и матери. Любить Гамлет больше не мог и не смел… И отправляя Офелию в монастырь, объяснял – будь чиста как лед, бела как снег, ты, все-таки, не уйдешь от клеветы. Два духа, разбитые и преображенные, проложили путь через трясину лжи. Поклонись им, человечество!»

От Офелии уйдет Гамлет, от Ларисы – Гумилёв.

В «Клеопатре» Лариса концентрирует внимание на том, что египетская царица, чтобы сохранить царство, вынуждена искать покровителей: Цезаря, потом Марка Аврелия. А когда последний погибает, Клеопатра сама выбирает себе смерть, тем самым спасая свою душу, исковерканную продажной любовью. Самостоятельная, независимая Лариса, чтобы сохранить творчество, в способности к которому она всегда сомневалась, шла, как Клеопатра, навстречу влюбленным в нее «покровителям» – Раскольникову, Радеку.

Жертвоприношение – открытое послание в другие миры

В этом убеждены были жрецы древней культуры майя. И в крайних случаях, когда стране грозила гибель, отправляли к богам не животных, как обычно, а девственных юношей и девушек, лучших из лучших, чтобы с ними передать богам просьбы и мольбы людей. А чтобы освободить душу избранных посланников, которая находилась в крови и дыхании, полагалось пустить кровь из тела, и жрецы вырывали из него сердце. Убивали жертву-посланника в особых местах, связанных с миром предков, которые помогали душе достигнуть богов. Жертву поили наркотическим снадобьем, избавляя от лишних мучений. Избранным посланникам оказывались божеские почести не только потому, что они идут к богам, но и потому, что они отказались от личного ради общественной пользы. По мировоззрению майя, души людей рождаются много раз на земле, поэтому смерть не так уж непоправима.

За религиозными основами культуры майя Лариса видела жрецов, любящих власть и золото. Ее герои – атеисты. По мнению Ларисы, культура майя возникла от спасшихся посланцев Атлантиды, атланты не должны были погибнуть, они много знали. Герой рейснеровской пьесы, юный атлант, рыбак Леид, нашел новую землю в своих плаваниях, ведь Атлантиду вот-вот затопит океан. Леид соглашается стать Обреченным, чье слово закон для всех, чтобы с помощью своей любимой девушки Рены, друзей из философской школы, из среды рыбаков и охотников построить в подземных верфях корабли.

Храм Панхимеры, в котором живет Обреченный, показан Ларисой как место поклонения власти золота. Жрецы заставляют художника, написавшего не ту, что заказана ими, картину, уничтожить ее собственными руками. Художник после этого не хочет жить и выпивает предложенный ему яд.

Лариса замыслила удивительно емкую – для своих 18 лет – драму, где есть все необходимое, чтобы охватить главное в жизни: родительскую любовь, юношескую жажду жертвенного подвига, жажду творчества, неразрывную связь творения и автора, а также показать разных представителей всех слоев общества, в том числе юродивого, мудрого мистика.

Жизнь погружена во тьму и зло нищеты, страданий, невежества, кровавой, коварной религии. Леид при последней встрече со своей девушкой говорит: «Я подумал, что весь народ

пойдет за мной. И вот немногие идут. И для немногих умираю. Я очень счастлив. Восстань же, наконец, о народ мой, и беги туда, где нет кровожадных богов».

Один из юношей, строивших корабли, произносит главные слова юной Ларисы: «"Зачем жить?" Юноша выхватил пылающее железо из угольной пасти и согнул своими руками, и заставил обнять широкий ствол мачты. Потом обернулся и крикнул: „Во мне великий порыв осуществления!“»

За Обреченным Леидом идут влюбленные. Его любимая признается ему: «Ты дивный, совершенный в гордости своей красоты, обнял меня и остановил дыхание моих уст, прекрасного пламенного рта, разве не знала я тогда вечности, в одно мгновение найденной и забытой… В теле моем и в любви моей и в смертельной скорби – великое творчество».

В драме Лариса указала, какая музыка и когда возникает, сцены имеют подробный комментарий. Одна из первых сцен напоминает балет «Жизель». На берегу из хижины появляется Рена, девушка героя, она танцует, чтобы заговорить накатывающиеся волны, ища связь с морем в медленных движениях.

Пьеса кончается не тем, чего ожидали жрецы, принося юношу в жертву. Из тела Леида не вытекло ни единой капли крови. Узнавшая взаимную любовь душа юноши не отправилась к предкам. Она стала парусами кораблей, увозящих атлантов на новую землю, а вместе с ними и Рену с зачатым от Леида сыном.

Ларисе, конечно, недоставало опыта, чтобы избежать в тексте повторений, напыщенного пафоса. Ее влюбленные часто говорят банальными фразами, чувство не оживает. Но факт осуществленного замысла – напечатанного произведения – обжигает догадкой: Лариса пишет о себе. И знает состояния, когда рукой водит что-то высшее, когда автор приподнимается над всем происходящим. В «Атлантиде» Лариса Рейснер закрепила свою мечту об участии в создании новой жизни. В первом большом напечатанном произведении проявились ее рок, обреченность на раннюю смерть. С. Шульц удивлялся, почему «Атлантиду» не перепечатывают. Рассказывал, как Лариса вспоминала, что в жизни часто встречала персонажей своей пьесы.

Обострение темы жертвенности естественно для того времени – времени террора и революций. «Что за безобразие – апология терроризма, убийства», – скажет в свое время Даниил Андреев. Зло, насилие, мрак требуют все больше крови для своего существования. Повлиял, конечно, на Ларису «дуэт» Леонида Андреева и ее отца: «То, что Рок для безликого, – радостное

призвание личности. Герой погибает, но это свободная смерть, добровольный подвиг. Каждая страсть вырастает, становится радостью и добродетелью. Высокая героическая личность на одном полюсе, хищная разрушительная сила толпы – на другом» (из предисловия М. А. Рейснера к первому тому собрания сочинений Л. Андреева).

Лариса отослала рукопись «Атлантиды» в литературно-художественный альманах издательства «Шиповник» под псевдонимом, чтобы ее знакомство с редактором этого альманаха Леонидом Андреевым не помешало объективности оценки. Думается, Андреев сразу узнал в авторе свою ученицу.

В «Атлантиде» герои строят корабли и никого не убивают. Пока. Видела ли Лариса осеннюю выставку 1909 года, где были представлены произведения М. Чюрлёниса? Их отобрали для выставки А. Бенуа и М. Добужинский, познакомив Петербург с гениальным литовским художником. На выставке была последняя его картина «РЕХ». В космосе на троне сидит еле проявленный, но кажущийся знакомым король, состоящий из проникающих друг в друга светлых и темных сфер. Были ли на выставке две картины Чюрлёниса «Жертва» и «Жертвенник»? На этих полотнах с высоты орлиного полета видны пирамиды, похожие на египетские, мексиканские, стоящие на равнине, и с площадки на вершине пирамиды поднимается жертвенный дым. В картине «Жертва» на ступенях пирамиды стоит ангел, белый и черный дым отклоняется каким-то овальным кольцом, проходящим сквозь поднятую руку ангела. Силы добра и зла переплелись неразрывно, Чюрленис тоже прожил недолго, всего 35 лет (1875–1911).

У Э. Мулдашева, знаменитого глазного хирурга, есть гипотеза, по которой пирамиды построены уцелевшими атлантами, ставшими «богами» для следующего после них человечества. Построены они с помощью космической энергии, которой атланты могли управлять. Но даже атланты не справились с гордыней и погибли. Предполагается, что эти пирамиды соединительными между собой линиями образуют на земном шаре треугольники, которые уничтожают злые мысли людей, живущих внутри этого пространства.

Лариса дружила с двумя студентами, приходящими к отцу домой, когда почти никто не приходил из-за бурцевской клеветы. В романе «Рудин» им даны имена Лис и Урс. Влюбленный в Ларису Урс увлекался йогой, мистикой. Может быть, он многое знал про пирамиды и жертвоприношения.

«Я не могу сократить так много, как хотел бы этого Андреев, – пишет Лариса родителям. – Каждая строчка, которую я

выбрасываю, кажется необходимой, раз навсегда вырубленной из одного куска… Если Копель (Н. С. Копельман, учредитель издательства „Шиповник“) потребует больших переделок, – откажусь, ибо вижу и чувствую всем существом, что это будет и против моего художественного чувства и против авторской совести. Меня успокаивает несколько то, что сам Андреев нашел первые два действия безукоризненными».

Пьесу «порезали» бережно, судя по множеству оставшихся проходных мест. Если сравнивать качество печатной продукции на страницах газет и журналов, то в массе своей они ниже среднего, приемлемого уровня. Может быть, поэтому Лариса выбрала «доброкачественный» «Шиповник». Марка «Шиповника» давала право на вход в «большую литературу». В двадцать первом номере «Шиповника», кроме «Атлантиды», были напечатаны повести Б. Зайцева «Дальний край» и «Золотой цветок» Ю. Верховского.

Когда «Атлантиду» напечатали, мать Ларисы писала А. И. Андреевой, жене писателя: «Пришел „Шиповник“ и там написано: „Лариса Рейснер… Атлантида“. Милая Пума, быть может, Вы не засмеетесь и поймете меня, что я на миг забыла мир, людей, свое человеческое бытие и засмеялась. Лериша сильно разволновалась, ушла к себе».

Через пять лет, осенью 1918 года, Екатерина Александровна приедет на фронт, на Волгу, повидаться с дочерью и напишет об этом мужу в Москву: «Выезжаю через 2–3 дня, и домой, ибо мою Михайловну я спасти не могу – она обречена. Лери та же и совсем другая, у нее хороший период Sturm und Drang – если выживет – будет для души много, и авось творчество оживет, напившись этих неслыханных переживаний… Но не думаю, она все время на краю гибели».

Спорить с дочерью, пытаясь вытащить ее с фронта, родители перестали – бесполезно. Для родителей главное в жизни – это творчество. В 1925 году, когда Лара и Игорь будут лечиться от малярии в Висбадене, мать настоятельно советует им избавиться от болезни, переутомлений, иначе «станете бездарными». Когда дочь умрет в феврале 1926 года, Екатерина Александровна не захочет больше жить и скончается от болезни 19 января 1927 года. Умерла Лариса тоже без крови, как ее герой. От тифа, а не от смертельного ранения на фронте. И умерла в расцвете творчества, на вершине славы, со множеством замыслов.

Глава 14
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА РЕЙСНЕРОВ

В начале января 1913 года в семье Рейснеров в доме на Большой Зелениной улице поселился старший сын Леонида Андреева Вадим. В январе ему исполнилось десять лет. Вадиму надо было идти в первый класс гимназии, а его отец безвыездно жил с семьей на Черной речке. Екатерина Александровна Рейснер, несмотря на трудный характер («Мы, Пахомовы-Рейснер и Пахомовы-Крузе никогда не грешили уживчивостью», – писала ее сестра), оказалась превосходным воспитателем. Вадим записал свои воспоминания в 1920-х годах, то есть спустя всего десять лет, кроме того, память у него оказалась подробная, поэтому книга «Детство», (изданная в 1964 году в издательстве «Советский писатель») кажется удивительно живой и точной:

«В то время в газетах много шума наделало новое разоблачение Бурцева. Рейснеров стали избегать, бывшие друзья не кланялись им на улице, происходили скандалы на лекциях. В это тяжелое время, когда Михаил Андреевич был накануне самоубийства, отец первый к нему заехал. Он считал обвинение Бурцева не только необоснованным, но и преступным. В Петербурге Рейснеры жили как на необитаемом острове. Гостей у них почти не бывало, если не считать двух или трех студентов-завсегдатаев. Эта замкнутость и одиночество наложили свой отпечаток на весь их семейный быт – в доме не было веселья. Выработалось у Рейснеров, вследствие их оторванности от всего внешнего мира, и совершенно особое отношение друг к другу – минутами казалось, что это не семья из четырех человек, а одно-единственное существо, настолько они были связаны и близки между собой. Каждый успех, каждая неудача одного из них принимались как общая радость или общее горе. Эта страстная любовь друг к другу, а также страстное презрение к чужим были движущей силой их жизни, являлись самой яркой чертой характера, объединявшей всех членов семьи, в сущности совсем различных.

Михаил Андреевич, большой, грузный, тяжелый, с неожиданно мягким и даже сладким голосом, оставался внешне главою дома, в сущности же был самым незначительным и бледным человеком в четырехедином семействе Рейснеров. Настоящим руководителем, главной пружиной, двигавшей весь

семейный механизм, была Екатерина Александровна Рейснер, находившаяся в родстве с Храповицкими и Сухомлиновыми. Все маленькое тело Екатерины Александровны было насыщено волей, ее ум, острый ум математика, сохранял во всех разговорах женскую гибкость и чисто женское, интуитивное понимание слабых сторон противника. Она постоянно, даже за столом, в семье, доказывала, убеждала, волновалась, жила всем своим существом. Когда в трамвае или поезде происходило столкновение между пассажирами, Екатерина Александровна немедленно вмешивалась, остроумною шуткой привлекала на свою сторону зрителей, и плохо приходилось тому, кто пытался ей возражать. Медленный, приторно любезный, немного рыхлый и чересчур спокойный Михаил Андреевич и рядом острая, неукротимая Екатерина Александровна – они прекрасно дополняли друг друга.

О Ларисе Рейснер, умершей совсем молодой, создалось много легенд, и я не знаю, что правда, что преувеличение, а чего, может быть, не было совсем. О ней рассказывали, что она была на «Авроре» в ночь 26 октября и по ее приказу был начат обстрел Зимнего дворца; передавали о том, как она, переодевшись простою бабой, проникла в расположение колчаковских войск и в тылу у белых подняла восстание… В

1913 году она была молоденькой 18-летней девушкой, писавшей декадентские стихи, думавшей о революции, потому что в семействе Рейснеров не мечтать о ней было невозможно, но все же больше всего наслаждавшейся необычной своей красотой…

Уклад жизни рейснеровской семьи был совершенно противоположен нашему, андреевскому: все было чопорно, точно, сдержанно. Перепутать вилки за накрытым ослепительной скатертью обеденным столом – грех, положить локти на стол – великий грех, есть с открытым ртом – смертельный грех, не прощавшийся никогда, никому. Непонравившиеся или провинившиеся гости (зимой 1913 года начали в доме Рейснеров появляться новые люди) искоренялись безоговорочно, резко и бесстрастно. Все те, кто отчаянно влюблялся в Ларису – только немногие избегали общей участи – в день первой же попытки заговорить об охватившем их чувстве, отлучались от дома, как еретики от церкви. Но внутри, в самой семье было много мягкости и ласки. Когда Лариса напечатала первое стихотворение, в доме начался праздник, продолжавшийся целую неделю. Издание пьесы «Атлантида» превратилось в событие, под знаком которого прошла вся зима. Гимназические успехи Игоря – он неизменно шел первым учеником, лекции Михаила Андреевича, особенно, те, которые он читал в пригородах и на

окраинах Петербурга и рассчитанные на рабочую аудиторию, пользовались большим успехом, рассказы самой Екатерины Александровны – в сорок лет между делом она начала писать и писала неплохо – все имело постоянный отклик в семье.

Почти с первого дня моего приезда к Рейснерам я полюбил Екатерину Александровну. Та заботливость и то внимание, с которым она относилась ко мне, к моим мальчишеским интересам, влечениям и антипатиям, ко всему, что мне было близко, вплоть до моей неразделенной любви к отцу, которую она быстро разгадала и всячески старалась поддержать во мне, каждая мелочь влекла меня к ней. За все мое пребывание в доме Рейснеров ни о каком наказании не могло быть и речи – достаточно было одного слова, одного имени Екатерины Александровны, чтобы я считал за счастье сделать так, как она хочет. Поселившись у Рейснеров, я сразу стал членом их семьи и начал жить рейснеровскими интересами, рейснеровской любовью и рейснеровской нелюбовью к людям. Впервые я почувствовал признание моего, пускай детского, но моего собственного «я». Эта вера в меня, в мою индивидуальность – да и как было не верить, ведь я сделался «рейснером», – развив во мне глубокую самоуверенность, в то же время наполнила меня той гордостью, которой мне не хватало.

Подчиняясь чопорному укладу рейснеровской жизни, я ходил в крахмальных воротничках и манжетах, готовил уроки – единственный раз за всю мою жизнь я хорошо учился, по-новому начал осмысливать книги, прочитанные в отцовской библиотеке. Однако вся эта чопорность и «сознательность» не мешала мне оставаться десяти-одиннадцатилетним мальчишкой. Совершенно особое удовольствие доставляло мне окно, разбитое камнем, пущенным рукою в сияющей манжете, наконец, во мне появилось самое главное: то, чем я живу и теперь, – я стал писать стихи, уже не случайно, не «между прочим», а с твердой уверенностью, что у меня не может быть иного пути».

Вадим очень любил вечерние чаепития, когда вся семья собиралась за обеденным столом. Заводил разговор обычно Игорь – его темпераменту было чуждо внешнее спокойствие Ларисы или ее отца – о литературе, театре, политике; вскоре вмешивалась в разговор Екатерина Александровна. «Внезапно, подняв ресницы и на мгновение озарив весь стол зеленоватым сиянием своих прекрасных глаз, произносила афоризм Лариса – всегда неглупый, но немного вычурный и как будто придуманный заранее. Пообвыкнув, принимал участие в общем разговоре и гость. Мои неудачные вступления в разговор затушевывались, удачные – подчеркивались. Быть может, за полтора года моей

жизни у Рейснеров я больше научился обращению с людьми, чем за всю мою остальную жизнь».

Летом 1913 года Вадим приложил все усилия для того, чтобы отец позволил ему уехать на Рижское взморье с Рейс-нерами. Там он тяжело заболел крупозным воспалением легких. «Пять дней я был при смерти, но с невероятной заботливостью и вниманием, совершенно забыв об еде и об отдыхе, Екатерина Александровна выходила меня, как бы наново родила. Вероятно, в это время и она меня почувствовала родным и близким, своим младшим сыном… Я оценил ее ловкие сухие руки, никогда не причинявшие мне боли… я перестал ощущать одиночество, до тех пор не отставшее от меня ни на шаг».

Игорь Рейснер

Вадим продолжает: «Только когда я уже был в состоянии сидеть на кровати, ко мне в комнату стали пускать Игоря. Он садился у окна, его веснушчатое лицо, озаренное косым лучом солнца, огненно-рыжим пятном выделялось на темном фоне стены. Быстрые руки, с длинными, сухими, как у матери, пальцами, быстро перебирали все стоявшие на столе предметы, ни секунды не могли остаться в покое. Игорь был стремителен, настойчив, всегда увлекающийся и беспокойный, казалось, он не мог ни на чем остановиться надолго… Когда иссякли наши обыкновенные мальчишеские разговоры, он начал рассказывать фантастический роман, в котором мы были главными действующими лицами. Фантазия Игоря была неудержима; Всемирный потоп и жизнь уцелевшей горсточки людей на вершинах Памира, потом мы основывали государство на Филиппинских островах, потом появлялась война с японцами, бесконечные героические приключения на подводной лодке, одним движением руки превращавшейся в самолет, революция в Петербурге и свержение Николая II, полеты на Марс – все чередовалось в непрерывном, ежесекундно менявшемся калейдоскопическом вихре. Иногда нить повествования Игорь передавал мне, пока я не постиг тайны управления непокорными разбегающимися во все стороны словами».

У Ларисы в автобиографическом романе Игорь будет читать своего любимого Орфея из «Метаморфоз» Овидия. Лучше него никто не читал Орфея среди одноклассников.

В 1916 году Игорь окончит гимназию Лентовской. Станет секретарем депутата Петроградской городской думы Д. З. Мануильского. После революции будет работать, как и отец, в Народном комиссариате юстиции и Коммунистической академии. В составе первой посольской миссии в 1919 году уедет в Афганистан. С 1921 по 1925 год будет учиться на восточном факультете Военной академии РККА, после чего до 1935 года будет заведующим отделом востока и колоний Международного аграрного института. С 1934 года станет преподавать в Московском университете, где организует кафедру новой истории зарубежного востока, кафедру истории Индии в Институте восточных языков при МГУ.

В последние годы Игорь Михайлович Рейснер, доктор исторических наук, специалист по экономической и социально-политической истории Индии, Афганистана, Ирана, работал над отдельными главами для «Всемирной истории». Скоропостижно

умер 7 февраля 1968 года в возрасте 59 лет. По мнению коллег, он был блестящим полемистом, умел на лету схватить свежую мысль, развить в стройную систему доказательных умозаключений, всегда стимулировал острый спор, всегда был в поиске нового, оригинального. Его отличали исключительный аналитический ум, глубокая эрудиция, нетерпимость к приспособленчеству, аполитичности и при этом самокритичность.

Между Ларисой и Игорем было три с половиной года разницы в возрасте, но по беспокойному уму, характеру, увлечениям они походили на близнецов. Лариса тоже не умела спокойно сидеть на месте. Есть фотография, на которой брат и сестра запечатлены с теннисными ракетками; в архиве Ларисы сохранился абонемент Игоря на посещение катка в зиму 1925/26 года на Петровке, 26 в Москве. В конце 1922 года, после двухлетней жизни в Афганистане, Лариса напишет брату: «Если бы ты знал, как вечерком в легкий снег – хочется взять тебя под руку и пойти на „Онегина“, фонари сквозь снежную сетку… Снится мне музыка чуть не каждый день».

На Рижском взморье с Мандельштамом

Но вернемся на берег Рижского залива, где Рейснеры отдыхали летом 1913 года в Асари (Ассерн). Курляндия – фамильная родина Михаила Андреевича Рейснера. И такая же родина для Осипа Эмильевича Мандельштама. Их предки на протяжении 150 лет жили рядом в одном географическом узле. Основоположника рода Мандельштамов (фамилия произошла от миндаля) пригласил в Курляндию Бирон, ему нужны были ювелиры и ремесленники.

Осипа Мандельштама родители привезут в Ригу в 1901 году, когда ему десять лет. Он оставит свои впечатления в «Шуме времени»: «Рижское взморье – это целая страна. Славится вязким, удивительно мелким и чистым желтым песком. Дачный размах рижского взморья не сравнится ни с какими курортами. Мостки, клумбы, палисадники, стеклянные шары тянутся нескончаемым городищем. Детский плач, фортепьянные гаммы, стоны пациентов бесчисленных зубных врачей, звон посуды маленьких дачных табльдотов, рулады певцов и крики разносчиков не молкнут в лабиринте кухонных садов, булочных и колючих проволок… По редким сосновым перелескам блуждают бродячие оркестры: две трубы калачом, кларнет и тромбон и, выдувая немилосердную медную фальшь, отовсюду гонимые, то здесь, то там разражаются лошадиным маршем прекрасной Каролины („Каролиненгалоп“ И. Штрауса-старшего). В Дуббельне у евреев оркестр захлебывался Патетической симфонией Чайковского. Широкие, плавные, чисто скрипичные места Чайковского я ловил из-за колючей изгороди и не раз изорвал свое платье и расцарапал руки, пробираясь бесплатно к раковине оркестра».

В 1915 году поэт даст свое стихотворение Ларисе для ее журнала «Рудин», а другое напишет о самой Ларисе. С Осипом Мандельштамом у Ларисы было еще одно географическое родство: в 1907 году он приехал в Райволу, рядом с Черной речкой, когда там были Рейснеры. Приехал шестнадцати лет поступать в боевую организацию эсеров – этим событием кончается «Шум времени». В своем Тенишевском училище он, как и многие одноклассники, увлекался революцией. По совету учителя Василия Васильевича Гиппиуса пробовал читать «Капитал». В «Шуме времени» он пишет про Эрфуртскую программу: «…марксистские Пропилеи рано, слишком рано приучили вы дух к стройности… дали ощущение жизни в предысторические годы, когда мысль жаждет единства и стройности, когда выпрямляется позвоночник века, когда сердцу

нужнее всего красная кровь аорты… Для известного возраста и мгновения Каутский (Маркс, Плеханов), тот же Тютчев… источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущения, покров, накинутый над бездной… Зримый мир я сумел населить, социализировать, рассекая схемами, подставляя под голубую твердь далеко не библейские лестницы, по которым всходили и опускались не ангелы Иакова, а мелкие и крупные собственники, проходя через стадии капиталистического хозяйства. Я слышал, как капиталистический мир набухает, чтобы упасть!»

Рижское взморье в начале XX века представляло собой разнесенную по горизонтали кастовую иерархию. Немецкий путеводитель Г. фон Ределина в 1895 году дает педантичную классификацию: патриархальный Бильдерингстоф (Булдури), капитальный Эдинбург (Дзинтари), интернациональный Майоренгоф (Майори), ориентальный Дуббельн (Дуббулты), клерикальный Ассерн (Асари) – здесь селились пасторы, а рядом в Карлсбаде (Меллужах) – учителя. Рейснеры сняли дачу или остановились у своих родственников, а может, латышских знакомых, которых у Михаила Андреевича до революции 1905 года было немало.

Вадим Андреев проживет у Рейснеров до мая 1914 года, когда окончит второй класс гимназии Мая на Четырнадцатой линии, дом 39: «Я не любил гимназии Мая – в ней был неистребимый дух чиновничества и немецкого, сытого либерализма. Все здание гимназии от подвального этажа до чердаков – огромные рекреационные залы, всевозможные кабинеты и лаборатории, широкие и скучные классы, специальные столовые – все было пропитано особенным запахом буржуазного благополучия. Если еще внизу, где помещались младшие классы, сквозь официальную жирную скуку пробивалось мальчишеское буйство, то наверху, по большому с верхним светом залу, ученики ходили попарно, в затылок, как арестанты на прогулке. Начиная с 6-го класса почти все ученики носили котелки, называли друг друга по имени-отчеству и, сдержанно поругивая правительство, приготовлялись к занятию теплых и хлебных мест».

В гимназии Мая учились: Г. Г. Елисеев – глава известной фирмы, Д. Лихачев, А. Бенуа и его сын, М. Добужинский и его сыновья, архитекторы Ф. Постельс, А. Оль; художники Н. Рерих и его сыновья Святослав и Юрий, К. Сомов, В. Серов, А. Яковлев. Учились будущие профессора, министры, вице-адмиралы, доктора наук, преподаватели, врачи.

Вадиму и Игорю по душе оказалась либеральная гимназия Лентовской. Здесь Вадим встретил «настоящую дружбу,

почувствовал радость настоящей жизни… Гимназия считалась одной из самых передовых, мы все – учителя и ученики с благодарностью провожали каждую благополучно миновавшую неделю: еще не закрыли. Если бы в 17-м году у нас появилась возможность проголосовать преподавательский состав, то, вероятно, – случай единственный в истории дореволюционных гимназий – все учителя были бы единогласно переизбраны».

В зиму 1913/14 года Вадим пропадал на «зеленинском» катке за дощатым забором, потому что влюбился в гимназистку, которая не умела кататься и держалась за высокую спинку кресла. Вадим так и не решился познакомиться. «Вероятно, Игорь заметил мою внезапную привязанность к катку, но ни разу из деликатности не пошутил надо мною, хотя при его насмешливом характере это было очень соблазнительно».

Летом 1914 года Леонид Андреев забрал сына от Рейснеров. «"Тебе необходимо покинуть Рейснеровскую семью. Они злые и ненавидят всех людей…" Я убежал на берег реки и там, забившись в заросли осинника, начал плакать, захлебываясь и давясь моими первыми недетскими слезами», – вспоминал Вадим.

В это лето Леонид Андреев был уверен, что с ним произойдет несчастье, и единственный раз в жизни написал завещание. В нем он поручал Вадима вплоть до его совершеннолетия Рейснерам. «Как видно, боязнь ненависти к людям, внушаемая мне Рейснерами, была не так уж сильна», – пишет Вадим. Началась война, отношение к ней Рейснеров и Андреева было противоположно. Л. Андреев считал, что эта война – спасение для России. О возвращении Вадима к Рейснерам не могло быть уже и речи.

Лев Михайлович Рейснер

Екатерина Александровна не останется без воспитанника. Новый пойдет уже в Ларинскую гимназию, будет учиться музыке и рисованию. В 1919 году, семнадцати лет, получая паспорт, возьмет отчество Михайлович и фамилию Рейснер. И никто из его будущих друзей, сослуживцев не узнает, что он не родной брат Ларисы Рейснер. Своего сына он назовет Игорем (жена – Вера Александровна Казакевич). Прославит себя как подводник, исследователь арктических глубин, получив за поход в Арктику подо льдом орден Ленина. В этом походе он командовал подводной лодкой «Народоволец». В 1937 году будет арестован и погибнет, тридцати пяти лет от роду.

Родился Лев Михайлович Рейснер 28 января 1902 года. Отец – Пауль Георгиевич Дауге, врач-стоматолог, видный общественный деятель, первый нарком просвещения Латвии. С начала XX века Павел Дауге (как звали его в России) являлся соратником Ленина. Революционная работа и семейная драма не позволили ему растить старшего сына, он привел Левушку к Рейснерам, с которыми давно дружил. Возможно, именно при его содействии были напечатаны в Риге «Женские типы Шекспира» Ларисы Рейснер. В то время Павел Дауге занимался издательской деятельностью и тоже писал стихи, сохранившиеся в архиве Ларисы Рейснер. В 1918 году Дауге заберет сына из семьи Рейснеров, поссорившись с Ларисой, которая его обидит.

По поводу мятежного характера Ларисы ее мать писала своему другу В. В. Святловскому, тоже за что-то осудившему Ларису: «Вы думаете, что я – самка и обиделась за Лери. Нет, Володя, я абсолютно неуязвима на моем „детском вопросе“. Как бы Лери ни ругали, а ругают ее, начиная с гимназии Могилянской, но, быть может, ее есть за что простить людям, если не сейчас, то впоследствии моя „малолетняя преступница“ авось будет „человеком“. Кто был без Sturm und Drang да осудит, кто был с юностью Володи Святловского – да обнимет. Нет, котик, за Лери и все осуждение Ваше я не сердита». Через несколько лет Екатерина Александровна признается взрослой дочери: «Ошибки, сделанные мною при вашем воспитании, ужасающи, но и революция, не давшая довести Ваше образование до конца, сделавшая вас верхоглядами и беспочвенными, тоже руку приложила».

Летом 1917 года у Рейснеров будет часто бывать писатель Алексей Павлович Чапыгин. Он запомнил маленького мальчика – родственника, который тоже жил в семье. Когда Николай Гумилёв

погибнет, Екатерина Александровна в 1921 году, зная, в какой нищете в огромной коммунальной квартире «ползает его маленькая дочка никому не нужной», пишет Ларисе, которая тогда была в Афганистане, не взять ли ей девочку к себе. Но поможет кто-то другой. А в 1925 году Лариса возьмет в семью 12-летнего беспризорника Алешу, после ее смерти и смерти Екатерины Александровны он сбежит из дома. Вот такая педагогическая одиссея!

Портрет Ларисы Рейснер кисти Василия Шухаева

Вадим Андреев оставил словесный портрет 18-летней Ларисы: «Ее темные волосы, закрученные раковинами на ушах, серо-зеленые, огромные глаза, белые прозрачные руки, легкие, белыми бабочками взлетавшие к волосам, когда она поправляла свою тугую прическу, сияние молодости, окружавшее ее, – все это было действительно необычайным. Когда она проходила по улицам, казалось, что она несет свою красоту как факел, и даже самые грубые предметы при ее приближении приобретают неожиданную нежность и мягкость. Я помню то ощущение гордости, которое охватывало меня, когда мы проходили с нею узкими переулками Петербургской стороны, – не было ни одного мужчины, который прошел бы мимо, не заметив ее, и каждый третий – статистика, точно мною установленная, – врывался в землю столбом и смотрел вслед, пока мы не исчезали в толпе. Однако на улице никто не осмеливался подойти к ней: гордость, сквозившая в каждом ее движении, в каждом повороте головы, защищала ее каменной, нерушимой стеной».

Другие ее современники, родственники, знакомые, друзья добавили свои штрихи: любила все яркое, даже резкое, с трудом сдерживала свои порывы; проскальзывали в ней склонность к театральности, некоторая доля сентиментальности; не терпела никаких упреков.

Она была крупной, высокой женщиной удивительно пропорционального сложения. В ней сочеталась спортивная подтянутость, легкость, некоторая суховатость, ненамеренная пластичность и тонкое неуловимое кокетство.

Она была красива северной балтийской красотой, в правильных, словно точеных чертах ее лица было что-то нерусское и надменно холодноватое; в серо-зеленых глазах острое и чуть насмешливое. Душа у нее чистый кристалл.

«Ее глаза легко загорались, будто в них какой-то потайной фонарик зажигался; ходила по улицам легко, прямо взглядывая на дома, людей во весь свет своих говорящих глаз, движения ее были быстры и порывисты. Любила давать людям все праздничное. У нее был чистый вызолоченный голос, теплый и мягкий. Она заразительно весело смеялась всем ртом и так любила и умела сказать острое словцо, на лету найти сравнение», – писала подруга Л. Рейснер Лидия Сейфуллина.

Всегда куда-то спешила, не задерживаясь на одном месте. «В

ряду русских пассионариев Лариса была самой светлой личностью», – подытожил С. С. Шульц.

Ты точно бурей грации дымилась,
Чуть побывав в ее живом огне,
Посредственность впадала вмиг в немилость,
Несовершенство навлекало гнев, —

писал Борис Пастернак.

Мятежную, противоречивую, юную Ларису в 1915 году напишет художник Василий Иванович Шухаев. Портрет до 1961 года будет храниться в семье Игоря Михайловича Рейснера, потом будет передан в Московский литературный музей. На выставках русского портрета в Русском музее портрет несколько раз выставлялся. Написан на двух досках, маслом, 107х75. Внизу авторская надпись: «Лариса Рейснер. Писал в 1915 году в Петрограде Шухаев Василий».

В 1915–1916 годах Шухаев жил в том же доме на Большой Зелениной, что и Рейснеры. В доме Лейхтенбергского на последних этажах были построены мастерские с большими окнами. Кроме соседства по дому, Шухаева объединяло с Рейснерами увлечение лаун-теннисом на площадках Крестовского острова. Молодой художник недавно вернулся из Италии, куда ездил по приглашению Римского общества поощрения молодых художников на два года после окончания в 1912 году Академии художеств. Учился у профессора Д. Н. Кардовского, который отстаивал реалистические принципы искусства. В Италии увлекся монументальной живописью Возрождения.

Портрет Ларисы заказал художнику ее отец Михаил Андреевич.

С первого взгляда на портрет удивляешься тому, что изображена не 20-летняя девушка, а более зрелая женщина. В статуарной позе, как на портретах эпохи Возрождения, модель сидит на фоне полукруглого окна, за которым виднеется величественный и загадочный пейзаж с двумя скалами. На коленях у Ларисы раскрытая книга, на которой покоятся ее руки с длинными тонкими пальцами. Все – очень гармонично и вместе с тем несколько тяжеловесно. Нет молодости в глазах. Живопись Шухаева далека от фиксации непосредственного впечатления. Его притягивало другое – выявить в четкой форме то, что скрыто в глубине. При этом, как отметят в будущем искусствоведы, Шухаев выявляет чаще не самые светлые черты характера. Может быть, сумеречные. Вот и образ Ларисы создан при заходящем солнце. И видно, что на дне души гнездится какая-то тяжесть, а может,

печаль, тень от заходящего солнца. Знавшие Ларису не узнавали ее на этом портрете. Художник никогда не льстил модели и оказался одним из наиболее одаренных в портретном искусстве, показывая скрытый труд души, значимость интеллекта таких своих моделей, как И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, Ф. И. Шаляпин, С. Т. Рихтер, и многих других. Музыканты, поэты, артисты. И на всех, во всех тень страшного XX века. Василий Иванович провел на Магадане десять тяжких лет, и вместе с тем, как говорил С. Рихтер, «Шухаев личность особенная, один из самых легких людей, встречавшихся мне. Человек с несгибаемым и счастливым характером».

Судьба устроила так, что портрет Ларисы кисти одного из лучших мастеров сохранился. Художник подарил Ларисе сочувствие. Назвав явление, мы его уже облегчаем. Василию Шухаеву удавалось показывать в своих образах, как творчество и интеллект противостоят теневой стороне мира.

А Ларисе Рейснер сеансы навеяли стихотворение «Художнику»:

Сегодня Вы опять большой, как тишина,
Исполнены томлений и корысти.
На полотне бесшумно спорят кисти
И тайна творчества загадки лишена.
Час набегающий, – обетованный дар,
Он – обещание, залог, измена,
До боли переполненная вена,
С трудом несущая замедленный удар.
Палитру золотит густой, прозрачный лак,
Но утолить не может новой жажды;
Мечты бегут, не повторяясь дважды,
И бешено рука сжимается в кулак.

У Рейснеров хранился не только портрет Ларисы, но и бюст Екатерины Александровны, которую домочадцы и близкие любили бесконечно.

Екатерина Александровна, наверное, хорошо понимала, что душа воспитывает себя сама, помочь ей можно только любовью. Она не боялась трудных характеров своих детей, своих воспитанников. Кого любят, говорила она, на того не обижаются.

Глава 15
ДРУЖБЫ «ИОНИЙСКОГО ЗАВИТКА»

Смотрите, не запаздывайте с Истиной.

А. К. Лозина-Лозинский

Альманах «Шиповник» с публикацией Ларисы вышел в июне 1913 года. Об «Атлантиде» был только один печатный отзыв – Л. Войтоловского в «Киевской мысли» за 27 июня, негативный и формальный. Тем не менее «вхождение в большую литературу» скоро подарило Ларисе необходимого критика, умного и загадочного поэта Алексея Константиновича Лозина-Лозинского. Он родился в Петербурге в 1886 году. Погибнет за год до революции в 30-летнем возрасте. Не только в пьесе Ларисы рано умирали герои, она притягивает таких и в жизни.

Лариса познакомилась с Алексеем Лозина-Лозинским, скорее всего, у Владимира Святловского. Владимир Владимирович, закадычный друг Екатерины Александровны Рейснер, в юности был революционером. В эмиграции, в Мюнхене, получил экономическое образование. В революцию 1905 года организовал первые профсоюзы, потом от партийной деятельности отошел, преподавал в университете, в Психоневрологическом институте, Военно-морской академии, издал поэтический сборник «Янтари». Яркая, мятежная личность, которая притягивала неординарных людей. Один из них, поэт-философ Алексей Лозина-Лозинский, был на редкость самобытен и очень одинок.

По просьбе Святловского Екатерина Александровна и Лариса навестили в больнице Алексея Константиновича, который 31 января 1914 года совершил уже вторую попытку самоубийства. В ресторане «Рекорд» в кругу нескольких литераторов, среди которых был и Куприн, он выстрелил в себя. Пуля прошла выше сердца, парализовала руку. В тяжелом состоянии его отправили в больницу.

Лозина-Лозинский

Происходил Алексей Константинович из старинного рода дворян Подольской губернии. Родители, убежденные народники, служили земскими врачами. Мать умерла от тифа в эпидемию, когда сыну было два года. Отец служил старшим врачом на Путиловском заводе в Петербурге. Алексей еще в гимназии Императорского человеколюбивого общества играл центральную роль в «Северном союзе учащихся средних школ. 1903».

В юности из-за несчастного случая на охоте Алексею ампутировали ногу. Расстроилась его свадьба. В Париже ему сделали протез, он освоил конную езду верхом и путешествовал от Самарканда до Русского Севера. Потом учился на юридическом факультете Петербургского университета, откуда в 1911 году его отчислили за участие в студенческих беспорядках. Первая книга Алексея Константиновича в духе памфлетов французской революции «Смерть призраков» в 1908 году была конфискована полицией. В литературе ему выпала роль, которую он обозначил в названии одной из своих книг «Одиночество. Случайные записки шатуна по свету». В нем соединялись два начала: народный и изысканно-интеллектуальный, дополняющие друг друга. Среди его немногочисленных друзей были писатели из крестьян: Алексей Чапыгин, приехавший на заработки в Петербург, Алексей Новиков-Прибой.

Второго ноября 1909 года после неудавшейся студенческой забастовки (по случаю вывода из университета евреев-второгодников) Лозина-Лозинский выстрелил себе в грудь. Это была первая попытка самоубийства.

После неоднократных арестов, живя в 1912–1913 годах в эмиграции, на Капри издал книгу «Античное общество. Рим и Киев. К вопросу о непрерывности процесса» под псевдонимом Я. Любяр. Подготовил к печати другую «Как беспроигрышно играть в рулетку в Монте-Карло? Исследования по теории вероятности». Сборник стихов «Троттуар» он открывал эпиграфом из стихов Джордано Бруно «О героическом восторге»:

Измените смерть мою в жизнь,
Мои кипарисы в лавры и ад мой в небо.
Осените меня бессмертием,
Сотворите из меня поэта,
Оденьте меня блеском,
Когда я буду петь о смерти, кипарисах и аде.

Джордано Бруно и Лозина-Лозинский похожи на духовных братьев. И Лариса, которая много раз испытывала свою жизнь смертельной опасностью, тоже похожа на них. Алексей Константинович осенью 1913 года посвятил Ларисе стихи:

Ты смолоду жила в пустом болтливом свете
Среди всеведущих и всемогущих фраз.
О, эта барышня в научном кабинете,
С циническим умом и молодостью глаз.

Весной 1914 года, после больницы, Алексей Константинович уедет в деревню Буда Могилевской губернии. Между ним и Ларисой возникнет переписка.

Переписка Лозина-Лозинского и Рейснер

Для меня жизнь и борьба идей
есть единственная правда.

Л. Рейснер

Алексей Константинович, прочтя «Атлантиду» и «Женские типы Шекспира» Ларисы Рейснер, написал ей и оказался первым, кто понял ее творчество, ее личность, ее горизонты, несмотря на сложные самозащитные маски и многословность первых произведений дебютантки. Как это важно и как это редко бывает – быть понятым и получить одобрение. Стихи Лозина-Лозинского Ларисе нравились.

Лозина-Лозинский писал:

«Помню, какое-то теплое чувство проскользнуло на момент к Вам, когда я увидел Вас у себя в больнице… Вы понимаете, конечно, что я не мог дать Вам понять, как я был тронут вниманием к чужому от чужих. …Я пишу письмо с подробным разбором „Атлантиды“, которую прочел так, как вообще читаю беллетристические вещи, – с интересом к автору. „Атлантида“ выше „Клеопатры“ настолько, насколько Клеопатра выше „Офелии“. „Офелия“ – гимназическое сочинение, самого глубокого в ней и в ее отношении к Гамлету Вы не заметили. „Клеопатра“ выше и по стилю, и по пониманию, хотя, к сожалению, ее все еще, как и „Офелию“, портит дешевая, в конце концов, напыщенность языка. Так писали в плохих французских журналах 40-х годов, когда и в публицистике веяла раздутая и неестественная романтика. Что „Атлантида“ лучше всего – это значит, Вы прогрессируете с быстротой американского города в прерии – но она все еще страдает общностью мысли и перегружением декоративностью… Я не могу сказать, где то доброе, что чуется в „Атлантиде“ – оно веет за кулисами пьесы, и это доброе, пожалуй, есть просто Ваша талантливость вообще, дух Божий, носящийся над бездной, нечто подобное „скрытой теплоте“ в физике.

И по неуловимым блесткам я понял, что Вы ярко, скульптурно и даже верно рисуете себе комедию человеческого общежития: для Вас, молодой девушки, не тайна – самые темные, обыкновенно умалчиваемые стороны нашей породы, я искренне радовался на Ваше чутье к всеобщему ханжеству и лицемерию.

…Что ни приходило Вам в голову, все было настолько властным, что отталкивало общую стройность… Это неумение

сказать характерно для начинающего автора. И оказалось, с одной стороны, много лишних лиц, а с другой – все фигуры стали бледны и страшно быстролетны… Как Вы кровожадны! Сердце мое очерствело от множества смертей. Наконец, Вы оптом уничтожили всю Атлантиду… Вы рационалистка и у Вас все еще Леиды, Рены и Верховные Жрецы ворочают колесо истории».

Рейснер отвечала:

«Я получила Ваше письмо, Алексей Константинович, конечно, не сердилась… Итак, я начинаю контратаку. Во-первых, я не бухгалтерская книга… У меня голова, психика, область абстрактной мысли, объективного познания и личных субъективных переживаний не отделены друг от друга непроницаемыми перегородками. То, что переживает одна часть мозга и нервов, переживается всем организмом. Для меня умственная жизнь не есть трудный и мучительный экзамен, который я сдаю ради интеллигентского аттестата зрелости, для меня книга не есть вздор, который я выбрасываю за борт при первой сильной качке, для меня жизнь и борьба идей есть единственная правда, единственный ключ к пониманию той свалки, того базарного турнира, который охватил нас со всех сторон. Научные теории, социальные гипотезы, политические утопии для меня реально существуют. Наука социальная – это чистейшая кристаллизация общественной лжи, это геологически напластованные вожделения, надежды, верования и разочарования человечества. Наука в моем понимании не есть мертвое отвлечение – это есть пульс классовой и экономической борьбы в каждом ее фазисе. И поэтому мне было смешно Ваше утверждение, будто моя Атлантида – воплощение „головных переживаний“.

В одном я уверена: несмотря на все недостатки моей драмы, Вы нашли бы в ней совсем другие достоинства и недостатки, если бы не так жестоко делили человека на «голову» и «не-голову», если бы захотели взглянуть на человеческое творчество и научную мысль с новой точки зрения. Поверьте, жизнь показалась бы Вам не такой омерзительной и пустой, если бы взглянули на нее не через призму опустошенного и творческого цинизма, а творческого вечно юного скепсиса… Я вижу, что это возражение не только на одну часть Вашего письма, а вообще, выпад против, ну да, выпад против Вашей смерти, Вашего ухода из театра до окончания пьесы. Простите меня, но я думаю о Вас так же, как о жизни вообще, и все, что я сейчас пишу, прошло через огонь больших страданий. Я никогда не была «барышней» в научном кабинете, никогда не жила фразами, для этого я слишком много страдала, и я думаю, что эта карикатура на неуловимое и

неопределимое в своем «святая святых» человеческое «я» не будет портить и искажать наших отношений… Мое стихотворение я посылаю для заполнения страницы. Оно скоро выйдет из печати… Привет небу, Вам, сливкам и всему хорошему, что Вас лечит.

В открытые окна – вся ночь мне видна,
От каменной тверди до звездного дна.
В грядущем и бывшем от края до края
Струится медлительно ночь голубая.
И там, где от неба нисходят поляны,
Предел свой открыли далекие страны:
Там ярче и легче над бледностью снега
Струит серебро отдаленная Вега
И тихо, свершая предвечные круги,
Созвездия чертят звенящие дуги,
Восходят все выше – безмерно, далёко —
Туда, где не видит подзвездное око».

Лозина-Лозинский отвечал 17 марта: «Ваши стихи, Лариса Михайловна, прелестны. Это очень музыкальное стихотворение, дающее фантастическое настроение, полное силы. Ваше поэтическое дарование по-моему бесспорно. Что я когда-то уже имел удовольствие говорить Вам лично. В нем слышится сила и ирония, хотя редки проникновенность и глубина».

(Один из приятелей Ларисы Петр Казанский дополнял Лозинского: «Главный недостаток Ваших стихов в холодной рассудочности. Это тем более странно, что, по-моему, у Вас есть темперамент. Сопоставьте холод Ваших стихов хотя бы с холодом стихотворений Лозина-Лозинского, у него холод жизни, у Вас холод рассудочности».)

«Но, – продолжал Лозинский, – стихом Вы владеете замечательно, у Вас есть красивая простота: „струится медлительно ночь голубая“.

А все письмо, даром что Вы восхваляете ложь и очень искренне, и очень горячо, и очень интересно. Я не могу ручаться, что Ваше мировоззрение вполне ясно мне по Вашему письму. Но я думаю так: мир рисуется Вам жестокой прекрасной комедией, над которой нельзя устать смеяться. Стоит жить, так как в этой жизни есть вершины лжи, страдания и низости. Ваш лозунг – борьба. Вы правы, пожалуй. Энергическая жизнь не может рассуждать иначе – она не щепетильна. Это имеет название – здесь немного демонизма? Дело только в одном, выдержите ли Вы?

Многое говорит, что да. Ваши складки над бровями на лбу (недобрые складки), ум Ваш не женский, прямой почерк иногда

даже с наклоном влево… весь облик – говорят о характере.

Исполать Вам!

Если Вы продержитесь с этим «богом» много лет, Вы будете очень большим человеком. Но скорей всего, Ваше мировоззрение, как все у нас, смертных, только одно из периодов, и оно сменится другим. Если Вы думаете, что Ваш бог «не изменит мне всю жизнь», то я дружески хочу предупредить откуда, по-моему, для Вас есть опасность.

Вы говорили о вершинах лжи, страдания и низости. Странное дело, Вы не упомянули о вершине Истины, о которой, кажется, труднее забыть, и это самая ужасная вершина. Но, может быть, Вы думаете, что Истины вообще нет? Раз есть Ложь, значит, есть Истина. Не так ли? Предположим, что для Вас есть (для меня она, безусловно, есть), но Вы берете как свое знамя борьбу и ложь. Это условия энергической жизни, как я уже писал. Заблуждения всегда имеют большее оправдание в борьбе за существование, чем Истина. Тем не менее Истина хоть раз в жизни, хоть на минуту торжествует в жизни. Будет момент, когда, неотразимо данная инстинкту, интуиции, чутью, Истина встанет перед Вами с такой силой и красотой, что всякую красивую ложь и гордость с Вас сдует, как тычинки с одуванчика. Я вспоминаю стихотворение, где я когда-то высказался яснее и подробнее – если хотите, загляните, «День настанет и Космос великий…»».

Прервемся здесь и заглянем в это стихотворение, которое напечатано в «Третьей книге» сборника Я. Любяра «Противоречия» (Петербург, 1912). Но прежде к письму Ларисы добавлю, что прошел всего лишь год с выхода брошюры М. Рейснера «К общественному мнению», а раны от лжи и несправедливости быстро не заживают, отсюда, видимо, у Ларисы "вершины лжи и страданий». Итак, «Противоречия»:

День настанет, и Космос великий
Привлечет твои взоры к судьбе,
Темный предок, безумный и дикий,
Полный страха, проснется в тебе.
Ты увидишь – все странно, все ново.
Все прошедшее чуждо, как сон.
Ты увидишь себя, как другого,
В беспредельности звезд и времен.
И тогда ты один зарыдаешь,
Разобьешь свой клинок и фиал —
Нету слов для того, что ты знаешь,
Нету друга, который бы внял.
О, жестокие когти сомненья,

О, печаль видеть землю с небес.
Все, как вечный поток превращенья,
Иероглифы Божьих чудес.
И в отчаянье звать духов, которых
Нету сил у нас, снова заклясть,
Сонмы ангелов с карой во взорах,
Толпы демонов, будящих страсть.
Неизвестный мой друг, ты узнаешь,
И откинешь искания ложь:
Если был ты правдивым – ты встанешь,
Если грешником был – ты умрешь.

Далее Лозина-Лозинский писал:

«По лжи можно скользить, на ней нельзя стоять. И Вы придете к покорности вместо Борьбы, к Истине вместо Лжи, к грустной насмешке вместо дерзкого смеха… Иногда это отрицается. Но это так будет непременно.

Человек непременно когда-нибудь да переживет потрясение, революцию влюбленности, революцию любви к ближнему, революцию религиозности. Если он все три переживет в молодости, человек делается сильным. Если одна из них запоздает, она сломит человека, так как взрослый не меняется. Смотрите не запаздывайте с Истиной!

Да, Вы правы – жизнь энергическая не может не иметь Ваших знамен, Вашего хищного отношения. И она прекрасна, не спорю. Но при одном условии: если кроме лжи наружу есть много Истины внутри. Таково противоречие жизни. Ницше прекрасно рассказал об этом. Ложь – это общий коэффициент людей. Вынесем его за скобки. Что останется? Нечто более тонкое, музыкальное, прелестное – подлинная связь с миром, уголки подлинной любви. И по-моему, только в силу их ценен человек.

Почему Вы зовете меня от цинизма к скептицизму? Почему Вы думаете, что я циник? И дальше – почему Вы так уверенно и смело предположили, что я стрелялся от того, что жизнь для меня «омерзительна и пуста»? А может быть, она для меня прекрасна, да у меня сил нет вместить всю ее красоту? А может быть, я от восторга стрелялся? А может быть, я просто пьян был? Почем Вы знаете… Омерзительной я никогда не считал жизнь, хотя часто она тяжела и часто невеселая штука. И циником, кажется, не был. Или редко, не чаще других. Если хотите, я просто холодный и справедливый порядочный человек. Не больше, не меньше. А почему стрелялся – дело другое.

Я жму Вам руку и жду письма. А. Лозинский. 17 марта 1914

год».

Летом 1914 года Алексей Лозинский уехал в Швейцарию. Переписка закончилась.

Война 1914 года

Лариса встретит свое 19-летие через месяц. Стихи будут продолжаться. С 1914 по 1917 год Лариса опубликует 21 стихотворение в газете и журнале с одинаковым названием «Новая жизнь», в «Свободном журнале», в журнале «Рубикон». «Вестник Европы» откажется печатать ее стихотворение.

В августе придет известие от родной сестры Михаила Андреевича – Александры Шереметьевой, что утонул ее 14-летний сын, любимый двоюродный брат Ларисы Вадим. «Благодарю тебя, – писала тетя Ларисе, – за ту светлую радость, за все сладкие мучения, за всё, что ты дала моему мальчику: как глубоко и сильно он тебя любил, ты увидишь из его стихов. Ты разбудила в нем поэта».

Лозина-Лозинский помог Ларисе, она – Вадиму. В круговой поруке добра на одиноком пути поисков и творческих устремлений обязательно найдется поддержка более мудрых.

Известие о войне застало Ларису в Либаве и вроде бы никак не отразилось в написанном там стихотворении «Сентябрьское золото». Германия объявила войну России 19 июля, началась всеобщая мобилизация, Николай II обратился к народу с манифестом: «В грозный час испытаний да будут забыты внутренние распри наши… оградим честь, достоинство, целость России».

Зинаида Гиппиус записывала в дневнике: «…война всколыхнула петербургскую интеллигенцию… Либералы резко стали за войну – и тем самым в какой-то мере за поддержку самодержавного правительства… Другая часть интеллигенции была против войны, – более или менее; тут народилось бесчисленное множество оттенков. Для нас не чистых политиков, людей, не ослепленных сложностью внутренних нитей, для нас, не потерявших еще человеческого здравого смысла, одно было ясно: война для России не может окончиться естественно. Раньше конца ее – будет революция. Это предчувствие, – более, это знание разделяли с нами многие.

Ничего нет, кроме одного, – война! Не японская, не турецкая, а мировая… Мы не верили, потому что не хотели верить. Всего ожидали, только не войны.

Как-то вечером собрались у Славинского. Народу было порядочно. Не обошлось и без нашего «русского» вопроса: желать ли победы… самодержавию? Ведь мы вечно от этой печки танцуем… Когда очередь дошла до меня, я сказала очень осторожно, что войну по существу как таковую отрицаю, что

всякая война, кончающаяся полной победой одного государства над другим, носит в себе зародыш новой войны, ибо рождает национально-государственное озлобление, а каждая война отдаляет нас от того, к чему мы идем, от «вселенскости». Но что, конечно, учитывая реальность войны, я желаю сейчас победы союзников.

…Сегодня был Блок. В начале-то на войну, как «на праздник», смотрел, прямо ужасал меня: «Весело!»

Швейцар наш говорит жене: «Что же поделаешь, дело обчее, на всех враг пошел, всех защитить надо»».

На выставке к 80-летию начала Первой мировой войны были представлены стихи того времени Гумилёва, Вяч. Иванова, Клюева, Мандельштама, Белого, Сологуба, книга Василия Розанова «Война и русское возрождение», где он писал: «Войны завоевательные нередко бывали чреваты нравственным разрушением для победителя, но войны оборонительные всегда и безусловно построят дух народный, сжигают в нем нечистые частицы, объединяют его… ведут к жертве и героизму – это всегда суть войны нравственно-воспитательная. Такова была война 1812 года. Таковыми же чертами начинается великая война 14 года».

Еще одну положительную сторону этой войны нашел Николай Бердяев: «Это – самая страшная война – страдальческое испытание для современного человечества, развращенного буржуазным благополучием и покоем, поверившего в возможность мирной внешней жизни при внутреннем раздоре… Мировая война должна вывести Россию из замкнутого провинциального существования в ширь мировой жизни. Потенциальные силы России должны быть обнаружены – путем жертвенного страдания и даже унижения. Путей много, и в судьбе народов есть тайна, которой мы никогда рационально не разрешим. Человечество идет к единству через борьбу, распрю и войну… И если в войне есть озверение и потеря человеческого облика, то есть в ней и великая любовь, преломленная во тьме… Изживание внутренней тьмы мировой жизни, внутреннего зла… принятие вины и искупления… Мы принимаем войну во имя ее отвержения».

Леонид Андреев порывает дружеские отношения с Рейснерами, у последних отношение к войне – резко отрицательное. «Во вражде, как и в любви, отец был несправедлив, нелогичен и своеволен», – писал его сын Вадим, который «не мог найти в себе иного чувства кроме ненависти к войне». – «Когда я сказал об этом отцу, – „Как ты смеешь так говорить? Война – единственное спасение. Ведь сейчас дело идет о всей России“».

Война, пишет Гиппиус, не изменила внешне Петербург. Так же переполнены театры и рестораны, такое же движение на улицах, только на фонарях возникли какие-то «синенькие колпачки». «Писатели пописывают о войне, на моих „воскресеньях“ молодых поэтов все почти тоже записали о войне, надрываясь в патриотизме… Володя-студент перешагнул через горе матери: „Да, это эгоизм, но я все равно пойду, не могу не идти“, – и уехал вчера с преображенцами».

Володя-студент – Владимир Злобин (1894–1967), который в декабре 1919 года вместе с З. Гиппиус, Д. Мережковским, Д. Философовым тайком на санях переедет через польскую границу. И будет Володя у Мережковских постоянным литературным секретарем.

Владимир Злобин

Были ли знакомы Лариса Рейснер и Зинаида Гиппиус? В свой список начала 1918 года «интеллигентов-перебежчиков, которые уже оказываются в связях с сегодняшними преступниками», под последними номерами 20 и 21 Гиппиус помещает профессора Рейснера и Ларису («поэтизирующая с претензиями»). Слышала ли Зинаида Гиппиус от своего секретаря Володи о Ларисе Рейснер в 1914 году, когда Володя стал другом Ларисы и Игоря Рейснеров? Письма Злобина сохранились в архиве Ларисы. Письма очень лаконичны и являются продолжением различных разговоров, видно, что адресаты понимают друг друга с полуслова. Володя показывал свои стихи Ларисе, «дабы Вы высказали, как всегда, свое авторитетное мнение».

1914 год для Ларисы – первая серьезная критика, благословение творчеству, первые серьезные дружбы. В архиве сохранились письма влюбленных в Ларису друзей, ушедших на войну, – Петра Казанского, Сергея Кремкова. В последнем из писем Злобина – признание в нелюбви. Невероятно, но факт.

«Это письмо, может быть, причинит Вам боль, но я, все-таки, должен написать, так как не могу скрыть от Вас правду, после того, как она стала ясной для меня. Мне кажется, что то чувство, которое я испытываю к Вам теперь – не может называться любовью, и потому мне пока тяжелы личные отношения. Я глубоко верю в Ваше дело и в дело Вашего журнала и готов всей душой работать в этом направлении, что и докажу в будущем. Для этого я решил уйти – как от Зинаиды Гиппиус, так и из нашего кружка. Я глубоко перед вами виноват. Если Вы можете – простите». Письмо без даты. Первые его письма – 1915 года.

В конце лета или осенью 1916 года Лариса и Володя ездили на Волгу. Во все времена Волга притягивала людей. Дмитрий Лихачев мальчиком плавал в 1914 году на пароходе от Рыбинска до Саратова и обратно. И с «гордостью говорил о себе – я видел Волгу». И вспоминал, что пароходы славились рыбной кухней, на палубе пассажиры 3-го класса много пели и плясали.

Лариса писала домой:

> «Милые котики, пишу из Костромы, куда приехали после трех дней путешествия. Описать всего этого невозможно. Но на дно моего я легли черные ночи с блуждающими просветами, журчащие воды под веслами, непрерывные, то желтые, как шафран, берега, то высокие заросли и эти бесконечно умиротворенные, белоснежные

церковки, над которыми встают радуги.

И еще одно: за Россию бояться не надо: в маленьких сторожевых будках, в торговых селах, по всем причалам этой великой реки – все уже бесповоротно решено. Здесь все знают, ничего не простят и никогда не забудут. И именно тогда, когда будет нужно, приговор будет произнесен и совершится казнь, какой еще никогда не было. Такие стихии не совершают ошибки. Володя говорит, что мы сейчас как после бала: так свободно устали, так легки и спокойны. Вот что дала Волга.

Мама, уезжая, я взяла с собой какую-то не прощенную вину. Милая макерке, моя душа прояснилась, и в ней утро, и я прошу тебя – только раз еще прости. Ну вот, Музе, все жду твоего письма, потому что ты – своя здесь, в этом народе, и твои слова – его томления и боли.

Твоя дочь и, кроме того, Лариса Рейснер».

В бумагах из архива Рейснер встречается упоминание о том, что Владимир Злобин делал Ларисе предложение и посвятил ей сонет «Венеция».

Любовница случайных королей,
Аркадами, дрожавшая над ними,
Рожденная Лукавым и Святыми
И вскормленная грудью кораблей.

Сегодня я по прихоти твоей
Был Тассо, Тицианом и другими,
Пока усталый день, приблизясь к схиме,
Не бросил в воду зарево кудрей.

Теперь сквозь ночь бесцельна и понятна
Резьба колонн, похожая на пятна,
И над дверями ласка львиных лап,

Как будто мир в тончайших нитях хмеля!
И рыцари широкополых шляп
Идут в альков к Мадоннам Рафаэля.

Владимир Злобин вернется к Венеции, уехав в Европу, а Лариса Рейснер через два года вернется на Волгу, чтобы пройти ее всю с боями.

Всеволод Рождественский назвал Ларису многоликой.

Действительно, у нее много как внешних обликов, так и состояний души. Со Злобиным она танцует на балах, с Лозина-Лозинским издает журнал «Богема».

«Богема»

В начале 1915 года вышли два номера, в которых есть стихи Ларисы. Лозина-Лозинский дал денег на журнал и потом забрал бразды правления в свои руки. Странное предисловие в первом номере, если учесть, что редакторы журнала – революционеры.

«Мы – Богема! Беспокойная, бездомная, мятежная Богема, которая ищет и не находит, творит кумиры и забывает их во имя нового божества. В нас созревает творчество, которое жаждет прекрасной формы.

И в этот момент, когда искусство терзают вопли и кривляния футуристов, надутое жеманство акмеистов и предсмертные стоны мистиков, когда храм превращен в рынок, где торгуют рекламой джингоизма (агрессивный шовинизм. – *Г.П.),* где справляют бумажную оргию за счет великой и страшной войны, – мы откладывает в стороны личины, бубенцы и факелы, пестрые лоскутья карнавала. Мы обрываем свист, покидаем кабачки и чердаки, мы отправляемся в дальний путь искания новой красоты, ибо в одной красоте боевой меч всеутверждающего жизненного «Да».

Красота венчает форму. Форму, вечно умирающую и вновь рождаемую, так как нет конца исканиям и вечно вдаль уходит божество, недосягаемая идея.

Вас, молодые, одиноко ищущие, мы зовем с собой на этот новый путь. Вас зовет Богема, одна свободная среди несвободных, берущая жизнь, как царь, из своей муки и позора, подобно женщине, творящая формы. Придите к нам. Мы – Богема».

Друзья звали Ларису «Ионийским завитком» за любовь к античности, за внешность, напоминающую стройность античной колонны, за косы, уложенные вокруг ушей раковинами, похожими на ионийский орден.

Балы все же будут продолжаться. Не танцевать – это выше сил Ларисы. Осип Мандельштам говорил, что у Ларисы была танцующая походка, как морская волна. Георгий Иванов в «Петербургских зимах» описал, как провожал Ларису с бала от дома Юрия Слезкина, где подавалось много шампанского, «Донского», по случаю войны:

«– Да, да, в ссылку по этапу, в Сибирь, на виселицу, на костер.

Она распахивает шубу и откидывает голову. Какое прекрасное, «гордое человеческое лицо»! Два года назад, там, у окна в ее полудетском силуэте мне почудилась Психея. Теперь эта красота отяжелела как-то. Нет, не Психея. Скорее Валькирия…

Сани летят по рыхлому снегу, по льду, через Неву. Желтый

зимний рассвет медленно расползается по небу. После бессонной ночи кружится голова. И это удивительное лицо, эти серые, сияющие, широко раскрытые глаза, эти отрывистые слова, «печальные и страстные».

– «Да, в ссылку, на костер. Я не могу так жить. Я не хочу так жить»…

Особенной дружбы между нами нет: стихи ее мне чрезвычайно не нравятся, манера держаться – тоже. Она держится «по-московски»: в одно и то же время и «декаденткой», и синим чулком, и «товарищем», и потрясательницей сердец. На мой «петербургский» взгляд, все это достаточно безвкусно. Короче – я давно не завидую морскому кадету.

Но сейчас… глядя в ее удивительное лицо, слыша ее голос, я… испытываю что-то вроде страха, как перед существом из другого мира. Валькирия?.. Может быть, и впрямь Валькирия. В Сибирь?.. На костер?.. Пожалуй, и впрямь пойдет в Сибирь, не побоится костра…

…Она глядит широко раскрытыми, грустными серыми глазами на небо, такое же серое, такое же грустное.

И, помолчав, тихо, точно про себя, говорит: – Нет, ничего не хочу, ничего не могу. В сказке – каменное сердце. Каменное? Это еще ничего. Но если мертвое, мертвое?..»

Может быть, эту раздвоенность в глубине души Ларисы и отразил в портрете Василий Шухаев. Бурю, натиск и мертвый штиль, которые сменяли друг друга.

«Посмертные дневники» Лозина-Лозинского и Георгия Иванова

Георгий Иванов в «Петербургских зимах» вспоминал о своей единственной встрече с Алексеем Лозина-Лозинским в «Бродячей собаке». Среди нескольких посетителей «Собаки», которые дожидались утра и утренних извозчиков, оказались не очень трезвые Иванов и Лозинский. Разговорились. Иванов ждал поезда в Гатчину, где «жила та, в которую он влюблен», и почему-то легко и охотно рассказал об этом незнакомому человеку. В свою очередь незнакомец стал рассказывать, какие виды самоубийства к какому времени суток подходят. «Стреляться на рассвете очень легко, я бы сказал весело». И только получив от незнакомца при прощании визитку, Георгий Иванов узнал, что это был Лозина-Лозинский. А вскоре услышал о его самоубийстве.

Это произошло 5 ноября 1916 года. Через месяц Алексею Константиновичу исполнилось бы 30 лет. Он отравился большой дозой морфия, принимая его постепенно и понемногу, чтобы записать изменения своего состояния. Последнее слово, написанное неровными буквами, – М а м а. Видимо, мама была последней соломинкой в его душевном ужасе и страхе.

В час смерти гимны сфер до слуха б донеслись,
И в мире стало б все печально и лазурно…
Но страшен гороскоп холодного Сатурна,
Под коим разные бродяги родились.
Когда закончит дух последнюю эклогу,
И Marche funebre, дрожа, порвет последний звук,
И улетит с чела тепло ласкавших рук —
Прах отойдет к земле, а дух вернется к Богу,
И смысл всей жизни, всей, откроется мне вдруг.
И нищим я пойду к далекому чертогу.

В августе 1958 года во Франции, в эмиграции, другой поэт – Георгий Иванов, зная, что его болезнь неизлечима и он обречен, записывал состояния своей души перед смертью. Его августовские стихи, думается, редчайший дар человеку, высочайшая вершина на пути поэта и в творчестве, и в жизни, поскольку стихи эти стали проводником истины. Из «Посмертного дневника» Георгия Иванова:

Если б время остановить,

Чтобы день увеличился вдвое,
Перед смертью благословить
Всех живущих и все живое.

И у тех, кто обидел меня,
Попросить смиренно прощенья,
Чтобы вспыхнуло пламя огня
Милосердия и очищенья.

А самоубийство Алексея Лозина-Лозинского предупреждает, убедительнее некуда, каким путем истину не открыть.

На вечере памяти Алексея Лозина-Лозинского, устроенном Обществом «Медный всадник», были и Лариса Рейснер, и Георгий Иванов. Стихи Лозина-Лозинского читал Михаил Лозинский. Он не был родственником и не был знаком с Алексеем Константиновичем, но хорошо умел читать стихи. В остальном вечер получился безобразным. Случайный молодой человек, желая развеселить публику, принялся петь куплеты, подыгрывая себе на рояле. Лариса не выдержала, топнула ногой, раскричалась, что все это мерзко, недостойно, что она пришла на вечер памяти поэта, а ее угощают пошлостью.

Лариса начнет писать и не закончит статью о Лозина-Лозинском: «"Хороший вкус нужен для суждения о красоте природы, но для оценки искусства нужен гений" (Кант). Этим гением был одарен поэт Лозинский… статьи и проза последнего периода не что иное, как настойчивое познание прекрасного, в отличие от дилетантского и вульгарного „чувствования“ и „вчувствования“. Редкая способность…»

В архиве сестры поэта Ирины Константиновны Северцевой сохранилось стихотворение Сусанны Альфонсовны Укше (секретаря В. В. Святловского, ученицы М. А. Рейснера), посвященное Алексею Константиновичу. Возможно, она поняла его лучше всех, может быть, любила.

Стоял над его колыбелью
Волшебниц заоблачный рой.
Они ему в день новоселья
Подарок несли дорогой.

Но фей лучезарных лобзанье
От муки его не спасло,
И тихо богиня страданья
Над ним наклонила чело.

Крылом колыбель осенила
И в золоте царственных роз
Терновый венец положила
В кристаллах рубиновых слез.

И вырос он, чуткий и милый,
Талантливый, смелый, больной.
Недаром над ним ворожили
Красавицы феи толпой.

Детей он любил и свободу,
И девушек юных весной,
И серую жуть непогоды,
И неба лазурный покой.

Цветы и закатов пожары,
И пристальных ласку очей,
Но феи страданья подарок
Стал мукой бессонных ночей.

Порою смеялся он гадко,
Молился, опять проклинал.
Потом, одинокий, украдкой
Ночами в подушку рыдал.

За ним неспокойно бродила
Сомнения страшная тень.
И пал он у ранней могилы,
Как загнанный в поле олень…

Не запоздайте с Истиной», – завещал Ларисе Лозина-Лозинский. Революцию влюбленности, любви к ближнему Лариса переживет еще до социалистической революции. Революцию религиозности, может быть, – в горах Афганистана.

Глава 16
«РУДИН»

В каземате той огромной вселенской тюрьмы, которая железным кольцом произвола и насилия охватила весь мир, заперт молодой и бесплотный дух.

Л. Рейснер. Офелия.

Ровесники Лариса и Георгий Иванов были просто товарищами по началу литературного пути, спутниками по балам, выставкам, кружкам, но знаковые отметины в жизни друг друга оставили. В архиве Ларисы хранится написанное Георгием Ивановым прошение:

«Заместителю Народного Комиссара по Иностранным делам тов. Карахану. С первого дня Революции, находясь в Петрограде и работая как поэт-переводчик в Государственном Издательстве, я бы не возбуждал ходатайства о выезде из Сов. России, если бы не катастрофическое положение моей жены и маленького ребенка за границей. Очень прошу Вас разрешить мне кратковременную поездку за границу с тем, чтобы освободить свою семью от тяжелой материальной зависимости, вместе с ней вернуться в Россию. Разумеется, что ни о какой черносотенной антисоветской агитации с моей стороны не может быть и речи».

На этом прошении Лариса Рейснер написала:

«Зная тов. Иванова несколько лет как совершенно порядочного человека, связанного сейчас с РСФСР всеми корнями своего художественного и гражданского миросозерцания, я со своей стороны ручаюсь за все, изложенное в его прошении и прошу его удовлетворить».

Документ атрибутирован 1918 годом. За границу Георгий Иванов уехал осенью 1922 года с Ириной Одоевцевой. Ларисе Рейснер он оставил акростих:[2]

Любимы Вами и любимы мною,
Ах, с нежностью, которой равной нет,
ека, гранит, неверный полусвет
И всадник с устремленной вдаль рукою.

Свинцовый, фантастический рассвет

Сияет нам с надеждой и тоскою,
Едва-едва над бледною рекою
Рисуется прекрасный силуэт…

Есть сны, царящие в душе навеки,
Их обаянье знаем Я и Вы.
Счастливых стран сияющие реки

Нам не заменят сумрачной Невы,
Ее волной размеренного пенья,
Рождающего слезы вдохновенья.

В отличие от более поздних воспоминаний Георгий Иванов в период создания этого стихотворения, во время их прогулок по Петербургу, признавал в Ларисе поэта и петербурженку. В поэзии человек более точен, чем в мемуарах, где сталкиваются характеры и пристрастия. В Медном всаднике Лариса услышала свои стихи, свою музыку. Уловила близкий ей ритм гнева и борьбы:

МЕДНОМУ ВСАДНИКУ

Добро, строитель чудотворный, – Ужо тебе!
А. Пушкин

Боготворимый гунн
В порфире Мономаха.
Всепобеждающего страха
Исполненный чугун.

Противиться не смею;
Опять – удар хлыста,
Опять – копыта на уста
Раздавленному змею!

Но, восстающий раб,
Сегодня я, Сальери,
Исчислю все твои потери,
Божественный арап.

Перечитаю снова
Эпический указ,
Тебя ссылавший на Кавказ
И в дебри Кишинева.

«Прочь, и назад не сметь!»
И конь восстал неистов.
На плахе декабристов
Загрохотала Медь…

Петровские граниты
Едва прикрыли торф —
И правит Бенкендорф,
Где правили хариты!

Владимир Пяст, прочитав это стихотворение в восьмом номере журнала «Рудин», написал Ларисе: «Приветствую в Вас гражданского поэта, по которому давно стосковалась наша литература». Связала Медного всадника с восстанием и Зинаида Гиппиус в стихотворении «Петроград» в декабре 1914 года, возмущенная переименованием города:

Но близок день и возгремят перуны.
На помощь, Медный вождь, скорей, скорей!
Восстанет он, все тот же бледный, юный,
Все тот же – в ризе девственных ночей.

Литературно-художественное общество «Медный всадник»

Общество «Медный всадник» было задумано осенью 1915 года. Владислав Ходасевич в письме Борису Садовскому просил принять его в члены этого кружка. Среди его участников были Мандельштам, Кузмин, Цензор, Рославлев, Е. Иванов, Рейснер, Яворская, Городецкий, С. Прокофьев, Ю. Слезкин, П. Михайлов, Гумилёв, Ауслендер. Через полгода о первом вечере кружка писал в вечернем выпуске «Биржевых ведомостей» от 18 марта 1916 года Вл. Боцяновский:

«Конечно, судили современную литературу и, конечно, критику по преимуществу. Досталось также и писателям. Юрий Слезкин, выступивший с докладом, очень беглым, не пощадил даже Чехова, даже Глеба Успенского. За последнего пришлось заступаться проф. Святловскому. Молодым свойственна буйственность, и, конечно, этого ей в осуждение никто не поставит. Молодежь поставила на своем знамени Медного всадника, короче говоря – Пушкина. С таким знаменем можно идти вперед. Судя по докладу Слезкина, новое общество намерено обратить свое главное внимание на форму.

Случайно, но первое собрание кружка происходило в квартире проф. В. В. Святловского, представляющей собой нечто вроде не то музея, не то даже храма, воздвигнутого Наполеону. Со всех углов смотрит на вас Наполеон, каждая вещь имеет какое-нибудь отношение к нему – и картины, и гравюры, и скульптура, и даже мебель. Вот человек, творивший, а не гонявшийся за формой. Текущая жизнь дает сейчас такой богатый материал, прямо требующий творческой обработки».

Собрания общества, по свидетельству актера и журналиста П. П. Михайлова, проходили и на квартире Рейснеров. Михаил Андреевич живо интересовался делами кружка. Сергей Прокофьев и Лариса Рейснер были самыми молодыми его членами. Музыкант, только что окончивший консерваторию, играл у Рейснеров «Сарказмы» Беляева; Лариса делала доклад об исторической прозе Пушкина в свете демократического движения, читала свои стихи, среди которых выделялось стихотворение «Шелк»:

Пусть женщины платья непрочны и марки,
Их складки так смелы, их краски так ярки,
Так много в их шелесте вешней тревоги,

Что кажется, скоро такие же тоги
Покроют под ропот пастушьей свирели
Колючим пушком задремавшие ели,
Отгрезят зеленой красой и мгновенной
Все выси и долы цветущей вселенной.

Сергей Кремков

«Беру второй номер „Богемы“, фолианты, портьеры, о букинистах, о почерневших гравюрах, о мраках библиотек. Поистине лавочки антикваров и букинистов. А где же жизнь? И Вы тоже спрятались в биологию. Биение аорт – разве не жизнь? Отвечаю: нет! У Вас и здесь на первом плане Буонарроти. И здесь откинутые назад, изнеможденные руки. И здесь темнота, жмурки, отсутствие силы, полета!.. Ваша поэзия чеканна, красива, торжественна, но жизни все-таки мало. Стиль и торжественность победили смелость и непосредственность. Но довольно об этом. Вам же я хотел сказать, что любовался Вами, когда Вы слушали стихи. У Вас сверкали глаза, горели щеки. Я не писец из Гос. Думы, но мое сердце билось сильно.

Ваш поклонник в поэзии и жизни. Искренне преданный Сергей Кремков.

Надеюсь, что Вы ради эксцентричной и милой забавы ответите мне».

Сергей Кремков познакомился с Ларисой на студенческой скамье, входил в университетский поэтический кружок. Лариса с осени 1914 года посещала лекции на юридическом и филологическом факультетах университета как вольнослушательница. В 1916 году Сергея, как и многих других студентов, призвали в армию. Он окончил артиллерийское училище, воевал на фронтах Первой мировой, Гражданской, оставшись кадровым военным. И всю жизнь, когда не удавалось быть рядом с «Ларочкой», писал письма. А в них – стихи, посвященная ей поэма. «Ничего не „добиваюсь“, просто хочу на Вас смотреть… Мое желание видеть вас не покидает меня ни на минуту».

В архиве Ларисы Михайловны последнее письмо от Кремкова датировано 1924 годом. Сергей Михайлович возникал в ее жизни всегда, когда ей было особенно трудно, подавая неведомо откуда свой голос.

Университетский поэтический кружок

Поэзия во мне так и не родилась. Это недоношенное дитя. Но разве от этого я меньше могла бы его любить?

Л. Рейснер

Какой увидел Ларису впервые Сергей Кремков? Наверное, такой же, как увидел ее Всеволод Рождественский, оставивший свои воспоминания:

«Университетская аудитория наполнялась студентами. Стоял тот смутный гул от смятения голосов, шарканья ног, стука пюпитрами, который всегда предшествует началу лекций. Я, наклонясь над столом, разбирал учебники и тетради, как вдруг оборвался шум, настала глухая тишина. Подумалось, что вошел профессор. Но на пороге стояла девушка лет восемнадцати, стройная, высокая, в скромном сером костюме английского покроя, в светлой блузе с галстуком, повязанным по-мужски. Плотные светловолосые косы тугим венчиком лежали вокруг ее головы. В правильных, словно точеных, чертах ее лица было что-то нерусское и надменно-холодноватое, а в глазах – острое и чуть насмешливое. „Какая красавица!“ – подумалось невольно всем в эту минуту. А она, чуть наморщив переносицу и, видимо, преодолевая смущение, обвела несколько беспокойным взглядом всю аудиторию и решительно направилась к моей скамейке, заметив, что там осталось единственное свободное место. Я подвинулся с готовностью, и она уселась рядом. Неторопливо, с деланым спокойствием раскрыла портфельчик, вынула оттуда тетрадку и толстый карандаш. Легкая краска смущения заливала ее лицо, но все жесты были спокойными и твердыми. Она чувствовала, что все взоры устремились на нее, но старалась ничем не выдать своего волнения.

А удивленное внимание аудитории вполне объяснимо. Женщины в Петроградском университете 1915 года были явлением редчайшим. Они допускались к занятиям с особого разрешения властей.

Началась лекция профессора Ф. Ф. Зелинского, знатока классической филологии и античной литературы. Речь шла о стилистических сопоставлениях «Илиады» и «Одиссеи».

Моя соседка быстро записывала что-то в тетради. Сломался карандаш. Она неторопливо и спокойно подняла на меня глаза –

я успел заметить, что они у нее светло-стального цвета, – и сказала просто и вместе с тем несколько повелительно: «Ножик, пожалуйста!» Я поспешил исполнить просьбу. Так началось мое знакомство с Ларисой Михайловной, перешедшее потом в юношескую студенческую дружбу. Еще больше сдружило нас участие в университетском «Кружке поэтов»».

Среди многочисленных кружков в университете этот был самым маленьким по количеству участников. Кроме Рождественского в него входили Георгий Маслов, Владимир Злобин, Виктор Тривус, Дмитрий Майзельс, Анна Регатт.

Третий номер альманаха университетского «Кружка поэтов» в машинописи сохранился в архиве Ларисы Рейснер. Единственный уцелевший экземпляр. «Мы дерзостно мечтали о сокрушении еще недавно столь пленявшего нас символизма, тщательно изучали все его приемы и намеревались явить миру новые образцы свободного в интонациях и выразительного поэтического языка», – писал В. Рождественский. И далее: «Лариса Михайловна часто выступала с чтением своих стихов. Несколько ровным, но вдохновенным голосом читала она по рукописи свеженаписанные строфы. Тематика была разнообразной и не совсем обычной. Чаще всего возникали образы французской революции или образ художника, творчество которого, при всей его эстетской отторженности от действительности, неминуемо приходит в трагическое столкновение с непосредственной жизнью».

Студенческая дружба с Вс. Рождественским включала любимые Острова, прогулки на яликах по Неве, кипу писем, записочек, хотя они часто встречались в университете. Было даже их любимое дупло на Крестовском острове для записок. Перед прогулкой Всеволод приходил во двор дома на Зелениной, вызывал Ларису и ждал ее внизу. Подниматься к ним в квартиру ему было страшновато, потому что Михаил Андреевич к студентам относился строго. Но студенты любили его за увлекательные лекции.

«У Ларисы была редкая красота, – рассказывал мне Всеволод Александрович при встрече 18 мая 1967 года, – во всей жизни можно не встретить такую. В ней мгновенно вспыхивал полемический задор, бунтарство. Поэтому разошлась с Гумилёвым, которого любила. Восхищалась, ненавидела, ревновала к Ахматовой. Была в ней доля театральности. Молодежь находилась тогда под влиянием Н. Евреинова, а он сам помешался на своей теории „театр для себя“. Придти в гости – пьеса, проводы – новая пьеса. Лариса втайне гордилась своим умом, хотя сама была воплощением женственности, тонкого кокетства. Ей была свойственна романтичность, она любила все

яркое, даже резкое и решительное, но умела сдерживать свои порывы инстинктом вкуса.

Однажды в откровенном разговоре она пожаловалась на то, что разучилась понимать «простые, естественные вещи», что ей все хочется «усложнять и обострять».

– Но как же так? Ведь есть у вас стихи о закатах, о тихих озерах. Ведь любите вы наши незатейливые сосны и дюны?

– Люблю? Не знаю. Нет, это не любовь. Это хитрость сердца. К природе, в сущности, я равнодушна. Человек – это другое дело! И опять-таки мне нужно что-то сложное, отнюдь не каждодневное. И не такой человек, каким он есть сейчас. А такой, каким он должен стать в будущем. Я вообще люблю будущее, которого еще не знаю.

С друзьями Лариса была откровенной и прямой и вовсе не такой уж «сложной». Она любила прогулки, любила танцы, мечтала научиться хорошо ездить верхом, перемежала серьезное чтение с самым легковесным, умела понимать шутку… Но ее слишком умные и слишком патетические стихи не встречали глубокого сочувствия. Гораздо ярче была она в своих критических выступлениях. «Аристократка» в нашей демократической среде, она жаждала поклонения и умела его добиваться.

К критике Лариса относилась довольно чувствительно и любила повторять откуда-то ею взятую сентенцию, что свои пристрастия она ставит выше своих убеждений. Вообще у нее часто бывал в то время «ум с сердцем не в ладу». А сердце у нее было и сердитое и благородное».

С чтением стихов Лариса выступала в разных местах. И в Тенишевском училище, где просила Ахматову подержать ее за руку, чтобы справиться с волнением, и на разных литературных вечерах. А однажды, в марте 1915 года, в одном «симпатичном кружке студентов-юристов», устроивших вечер поэзии, который тянулся тускло, однотонно, вызвали читать стихи Ларису. Присутствовавший при этом Г. С. Елисеев, давний знакомый ее отца, писал Михаилу Андреевичу:

«Да неужели это та бойкая, правда, маленькая девочка, которая провожала нас с сыном в Берлине до трамвая? Положим, и тогда она поразила своей самостоятельностью. Как можно было поручить такое ответственное дело, как проводы с переходом через улицу, такому ребенку. И вдруг – взрослая девица, красавица, смелая, эффектная. Уже одного этого было довольно, чтобы обалдеть, но дальше… задекламировала. Не я один был в восторге – вижу вся аудитория наэлектризована. Кончила – безумный взрыв восторга и аплодисментов. Приятно поразило меня, кроме красоты чтения и формы стиха, – полное отсутствие

банальности и, так сказать, интеллигентность эпитетов, содержания».

Выступала Лариса и в «Академии стиха» при журнале «Аполлон», где читала свое стихотворение «Эрмитаж»:

Сегодня, как всегда, озлобленно-усталый,
Я отдохнуть пришел в безлюдный Эрмитаж.
И день благословил, серебряный и талый,
Покрывший пепельной неясностью порталы,
Как матовым стеклом анатолийских ваз.

В упругой грации жеманного Кановы,
В жестокой наготе классических камней
Недвижно-радостны, мучительны и новы
Творящей красоты рельефные основы,
Мечты, почившие в безмолвии камней.

Как правильно дворца нарядные пороги
Лепного потолка усиливают гнет;
Не оживут однажды скованные боги,
И никогда пожар бичующей тревоги
Любви царящего полета не вернет.

«Лариса раньше многих, – вспоминал Всеволод Рождественский, – говорила о существовании рабочих окраин и о том, что Блок был ближе всех к пониманию их роли в городской общественной жизни». В тетради Ларисы есть зарисовки ее зеленинской окраины. Перо Ларисы сродни кисти художника, настолько зримы создаваемые ею картины:

Где вдаль бежит холодный переулок,
Где огоньки дешевого притона
Не разгласят придушенного стона,
Где с хохотом стучится посетитель
В позорную подвальную обитель,
Где в вышине, как поднятые крупы
Громоздких крыш скользящие уступы,
Я проходил в зените ночи белой
Чуть-чуть хмельной, разнеженный и смелый…

Молодым поэтам где-то надо было печататься. Первый издательский опыт Лариса приобрела при выпуске первых двух номеров «Богемы». Рейснеры задумывают издавать свой журнал,

используя льготы для университетских изданий.

Свой журнал

«Я устал жить с завязанным ртом, – говорит Михаил Андреевич в автобиографическом романе Ларисы Рейснер „Рудин“, – мы будем первыми, которые нарушат ужасающую тишину. Давай, милая, скажем громко, отчетливо, весело, что мы против войны, против побед и против крови… может быть, за нашей спиной раздастся гул, движение, этот отравленный ненавистью крик, которого мы ждали так долго. Хочешь, рискнем, все равно жить дольше так, как мы жили, невозможно».

Через девять лет, в 1925 году, Лариса продолжила эту тему в статье «Что вспомнилось сегодня»:

«Страшные были дни. Торговцы солдатскими сапогами достраивали уже на Островах дворцы, похожие на греческие храмы или обсерватории… На месте срытых дворянских гнезд росли домины с лестницами, как груди мадам Рубинштейн, увешанные камнями, – домины, о которых вся страна знала, сколько они стоили шинелей, портков и сапог, украденных с кровавых полей. Кирпичи для этих построек резались из сырого человечьего мяса, и война дышала над петербургской гарью новеньких автомобилей и трупной вонью, которую ежедневно приносили с оттаявших Мазурских озер, от Карпат и из Галиции ликующие страницы продажных газет… Помню корректнейшего мистера Кроуна, возвратившего редакции молодого антивоенного журнала „Рудин“ рукопись с неизъяснимой и корректной улыбкой.

– На Плеханова и Бурцева вашему художнику лучше никаких карикатур не рисовать. Мы имеем точные инструкции поддерживать и укреплять авторитет этих патриотов».

Только в январском четвертом номере «Рудина» в 1916 году смогло появиться редакционное обращение к читателям о задачах нового журнала:

«Ставя своей целью создание органа, который бы клеймил бичом сатиры, карикатуры все безобразие русской жизни, где бы оно ни находилось, редакция „Рудина“ вместе с тем стремится открыть дорогу молодым талантам и при их помощи придти к установлению новых культурных ценностей. Ввиду сказанного редакция „Рудина“ обращается к широким кругам русской – особенно провинциальной – публики с призывом помочь редакции как доставлением материала (фотографий, рисунков и документов) о всех отрицательных явлениях окружающей действительности, так и статей, стихотворений, рассказов, которые лишь с трудом могут пройти на страницы столичных

журналов, гоняющихся за громкими и общепризнанными именами».

Рейснеры не могли жить без борьбы, и потому журнал стал называться именем тургеневского героя, умершего на баррикадах. И рейснеровский «Рудин» уйдет на литературные баррикады сражаться с недавними друзьями, теперь поддерживающими войну, – Л. Андреевым, С. Городецким и многими другими. Из статьи Ларисы «Что вспомнилось сегодня»: «Собственно говоря, настоящая литературная подлость никогда не существовала в чистом виде, но всегда пополам с искренним энтузиазмом… большинство писателей, с барабанным боем перешедших на передовые войны, бряцая шпорами земгусар и университетскими значками вместо боевых отличий, искренне верило или хотело верить своим новым убеждениям. Это удивительное совпадение приятного с полезным и есть, собственно говоря, секрет ренегатства».

В газете «День» 10 октября 1916 года был напечатан отзыв о лекции М. А. Рейснера «Л. Андреев против М. Горького», в которой был поставлен вопрос: «Кто же прав? Максим Горький, выступивший в такой момент, когда в широких кругах общества замечается националистический угар, переходящий подчас в шовинизм, или Андреев, взявший на себя защиту „славянской души“?»

А. В. Луначарский в своих очерках по истории русской литературы писал о герое романа Тургенева: «Рудин – трубач, который всех будит». Когда осенью 1917 года Лариса Рейснер станет секретарем Луначарского, может быть, они обнаружат и другие общие точки зрения, общие пристрастия.

Более тридцати авторов печаталось в «Рудине». В восьми номерах (журнал выходил раз в две недели) опубликованы два стихотворения О. Мандельштама, одно Б. Садовского, стихи Г. Маслова, В. Святловского, Вл. Злобина, С. Кремкова, Вс. Рождественского, В. Тривуса, Дм. Майзельса, И. Евдокимова и др. В небольшом журнале на 16 страницах, помимо стихов, были представлены рассказы, публицистические статьи, критика. На обложке форматом с тетрадь для рисования изображен романтический силуэтный профиль мужчины с высоким воротником и шейным платком. Силуэт вписан внутрь венка. Над ним название – «Рудин».

В оформлении журнала принимал участие молодой художник Н. Н. Куприянов, впоследствии известный книжный график. Рисунки и заставки сделал С. Н. Грузенберг, уже известный художник. Оформление выдержано в стиле и эстетике «Мира искусства». На этом фоне резко выделялись политические

карикатуры студента Академии художеств Е. И. Праведникова, стиль которого, по характеристике Ларисы, определялся «сочетанием академической точности с подавляющим реализмом и чудовищной злостью». Наиболее острыми были карикатуры на К. Бальмонта, П. Струве, В. Бурцева, Г. Плеханова, Л. Андреева, К. Чуковского, занявших оборонческую позицию.

Однако держался журнал в основном на главных сотрудниках – Ларисе и Михаиле Андреевиче. Екатерина Александровна дала для публикации пять рассказов под псевдонимами Р. Власта, Ю. Хитрово; рассказы эти грешили большим количеством бытовых подробностей и расплывчатым смыслом. Михаил Андреевич писал под псевдонимами Марин, М. Ларин, И. Смирнов, Лариса – Л. Храповицкий, Е. Ниманд, Рики-Тики-Тави. Стихи подписывала настоящей фамилией.

Памфлеты М. А. Рейснера высмеивали косность официальной науки, бюрократизм, закулисных политических деятелей, ненадежных либералов. Девять литературно-критических статей опубликовала Лариса: о Сологубе, Блоке, Маяковском, Е. Замятине. Ее статья «С. А. Венгеров и русская литература. Героический характер русской литературы» начинается блестящими определениями искусства:

«Искусство – всегда бурная диалектика, всегда гамма, построенная из противоречивых созвучий, всегда победа, разбивающая свое лучшее воплощение. Искусство – высшая и непрерывная жизнь, ожесточенная борьба отрицающих друг друга красок, размеров и миропонимании… Красота не имеет лица – потому что лица ее неисчислимы… Гений неистощим – он не повторяется. Не так смотрит на дело С. А. Венгеров. В своей истории литературы он решил во что бы то ни стало помирить враждующих поэтов, философов и публицистов…

Но как же быть с тобой, тревожный, яркий XX век, как сгладить твою холодную чувственность, самобичевание изощренных мистиков, как поставить рассудочного порнографа и расчетливого самоубийцу на кафедру «учительского слова», да еще в тесном мундире прекраснодушия, неизменного пророчества и самопожертвования».

В седьмом номере журнала Лариса поместила свою статью «Через Ал. Блока к Северянину и Маяковскому», где писала: «Александр Блок никогда не был революционером и реформатором. Величие его поэзии не искало пурпурных и золотых слов… Всегда большой и незабываемый, даже в пошлых образах, даже в поблекшей теме, он бесшумно переступил черту временного и ничтожного. Его влияние громадно, как влияние абстрактной идеи, тончайшей математической формулы. Из

сумерек социального упадка он вынес цветок мистической поэзии, бледный, но благоухающий, и в этом его величайшая заслуга. Но подражать Ал. Блоку, его полутонам, его лирике, выросшей без света и воздуха, его любви, затерянной в сером, холодном небе, невозможно и бесполезно. Как всякое завершение – Блок неповторим».

В дневниковой записи от 21 марта 1921 года Блок отмечает, что получил комплект журнала «Рудин» лично от профессора Рейснера. И дальше пишет: «В 1915–1916 годах Рейснеры издавали в Петербурге журнальчик „Рудин“, так называемый „пораженческий“ в полном смысле, до тошноты плюющийся злобой и грязный, но острый… где обо мне сказано лестно, что я не был никогда революционером и реформатором, что я большой и незабываемый, мое влияние громадно, как влияние абстрактной идеи, что у меня полутона, бледный цветок, завершение и пр… В 8 номере профессор Рейснер пишет статью о Либкнехтах, протестовавших против войны (как ее пропустили!)».

В некоторых номерах журнала оставались пустые места на страницах – значит, цензура не пропустила какие-то материалы.

Александр Блок прочел журнал через пять лет. Владимир Пяст написал Ларисе о своем впечатлении сразу же, весной 1916 года: «С величайшим интересом прочитал 8 номер журнала. Восхищаюсь силой, энергией и талантом, с которым он ведется. Но не согласен с Вашей злобой на некоторых из деятелей, с кладбищенски жутким характером некоторых карикатур. Не разделяю Ваших воззрений. И тем не менее считаю, что вряд ли когда-нибудь среди „молодой литературы“ – по крайней мере среди молодой, – появлялось столь же интересное начинание, как Ваш журнал».

Борису Садовскому особенно понравились заключительные строки стихотворения «Эрмитаж»:

> И никогда пожар бичующей тревоги
> Любви царящего полета не вернет.

Тридцатого декабря 1915 года он прислал Ларисе посвященный ей акростих:

> Ласково строги твои черты.
> Ангел с мечом не дает тебе пасть.
> Радостны розы твоей мечты,
> И сердце рвется к тебе во власть.
> Снова весна залила кусты,
> Алмазами слез заиграла страсть.

Рудин восторженный! – если б на миг,
Если б на миг он восстал теперь,
Ищущим сердцем к тебе приник,
Сладко шепнул бы: надейся, верь.
Новый призывный слышится клик.
Едва заря приподымет лик,
Робко в твою постучу я дверь.

В новогоднюю ночь 1916 года

В романе «Рудин» Лариса описывает выход первого номера журнала под Новый год. На самом деле рождественский номер был уже третьим, но сути это не меняет:

«Журнал привезли из типографии завернутым, как новорожденного, и торжественно развернули на столе. На белой чистой обложке открылась голова Рудина. Вокруг него столпились сотрудники и никто не хотел говорить: сегодня это был еще их Рудин, неведомый, пришедший в мир со своей капризной и опасной улыбкой, завтра его станут продавать…

Узнают ли свои, не покажется ли чужой в предместьях его аристократическая тень, увидят ли действие за его насмешливой речью? Но как молод был Рудин в этот день своего второго дня рождения!

Грин трезвый, в невероятно высоком и чистом воротничке, который, впрочем, скоро снял и спрятал в карман, грел возле печки, полной трескучего пламени, свое веселое и безобразное лицо».

Александр Грин дал для журнала свой рассказ «Танец», который почему-то не был напечатан. Но продолжим читать роман дальше:

«Смелый путешественник, описавший жаркое небо и дикие леса юга из своей комнаты в желтых вонючих ротах и ни разу не видевший в жизни ни одного лица, действительно похожего на то, что ему снилось, – наконец, чувствовал великое успокоение, сумасшедший, он был среди своих… Наконец, его перо понадобилось… косые лучи, падая из-за разорванных обезумевших туч, озаряли трагическим блеском его любимый пейзаж: море, острова и людей лучшей породы.

…Кремков очень легко писал пародии, эпиграммы, гротески. Стихи были очень хороши, неприличны и прилипчивы: их невозможно было забыть. Еще лучше был сам Кремков, сидящий на корточках, с очень тонкими и яркими губами, красными от огня, в позе сатира, подобравшего под себя копытца, читающего анакреонический стих и почесывающего беспокойными рожками лохматый бок старого и благодушного пьяницы.

– Ал. Ал., я влюблен.

– Знаю, батюшка.

– А она меня любит?

– Она никого не любит, тем и хороша».

О судьбе Сергея Михайловича Кремкова после его письма Ларисе Михайловне в 1924 году мне ничего не известно, но

Лариса на его письмо ответила, о чем написала в своем романе.

Следующий отрывок дает представление о матери Ларисы: «Екатерина Александровна в белом кружевном чепце, в свежих крахмальных рюшах, в которых терялись две насмешливые складки ее щек, тоже держала в руках свежий номер. Глаза ее бегали по строчкам, меняя выражение, и рука с поднятым кверху пальцем делала такие движения, точно она угрожала негодной конституции, и толстому декану, и Бальмонту – всем. Молодые люди стояли вокруг нее, визжали и неистово радовались. Многие из них печатались впервые, и подвижное лицо Екатерины Александровны было первое, на котором они читали свою победу. Каждый должен был сам прочесть вслух свое произведение».

Но сейчас пусть авторы «прочтут» то, чего не было на страницах журнала, – свои обращения к Ларисе.

Алексей Михайлов – «Обращение к самому себе»:

Размахи твоего резца,
Дружа с сатирою злодейской,
Зачем ваяют без конца
Не контур юного лица,
Но Кальмы профиль иудейский?

Рисуй Лариссины черты,
И после, перебрав тетради,
Ты, может быть, о Петрограде
Вздохнешь, промолвив: не укради
У Пушкина – и улыбнешься ты.

Сергей Кремков:

Вы увлекаете, как тайна,
Но в Вас таинственности нет.
В Вас сочетались так случайно
И модный вальс, и менуэт.

Ваш голос был невинно-звонок,
Но в Вашем взоре – ряд веков.
И сочетались в Вас ребенок —
И сфинкс египетских песков.

Ваш смех я слышал прихотливый,
Как ослепительный хрусталь,
А остроумием могли Вы
Затмить и госпожу de-Stael.

Неженский ум Ваш – покрывало,
Что скрыло чувств огнистых нить.
Ах, просто уважать Вас – мало,
И как-то стыдно полюбить!

Поэтических обращений к Ларисе у Сергея Кремкова – километры, выдернем еще несколько «верст»:

Но Вы, редактор, строгий критик,
В одном бессильны предо мной:
Пока из сердца жар не вытек,
Я буду помнить Вас – той… той…
Обычной барышней с ракеткой,
Мечтательной и робкой «деткой».

Иль «полудеткой»… все равно.
Я знаю сам, что Вы коварны,
Что Вы игривы, как вино,
Жестоки и неблагодарны.
Но все равно… мне не к лицу
Любить смиренную овцу.

И я люблю Вас: Вы смешали
И холод зимний, и огонь,
Великолепие печали,
И детско-милое «не тронь»,
Смешали ласки грез в постели —
И безмятежность колыбели.

Из рождественского номера процитируем несколько строк стихотворения «Мудрецы» Владимира Злобина, посвященного Михаилу Андреевичу Рейснеру:

О, мир их мучил, вставших на дыбы,
Их – обретавших мудрость в тайном смысле.
Чьи гордые и проклятые лбы
Носили горечь раздвоенной мысли.

И не могли мириться с блеском зла,
И жить, не тронув хрупкие личины, простертые,
Как два больших крыла.

Но вернемся к празднованию выхода первого номера «Рудина», как это описано в романе Ларисы: «Восторг сделался общим. Лис, как присяжный мистик, был наряжен в знаменитую зеленую скатерть и стал первосвященником во главе процессии. За ним Кремков и Ариадна (имя Ларисы в романе. – *Г.П.)* с прыжками и поклонами. Рахиль несли на руках художники, как телесное воплощение своего искусства. Она дергала их за волосы и болтала в воздухе ножками. Перед каждой вещью они останавливались и благодарили за долголетнюю службу, за терпение бедности, за честное исполнение своих обязанностей. Теперь все изменится – комоду обещали замок, вместо старой, расщепленной дыры полам будут ковры, письменному столу – настоящие ноги вместо скрипучих перекладин – словом, вещи кланялись, если бы могли и говорили бы по-человечески.

Наконец, общей радости стало тесно в четырех стенах.

– Господа, до Нового года еще 3 часа. Идемте на Острова!

Там есть аллея, на Островах. От моста, перекинутого через Неву между старинным театром Екатерины, нынче заколоченным, к Столыпинскому дворцу, она по берегу сворачивает налево. Деревья здесь старые и высокие, сильнее других защищенные от морского ветра всем Елагиным парком.

Набережная всегда светла, и, когда из-за угла темной улицы вдруг выступает вся державная ширина, полная ветра, студеная, день кажется особенным, и кажется, что сейчас из света, вьюги и пустынного пространства выступит неожиданное, то, к чему стремится целая жизнь своими неслышными быстрыми днями».

Владимир Святловский и Екатерина Рейснер

Большую часть денег на издание журнала дал Владимир Владимирович Святловский. Он был председателем правления «Общества взаимного кредита печатного дела», а также управляющим делами великого князя Александра Георгиевича (герцога Лейхтенбергского). Это – одновременно с преподавательской деятельностью, исследованием аграрных, жилищных вопросов, истории экономических учений, собиранием всего, что относится к Наполеону, писанием стихов (в 1917 году выйдет его второй поэтический сборник «Седое утро»). В 1918 году, когда Святловскому очень трудно жилось, М. А. Рейснер продал свою библиотеку Академии наук и отдал часть долга (Святловский ссудил семье Рейснеров 6 тысяч рублей).

Для издания журнала Рейснеры заложили все, что могли, в ломбарде на Большом проспекте. Даже «три знаменитые серебряные ложки, они же фамильное серебро», как иронизировала Лариса. Чтобы «сдвинуть большой тяжелый камень, в течение стольких лет давивший Большую Зеленину, нужно было сделать чудо – дать голос и выражение целой несказанной, застрявшей в горле, проглоченной жизни», – писала она.

В своем романе Лариса львиную долю страниц уделила дому Святловского (Пятая линия, дом 2), его коллекции Наполеонов, его встрече с Екатериной Александровной Рейснер:

«Нынче утром он ей позвонил по телефону, как всегда в свои критические, самоубийственные дни.

– Кити, голубушка, сегодня за моей душой придет черт с портфелем. Что ему ответить?

– Что он умница, но все-таки опоздал: надо было это сделать лет десять назад, пока вы не совсем оподлели. А что? Опять каетесь, Володя? Ох, не люблю оттепели у грешников.

– Приезжайте ко мне, я такой бедный сегодня – очень хочу вас повидать.

– Не поеду.

– Ну тогда я сейчас повешусь на парадной люстре.

– Вешайтесь.

– А гусь с яблоками для вас зажаренный?

– Пошлите его вашему князю, пусть видит, какой вы благородный. Забрали у него миллион, а гуся возвратили.

– Так в три часа?

– Ну, хорошо. Но смотрите, я ругаться буду…

Наконец, особенно долго прячась за деревьями, не различимый из-за судорожной дрожи ресниц, назвал себя 12 номер трамвая, приблизился, осторожно, подождал, пока не спрыгнула на мерзлые камни Екатерина Александровна…

– Поговорим о делах. Правда ли, что вы собираетесь издавать журнал, не то «Марат», не то «Робеспьер», – нечто вызывающее? Не надо. Во-первых, вас надуют и вы прогорите на втором номере; во-вторых, укусите всех, кого можно, и наживете новых врагов. В третьих, не время… И революции не будет!

– Дурак! Я чувствую, знаю. Невозможно нарывать без конца.

Она встала, и в сумерках Владимир Владимирович едва разглядел улыбку, но какую улыбку! На тонких губах появилась дрожь, покрытая легкой пеной. Белки широко открыты и на их влажной эмали холодеет последний свет, как в окнах тех сумрачных и прекрасных дворцов, которые смотрят на Неву с невыразимым предчувствием горя. Лоб в тысяче складок, желтый и сухой, в морщинах, вырытых мыслью… Над жестокой плитой лба – две плавные дуги, две надежды, два крыла для мечты. Они созданы, чтобы осенять взгляд в бесконечность, в будущее, в невозможное. Святловский испугался: перед ним стояла Нике, богиня победы… рука отломана, крылья тяжелые от долголетней могилы, и все-таки она летит, напряженная, как тетива, она в чистом небе, озаренная золотым солнцем, обещает победу одним, другим – гибель и роковое унижение. Вл. Вл. почувствовал холод и свою любовь, которая шевельнулась, как ребенок, озябший во сне».

Через пятьдесят лет публицист, философ Григорий Померанц пустит в самиздат незабываемую мысль: «Дьявол рождается из пены на губах ангела, борющегося за святое дело». У Ларисы острый взгляд, она эту пену разглядела в природе борца, на губах у Кити. Но вернемся к ее роману.

«– Милый Володя, будем откровенны. Для того, чтобы вы спокойно могли жить, Большой Зелениной и нашему пятому этажу надо бы провалиться куда-нибудь. Наши боги не могут разделиться – или ваш, или наш. Станете министром, мы будем писать о вас в нашем сумасшедшем журнале, мы вас отхлещем насмерть.

Они стояли друг перед другом, как люди, готовые стать врагами. Она – тонкая и черная, он – приземистый, с короткой шеей, полной сил, с волосами, приподнятыми волнением, как у хищников.

– Я вас любил всегда, люблю теперь, когда наша старая дружба должна расколоться.

– И я вас тоже.

Они обняли друг друга. Наполеоны бесстрастно смотрели в темноту мимо двух теней, так крепко, так горестно друг друга державших. Это продолжалось столько времени, сколько нужно огню, чтобы упасть на вытянутую, обнаженную, вечно молодую вершину; и ветвям, листьям, всем волокнам, чтобы ощутить этот огонь, текущий мучительной струей сверху вниз вдоль могучего ствола, и, наконец, в земле, глубоко под дрожащими корнями».

Журнал начинался при прощании любящих. Журнал кончился от безденежья, цензурных запретов. В мае 1916 года подготовленный девятый номер не вышел. Но каков сюжет! Весной 1916 года Лариса наконец-то полюбила. Пену сдувает любовь. Откуда Лариса об этом уже знала?

Глава 17
ЗНАКОМСТВО С ГУМИЛЁВЫМ

Мне непременно нужно ощущать другое существование – яркое и прекрасное.

Н. Гумилёв

Вы, кажется, спросили, есть ли у меня душа? Такой пожар лазури, солнца, света.

Л. Рейснер, 1913 год

Когда и где Лариса впервые увидела и познакомилась с Николаем Гумилёвым, точно сказать трудно. В автобиографическом романе «Рудин» она описывает знакомство с Гафизом (под именем которого скрыт Гумилёв) в «Бродячей собаке», куда пришла в поиске авторов и меценатов для своего журнала «Рудин» или «Богемы», первый номер которой вышел в феврале 1915 года. «Собака» закрылась 3 марта 1915 года.

Двадцать седьмого января 1915 года в «Бродячей собаке» проходил вечер поэтов, где приехавший с фронта Николай Гумилёв читал стихи о войне. Двумя неделями раньше, 15 января 1915 года, за смелость в бою и конную разведку в конце 1914 года Гумилёву вручили первый Георгиевский крест.

Кроме него в вечере участвовали Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Михаил Кузмин, Сергей Городецкий. На капустнике 2 февраля выступали Гумилёв, Тэффи, Потемкин, Г. Иванов и еще три-четыре молодых поэта. В эти дни и могли познакомиться Лариса и Николай Гумилёв. К этому же времени относится и записка Алексея Лозина-Лозинского к Гумилёву:

«Многоуважаемый Ник. Степ.

Если… Вы по-прежнему с интересом относитесь к молодым порослям литературы, то могу Вам прислать (напишите мне: В. О., Тучкова наб., 10—1, кв. 41) несколько стихот. молодого поэта Злобина, пишущего весьма грамотно. Моментами он напоминает как-то вас… Он был бы рад быть знакомым с Вами, причем не надо предполагать в данном случае расчетов на какую бы то ни было протекцию. Мы познакомились недавно в редакции довольно мизерного нового журнала «Богема», в который отдали свои поэзы по предложению нашего общего знакомого – Ларисы

Рейснер. Мне кажется, что к творчеству Злобина Вы не останетесь совершенно безучастным.

Жму руку. Кстати, поздравляю с Георг, крестом. Поклон Анне Андреевне.

А. Лозина-Лозинский. 21 марта 1915 года».

Стал бы Алексей Константинович писать о Ларисе, если бы Гумилёв не был с ней знаком?

В «Бродячей собаке»

Вот как описывает Лариса знакомство с Гумилёвым в своем романе:

«Кабачок был расположен на Михайловской площади, в подвале старинного дома. Толпа, изрыгаемая на белый декабрьский снег двумя театрами и большим Варьете, свою пену вливала в его узкие, сырые ворота… Просачиваясь в фантастически расписанный подвал, эта пена струилась вдоль крутых лесенок… Газовые рожки, обрамляя чудовищную и плоскую орнаментальную живопись стен, согревают воздух синими языками… У камина, способного обогреть своей огромной, доброй пастью декадентов всего мира, несколько двадцатилетних эпикурейцев, сидя спиной к огню, наслаждаются теплом и мучительно ждут приглашения прочесть свои произведения, бесконечно похожие друг на друга и на своих авторов: маленьких, с расчесанными проборами, оттопыренными ушами и мордочками по-человечески испорченных ночных зверюшек.

Огонь в камине трещит… и в восторге бросает на смутный ковер полную горсть своих червонцев… Свет ночных ламп изменил лица, сообщая им неподвижную, ложную, глубокую прелесть, изображенную импрессионистами в «Ночном баре»…

Под аркой, увитой кистями винограда, за чашками черного кофе, за беседой о боге и любви отдыхают прекраснейшие любовники этой зимы. Он некрасив. Узкий и длинный череп (его можно видеть у Веласкеса, на портретах Карлов и Филиппов испанских), безжалостный лоб, неправильные пасмурные брови, глаза – несимметричные, с обворожительным пристальным взглядом. Сейчас этот взгляд переполнен.

По его губам, непрестанно двигающимся и воспаленным, видно, что после счастья они скандируют стихи, – может быть, о ночи, о гибели надежды и белом, безмолвном монастыре. Нет в Петербурге хрустального окна, покрытого девственным инеем и густым покрывалом снега, которого Гафиз не замутил бы своим дыханием, на всю жизнь оставляя зияющий просвет в пустоту между чистых морозных узоров. Нет очарованного сада, цветущего ранней северной весной, за чьей доверчивой, старинной, пошатнувшейся изгородью дерзкие руки поэта не наломали бы сирени, полной холодных рос, и яблони, беззащитной, опьяненной солнцем накануне венца… Каждая новая книга Гафиза – пещера пирата, где видно много похищенных драгоценностей, старого вина, пряностей,

испытанного оружия и цветов, заглохших без воздуха, в густой темноте. И беззаконная, в каком-то великолепном ослеплении, муза его идет высоко и все выше, не веря, что гнев, медленно зреющий, может упасть на ее певучую голову, лишенную стыда и жалости. Новое искусство прославило холодность, объективное совершенство ее форм и превосходство царей, с которым она шествует через трясину мертвой, страшной и позорной грязи. О, кто смел думать о том, что самая земля, по которой ступает это бесчеловечное искусство, должна расточиться, погибнуть и сгореть!»

Здесь следует заметить, что несколько отрывков своего романа Лариса только набросала, ожидая мнения своих первых читателей – родителей. Они высказались против дальнейшей работы над романом, поэтому он остался в черновом виде, перегруженный образностью и подробностями.

«Между тем Гафиз действительно смотрел на Ариадну. Ее красота, вдруг возникшая среди знакомых лиц, в условном чаду этого литературного притона, причинила ему чисто физическую боль. Какая-то невозможная нежность, полная сладострастного сожаления, оттого что она недосягаема, эта девушка. Недосягаема. Пока Ариадну не пригласили читать. Она согласилась, и, когда на ее лице выразилась вся боязнь начинающей девочки, не искушенной в тяжелой литературной свалке, и в руках так растерянно забелел смятый лист бумаги, в который еще раз заглянули, ничего не видя и не разбирая, ее мужественные глаза юноши-оруженосца, маленького рыцаря без страха и упрека, – Гафиз ощутил черное ликование. Все рубцы, нанесенные его душе клыками критики в пору его собственного начинания, вся горькая слюна небрежения, которым награждали его ныне признанный талант когда-то сильные, старшие мэтры, – сладко заныли и заболели. Видеть ее, эту незнакомку с непреклонным стройным профилем какой-нибудь Розалинды, с тонким станом, который старый Шекспир любил прятать в мужскую одежду между вторым и четвертым актом своих комедий, – ее, недосягаемую, и вдруг – на подмостках литературы, зависящей от прихоти критика, от безвкусия богемской черни, от одного взгляда его собственных воспетых глаз, давно отвыкших от бескорыстия. Это было громадное торжество, сразу уравнявшее его и Ариадну. Мальстрем литературы вступал в свои права.

– Что она читает?

– Не знаю, что-то странное. Может быть, она социалистка?

Издатель был растроган, и он, и меценат, и критик, вышедший из моды, ныне применявший к балету свои

философские познания. Все они любили большое и бурное. Старые авгуры слушали голос Ариадны, сожмурив глаза: они не ошибались. Какая-то смутная угроза и мечтательная твердость в ее строфах и в ней самой. И даже там, где стихия прорывала неискусную и непослушную форму, слова и образы сливаются у нее в целое весеннее бездорожье, где беспокойно и радостно гуляет ветер, и тает, и возбужденно пахнет землей. Стихи о Петербурге разбудили самых ленивых…»

Вспомним начало «Медного всадника»:

Боготворимый Гунн!
В порфире Мономаха.
Всепобеждающего страха
Исполненный чугун.

Противиться не смею:
Опять – удар хлыста;
Опять – копыта на уста
Раздавленному змею!

Не очень понятные стихи, но для чего-то дана была стихам Ларисы звонкая энергия.

«Последние строки поэмы были покрыты аплодисментами. Ленивый меценат, колебля толстый живот между коротких рук, бил друг о дружку розовыми ладонями и оглянулся на нескольких вполне корректных молодых людей, зависящих от его пособий. Они присоединили свои хлопки вяло, но демонстративно. Живописцы, не слышавшие ничего, но верные красоте, с радостью принесли свою лепту. Хозяин кабачка, видя общее движение, постарался поднять его до такой степени, когда за хорошее вино платят не считая и начинаются крылатые и неожиданные споры… Но каста поэтов, строго подобранный цех, недоступный влияниям минуты, связанный общими вкусами, – цех колебался… Полный отвращения Шилейко направился к выходу. Поэзия, пропитанная гарью близкого социального пожара, причинила ему чисто физическую боль. И за ним жрецы чистого искусства опустили между собой и сценой непроницаемый занавес, их невысказанное порицание пахнуло в горячее лицо Ариадны сквозняком и серым туманом.

Высоко над толпой сидел Гафиз и улыбался. И хуже нельзя было сделать: он одобрил ее как красивую девушку, но совершенно бездарную. Дама с ним рядом, счастливая возлюбленная поэта, выразила сожаление.

В течение вечера, проходя между столиков своей простой

походкой, Ариадна нашла нескольких отщепенцев, несколько колоколов с трещиной, через которую течет благовест горя и одиночества, несколько молодых поэтов и художников, и просила их о сотрудничестве».

Из откликнувшихся был Осип Мандельштам. Если он не ошибся, поставив 1913 год под своим «Мадригалом», посвященным Ларисе, то он знал ее уже давно. Но, может быть, Мандельштам перепосвятил это стихотворение? Оно опубликовано в седьмом номере «Рудина», а это уже 1916 год. В восьмом номере опубликовано еще одно его стихотворение – «Уничтожает пламень сухую жизнь мою…», написанное в 1915 году.

МАДРИГАЛ
Нет, не поднять волшебного фрегата:
Вся комната в табачной синеве —
И пред людьми русалка виновата —
Зеленоглазая, в морской траве!

Она курить, конечно, не умеет,
Горячим пеплом губы обожгла
И не заметила, что платье тлеет —
Зеленый шелк, и на полу зола…

Так моряки в прохладе изумрудной
Ни чубуков, ни трубок не нашли.
Ведь и дышать им научиться трудно
Сухим и горьким воздухом земли!

Беглый календарь гумилёвских дней и романов: 1915–1916

Когда я был влюблен (а я влюблен Всегда – в поэму, женщину иль запах)…

Н. Гумилёв

Допустим, что знакомство Ларисы и Гумилёва состоялось в «Бродячей собаке» в конце января 1915 года. Почти весь февраль поэт был на фронте. В начале марта он заболел (воспаление почек), и его в бреду снимают с санитарного поезда и помещают в лазарет деятелей искусства на Введенской улице, дом 1, где он пролежал два месяца. Врачи уже не в первый раз признали его негодным к воинской службе, но он выпросил переосвидетельствование и признание годным и уехал-таки на фронт. За июльский бой Гумилёв был представлен ко второму Георгиевскому кресту 3-й степени.

В конце лета он получил передышку на несколько дней. Биограф поэта П. Лукницкий пишет: «Много людей жаждет его видеть, вопрос у всех один, как там на войне? И Гумилёв рассказывает – о крови, о бессмысленности убийства, о человеческом терпении, о беззащитности людей перед судьбой. Он вспоминает чью-то понравившуюся ему мысль о том, что главная опасность всех народолюбивых ораторских выступлений в том, что они создают у народов впечатление, будто ради спасения мира что-то делается. А что сделано на самом деле? Ровным счетом ничего».

В сентябре 1915 года Гумилёв приехал в Петроград, ожидая перевода в 5-й Александрийский гусарский полк. Организовал собрания – хотел объединить литературную молодежь, надеялся, что эти собрания в какой-то степени заменят распавшийся перед войной Цех поэтов. Несколько раз Гумилёв посетил заседания кружка К. Случевского. На одном из них познакомился и подружился с переводчицей, начинающей поэтессой Марией Левберг. Прочитав сборник ее стихов «Лунный странник», сказал: «Стихи ваши обличают вашу поэтическую неопытность. В них есть почти все модернистские клише… Материал для стихов есть: это – энергия солнца в соединении с мечтательностью, способность видеть и слышать и какая-то строгая и спокойная грусть, отнюдь

не похожая на печаль».

Марии Левберг Гумилёв посвятил два или три стихотворения. Но о ней сведения – это дальнее приближение к Ларисе Рейснер. А вот ближнее – Маргарита Марьяновна Тумповская, поэтесса, критик, переводчица, она успеет стать возлюбленной Гумилёва. Родилась Тумповская в 1891 году. Была убежденной антропософкой. Воспоминания о ней оставила Ольга Мочалова (подруга Гумилёва в июне 1916-го и в июле 1920 года): «Серые глаза, выразительные губы, черные волосы. Тихий голос, ленинградская воспитанность, неулыбчивая серьезность… Маргарита казалась созданной для углубленных, созерцательных настроений и поисков, для молитвенных жертвоприношений».

Обе возлюбленные поэта подружатся, и Мочалова запишет рассказ Тумповской о ее романе:

«– Он полюбил меня, думая, что я – полька, но узнав о моем еврействе, не имел [ничего] против… Когда, наконец, добиваться уж больше было нечего, он облегченно вздохнул – „надоело ухаживать!“. Ведь его взгляды на женщину были очень банальны. Покорность, счастливый смех. Он действительно говорил, что – „быть поэтом женщине – нелепость“. Был случай, когда я задумала с ним разойтись и написала ему прощальное, разрывное письмо. Он находился тогда в госпитале, болел воспалением легких. Несмотря на запрет врача, приехал ко мне тотчас, подвергая себя опасности любого обострения…

На литературных вечерах, где мы с Н. С. бывали, он ухаживал одновременно и за Ларисой Рейснер. Уходил под руку то со мной, то с ней. Лариса Рейснер была одной из тех революционерок, которые кладут голову на гильотину, картинно позируя».

Маргарита Тумповская написала одну из самых глубоких рецензий на книгу Гумилёва «Колчан», которая вышла в январе 1916 года:

«Нельзя не чувствовать, что по своему внутреннему характеру поэзия Гумилёва должна быть „большим искусством“… Стихи „Колчана“ – еще не создание творчества; они – запечатление творческого процесса. Стихи иногда прекрасны, но хаотичны, и нам еще приходится их разгадывать… Постараемся раскрыть и запечатлеть метафизическую сущность „Колчана“… Поэту свойственно мир внешний воспринимать не мыслью, не чувством, а ощущениями… Он просто говорит о своих видениях, не углубляя их, не превращая в символ и толкуя… Стихийная воля мира помогает поэту отыскать в нем свое лицо…

Необычным и сложным путем приходит творчество Гумилёва к тому спокойствию и тому единству, которое отмечает собой законченное в искусстве. Он находит их, двигаясь и в движении».

Почти всю зиму 1915/16 года поэт провел в Петрограде. Он много читал. Часто бывал в церкви – всегда один. «У человека есть свойство все приводить к единству, – заметил однажды Гумилёв, – по большей части он приходит этим путем к Богу».

На фронте Николай Гумилёв вел дневник, который публиковался в «Биржевых ведомостях» в 1915 году как «Записки кавалериста». Однажды опасность смерти была особенно велика, когда Гумилёву пришлось скакать прямо на немцев. «Мне были ясно видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий, пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Этот звук выделялся каким-то дискантом среди остальных. Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу. Я выхватил шашку, они замялись. Может быть, они просто побоялись, что их подстрелят их же товарищи. Все это в минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, осознал же много позже. Тогда я только придержал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по миновению опасности».

Возможно, после этого чудесного спасения Николай Гумилёв и стал часто ходить в церковь, креститься на все храмы, встречаемые по дороге.

Весной 1916 года он вновь простудился, заболел бронхитом, врачи обнаружили процесс в легком. Лечился в лазарете в Царском Селе и продолжал приезжать в Петроград. В это время В. М. Жирмунский познакомил Николая Степановича в Тенишевском училище на лекции Брюсова об армянской поэзии с Анной Николаевной Энгельгардт, а она представила ему свою подругу Ольгу Николаевну Арбенину. За обеими он стал ухаживать.

Анна Энгельгардт (1895–1942) в то время работала сестрой милосердия. Ольга Арбенина (1897–1980), дочь артиста Александрийского театра, в дальнейшем станет актрисой, затем художником-акварелистом, мастером оригинального колорита. На выставках будет участвовать под фамилией мужа – Гильдебрандт. Останется красавицей до конца жизни. В молодости, кроме Гумилёва, в нее был влюблен и Осип Мандельштам.

Получается, что весной 1916 года у Гумилёва образуется почти гарем. Тумповская, зная о Ларисе Рейснер, отходит от Гумилёва. На «освободившееся место» сразу появляются еще две кандидатки.

Из дневника Ольги Арбениной: «В антракте, проходя одна по выходу в фойе, я в испуге увидела совершенно дикое выражение восхищения на очень некрасивом лице». «Бешеные натиски

влюбленного Гумилёва было трудно выдерживать», – пишет Арбенина. Ей это удалось, Ане Энгельгардт – нет. Об этом догадалась Ольга и отстранилась от поэта до 1920 года, когда Николай Степанович отослал Аню, ставшую его второй женой, с годовалой дочкой Леной к матери в Бежецк.

Таким образом, с осени 1916-го по весну 1917 года, до отъезда Гумилёва в Лондон, у него были два одновременных романа. Ни Анна Энгельгарт, ни Лариса Рейснер друг о друге долго не знали. Осип Мандельштам, влюбившись в Ольгу Арбенину в конце 1920 года, говорит ей о «неверности и донжуанстве» Гумилёва. А Николай Степанович сказал на это Ольге: «Я отвечу за это кровью». Из дневника Ольги Арбениной: «Стихи Ахматовой о нем: „Все равно, что ты наглый и злой… Все равно, что ты любишь других…“ Наглый? Боже сохрани! Никогда! Злой? В те месяцы 20-го года? Никогда. Вот врать и сочинять он любил».

В Гумилёва влюблялось много женщин. Что же в поэте так мгновенно действовало на них, таких разных? Правда, все они или писали стихи, или очень любили поэзию. Первое известное стихотворение было написано влюбленным Гумилёвым в альбом гимназистке, когда он учился в Тифлисской гимназии и ему было 14 лет. Последней его влюбленностью была Нина Берберова, с которой он, судя по ее воспоминаниям, встречался в конце июля – начале августа 1921 года. Гумилёв мгновенно увлекался, быстро остывал.

«Когда я пишу стихи, горит только часть моего мозга, когда я влюблен, горю весь. Вы не знаете, как много может дать страстная близость», – записала его признание Ольга Мочалова.

С детства Николай Степанович во всех увлечениях всегда хотел быть первым, самым смелым. Жаждал максимально насыщенной жизни. Воспитывал железную волю. Волей исправлял недостатки в себе и даже внешность. Увлекался живописью, учился не только рисовать, но и брал уроки музыки. Из художников Александра Иванова считал гениальным, за ним, по его иерархии, следовал Николай Рерих. В то время Гумилёв считал, что его поколению предстоит разрабатывать неизведанные пространства Духа, намеченные Рерихом.

Признавался Валерии Сергеевне Срезневской, подруге Анны Ахматовой, что настоящий мужчина – полигамен, настоящая женщина – моногамна. Валерия Сергеевна поинтересовалась: «А вы встречали такую?» – «Нет. Но думаю, что она есть».

Валерия Срезневская дружила с Анной Ахматовой и Николаем Гумилёвым с гимназических пор и всю жизнь. И ее воспоминания, как и дневники Ольги Арбениной, как и мемуары

Ирины Одоевцевой, представляются наиболее точными.

Аню Горенко (будущую Ахматову) с Колей Гумилёвым познакомила именно Валерия Срезневская. Она писала:

«Он не был красив, – в этот ранний период он был несколько деревянным, высокомерным с виду и очень неуверенным в себе внутри… Роста высокого, худощав, с очень красивыми руками, несколько удлиненным бледным лицом… Позже, возмужав и пройдя суровую кавалерийскую военную школу… подтянулся и, благодаря своей превосходной длинноногой фигуре и широким плечам, был очень приятен и даже интересен, особенно в мундире. А улыбка и несколько насмешливый, но милый и не дерзкий взгляд больших, пристальных, чуть косящих глаз нравился многим и многим. Говорил он чуть нараспев, нетвердо выговаривая „р“ и „л“, что придавало его говору совсем не уродливое своеобразие, отнюдь не похожее на косноязычие <…>

Конечно, они были слишком свободными и большими людьми, чтобы стать парой воркующих «сизых голубков». Их отношения были скорее тайным единоборством <…>

У Ахматовой большая и сложная жизнь сердца… Но Николай Степанович, отец ее единственного ребенка, занимает в жизни ее сердца скромное место <…>

Могу сказать еще то, что знаю очень хорошо: Гумилёв был нежным и любящим сыном, любимцем своей умной и властной матери. <…>

Не знаю, как называют поэты или писатели такое единоборство между мужчиной и женщиной… Если это «любовь», то как она не похожа на то, что обычно описывают так тщательно большие сердцеведы… И даже Тютчев, который… описывал женские чувства, как свои собственные настроения и эмоции. У него была холодная душа и горячее воображение. И у Гумилёва, пожалуй, во многом было тоже что-то от пылкого воображения. Ему не хотелось иметь… просто спокойную, милую, скромную жену…»

Многие друзья Николая Гумилёва – Михаил Лозинский, Сергей Ауслендер – быстро поняли, что все его странности и самый вид денди – внешнее. С ними, близкими друзьями, он был прост и нежен. Сергей Маковский отметил, что сквозь гумилёвскую гордыню чувствовалась его интуиция, быстрота, с какой он схватывал чужую мысль, быстро осваивал и отыскивал слова, бьющие в цель. Николай Оцуп называл Гумилёва ребенком и мудрецом. Надежда Войтинская, художница, написавшая в 1909–1910 годах портрет Гумилёва, вспоминала: «Он не любил болтать, беседовать, все преподносил в виде готовых сентенций, поэтических образов… У него была манера живописать».

Надо сказать, что женщины, любившие Гумилёва, за редким исключением, не обижались на него за обман и разрыв, не обижались и на своих «соперниц». И всю последующую жизнь были ему благодарны, некоторые годами после смерти Николая Степановича видели его во сне. В их воспоминаниях встречались слова: невозможная, сияющая нежность. Пристальное, нежное внимание поэта выпадает в жизни не так уж часто.

В большинстве своем подруги Гумилёва были его круга, с интеллектуальным кругозором и творческими способностями. Некоторые чувствовали в его стихах великого поэта-мыслителя:

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей – мгновенна и убога.
Но все в себя вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

(«Фра Беато Анджелико»)

Первые беседы Гумилёва и Рейснер

И, может быть, более других это чувствовала Анна Ахматова: «Гумилёв – поэт еще не прочитанный. Визионер и пророк. Чувство непонятной связи, ничего общего не имеющей ни с влюбленностью, ни с брачными отношениями… заставило меня в течение нескольких лет (1925–1930) заниматься собиранием и обработкой материалов по наследию Гумилёва. Этого не делали ни друзья (Лозинский), ни вдова, ни сын, когда вырос, ни так называемые ученики. Три раза в одни сутки я видела Н. С. во сне и он просил меня об этом… Я совершила по этой поэзии долгий и страшный путь и со светильником и в полной темноте, с уверенностью лунатика шагая по самому краю. Я знаю главные темы Гумилёва. И главное – его тайнопись… И поэзия, и любовь были для Гумилёва всегда трагедией. Оттого и „Волшебная скрипка“ перерастает в „Гондлу“… А война была для него эпосом, Гомером. И когда он шел в тюрьму, то взял с собой „Илиаду“. А путешествия были вообще превыше всего и лекарством от всех недугов. И все же и в них он как будто теряет веру (временно, конечно). Сколько раз он говорил о той „золотой двери“, которая должна открыться перед ним, гдето в недрах его блужданий, а когда вернулся в 1913 году, признался, что „золотой двери“ нет. Это было страшным ударом для него (см. „Пятистопные ямбы“)… По моему глубокому убеждению, Гумилёв – поэт еще не прочитанный и по какому-то странному недоразумению оставшийся автором „Капитанов“, которых он сам, к слову сказать, ненавидел».

Однако вернемся в май 1916 года. Николай Степанович провожал Ларису с литературных вечеров, может быть, выставок. Театры он не любил в отличие от Ларисы. Зачем понадобилась их встреча, отнюдь не мимолетная, хоть и похожая на множество других романов Гумилёва? О чем они могли говорить, в чем открывать общее, приглядываться к разным, возможно, полярным идеям, целям?

О детстве, о кронштадтских плаваниях его отца, корабельного врача, вокруг света, о собственных путешествиях. «В жизни у меня пока три заслуги – мои стихи, мои путешествия и эта война. Из них последнюю, которую я ценю меньше всего, с досадной настойчивостью муссирует всё, что есть лучшего в Петербурге. Я не говорю о стихах, они не очень хорошие, и меня хвалят за них больше, чем я заслуживаю, мне досадно за Африку. Когда 1,5 года назад я вернулся из страны Галла, никто не имел терпения выслушать мои впечатления и приключения до конца», –

признавался он в письме Михаилу Лозинскому.

Путешествовать Лариса и сама любила до страсти. В этом они родня с Гумилёвым. Оба искали пограничных условий существования человека, оба нетерпеливо рвались в бой. «На войне, – говорил Гумилёв, – мне физически трудно, но духовно – хорошо в освободительной войне»:

И счастием душа обожжена
С тех самых пор, веселием полна,
И ясностью, и мудростью, о Боге
Со звездами беседует она,
Глас Бога слышит в воинской тревоге.
И Божьими зовет свои дороги.

Оба – пассионарии, вокруг которых всегда легенды. Властно умели усмирить бунт, брожение толпы, подчинить своей магии слушателей. У обоих врожденная мятежность при внешнем каменном спокойствии – перед лицом опасности, как и педагогические способности.

У обоих любовь к живописи, они работают со словом, как с кистью. Яркая, часто чрезмерная образность. Гумилёв особенно любил плоскую орнаментальную персидскую миниатюру. И Лариса разделяла это пристрастие.

Оба при всем их щедром даре общения никогда не раскрывали самого сокровенного. Оба носили самозащитные странные маски, но среди близких были просты, как дети, и ласковы. У обоих острая манера речи: у Гумилёва – ироничная, у Ларисы – язвительная, доходящая до сарказма. У обоих надменно-холодноватое выражение лица.

У Гумилёва так и не состоялась, не раскрылась главная его любовь, но «мертвое сердце» Ларисы он оживил. И сделал это в наиполнейшей мере. Вообще все, за что он брался, делал на высшем уровне. Организовывал путешествия, литературные студии, сообщества, собирал коллекции, добивался быстрого начальственного решения проблем. Даже создал собственное литературное направление – акмеизм и Цех поэтов.

Оба играли в теннис, катались на лыжах. У обоих – жажда жизни, ненависть к монотонному ее течению. И общее понятие – «лебединая отчизна».

О Гумилёве отзывались без всякого упрека, даже признавая, что он враль и сочинитель. А Лариса ответила на вопрос анкеты, в чем ее отличительная особенность, так: «Сочиняя, говорю правду, и обманываю, говоря правду».

Оба относились к мистике и богоискательству настороженно,

но хотели, по словам Гумилёва: «Чтоб стал прямее и короче / Мой путь к Престолу Вышних Сил».

«Догматы Священного Писания обсуждать нельзя, – говорил Николай Гумилёв. – Я боюсь всякой мистики, боюсь устремлений к иным мирам, потому что не хочу выдавать читателям векселя, по которым расплачиваться буду не я, а какая-то неведомая сила».

Майский, 1916 года, номер рейснеровского журнала «Рудин» оказался последним. Издательская тема тоже для них общая. Николай Степанович в 1907 году в Париже, куда он уехал после окончания гимназии учиться в Сорбонну, начал издавать журнал «Сириус», где и рассказы, и стихи в основном были гумилёвские. В этом журнале он впервые напечатал стихи Анны Горенко.

Знакомые Николая Гумилёва отмечали его странную, болезненную привязанность к созерцанию хищных зверей. Он часто бывал в зоологических музеях. В зверином бытии, в красоте хищников он провидел переходные формы. А Лариса хотела бы родиться большим северным волком, судя по ответу на анкетный вопрос: «Если бы Вы были не Вы, кем бы хотели родиться?» Свое пристрастие Гумилёв объяснял так: «Когда хищный зверь погибает, его убивают, он теряет хищное звериное начало и приобретает человеческие черты (догреховного райского облика). В человеке и звере – единый порок существует, плотская греховность, освобождение от которого – только в казни. Искупается грех таким образом просто, хорошо и совсем не больно». В «Африканской охоте» Гумилёва много натуралистических кровавых сцен убийства и агонии животных. С. Маковский писал про эту странную черту в Гумилёве: «Есть что-то безблагодатное в его творчестве. От света серафических высот его безотчетно тянет к стихийной жестокости творения – к насилию, крови, ужасу, гибели».

О своей студенческой жизни в Париже Николай Степанович мог рассказывать Ларисе, как много рассказывал художнице Ольге Кардовской, которая работала над его портретом в ноябре 1908 года в Царском Селе. Она записала его рассказ о попытке вместе с несколькими студентами увидеть дьявола: «Для этого нужно пройти через ряд испытаний – читать каббалистические книги, ничего не есть в продолжение нескольких дней, а затем в назначенный вечер выпить какой-то напиток. Все товарищи очень быстро бросили эту затею. Лишь один Николай Степанович проделал все до конца и действительно видел в полутемной комнате какую-то смутную фигуру. Нам эти рассказы казались очень забавными и чисто гимназическими».

В Париже у Гумилёва бурно развилась депрессия – по меньшей мере два раза он покушался на самоубийство. Николай

Степанович говорил про себя, что в этом мире он чувствует себя гостем. Ему легче всего было в Африке, даже обыденная жизнь там ему нравилась:

И вдруг простершейся в пыли
Душе откроет твердь
Раздумья вещие земли,
Рождение и смерть.

К тому же Эфиопия, куда ездил Николай Степанович, – прародина Пушкина, множество стихов которого он знал наизусть, а также единственная христианская страна в Африке. И она влекла его разгадкой происхождения человечества, его древнейших цивилизаций, сокровенных знаний.

Но политикой, как Лариса, Николай Степанович не увлекался. Только когда ему было лет 16, он читал «Капитал» и пробовал в деревне на летних каникулах вести агитацию, потому что в Тифлисе, где Гумилёвы тогда жили, молодежь тоже была увлечена революционными идеями. Газет он не читал. «К сожалению, – сетовала Лариса в письме французскому дипломату Скарпа в 1922 году, – „русский парнасец“ ничего не понимал в политике».

Встречи, беседы с Ларисой прервутся ненадолго, когда Николай Степанович уедет в ялтинский санаторий, приблизительно 10 июня. Вернется 14 июля с лучшей своей драматической поэмой «Гондла». Он читал ее в редакции «Аполлона» Маковскому и Лозинскому. А до этого читал ее Карсавиной и Тумповской. Где же была Лариса? А Лариса напишет большую статью о «Гондле» в конце 1916 года.

И несмотря на то, что и Ольге Арбениной, и Анне Энгельгардт Гумилёв говорил, что эту поэму посвятил именно ей, имя главной героини – Лери, Лера. Это имя придумал для Ларисы автор. Больше ее так никто не называл. А еще Николай Степанович говорил, что не признает два романа одновременно. Сочинять он, и правда, любил.

Перед «Гондлой» зимой 1915/16 года Гумилёв писал пьесу «Дитя Аллаха» по заказу недавно открывшегося театра марионеток П. П. Сазонова и Ю. Л. Слонимской в особняке Гауша на Английской набережной. Не дожидаясь постановки (она так и не осуществилась), Гумилёв 19 марта 1916 года читал «Дитя Аллаха» публично в Обществе ревнителей художественного слова при редакции журнала «Аполлон». Оформить спектакль взялся Павел Кузнецов. Эскизы сохранились. Пьеса о любви, вернее, о невозможности той любви, о которой грезит человек. Герой пьесы

– Гафиз, этим именем Лариса звала Николая Степановича.

Такого соединения двух больших эпических произведений о любви, написанных одно за другим и благодаря знакомству с Ларисой, больше не повторялось. Так вольно или невольно творческая жизнь Гумилёва повернулась в это время к Ларисе Рейснер. О том, что занимало тогда Гумилёва и вылилось в «Гондлу», он поделится в статье «Читатель», написанной во время его работы над теорией стихосложения в 1920 году:

«Поэзия и религия – две стороны одной и той же монеты. И та и другая требуют от человека духовной работы. Но не во имя практической цели, как этика и эстетика, а во имя высшей, неизвестной им самим». Думается, Николай Степанович раскрывал Ларисе свое стремление к симфонии религии и искусства, которое воплотилось в замысле «Гондлы». Он считал, что высшая стадия в искусстве начинается тогда, когда появляется стойкое сознательное движение в сторону религии: «Только тогда и должно писать. И обязательно появится читатель-друг, который будет так вчитываться, как будто он сам создает произведение вместе с автором».

Глуховатым, слегка тянущим слова голосом, в замедленном, веском тоне, то есть в своей обычной манере говорить, Николай Степанович делился со своей спутницей мыслями: «Поэт, понявший „трав неясный запах“, хочет, чтобы то же стал чувствовать и читатель. Ему надо, чтобы всем „была звездная книга ясна“ и „с ним говорила морская волна“. Поэтому поэт в минуты творчества должен быть обладателем какого-нибудь ощущения, до него не осознанного и ценного… Ему кажется, что он говорит свое последнее и самое главное, без познания чего не стоило на земле и рождаться».

Владислав Ходасевич в книге «Державин» тоже приоткрыл похожие стороны творческого состояния: «В жизни каждого поэта бывает минута, когда полусознанием, полуощущением (но безошибочным) он вдруг постигает в себе строй образов, мыслей, чувств, звуков, связанных так, как дотоле они не связывались ни в ком. Эта минута неизъяснима и трепетна как зачатие».

И Лариса могла поделиться с Гумилёвым своими необычными мгновениями, которые вели к откровению. В Москве, куда Лариса ездила по делам распространения журнала, чтобы скоротать время до обратного поезда, она зашла в кинотеатр. Произошедшее там она сохранила в автобиографическом романе:

«Когда в наступившей темноте замелькала белая пленка кинематографа, Ариадна широко и радостно вздохнула: точно ее корабль вышел в море и сзади потухли последние огни. А музыка все играла в темноте, громкая, бессмысленно радостная и

бархатная. Упиваясь зрелищем какой-то нелепой сцены, свежестью и брызгами океана, состоящего из ложного света и ложной тени… Ариадна забыла себя, свой дом и восьмичасовой поезд. Все было в ней: и глубочайшая темнота этой залы, и грузный балкон, нависший над креслами косым, безобразным и величественным углом, и лживые, голые украшения стен, и живые глыбы всех тел, прижатых в темноте друг к другу, и, наконец, напряженный, магический, безмерно чужой всему человеческому и телесному, голубой столб света, наискось прорезающий невыносимые сумерки испарений. Столб небесного огня, яркий, прямой и холодный, как зимняя луна. Никогда еще Ариадна так не чувствовала всей темноты и сияния, спрятанного в ее крови. Они вдруг оба проснулись… У людей, живущих чисто интеллектуальными интересами, немое пробуждение духа заменяет собой животную весну. Как гроза без грома и освежающих дождей, оно проносится над темными полями души, рушит и живит, но только отвлеченные понятия, только идеи, живущие и воюющие в своем безвоздушном, в своем несуществующем и все же божественном реальном небе.

Ариадна сидела на своем месте совсем разбитая, слабая и потерянная. Было ей точно в детстве, в церкви, когда вдруг среди дыма и мерцаний одним, всегда страшным толчком открываются золотые ворота, из-за них является будущее в бесконечном отдалении и глухая дорога, на минуту озаренная экстатическими, отвесными лучами… Ей понадобилось полтора часа на то, чтобы… далеко уйти от своего вчера, чуть не забыть сегодня, едва не погрузиться в крутящуюся воронку совершенно новой и неизвестно куда текущей жизни».

Одну из возможных тем Николая Степановича и Ларисы отразила в письме Валерию Брюсову Зинаида Гиппиус (описывая, как юный Гумилёв по рекомендации Брюсова, своего учителя, пришел к ней и Мережковскому, знакомиться):

«Какая ведьма сопряла вас с ним? Мы прямо пали. 20 лет, … сентенции – старые, нюхает эфир (спохватился!) и говорит, что он один может изменить мир.

– До меня были попытки. Но неудачные. Будда, Христос».

Пути молодых поэтов нередко начинаются с бездн. Из самых страшных, к счастью, Николай Гумилёв выскочил. И следовал своему девизу: «Будь, как Бог: иди, плыви, лети!» Движение он выделял в мистическом значении; оно связывало в нечто целое разнородные противоположности.

С 19 августа Николай Степанович вновь был в Петрограде, где до 25 октября сдавал 15 экзаменов на получение офицерского чина – корнета. Не сдал и остался прапорщиком. Ему не хватило

времени или терпения дождаться возможности встретиться с Ларисой, и он посылает по почте посвященное ей стихотворение, датированное 23 сентября (1916). Письмо ушло из комнаты, которую он снял в квартире 14 дома 31 по Литейному проспекту, на Большую Зеленину. На конверте надпись: «Ее высокородию Ларисе Михайловне Рейснер».

Если не ошибаюсь, стихи, обращенные к возлюбленной, которые нельзя перепосвятить другим, Гумилёв писал только Ахматовой. В отличие от серьезных «ахматовских» стихов, в этом – игра:

Что я прочел? Вам скучно, Лери,
И под столом лежит Сократ,
Томитесь Вы по древней вере?
– Какой отличный маскарад!
Вот я в своей каморке тесной
Над Вашим радуюсь письмом.
Как шапка Фауста прелестна
Над милым девичьим лицом.
Я был у Вас совсем влюбленный,
Ушел, сжимаясь от тоски.
Ужасней шашки занесенной
Жест отстраняющей руки.
Но сохранил воспоминанье
О дивных и тревожных днях,
Мое пугливое мечтанье
О Ваших сладостных глазах.
Ужель опять я их увижу,
Замру от боли и любви,
И к ним, сияющим, приближу
Татарские глаза мои?!
И вновь начнутся наши встречи,
Блужданья ночью наугад,
И наши озорные речи,
И Острова, и Летний сад?!
Но, ах, могу ль я быть не хмурым,
Могу ль сомненья подавить?
Ведь меланхолия амуром
Хорошим вряд ли может быть.
И верно, день застал, серея,
Сократа снова на столе.
Зато «Эмали и камеи»
С «Колчаном» в самой пыльной мгле.
Так Вы, похожая на кошку,

Ночному молвили: «Прощай!»
И мчит Вас в Психоневроложку,
Гудя и прыгая, трамвай.

«Эмали и камеи» – книга французского поэта Теофиля Готье, переведенная Н. Гумилёвым в 1912 году, «Колчан» – его собственный сборник.

Глава 18
НА КОВРЕ-САМОЛЕТЕ

Но идешь ты к раю По моей мольбе.
Это так, я знаю, Я клянусь тебе.

Н. Гумилёв. Утешение

В доме 31 на Литейном проспекте, где на два месяца поселился Николай Степанович, когда сдавал экзамены, в квартире 12 жила Мария Попова, дочь Александра Бенуа. Ее имя фигурировало в деле Гумилёва и так называемой «Петроградской боевой организации» (об этом сообщил в 2003 году в серии радиопередач «Безымянные дома» В. Недошивин).

Как у Гумилёва хватало сил, внимания на такую прорву знакомств и более близких связей?! Ирина Одоевцева видела однажды, как, придя домой на Преображенскую улицу (дом 5, квартира 2), он упал в единственное приличное зеленое кресло совершенно обессиленный, бледный. Чтобы не смущать его, Одоевцева принялась рассматривать книги на полках. Через короткое время Гумилёв уже был на ногах. Он мог жить только в эпицентре событий и среди людей. Осип Мандельштам тоже не терпел одиночества и забывал о нем только тогда, когда рождались стихи. Может быть, в непереносимости одиночества кроется одна из причин мощной работоспособности Гумилёва? К тому же он поражал всех изумительной памятью, с ходу запоминал тексты страницами. Но офицерских экзаменов, однако, не сдал. Когда ему было готовиться, имея нескольких возлюбленных, участвуя в калейдоскопе событий поэтической жизни, работая над теорией стихосложения, «интегральной поэтикой»? Творческая и любовная энергия, по сути, одна и та же.

До отъезда на фронт оставался еще месяц, встречи с Ларисой продолжались.

Продолжение бесед

Мы должны расширить границы нашего сердца, постоянно вслушиваясь в его голос.

В. Налимов, философ и ученый

О Ларисе Рейснер этого времени оставил записки писатель Лев Вениаминович Никулин, публиковавший стихи в «Рудине». Когда Лариса бывала в Москве, он сопровождал ее по всем учреждениям. Никулин был поражен ее красотой и странным контрастом между музыкальным, нежным голосом, мелодичным, девичьим, хрустальным смехом, сияющими глазами и – резкостью суждений: «Лариса Рейснер рассуждала, действовала, не поддаваясь эмоциям, а обдуманно, хотя смело и решительно – у нее был мужской склад ума. Выражалась она тоже по-мужски, даже грубовато: „Неужели вам нравится эта дрянь?“ или „Боже мой, это действительно преодоленная бездарность“. Хотя иногда была склонна к сентиментальности». Лев Никулин пишет о том, как они были в гостях в доме одного известного виртуоза-скрипача, которого Лариса не раз слушала в концерте и очень хотела с ним познакомиться. «Но она так смело, по-дилетантски, правда, судила о серьезной музыке, что хозяин резко прекратил разговор. И он и гостья очень не понравились друг другу».

И Николаю Гумилёву, и Ларисе Рейснер были присущи некоторая театральность поведения, скрывающая болезненное самолюбие, и в то же время доверчивость – доверчивость творческих людей, искренних с собеседником, который им нравится. Была в Гумилёве и необычная странность, которую отмечали все встречавшие его люди, но затруднялись объяснить эту странность: внутреннее спокойствие и уверенность, производящие впечатление колоссальной силы, собранности и воли, неумолимо подчиняющие собеседника даже против желания Гумилёва.

В поэте две взаимодополняющие крайности: нежность и огонь. И еще – внутреннее спокойствие и сила веры.

У Ларисы тоже есть образы светящейся нежности.

«– Где бы вы хотели жить?» – «На ковре-самолете», – ответит Лариса. А Николай Гумилёв писал:

И будут как встарь поэты

Вести людей к высоте.
Как ангел водит кометы
К неведомой им мете.

Вот и несло влюбленных «к неведомой им мете». Гумилёв:

Так не умею думать я о смерти,
И всё мне грезятся, как бы во сне,
Те женщины, которые бессмертье
Моей души доказывают мне.

Думается, в Ларисе Гумилёва притягивала ее способность придавать беседе скорость мысли, остроту фехтовального поединка. «Беседа с Ларисой, – вспоминал Лев Никулин, – заставляла быть все время настороже, чтобы не быть отброшенным как шелуха». Вполне вероятно, что именно поэтому Гумилёв написал так много писем Ларисе Рейснер, продолжая их беседы, хотя и признавался, что не любит их писать.

Возможно, они говорили о Канте, «Критику чистого разума» любили оба. Гумилёв был хорошо эрудирован в мировых религиозных учениях. И Лариса не могла не знать их, потому что «действительно есть Бог», как напишет она своему Гафизу.

Переписка Рейснер и Гумилёва

В бумагах Ларисы Рейснер сохранился необычный документ – мобилизационное предписание петроградского коменданта, в конце октября 1916 года отправившего Гумилёва на фронт.

Впервые переписка Гумилёва и Рейснер была опубликована в 1980 году в Париже в сборнике Николая Гумилёва «Неизданное». Первое сохранившееся письмо с фронта (из Латвии) Николай Степанович написал 8 ноября 1916 года:

«"Лери, Лери, надменная дева, ты как прежде бежишь от меня". Больше двух недель, как я уехал, а от Вас ни одного письма. Не ленитесь и не забывайте меня так скоро, я этого не заслужил. Я часто скачу по полям, крича навстречу ветру Ваше имя. Снитесь Вы мне почти каждую ночь. И скоро я начинаю писать новую пьесу, причем, если Вы не узнаете в героине себя, я навек брошу литературную деятельность.

О своей жизни я писал Вам в предыдущем письме. Перемен никаких и, кажется, так пройдет зима… Кроме шуток, пишите мне. У меня «Столп и утверждение истины» (сочинение религиозного философа П. А. Флоренского; 1914. – *Г.П.),* долгие часы одиночества, предчувствие надвигающейся творческой грозы. Все это пьянит как вино и склоняет к надменности солипсизма. А это так не акмеистично. Мне непременно нужно ощущать другое существование – яркое и прекрасное. А что Вы прекрасны, – в этом нет сомнения. Моя любовь только освободила меня от, увы, столь частой при нашем образе жизни слепоты.

Здесь тихо и хорошо. По-осеннему пустые поля и кое-где уже покрасневшие от мороза прутья. Знаете ли Вы эти красные зимние прутья? Для меня они – олицетворение всего самого сокровенного в природе. Трава, листья, снег – это только одежды, за которыми природа скрывает себя от нас. И только в такие дни поздней осени, когда ветер, и дождь, и грязь, когда она верит, что никто не заметит ее, она чуть приоткрывает концы своих пальцев, вот эти красные прутья. И я, новый Актеон, смотрю на них с ненасытным томлением.

Лера, правда же, этот путь естественной истории бесконечно более правилен, чем путь естественной психоневрологики. У Вас красивые, ясные, честные глаза, но Вы слепая; прекрасные, юные, резвые ноги и нет крыльев; сильный и изящный ум, но с каким-то странным прорывом посредине. Вы – Дафна, превращенная в Лавр, принцесса, превращенная в статую. Но ничего! Я знаю, что на Мадагаскаре все изменится. И я уже чувствую, как в какой-нибудь теплый вечер, вечер гудящих жуков и загорающихся звезд,

где-нибудь у источника в чаще красных и палисандровых деревьев, Вы мне расскажете такие чудесные вещи, о которых я только смутно догадывался в мои лучшие минуты.

До свидания, Лери, я буду Вам писать.

О моем возвращении я не знаю ничего, но зимой на неделю думаю вырваться.

Целую Ваши милые руки. Ваш Гафиз.

Мой адрес: Действующая армия, 5 гусарский Александрийский полк, 4 эскадрон, прапорщику Гумилёву».

Предыдущее письмо, о котором пишет Гумилёв, не сохранилось.

Письма Ларисы Рейснер, почему-то сохранившиеся в ее архиве (черновики?), иногда не имеют начала и конца. На первом листе начало есть.

«Милый Гафиз, Вы меня разоряете. Если по Каменному дойти до самого моста, до барок и большого городового, который там зевает, то слева будет удивительная игрушечная часовня. И даже не часовня, а две каменные ладони, сложенные вместе, со стеклянными, чудесными просветами. И там не один святой Николай, а целых три. Один складной, а два сами по себе. И монах сам не знает, который влиятельнее. Поэтому свечки ставятся всем, уж заодно.

Милый Гафиз, если у Вас повар, то это уже очень хорошо, но мне трудно Вас забывать. Закопаешь все по порядку, так, что станет ровное место, и вдруг какой-нибудь пустяк, ну, мои старые духи или что-нибудь Ваше – и начинается все сначала, и в историческом порядке.

Завтра вечер поэтов в Университете, будут все Юркуны, которые меня не любят. Много глупых студентов, и профессора, вышедшие из линии обстрела. Вас не будет. Милый Гафиз. Сейчас часов семь, через полчаса я могу быть на Литейном, в такой сырой, трудный, долгий день. Ну вот и довольно. С горя…»

Письмо обрывается на середине фразы. Церковь Иоанна Предтечи на Каменном острове, как и дом 31 на Литейном, стоят и сейчас. Юрий Юркун, друг Михаила Кузмина, затем муж Ольги Арбениной. Почему они не любили Ларису, Бог весть.

Гондла и Лера

Свое первое письмо Николай Гумилёв начинает со строк, вместе с которыми Гондла и Лера впервые появляются в драматической поэме «Гондла». Ни одного конкретного источника «Гондлы» не существует. Пьеса рождена воображением поэта. Ее ритм (трехстопный анапест) не встречается в русской стихотворной драматургии.

Летом 1920 года Гумилёв писал новый вариант начала «Гондлы» для «Всемирной литературы» по просьбе Горького. Корней Чуковский вспоминал, что Гумилёв читал ему пьесу у себя дома на Ивановской улице, погасло электричество, и Гумилёв дочитал поэму до конца по памяти со всеми прозаическими ремарками. Авторская память на стихи – верный признак того, что стихи выстраданы.

Единственная из крупных пьес Николая Гумилёва «Гондла» исполнялась при жизни автора в 1920–1921 годах, потом в начале января 1922 года. Гумилёв видел постановку в Ростове-на-Дону в «Театральной мастерской» летом 1921 года во время стоянки поезда на пути к Черному морю, за два месяца до своей гибели. Гумилёв пришел в восторг. «Я вас здесь не оставлю, переведу в Петроград», – говорил он артистам.

Гондла, из королевского рода христианской Ирландии, воспитывался в языческой Исландии. Он должен был стать королем объединенных стран. Но охотничья, полудикая Исландия не принимала Гондлу: он был слаб, горбат, не воевал, не охотился. К тому же – поэт. Любимая тема Гумилёва: только поэт может помочь людям побороть волчью агрессию, проявить первоистоки человечности, одухотворенности. Гондла различал добрые знаки небес, его увлекало борение стихий, столкновение «дневного» и «ночного» ликов бытия, двойственность в душах людей, полярность людей, связанных одной дорогой.

Конунг Исландии (властитель) выдает замуж по любви знатную девушку Исландии Леру за королевича Гондлу. Но обманом, под покровом темноты, вместо Гондлы Лерой овладевает молодой исландец Лаге:

Ночью кошки и черные серы,
А отважным удачливый путь!

Гондла обращается к Лаге:

Кто ты? Волк ненавистный и злобный
Иль мой собственный страшный двойник?

Лера тоже двоилась на «дневную» и «ночную» «Лаик». Полюса сменялись в острых поворотах диалогов, событий.

Гондле отдан голос автора. Николай Гумилёв рассказывал Ирине Одоевцевой об одном из своих «мистических» состояний-мгновений: «Я всегда смеюсь над Блоком и Белым, что у них многое „несказанно“. А тут и сам испытал это „несказанное“ – иначе назвать не могу. Слияние с поэзией. Будто она во мне и я в ней. Нет, вернее, будто я сам – часть по эзии. На одну минуту мне все стало ясно и понятно. Я все понял, все увидел…»

В такую минуту Гумилёв в своей поэме понял душу Ларисы. Понял ли кто-нибудь глубже? Рядом с такими поэтами, как Гумилёв, резко усиливается «шестое» чувство. И Лариса ответила Гумилёву любовью, как почти все, кого он любил. В поэме события сердца развивались так:

Лера:
Я боюсь, как небесного гнева,
Глаз твоих голубого огня.

Гондла:
Ты боишься? Возможно ли это?
Ведь не ты ли бывала всегда
Весела, как могучее лето,
И вольна, как морская вода?
И не ты ли охоты водила
На своем вороном скакуне
И цветов никогда не дарила,
Никогда, одинокому, мне?

Лера:
Но когда я одна оставалась,
Я так горько рыдала тогда.
Для чего-то слепыми ночами
Уверяла лукавая мгла,
Что не горб у тебя за плечами —
Два серебряно-белых крыла,
И что родина наша не эта
Ненавистная сердцу тюрьма,
А страна, где зеленое лето
Никогда не сменяет зима.
Днем все иначе. Боги неволят

Леру быть и веселой, и злой,
Ликовать, если рубят и колют,
И смеяться над Лаик ночной.

Гондла:
Дорогая, какое безумье,
Огневое безумье любовь!
Где вы, долгие годы раздумья,
Чуть запела горячая кровь!
Что мне гордая Лера дневная
На огромном вспененном коне,
Ты не Лера, ты девочка Лаик,
Одинокая в этой стране.

Значит, правда открылась святым,
Что за бредами в нашей крови
И за миром, миром земным
Есть свободное море любви.

Люди с волчьей душой чуть не затравили Гондлу до смерти. Спасение пришло в последнюю минуту от ирландцев, которые приехали в Исландию за своим выросшим королевичем.

И Лера, в которой слились две крови, «лебединая» и «волчья», согласна стать женой Гондлы для того, чтобы управлять странами на его троне:

Нет, я буду могучей, спокойной,
Рассудительной, честной женой
И царицей, короны достойной,
Над твоею великой страной.
Да, царицей! Ты слабый, ты хилый,
Утомлен и тревожен всегда,
А мои непочатые силы
Королевского ищут труда.
Королевич, поверь, что не хуже
Твоего будет царство мое,
Ведь в Ирландии сильные мужи,
И в руках их могучих копье.
Я приду к ним, как лебедь кровавый,
Напою их бессмертным вином
Боевой ослепительной славы
И заставлю мечтать об одном,
Чтобы кровь пламенела повсюду,
Чтобы села вставали в огне…

Я сама, как валкирия, буду
Перед строем летать на коне.

Гондла:
Лера! Нет… что сказать ты хотела?
Вспомни, лебеди верят в Христа…
Горе, если для черного дела
Лебединая кровь пролита.

Лера:
Там увидим.

Но торжество поэта во главе объединенных государств – коротко. Исландцы не хотят христианского крещения, не хотят предавать старых богов. И Лера тоже. Тогда Гондла принимает крестное мучение, чтобы спасти звериные души, – закалывает себя кинжалом.

Я не видел, чтоб так умирали
В час, когда было все торжеством.
Наши боги поспорят едва ли
С покоряющим смерть божеством, —

говорят потрясенные исландцы и почти все принимают крещение от вождя ирландцев. Лера отказывается от крещения, ее следующий выбор в жизни становится эпилогом драмы.

Только Гондлу я в жизни любила,
Только Гондла окрестит меня.

Вы знаете сами,
Смерти нет в небесах голубых,
В небесах снеговыми губами
Он коснется до жарких моих.
Он – жених мой, и нежный и страстный,
Брат, склонивший задумчиво взор,
Он – король величавый и властный,
Белый лебедь родимых озер.
Да, он мой, ненавистный, любимый,
Мне сказавший однажды: люблю! —
Люди, лебеди иль серафимы,
Приведите к утесам ладью.
Труп сложите в нее осторожно,

Легкий парус надуется сам,
Нас дорогой помчав невозможной
По ночным и широким волнам.
Я одна с королевичем сяду,
И руля я не брошу, пока
Хлещет ветер морскую громаду
И по небу плывут облака.
Так уйдем мы от смерти, от жизни.
– Брат мой, слышишь ли речи мои? —
К неземной, к лебединой отчизне
По свободному морю любви.

В мятежных натурах Ларисы Рейснер и Леры намешано много страстных противоречивых стремлений. Гумилёв увидел и это, и великую эпическую силу духа и не усомнился в их героизме, в невозможности для них компромиссов и предательств.

Северный Гафиз

Именем Гафиз Николай Степанович подписывал свои письма к Ларисе, а она так обращалась к нему. Пери и Гафиз – персонажи пьесы Гумилёва «Дитя Аллаха».

За любовь божественной Пери, спустившейся с небес, чтобы узнать любовь с лучшим из сыновей Адама, борются юноша-красавец, воин-бедуин и калиф (судья). Но все они были ничтожны перед поэтом-избранником Гафизом. Финальная картина пьесы – торжество жизни, вечно длящейся, юной, цветущей, похожей на рай земной, в волшебных садах Гафиза. Полный апофеоз поэтовластия. Образ Гафиза – в ряду главных героев Гумилёва:

В этот мой благословенный вечер
Собрались ко мне мои друзья,
Все, которых я очеловечил,
Выведя их из небытия.

Гондла разговаривал с Гафизом
О любви Гафиза и своей,
И над ним склонялись по карнизам
Головы волков и лебедей.

Когда писалась эта арабская сказка о дочери Аллаха и Гафизе, еще продолжалось увлечение Гумилёва и Маргаритой Тумповской, и Марией Левберг. Пери могла быть любая.

Гафиз, или Хафиз Шамседдин Мохаммед (ок. 1325 – ок. 1390) – великий персидский поэт-лирик. Имя Гафиза буквально означает «хранящий в памяти».

В 1906–1907 годах на «башне» Вячеслава Иванова существовало дружеское общество «друзей Гафиза», объединившееся вокруг хозяина. Собрания посещали человек десять: Бердяев с женой, Кузмин, Сомов, Бакст, Нувель, Городецкий, Ауслендер. Круг участников запечатлен в стихотворении Вячеслава Иванова «Друзьям Гафиза» с подзаголовком «Вечеря вторая. 5 мая 1906 г. в Петробагдаде». У каждого участника был псевдоним.

На рубеже веков проявилось много аналогий между символизмом и идеями Гафиза, убежденного в интернациональности культуры. Поэзия Гафиза – суфийская по богатству душевной жизни, ощущению целостности бытия. У

суфиев сплетается земное и небесное, а труднейший путь любви ведет к вершинам духа. Трудно разделить, где Гафиз воспевает чувственную любовь, вино, природу, безверие и где божественную любовь, созерцательные наслаждения, самоотречение, божественную веру. Участники кружка, «гафизиты», стремились понять изменение чувств, мыслей во всем богатстве проявлений, от безусловно прекрасных до «низких» и шокирующих. Во время краткого существования кружка «Северный Гафиз» Гумилёв был в Париже. Но он – истинный «гафизит».

На Мадагаскаре

В письме Ларисе Гумилёв пишет о том, что у нее ум со странным прорывом посередине, что нет естественного и раскованного проявления души, которая слепа. Он надеется, что на Мадагаскаре все изменится…

По свидетельству Ирины Одоевцевой, Николай Гумилёв считал, что большинство людей – полуслепые, что они, и особенно поэты, должны развивать в себе все пять чувств, чтобы видеть звуки и слышать цвета, внимать всему богатству мира. У Ларисы контрастный светотеневой характер и далеко еще не целостное, а раздвоенное сознание. Изменилось бы что-нибудь на Мадагаскаре, куда очень хотел с ней поехать Гумилёв? Могла бы Лариса хоть на время отрешиться от своего аналитического, социально настроенного ума?

Почему Мадагаскар? Наверное, потому, что этот остров загадочен. На острове и на ближайшем к нему юго-восточном берегу Африки сохранились некоторые виды животных, которых нет более нигде в мире. Самые известные из них – лемуры, род полуобезьян. В XVIII веке исчезла гигантская птица около 200 килограммов весом, которая не летала. Там тропический лес с уникально редкими деревьями. Еще водятся хамелеоны, игуаны, наземные черепахи. Нет и никогда не было копытных, характерных для Африки, нет и не было варанов, питонов, гадюк и других ядовитых змей. Когда-то огромная кристаллическая глыба отделилась от материка и от скалы осталось на острове высокое плато, протянувшееся с севера на юг, с большим количеством потухших вулканов. Там бывают землетрясения.

Возможно, Николай Гумилёв хотел на таинственном острове продолжить поиски следов древнейшей цивилизации, следов происхождения человечества, его истоков. В легендах существует страна Лемурия, и в дальнейшем в «Поэме Начала» Гумилёв начнет воплощать этот миф.

Продолжение переписки

Милый Гафиз, как хорошо жить!

Ваша Лери

Второе письмо Ларисы сохранилось целиком.

«Милый Гафиз, это письмо не сентиментально, но мне сегодня так больно, так бесконечно больно. Я никогда не видела летучих мышей, но знаю, что, если даже у них выколоты глаза, они летают и ни на что не натыкаются. Я сегодня как раз такая бедная мышь, и всюду кругом меня эти нитки, натянутые из угла в угол, которых надо бояться.

Милый Гафиз, много одна, каждый день тону в стихах, в чужом творчестве, чужом опьянении. И никогда еще не хотелось мне так, как теперь, найти, наконец, свое собственное. Говорят, что Бог дает каждому в жизни крест такой длины, какой равняется длина нитки, обмотанной вокруг человеческого сердца. Если бы мое сердце померили вот сейчас, сию минуту, то Господу пришлось бы разориться на крест вроде Гаргантюа, величественный, тяжелейший…

Ах, привезите с собой в следующий раз поэму, сонет, что хотите, о янычарах, о семиголовом цербере, о чем угодно, милый друг, но пусть опять ложь и фантазия украсятся всеми оттенками павлиньего пера и станут моим Мадагаскаром, экватором, эвкалиптовыми и бамбуковыми чащами, в которых человек якобы обретает простоту души и счастие бытия. О, если бы мне сейчас – стиль и слог убежденного Меланхолика, каким был Лозинский, и романтический чердак, и действительно верного и до смерти влюбленного друга. Человеку надо так немного, чтобы обмануть себя.

Ну, будьте здоровы, моя тоска прошла. Жду Вас.

Ваша Лери».

Вот и вспомнился Алексей Лозина-Лозинский. Он только что, в ноябре 1916 года, ушел из жизни, а к Ларисе пришла революция любви, о которой он ее предупреждал.

Лариса с ноября 1916 года стала работать в журнале «Летопись» Максима Горького. В ноябрьском номере вышла ее

рецензия на роман Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель», в двенадцатом номере сразу три рецензии: на «Томление духа» Вл. Нелединского, на «Агонию городов» Жоржа Роденбаха, на рассказы Юрия Слезкина «Господин в цилиндре». Конечно, можно утонуть в чужом творчестве. Еще год назад Александр Блок писал Анастасии Чеботаревской, что журнал Горького «не производит на меня гадкого впечатления. Я склонен относиться к нему очень серьезно… вовсе не все там мне враждебно, а то, что враждебно, – стоящее и сильное».

«Милый Гафиз» познакомил Ларису со своим другом Михаилом Лозинским и его женой Татьяной. Лариса стала у них бывать, помогала Михаилу Леонидовичу искать лыжи для Николая Степановича, подружилась с ними, доверяя им свою искренность. Один общий интерес у них точно был – пристрастие к Черной речке. В 1914 году Лозинские отдыхали в Ваммельсуу, откуда Михаил Леонидович писал другу: «С изумлением беспримерным, дорогой Николай Степанович, получил я сейчас твое письмо из Териок. Приди оно хоть несколькими днями раньше, это изумление было бы и приятнейшим. И я, конечно, немедленно на коне или на корабле отправился бы в Териоки, чтобы похитить тебя из этого скверного посада в очаровательное Vammelsuu. Но, увы! Теперь поздно… Сегодня Таня и я переселяемся в Петербург – она до конца месяца, а я совсем: только в августе буду наезжать сюда по субботам… 10–23 июля 1914 года».

Целый месяц Лариса не получала писем от Гафиза. Писали друзья, ушедшие на фронт. Кто стал прототипом стихотворения Ларисы Рейснер «Письмо», написанного зимой 1916/17 года и напечатанного в «Новой жизни» М. Горького 30 апреля 1917 года, можно только гадать.

Мне подали письмо в горящий бред траншеи.
Я не прочел его, – и это так понятно:
Уже десятый день, не разгибая шеи,
Я превращал людей в гноящиеся пятна.
Потом, оставив дно оледенелой ямы,
Захвачен шествием необозримой тучи,
Я нес ослепший гнев, бессмысленно упрямый,
На белый серп огней и на плетень колючий.
Ученый и поэт, любивший песни Тассо,
Я, отвергавший жизнь во имя райской лени,
Учился потрошить измученное мясо,
Калечить черепа и разбивать колени.
Твое письмо со мной. Нетронуты печати.

Я не прочел его. И это так понятно.
Я только мертвый штык ожесточенной рати,
И речь любви твоей не смоет крови пятна.

Скорее всего стихотворение появилось в период долгого отсутствия писем от Гафиза.

Следующее письмо от него приходит 8 декабря 1916 года:

«Лери моя, приехав в полк, я нашел оба Ваши письма. Какая Вы милая в них. Читая их, я вдруг остро понял, что Вы мне однажды сказали, – что я слишком мало беру от Вас.

Действительно, это непростительное мальчишество с моей стороны разбирать с Вами проклятые вопросы. Я даже не хочу обращать Вас (подчеркнуто мной. *—Г. П.)*. Вы годитесь на бесконечно лучшее.

И в моей голове уже складывается план книги, которую я мысленно напишу только для Вас. Ее заглавие будет огромными красными, как зимнее солнце, буквами: «Лери и любовь».

А главы будут такие: «Лери и снег», «Лери и персидская лирика», «Лери и мой детский сон об орле».

На все, что я знаю и люблю, я хочу посмотреть, как сквозь цветное стекло, через Вашу душу, потому что она действительно имеет свой особый цвет, еще не воспринимаемый людьми (как древними не был воспринимаем синий цвет).

И я томлюсь, как автор, которому мешают приступить к уже обдуманному произведению. Я помню все Ваши слова, все интонации, все движения, но мне мало, мало, мало, мне хочется еще. Я не очень верю в переселенье душ, но мне кажется, что в прежних своих переживаниях Вы всегда были похищаемой, Еленой Спартанской, Анжеликой из Неистового Роланда и т. д. Так мне хочется Вас увезти.

Я написал Вам сумасшедшее письмо, это оттого, что я Вас люблю.

Вспомните, Вы мне обещали прислать Вашу карточку. Не знаю только, дождусь ли я ее, пожалуй, прежде удеру в город пересчитывать столбы на решетке Летнего сада.

Пишите мне, целующему Ваши милые, милые руки.

Ваш Гафиз».

В конце декабря 1916 года Николай Гумилёв приехал в Петербург. На несколько дней. Съездил с Ахматовой в Бежецк навестить мать, сына, сестру, тетушек, а брат Дмитрий тоже был на фронте. Пока добираться туда было еще относительно легко. После революции Гумилёв говорил Ирине Одоевцевой, что легче в Африку съездить, чем в Бежецк, рассказывая о своей поездке туда:

«Вы ведь на Званку ездите и знаете, какая теснота, мерзость и давка в поезде. В купе набилось тринадцать человек – дышать нечем. До тошноты. К тому же я терпеть не могу числа тринадцать. Да еще под Рождество, в Сочельник…

Левушка читает «Всадника без головы» и водит гулять Леночку, как взрослый, оберегает ее и держит ее за ручку. Смешно на них смотреть, такие милые и оба мои дети. Левушка весь в меня. Не только лицом, но такой же смелый, самолюбивый, как я в детстве. Всегда хочет быть правым и чтобы ему завидовали… Леночка, та нравом пошла в Аню и очень капризна. Но уже понимает, с кем и когда можно капризничать».

Эта поездка состоялась в 1920 году, когда Гумилёв был женат вторым браком на Анне Энгельгардт. После гибели Николая Степановича в 1922 году Леночка на какое-то время осталась без присмотра. Анна Энгельгардт была совершенно беспомощной в жизненных испытаниях. Вот тогда-то мать Ларисы написала дочери в Афганистан, спрашивая, не взять ли девочку к себе. Лариса горячо согласится. Судьба рассудит иначе.

И третье сохранившееся письмо Ларисы, как и второе, кажется черновиком, дневниковыми записями. Если это так, тогда понятно, почему письма сохранились в архиве Ларисы.

> «Я не знаю, поэт, почему лунные и холодные ночи так бездонно глубоки над нашим городом. Откуда это все более бледнеющее небо и ясный, торжественный профиль старых подъездов на тихих улицах, где не ходит трамвай и нет кинематографов… Милые ночи, такие долгие, такие бессонные. Кстати о снах. Помните, Гафиз, Ваши нападки на бабушкин сон с „щепкой“, которым чрезвычайно было уязвлено мое самолюбие. Оказывается, бывает хуже. Представьте себе мечтателя, самого настоящего и убежденного. Он засыпает, побежденный своей возвышенной меланхолией, а также скучным сочинением какого-нибудь славного, давно усопшего любомудра. И ему снится райская музыка, да, смейтесь сколько угодно. Он наслаждается неистово, может быть плачет, вообще возносится душой. Счастлив,

как во сне. Отлично. Утром мечтатель первым делом восстанавливает в своей памяти райские мелодии, только что оставившие его, вспоминает долго, озлобленно, с болью и отчаянием. И оказывается, что это было нечто более, чем тривиальное, чижик-пыжик, какой-нибудь дурной и навязчивый мотивчик, я это называю – кларнет-о-пистон. О, посрамление! Ангелы в раю, очень музыкальные от природы, смеются, как галки на заборе, и не могут успокоиться. Гафиз, это очень печальное происшествие. Пожалейте обо мне, надо мной посмеялись. Лери.

P. S. Ваш угодник очень разорителен, всегда в нескольких видах и еще складной, с цветами и большим полотенцем».

Свечи о здравии Николая Степановича она, судя по приписке, ставит все в той же церкви на Каменном острове, о которой она писала в первом письме.

Через две недели после встречи в конце декабря придет письмо Гафиза от 15 января 1915 года:

«Леричка моя, Вы, конечно, браните меня, я пишу Вам первый раз после отъезда, а от Вас получил уже два прелестных письма. Но в первый же день приезда я очутился в окопах, стрелял в немцев из пулемета, они стреляли в меня, и так прошли две недели. Из окопов писать может только графоман, настолько все там не напоминает окопа: стульев нет, с потолка течет, на столе сидит несколько огромных крыс, которые сердито ворчат, если к ним подходишь. И я целые дни валялся в снегу, смотрел на звезды и, мысленно проводя между нами линию, рисовал себе Ваше лицо, смотрящее на меня с небес. Это восхитительное занятие, Вы как-нибудь попробуйте. Теперь я временно в полуприличной обстановке и хожу на аршин от земли. Дело в том, что заказанная Вами пьеса (о Кортесе и Мексике) с каждым часом вырисовывается передо мной ясней и ясней. Сквозь „магический кристалл“ (помните у Пушкина) я вижу до мучительности яркие картины, слышу запахи, голоса. Иногда я даже вскакиваю, как собака, увидевшая взволновавший ее сон. Она была бы чудесна, моя пьеса, если бы я был более искусным техником. Как я жалею теперь о бесплодно потраченных годах, когда, подчиняясь внушенью невежественных критиков, я искал в поэзии какой-то задушевности и теплоты, а не

упражнялся в писаньях рондо, рондолей, лэ, вирелэ и пр. Искусство Теодора де Банвиля и то оказалось бы малым для моей задачи. Придется действовать по-кавалерийски, дерзкой удалью и верить, как на войне, в свое гусарское счастье. И, все-таки, я счастлив, потому что к радости творчества у меня примешивается сознание, что без моей любви к Вам я и отдаленно не мог бы надеяться написать такую вещь.

Теперь, Леричка, просьбы и просьбы: от нашего эскадрона приехал в город на два дня солдат, если у Вас уже есть русский Прескотт, – пришлите мне. Кроме того, я прошу Михаила Леонидовича купить мне лыжи и как на специалиста по лыжным делам указываю на Вас. Он Вам, наверное, позвонит, помогите ему. Письмо ко мне и миниатюру Чехонина (если она готова) можно послать с тем же солдатом. А где найти солдата, Вы узнаете, позвонив Мих. Леонид.

Целую без конца Ваши милые, милые ручки.

Ваш Гафиз».

Руки у обоих были похожими – узкие аристократические ладони с длинными красивыми пальцами. Они видны и на их портретах, гумилёвские руки написал художник М. Фармаковский в 1908-м, рейснеровские – художник В. Шухаев.

Известны три миниатюры Ларисы Рейснер Сергея Чехонина, указанные в каталоге выставки Русского музея, 1994 года. Две из них написаны акварелью, с подписью: Сергей Чехонин, 1922. Задумчивая Лариса изображена в кресле на берегу озера, в дворянской усадьбе, и напоминает тургеневскую девушку. Второй портрет – в той же блузке – поступил от художника в Третьяковскую галерею в 1928 году. Третий портрет нарисован карандашом и акварелью, поступил в Музей изобразительных искусств от И. С. Зильберштейна в 1986 году. Судя по размерам (15х9), именно он был воспроизведен в «Красной газете» в годовщину смерти Ларисы Михайловны, 9 февраля. Возможно, третья миниатюра (без даты) и была отослана Николаю Гумилёву.

Трагедия о Кортесе и Мексике заказана была Гумилёву через Ларису Максимом Горьким. Он прочел «Гондлу», которая ему очень понравилась. «Вот какой из вас вырос талантище», – сказал он Гумилёву и заказал новую трагедию. Написана она не была.

«Мой Гафиз, – смотрите, как все глупо вышло. Вы не писали целую вечность, я рассердилась – и не подготовила Вашу книгу. Солдат уезжает завтра утром, а мне М. Л. позвонил только сегодня вечером, часов в восемь; значит, и завтра я ничего не

успею сделать. Но все равно, этого Прескотта я так или иначе разыщу и Вам отправлю. Теперь – лыжи. Таких, как Вы хотите, нигде нет. Их можно, пожалуй, выписать из Финляндии, и недели через две они бы пришли. Но не знаю, насколько это Вас устраивает?

Миниатюра еще не готова – но, наверно, будет готова в первых числах. Что сказать Вам еще? Да, о Вашей работе.

Помните, мы как-то говорили, что в России должно начаться Возрождение? Я в последнее время много думала об этих странных людях, которые после утонченного, прозрачного, мудрого кватроченто – вдруг просто, одним движением сделались родоначальниками совсем нового века. Ведь подумайте, Микель Анджело жил почти рядом с Содомой, после Леонардо, после женщин, не способных держать даже Лебедя. И вдруг – эти тела, эти тяжести и сновидения.

Смотрите, Гафиз, у нас было и прошло кватроченто. Брюсов, учившийся искусству, как Мазаччио перспективе. Ведь его женщины даже похожи на этих боевых, тяжелых коней, которые занимали всю середину фрески своими нелепо поднятыми ногами, крупами, необычайными телодвижениями. Потом Белый, полный музыки и аллегорий наполовину Боттичелли, Иванов – чудесный график, ученый, как Болонец, точный и образованный, как правоверный римлянин.

А простые и тонкие Бальмонт и его школа – это наша отошедшая готика, наши цветные стекла, бледные, святые, больше пение, чем поэзия.

Я очень жду Вашей пьесы. Вы как ее скажете? Вероятно, форма будет чудесна, Вы это сами знаете. Но помните, милый Гафиз, Сикстинская капелла еще не кончена – там нет Бога, нет пророков, нет Сивилл, нет Адама и Евы. А главное – нет сна и пробуждения; нет героев; ни одного жеста победы – ни одного полного обладания, ни одной совершенной красоты, холодной, каменной, отвлеченной красоты, которой не боялись люди того века и которую смели чтить, как равную. Ну прощайте. Пишите Вашу драму, и возвращайтесь, ради Бога».

Приписка на полях – «Гафиз, милый! Я жду Вас к первому. Пожалуйста, постарайтесь быть, а?»

Своих писем Лариса Рейснер, видимо, никогда не датировала. Подразумевается – к 1 февраля 1917 года.

Понял ли Гафиз, что подразумевается под холодной, каменной, отвлеченной красотой? Символом какого из иных миров она является? Свою статью «Краткий обзор нашей современной поэзии (акмеизма)», написанную скорее всего в декабре 1916 года для «Летописи» и, видимо, отвергнутую М.

Горьким, Лариса начинает так:

«Искусство тем прекрасней,
Чем взятый материал
Бесстрастней:
Стих, мрамор и металл.

Этим четверостишием начинается знаменитый поэтический манифест Теофиля Готье, ставший художественной программой французских парнасцев, объединивший у нас в России молодую эстетическую школу под общим названием «Акмеизм»… Что же такое этот «Акмеизм», так неожиданно появившийся и представленный тремя крупными именами Н. Гумилёва, Анны Ахматовой и О. Мандельштама? Критика единодушно навязывает нам одно надоедливое определение: «Они – форма, прежде всего форма, ничего кроме формы»… Разве вообще допустимо вульгарное деление красоты на форму и содержание, ремесленное тело и мистическую душу? В голосе музы нельзя прощупать механизма «органчика», слово чудесно соединило музыку с идеей, звук, пропорцию, колебание – и отвлеченное, идеальное понятие. Единство – первый признак совершенного, первое правило гармонии…» (Статья была опубликована в альманахе, посвященном 100-летию А. Ахматовой, «День поэзии». Л., 1989.)

Книга, которую просил прислать Гафиз, – «Завоевание Мексики» Уильяма Прескотта (1796–1859), американского историка.

Гафиз ответил уже через неделю, 22 января 1917 года: «Леричка моя, какая Вы золотая прелесть, и Ваш Прескотт, и Ваше письмо, и главное, Вы. Это прямо чудо, что во всем, что Вы делаете, что пишете, так живо чувствуется особое Ваше очарование… Я уже совсем собрался вести разведку по ту сторону Двины, как вдруг был отправлен закупать сено для дивизии. Так что я теперь в такой же безопасности, как и Вы. Жаль только, что приходится менять план пьесы. Прескотт убедил меня в моем невежестве относительно мексиканских дел. Но план вздор, пьеса все-таки будет, и я не знаю, почему Вы решили, что она будет миниатюрной, она трагедия в пяти актах, синтез Шекспира и Расина!

Лери, Лери, Вы не верите в меня. К первому приехать мне не удастся, но в начале февраля, наверное. Кроме того, пример Кортеса меня взволновал. И я начал

сильно подумывать о Персии. Почему бы на самом деле не заняться усмирением бахтиаров? Переведусь в Кавказскую армию, закажу себе малиновую черкеску, стану резидентом при дворе какого-нибудь беспокойного хана и к концу войны, кроме славы, у меня будет еще дивная коллекция персидских миниатюр. А ведь Вы знаете, что моя главная слабость – экзотическая живопись.

Я прочел статью Жирмунского. Не знаю, почему на нее так ополчились. По-моему, она лучшая статья об акмеизме, написанная сторонним наблюдателем, в ней много неожиданного и меткого. Обо мне тоже очень хорошо, по крайней мере, так хорошо обо мне еще не писали. Может быть, если читать между строк, и есть что-нибудь ядовитое, но Вы знаете, что при такой манере чтения и в Мессиаде можно увидеть роман Поль де Кока.

Почему Вы мне не пишете, – получили ли Вы программу чтения от Лозинского и следуете ли ей. Хотя Вам, кажется, не столько надо прочесть, сколько забыть. Напишите мне, что больше на меня не сердитесь. Если опять от меня долго не будет писем, смотрите на плакаты «Холодно в окопах». Правду сказать, не холодней, чем в других местах, но неудобно очень.

Лери, я Вас люблю.

Ваш Гафиз.

Вот хотел прислать Вам первую сцену Трагедии и не хватило места».

В рекомендованный М. Л. Лозинским список входят книги современных русских поэтов, писателей, а также философов: Л. Шестова, М. Гершензона, Н. Бердяева, В. Розанова, П. Флоренского, Д. Мережковского; из европейских: Р. М. Рильке, Ст. Георге, Ф. Ницше, М. Даутендея, Ш. Бодлера, Леконта де Лиля, Вердена, Рембо, Корбьера, Лафорга, Роллана, Ф. Жамма, П. Клоделя, Вьеле-Гриффена, романы А. Франса, Гюисманса, А. Ренье и статьи Гурмона.

Статья В. М. Жирмунского опубликована в двенадцатом номере «Русской мысли» за 1916 год.

Следующее письмо Ларисы (опять набросок, черновик?):

«Застанет ли Вас это письмо, мой Гафиз? Надеюсь, что нет: смотрите, не сегодня-завтра начнется февраль, по Неве разгуливает теплый ветер с моря, – значит, кончается год (я всегда год считаю от зимы до зимы) – мой первый год, не похожий на все прежние: какой он

большой, глупый, длинный, – как-то слишком сильно и сразу выросший. Я даже вижу – на носу масса веснушек и невообразимо длинные руки.

Милый Гафиз, как хорошо жить! Это, собственно, главное, что я хотела Вам написать.

Что я делаю? Во-первых, обрела тихую пристань. Как пьяница, который долго ищет «свой» любимейший кабачок, я все искала место строгое, уединенное и теплое для моих занятий. В Публичной библиотеке мне разонравилось. Много знакомых, из окна не видно набережной, книги выдаются с видом глубокого недоумения. Вам Блока? А-а…»

Любовь Ларисы, как и любовь Леры к Гондле, смогла подняться на своем ковре-самолете. По свободному морю любви к общей лебединой отчизне. «К неведомой мете».

Глава 19
РАССТАВАНИЕ С ГУМИЛЁВЫМ

К 1 февраля Николаю Степановичу приехать не удалось, потому что вместе с корпусным интендантом он закупал сено для полка в Окуловке Новгородской губернии. 10 января на общем собрании офицеров было объявлено о частичном расформировании полка, сокращении эскадронов с шести до двух, о переводе многих гусар в Стрелковый полк. Вот почему Гумилёв возмечтал о Персии. В Окуловке находилось имение Сергея Ауслендера, его троюродного брата, там он бывал не раз.

Открытка от Гумилёва со штемпелем 6. 2. 1917: «Лариса Михайловна, моя командировка затягивается и усложняется. Начальник мой очень мил, но так растерян перед встречающимися трудностями, что мне порой жалко его до слез. Я пою его бромом, утешаю разговорами о доме и всю работу веду сам. А работа ужасно сложная и запутанная. Когда попаду в город, не знаю. По ночам читаю Прескотта и думаю о Вас. Посылаю Вам военный мадригал, только что испеченный. Посмейтесь над ним.

Взгляните, вот гусары смерти,
Игрою ратных перемен
Они, отчаянные черти,
Побеждены и взяты в плен.
Зато бессмертные гусары,
Те не сдаются никогда;
Войны невзгоды и удары
Для них как воздух и вода.
Ах, им опасен плен единый,
Опасен и безумно люб, —
Девичьей шеи лебединой,
И милых рук, и алых губ…

Ваш Н. Г.».

Этот мадригал перекликается с репродукцией на открытке «Гусары смерти в плену» художника Л. Авилова. Следующая открытка со штемпелем 9. 2. 17: «Лариса Михайловна, я уже в Окуловке. Мой полковник

застрелился, и приехали рабочие, хорошо еще не киргизы, а русские. Я не знаю, пришлют мне другого полковника или отправят в полк, но, наверное, скоро заеду в город. В книжном магазине Лебедева, Литейный (против Армии и Флота), есть и „Жемчуга“ и „Чужое небо“. А, правда, хороши китайцы на открытке? Только негде написать стихотворение.

Искренне преданный Вам

Н. Гумилёв».

На открытке – рисунок, изображающий китайцев на плантации риса.

Павел Лукницкий записал слова сослуживца Николая Гумилёва об отношении поэта к февральским событиям: «Он искренне и наивно возмущался несобранностью, анархией в войсках, тупым мышлением. Постоянно повторял, что без дисциплины воевать нельзя».

Статьи Ларисы Рейснер о творчестве Николая Гумилёва

В январском номере журнала «Русская мысль» за 1917 год была опубликована «Гондла». И Лариса пишет на нее рецензию (напечатана в пятом и шестом номерах «Летописи»). По каким причинам еще одна ее декабрьская статья «Краткий обзор современной поэзии», где дан анализ творчества Гумилёва, не была напечатана в горьковской «Летописи», неизвестно. Выводы Ларисы Рейснер, казалось бы, отвечают направлению журнала, о котором военная цензура дала отзыв в Департамент полиции, как о журнале «резко оппозиционного направления с социал-демократической окраской». Но Рейснер, как кентавр: социальная окраска в конце, а в начале – глубокий разбор поэзии Николая Гумилёва:

«В непрестанном движении мира вещи и тела только мимолетные струи и брызги, для которых жизнь и смерть – временное и случайное облачение. Царят – дух, воля и сознание…

Расцветает дух, как роза мая,
Он, как пламя, разрывает тьму.
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему…

С совершенно языческой смелостью, подобно Платону, который над бренным и смертным миром создал царство чистых и абсолютных идей, Гумилёв наделяет искусство безграничной свободой, идеальным бытием, которое не знает уничтожения и не боится вечности.

Только искусство познает Бога в человеке, только художник «расковывает косный сон стихий». В его руках судьба вселенского движения, он волен остановить мгновение, вышедшее из мрака и в мрак уходящее; любви и радости подарить бессмертие.

Все, что здесь на земле попирает тело, оскорбляет и насилует жизнь, превращая ее в кровавую свалку, – обращается в ничто, теряет значение и смысл перед восходящим солнцем Духа, которое светит так далеко от людских радостей и страданий, вне времени и пространства…

Сводя все к господству идей, побеждая прах и плоть холодным оружием абстракции, Гумилёв идет навстречу… полному примирению с данной социальной средой, какою бы она ни была, ввиду неоспоримого совершенства иного мира, чистой

мысли и творчества… Фантазия, оторванная от живого народного наречия, бледнеет, замирает, чахнут ее живые ключи, слово обращается в торжественный соляной столб.

Поэту монастырь не нужен. Для него другие законы, то есть те, которые сливают живое и мертвое, Бога и человека, на небеса переносят смиренное право жизни, и на земле из праха и нищеты возводят дивные помыслы, неувядающие дела. В одном из лучших стихотворений Гумилёв, быть может, невольно предчувствует это высшее слияние жизни и творчества.

> От битв отрекаясь, ты жаждешь спасенья,
> Но сильного слезы пред богом не правы,
> И бог не слыхал твоего отреченья…»

Эта строфа у Гумилёва кончалась строкой: «Ты встанешь наутро, и встанешь для славы». Действительно, ум у Ларисы острый, проникающий даже в неблизкие для нее духовные пространства.

А что же для нее главное в «Гондле»?

«Все в ней ["Гондле"] радуется своему большому росту, стих расправляется в монологах и диалогах, играет силой, не стесненной архитектурным, героическим замыслом… неудержимо растущей энергией стиха… Изгнание, [героя] позор, одиночество, „неправый волчий суд“ – только начало того пути, который проходят на земле все сильные духом, горбатые лебеди, посаженные в зверинец. Начало религии и есть начало искусства, всякой мысли и красоты в крестном мучении. Оно есть – действие драмы становится древним обрядом, в котором нельзя изменить ни одной смеющейся или горестной личины…

Солнце просияло болью, северные ели, утесы и воды кланяются человеческому страданию. Природа ждет. Еще немного, и безумный, с кленовыми листьями и хвоей на плечах, войдет ее зеленый и живой рай.

> Новый мир, неожиданно милый,
> Целый мир открывается нам…

Так, по существу кончается «Гондла», сын скальда, сказочный король, «звездный и надзвездный», полюбивший «огнекрылую боль», чужой земле и от нее свободный.

Но для Гумилёва Гондла все же, в конце концов, не только художественный образ, но живой и побежденный христианин, загнанный и затравленный царь. И непременно здесь, на земле,

среди этих вот язычников, нужна ему окончательная победа. Для нее и умирает Гондла, и мечом, вынутым из его сердца, лебеди крестят волков. Так, в самом конце, почти неожиданно на чашу весов падает тяжелое и общее понятие – «христианство», и кажется, что именно оно и перевешивает, поглотив маленький груз личного подвига и отречения.

Совсем минуя какую бы то ни было религию, одной любовью, одной верой искупает свою вину Лаик. Ей все равно, кто положит в ладью тело королевича: «люди, лебеди иль серафимы», и куда ее понесет южный ветер.

Есть только одна страна, отчизна лебедей, «многолиственных кленов» и роз, и к ней приводит свободная смерть. Как ни ослепителен крест, он подчиняется законам старой, языческой правды, вещему обряду трагических игр.

Так уйдем мы от смерти, от жизни,
Брат мой, слышишь ли речи мои?
К неземной, к лебединой отчизне
По свободному морю любви.

Совершенство стиха и заключительный монолог Леры – до известной степени вознаграждают идеологическую запутанность последнего действия, которое могло стать роковым для всего «Гондлы»».

Для Ларисы, как и для Гафиза, подвижничество любви является смыслом жизни человека, а лебединая отчизна – реальностью.

Февральские встречи

Следующие открытки Николая Гумилёва датированы 22 и 23 февраля. На них только стихи, названные канцонами – песнями о рыцарской любви. Никаких других слов на открытках нет, даже обращения. Видимо, потому, что в феврале Николай Степанович по выходным приезжал в город и виделся с Лери. Эти встречи Гумилёва с Ларисой в феврале 1917 года увенчались канцонами. Первая открытка пришла из Москвы. В этой первой канцоне отразилась вершина их любви:

Бывает в жизни человека
Один неповторимый миг:
Кто б ни был он, старик, калека,
Как бы свой собственный двойник,
Нечеловечески прекрасен
Тогда стоит он, небеса
Над ним разверсты, воздух ясен,
И наплывают чудеса.
Таким тогда он будет снова,
Когда воскреснувшую плоть
Решит во славу Бога-Слова
К небытию призвать Господь.
Волшебница, я не случайно
К следам ступней твоих приник,
Ведь я тебя увидел тайно
В невыразимый этот миг.
Ты розу белую срывала
И наклонялась к розе той,
А небо над тобой сияло,
Твоей залито красотой.

Вот и ответ Гумилёва на рейснеровское «тяжелое понятие христианства».

Вслед этой, еще не совсем законченной канцоне, на следующий день, 23 февраля, приходит другая:

Лучшая музыка в мире – нема!
Дерево ль, жилы ль бычьи
Выразят молниеносный трепет ума,
Сердца причуды девичьи?
Краски и бледны и тусклы! Устал

Я от затей их бессчетных,
Ярче мой дух, чем трава иль металл,
Тела подводных животных!
Только любовь мне осталась, струной
Ангельской арфы взывая,
Душу пронзая, как тонкой иглой,
Синими светами рая.
Ты мне осталась одна. Наяву
Видевши солнце ночное,
Лишь для тебя на земле я живу,
Делаю дело земное.
Да! Ты в моей беспокойной судьбе
Иерусалим пилигримов.
Надо бы мне говорить о тебе
На языке серафимов.

Николай Степанович многим своим возлюбленным обещал жениться, разведясь с Анной Ахматовой. Слух о том, что Лариса Рейснер была невестой Гумилёва, идет от Ахматовой, от ее разговоров с Павлом Лукницким, который записывал их, будучи первым биографом Гумилёва. Другие источники либо повторяют Лукницкого, либо по-своему толкуют его записи, которые он вел с 1924 года.

Д. Лихачев был однокурсником П. Лукницкого по Петроградскому университету и отмечал такие его черты:

«Аккуратность, точность, добросовестность, чутье истинных духовных ценностей, его органическая потребность фиксировать в своих дневниках все, что он видит, знает».

Из дневника П. Лукницкого (10.02.1926): «В 1916 АА (Анна Ахматова. – *Г. П.)* была в «Привале комедиантов» (единственный раз, когда она была там), было много народу. В передней, уходя, АА увидела Ларису Рейснер и попрощалась с ней; та, чрезвычайно растроганная, со слезами на глазах, взволнованная, подошла к АА и стала ей говорить, что она никак не думала, что АА ее заметит и тем более заговорит с ней. (Она имела в виду Николая Степановича и поэтому была поражена.) «А я и не знала»». Лидия Чуковская записала конец этого рассказа Ахматовой: «Откуда я могла знать, что у нее был роман с Николаем Степановичем. Да и знала бы – отчего же мне не подать ей руки».

Из дневника П. Лукницкого (8.04.1926): «После разговора с АА о разводе (1918) Николай Степанович и АА поехали к Шилейко, чтобы поговорить втроем. В трамвае Николай Степанович, почувствовавший, что АА совсем уже

эмансипировалась, стал говорить „по-товарищески“: „У меня есть, кто бы с удовольствием пошел за меня замуж. Вот Лариса Рейснер, например… Она с удовольствием бы…“ Ларисе Рейснер назначил свидание на Гороховой в доме свиданий. Л. Р.: „Я так его любила, что пошла бы куда угодно“».

Может быть, это свидание на Гороховой и произошло в феврале – начале марта. С середины марта у Гумилёва опять обострился процесс в легких и его поместили в лазарет на Английской набережной, 48. В тетради стихов Ларисы Рейснер есть несколько набросков о встречах с Гумилёвым:

Не дрожи теплом ночлега,
Меха, любимая, одень.
Сегодня ночь, как лунный день,
Встает из мраморного снега.
Ты узнаешь подвижный свет
И распростертые поляны.
И дым жилья, как дым кальяна,
Тобою вызванный поэт.
А утром розовым и сизым,
Когда обратный начат путь,
Чья гордая уступит грудь
Певучей радости Гафиза.

Во втором наброске не все слова прочитываются:

Сладкоречивый Гафиз, муж, ягуару подобный.
Силою мышц, в многократном бою оборенный (?)
Тучнобедренных месков и овнов отважный хититель,
Славным искусством своим затмивший царей Мирмидокса.
Тщетно тебя избегает прекрасно-ланитная (?) дева,
В куще родительской прячась от
Плачь седовласая матерь! Почтенный отец сокрушайся
Тень амврозической ночи дщерь побежденную скрой.
Соль и

Конца нет, написано красным карандашом.

Из дневника П. Лукницкого (9.06.1925): «Правда, потом он предлагал Ларисе Рейснер жениться на ней, и Лариса передает АА последовавший за этим предложением разговор так: она стала говорить, что очень любит АА и очень не хочет сделать ей неприятное. И будто бы Николай Степанович ответил ей такой

фразой: „К сожалению, я уже ничем не могу причинить Анне Андреевне неприятность“».

Когда я спросила Ирину Одоевцеву на встрече с ней 25 апреля 1987 года о Ларисе Михайловне, она ответила: «Лариса Рейснер – прелесть. Я никогда не видела такой красивой женщины. У нее был роман с Гумилёвым. Она ждала, что он женится на ней. Но он сказал как-то, что на метрессах не женятся… В своей статье о моей „Балладе о толченом стекле“ Лариса Рейснер написала, что она – клевета на красноармейца, но это не было клеветой он действительно подмешивал к соли стекло».

Последняя открытка Николая Гумилёва

Павел Лукницкий записывал:

> «После выписки из лазарета Гумилёв какое-то время жил у Михаила Лозинского, потом недолго в меблированных комнатах „Ира“ до своего отъезда 17 мая морем через Англию во Францию. Он через знакомых добился места специального корреспондента в газете „Русская воля“, выходившей в Париже. Две недели пробыл в Англии, встречался с английскими писателями. Когда прибыл в Париж, оказалось, что в газете он не очень нужен и его оставили в распоряжении комиссара Временного правительства… Ахматова рассказывала, что, когда она его провожала, он на вокзале был особенно оживлен, взволнован и, очевидно, доволен тем, что покидает надоевшую ему застойную армейскую обстановку, говорил, что, может быть, попадет в Африку».

Влюбленность в Ларису внезапно исчезла. Роман с Ларисой Рейснер был, по словам Осипа Мандельштама, «тяжелой артиллерией». Но и Лариса не верила в правоту пути Гумилёва. Он был опять одинок. Его первая канцона, стремительно уходящая ввысь, обращена к идеалу, недосягаемому на земле. Ковер-самолет резко приземлился. Через год, вернувшись из Парижа, Гумилёв захочет бросить все свои влюбленности и жить в семье, но Анна Андреевна встретит его просьбой о разводе.

По пути в Англию Николай Степанович послал Ларисе Михайловне две открытки, одна со стихотворением «Швеция» (от 30 мая), которое вошло в книгу «Костер» с небольшими разночтениями. Стихотворение кончается разочарованием в историческом предназначении России:

> Ах, неужель твой ветер свежий
> Вотще нам в уши сладко выл,
> К Руси славянской, печенежьей,
> Напрасно Рюрик приходил.

Последняя открытка пришла из Норвегии (от 5 июня 1917 года):

> «Лариса Михайловна, привет из Бергена. Скоро (но

когда неизвестно) думаю ехать дальше. В Лондоне остановлюсь и оттуда напишу как следует. Стихи все прибавляются. Прислал бы Вам еще одно, да перо слишком плохо, трудно писать. Здесь горы, но какие-то неприятные, не знаю чего не достает, может быть, солнца. Вообще Норвегия мне не понравилась: куда ей до Швеции. Та – игрушечка. Ну, до свидания, развлекайтесь, но не занимайтесь политикой.

Преданный Вам Н. Гумилёв».

К Февральской революции, по записи П. Лукницкого, Николай Степанович отнесся «в большой степени равнодушно… 26 или 28 февраля он позвонил АА по телефону, сказал: „Здесь цепи, пройти нельзя, а потому сейчас поеду в Окуловку“. Он очень об этом спокойно сказал, – безразлично… Все-таки он в политике мало понимал».

Революция, для Рейснеров долгожданная, станет для Ларисы смыслом жизни и творчества. Марина Цветаева писала, что нет писателя, у которого после революции не вырос бы или не дрогнул голос.

Последнее письмо Ларисы Рейснер Николаю Гумилёву

Через два года Лариса начнет писать роман, где, как помним, даст героине имя Ариадна, Гумилёву – Гафиз. Оставленная Ариадна. Но сердце Ларисы перестало быть каменным. Любящие вечно, как Лера в «Гондле», узнают все о себе за мгновение. Любовь – полнота всепонимания и всевмещения. Вечной любви присуща жертвенность, не нуждающаяся в обосновании. По этим признакам угадывается любовь.

И Лариса Рейснер пишет Николаю Гумилёву последнее письмо, которое он не получил; оно было вложено в конверт, где собраны все его письма, и сохранилось. На конверте надпись: *«Если я умру, эти письма, не читая, отослать Н. С. Гумилёву. Лариса Рейснер».*

> «В случае моей смерти, все письма вернутся к Вам. И с ними то странное чувство, которое нас связывало и такое похожее на любовь.
>
> И моя нежность – к людям, к уму, поэзии и некоторым вещам, которая благодаря Вам окрепла, отбросила свою собственную тень среди других людей – стала творчеством. Мне часто казалось, что Вы когда-то должны еще раз со мной встретиться, еще раз говорить, еще раз все взять и оставить. Этого не может быть, не могло быть. Но будьте благословенны Вы, Ваши стихи и поступки.
>
> Встречайте чудеса, творите их сами. Мой милый, мой возлюбленный. И будьте чище и лучше, чем прежде, потому что действительно есть Бог».

Дар любви неотделим от дара прощения. Прощение преображает обидчика и простившего, последнему дает свободу. Любить художника – это возноситься с ним в его миры, это согласие на непредсказуемость его мыслей, чувств и поступков. Понимала ли сердцем Лариса Рейснер Николая Гумилёва? Это ведомо было ей одной.

Письмо отослано осенью 1917 года, когда, по свидетельству ее названого брата Льва Рейснера, ей грозила опасность, и он молил ее уехать из Петербурга. О том, что у Николая Гумилёва одновременно развивалось несколько романов, она узнает, когда вернется в Петербург в 1920 году, после Гражданской войны. Узнав, придет к Ахматовой, не в силах вынести свое женское

оскорбление, ревность, обиду. И станет Валькирией, не Психеей.

Через 73 года Николай Гумилёв вновь встретится с Ларисой Рейснер в фильме Людмилы Шахт и Сергея Балакирева «Ариадна». И душа Ларисы вновь воскреснет: «Мне часто казалось, что Вы еще раз должны со мною встретиться».

Глава 20
1917 ГОД

Прощай, Пьеро! Довольно слез и грима,
Ночь отошла и день проходит мимо.
На двери сломанный засов,
И трезвый холод утренних часов
Проник в подвал светло, неумолимо.

Л. Рейснер

Ужас в том, что на этом маскараде были «все». Отказа никто не прислал.

А. Ахматова

Серебряный ренессанс культуры достиг многих вершин в философии, искусстве, но «сколько-нибудь широкого социального излучения не имел. В России до революции образовались как бы две расы. И вина была на обеих сторонах, то есть и на деятелях революции, и на деятелях ренессанса, на их социальном и нравственном равнодушии», – писал Николай Бердяев.

Вершина романа Николая Гумилёва и Ларисы Рейснер пришлась на Февральскую революцию. Гумилёв последнюю не заметил, он был далек от политики, считала Анна Ахматова. В судьбе самой Ахматовой календарь двух революций отразился впервые зазвучавшим голосом «Поэмы без героя»: «То ли это случилось, когда я стояла с моим спутником на Невском (после генеральной репетиции „Маскарада“ 25 февраля 1917), а конница лавой неслась по мостовой, то ли… когда я стояла уже без моего спутника на Литейном мосту, когда его неожиданно развели среди белого дня (случай беспрецедентный), чтобы пропустить к Смольному миноносцы для поддержки большевиков (25 октября 1917). Как знать?!»

Лариса о Февральской революции упоминает вскользь. Только Екатерина Александровна обмолвится в письме, что революция помешала дочери закончить институт.

«Февральская революция застала меня в Отдельных гардемаринских классах. Нельзя сказать, чтобы она пришла

неожиданно… в последнее время все чаще слышались разговоры о неизбежном вооруженном восстании…

«Сегодня женский день», – промелькнуло у меня в голове утром 23 февраля. Будет ли сегодня что-нибудь на улице?.. Как оказалось, «женскому дню» суждено было стать первым днем революции. Женщины-работницы, выведенные из себя тяжелыми условиями жизни, первые вышли на улицу, требуя «хлеба, свободы, мира»», – писал Федор Раскольников, будущий муж Ларисы Рейснер, 8 марта 1917 года.

«Бунт – дни всенародного восстания я видел ребенком. Красные флаги, красные повязки – море красного. Ощущение всеобщего подъема, ожидание нового, небывалого. Стихия рванувшихся в неведомое. Мир, несмотря на весь рационализм нашей культуры, готов к иррациональному бунту. Тысячелетие после крещения Руси не сделало наш народ глубоко христианским. Кто вел народ, когда они завоевывали Петроград, когда жгли Окружной суд? Не политическая мысль, не революционные лозунги, не заговор, не бунт. А стихийное движение, сразу испепелившее всю старую власть без остатка и в городах, и в провинциях», – писал В. Налимов.

Пересечение с Федором Раскольниковым

Не видал тот революции,
Кто в «Модерне» не бывал.

Слова из песни

После приезда Ленина из-за границы с апреля и до июля 1917 года дворец Кшесинской стал штабом ЦК и ПК РСДРП(б), революционным центром Петрограда. А рядом с мечетью в цирке «Модерн» ежедневно и даже по несколько раз в день проходили митинги, собрания, публичные лекции. Выступали представители от 17 политических партий. Один из плакатов гласил:

Чтобы дать отпор буржуазной скверне,
Спеши, товарищ, на митинг в «Модерне».

Цирк обычно набивался до отказа. Цирковые представления в обветшавшем здании запрещены были пожарниками в январе 1917 года.

Вот некоторые названия лекций, которые могла слышать Лариса: «Война и кризис власти» (Я. Свердлов), «Судьба русских поколений» (В. Володарский). Художник И. А. Владимиров в день выступления Ленина в «Модерне» делал зарисовки, из которых родилась картина. Ленин говорил об империалистической политике Временного правительства в связи с июньским наступлением русских войск на Западном фронте и закончил лозунгом «Вся власть Советам!».

На митингах в цирке бывали М. Горький, А. Блок, К. Федин. Джон Рид писал в своей книге «10 дней, которые потрясли мир»: «Обшарпанный мрачный амфитеатр, освещенный пятью слабо мерцавшими лампочками, свисавшими на тонкой проволоке, был забит снизу доверху, до потолка: солдаты, матросы, рабочие, женщины, и все слушали с таким напряжением, как если бы от этого зависела их жизнь. Говорил солдат от какой-то 548 дивизии:

«Товарищи! – кричал он, и в его истощенном лице и жестах отчаяния чувствовалась самая настоящая мука… Укажите мне, за что я сражаюсь. За Константинополь или свободную Россию? За демократию или за капиталистические захваты? Если мне докажут, что я защищаю революцию, то я пойду и буду драться, и меня не придется подгонять расстрелами»».

Цирк «Модерн» был открыт в 1909 году и с первых дней заслужил репутацию народного, демократического, в отличие от буржуазного цирка Чинизелли на Фонтанке, где выступали иностранные артисты. В «Модерне» выступали русские.

Естественно, этот цирк был хорошо знаком Ларисе с детства. Бывала она и на митингах. В ее архиве хранится стихотворение неизвестного автора, посвященное выступлениям Федора Раскольникова в Народном доме и цирке. Когда впервые она услышала о Раскольникове и познакомилась с ним?

Об этих днях у нее написано стихотворение:

О, крики птиц, из улиц душных,
С высоких и пустынных крыш,
Впервые падающих в тишь
Лучин воздушных.

Апрельских бледных первых трав
Блаженное изнеможенье:
Они немеют на мгновенье,
Свет увидав.

… И, наконец, всего пьяней
На площади когда-то лобной,
Разлив толпы громоподобной
И смерть над ней.

Новелла о Патрике

После отъезда Николая Гумилёва на Ларису лавиной обрушилось вдохновение. Из письма А. П. Чапыгину: «Я пишу, мне все равно хорошо или худо, пишу с горечью за пропущенное время, и все чужое, мною виденное и слышанное, остается где-то на горизонте… Газет я не читаю, и потому прекрасные и большие события, которые были и будут в России, до меня доходят только как движение воздуха, град, дождь или засуха… Весь наш непутевый дом посылает вам искреннее сочувствие, несколько крупиц морского песку, запах каких-то ползучих прибрежных травок и также много тепла и солнца. Кроме того, все мы уверены, что плуты друг друга больше всех обманут, и конец будет счастливый без царя и без газеты „Речь“». Лето 1917 года Рейснеры проводили на даче в Сестрорецке.

В архиве Ларисы Рейснер сохранилось много набросков разных рассказов – о Богоматери, убежавшей из часовни, о поэте, о смерти, о страннике и его душе, и еще десяток набросков о картинах Гойи, о Бальмонте, о Г. Уэллсе. А сколько опубликованных статей и рецензий в «Летописи», в «Новой жизни»! Из них самая значительная – статья «Райнер Мария Рильке» в «Летописи» (1917, № 7–8). Через год Лариса будет беседовать с Борисом Пастернаком об этом поэте, тогда и попробуем представить их диалог. А сейчас – несколько фраз и образов из ее набросков:

«Всё, всё устойчиво и справедливо. Можно посетить кафе, парикмахерскую, добрых друзей, ходить и, чувствуя под своими ногами жалобно шипящие язычки огня, – поплотнее его протаптывать…

О как доволен злой сон. Его фонарь давно потух, время ушло, но он всё сидит у постели, обеими руками положив свое большое старческое ухо на грудь. Как там прыгает сердце, как плачет и стучит в запретные двери, чтобы его выпустили и сняли безобразный горб, который вырос за одну ночь и стал тяжелым, как железо.

Созревший час падает, как тяжелый плод. Часы бьют один раз – у них прохладный, неторопливый звон. Часы могут ударить, как всплеснувшее весло на темной спокойно льющейся поверхности времени. Весло поднято от воды – и с него одна за другой стекают в вечность серебряные капли минут».

Один из набросков «Новеллы о Патрике» навеян мыслями о Николае Гумилёве. Святой Патрик помещен в герб Ирландии. Гондла же был ирландцем.

«Патрик лежал на постели, улыбался и думал о своем. Во-первых, он поэт. Лежа без движения на своей постели, он знал все, что сейчас совершается в чудесном городе и за его пределами.

Угли в печи распались на розовые кристаллики, подернулись последним, голубым пламенем и коснулись друг друга со слабым звоном. Это значит – где-то далеко отсюда в темном зале чьи-то руки благословили скрипку и самые длинные подвески на люстрах, похожие на опущенные ветви берез, шевельнулись и заблестели, слыша ее неспешный торжествующий голос.

…Ведь именно при равном свете этих праздных, невозмутимых, утренних часов осенило его жизнь счастье, неизмеримо большое. Со страхом закрывал Патрик глаза и думал о том, как легко это могло пройти мимо него…

Наконец, среди облака освещенных танцующих хлопьев Патрик различил тропинку своей мечты, по которой покорно следует его воображение. Ему кажется – он идет, зажмурив глаза, едва переводя дыхание, среди вьюги и приходит – да, к письменному столу незнакомого человека, к его зеленой спокойной лампе, к листу белой бумаги и брошенному перу, которое не могло, не посмело записать чудесную догадку, откровение, вдруг подступившее к губам, уже найденное, наконец, обретенное.

Но прежде, чем подымется рука, чтобы, наконец, твердо записать догадку, прежде чем с лица ученого исчезает трепет, невыносимый восторг обладания – Патрик скроется, убежит. Лицо любовника, отдыхающее на сладостном теле возлюбленной с приподнятыми ее руками для нового поцелуя – никогда не сравнится с бледностью лба, на котором расходятся от бровей, зияют тягостные колеи воли и мысли; невыносимы глаза, от которых был перекинут мост, по которому сходили иные существа, роился звездный огонь, они омыты неземной свежестью и дуновением музыки и запахом каких-то невиданных цветов…

Патрик опять у себя, опять один. Рука его в темноте ощупывает знакомую стену, исписанную обрывками стихов, рифмами, намеками на будущее.

Как он полон, как насыщен. Со всех сторон к нему в его уединенную каморку мир посылает свои лучшие творческие движения».

В этих отрывках много перекличек со стихами Гумилёва, как бы в продолжение диалога с ним:

Когда я был влюблен (а я влюблен
Всегда – в идею, женщину иль запах),

Мне захотелось воплотить мой сон
Причудливей, чем Рим при грешных папах.
Я нанял комнату с одним окном…

* * *

Мое прекрасное убежище —
Мир звуков, линий и цветов,
Куда не входит ветер режущий
Из недостроенных миров.

* * *

Еще не наступил рассвет, Ни ночи нет, ни утра нет, Ворона под моим окном Спросонья шевелит крылом, И в небе за звездой звезда Истаивает навсегда. Вот час, когда я все могу… Пойму ль всей волею моей Единый из земных стеблей? Вы, спящие вокруг меня, Вы не встречающие дня, За то, что пощадил я вас И одиноко сжег свой час, Оставьте завтрашнюю тьму Мне также встретить одному.

(«Мой час». Опубликовано в «Посмертном сборнике», 1922)

«Летопись» и «Новая жизнь»

Творческий огонь Ларисы уходил в стол, тот, под зеленым абажуром, от которого улетучивались новые идеи, новые откровения. Днем, наяву, выходила газета «Новая жизнь» со статьями Ларисы.

«Новая жизнь», организованная М. Горьким весной 1917 года, как и журнал «Летопись», им же организованный в декабре 1916 года, подарили Ларисе друзей и множество знакомых. Из друзей – Михаил Кольцов, Исаак Бабель. С Александром Бенуа, Владимиром Маяковским, Виктором Шкловским, Анатолием Луначарским, сотрудниками «Летописи», она вскоре будет работать в Художественной комиссии по охране памятников культуры. Находилась редакция «Новой жизни» на Невском проспекте, 64, затем на Моховой, 33, во дворе Тенишевского училища.

Один из тех, кто бывал в «Летописи», оставил свои воспоминания о Ларисе. Это Алексей Алексеевич Демидов, который писал в 1916 году роман «Жизнь Ивана»:

«В комнате было несколько человек, когда я поздоровался с секретарем редакции Галиной Константиновной Гиммер-Сухановой. Мое внимание обратили трое: очень красивая сероглазая девушка, с правильными чертами лица, напоминавшая Мадонну Рафаэля, но по-питерски изящно одетая; молодой человек с густыми, длинными черными волосами с пробором сбоку и огромный мужчина, громко басивший Галине Константиновне:

– Да что мне Горький?! Горький, Горький, Горький, я сам – Маяковский!..

С уст Ларисы Рейснер, то и дело озарявших лицо милой улыбкой молодости и здоровья, светили слова, ясные, сочные, проникнутые радостью жизни. Но в лице светилась строгость высококультурного, ценящего свои достоинства человека. Темно-русые волосы на ней были причесаны гладко. Белая кофточка, безукоризненно отглаженная, заставляла глаза разбегаться по изящной, оригинальной отделке. Длинный галстук был просунут за поперечные узкие прорези…

После 2–3 встреч в редакции я побывал дома у Ларисы Михайловны. В столовой, где я был принят, кроме нее были ее родители, брат – высокий юноша и писатель Чапыгин. На столе в вазе стояли живые цветы. Лариса Михайловна сидела на широком, мягком диване, беззаботно откинувшись к спинке… Слушая рассказ, я смотрел то на Ларису Михайловну, то на

большой чудесный ее портрет, висевший на стене, и подумал, что он выполнен художником не ради заработка, а из восторга перед ее красотой.

Разговор вился о революционных событиях, и все делились впечатлениями. Отец рассказывал об успешном выступлении на митинге с Рошалем и о предложении писать книги для масс. Лариса Рейснер сказала: «Ведь папа социалист. Правда, ему трудно ограничить себя рамками одной партии, но все же он имеет такого друга, лично знакомого, как Карл Либкнехт».

…Даже на Невском проспекте, видавшем немало женской красоты, Лариса Михайловна, я видел, обращала на себя внимание, – люди то и дело зорко всматривались в ее лицо и многие встречные оборачивались, чтобы еще полюбоваться на профиль этой Мадонны…

В театре слушали Шаляпина. Говорили о том, как была бы прекрасна жизнь, если бы все люди стали культурными, тогда могло выявиться все богатство внутреннего мира человечества и развиться внешняя красота и мощь людей… (Такие же мысли высказывал М. Горький, считая, что революция должна в первую очередь заняться культурой для всех.)

Как-то встретил я ее в редакции в тревожные июльские дни 17 года. Она с трепетом рассказывала, что слышала об ожидавшихся событиях, выражала надежду, что пролетариат победит, и потом вдруг запнулась, посмотрела на мои золотые погоны, на новенькую шинель, задумалась и с грустью сказала: «А что, если люди вот с такими погонами нас всех перестреляют?»

Последний раз в Петрограде я видел Ларису на празднике по случаю годовщины журнала «Летопись», устроенном в комнатах редакции (конец декабря 1917 года. – *Г. П.)*. На торжество должно было придти много народу… Петь должны были Шаляпин и два знаменитых итальянских певца, гастролировавших в Петрограде, которых обещалась привести жена Шаляпина. Не помню, кто должен был играть на скрипке, кто аккомпанировать на рояле.

Лариса Михайловна оказалась для мужчин центром внимания. Два-три человека были вокруг нее постоянно, а иногда кружилось около 4–5, любуясь красивым молодым лицом, щедрым на улыбки, на лучистую игру серых глаз и слушая ее искрометные реплики, острые слова, замечания… Когда спели итальянцы, стал читать Горький свои сказки. Глубокая задумчивость на лице Ларисы Михайловны. Все ниже и ниже она опускала голову».

Эту опущенную голову оставил на одном из трех акварельных портретов Ларисы художник Сергей Чехонин.

Зовут по-гречески Чайка

Лариса любила берег залива, солнце, любила быть загорелой. В ее архиве сохранился билет, выданный 11 июля 1917 года члену кооператива «Сестрорецкий курорт» М. А. Рейснеру; число паев – 1, число членов семьи – 7! Членами семьи, видимо, считались домработница и такса Текки. Вот один набросок Ларисы о Сестрорецке:

«Ни людей, ни их чужих жизней из моего дома не видно. Бесцельные и громадные пространства, насыщенные запахом соли, разогретых водорослей и белым светом… Раз или два в неделю пустынное побережье оживает. На высоких шестах рыбаки развешивают влажные сети, желтый и раскаленный песок одет ими, как пепельным туманом. Острый запах смолы, дегтя и свежей рыбы на время глушит тонкое испарение мяты и сухих ползучих трав… Песок, любимый песок моих мелей, моих смолой пропахших дорожек, отвердевает под моими ногами… Только бы не потерять горячих следов, которые ведут к вышедшим из земли источникам… И еще. Пусть будут на сухих и сильных стеблях колокольчики, пусть звенят синими цветами о свободе, которая вошла в город. Больше не надо ничего».

Еще один необычный образ, рожденный «зримым» мышлением Ларисы: «На тонкой золотой нити близко друг от друга висят белые колокола. Края их чуть загнуты и крепкие языки – как пестики цветов. Небо держит их высоко над собой, даже птичьи крылья не знают такой лазури…»

Первая ее публикация в «Новой жизни» – «Гамлет в Сестрорецком театре» – появилась 29 июня, «Прорыв Сестрорецкого фронта» – 16 июля. Рецензии на книги, на спектакли.

> Приведу только ее план статьи о народном театре: «История зарубежного театра. Греция. Борьба бедняков за кусок хлеба и бесплатный билет. Есть театры. На неделю прекращается жизнь в городах, закрыты лавочки, не судят, не казнят. Все ходят с выдуманной судьбой, живут в сказке. Началось Возрождение. Запрещенный в средневековье театр возобновился… Восстань же, театр… Голод духа еще постыднее голода о хлебе насущном. Половина человечества томится без истины и красоты…Скорее пока еще не поздно, пока не все человеческое убито и обезображено в человеке – выпустите гений из золотой клетки… дайте ему дышать

без вашего прилавка, без весов, на которых всё покупается и всё продается… Вы украли народное сердце – театр. Отдайте его, иначе оно перестанет биться в ваших пальцах.

М. Чайка».

Мария Федоровна Андреева привлекала Ларису Рейснер к созданию рабочих театров. «…Я тоже хлопаю первым проблескам творчества, и еще больше необычайному счастью, которое написано на лицах, страшно разрисованных губной помадой и углем… Радость свободной игры, радость воплощения какой-то иной, высшей мысли… В Петрограде готовится собрание большой важности: конференция всех культурно-просветительских обществ, секций клубов и народных театров… Именно сейчас, во время революции нужно воспитание чувств, школа страстей, достойных этого времени. Поймут не только Горького и Толстого, поймут и комедии Мольера, и „Бурю и натиск“ юного Шиллера… и „Сон в летнюю ночь“, „Ромео и Юлию“ Шекспира», – писала она в «Новой жизни» 19 сентября 1917 года («Народный дом и его преобразование», «Любительские театры солдат и рабочих»).

Первая конференция пролетарских культурных обществ состоялась 17 октября. За неделю до Октябрьской революции Лариса пишет в газете: «Я понимаю тревогу художников, осаждаемых этими новыми, со дна появляющимися учениками. Их ждет громадное, может быть, непосильное наслаждение. Пережить снова с нетронутыми, непосвященными – всю историю культуры, все неудачи и победы гения, начиная с первых смутных силуэтов, выбитых каменным резцом на стенах пещеры, и кончая болезненными пятнами современной живописи».

С сентября Лариса преподавала на просветительских курсах во дворце Белосельских-Белозерских. Кроме того, она была секретарем А. Луначарского в Комиссии по охране памятников культуры.

Восемнадцатого октября в газете появляется первая статья Ларисы Рейснер о моряках «Гибель „Славы“». Линкор «Слава» был неожиданно введен в бой, поврежден обстрелом и выброшен на мель, в машинном отделении обломками заклинило дверь. Через дыру, пробитую в потолке, матросы выбрались на палубу, на мель выносили раненых. Капитана силой пришлось увести с мостика. Корабль с мертвыми собирались взорвать.

«Уже огонек тлел по шнуру, готовый взорваться в пороховой камере, – писала Лариса, – а среди обломков, то появляясь на палубе, то скрываясь, все бегал человек с

громким, отчаянным – „кис-кис“. Во все время боя корабельный кот дрожал и кричал и теперь так забился под диван, что его отчаялись найти. И, наконец, достали, с выпученными глазами, весь ощетинившийся и сумасшедший он долго не хотел вылезать и, уже сидя на живом плече, судорожно сжимая и разжимая лапы, тыкался мордой к близкому белому лицу и не хотел прыгать вниз.

На берег сошли, Бог знает, как. Целовали землю. Нельзя рассказать словами второе рождение из яростного боя, из смерти и крови этих людей. Как движение любви, таинственной и невольной, их первые шаги по земле, звуки голоса, улыбки…

В Ревеле спасенную команду едва не избили, приняв за пьяных «большевиков». Действительно, что за команда: ноги подгибаются, сами неодетые, даже иеромонах оказался без панталон и всем прохожим говорил: с именинами вас. И всех женщин целуют глазами. Так и прошли через город, как сквозь строй с плевками презрения на своей новорожденной, пречистой радости…

Со слов очевидца. Лариса Рейснер».

Кто привел Ларису Михайловну на корабль? И в морское братство? Скорее всего, Семен Рошаль, один из руководителей Кронштадтской республики в 1917 году, однокурсник Ларисы по Психоневрологическому институту.

Семен Рошаль, как и его друг Федор Раскольников, с середины июля сидел в «Крестах», арестованный Временным правительством. Его брат Михаил Рошаль пришел к Ларисе с просьбой поддержать брата и навестить его в тюрьме. «Ларису Михайловну я застал дома. Мы познакомились, – вспоминал М. Рошаль, – и с первого взгляда она произвела на меня неизгладимое впечатление. Передо мной стояла девушка редкой красоты, чем-то неуловимо напоминавшая мне знаменитую „Джоконду“ Леонардо да Винчи…

Лариса Михайловна подробно расспросила меня о технике свидания. Наш разговор проходил как-то легко, по-товарищески. Я почувствовал в ней одаренную натуру, умевшую с необычайным тактом и умом незаметно расположить к себе собеседника».

Через два года, когда Семен Рошаль погибнет на Гражданской войне, Лариса напишет два очерка о нем, где будут такие слова: «Как друг ранней молодости, как товарищ по студенческой скамье, особенно памятен мне покойный Рошаль. Помню его

фигуру в рваном студенческом пальто, без сапог идущего через бесконечные пустыри в Психоневрологический институт. Холод ужасный, ветер со свистом несется через обледенелые поля, не встречая на своем пути ничего, кроме фабричных труб, бездомных собак и жалких студенческих фигур… Как еврей, он не имел права жительства, как бедняк, редко обедал и, как убежденный большевик, с восемнадцати лет вел в институте и рабочих кварталах партийную работу. Среди студенчества того времени, находившегося под влиянием меньшевиков и эсеров, Рошаль был совершенно одинок… Кронштадт в июльские дни и Кронштадт после Октябрьского переворота стал крепостью Рошаля, его трибуной… Его язвительная дерзкая речь… клеймила надолго, решала исход серьезных политических споров».

Рошаль, наверное, и познакомил Ларису с Федором Раскольниковым. Кстати, кто-то из «штабистов» флота во времена первой революции делал доклад о возможности морской службы для женщин на кораблях вопреки суеверию, что «женщина на корабле не к добру». Но других женщин, которые, как Лариса Рейснер, воевали бы на кораблях и были комиссарами Морского Генерального штаба, я не знаю.

«Мы жили во все стороны»

В августе 1917-го в журнале «Летопись» (№ 7–8) напечатана статья Ларисы Рейснер «Поэзия Райнера Мария Рильке», а в газете «Новая жизнь» – заметка «Спектакль для детей». Лариса, как сказал о себе Герцен, «жила во все стороны». «Самое чудесное в жизни, – пишет Наталия Сац, троюродная сестра Ларисы Рейснер, – иметь право проявлять свою инициативу, с головой уйти в любимое дело, завоевать доверие… Хочу создать театр для детей. Совсем новый. Такого театра еще никогда не было». В 1918 году, когда она создала такой театр, ей было 16 лет. Приходили дети из детских домов. А беспризорных сажали в отдельные ложи, чтобы от них не заражались. Помог Наталии Сац Анатолий Луначарский, о котором она писала:

«Горячо умел он увлекаться, влюбляться в инициативу, новые творческие замыслы, дарования многих людей, сливать воедино человека с его любимым делом. Поразительной жизнерадостностью, жизнелюбием, волей к счастью обладал наш первый нарком просвещения… Попасть на прием к Анатолию Васильевичу было очень трудно, его то и дело вызывали в Кремль, он внезапно выезжал в командировки, на прием была большая запись… Анатолий Васильевич выходил из-за стола навстречу каждому посетителю и здоровался за руку – чудесный, ободряющий людей обычай. Эрудиция у Луначарского была потрясающая: во всех эпохах мировой культуры он был „своим“ – с какой страстью он любил и знал лучшие проявления творческой мысли всех времен и народов».

К Луначарскому хорошо относился даже… Альберт Эйнштейн. Бывший секретарь Анатолия Васильевича собирался жениться на дочери легендарного физика. Эйнштейн спросил: «Кто вас знает, кто из наших общих знакомых может дать о вас отзыв?» Общих знакомых не нашлось, и жених назвал Луначарского. «Вас знает Луначарский? Этого вполне достаточно».

Наталия Сац работала с Луначарским с 1918 года, Лариса – с дооктябрьских времен. Луначарский тогда был в Комиссии Горького по вопросам искусств при Исполнительном комитете Совета рабочих и солдатских депутатов вместе с Бенуа, который много сделал для охраны памятников культуры. В Комиссии Горького участвовали Н. Лансере, Г. Лукомский, К. Петров-Водкин, Г. Нарбут и другие. При Исполкоме к осени насчитывалось около 120 литературно-художественных пролетарских объединений.

Три, два, один… залп…

Октябрь со скоростью ветра несся к 25-му числу. Месяц начался дождями. С Финского залива дул резкий сырой ветер, и улицы затягивало мокрым туманом. Из-за экономии они слабо освещались; в квартиры электричество подавалось только с 6 до 12 часов. Свечи стоили около 2 рублей, а керосин почти нельзя было достать. С наступлением сумерек участились грабежи.

Одиннадцатого октября из «Крестов» был выпущен Федор Раскольников. Из его воспоминаний: «Растерявшееся правительство Керенского пропорционально крепнущему нажиму рабочего класса стало поочередно выпускать на свободу арестованных в июльские дни большевиков. Наконец, 11 октября, наступила моя очередь… Корниловские дни послужили Рубиконом, после которого наша партия настолько укрепилась, что в самом ближайшем будущем уже смогла поставить в порядок дня решающий пролетарский штурм. Авторитет партии в рабочих слоях умножался со сказочной быстротой… Стремительным подъемом наших акций сумели воспользоваться уголовные, под нашу руку совершившие побег из тюрьмы. Однажды после бани, когда их вели по двору в корпус, они, по предварительному между собой уговору, со всех ног устремились к воротам. Часовые преградили им дорогу. „Мы политические, мы большевики!“ – в один голос закричали арестанты. Тогда конвоиры безмолвно расступились… Несмотря на поздний час, на летней пристани, в парке, перед памятником Петру Великому (в Кронштадте) стояла большая толпа моряков и рабочих. Оказывается, товарищи готовили мне встречу: раздались знакомые звуки морского оркестра. Катер отшвартовался… 20 октября ЦК назначил мою лекцию в цирке „Модерн“, озаглавив ее „Перспективы пролетарской революции“… в заключение я призвал пролетариат и гарнизон Питера к вооруженному восстанию. Многочисленная толпа рабочих и солдат, сверху донизу переполнявшая ветхое здание цирка, целиком солидаризировалась со мной».

Во время лекции Федор Раскольников сильно простудился, слег в постель, и 25 октября у него все еще была высокая температура. Когда 26 октября к нему прибежал один из товарищей с известием о взятии Зимнего, больной «послал к черту лечение» и устремился в Смольный. Рошаль освободился из тюрьмы 26 октября. Оба не могли, как хотели, привести отряд моряков к Зимнему, и возникла легенда, что отряд привела Лариса Рейснер, что крейсер «Аврора» выстрелил по ее знаку.

Всеволод Рождественский рассказывал мне, что в ночь с 25 на

26 октября он в составе роты охранял Дворцовый и Биржевой мосты от юнкеров Павловского училища на Петроградской стороне. К Дворцовому мосту пришли три эсминца с Балтики и десант моряков для штурма Зимнего. Матрос из десанта сказал: «Нас привела Рейснер, решительная, боевая».

Слухи тогда возникали быстро, и много было невероятных. Слух о Ларисе и «Авроре» дошел до Вадима Андреева в Финляндии. Лев Никулин, который работал в политотделе Балтфлота в 1920 году, в своей книге «Записки спутника» приводит четверостишие, хорошо известное в его кругу:

Плыви мой челн, и в этом рейсе
Линкор старинный не задень,
Где, может быть, Ларисы Рейснер
Бессмертная проходит тень.

По поводу слухов в «Правде» 28 октября было напечатано письмо, обращенное «Ко всем честным гражданам города Петрограда».

«От команды крейсера „Аврора“, которая выражает свой резкий протест по поводу брошенных обвинений, тем более обвинений не проверенных, но бросающих пятно позора на команду крейсера. Мы заявляем, что пришли не громить Зимний дворец, не убивать мирных жителей, а защитить и, если нужно, умереть за свободу и революцию от контрреволюционеров. Печать пишет, что „Аврора“ открыла огонь по Зимнему дворцу, но знают ли господа репортеры, что открытый бы нами огонь из пушек не оставил бы камня на камне не только от Зимнего дворца, но и от прилегающих к нему улиц. А разве это есть? К вам обращаемся, рабочие и солдаты г. Петрограда! Не верьте провокационным слухам, что мы изменники и погромщики, и проверьте сами слухи. Что же касается выстрелов с „Авроры“, то был произведен только один холостой выстрел из 6-дюймового орудия, обозначающий сигнал для всех судов, стоящих на Неве, и призывающих их к бдительности и готовности».

В Петрограде издавалось до полутораста газет, но ни одна не поместила письмо матросов. Зато все расписывали «акты большевистского варварства… при штурме Зимнего погибли сокровища Эрмитажа… во время бомбардировки пошатнулся Александрийский столп и дал трещину от вершины до основания».

На крейсер «Аврора» 25 октября приходила делегация от Городской думы, желавшая предотвратить кровопролитие, среди делегатов была графиня С. В. Панина, чей Народный дом стал

первым политехникумом для народа.

Еще до рассвета 26 октября, до первых трамваев, на Дворцовую площадь стекались жители столицы, несмотря на дождь и пронизывающий ветер. Пришел и английский посол Джордж Бьюкен. Он всегда совершал утренние прогулки для получения личного впечатления от событий. Из записей в его дневнике: «Сегодня после полудня 26 октября я вышел, чтобы посмотреть, какие повреждения нанесены дворцу продолжительной бомбардировкой в течение вчерашнего вечера, и, к своему удивлению, я нашел, что, несмотря на близкое расстояние, на дворцовом здании было со стороны реки только три знака попадания шрапнели. На стороне, обращенной к городу, стены были изборождены ударами тысячи пулеметных пуль».

Авторы документальной книги об Эрмитаже «Билет на всю вечность» С. Варшавский и Б. Рест уточняют: «Помимо пяти холостых выстрелов из шестидюймовых орудий с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости было произведено и два выстрела шрапнелью. Один снаряд, неразорвавшийся, упал недалеко от Сенной площади, другой, влетев в угловое окно приемной комнаты Александра III на 3 этаже, разорвался около стены. Одновременно вели огонь и трехдюймовые пушки, выкаченные из-за крепостных стен на приплеск Невы; ими было сделано 30–35 выстрелов, частично холостыми снарядами, частично шрапнелью; большинство этих шрапнельных снарядов рвалось еще над Невой, и лишь один повредил карниз дворца».

Лев Успенский, будучи 17-летним гимназистом, со своим одноклассником вечером 25 октября отправился на Неву посмотреть, что происходит в городе. На Дворцовом мосту обратили внимание на то, что «алые полотнища заката перечеркивали две тонкие мачты и три высокие узкие трубы: за мостом на середине [Невы] стоял крейсер „Аврора“… Мы, василеостровские гимназисты (гимназия Мая), назубок знали Российский флот: многие из нас уходили в Морской корпус, в гардемаринские классы. Приход боевого корабля в город не мог не поразить нас».

Гимназисты могли не знать, что крейсер «Аврора» назван в честь фрегата «Аврора», защищавшего Петропавловск-на-Камчатке во время Крымской войны 1853–1856 годов. Имя фрегату дал Николай I, заметив, что корабль будет тезкой одной из самых красивых женщин Петербурга – Авроры Карловны Шернваль-Карамзиной. «Только бы это не сказалось трагически на его судьбе», – сказала Аврора Карловна про спускаемый 28 апреля 1900 года на воду крейсер. Фрейлина Высочайшего двора

Аврора Карловна имела много несчастий в своей долгой жизни.

Вернемся к воспоминаниям Л. Успенского: «На Конногвардейском бульваре около оградки маленького домового садика с тремя головками арапов в белых чалмах у дома Родоканаки… через мою голову громыхнула по Зимнему „Аврора“. Точно меня ударило по голове – задохнулся, оглох. Я тогда не сразу понял, в чем дело… Когда мы отмечали полвека революции, „Аврора“, как известно, стояла на своем прежнем историческом месте. А это – против моих окон. И снова я услышал ее выстрел и испытал несравнимое счастье…»

У Ларисы Рейснер есть зарисовка рождения советской власти: «Ночи после переворота – длинные, ледяные, неосвещенные ночи. На пустынных улицах – ни души. С Невы хлещет ветер, за решеткой Летнего сада оголенные деревья гнутся и замахиваются друг на друга, как бичи. Отраженный пожар, несколько выстрелов и опять ночь. В ее великой и таинственной тени родилась Советская Республика».

В жизни все устраивается так, как оно может устроиться. Николай Бердяев писал, что совершенно бесплодны рациональные и моралистические суждения о революции. Революция свидетельствует о господстве иррациональных сил истории. «Смысл революции есть внутренний апокалипсис истории. Революция – неизбежное следствие греха. Внутри истории и внутри индивидуальной жизни человека периодически наступает конец и смерть для возрождения к новой жизни. Судящие силы сами творят зло, в революции и добро осуществляется силами зла, так как добрые силы были бессильны реализовать свое добро в истории».

Марина Цветаева, не принявшая революцию, сделала больше – поняла ее в наивозможно точной формуле: «Революция – обнаженная до корня суть бытия».

В Зимнем дворце

Анархия хуже деспотизма.

Г. Померанц

Новое правительство опубликовало предложение к художественной интеллигенции о совместной работе, о помощи с ее стороны и пригласило 7 ноября прийти в Смольный: «Залог спасения страны – в сотрудничестве живых подлинно демократических сил ее. Мы верим, что дружные усилия трудового народа и честной просвещенной интеллигенции выведут страну из мучительного кризиса и поведут ее через законченное народовластие к царству социализма и братства народов». Для встречи отводился актовый зал. В назначенный день 7 ноября пришло шесть или семь человек, которые поместились на одном диване: А. Блок, Вс. Мейерхольд, К. Петров-Водкин, Н. Альтман, В. Маяковский, Л. Рейснер.

В своих воспоминаниях «Мой лунный друг» Зинаида Гиппиус приводит телефонный разговор с Александром Блоком в начале октября 1917 года. Она звонила поэту, чтобы пригласить его участвовать в антибольшевистской газете:

«Зову к нам, на первое собрание. Пауза. Потом:

– Нет. Я, должно быть, не приду.

– Отчего? Вы заняты?

– Нет. Я в такой газете не могу участвовать…

Во время паузы хочу сообразить, что происходит, и не могу…

– Вот война, – слышу глухой голос Блока, чуть-чуть более быстрый, немного рассерженный. – Война не может длиться. Нужен мир…

У меня чуть трубка не выпала из рук.

– И вы… не хотите с нами… Хотите заключать мир… Уж вы, пожалуй, не с большевиками ли?

Все-таки, и в эту минуту, вопрос мне казался абсурдным. А вот что ответил на него Блок (который был очень правдив, никогда не лгал):

– Да, если хотите, я скорее с большевиками… Они требуют мира, они…»

Знал ли Блок Николая Бердяева, были ли они знакомы? Думали же они тогда похоже. И через много лет Н. Бердяев писал, что «большевизм оказался единственной силой, которая могла докончить разложение старого и с другой стороны организовать новое. России грозила анархия, она была остановлена

коммунистической диктатурой, народ согласился подчиниться ее лозунгам. Большевистская революция путем страшных насилий освободила народные силы, призвала к исторической активности… Принципы демократии не для революционной эпохи».

Через 60 лет Г. Померанц, философ и публицист, родившийся в 1918 году, прошедший войну и сталинские лагеря, продолжит единомыслие: «Я убежденный либерал, но анархия хуже деспотизма, хаос страшнее номенклатуры, какая она ни есть корыстная и малоэффективная».

В. Налимов писал:

«Человек хочет стать героем или хотя бы участником героического дела. Для этого он должен быть увлечен безрассудно идеей. Но самодовольная слепота – не сознательное злодейство. Люди, делавшие революцию, верящие в безграничные возможности добрых устремлений, были искренними… И пусть рай на земле – утопия и соблазн. Но борьба за то, чтобы жизнь не стала адом, совсем не утопия. Все доброе в истории через эту борьбу.

Они начинали во имя святой любви, продолжали, воодушевляясь святой ненавистью, – и не заметили, какого джинна выпустили из бутылки».

Вера Инбер откуда-то знала, как Лариса Рейснер пришла в Смольный, где ее спросили, что она умеет делать. Ответила: «Умею ездить верхом, могу быть разведчиком, умею писать, могу посылать корреспонденции с фронта, если надо, могу умереть, если надо…» Это «если надо» кажется прямым повтором «если нужно умереть» из письма матросов «Авроры». 8 ноября Ларисе Рейснер выписали пропуск № 536 на вход в Зимний дворец как члену Художественной комиссии.

При входе в Эрмитаж Лариса, несомненно, видела «Правила поведения в Эрмитаже», написанные еще Екатериной II:

«1. Оставить все чины вне двери, равно как и шляпы, а наипаче шпаги.

2. Быть веселым, однако же ничего не портить, не ломать, не грызть.

3. Спорить без сердца и горячности.

4. Кушать сладко и вкусно, а пить с умеренностью, дабы всякий всегда мог найти свои ноги для выходу из двери.

5. Сору из избы не выносить».

О впечатлении, которое произвел на Ларису Зимний дворец, уже официально провозглашенный государственным музеем, она рассказала в очерке «В Зимнем дворце», опубликованном в «Новой жизни» 11 ноября:

«…Никакие разрушения, разбитые окна, сорванные рамы – ничто не отнимет у этой постройки плавный ход ее галерей, соразмерность стен и потолков, полукруги зал и, прежде всего, изумительное, единственное в мире расположение тени и света… Первые дни революции мало повредили дворцу. Но затем в дом Растрелли въехал А. Ф. Керенский. Лучшие комнаты, самые строгие музейные залы он занял под бюро печати, канцелярию – словом, присутственное место. Все осталось нетронутым, но все затерто, закурено, зашаркано, оглушено пишущими машинками и закапано чернилами. В десяти покоях, выходящих на площадь, водворился караул. Его меняли чуть не каждый день (наш премьер никому не доверял свою особу), и каждый новый отряд хозяйничал по-своему. Грязные тюфяки на полу, продырявленные картины, бутылки и бутылки, и все это не где-нибудь, но вокруг своей „особы“, на ее глазах и с ее ведома.

…Зачем вообще нужно было вселяться в Зимний дворец? Не будь Керенского во дворце, народный гнев не тронул бы ни одной безделушки. Разве премьер не знал, что каждую минуту политическая борьба может сбросить если не с кресла, то со стула Николая II, что он подвергает величайшей опасности сокровища искусства, посреди которых он осмелился жить. Так и случилось. Толпа искала Керенского – и нашла на своем пути фарфор, бронзу, картины, статуи и все это разбила… Кабинет Александра II, молельня и т. д. превращены в кучу осколков; мундиры, бумаги, ящики столов, подушки, постель – все решительно искрошили.

На первый взгляд очень странно отношение ко всему случившемуся придворных лакеев, сторожей и администрации. Никто из них не покинул дворца во время обстрела. Много ценного сохранено благодаря мужеству и порядочности этих людей.

…Но еще более опасное внимание черни привлекают в Зимний дворец… на этот раз огромные винные погреба. Их завалили дровами, замуровали сперва в один кирпич, потом в два кирпича, ничего не помогает. Каждую ночь где-нибудь пробивают дыру и сосут, вылизывают, вытягивают, что возможно. Рабочие, матросы обещали разнести все здание, если не прекратится низменное паломничество. Лучше гибель чего угодно, чем зрелище ненасытного, болезненного обжорства, совершаемого в дни величайшей русской революции».

Из книги «Билет на всю вечность»:

«В ночь со среды на четверг, с 25 на 26 октября, те хранители, которые смогли добраться до Эрмитажа в

переполненных трамваях или пешком под холодным моросящим дождем, – были на месте. Многие хранители были преклонного возраста. В результате собралось их не столь уж много. По секретному распоряжению Керенского собирались отправить в Москву 3 партию уже упакованных музейных ценностей.

Ученые, собравшиеся в Рафаэлевых лоджиях, были в стороне от политической жизни, их радикализм никогда не распространялся дальше требований реформ в постановке музейного дела. Узнав о том, что Дворцовая площадь обложена противоправительственными войсками, хранители перешли в вестибюль к ящикам, приготовленным для отправки. Вскоре прибыл красногвардейский отряд из Смольного для охраны Эрмитажа. Забаррикадировали все ходы сообщения между дворцом и музеем. У окон и подъездов установили посты. Разговор вертелся вокруг темы о хрупкости и ненадежности шатких мостков цивилизации над кромешной бездной социальных страстей. Культура беспомощна перед лицом стихии. Академик Яков Иванович Смирнов негромко произнес древний текст Экклезиаста: «Всему свое время, и время всякой вещи на земле. – Время рождаться и время умирать, время любить и время ненавидеть, время строить и время разрушать»».

Свидетельствует Джон Рид: «Самочинный комитет останавливал каждого выходящего… Все, что явно не могло быть собственностью солдат, отбиралось, сидевший за столом записывал отобранные вещи… Виновные либо мрачно молчали, либо оправдывались, как дети. Члены комитета в один голос объясняли, что воровство недостойно народных бойцов… По коридорам и лестницам… были слышны замирающие в отдалении крики: „Революционная дисциплина! Народное достояние!“ Около половины пропавших вещей в ночь штурма Зимнего удалось разыскать, причем кое-что было обнаружено в багаже иностранцев, уезжавших из России».

А бочки с вином вылили в Неву. Накопленные за три столетия миллионы бутылок матросы-балтийцы разбивали об пол в погребах под Зимним дворцом. Вызвали пожарных, накачали в подвалы воды и день или два выкачивали все в Неву.

В десятых числах ноября Военно-революционный комитет посылает Ларису с корреспондентским билетом под Гатчину. Там шли бои с казаками Краснова. Тысячи и тысячи питерских

пролетариев, женщины, подростки, старики рыли окопы, ставили проволочные заграждения под Красным Селом. Федор Раскольников, организовав пехотно-артиллерийские отряды из Кронштадта и с фортов, прибыл с ними тоже под Гатчину, в Пулково. 1 ноября (14 ноября) Гатчина была взята, казаки сдались. Встречались ли на этом первом фронте Лариса Рейснер и Федор Раскольников? 15 ноября Раскольников уже был в Москве, участвовал в боях с юнкерами. 26 ноября он вернулся в Петроград в связи с назначением его комиссаром Морского Генерального штаба.

Лариса, вернувшись домой, узнала, что 16 ноября «Новая жизнь» в заметке «От редакции» сочла нужным извиниться перед Керенским за опубликование ее очерка. В газету пришло много протестующих откликов. Лариса вновь просит слова, и «Новая жизнь» предоставляет ей 17 ноября место для «Письма в редакцию»: «Никакого намерения оскорбить или унизить А. Ф. Керенского у меня не было… Не могла отозваться на заявление редакции раньше, так как только что вернулась в Петроград из поездки в Финляндию».

Она была где угодно – в Гатчине, в Финляндии, но только не дома. «Лариса Михайловна, умоляю пощадить себя, ни за что не оставаться в Петрограде, а уезжать», – написал ее названый брат, 15-летний Левушка. В начале октября произошла ссора между его отцом и Ларисой. Павел Георгиевич Дауге защищал от Рейснеров свою жену: «Их отношение к маме было несправедливым, односторонним и поэтому, в конечном счете, ложным… Ты помнишь угрозу Михаила Андреевича застрелить маму, если вследствие ее контрреволюционной агитации с Ларисой Михайловной что-нибудь случится? Значит, мама ведет сознательную погромную агитацию! Потом мне было сообщено, что мама пришла первый раз к Л. М. и устроила ей скандал на политической почве…» (из письма П. Дауге сыну). Страсти, прямо как у героев Достоевского, кипят.

Опасность, исходящая от жены Дауге была столь очевидной, что заставила Ларису написать письмо Николаю Гумилёву, которое начиналось: «Если я умру, все письма вернутся к Вам», и кончалось: «Потому что действительно есть Бог».

От «Аполлона» до комиссара

Осенью 1917 года Лариса чувствовала Божье благословение и на себе, и на «великой революции», при которой все помыслы должны быть чистыми. И ведь не только Лариса так чувствовала. В «Двенадцати» Блока у красногвардейцев «Впереди – Исус Христос».

Ларису Рейснер в революцию, помимо всего, привела еще и любовь к Античности. Эту любовь до революции культивировал журнал «Аполлон». В Зимнем дворце Лариса часто встречается с Александром Бенуа. Еще в 1909 году он выразил свое понимание задач искусства в программной статье первого номера «Аполлона», вышедшего 7 ноября (25 октября). Ни больше ни меньше – в день будущей революции:

«Завтра должно наступить новое возрождение. Но к чему мольбы о скорейшем пришествии этого ужасного и радостного часа. Наступит он в свое время. К богам красоты нужно обратить горячие мольбы. Пусть они разведут священный хоровод, обратят нас к светлой цели, укажут, как выйти из тьмы и косности – воистину просветлиться. Для современного человека непрестанность литургийного ритма в жизни – далекая, и даже еще чуждая мечта. В нем слишком много зверского безразличия, распущенности и всякой тьмы, чтобы заняться превращением своего тела в сосуд благодати. Пожалуй, можно сказать, что все искусство – танец, ибо оно все – выявление красоты жизни (ритма и гармонии)».

Два античных божества в танце выводят людей из тьмы и борются с косностью и смертью. Два бога в мировоззрении серебряного века, два брата – Аполлон и Дионис. Два лика одного «Светодателя».

«Два брата совсем на дне сливаются воедино, – продолжает Бенуа. – На самом деле каждый с особенным, данным ему ладом творит одно и то же, ведет к одной цели… Как создать пластику всех людских действий? Это ли пожелание не смешно в наши дни, порабощенные уродством, рассудочными эпидемиями, машинной техникой, в дни систематического обезображивания природы и мрачной понурости, вызванной борьбой за существование? Пусть будет смешно. Это нужно. А там и возникнут подсказывающие формы, вдохновенные намеки. И сочинят люди другую технику, и установят другие между собой отношения, другой быт».

Преобразить душу человека через гармонию танца – эта мысль Александра Бенуа Ларисе, с ее любовью к танцу, с природной пластичностью, безусловно, была понятна. Но

неразвитых духовно, замученных жизнью людей было большинство. Эпоха дышала жаждой решительных действий, верой в то, что это зло можно сжечь огнем и мечом. И сегодня время дышит тем же – насилием.

Лариса, как многие, не могла в бездействии выносить страдания людей от нищеты и угнетения. «Я сидел в одной камере с „повторниками“, – пишет Г. Померанц, – эсеры, анархисты, сионисты дореволюционной выделки. Партийные программы у них были разные, а тип – один и тот же. Тип Мцыри. Возмущение злом заставило выбрать их путь борьбы за добро. Это были глубоко верующие теисты, нравственно чистые люди… Вопрос, как оставаться человеком в борьбе за свои идеи, как сохранить готовность приостановить борьбу, отступить, когда слишком разгорелись страсти».

Прикоснемся к Античности с помощью краткого, конспективного изложения мыслей философа Алексея Федоровича Лосева. Время олимпийских богов – героическое. Эллада превозносила разум человека, его честь, свободолюбие. Боги и герои – неделимы. И как не ощущать себя богоравным, когда человек вышел один на один на борьбу со стихией. Собственный разум, волю и руки человек начинает видеть как нечто великое и могучее, позволяющее ему дерзать, подчинять природу себе. Но глаза у греческих статуй – пустые. Искры сердца еще нет. Только искры разума. И крупица бессмертия. Она сродни чувству такой предельной полноты жизни, внутренней осмысленности ее, при которой смерть кажется несуществующей. Бессмертие греческих богов и героев – это бессмертие молодости. Это половодье жизни. Каждый обладает своей личной гармонией, но нет гармонии целого, взаимосвязей, причастности к вселенскому бытию.

Ларису Рейснер в юности называли «Ионийским завитком». Через несколько лет Л. Троцкий скажет о комиссаре Морского Генерального штаба, что она «соединяла в себе красоту олимпийской богини, тонкий ум и мужество воина».

Глава 21
ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ

Только бы не потерять горячих следов, которые ведут к вышедшим из земли источникам.

Лариса Рейснер

Среди женщин русской революции были ли еще «олимпийские богини»? Существовало «Землячество женщин – участниц гражданской войны», были землячества женщин-народоволок, женщин-революционерок. Но в Морском Генеральном штабе (в Адмиралтействе) среди комиссаров была только одна женщина – Лариса Рейснер.

В декабре 1917 года Лариса участвовала в переговорах с музейными работниками Эрмитажа, объявившими саботаж. В это же время бастовали чиновники, актеры императорских театров, преподаватели привилегированных гимназий и училищ.

Вот отрывок из дневниковой записи Надежды Аллилуевой от 11 декабря 1917 года (ей 16 лет, она учится в петроградской гимназии): «Я теперь в гимназии все воюю. У нас как-то собирали на чиновников деньги, и все дают по 2–3 рубля. Когда подошли ко мне, я говорю: „Я не жертвую“. Ну и была буря! А теперь все меня называют большевичкой, но не злобно, любя».

Очередное письмо из Наркомпроса от 27 января 1918 года, подписанное наркомом А. Луначарским и секретарем Художественного совета Л. Рейснер, в Эрмитаже вносят в журнал входящих бумаг и, «оставив без действия», сдают в архив. Письмо гласило:

«Уважаемые граждане! На Комиссариат по просвещению падает огромной важности и, при нынешних условиях, огромной трудности задача по охране музеев и дворцов… надежду на сохранение полностью доставшихся народу сокровищ можно питать только в том случае, если нам удастся превратить их в подлинное народное достояние, сделать их широко доступными и в то же время подготовить народные массы, по крайней мере, передние ряды их, к правильной оценке народного наследия».

«Забастовка» Луначарского и «баррикада» Горького

Нет яда более подлого, чем властнад людьми…

М. Горький

«Бастовал» один день и Анатолий Васильевич Луначарский. В отставку он подал 2 (15) ноября. Вечером в газетах появилось его заявление об отставке: «Я только что услышал от очевидцев то, что произошло в Москве. Собор Василия Блаженного, Успенский собор разрушаются. Кремль, где собраны сейчас все важнейшие художественные сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется. Вынести этого я не могу. Моя мера переполнена. Остановить этот ужас я бессилен. Работать под гнетом этих мыслей, сводящих с ума, нельзя. Я сознаю всю тяжесть этого решения, но я не могу больше».

В своих воспоминаниях Луначарский приводит слова Ленина, сказанные ему на следующий день: «Как вы можете придавать такое значение тому или иному старому зданию, как бы оно ни было хорошо, когда дело идет об открытии дверей перед таким общественным строем, который способен создать красоту, безмерно превосходящую все, о чем могли только мечтать в прошлом?» Народные комиссары отставки не приняли. До 1929 года Анатолий Васильевич оставался на посту наркома просвещения.

«Бастовал» Максим Горький. В своей газете «Новая жизнь» с весны 1917 года он публикует заметки о революции и культуре под заглавием «Несвоевременные мысли» – до весны 1918-го, когда Ленин закрыл газету в связи с началом Гражданской войны. «Он наш человек – он скоро поймет», – сказал при этом Ленин о своем друге Горьком.

Лариса разделяла «несвоевременные» мысли редактора, иначе она ушла бы из газеты. Приведем некоторые из «Несвоевременных мыслей» Горького.

От 14 июля 1917 года:

«Народ должен много потрудиться для того, чтобы приобрести сознание своей личности, своего человеческого достоинства. Этот народ должен быть прокален и очищен от рабства, вскормленного в нем, медленным огнем культуры.

Опять культура? Да, снова культура. Я не знаю ничего иного, что может спасти нашу страну от гибели. И я уверен, что если б

та часть интеллигенции, которая, убоясь ответственности, избегая опасностей, попряталась где-то и бездельничает, услаждаясь критикой происходящего, если бы эта интеллигенция с первых же дней свободы попыталась ввести в хаос возбужденных инстинктов иные начала, попробовала возбудить чувства иного порядка, – мы все не пережили бы множества тех гадостей, которые переживаем. Если революция не способна тотчас же развить в стране напряженное культурное строительство, – тогда, с моей точки зрения, революция бесплодна, не имеет смысла, а мы – народ, не способный к жизни».

От 7 декабря 1917 года:

«Пролетариат – у власти, ныне он получил возможность свободного творчества. Уместно и своевременно спросить – в чем же выражается это творчество? Декреты „правительства народных комиссаров“ – газетные фельетоны, не более того… и хотя в этих декретах есть ценные идеи – современная действительность не дает условий для реализации этих идей. Что же нового даст революция, как изменит она звериный русский быт, много ли света внесет она во тьму народной жизни?

За время революции насчитывается уже до 10 тысяч «самосудов»… Как влияют самосуды на подрастающее поколение? Это – наши дети, будущие строители жизни. Дешева будет жизнь человека в их оценке…

Нет яда более подлого, чем власть над людьми, мы должны помнить это, дабы власть не отравила нас, превратив в людоедов еще более мерзких, чем те, против которых мы всю жизнь боролись…»

Из 22-й статьи:

«Самый грешный и грязный народ на земле, бестолковый в добре и зле, опоенный водкой, изуродованный цинизмом насилия, безобразно жестокий и, в то же время, непонятно добродушный – в конце всего – это талантливый народ».

Из 32-й статьи:

«Моя статейка по поводу заявления группы матросов о их готовности к массовым убийствам безоружных и ни в чем не повинных людей („за убийство наших лучших товарищей“) вызвала со стороны единомышленников этой группы несколько писем, в которых разные бесстыдники и безумцы пугают меня страшнейшими казнями. Это – глупо, потому что угрозами нельзя заставить меня онеметь, и чем бы мне ни грозили, я всегда скажу, что скоты – суть скоты, а идиоты – суть идиоты и что путем убийств, насилий и тому подобных приемов нельзя добиться торжества социальной справедливости. Но вот письмо, которое я считаю необходимым опубликовать, как единственный

человеческий отклик на мою статейку:

«…Я хочу верить, что Вы далеко не всех носителей матросских шинелей считаете разнузданными дикарями… Читая Вашу статью, я болел душою не только за себя, но и за моих товарищей, которые невинно пригвождены к позорному столбу общественного мнения. Я живу с ними, я знаю их, как самого себя, знаю как незаметных, но честных тружеников, чьи мысли не проникают на суд широкой публики, а потому я прошу Вас сказать о них Ваше громкое, задушевное слово, так как наши страдания – не заслуженные»».

Из 34-й статьи:

«Советская власть снова придушила несколько газет, враждебных ей. Бесполезно говорить, что такой прием борьбы с врагами – не честен, бесполезно напоминать, что при монархии порядочные люди единодушно считали закрытие газет делом подлым, ибо понятие о честности и нечестности, очевидно, вне компетенции и вне интересов власти, безумно уверенной, что она может создать новую государственность на основе старого – произвола и насилия».

Из 38-й статьи:

«В „Правде“ напечатано: „Горький заговорил языком врагов рабочего класса“. Это – неправда. Обращаясь к наиболее сознательным представителям рабочего класса, я говорю:

Фанатики и легкомысленные фантазеры, возбудив в рабочей массе надежды, не осуществимые при данных исторических условиях, увлекают русский пролетариат к разгрому и гибели, а разгром пролетариата вызовет в России длительную и мрачную реакцию. В чьих бы руках ни была власть, – за мною остается мое человеческое право отнестись к ней критически».

Виктор Шкловский хорошо знал Максима Горького, в 1919 году он был свидетелем того, как Горький немедленно рванулся отстаивать справедливость. Перед ними по Александровскому парку шла пара – солдат с женщиной. Солдат ударил свою спутницу, она побежала от него в слезах. Горький в своем хорошо знакомом по фотографиям длиннополом пальто и большой шляпе догнал солдата и, слегка пригнувшись, снизу нанес удар кулаком в челюсть обидчика. Солдат упал. Вернувшейся женщине Горький сказал: «Пусть знает, когда придет в себя, что зло немедленно наказуемо». Оказывается, Горький умел мастерски драться и, если надо, защитить себя.

Но вернемся к Ларисе Рейснер.

Культурное строительство

Повод к окончанию саботажа сотрудников Эрмитажа дали Брест-Литовские переговоры России с Германией и ее союзниками о мире в феврале 1918 года. Немцы потребовали возврата кассельских картин. Тяжба с этими картинами возникла еще при Александре I, который приобрел эти полотна за солидную сумму (около миллиона франков) у Жозефины Богарне, первой жены Наполеона. Но до продажи эти картины принадлежали ландграфу Гессен-Кассельскому, который выразил свое недовольство. Александр I согласился вернуть ему находившиеся еще в Париже шедевры при условии возмещения всех уплаченных за них денег. У ландграфа денег не нашлось.

К директору Эрмитажа Дмитрию Ивановичу Толстому обратились хранитель галереи драгоценностей Сергей Николаевич Тройницкий, ученый-античник, академик Яков Иванович Смирнов, заместитель директора Эдуард Эдуардович Ленц с пожеланием, чтобы хранитель картинной галереи Джеймс Альфредович Шмидт нашел необходимые архивные документы о праве на картины, хранящиеся в Эрмитаже. Большевики большевиками, а сохранять коллекцию Эрмитажа для родины – их задача. Докладная записка Д. А. Шмидтом была составлена и отдана членам нашей делегации. Картины эти до сих пор находятся в Эрмитаже.

В конце 1918 года у Александра Бенуа возникла идея организовать выставку, первую после революции, в Эрмитаже. Директором к тому времени был уже С. Н. Тройницкий, он поддержал замысел, который был осуществлен сотрудниками Эрмитажа весной 1919 года. В первый день пришло 30 человек, с каждым днем посетителей становилось все больше и за неделю на выставке побывали уже 750 человек. Тройницкий по своему обыкновению шутил: «Возможно, господа, что успех выставки объясняется причинами не столь эстетического, сколь гастрономического свойства: где же еще, если не у нас – на натюрмортах фламандцев, найдешь сейчас в Петербурге такую аппетитную снедь, такую натуральную живность?»

Посетители просили устраивать популярные лекции, подобные тем, что проводились во Дворце искусств.

Об экскурсиях и лекциях в Эрмитаже поднимался вопрос еще в 1914 году на Всероссийском съезде художников. Но директор Эрмитажа граф Д. И. Толстой отвечал, что сама мысль о возложении на музей задачи «открывать народным массам источник эстетического наслаждения не выдерживает критики».

Данные за первые революционные годы скупы, и тем не менее с осени 1918-го по осень 1919 года Эрмитаж провел 215 экскурсий, на которых побывало шесть тысяч человек. Основную часть экскурсантов составляли школьники и рабочие, солдаты и моряки. Экскурсоводов готовили на курсах при музеях, в основном из учителей. Долгожданная реформа музейной работы сдвинулась с места.

Так постепенно втягивались в работу и другие учреждения.

Для ощущения времени приведем дневниковую запись безвестного петроградского чиновника, который тоже бастовал с осени 1917 года: «2 апреля 1918 год, вторник. Советская власть окончательно утвердилась. И, быть может, поэтому становится разумнее… Большевистское настроение охватило всех, весь народ-богоносец, и против него политически бороться нельзя. Единственный выход – время; надо терпеливо ждать, когда большевизм сам собой утихнет, во что-нибудь эволюционируется и, наконец, разум, а не политическая партия начнет управлять людьми».

Одним из первых дел культурного строительства стало издание книг классики для народа, доступных по цене. Комиссия по изданию русских классиков заседала в Зимнем дворце. Сохранились протоколы собраний комиссии в личном архиве К. Чуковского.

На втором заседании присутствовали писатели А. Блок, П. И. Лебедев-Полянский, П. О. Морозов, Л. Рейснер, художники А. Бенуа, Д. П. Штеренберг и другие, П. О. Морозов – пушкинист, Ф. И. Калинин – пролеткультовец, комиссар Эрмитажа – Н. Н. Пунин, представляющий футуризм. Обсуждалось: по какой орфографии – новой, которая была введена 23 декабря 1917 года постановлением правительства, или по старой издавать книги для народа? Председательствовал А. Луначарский. Он отметил, что «при симпатии учителей к новой орфографии есть уверенность, что в школе она будет целиком осуществлена… Раз школа окончательно перейдет к новой орфографии, то и в вопросе об орфографии классиков приходится быть решительным. Они издаются не на короткий срок…». Ввиду острой нехватки книг срочное издание можно предпринять по старым матрицам.

Возражали Блок, Морозов, Рейснер. Блок считал, что «правописание неотъемлемо от автора», видя и чувствуя в нем часть художнической техники, в которой особый выход для творческой энергии.

Лариса думала, что новые издания окажутся в море старых и для школьников начнется хаос. Другой ее аргумент – «нужно раздельно решать вопрос об орфографии для поэтов и прозаиков

– стих для глаза от новой орфографии страдает, строфа сядет; октава Пушкина, например, теряет свою совершенную линию. Кроме того, без „ъ“ как отделителя слов малограмотный потеряется на сплошной строке, все слова сольются».

Решающим оказалось мнение Иванова-Разумника, который был безусловно за новую орфографию для изданий народных и за сохранение старой для академических.

Затем возник спор о вступительных статьях и примечаниях к тексту. А. Луначарский был против вульгаризаторского превращения этих разъяснений в примитивную форму политической агитации. П. Морозов высказался только за биографию и обзор идей «соответствующего момента». Лариса Рейснер была против субъективной эстетической критики в предисловии. А. Блок был против исключительно «социологической оценки». Но вместе с тем сделал оговорку, что «находит возможным присутствие социологического момента, берущего перевес над эстетическим, поскольку социология в наше время более разработана, чем поэтика».

Возможно, именно на этих заседаниях состоялось знакомство Ларисы с Александром Блоком, продолжавшееся в августе – сентябре 1920 года чуть ли не ежедневными встречами, прогулками, беседами.

В январе – феврале 1918 года Лариса оказалась на распутье. Условия жизни катастрофически ухудшались. Осьмушку фунта хлеба (то есть 50 граммов) – и ту давали не каждый день. Екатерина Александровна писала подруге в письме, что они питаются только мороженой капустой. Их собака Тэкки, такса (на рубеже веков таксы были в моде, у Набоковых тоже была такса), неистово визжит при виде хлеба, требуя его себе. Гога исхудал до невозможности (Игорь работал вместе с отцом в Комиссариате юстиции). В архивных бумагах Ларисы про быт – ни слова. В более поздних записях для памяти попадается одна с ее размерами для портного, из них получается, что Лариса была около 170 сантиметров ростом (по длине юбки) и носила 48-й размер одежды.

Из письма Ларисы к неустановленному лицу:

> «Как дурно уставать! Как дурно привыкать к усталости: к пустой голове без воображения, без желания обмануть себя, – без смеха. Какая-то ровная дорога по колено в снегу, длинная, длинная, вязкая, превязкая – даже нос отморозить некогда… Даже Тэкки – кажется, Вы знакомы с нашим четвероногим другом – не спит, перебегает с места на место и в тлеющую печку

заглядывает беспокойно и недовольно.

Вот только допишу – сяду рядом с ним на ковер, в тепло и стану оживать. Ну, Лариса Михайловна, подумайте, разве так уж все ненужно и плохо. Во-первых, вы еще молоды, во-вторых, вы всегда одна с людьми и без людей, вы уже научились много молчать, много прощать, не помнить злого, выдумывать хорошее…»

От этого периода сохранился еще один набросок письма, обращенного к Д. П. Одни инициалы, без фамилии. Но из письма ясно, что оно было предназначено художнику Д. П. Штеренбергу, который, по словам его старого друга Луначарского, был «решительным модернистом». В начале 1918 года Штеренберг служил в Народном комиссариате просвещения заведующим отделом изобразительных искусств. В состав отдела входили художники Н. Альтман, С. Чехонин, скульптор А. Матвеев, Н. Пунин… Позднее присоединились В. Маяковский и О. Брик, архитектор В. Щуко.

Фамилия Штеренберга в некоторых изданиях пишется как Штейнберг.

«Дорогой Д. П.

Меня совершенно успокоило Ваше письмо. Все оказалось просто сплетней, а их про меня много ходит по Петербургу. Ваше дружеское и искреннее письмо меня совершенно успокоило. Я считаю, весь инцидент между нами конченным, вижу, что Вы не только удостоверились в моей правоте, но и поверили ей – за все вместе крепко жму Вашу руку.

Что касается вообще моей работы в Зимнем – мне хочется просто и до конца сказать Вам об этом – она меня угнетает, и вот почему. Вы не могли не заметить, как призрачны и расплывчаты все мои функции. Понемногу и везде, с вечной боязнью запутаться в чужое и, совершенно этого не желая, – нарушить те дружеские границы, которые существуют между всеми нами. Мне кажется, что я сделала то, что должна была – пока ничего не было точно определено, но теперь, слава богу, дело налаживается, и я вижу, что оно еще больше наладится без меня. Есть советы, есть комиссия. И будет второй совет, Георгий Степ. фактически уже заменяет меня – значит, все в порядке. А такое междуведомственное висение в воздухе при совете, который зависит и от Ятманова…»

Конца нет. Георгий Степанович Ятманов – комиссар правительства по музейному делу.

Лариса уходит из Зимнего дворца. За ней тянется сплетня, будто бы она «захватила» дворцовый алмаз, которым будет в 1918 году вычерчивать на зеркальном или оконном стекле на царской яхте «Межень» свою подпись рядом с подписью императрицы.

Достоверно известно, что украшения Лариса любила, как и наряды. Ее товарищ по университету, будущий писатель Вивиан Итин был увлечен Ларисой, позже посвятит ей поэму «Солнце сердца». А в 1917 году они часто гуляли по городу, на Островах. Однажды Лариса подобрала котенка и сунула его за пазуху Вивиану, чтобы тот его спас. Вивиан весной 1917 года закончит университет и уедет к родителям в Уфу. Его сестра Нина Азарьевна напишет в воспоминаниях, что родители с обожанием смотрели на красавца сына («принца», по определению Л. Сейфуллиной, лучшей подруги Ларисы). Отец не знал, что ему подарить, и Вивиан попросил заказать по рисунку ожерелье для Ларисы из уральских камней. Ожерелье было сделано очень искусно из топазов необычной грани и аметистов, а завершалось небольшим крестиком тоже из уральского камня. К сожалению, таких искусных умельцев после революции уже не было.

Воспоминания Нины Азарьевны передала мне дочь Ви-виана Итина, названная в честь Рейснер – Ларисой. С Рейснерами Вивиан Итин дружил до конца их жизни. Сам он погиб в сталинских лагерях.

Анкета Ильиных

Самый короткий месяц в году – февраль. А в 1918 году он стал короче еще на 13 дней. По декрету Совнаркома, за 31 января следовало 14 февраля. Единственный декрет, который в Эрмитаже был встречен с одобрением, – календарь теперь будет общий, европейский.

Тем не менее в коротком феврале Лариса успела ближе познакомиться с братьями Ильиными: Федором Ильиным – Раскольниковым и Александром Ильиным – Женевским. Эти Ильины находились в троюродном родстве с Храповицкими, а значит, приходились родственниками и Рейснерам. Лариса заполнит при встрече с ними «альбомную анкету».

Федор Раскольников, родившийся 28 января 1892 года, отметил день рождения еще по старому календарю. И, может быть, после 1926 года снова будет отмечать его по старому стилю, потому что по новому его день рождения совпадет с днем смерти Ларисы Рейснер – 9 февраля.

Двадцать девятого января Раскольников был назначен заместителем народного комиссара по морским делам. Он становится известен в стране. Именно он на заседании Учредительного собрания зачитывал заявление об уходе большевистской фракции.

Члены Учредительного собрания от эсеров, Марк Вениаминович Вишняк (1883–1977), в будущем бессменный редактор русского эмигрантского журнала в Париже «Современные записки», и Илья Исидорович Фондаминский (1880–1942), соредактор того же журнала, видели Федора Раскольникова на трибуне Учредительного собрания. С той же трибуны несколько раз выступал и Фондаминский. Все трое встретятся на волжском пароходе через полгода, летом 1918-го. В то время Федор Раскольников будет членом Реввоенсовета фронта.

После разгона Учредительного собрания И. Фонда минский участвовал в разработке планов по борьбе с большевиками, «захватчиками власти». Решено было отправиться в Поволжье, где против большевиков стали подниматься крестьяне, в Саратове советскую власть свергли уральские казаки, в Ижевско-Воткинском районе против нее восстали местные рабочие. Вишняк и Фондаминский стали пробираться на фронт разгорающейся Гражданской войны.

Из воспоминаний Марка Вишняка:

«Только мы сели на пароход (в Кинешме) и отчалили, мимо

меня пронесся бегом по палубе памятный мне по заседанию Учредительного собрания мичман Ильин-Раскольников. Надо было немедленно предупредить Фондаминского, который отсиживался в смежном с рестораном помещении. Не успел я поделиться с ним неприятной вестью, как дверь распахнулась и в нее вихрем влетел Раскольников. Не произнеся ни слова, он уселся на подоконник и, мефистофельски скрестив руки, молча уставился взглядом на Фондаминского. Раскольников был известен как один из руководителей „отложившегося“ от России полуанархического-полубольшевистского Совета рабочих и солдатских депутатов в Кронштадте. Он мог знать Фондаминского и как „коллегу“, комиссара Черноморского флота. Молчаливая дуэль длилась недолго. Раскольников вскочил с подоконника и ринулся в дверь.

Последствия казались очевидными и неминуемыми. По пароходу пронеслось волнение. Раздался громкий приказ: предъявить документы! Не оставалось сомнений: нас берут, ибо нетрудно установить, что наши документы фальшивые, гражданская война в разгаре, – судьба наша ясна. Пароход подходит к Юрьевцу, где нам предстояло пересесть с волжского парохода на меньший, поднимающийся по Унже. Я свесился с палубы, ожидая, как поведут арестованного Фондаминского. Но он шел один, без провожатых. Это было неожиданно, маловероятно, поразительно… Фондаминский все повторял: «Совершенно непонятно. Настоящее чудо…» Расправиться с нами, или по меньшей мере задержать людей с подложными документами, очутившихся в верховьях Волги, когда по среднему течению проходил фронт, диктовал Раскольникову элементарный долг большевика. И он его нарушил явно и намеренно. Почему? В чем дело?»

Фондаминский полагал, что «он нас пожалел». Вишняк же считал, что Раскольников был и оставался «зверем», пока его самого не коснулась беда и он стал невозвращенцем. После смерти Ф. Раскольникова И. Бунаков-Фондаминский поможет его жене Музе Васильевне, оставшейся одной с новорожденной дочерью.

В приведенном отрывке Раскольников стремителен, порывист, решителен. Возможно, эти природные черты, как и его геройский характер, привлекли к нему Ларису.

Оба брата Ильины были внебрачными детьми протодиакона Сергиевского всей артиллерии собора Федора Александровича Петрова и дочери генерал-майора, ставшей продавщицей винной лавки, Антонины Васильевны Ильиной. Отец как вдовый священник не имел права жениться вторично. Со стороны отца

предки свыше 200 лет были священниками в Петропавловской церкви села Кейкино Ямбургского уезда; рассказывали, что другие предки отца происходили из рода дворян Тимирязевых, впоследствии они получили фамилию Осторожновых и лишь в сравнительно недавнее время были переименованы в Петровых, по имени одного из святых, в честь которых построен Кейкинский храм. «Помимо отца, – пишет в 1913 году Федор Федорович Ильин-Раскольников, – мой дед Александр Федорович и мой дядя Николай Александрович Петровы также покончили жизнь самоубийством, как передают, из-за женщин. Отец ушел из жизни в 1907 году в 62 года, не дожидаясь судебного расследования по иску его прислуги об изнасиловании. По мнению адвокатов, исход дела был в пользу отца. По свидетельству знавших отца людей, он обладал мягким характером и выдающимся голосом».

Дети священника стали атеистами. От отцовского рода Федор Раскольников получил не очень устойчивое психическое здоровье. В 1912 году, после пяти месяцев тюрьмы за работу в большевистской газете «Правда», Федор Федорович попал на полгода на лечение в Психоневрологический институт. Возможно, там он и познакомился с будущим своим другом, студентом первого курса этого института Семеном Рошалем. Иногда на Ф. Раскольникова находили неконтролируемые состояния.

От отца Федор унаследовал еще и мягкий нрав. Его очень любила мать, любили матросы. По линии матери Ильины ведут свое происхождение от князя Дмитрия Андреевича Галичского. «В XV–XVI столетии мои предки занимали придворные должности, служили стольниками, чашниками, постельничими и т. п., – писал Ф. Раскольников в автобиографии в 1923 году. – Мой прапрадед, Дмитрий Сергеевич Ильин, отличился во время Чесменского сражения 1870 года. В честь его был назван минный крейсер Балтийского флота „Лейтенант Ильин“. Мой прадед Михаил Васильевич Ильин, подполковник морской артиллерии, оставил после себя несколько научных исследований. Мой дед Василий Михайлович Ильин, артиллерийский генерал-майор, преподаватель Михайловского артиллерийского училища, умер в 1885 году. Мать родилась 3 июня 1865 года в Петербурге. Брат Александр родился 16 ноября 1894 года».

Дочь генерал-майора стала незаконной женой священника, и пришлось ей работать в винной лавке! Сложная судьба, в которой к тому же были обыски и аресты сыновей. Подвиг ее прадеда в Чесменском сражении 1765 года состоял в том, что он зажег все корабли противника, около сотни, с помощью шлюпки, начиненной порохом. Невероятная Ильинская смелость передалась потомкам.

В 1900 году Федя был отдан в реальное училище принца П. Г. Ольденбургского (на углу Дровяной улицы и 7-й Красноармейской). Здесь он провел восемь лет жизни, бывая дома только по субботам. Окончил курс с наградой – «В этом кошмарном училище, где еще не перевелись бурсацкие нравы, где за плохие успехи учеников ставили перед всем классом на колени, а поп Лисицын публично драл за уши…» Тем не менее училище дало бесплатное образование и открыло дорогу в Политехнический институт, который Федор Раскольников окончил в 1913 году по экономическому отделению. В сентябре того же года стал слушателем Императорского Археологического института. Кроме того, занимался любимой им библиографией у профессора С. Венгерова. В том же 1913 году он работал статистом в театрах: Александрийском, Михайловском и Комиссаржевской.

В 1914-м Федор Раскольников поступил в Отдельные гардемаринские классы, учрежденные для студентов высших учебных заведений, блестяще выдержав конкурсные испытания. Летом 1915 года он отправился в учебное плавание на Дальний Восток и в Японию. 25 марта 1917 года был выпущен в звании мичмана и тут же отправлен к месту службы в Кронштадт. Вообще на флот не брали политически неблагонадежных, но у Федора были выдающиеся способности, хорошее поведение, и, по воспоминаниям матери, его отстояли.

Александр Ильин был отчислен из восьмого класса Введенской гимназии за участие в «витмеровском» деле. Московский миллионер Николай Александрович Шахов оплатил бунтовавшим гимназистам дальнейшее их образование за границей. Александр поступил в Женевский университет на факультет общественных наук. Увлечение шахматами вывело его в ряды известных гроссмейстеров, он стал первым чемпионом России, выигравшим у Касабланки. Погиб А. Ф. Ильин-Женевский во время эвакуации из Ленинграда 3 сентября 1941 года на Ладожском озере. В баржу попала немецкая бомба. Похоронен в Новой Ладоге. Его жена Т. А. Ильина-Женевская через несколько дней покончила с собой. Странное «самоубийственное» влияние священнического рода. Антонина Васильевна Ильина погибла в блокадном Ленинграде в 1942 году.

Чем еще, помимо героического характера, мог привлечь Ларису Федор Раскольников? Он любил и хорошо знал литературу, мечтал, как и она, о переустройстве мира, был душевно мягок (от застенчивости быстро краснел), ну и, конечно, слава революционера, высокие посты, им занимаемые. Ее

родители были против ее брака с Раскольниковым, считая, что они совершенно разные люди. Но в феврале 1918-го она еще не давала согласия на брак. Лишь заполнила по просьбе Александра Ильина шуточную анкету.

Вопросы этой «альбомной анкеты», возникшей в Лондоне, были известны еще со второй половины XIX века. Кто только не отвечал на нее: К. Маркс, Вл. Соловьев, М. Волошин, А. Блок, Н. Рерих, А. Бенуа… Назывался вопросник «Исповедь. Альбом для записи мнений, мыслей, чувств, идей, особенностей, впечатлений и характеристик друзей».

Небезынтересно привести ответы на него не только Ларисы, но и некоторых из самых заметных людей той эпохи.

Ваша любимая добродетель?

Лариса – «Творчество и enragee (фр. необузданность)».

А. Блок (16 лет) – «Ум и хитрость».

М. Волошин (21 год) – «Самопожертвование».

Н. Рерих (27 лет) – «Без покоя».

Вл. Соловьев (35 лет) – «Правдивость. Но… не следует ни в чем быть педантом».

Любимое Вами качество у мужчины? У женщины? Лариса – «Не знаю, все хорошо». Вл. Соловьев – «Постоянство. Сердечность». А. Блок – «Ум. Красота».

М. Волошин – «Отсутствие в характере специфических особенностей пола и способность понимать причины действий других людей, широкие взгляды».

Н. Рерих – «Талант, определенность цели. Женственность».

Ваше любимое занятие?

У Ларисы нет ответа.

Вл. Соловьев – «Писать, пока пишется, и слушать умных людей».

М. Волошин – «Путешествия по неизвестной местности пешком и общение с интересными людьми».

Н. Рерих – «Работа».

Отличительные черты Вашего характера?

Лариса – «Сочиняя, говорю правду и всегда обманываю, говоря правду».

Вл. Соловьев – «Смотреть на солнце, чтобы чихнуть. Упрямство и уступчивость».

А. Блок – «Нерешительность».

М. Волошин – «Ни на чем не сосредоточиваться и ничего не доводить до конца».

Ваше представление о счастье?

Лариса – «Счастье – чудо. В том и состоит его прелесть, что никто не знает, в чем оно состоит и когда для него придет время».

Вл. Соловьев – «Вера и любовь».

А. Блок – «Непостоянство».

М. Волошин – «Жить полной духовной жизнью».

Н. Рерих – «Найти свой путь».

Ваше представление о несчастье?

Лариса – «Слабость и ложь. Неизлечимо».

А. Блок – «Однообразие во всем».

М. Волошин – «Ни одной чертой, ни одной способностью не выделяться из толпы».

Вл. Соловьев – «Сидеть рядом с Астафьевым». *Ваши любимые цвета и цветы?*

Лариса – «Осенние розы. Желтый овал, бледно-розовое сердце».

А. Блок – «Красный».

М. Волошин – «Голубой, ландыш».

Н. Рерих – «Лиловый (ультрамарин, краплак), индийская желтая».

Если бы Вы были не Вы, кем бы хотели быть?

Лариса – «Или совершенным животным, большим северным волком, лосем, дикой лошадью или кем-нибудь из безумных и мужественных людей Ренессанса».

А. Блок – «Артистом императорского театра».

М. Волошин – «Народным вождем вроде Лассаля, Гарибальди или Кая Гракха».

Н. Рерих – «Путешественником, писателем».

Вл. Соловьев – «Собою, вывороченным налицо».

Где бы Вы предпочитали жить?

Лариса – «Никогда не жить на месте. Лучше всего на ковре-самолете».

А. Блок – «В Шахматово».

М. Волошин – «В тех местах, откуда я каждую минуту мог бы уехать, а еще лучше в дороге». Н. Рерих – «На родине». Вл. Соловьев – «В России и Египте». *Любимые поэты и писатели?*

Лариса – «Их очень много. Но в прозе лишь классики. Римляне, французы 17 века, новые утописты, романтики. Или так. В прозе – счастье, в стихах – страдание».

А. Блок – «Пушкин, Гоголь, Жуковский, Шекспир».

М. Волошин – «Гейне, Гауптман, Некрасов, Байрон, Верлен, Диккенс, Достоевский, Щедрин, Чехов».

Н. Рерих – «А. К. Толстой, Л. Толстой, Гоголь, Рескин».

Вл. Соловьев – «Пушкин, Мицкевич, Гофман».

Любимые художники и композиторы?

Лариса – «Очень люблю плохую музычку. Шарманки. Бродячие оркестры. Таперы в кино. Сверх того Бетховена,

Скрябина».

М. Волошин – «Репин, Крамской, Деларош, Мункачи, Бетховен, Шуман, Григ, Римский-Корсаков».

Н. Рерих – «В. Васнецов, Бетховен, Вагнер, Глинка, Бородин, Римский-Корсаков».

Ваша любимая героиня в действительной жизни?

Лариса – «Анна Ахматова».

М. Волошин – «Героиня стихотворения Тургенева „Порог“, Сонечка Мармеладова».

А. Блок – «Екатерина Великая». *Ваши любимые еда и питье?*

Лариса – «Господи, конечно, мороженое, миндаль, жаренный в сахаре, кочерыжка от капусты». А. Блок – «Мороженое и пиво».

М. Волошин – «Икра, майонез, макароны жареные, клубничное варенье».

Н. Рерих – «Квас, ростбиф, увы, недожаренный».

Ваши любимые имена?

Лариса – «Те, которые мы сами придумываем. Меня, например, маленькой звали Лапсьевна – бессмысленно и любимо».

К чему Вы больше всего питаете отвращение? Лариса – «К насилию». А. Блок – «К цинизму».

М. Волошин – «К глупым, грязным и пошлым людям». Н. Рерих – «К пошлости и самодовольству». *К каким недостаткам относитесь наиболее терпимо?* Лариса – «К глупости».

А. Блок – «Те недостатки и ошибки, которые человек совершает необдуманно».

М. Волошин – «Ко всем своим».

Н. Рерих – «Увлечение – аффект».

Вл. Соловьев – «К пьянству».

Каково Ваше настоящее душевное состояние?

Лариса – «Разрушилось, и все-таки думаю, что обломков моих хватит на новое: на Бога, на сильную волю и на любовь».

Ваш любимый девиз?

Лариса – «Делайте с собой что угодно, но не надо мучить других. Терпеть не могу аккуратность и точность и книги на месте».

Н. Рерих – «Вперед без оглядки».

М. Волошин – «Все понять, все простить».

Вл. Соловьев – «Бог не выдаст, свинья не съест».

Анкета Ларисы подписана так: «23 года без марта и апреля. Зовут по-гречески – Чайка. Пол: немного бес, немного творчество, остальное из адамова ребра. Общественное положение – поэтесса и лентяй».

Александр Ильин-Женевский добавил: «С подлинным верно».

Переезд в Москву

Двадцать первого февраля 1918 года было опубликовано воззвание «Социалистическое отечество в опасности!». Немецкие войска, воспользовавшись неопределенностью Брест-Литовских переговоров (Л. Троцкий отказался подписать мирный договор), захватили большую часть Украины, Псков, Нарву, под угрозой был Петроград.

Вечером 11 марта правительство уехало в Москву. Кроме Наркомата просвещения – нарком Луначарский убедил Ленина, что ему надо остаться в Петрограде. Уехал в Москву и М. А. Рейснер, он заведовал одним из отделов Наркомата юстиции и был председателем исполкома служащих. В это время им написан декрет об отделении Церкви от государства. Также он работал в комиссии по составлению первой советской конституции. М. А. Рейснер вступил в партию большевиков летом 1917 года, когда она была особенно непопулярна. В 1917 году у Михаила Андреевича вышли переработанный первый том «Государства» и «Пролетариат и мещанство» с подзаголовком «Две души русского народа в учениях Л. Андреева и М. Горького».

Из документов известно, что 25 марта М. А. Рейснер выехал в Петроград за семьей. В Москву с ним поехал, видимо, только Игорь, потому что Лариса была больна.

«Мой милый Патрик» – так называл Ларису в сохранившихся мартовских письмах Андрей Богословский, служивший врачом на Балтийском флоте (больше о нем ничего пока не известно). В их переписке есть отголосок того «разрушенного» душевного состояния Ларисы из «анкетных» признаний.

«Еще немного о Вас лично, милая Лариса Михайловна… Из тупика, в котором Вы сейчас находитесь, есть 2 выхода. Подумайте, милая Лариса Михайловна, молю и Вас и Бога, пощадите и себя и еще многих, выбирайте один из этих 2-х единственных путей, обойдите мужественно эту зловещую, дьявольскую яму, из которой не выходят даже прекраснейшие… Помоги Вам Бог принять одно из этих решений и спасти себя… пока еще не поздно… Мне лично хочется только сказать Вам и сказать именно словами Гумилёва… За честность, за любовь его… Андрею ужель не будет Патрик дан…

Это не подсказ, решиться на него я не могу, так как слишком больно задета Ваша жизнь… Решайте сами, будьте мудры и мужественны, не кладите на чашку весов мою жизнь и этот маленький, маленький фунтик… не надо…

Ну, прощайте – пора выезжать мне. Целую Вашу руку.

Андрей.

11 марта, воскресенье 18 года.

…Относительно полнейшего развала во флоте, в среде комиссаров молчу, так как не могу поверить слышанному. Грустно и больно до слез. Не знаю, что ждет меня там, приемлемы ли окажутся мои условия, на которых я соглашусь занять пост комиссара Б. флота… Поберегите ножку… Сегодня я поехал в Лесное за необходимым. Может, привезу яиц».

У Ларисы обострилась застарелая болезнь ног, тянувшаяся с детства, как считали родители, из-за мальчиковой неудобной обуви, которую, как более дешевую, она носила.

Андрей Богословский куда-то уезжал. Приглашал ее ехать с собой через Японию, Китай в Сингапур, в Сиам. Сохранился маленький набросок ее письма к Богословскому (она хотела его проводить в какую-то поездку):

«Конечно, я была в гавани, Андрюша, и меня не пустили дальше ворот, несмотря на три белые хризантемы и очень жалкий вид покинутой девушки, при помощи которого я хотела умилостивить двух усачей из таможни. Над Вашей поездкой смеялась до слез – могу себе представить нашего общего друга, выползающего на палубу после всех потрясений, с небритой бородой, дивным красноречием и очаровательной бравурадой! Мое собственное поведение…» Далее оборвано.

В апреле Лариса приехала в Москву, где жила вместе с матерью в Лоскутной гостинице в начале Тверской улицы. Туда 16 апреля приходил Вивиан Итин, тот самый, кто подарил ей ожерелье, может быть, тогда и подарил. Он писал ей: «Я не помню, когда мы виделись в последний раз. У Вас были очень далекие глаза и почему-то печальные и это казалось мне странным, так как юноши не верят Шопенгауэру, что счастья не бывает. Сегодня Екатерина Александровна сказала, что Вы больны, опасно больны, и волны ее беспокойства передались мне и не утихают, как волны неаполитанской баркаролы в моем сознании и в Вашем. Екатерина Александровна, сама такая бледная, такая озабоченная сновидениями жизни или тем, что они по необходимости преходящи, что стала совсем пассивной и утомленной, словно мир навсегда замкнулся красным раздражающим коридором грязноватого отеля. Я спокоен, моя воля пламенеет более, чем когда-либо, потому что я мало думаю о настоящей жизни, но я не знаю, как мне передать мое настроение. Будем выше… Ах, еще выше!.. Недавно мечтали с Вами об Австралии».

Вивиан Итин был короткое время служащим Наркомата юстиции. В 1919 году он оказался в колчаковской Сибири.

В Лоскутной гостинице М. Рошаль встречался с Ф. Раскольниковым и Ларисой Рейснер. Может быть, выбор Ларисы, о котором пишет Андрей Богословский, состоялся в созревшем решении выйти замуж за Раскольникова? Через четыре года Сергей Кремков напишет ей о том, что Богословский «находится на рудниках в Киевской губернии, томится (брак его несчастлив) и тоскует. Вот до чего доводит мистицизм, увлечение Индией и спортом».

В газете «Известия» 12 мая появилась статья Ларисы Рейснер «Первое мая в Кронштадте».

Петербургская «стая годов»

Свое 23-летие Лариса встретила по дороге в Кронштадт.

Была ли в это время квартира на Большой Зелениной еще рейснеровской? К этому времени относится набросок рассказа о поэте, в котором, возможно, отразилась недавняя болезнь Ларисы:

«Возможна ли смерть? Странно, что именно в этот теплый дождливый вечер, такой майский со своими мокрыми колокольнями, с облаками отяжелевшего дыма и криками молодых ласточек – я впервые думаю о „Безносой“.

…И вдруг вспоминаешь, ведь времени больше нет… Чудесная река вне времени, твои пороги, на которых дух пенится и ниспадает хрустальными водопадами, твои пороги сделаны из чистой боли, твои острые кряжи непрерывных мучений отточены… В омутах, полных тины, со дна которых ни одно растение не протянет к свету широкого листа, покоится время, упавшее туда как быстрое кольцо с истощенной руки, когда допишутся последние строки этого рассказа. Между тем, собрав все свои силы, воображение возвращает к прошедшим годам юности, патетическим ролям, озвученным с безвестных подмостков неуверенным голосом… Вот и бесследно исчезнувший город, цель долгого скитания. Со сложенными крыльями, падая, и радостным криком рассекая лазурь, вожак стаи годов возвещает мечте (?) свое возвращение к маленькому и мутному окну пятиэтажного дома. Здесь мы начинали – я и мои двадцать лет. Все осталось без изменения. Стеклянный потолок, зимой засыпанный снегом и страшно тяжелый (в одно прекрасное утро дворники лопатами откапывают солнце, спрятанное за ним), и зеркала. Есть часы, хранящие свет закатов и зорь, и неудобный диван, и дружелюбная печь. И даже книги неизменно разбросаны на постели, оставленные мной внезапно, как друзья, которым не дали договорить, которых грубо не дослушали».

Андрей Богословский тоже оставил в письме прощальные строки о доме на Большой Зелениной: «Первые дни после Вашего отъезда я был прямо болен, милая Лариса Михайловна, меня ужасно тянуло наверх – в Вашу комнату, к книгам, столику, серому халату… Только теперь, милая Лариса Михайловна, понял я наконец тот необыкновенный духовный мир, в котором Вы жили и выросли в большого человека, только теперь понял я и полюбил по-настоящему – чувством, а не рассудком Ваш мир искусства, читая Ваши милые книги! Сколько их у Вас? Какая Вы счастливая и умная! Я так жду теперь вечера – в 11 часов я бросаю чертежи и усаживаюсь читать, прочел Ронсара, Лозинского, Готье, Блока,

Гумилёва… и меня тянет теперь к Вашим книгам неудержимо… Пусть даже я больше не увижу Вас, Вы не придете, мы не встретимся, пусть Вы не захотите больше видеть меня – это может случиться, так как при всех Ваших данных, так ярко выделяющих Вас из среды людей,[вы] все же слишком легкомысленно влюблены в жизнь…»

Лариса выбрала любовь Федора Раскольникова, который потом писал ей при расставании: «Конечно, найдется много людей, которые превзойдут меня остроумием, но где ты найдешь такого, кто был бы тебе так безгранично предан, кто так бешено любил бы тебя на седьмом году брака, кто был бы тебе идеальным мужем? Помни, я тебя не только безмерно люблю, я тебя еще беспредельно уважаю».

Глава 22
БУРЯ И НАТИСК

Когда начиналась битва, трудно было решить, где демон, где ангел?

Когда она кончилась, на земле корчились два звериных трупа.

В. Шульгин. Три столицы

Николай Гумилёв возвратился в Петроград из Лондона в конце апреля 1918 года. 13 мая он уже участвовал в «Вечере петербургских поэтов» в зале Тенишевского училища. Вместе с ним выступали Г. Адамович, В. Пяст, А. Радлова, Р. Ивнев, О. Мандельштам, Г. Иванов, М. Кузмин. На этом вечере впервые Любовь Менделеева-Блок публично прочла «Двенадцать» Блока. После вечера к Блоку подошел только Вс. Рождественский. Некоторые известные поэты отказались из-за «Двенадцати» участвовать в вечере, считая, что в конце поэмы идет псевдо-Христос. Позже Гумилёв даст более определенный отклик: «А. Блок послужил делу Антихриста, вторично распял Христа и еще раз расстрелял государя».

Тема поэмы «Двенадцать» – неисчерпаема, и критики затупят еще не одно перо, разгадывая ее смыслы. Блок сделал больше, чем мог. Следом он написал «Скифы», почти так же быстро, и больше стихов уже почти не писал.

Когда Рильке в 1919 году прочел в немецком переводе эти поэмы, он сказал: это единственное, что достоверно говорит о революционной России. На просторах России, считал Рильке, Иисус Христос бродит всегда. Марина Цветаева писала, что назвать стихию зла – это вытащить ее из тени, где прячется ее исток. Назвать ее, дать имя – необходимый шаг, без которого стихию не победить.

На вечере 13 мая Н. Гумилёв прочел «Францию»:

Франция, на лик твой просветленный
Я еще, еще раз обернусь
И как в омут погружусь бездонный,
В дикую мою, родную Русь…

Год Лариса не видела Гумилёва, не увидит еще два года.

Разминулась с ним несколькими днями. 13 мая она уже была в Москве.

«Мы расстреляли Щастного»

«Мы расстреливали и будем расстреливать контрреволюционеров! Будем! Британские подводные корабли атакуют наши эсминцы, на Волге начались военные действия… Гражданская война. Это было неизбежно. Страшнее – голод…» Эти слова Ларисы Рейснер вспоминает в начале 1930-х годов Лев Никулин в своей книге «Записки спутника». А Сергей Сергеевич Шульц, со слов своего отца, знавшего Ларису Михайловну, утверждает, что она пыталась Алексея Щастного спасти.

Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях главу о Ларисе Рейснер назвала «Женщина русской революции». В главе этой она рассказывает о столкновении Осипа Мандельштама с эсером Блюмкиным в июне 1918 года. В кафе поэтов Мандельштам выхватил у Блюмкина – тот был сильно пьян – ордера на арест людей, властью над которыми он хвастался. И разорвал эти ордера. В ответ Блюмкин стал грозиться, что убьет Мандельштама.

«Прямо из кафе Мандельштам поехал к Ларисе Рейснер, с которой у него были приятельские отношения. И так провел наступление, что Раскольников позвонил Дзержинскому и сговорился, что тот примет Ларису и Осипа Эмильевича. В напечатанном рапорте говорится, что на прием с Мандельштамом приехал Раскольников. Думаю, что не было такой силы в мире, которая заставила бы Раскольникова поехать по такому делу в ЧК, да еще с О. Мандельштамом – его он не любил. Всё, связанное с литературными пристрастиями Ларисы, всегда раздражало Раскольникова.

Все остальное в рапорте довольно точно. Дзержинский заинтересовался Блюмкиным и стал о нем расспрашивать Ларису. Она ничего толком не знала о Блюмкине… Жалоба Осипа Мандельштама на террористические замашки этого человека осталась, как и следовало ожидать, гласом вопиющего в пустыне. «Зачем вам понадобилось спасать этого графа? Все они шпионы…» – спрашивала потом Лариса». В ордерах, видимо, было имя некого графа.

«Почему Лариса согласилась наперекор всей своей жизни ехать просить за неизвестного „интеллигентишку“?.. – пишет Надежда Мандельштам. – По-моему, она просто выполнила то, что считала прихотью О. М., которого готова была как угодно баловать за стихи. Стихи Лариса не только любила, но еще втайне верила в их значение, и поэтому единственным темным пятном на ризах революции был расстрел Гумилёва. Когда это случилось,

она была в Афганистане и ей казалось, что будь она в те дни в Москве, она сумела бы остановить казнь…

Со слов О. М. я запомнила следующий рассказ о Ларисе: в самом начале революции понадобилось арестовать каких-то военных, кажется, адмиралов, военспецов, как их тогда называли. Раскольников вызвался помочь в этом деле; они пригласили адмиралов к себе, те явились откуда-то с фронта или из другого города. Прекрасная хозяйка угощала и занимала гостей, и чекисты их накрыли за завтраком без единого выстрела. Операция эта была действительно опасная, но она прошла гладко благодаря ловкости Ларисы, заманившей людей в западню.

…Противоречивая, необузданная женщина, она заплатила ранней смертью за все свои грехи. Мне иногда кажется, что она могла выдумать историю про адмиралов, чтобы украсить убийством свою «женщину русской революции»… Ларисе хотелось создать прототип женщины русской революции, и себя она предназначала для этой роли… А ведь это Лариса зашла в самый разгар голода к Анне Андреевне (Ахматовой) и ахнула от ужаса, увидев, в какой та живет нищете. Через несколько дней она появилась снова, таща тюк с одеждой и мешок с продуктами, которые вырвала по ордерам. Не надо забывать, что добыть ордер не менее трудно, чем вызволить узника из тюрьмы».

Возможно, что приглашение адмиралов «в западню» – правда. И было это, видимо, связано с «делом Щастного» и делом о минной дивизии Балтийского флота. Алексей Михайлович Щастный (1881–1918) был родом из дворян Волынской губернии, блестяще окончил Морской корпус, участник японской войны, в 1912-м – капитан 1-го ранга, награжден орденами Святой Анны, Святого Станислава. До войны 1914 года читал лекции по радиотелеграфу.

Дни отречения Николая II стали трагедией флота. 1–4 марта 1917 года флотские экипажи уничтожили немало офицеров на кораблях в Кронштадте, Ревеле, Гельсингфорсе. Александр Колчак, посетив в апреле 1917 года Петроград и увидев, что начинается анархия, деградация общества, сказал: «Мы стоим перед распадом нашей вооруженной силы».

В середине ноября 1917 года, в день отставки командующего Балтийским флотом адмирала Развозова у начальника обороны Моозунда собрались флагманы и старшие офицеры штаба флота, морские офицеры Гельсингфорса – всего около 200 человек. Общая резолюция – бойкотировать большевиков. Открыто вступили в борьбу с советской властью адмиралы Развозов, Бахирев, Паттон, Старк, Тимирев, Шевелев и сотни офицеров и гардемаринов.

Часть офицеров решила, что, оставшись на службе, они принесут родине большую пользу. Разный выбор делали офицеры, связанные даже дружески. Например, А. Колчак и В. Альтфатер. Временное правительство назначило Альтфатера начальником Военно-морского управления штаба Северного фронта. В 34 года ему присваивают звание контрадмирала. «Я не политик, – пишет он в одном из писем, – я не понимаю того, что происходит, но глубоко люблю свою родину и свой народ и хочу служить им как могу».

В ноябре 1917 года командующим Балтийским флотом был выбран матросами Алексей Михайлович Щастный. «Я не рвался к власти и был утвержден вопреки. Подтвердить это может контр-адмирал Альтфатер, член коллегии по морским делам», – скажет он в последнем слове на суде.

А. М. Щастный стал одной из самых трагических фигур в истории русской революции. Он был проклят и белыми, и красными. Товарищи по кадетскому корпусу не простили ему назначения из рук Ленина. Приняв на себя личную ответственность за судьбу Балтийского флота, Щастный его спас. Под носом у немцев он успел вывести из Гельсингфорса более 160 судов в феврале 1918 года, после срыва немцами перемирия и начала их наступления. А. Щастный советовался с В. Альтфатером, они оба участвовали в Брест-Литовских переговорах, на которых Совет народных комиссаров дал обязательства уничтожить или разоружить свои корабли. Щастный их спас, проведя за ледоколами по так называемому «альтфатерскому фарватеру» (по мелководью вдоль северного берега Финского залива). Сам А. М. Щастный пришел с последним кораблем. Этот поход, который казался невероятным, историки назовут Ледовым.

Лариса Рейснер в очерке «Первое мая в Кронштадте» напишет:

> «В истории великих войн не забудется… последний подвиг: переход Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт. Среди льда, под угрозой измены и неожиданного нападения, стая боевых кораблей прорвалась к своему красному знамени, к Кронштадту и Петербургу, еще раз бросив свое стальное тело на защиту свободы.
>
> Понадобится ли эта жертва или нет, но тяжелый переход поднял и укрепил настроение флота. Требование товарищеской дисциплины, внутренней организации и ответственности за каждое слово и

поступок стало всеобщим. Даже охранную службу несут безукоризненно.

Суровые стражи, не зажигая огней, стали у форта Ино. На низкорослые леса и уклончивые, слабо очерченные возвышенности обращены тусклые глазницы боевых башен. (Это там, где Черная речка, дома Л. Андреева, Бехтерева, Серова, усадьба «Мариоки», белая церковь на новом кладбище. – *Г. П.)* Там, на Ино, любезный усмиритель, провожая делегатов в штаб-квартиру, извиняется за три ружейных залпа, упавших где-то по соседству: «Прошу не беспокоиться, господа, ничего особенного. Мы ликвидируем партию военнопленных»».

В Финляндии в это время белая армия во главе с Маннергеймом подавляла «финскую анархию» восставших рабочих и беднейшего населения. Финская гражданская война кончилась через полгода с помощью немецкой дивизии. Сколько людей мечтало в России тогда о немецкой власти! По поводу взятия немцами Николаева в мае 1918 года Лариса Рейснер написала о том, как немцы уничтожили пять тысяч человек за три дня, наводя в городе «порядок» («Известия», 25 мая). Она напишет о фашистах, которых разглядела в немецком посольстве в Афганистане в 1923 году одной из первых («Фашисты в Азии»).

В очерке о «священном майском дне» в Кронштадте Лариса Рейснер вспомнит о «средневековом таинстве, ныне забытом. Накануне посвящения в рыцарский сан воин проводил бессонную и безмолвную ночь у алтаря, на котором лежало его оружие. Клятва, произносимая при первых звуках ранней обедни, гласила: „Обещаю хранить честь, достоинство и право, защищать слабых, никогда не осквернять себя ложью, не бежать сильного и умереть без страха“. Когда небольшого роста коренастый и упорный финн, среди переливающихся знамен, поднялся на трибуну, мне почудился на оборванной кожаной куртке священный орденский знак – лебедь, раненный стрелой, или чаша Святого Грааля, или крылатое копье – отличие рыцарей без страха и упрека».

А. М. Щастный, верный рыцарскому понятию чести, 25 мая подает в отставку. Контрактная основа, введенная для рабоче-крестьянского состава флота, привела уже к невиданному хаосу, старожилы были распущены. Щастный старался быть независимым, открыто говорил правду. Когда понял бессмысленность этого, подал в отставку.

Его вызвали в Москву на заседание Наркомата военных и морских сил. А. М. Щастный привез свои заметки – тезисы

доклада на будущем съезде моряков. В них – боль за престиж флота и родины из-за неудачно заключенного мира, протест против разжигания междоусобицы, доносов. Л. Троцкий в тот же день А. Щастного арестовал.

Весть об аресте стала полной неожиданностью для высших военных кругов. Прокатились митинги в его защиту с требованиями открытого следствия. Следствие дублировал Л. Троцкий. Ходили слухи, что гибель А. Щастного объясняется конфликтом с вспыльчивым, деспотичным Троцким. Он арестовал А. М. Щастного в своем кабинете после резкого разговора. «Щастный хочет стать диктатором», – говорил Троцкий в суде.

Троцкий выспрашивал свидетелей – как относился к советской власти Алексей Щастный? Федор Раскольников, один из шести свидетелей, написал, что Щастный с сожалением говорил о том, что приходится работать с советской властью, потому что нет другой структуры. Главный комиссар Блохин, который поддерживал Щастного, ответил Раскольникову: «Возможно, вы его поняли иначе, чем я».

На просьбу защиты вызвать свидетеля Альтфатера последовал отказ. 20 июня – в разгар чехословацкого мятежа – суд приговорил А. М. Щастного к расстрелу по обвинению в подготовке контрреволюционного переворота и в государственной измене. Из последней речи Алексея Михайловича Щастного: «Я считал, что в свободной стране можно свободно указать на те мотивы, из-за которых покидаешь свой пост… Присутствие одного лица на скамье подсудимых делает несерьезным обвинение в заговоре…»

А. М. Щастного расстреляли 21 июня в Александровском юнкерском училище. И уже безо всякого суда расстреляли членов экипажа Минной дивизии, которые на своем матросском митинге требовали диктатуры Балтфлота вместо советской власти. Разруха, голод в Петрограде и Москве стали причиной матросских требований. На митинге в помещении Минной дивизии в Петрограде 11 мая принимали участие Ф. Раскольников и А. Луначарский, которые выступали против этих требований.

«Мы расстреляли Щастного», – запомнил Лев Никулин слова Ларисы Рейснер, которая в запальчивости борьбы говорила иногда чудовищные слова обвинений. Могла обозвать, ругаться матом. Кстати, как вспоминает Григорий Померанц, прошедший войну, поднять людей в атаку, чтобы они перебороли свой страх, лучше всего можно было матом: «В конце концов сложилось заклинание – Вперед… вашу мать! За родину… вашу мать! Огонь… вашу мать! За Сталина… вашу мать! Примерно, как в

старину: за веру, царя и отечество. Только вместо веры – …вашу мать. Впрочем, еще в прошлом веке некий вице-губернатор написал: „Первое слово, обращенное опытным администратором к толпе бунтовщиков, есть слово матерное. Половая сила – простейший символ всякой силы“».

В ЦИКе шла борьба за власть между большевиками и левыми эсерами. При неустойчивой власти часто применяется устрашение. «К сожалению, такова природа не только советской власти, – считает Г. Померанц и приводит слова лорда Эктона: – Всякая власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно».

Даже через четыре года, работая над книгой «Фронт», Лариса Рейснер не пересмотрела сложившееся на фронте в августе 1918 года убеждение: «В конечном итоге именно этот революционный инстинкт дает окончательную санкцию, именно он очищает новое, творимое право от всех глубоко запрятанных, контрреволюционных поползновений. Он нарушает лживейшую формальную справедливость во имя высшей, пролетарской, не позволяет гибкому закону закостенеть, оторваться от жизни, лечь на плечи красноармейцев мелочной, раздражающей, ненужной тяжестью» (глава «Свияжск» в книге «Фронт» – см.: Собрание сочинений. В 2 т.: Т. 1. М., 1928).

Когда через год начнут подкапываться доносами под Морской Генеральный штаб и его начальника В. Альтфатера, когенмор Лариса, один из комиссаров Генмора, будет пытаться защищать контр-адмирала Альтфатера, но ее как свидетеля не допустят к делу.

Четвертого июля открылся 5-й съезд Советов. На нем принимали первую конституцию РСФСР, на нем произошел разрыв большевиков с левыми эсерами. Рейснеры присутствовали на съезде. Михаил Андреевич как один из авторов конституции, Федор Раскольников с женой как делегат.

Раскольников недавно прибыл из Новороссийска, куда был направлен для потопления кораблей, чтобы они не достались немцам. 18 июня были потоплены девять эсминцев и линейный корабль, а 20-го уже пришли немцы. Лев Никулин запомнил слова Ларисы Рейснер и по поводу затопления кораблей в Новороссийске, и об эсерах, и о себе:

«– Трагедия? Да, трагедия. Но революция не может погибнуть! А левые эсеры – кокетки. Только путаются в ногах. Вчера у меня был наркомюст Штейнберг, член их ЦК. Старый знакомый, когда-то даже ухаживал за мной. Боже, какой позер! В конце концов я обозвала его… Обиделся и ушел. А вы тоже хороши.

И тут Лариса Михайловна вытащила номер газеты «Вечерний час» и, комически вздыхая, читала:

– «Мы встретились на лестнице с прелестницей моей…» В последний раз встретились, я надеюсь? Скоро мы эти «Вечерние часы» закроем. И не стыдно вам писать такие стишки? У вас же был «Коммунистический конвент»! Это хорошо сказано о Смольном…»

Левым эсером был писатель, ученый-филолог, теоретик кино Виктор Шкловский. Он участвовал в Февральской революции (командовал броневым дивизионом), был эмиссаром Временного правительства на Румынском фронте, из рук Корнилова получил Георгиевский крест. В автобиографической книге «Сентиментальное путешествие» (1923) он писал, что в 1922 году, когда, несмотря на амнистию, готовился процесс над эсерами, он «с фантастической смелостью» ушел от преследования, бежал в Финляндию, потом в Берлин.

«Конечно, мне не жаль, что я целовал и ел, видел Солнце, – писал Шкловский, – жаль, жаль, что подходил и хотел что-то исправить, а все шло по рельсам… Смотря на весну, которая проходит мимо меня, не спрашивая про то, какую завтра устроить ей погоду… я думаю, что так же должен был я пропустить мимо себя и революцию.

…И все же, если от всей России останутся одни рубежи, если станет она понятием только пространственным; если от России ничего не останется, все же я знаю: нет вины, нет виновных».

Когда Лариса Рейснер умерла, Виктор Шкловский откликнулся коротким, как всегда, эссе:

«Она была талантлива и умела жить. Никогда не сердилась на жизнь. Люди думают, что они съедят жизни много, а только пробуют. У Рейснер была жадность жизни. И в жизнь она все шире надувала паруса.

Путь у нее был вполветра, вразрез… Я был во враждебном лагере. Когда я передумал и вернулся, Лариса встретила меня, как лучший товарищ. Со своей северной, пасторской манерой и как-то хорошо. Потом она ушла с флотилией на Волгу. Она упаковывала жизнь жадно, как будто собиралась, увязав ее всю, уехать на другую планету. Это был настоящий корреспондент, который видел не глазами редакции».

На съездах Лариса не раз слышала Ленина. По свидетельству современников, она была под властью ленинской магии и ума. Интересное первое впечатление о Ленине оставил А. Луначарский:

«Лично на меня с первого взгляда он не произвел слишком хорошего впечатления. По наружности он показался мне чуть-

чуть бесцветным… Когда читал реферат в Париже о судьбах русской революции и русского крестьянства… преобразился. Огромное впечатление на меня произвела та сосредоточенная энергия, с которой он говорил, эти вперенные в толпу слушателей, становящиеся почти мрачными и впивающиеся, как бурава, глаза, это монотонное, но полное силы движение оратора, то вперед, то назад, это плавно текущая и вся насквозь зараженная волей речь… Воля, которая всякую частную задачу устанавливала как звено в огромной мировой политической цели…

…Этот ключ сверкающей и какой-то наивной жизненности составляет рядом с прочной шириною ума и напряженной волей – очарование Ленина, очарование его – колоссально… Люди как-то своеобразно влюбляются в него. Самых разных калибров и духовных настроений – от такого тонкого вибрирующего огромного таланта, как Горький, до какого-нибудь косолапого мужика… от первоклассных политических умов до какого-нибудь солдата и матроса, вчера еще бывших черносотенцами, готовых во всякое время сложить свои буйные головы за «вождя мировой революции Ильича»».

Двадцать пятого мая 1918 года начался мятеж чехословацкого корпуса, части которого растянулись по железнодорожной линии от Пензы до Владивостока. Этот корпус сформировался из военнопленных чехов и с декабря 1917-го считался иностранным легионом французской армии. По решению Франции и руководства Чехословацкого национального комитета корпус подлежал переброске в Западную Европу. Советское правительство дало согласие на перевозку корпуса по железной дороге, и не северным путем, как того хотели чехословаки, а через Сибирь и Владивосток. При непременном условии сдачи стрелкового оружия местным советским органам. Лидеры Антанты и Чехословацкого национального комитета еще раньше договорились об использовании корпуса в антисоветских целях. Оружие припрятывалось. За несколько дней легионеры и вышедшие из подполья белогвардейцы, монархисты, кадеты, эсеры (около 60 тысяч) взяли крупные города до Красноярска. Целью был захват Среднего Поволжья и Сибири. В начале августа из взятой Казани был увезен золотой запас Советской республики.

Второго августа в Архангельск вошли английские и французские корабли. В этот же день Япония опубликовала декларацию о начале интервенции на Дальнем Востоке, а 24 августа и Китай, хотя его войска уже раньше начали вести бои против красных частей. С вводом 14 августа английских войск в

Баку Советская республика оказалась в замкнутом кольце вражеских войск. Советской оставалась только четвертая часть территории страны, отрезанная фронтами от своих продовольственных, топливных и сырьевых районов. Крестьянские восстания вспыхивали во многих точках России, началась Гражданская война. Николая II с семьей весной 1918 года переводят из Тобольска, где он жил с весны 1917 года по приглашению тобольского архимандрита Гермогена, друга Распутина, – в Екатеринбург. Увозят якобы от огня Гражданской войны – к огню расстрела в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.

Шестнадцатого июля Федор Раскольников назначается членом Реввоенсовета Восточного фронта, а также членом партийно-следственной комиссии, он уполномочен отстранять от всякой партийной и советской работы, исключать из партии тех ее членов, деятельность которых не сможет соответствовать «задачам партии и требованиям момента».

Лариса уедет с ним. В газете «Гражданская война» 21 июля опубликован ее очерк «С пути». У нее – направление в штаб армии. До отъезда на Воздвиженке, 9, формируются красноармейские матросские отряды.

Великий собеседник

За Рильке наше время будет земле отпущено, время его не заказало, а вызвало.

М. Цветаева. Поэт и время

На Воздвиженке или в другом месте, где была, по словам Бориса Пастернака, «одна из казарм революционных матросов», случайно встретились и познакомились Борис Леонидович и Лариса Михайловна.

«Жизнь в Москве неистово полыхала… Я пошел, чтобы взглянуть в переменчивое лицо революции. Странно – среди матросов была женщина. Я не разобрал ее имени, но когда она заговорила, сразу понял, что передо мной удивительная женщина. Узнав, наконец, что моя собеседница – Лариса Рейснер, я завел разговор о Рильке… Лариса Рейснер напечатала незадолго до незабываемого дня, приведшего меня в матросскую казарму, в одном литературном журнале статью о Рильке (Летопись. 1917. № 7–8. – *Г. П.)*.

С улиц в помещение, где мы сидели, куда приходили и откуда выходили матросы, пробивался гомон революции, а мы сидели и читали друг другу наизусть стихи Рильке. Это был особенный час, незабываемый час. Ныне они мертвы, а должны были оба жить», – рассказывал Б. Пастернак австралийскому писателю-эмигранту Фрицу Брюгелю *(Гора Й., Пастернак Б.* К истории одного перевода // Вопросы литературы. 1979. № 7).

Вспоминает Варлам Шаламов:

«Через много лет я заговорил о Рейснер с Пастернаком.

– Да, да, да, – загудел Пастернак, – стою раз на вечере какомто, слышу чей-то женский голос говорит, да так, что заслушаться можно. Все дело, все в точку. Повернулся – Лариса Рейснер. Ее обаяния, я думаю, никто не избег. Когда умерла Лариса Михайловна, Радек попросил меня написать о ней стихотворение. И я его написал.

– Бреди же в глубь преданья, героиня.

– Оно не так начинается. – Я уже не помню, как оно начинается. Но суть в этом четверостишии. Теперь, когда я написал «Доктора Живаго», имя главной героине я дал в память Ларисы Михайловны…» *(Шаламов В.* Двадцатые годы. Заметки студента МГУ // Юность. 1987. № 11).

С 1915-го по весну 1917 года Борис Пастернак служил на

севере Пермской губернии, где бывали Чехов и Левитан, а также в Тихих горах на Каме, на оборонных заводах. Летом

1918 года на Каме находилась белая флотилия адмирала Г. Старка, недавнего офицера Балтийского флота. С Балтики по Беломорскому каналу переправлялись три миноносца на Волгу, на Каму, на красную флотилию, которой до 23 августа, до назначения Ф. Раскольникова, будет командовать Н. Маркин, любимый матросами балтиец. К Маркину собирается 17-летний Всеволод Вишневский. Через два месяца Лариса Рейснер вместе с Волжской военной флотилией окажется на Каме.

Время вызвало Рильке. Он приезжал дважды в Россию: в 1898 и 1900 годах. Всегда любил ее. Говорил: «Есть такая страна – Бог, Россия с ней граничит». М. Цветаева дала формулу явления Рильке в мир: «Рильке не есть ни заказ, ни показ нашего времени, – он его противовес. Рильке нашему времени так же необходим, как священник на поле битвы: чтобы и за тех, и за других, за них и за нас: о просвещении еще живых и о прощении павших – молиться».

Для Марины Цветаевой и Бориса Пастернака Райнер Мария Рильке (1875–1926) – родной по духу поэт, пророк из иных пределов. Но и Лариса Рейснер, несостоявшийся поэт, тем не менее знающая об огромной преображающей силе поэзии, призвана на это общение посвященных. Без пяти минут комиссар и в начале Гражданской войны. Лариса Михайловна написала еще одну статью о Рильке, чуть-чуть не завершенную, в 1920 году, в Петрограде – «Демель и Рильке до и после 1914» (если сказать кратко – о шовинизме у Демеля, о даре пророка у Рильке). К Рильке Лариса обращается как к Великому собеседнику. Ее статья 1920 года более глубока в понимании Рильке, чем 1917 года. Возможно, сказалась беседа с Пастернаком.

В автобиографии «Люди и положения» Борис Пастернак написал, что Рильке совсем не знают в России потому, что попытки передать его по-русски неудачны. Переводчики не виноваты, они привыкли воспроизводить смысл, а «не тон сказанного, а тут все дело в тоне».

Из статьи Ларисы Рейснер:

«Одним звуком своих речей, одним сочетанием гласных и согласных Рильке перерастает все национальное, остается только народное и всенародное. Вот великое в искусстве, в отличие от малого…

Если Демель язычник, Рильке христианин, точнее верующий… величайший, непревзойденный поэт… всего европейского человечества! Я не хочу здесь говорить о форме его стиха, его словесной музыке и музыкальной религии – об этом

особо. Прежде всего он не верит, но видит. То, что для других тайна, символ, невидимая субстанция – для Рильке осязаемая, совершенная реальность.

Не человек боится своей призрачной жизни и жалкого конца, но Бог, который со смертью человека теряет все: строителя, «чашу, сад и напиток»… А между тем, освобождение так просто и радостно; стоит только упасть, «послушно покоиться в тяжести», быть в полете, как птицы, и еще легче, еще непринужденнее… Едва ощутимая преграда между природой и сознанием нигде не рвется, она просвечивает, позволяет видеть тайную сущность вещей, но нигде не расступается окончательно для провалов в «мистическое ничто», для «потусторонних» голосов и прикосновений… Благодаря способности все воспринимать изнутри, будь то вещи или живые лица…

Рильке удалось больше, чем удавалось на протяжении самых религиозных веков святым мученикам и мистикам профессионалам. Они тоже видели, осязали, чувствовали Бога. Переживания почти всегда тождественны: сперва долгий период исканий, одиночества, поста, молитвы, святых упражнений… Затем после слабости, упадка и отчаяния момент победы, ослепительного счастья, погружение в божество… Досюда и не дальше мы имеем много последовательных описаний о том, как нисходит Нечто, сливающее Человека и весь мир в порыве неслыханной и огненной любви… Но там, где мистик немеет и теряет сознание – Великое искусство видит и воплощает. И чем больше художник, тем спокойнее его духовный взор выдерживает свет солнца, невыносимый и гибельный для других: со дна подсознательных глубин он возвращается невредимым и выносит к свету и радости живой жемчуг поэзии, отвоеванный от мрака и сна… По-разному платят за свое таинственное знание. Верующий – отречением от земли и вечной немотой духа, курильщик опиума – безумием и разрушением всего своего существа, поэт – теми вечными розовыми муками, которые ему доставляет Бог, любимый и видимый, но вечно ускользающий, изменчивый, принимающий новые обличья в тот короткий час победы, когда художнику удается заключить его в хрупкую и вечную форму искусства».

Лариса еще не знает «Сонетов к Орфею» Рильке, они будут написаны в 1923 году, но по другим предваряющим «Сонеты» стихам она поняла, что у Рильке все вещи ведут, если не пройти мимо них, в неведомое, в бесконечность. Чем больше узнаешь, тем больше непознанного, тем обширнее бездна перед глазами. «Кто открыл в себе эту бездну, – через 50 лет напишет другой поэт, постигающий Рильке, Зинаида Миркина, – тот открыл

общность со всем миром. Но для одних этот провал во внутреннюю бездну – счастье, океанский прилив жизни. Для других оттуда веет космическим холодом. Там внутри – единение. Здесь на поверхности все больше и больше разъединение. На поверхности – массы, внутри – единицы. И вступающий во внутренний мир, вступает в одиночество… Только тогда художник может донести миру высшую глубинную реальность…»

Лариса Михайловна в сборнике Рильке «Книга нищеты и смерти» увидела близкое своему устремлению, своей творческой природе, своим идеям. По Рильке, чтобы иметь истинный опыт жизни, надо пройти через опыт смерти. Созидающая сила, источник жизни – в подземных корнях, в усилиях «мертвых». Смерть возвращает нас к нашему невидимому началу, к точке, где начинается незримая работа Духа.

С Борисом Пастернаком была и другая общая тема – музыка. Говоря о романе Рильке «Записки Мальте Лаудиса Бригге», Лариса Рейснер признается: «Музыка касается поэзии, она – светлое ее преддверие… Пересказать отношения Мальте и его кузины невозможно. Они лежат в той области, где одно искусство предсказывает другое, где страсти бесплотны и постоянны, как творчество».

Какие стихи Рильке читались во время беседы на Воздвиженке? Наверное, те, где ощущались медитативный ритм, любимая рильковская кантиленная замедленность. Возможно, среди них была «Ночная езда»:

Помню вихрем на осатанелых
вороных, орловских рысаках —
в час, когда при фонарях, на белых,
сумраком залитых островах,
по ночному улицы мертвы, —
мы катили, нет – летели, мчали
и дворцов громады огибали,
и ограды пасмурной Невы
замирали от броженья ночи,
где земля и небо наугад,
в час, когда округу что есть мочи
травяным настоем Летний сад
одурял и статуи скользили
мимо нас и спрятаться спешили
в зыбком полумраке, – мы катили;
помню отступил назад
город. Вдруг постиг он, что его

вовсе не было, что одного
он покоя жаждет, – как больной,
приступом ошеломлен, разбит,
верует, когда очнется снова,
что от сновидения дурного
навсегда избавился: гранит,
отпустивший мозг полуживой,
канул, точно в воду, и забыт.

(Перевод В. Летучего)

Л. Рейснер: «Вот еще один пример удивительной художественной правдивости Рильке. Совсем не зная России, почти не покидая своей комнаты на Васильевском острове, он сумел так написать о Петербурге в стихах, как это делал до него только Пушкин и ни один из наших современных поэтов… Прочтите русскому, не знающему ни слова по-немецки, десять заключительных строк из „Ночной поездки“. Он улыбнется и ответит: "Твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей "… Почему? Потому что это Россия, Нева и чистый великорусский говор…»

Борис Пастернак признавался в «Людях и положениях»: «Сколько бы я ни разбирал и ни описывал его особенностей, я не дам о Рильке понятия, пока не приведу из него примеров, которые я нарочно перевел для этой главы…»

ЗА КНИГОЙ
Я зачитался. Я читал давно.
С тех пор, как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
Не слышал я дождя.
Я вглядывался в строки, как в морщины
Задумчивости, и часы подряд
Стояло время или шло назад.
Как вдруг я вижу, краскою карминной
В них набрано: закат, закат, закат.
Как нитки ожерелья, строки рвутся,
И буквы катятся куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,
Должно еще раз было оглянуться
Из-за охваченных зарей оград.
А вот как будто ночь по всем приметам.
Деревья жмутся по краям дорог,
И люди собираются в кружок

И тихо рассуждают, каждый слог
Дороже золота ценя при этом.
И если я от книги подыму
Глаза и за окно уставлюсь взглядом,
Как будто близко все, как станет рядом,
Сродни и впору сердцу моему.
Но надо глубже вжиться в полутьму
И глаз приноровить к ночным громадам,
И я увижу, что земле мала
Околица, она переросла
Себя и стала больше небосвода,
И крайняя звезда в конце села,
Как свет в последнем домике прихода.

Глава 23
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1918 ГОД

И наша жизнь, как наша эпоха,
как мы сами, мы долгие годы,
предшествующие 18 году, и мы
Великий, навеки незабываемый18 год.

Л. Рейснер

Я могу желать своему народу только пути правильного и прямого, точно соответствующего его исторической всечеловеческой миссии, и заранее знаю, что этот путь – страдание и мученичество.

Что мне до того, будет ли он вести через монархию, социалистический рай или капитализм – все это только различные виды пламени, проходя через которые, перегорает и очищается человеческий дух.

М. Волошин. 17 мая 1920 года

В вестибюле матросской казармы в начале Гражданской войны стоят два интеллигента и по-немецки друг другу что-то говорят. А ведь немецкий фронт опять существует. Докажи потом, что они читали стихи Рильке. Вот уж действительно, как сказал Шкловский, путь у Ларисы Рейснер был вполветра, вразрез.

Деклассированные

В романе «Рудин» есть признание Ларисы об отце, по сути, о себе самой: «Но в жизни людей, перешедших с правого берега на левый, есть скрытая трагическая черта, особенно, если они покидают прежний лагерь без покаяния и пришибленного стыда за свое рождение, за жестокое превосходство класса, которому принадлежат по роду, по корням, по имени, если деклассированный – не кающийся дворянин, а гордый герценовский refugie (изгнанник. – Г. П.) – не хочет нести ответственности за грехи предков, ему приходится тяжело. Он – отверженец, поставленный вне закона, ненавидимый «своими» как изменник, и никогда не сольется с новой средой – как бы верно ни служил ее знаменем. Его оценят как союзника, как бойца, но руку, которую он протянет в порыве старой, барской, рыцарственной романтики, – ее не примут. Тут нет ничьей вины: в среде политических бойцов, которых знание Макиавеллиевых истин давно отучило от культа порывов, прямолинейная честность и окостенелая принципиальность, которая не может согнуться ни для гибкого строения партий, ни для фехтовальной быстроты и изменчивости парламента и печати, неудобна, смешна и обременительна. Поэтому деклассированные так и остаются стоять одни в неловкой позе, с бескорыстным пафосом, который звучит нелепо и еще более нелепо отскакивает от холодной тактики, от спокойных приемов политической борьбы. Каторга и война одни уравнивают и очищают: за общей решеткой и под пулями забываются все тайные неприязни и люди действительно становятся братьями».

Федор Раскольников 16 июля назначен членом Реввоенсовета Восточного фронта. Положение на Восточном фронте тяжелое. 10 июля командующий этим фронтом, левый эсер Муравьев поднял мятеж против советской власти в Симбирске. Регулярных частей Красной армии тогда было еще мало. Воевали отряды из рабочих и беднейших крестьян. Каждый отряд воевал сам по себе. Многие еще не умели правильно обращаться с оружием. Анархия в этих отрядах была популярна. Требовалось время, чтобы создать батальоны, полки, армии, аппарат управления, снабжения. Нужны были комиссары. К октябрю 1918 года Белая армия имела 200 тысяч человек, Красная – 40 тысяч. Одна только Америка передала белым 200 тысяч винтовок, миллионы патронов, снарядов, обувь.

В очерке «Свияжск», вошедшем потом в книгу «Фронт», Лариса Рейснер писала: «При этом надо помнить, что работать

приходилось в 1918 году, когда еще бушевала демобилизация, когда на улицах Москвы появление хорошо одетого отряда красногвардейцев вызывало настоящую сенсацию. Ведь это значит идти против усталости 4-х лет войны, против течения, против вешних вод революции, разносивших по всей стране обломки аракчеевской дисциплины, бурную ненависть ко всему, что напоминало старый офицерский окрик, казарму и солдатчину. Не среднее становилось нормой обязательной для всех, а именно лучшее, гениальное, выдуманное ими самими в самый горячий и творческий момент борьбы».

Лариса выехала на фронт, в Казань, вместе с мужем. Уже 21 июля в газете «Гражданская война» появляется ее очерк «С пути».

Шестнадцатилетняя Елизавета Драбкина тоже была под Казанью, в Свияжске, и в своей документальной повести «Черные сухари» описала и встречу с Ларисой Рейснер, и творчество юных красноармейцев:

«Очень быстро наш овин обрел обжитой, советский, коммунистический вид… развесили самодельные кумачовые плакаты с лозунгами, принятыми после жарких дебатов:

Вспомни, кем ты был, и тогда поймешь, что ждет тебя, если ты не победишь!

Солдат революции, это значит, что твой главнокомандующий – революция!

Твоя молитва состоит всего из четырех слов: пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Твой воинский устав тоже состоит из четырех слов: мир хижинам – война дворцам!»

Е. Драбкина пишет о гимназисте, взятом в плен, который «смотрел на нас полными ненависти глазами. Он отказался отвечать на вопросы и, выходя из овина, его вели в штаб армии, а он думал, что на расстрел, – громко крикнул:

– Да здравствует Учредительное собрание!»

За эту идею ушли воевать однокурсники Ларисы Рейснер по университету: поэт Вивиан Итин, ее друг; поэт Георгий Маслов, погибший от тифа в колчаковской армии.

В. Итин посвятил Ларисе Рейснер поэму «Солнце сердца», где отразился весь ужас братоубийственной Гражданской войны:

Как будто цикады из прерий,
Победно поет пулемет,
Прожектор, сияющий веер,
Тревожный раскинул полет.

Гранитные черные горы

Качаются в клочьях небес, —
То выстрел с матросской Авроры —
Рассвет легендарных чудес.

Кометы, шрапнель над Невою
Грызут истуканов дворца,
И огненной, красною кровью
И солнцем пылают сердца.

В безмирные буйные бури
Мы бредим и бродим с тобой,
Что грезы о светлой Гонгури
Витают над темной землей;

В тумане волшебной, великой,
Как солнце, растет красота…
Победные, страшные крики
С железного слышны моста.

С тобой проститься не успели мы,
За легкой славой ты ушла;
Но все ж путями нераздельными
Дорога наша залегла…

И – кто за прежнее поручится? —
Быть может, бешено любя,
В корабль враждебный с Камской кручи я
Безмолвно целился – в тебя!

Перед отъездом на фронт в морском штабе на Воздвиженке, 9, произошла еще одна встреча Ларисы с Львом Никулиным: «Перед последним рукопожатием внезапный вопрос Ларисы Михайловны: „Вы принесли? (это о синильной кислоте). Все же я женщина. Если обезоружат…“» Никулин не принес, а война пощадила Ларису.

Комиссар разведки

Во многих волжских городах вооружались речные пароходы, чтобы стать канонерскими лодками Волжской флотилии. Прибывали отряды матросов Балтийского и Черноморского флотов, авиаторы с гидросамолетами. Первый бой на Волге с чехословаками состоялся у Сызрани в конце мая.

У адмирала Балтийского флота Георгия Старка, которому предстояло воевать с красными, уже была белая флотилия.

Георгий (Юрий) Карлович Старк (1878–1952) закончил Морской корпус в 1898 году. Первые награды получил за Цусимское сражение лейтенантом на крейсере «Аврора». В 1912 году получил в командование эсминец «Сильный», затем «Страшный». В Первой мировой войне командовал Минной дивизией в звании контр-адмирала. Особенно прославился в Моозундском сражении. 3 апреля 1918 года увольняется и под угрозой ареста, оставив в Петрограде семью, уезжает на восток. Гражданскую войну закончит командующим Сибирской флотилией. Эту флотилию, перегруженную беженцами и войсками из Приамурья, он выведет в Корею. Отказавшись от службы на иностранных кораблях, станет парижским таксистом. На стенах его комнаты всегда будут висеть фотографии любимой «Авроры». С 1949 года станет жить в Русском доме (для престарелых) в Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем до смерти в 1952 году.

На знаменитом русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа с 1940-х до 1952 года священником будет служить сын Старка – Борис Георгиевич, родившийся в Кронштадте в 1909 году и выросший в Финляндии. После Второй мировой войны сын найдет отца. Вскоре выйдет указ о гражданстве, Борис Старк и его жена получат советские паспорта, но останутся ухаживать за больным отцом. В 1952 году Сталин разрешит Борису Старку и двум его сыновьям вернуться на родину. Борис Георгиевич будет служить в Ярославле, в 1957 году побывает на «Авроре». За 35 лет жизни в Ярославле не испытает никаких притеснений. За воспитание любви к отечеству будет награжден Патриаршим крестом. Один его сын (внук адмирала) представляет Русскую православную церковь в Бельгии, другой – в Бейруте.

В «белой» судьбе Георгия Карловича Старка покаяние и примирение получилось на редкость полным.

Вернемся в 1918 год. 12 июля вышли из Нижнего Новгорода на фронт два первых парохода. На одном из них находился Федор Раскольников. Но на фронт не попали из-за измены капитана

Тихонова. Перебежчиком стал капитан и другого парохода – Трофимовский.

Отбирал пароходы и катера у судовладельцев моряк Балтийского флота Николай Маркин (первый красный министр иностранных дел, опубликовавший в ноябре 1917 года тайные соглашения царского правительства с европейскими странами). На суда устанавливались пулеметы, морские орудия. Организация была трудной из-за волокиты многих военных учреждений, из-за саботажа инженеров и рабочих, считавших, что Волга должна оставаться нейтральной.

Двадцать седьмого июля Ф. Раскольникова назначили командующим всей охраной и обороной водных путей на Волге. 6 августа белочехи взяли Казань, восстали рабочие Ижевского и Боткинского заводов, сопротивлялись даже монахи Свияжского монастыря. Красноармейские отряды охватила паника, многие покидали фронт. Об этих днях Лариса писала родителям:

«Мои радости, дело было так. Вы, наверное, знаете, что из проклятой Казани мы ушли вполне благополучно. Я с печатями и важными бумагами в 6 часов (со мной были оба Миши), и Федя в 9 часов уже с боем, в последние минуты пробился к шоссе. Через 3 дня мы были в Свияжске (в штабе) – о Феде стало известно, что он попался в плен и сидит в Казани. Тогда мы с Мишей взяли лошадей и пробрались в Казань вторично. Поселились у пристава – черносотенца, и все шло хорошо. Часами (с забинтованной головой) торчала в их штабе и очень скоро выяснила, что Федя спасся.

К сожалению, Мишу, по доносу соседа из гостиницы, узнали и арестовали где-то в городе. Нет его день, нет два, я без гроша денег, без паспорта. Пристав настоятельно предлагает проводить меня в штаб «для справок». Пришлось пройти. В штабе, где я часами справлялась о мифических родственниках, меня сразу узнали. Сравнили фамилии – не сходятся. Ваш паспорт? Нету. Начался ужасающий, серый, долгий допрос. Допрашивал японец-офицер. Никогда не забыть канцелярию, грязный пол и вещи уже «оконченных» людей на полу по углам. Целые кучи.

На минуту мой палач ушел в соседнюю комнату, направо за прокурором. У часового потухла папироска, он вышел закурить налево. Осталась большая, заколоченная войлоком, зимняя дверь посередине. Я ее рванула, вырвала с гвоздями и оказалась на лестнице, потихоньку сошла вниз, сорвала с головы бинты, попала на улицу. Тихим шагом до угла, потом на извозчика. Куда же, Боже мой, ехать? И вспомнила Булыгина, белогвардейца, с которым ехала когда-то в Казань. Застала дома – они дали мне платье кухарки, 5 рублей, и я скоренько побежала к предместью.

В четырех верстах, отшутившись неприличными шутками от двух патрулей, набрела на нашу цепь. Так чудом спаслась, а бедный Миша погиб. В Свияжске узнала, что Раскольников жив».

В этом письме нет подробностей, которые Лариса записала в очерке «Казань», напечатанном в газете «Известия» под рубрикой «Письма с Казанского фронта в 1918 году». Где-то на хуторе Ларисе пришлось принимать затянувшиеся роды, хозяин в благодарность отвез ее к приставу в Казань. Но чего нет ни в каких текстах, так это, естественно, целей разведки: узнать не только о Раскольникове, других пленных и погибших товарищах, но и о захваченном «чехо-сербо-японо-казано-татарскими патриотами» (Лариса Рейснер) золотом запасе России.

Первая глава «Фронта» – единственная, где Лариса еще рассказывает о себе, потом люди и события Гражданской войны будут перенасыщать ее очерки. Но вот маленькая деталь, так живо высвечивающая характер Ларисы Рейснер: «…И вдруг какой-то лихой комендант озлобленно плюет на открытую рану. „Ну, ваш-то, наверное, цел – напрасно беспокоитесь. До Парижа успел добежать“. Через минуту он стоит, облитый горячим чаем, красный, удивленный и злой, но это ничего не меняет. Все окрашивается в черный цвет, во всяком вопросе чудится обидный намек».

Первый военный опыт – полная неразбериха поражения, никакой связи между отрезанными друг от друга и штаба отрядами и слухи, слухи. Лариса оказалась одним из первых, если не первым разведчиком, добывшим важные сведения. Письмо родителям продолжается так: «Троцкий вызвал меня к себе, я ему рассказала много интересного. Мы с ним теперь большие друзья, я назначена приказом по армии комиссаром разведывательного отдела при штабе (прошу не смешивать с шпионской контрразведкой), набрала и вооружила для смелых поручений тридцать мадьяр, достала им лошадей, оружие и от времени до времени хожу с ними на разведки. Говорю с ними по-немецки».

В этой роли видела Ларису Елизавета Драбкина: «Впереди на вороном коне скакала женщина в солдатской гимнастерке и широкой клетчатой юбке, синей с голубым. Ловко держась в седле, она смело неслась по вспаханному полю. Это была Лариса Рейснер, начальник армейской разведки. Прелестное лицо всадницы горело от ветра. У нее были светлые глаза, от висков сбегали схваченные на затылке каштановые косы, высокий чистый лоб пересекала суровая морщинка. Ларису Рейснер сопровождали бойцы приданной разведке роты Интернационального батальона».

Еще неделю назад Лариса писала о лошади: «Но, Боже мой,

как на нее сесть, на эту буйную тварь? Справа или слева, – и что делать потом с ногами, к которым не без умысла привинчены громадные шпоры? Поехали шагом – ничего. Потом рысью – мучение и страх. А проехать надо все 40 верст. В первый же день знакомства с рыжим „Красавчиком“ началась наша с ним нежная дружба, длившаяся три года» (из главы «Казань»).

В те же дни Лариса писала родителям: «Жизнь спешит безумно. Сильно страдаем от грязи и насекомых. Бесконечно благодарна за ножнички и остальное. Вышлите с первой оказией шляпу и мое осеннее пальто. Хожу в невообразимом виде и мерзну. Все вещи остались в Казани. Адрес: Свияжск, штаб 5 армии, политкому отдела разведки Раскольниковой».

На царской яхте «Межень»

Анна Иосифовна Наумова, готовя сборник «Лариса Рейснер в воспоминаниях современников» (вышел в 1969 году), нашла много моряков, воевавших вместе с Ларисой. Один из них – Л. Берлин, временно исполнявший тогда обязанности командующего флотилией, вспоминает: «В середине августа Лариса Михайловна отправилась с нами из Свияжска в Нижний Новгород. Необходимо было ускорить вооружение кораблей. Лариса Михайловна много шутила в связи с тем, что совершает эту поездку на бывшей царской яхте „Межень“. Она по-хозяйски расположилась в покоях бывшей императрицы и, узнав из рассказа команды о том, что императрица нацарапала алмазом свое имя на оконном стекле кают-компании, тотчас же озорно зачеркнула его и вычертила рядом, тоже алмазом, свое имя».

Может быть, это тот самый алмаз, о котором ходили легенды, как о захваченном Ларисой «сувенире» из Зимнего дворца?

Лариса Васильева в книге «Кремлевские жены» приводит воспоминания Владислава Ходасевича о встрече с Ольгой Давыдовной Каменевой, женой Льва Каменева, сестрой Льва Троцкого. Ольга Давыдовна рассказывала ему о сыне Александре, подростке, который упросил Федора Раскольникова взять его с собой на фронт: «Представьте, он нашего Лютика там на Волге одел по-матросски: матросская куртка, матросская шапочка, фуфайка такая, знаете, полосатая. Даже башмаки – как матросы носят. Ну, настоящий маленький матросик». В. Ходасевич считал, что это была матросская форма Алексея Романова, наследника престола, который погиб месяц назад.

Л. Васильева приводит слова Н. Крупской: «Чехословаки стали подходить к Екатеринбургу, где сидел в заключении Николай II. 16 июля он и его семья были нами расстреляны, чехословакам не удалось спасти его, они взяли Екатеринбург 23 июля».

Муза, вторая жена Ф. Раскольникова, вспоминала сказанные ей мужем слова, что Англия, несмотря на просьбы Керенского, отказалась принять царскую семью.

Яхта «Межень» стала штабным пароходом. 11 августа на фронт вместе с «Меженью» вышли баржа «Сережа» (плавучий форт), канонерка «Ваня № 5» под командованием Н. Маркина. На борту «Вани» среди матросов был 17-летний пулеметчик Всеволод Вишневский.

Предыстория «Оптимистической трагедии»

Воля (домашнее имя Всеволода Витальевича Вишневского) с детства увлекался всем военным, поскольку в его роду было много военных. А еще он увлекался живописью, археологией, собиранием марок и монет, занимался борьбой, футболом, катался на роликовых коньках, любил сладости и глотал книгу за книгой. Учился он в Первой петербургской гимназии. Родители к тому времени разошлись, и Воля был предоставлен самому себе. Темперамент у него был необузданный, воля – неукротимая, и в декабре 1914 года (21 декабря ему исполнилось 14 лет) он сбежал из пятого класса на фронт. Какое-то время был «сыном» лейб-гвардии Егерского полка и разведчиком, участвовал в боях. Частые болезни, ранение, контузия, переформирование части давали ему возможность приезжать в Петербург. И тогда он догонял своих одноклассников по учебе в гимназии. В январе 1918 года уехал из полка, чтобы сдать экзамены на аттестат зрелости, а 19 февраля его рота почти вся погибла. Будущего писателя судьба берегла. Его аттестат зрелости от 13 февраля 1918 года имеет отличные и хорошие отметки. К этому времени у него уже было три георгиевских креста за храбрость!

В. Вишневский уехал из Петрограда в Москву с Первым морским береговым отрядом, охранявшим переезжавшее правительство. Не терпя бездействия, Всеволод постоянно что-то записывал в блокнот, писал стихи. Товарищи прозвали его «Стихоплетом». Летом 1918 года его отряд разоружал штаб анархистов на Поварской улице, дом 8. Комиссар отряда М. Якубович считал, что пьеса «Оптимистическая трагедия» была задумана Вишневским уже тогда!

Александр Таиров, ставивший пьесу в 1933 году в своем Камерном театре, говорил, что эмоциональный тонус пьесы – на грани кипения, ведь завтра многих, возможно, ожидает смерть, а потому сегодня для многих – «Да здравствует анархия!». Как музыкальное произведение звучит в контрастах, так и герои идут от хаоса к гармонии, от отрицания к утверждению. Комиссар в пьесе входит в разбушевавшийся анархический отряд, как начало ясности, целеустремленности.

В июле вместе с отрядом В. Вишневский был отправлен в Нижний Новгород. В гостинице «Сорокинское подворье» в Канавине шла запись в Волжскую военную флотилию, на стене висело обращение, написанное Н. Г. Маркиным: «От желающих поступить в морской отряд требуется признание платформы Советской власти и безукоризненная честность как по отношению

к начальству, так и к своим товарищам. Не имеющих этих качеств, просим не беспокоиться». Маркин ко всем обращался на «вы».

Всеволод Вишневский на корабле «Ваня» встретил друга на всю жизнь – пулеметчика Петра Попова, а также Ларису Рейснер, которая не раз там бывала. Вот отрывок из стенограммы выступления Вишневского перед актерами Камерного театра:

«Лариса Рейснер – петербургская культура (сам Вишневский очень любил и хорошо знал историю Петербурга, особенно пушкинского времени. – *Г. П.),* ум, красота, грация. Человек, который как-то пришел на флот и как-то сумел подчинить реакционную группу офицерства.

Когда она пришла к нам, матросам, мы ей сразу устроили проверку: посадили на моторный катер-истребитель и поперли под пулеметно-кинжальную батарею белочехов. Даем полный ход, истребитель идет, мы наблюдаем за «бабой». Она сидит. Даем поворот, она: «Почему поворачиваете? Рано, надо еще вперед». И сразу этим покорила. С того времени дружба. Ходили в разведку. Человек показал знание, силу. Мы сначала не верили: «Пришла какая, подумаешь!»

Очень активная, очень напряженная, напористая и очень простая. Я помню такой случай. 1 октября 1918 года наш корабль погиб. В живых осталось тридцать человек. Мы сидим, греемся, дают кофе, спирт. Подходит Лариса: «Расскажите». Меня толкают: «Валяй, ты умеешь». Рассказал. Она выслушала, потом подошла и… поцеловала в лоб. Парни заржали, она посмотрела, и все утихли. Это было просто и у меня осталось на всю жизнь…»

«Будешь играть Ларису Рейснер, – сказал Вишневский Алисе Коонен. – Ты замечательно должна ее сыграть. У вас есть что-то общее. И в характере какие-то сходные черты, и глаза похожи. И имена рифмуются: Алиса – Лариса». Общее было – Алиса Коонен увлекалась фигурным катанием так же страстно, как и Лариса. При обсуждении пьесы Коонен неожиданно переименовала название пьесы. «Да, я понимаю, что это трагедия. Но пьеса-то оптимистическая», – убеждал Вишневский, как надо играть. «А почему бы именно так и не назвать пьесу – „Оптимистическая трагедия“?» – вмешалась Коонен. «Всеволод вскочил и, заключив меня в объятия, воскликнул – Ура! Роль Комиссара стала одной из самых дорогих моему сердцу», – вспоминала актриса.

Лариса Рейснер очень любила Камерный театр, послала им телеграмму в честь десятилетнего юбилея. Много раз смотрела любимый спектакль «Жирофле-Жирофля» с Алисой Коонен в главной роли. Лично они не встречались. А творчески соединены – Коонен тоже мечтала «об искусстве больших страстей, искусстве

больших обобщений».

В первой сцене «Оптимистической трагедии» Комиссар приходит на анархический корабль. Ее встречают гоготом и собираются изнасиловать. Поняв, что моряки не шутят, Комиссар застрелила схватившего ее в охапку матроса. – «Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела? …Нет таких! Почему же? Вас было так много… Когда мне понадобится, я нормальная, здоровая женщина, я устроюсь, но для этого мне вовсе не нужно целого жеребячьего табуна».

А как на самом деле встречали на военном флоте женщину? По-разному.

«Не считая, вообще говоря, полезным присутствие женщины среди войск, особенно в боевой обстановке, я в данном случае должен был признать, что наличие в армии таких женщин, как Лариса Михайловна, даже очень желательно. Она отличалась редкой наблюдательностью, быстро и правильно разбиралась в сложной военной обстановке, а главное, могла талантливо изобразить наблюдаемое на бумаге», – вспоминал Ф. Новицкий, военмор.

В книге Давидсона о Николае Гумилёве приводится рассказ литературоведа Виктора Мануйлова, который будто бы был на корабле, когда туда пришла Лариса Рейснер и матросы начали бурно высказывать свое возмущение. «Почему начальникам можно иметь своих жен рядом, а нам нельзя?» Лариса Михайловна, услышав недовольство, по словам Мануйлова, вышла к морякам, что-то такое им сказала, что больше они уже не возмущались и относились к ней с уважением.

Если быть фактически точным, то в 1918 году В. Мануйлов – еще новороссийский гимназист. На Волжско-Каспийскую флотилию он был мобилизован в 1920 или 1921 году, после окончания Гражданской войны. И пересказал Мануйлов одну из легенд о Ларисе Рейснер, бытовавших на флотилии.

М. Кулик, служивший в то время на флоте, рассказывал: «В кругу товарищей мы всегда вспоминаем Ларису Михайловну добрым словом. Моряки Волжской флотилии и красноармейцы 5-й и 2-й армий очень уважали и искренне любили Ларису Рейснер за ее революционную отвагу, за исключительную чуткость к людям. Маркин высоко ценил ее мужество. 1 октября наша канлодка „Ваня“ погибла. Погибло около половины команды. В числе погибших был и комиссар Маркин.

К месту боя прорвались наши катера и под огнем противника подняли из воды пятнадцать матросов. Среди них был и я. Всех нас доставили на штабной пароход «Межень», и там мы сразу почувствовали теплоту материнских рук и заботу Ларисы

Рейснер. Перевязывая мне раненое плечо, она старалась успокоить меня, хотя сама безмерно горевала о гибели наших боевых товарищей. Благодаря личной заботе Ларисы Михайловны мы были все размещены в каютах, согреты, одеты и накормлены. Не чувствуя усталости, она продолжала так же заботиться и о четырнадцати матросах, выплывших на берег и тоже доставленных на «Межень», а затем с такой же неутомимостью ухаживала и хлопотала возле девяти человек, возвратившихся 2 октября с десанта».

Могла ли Лариса застрелить матроса? Из письма сигнальщика В. Таскина, флаг-секретаря комфлота к Наумовой, составителю сборника «Лариса Рейснер в воспоминаниях современников»: «Уважаемая Анна Иосифовна! Действительно, с июля 1919-го по май 1920 года, а затем месяца два в Петрограде я находился в непосредственной близости к Раскольниковой-Рейснер. Знал не только Ларису Михайловну, но и ее мать, отца, брата и даже свекровь. Но рассказчик я плохой… следовательно, мое выступление с воспоминаниями, да еще в таком журнале, как „Новый мир“, вообще исключается. Но помочь Вам хочу, ибо на всю жизнь сохранил чувство глубокого уважения к Федору Федоровичу и восхищение Ларисой Михайловной. Вы называете Ларису Михайловну воином. Вот тут что-то не то. Она была флаг-секретарем (адъютантом), комиссаром, политпросветработником, бесстрашным разведчиком, но… она не умела обращаться с оружием и не любила его. Она с отвращением отказалась даже от маленького дамского браунинга, предложенного ей из трофеев. Но она любила опасность и риск. И везде, и всегда, в любой обстановке она оставалась женщиной, с головы до ног».

Кстати, жен комиссаров, командоров на флоте было немало. Летом 1919 года Ларисе пришлось около тридцати жен отправлять в Астрахань поездом в очень трудных условиях успешного наступления белых.

Надежда Крупская ездила с агитпоездом по фронту, Екатерина Ворошилова была членом женсовета Первой конной армии в Царицыне в 1918 году, занималась детьми-беспризорниками.

В статье о Всеволоде Вишневском «Мальчик в красной рубашке» (Звезда. 2001. № 2) Борис Парамонов пишет о странных сближениях повести Германа Мелвилла «Билли Бад» и «Оптимистической трагедии» и о том, что в одной немецкой работе усматривались поражающие параллели между «Оптимистической трагедией» и «Доктором Живаго». Речь шла, предполагает Парамонов, о символике женского начала в русской революции.

Комфлот Федор Раскольников

Это человек идеи… Сильно развитая личность, ничего не может иделать другого из самой личности, то естьникакого более употребления, как отдать ее всю всем.

Ф. Достоевский о Родионе Раскольникове

«Я в РКП вошла на фронте и вполне самостоятельно», – писала Лариса Рейснер в 1923 году. Летом 1918 года – уточняют документы (ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 8. Д. 93). «У меня крошечное, но свое место в РКП, я себя чувствую одним из ее верных рыцарей пера, не боюсь смотреть в лицо страшной и милой жизни, знаю теперь твердо, что партия – моя партия».

Писатель Николай Смирнов рассказывал, что после войны не замечал партийной работы Ларисы Михайловны. «Журналистика – ее партийная работа, каждый день во внутренних поисках, готова была переобращаться во все веры. Авторитет – Бог-Дух».

Командующие флотилией почему-то не задерживались на этой должности. При отсутствии твердого единоначалия, при панике отступления начиналось воровство казенных денег. Из Нижнего Новгорода, где продолжали вооружать суда, готовить отряд гидроавиации, на самолете вылетел в Свияжск Федор Раскольников. 23 августа он принял командование флотилией. Лариса Рейснер была назначена старшим флаг-секретарем командующего. В эти ее обязанности входило ведение личной канцелярии комфлота.

Из приказа Ф. Ф. Раскольникова от 26 августа: «Всякого рода халатность, неисполнительность, медлительность выполнения данного поручения, не говоря уже о прямом неповиновении, будут мною жестоко преследоваться. Социалистическая Революция не расправится со своими врагами раньше, чем те, кто стоят под ее знаменами, не проникнутся сознанием твердой, объединяющей всех судовой товарищеской дисциплины. В нашу среду просачивались шкурнические, трусливые элементы, отбросы нашей флотской семьи. История никогда не простит Красному флоту, что главные силы лево-эсеровского мятежа состояли из отряда Попова, сформированного из балтийских и черноморских моряков. Пусть же волжские военные моряки воскресят былую славу матросов, как рыцари без страха и

упрека». 27 августа из Кронштадта пришли три эсминца. В первый же день флагманский эсминец «Прыткий» и два других, «Прочный» и «Ретивый», участвовали в боях с батареями и судами Г. К. Старка.

В 1917 году в автобиографии Федор Федорович писал: «Я затрудняюсь точно классифицировать характер моей работы. Туда, где острее всего ощущалась какая-либо неувязка, где образовывалась зияющая прореха, туда сейчас же с молниеносной быстротой бросались большевики…» И так всю жизнь, до зияющей бездны тоталитарного режима, когда только ему, Федору Раскольникову, публично удалось в 1939 году бросить вызов главному врагу:

«Сталин, Вы объявили меня вне закона. Этим Вы уравняли меня в правах, вернее, в бесправии со всеми советскими гражданами, которые под Вашим владычеством живут вне закона. Со своей стороны отвечаю полной взаимностью: возвращаю входной билет в построенное Вами царство „социализма“ и порываю с вашим режимом… Вы культивируете политику без этики, власть без чести, социализм без любви к человеку… Вы сковали страну жутким страхом террора, даже смельчак не может вам бросить правду в глаза. Как все советские патриоты, я работал, на многое закрывая глаза. Я слишком долго молчал, мне трудно было рвать последние связи – не с Вами, не с Вашим обреченным режимом, а с остатками ленинской партии, в которой я пробыл без малого 30 лет… Мне мучительно больно лишиться моей родины. Бесконечен список Ваших преступлений. Бесконечен список Ваших жертв, нет возможности их перечислить. Рано или поздно советский народ посадит Вас на скамью подсудимых, как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов».

«Открытое письмо Сталину» было закончено 17 августа 1939 года, опубликовано 1 октября этого же года в эмигрантском издании «Новая Россия» (№ 7, 1939). Милюков в своих «Последних новостях» опубликовал обращение Раскольникова к мировой общественности «Как меня сделали врагом народа», публиковать «Письмо Сталину» не решился.

Федор Раскольников решился, и его перо приобрело шекспировскую мощь. Его личная трагедия закончилась 12 сентября 1939 года, когда в состоянии острого психоза после известия о подписании советского договора с Германией, да еще его другом В. М. Молотовым, он выбросился из окна больницы в Ницце.

Когда Раскольникова назначили командующим флотилией,

Ленин писал командарму Вацетису – удивительно удачное назначение. Классовая ненависть бушевала, надо было объединить матросов с офицерами. Федора Раскольникова любили моряки, импульсивный, жаждущий немедленных действий, он умел повести за собой, никогда не кричал, не тыкал, в самых напряженных ситуациях не повышал голоса. Он был своим и для офицеров, не боялся вступаться за них, смещая ретивых политработников.

Лариса Михайловна нашла своего рыцаря без страха и упрека. Но родители ее считали, что этот брак ошибка, что Лариса и Федор очень разные люди. И отношения их качались, как маятник, от одного полюса до другого.

Расстрел дезертиров

Рано утром 29 августа белогвардейская бригада генерала Каппеля, отряды Савинкова, Фортунатова зашли в тыл частям 5-й армии, прорвались к соседней со Свияжском станции железной дороги, чтобы захватить Свияжск, мост через Волгу, походный штаб Реввоенсовета республики. В главе «Свияжск» (отдельно не публиковалась), лучшей главе книги «Фронт», Лариса Рейснер пишет:

«Налет был выполнен блестяще; сделав глубочайший обход, белые неожиданно обрушились на станцию Шихраны, расстреляли ее, овладели станционными зданиями, перерезали связь с остальной линией и сожгли стоявший на полотне поезд со снарядами. Защищавший Шихраны малочисленный заслон был поголовно вырезан.

Мало того: переловили и уничтожили все живое, населявшее полустанок. Мне пришлось видеть Шихраны через несколько часов после набега. Станция носила черты того совершенно бессмысленного погромного насилия, которыми отмечены все победы этих господ, никогда не чувствующих себя хозяевами, будущими жителями случайно и ненадолго захваченной земли… Белые стояли под самым Свияжском в каких-нибудь 1–2 верстах от штаба 5-й армии. Началась паника. Часть политотдела, если не весь политотдел, бросилась к пристаням и на пароходы.

Полк, дравшийся почти на самом берегу Волги, но выше по течению, дрогнул и побежал вместе с командиром и комиссаром, и к рассвету его обезумевшие части оказались на штабных пароходах Волжской военной флотилии. В Свияжске остались штаб 5-й армии со своими канцеляриями. Канцелярия штаба опустела – «тыл» не существовал. Все было брошено навстречу белым, вплотную подкатившимся к станции.

Белые решили, что перед ними свежая, хорошо организованная часть, о присутствии которой ничего не знала их контрразведка. Утомленные 48-часовым рейдом, солдаты преувеличивают силы противника, не подозревая, что их останавливает горсть случайных бойцов, за которыми нет ничего…

На следующий день судили и расстреляли (через десятого) 27 дезертиров, бежавших на пароходы в самую ответственную минуту. В их числе несколько коммунистов. Об этом расстреле много потом говорили, особенно, конечно, в тылу, где не знают, на каком тонком волоске висела дорога на Москву и всё наше, из последних сил предпринятое наступление на Казань. Говорят,

среди расстрелянных были хорошие товарищи, были такие, вина которых искупалась прежними заслугами – годами тюрьмы и ссылки. Совершенно верно. Никто не утверждает, что их гибель – одна из тех нравоучительных прописей старой военной этики, которая под барабанный бой воздавала меру за меру и зуб за зуб. Конечно, Свияжск трагедия. Участь Казани решилась именно в эти дни, и не только Казани, но и всей белой интервенции. Чтобы победить в 18 году, надо было взять весь огонь революции, весь ее разрушительный пыл и впрячь его в вульгарную, старую как мир схему армии».

Вместе со штабными бойцами, остановившими Савинкова и Каппеля, были отряд личной охраны поезда Троцкого, моряки с баржи «Сережа», канонерок «Ваня», «Ташкент». В бою был и Всеволод Вишневский, который не мог ответить на вопрос: «Так ли смертельна вина тех, кто струсил?»

В газете «Красная звезда» 14 февраля 1926 года была опубликована запись рассказа матроса из десанта:

«Белый идет напролом, узнаем, что у нас в тылу, в Тюрляма – прорвались белые, уничтожили охрану, взорвали 18 вагонов со снарядами. Наш участок разрезан надвое. Штаб здесь, а что сталось с теми, кто оторван? Приказ: идти в прорыв. Идет Лариса, берет Ванюшку Рыбакова – салагу, еще кого-то, не помню, – и прём. Ночь, дрожь от холода, одиночество и неизвестность. Но Лариса идет так уверенно незнакомой дорогой. У деревни Курочкино кто-то заметил – обстреливают, стелют, – трудно ползти. Переплет! А Лариса шутила и от скрытой тревоги был только бархатней голос. Выскочили из полосы обстрела – ушли.

– Вы устали, братишка? Ваня, а ты?

Она была недосягаемо высока в этот миг, с этой заботой, хотелось целовать черные от дорожной пыли руки этой удивительной женщины. Она ходила быстро, большими шагами, – чтобы не отстать, надо было почти бежать за ней…

Фронт связан. И эта, с хрупкой улыбкой женщина – узел этого фронта.

– Товарищи, устройте моих братишек. А я? Нет, я не устала.

А потом разведки под Верхним Услоном, под двумя Морквашами, до Пьяного Бора. По 80 верст переходы верхом без устали. В те дни радости было мало. И только не сходила улыбка с лица Ларисы Михайловны в этих тяжелых походах».

Свияжск – тогда город, а после образования Куйбышевского водохранилища поселок, – свидетель знаковых исторических событий. Он стал плацдармом для двух штурмов Казани: при Иване Грозном и в сентябре 1918 года. И местом, где поставили памятник Иуде Искариоту. В августе 1918 года восстали монахи

Успенского монастыря, одного из двух свияжских монастырей. Открытие памятника Иуде состоялось через день после казни настоятеля обители епископа Амвросия. По этому случаю был парад двух полков Красной армии. Гипсовая буро-красная фигура человека с обращенным к небу искаженным лицом, с рукой, судорожно срывающей с шеи веревку, символизировала «первого революционера».

Лев Троцкий («Иудушка Троцкий», как прозвал его Ленин в 1911 году) казнил священника, он же открывал памятник, который привез в своем бронепоезде. Единственным документальным свидетельством открытия памятника являются воспоминания датского писателя Ханнига Келлера. Через две недели памятник исчез при налете белогвардейских войск, которым чуть было не открылась дорога на Москву. Но не открылась, потому что среди революционеров существовало, по свидетельству Ларисы Рейснер, братство:

«Братство, затасканное, несчастное слово. Но иногда оно приходит в минуты крайней нужды и опасности – бескорыстное, святое, никогда больше в жизни неповторимое. И тот не жил и ничего не знает о жизни, кто не лежал ночью, вшивый, рваный, и не думал о том, что мир прекрасен, и как прекрасен! Что вот старое свалилось, и жизнь дерется голыми руками за свою неопровержимую правду, за светлых лебедей своего воскресения, за нечто незримо большее и лучшее, чем вот этот кусок звездного неба, видного в бархатное окно с выбитым стеклом, – за будущее всего человечества. Начнется день, в который кто-нибудь умрет, в последнюю секунду зная, что смерть – это только между прочим, не самое главное, и Свияжск опять не взят, и на грязной стене куском мыла по-прежнему написано: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“».

От Свияжска до Сарапула

Миноносцы Л. Рейснер переползли через мели и провели по Волге красную черту.

В. Шкловский

Через 366 лет после событий при Иване Грозном вновь в Свияжске готовился штурм Казани. В ночь на 30 августа эсминец «Прочный» подошел к верхним пристаням Казани, зажег артиллерийским огнем несколько барж с военным снаряжением и продовольствием, вызвав среди белых панику. При возвращении у «Прочного» испортился машинный телеграф и лопнул штуртрос. Корабль потерял управление и протаранил канонерку «Лев». Под дулами неприятельской батареи, пришвартовавшись к борту белогвардейской баржи, команда «Прочного» исправляла повреждения. Помогла растерянность противника из-за внезапного нападения. На борту «Прочного» в ту ночь находились нарком Троцкий, комфлот Раскольников, флаг-секретарь Рейснер.

Утром 10 сентября Казань была занята красноармейцами 5-й армии и моряками Волжской флотилии. В Красногорске хранится кинопленка, на которой заснята высадка с корабля десанта моряков. Они идут очень ритмично, будто под музыку марша. Так и оказалось, по свидетельству В. Вишневского: «Затихает безумие дня, и так хорошо стоять на вахте в ночной тишине. Чу! Раздались звуки оркестра, плывут и ширятся они в неподвижном воздухе. Бодрые, зовущие вперед, на борту наполняют они своей красотой все… и легче становится, забываются тягости походной жизни на корабле. С музыкой мы бросились на штурм Казани. Город был взят, и звуки оркестра наполнили его, развевались красные знамена, и стройно шла колонна моряков со своим оркестром».

После взятия Казани начался поход вверх по Волге, на Каму – за флотилией Старка, которая устремилась к Ижевскому и Боткинскому заводам за помощью. Красная флотилия разделилась на два отряда, меньший под командованием Сабурова ушел под Царицын.

А. В. Сабурову было 60 лет, в прошлом друг П. Шмидта, он был вынужден в 1906 году эмигрировать из России. Лариса оставила его портрет:

«Прекрасны старики революции. Вот Сабуров Александр Васильевич. Старший его сын убит на войне (мировой. – *Г. П.*)

Когда случилась революция, он все бросил, вернулся в Россию, чтобы сразу поехать на фронт в качестве морского офицера… видел перед собой свое новое, безумно молодое призвание. Он приехал на Волгу в разгар чехословацкого наступления, и ему дали под Казанью тяжелую, медленную, зашитую в железо баржу, на которой по очереди грохотали, а потом стыли и курились дальнобойные орудия. Как он чудесно управлял огнем. Маленький, заросший бородой, из которой виднеется черенок вечной трубки, со своими чуть косыми татарскими глазами и французскими приговорками, Александр Васильевич присядет у орудия, посвистит, помигает, прищурится на узорчатую башню, такую же древнюю, почтенную и внутренне изящную, как он сам, и откроет отчаянную канонаду.

С третьего выстрела в Казани что-то горит, неприятель отвечает, и маленький буксир, пыхтя и надрываясь, срочно вытягивает «Сережу» из-под дождя рвущихся снарядов. О, эти контрасты: неповоротливая громада и ее безошибочно точный огонь, эти колоссальные орудия и управляющий ими добрейший, маленький, живой Александр Васильевич, который мухи не обидит, но становится безмолвен, холоден, как камень, в самые тяжелые минуты… Смерть проходит мимо, не смея оборвать шестидесятого года этой царственной старости».

Восемнадцатого сентября был начат поход вверх к Чистополю. 26 сентября занят Святой Ключ, 28-го – Елабуга. Недалеко Тихие горы, где два года назад служил Борис Пастернак, который введет эти места в роман «Доктор Живаго». Почти каждый день воздушные разведки на гидропланах со сбрасыванием бомб. В такие разведки отправлялся даже начальник штаба флотилии Смирнов. И нет никакого сомнения, – Лариса, оставившая вид на Каму «сверху»:

«При первых лучах рассвета необычайна красота этих берегов. Кама возле Сарапула широкая, глубокая, течет среди желтых глинистых обрывов, двоится между островов, несет на маслянисто-гладкой поверхности отражение пихт – и так она вольна и так спокойна. Бесшумные миноносцы не нарушают заколдованный покой реки. На мелях сотни лебедей распростирают белые крылья, пронизанные поздним октябрьским солнцем. Мелкой дробной тучкой у самой воды несутся утки, и далеко над белой церковью парит и плавает орел».

Вечером 30 сентября флотилия Старка остановилась у села Пьяный Бор. Корабли Волжской флотилии – на восемь верст ниже. А 1 октября корабль «Ваня-коммунист» обстреляли две береговые батареи. Вместе с кораблем погибли Н. Г. Маркин и половина команды. Лариса была на «Прытком».

«Несмотря на страшный артиллерийский огонь, – писала она, – мы вернулись к погибающему, надеясь взять его на буксир. Но бывают условия, при которых самое высокое мужество бессильно: у „Вани“ первым же снарядом разбило штуртрос и телеграф. Судно, ничем не управляемое, закружилось на месте, и миноносцу, с величайшим риском подошедшему к нему, не удалось принять на буксир умирающий корабль. „Прыткий“, сделав крутой оборот, должен был отойти.

Как белые нас тогда упустили, просто непонятно. Стреляли в упор. Только поразительная скорость миноносца и огонь его орудий вывели его из западни. И странно, две большие чайки, не боясь огня, долго летели перед самым его носом, исчезая ежеминутно за всплесками упавших в воду снарядов».

Из письма матери отцу Ларисы: «Выезжаю через 2–3 дня домой, ибо мою Михайловну я спасти не могу, она обреченная. Большое горе: „Ваня“ погиб и Маркин вместе с ним. Горе наших было неописуемо, хорошо, что я была с ними. Попробовала быть на позициях – не шутка, здесь льется так безжалостно кровь наших! Погода чудесная, но никто этого не видит, все дерется и будет драться… Лери та же и совсем другая, у нее хороший период Sturm und Drang (буря и натиск. – Г. П.) – если выживет – будет для души много и авось творчество оживет, напившись этих неслыханных переживаний. Но не думаю, она все время на краю гибели. Я ими обоими много довольна – наша аристократка не уступает на мостике по хладнокровию демократам, и матросы молча подтягиваются. Фед. Фед. хорошо владеет собой и хорошо командует, вообще он хороший революционный командующий и сделал неслыханно много на Волге».

В Сарапуле моряки узнали, что, отступая, белые погрузили на баржу 600 человек арестованных и отбуксировали за 35 верст в Гальяны. Федор Раскольников мгновенно решает увести баржу из расположения белых. По счастливой случайности, как оказалось потом, именно в этот день, 17 октября, баржу должны были увести вверх для расстрела заключенных, и начальник караула в момент прихода красных миноносцев находился в штабе, получал инструкции.

Федор Раскольников по рупору передал капитану белого буксира «Рассвет» якобы приказание командующего флотилией Старка (красные флаги, естественно, были сняты с эсминцев) – взять баржу на буксир и следовать за ними. Капитан, приученный к беспрекословному повиновению, пришвартовался к барже и укрепил трос.

Лариса Рейснер: «Команда наша замерла, люди страшно бледны, и верят и не смеют верить этой сказке наяву. Не

торопясь, чтобы не вызвать подозрение у наблюдающих с берега белогвардейцев, караван уходит из Гальян. Наутро 18 октября город и войска встречали заключенных. Тюрьму подвезли к берегу, спустили сходни на „Разина“ – огромную железную баржу, и через живую стену моряков 432 шатающихся, обросших бледных сошли на берег. Вереница рогож, колпаков, шапок, скрученных из соломы, придавали какой-то фантастический вид процессии выходцев с того света… Раскольникова на руках внесли в столовую, где была приготовлена горячая пища и чай. Неописуемые лица, слова, слезы, когда целая семья, нашедшая отца, брата или сына, сидит возле него, пока он обедает и рассказывает о плене и потом, прощаясь, идет к товарищам-морякам благодарить за спасение.

В толпе матросов и солдат мелькают шитые золотом фуражки тех немногих офицеров, которые проделали весь 3-х месячный поход от Казани до Сарапула. Давно, думаю, их не встречали с таким безграничным уважением, с такой братской любовью, как в этот день».

Село Гальяны какое-то время носило название Раскольниково.

Гражданская война – апокалипсис истории

Эта баржа с сотнями людей, которых приуготовляются убить их же соотечественники – далеко не единственное проявление безумия Гражданской войны.

Еще раз вспомним осмысленное Н. Бердяевым: «Смысл революции есть внутренний апокалипсис истории. В революции и добро осуществляется силами зла, так как добрые силы были бессильны реализовать свое добро в истории».

Лариса Рейснер: «Чистополь, Елабуга, Челны и Сарапул – все эти местечки залиты кровью, скромные села вписаны в историю революции жгучими знаками. В одном месте сбрасывали в Каму жен и детей красноармейцев и даже грудных пискунов не пощадили… Жены и дети убитых не бегут за границу, не пишут потом мемуаров о сожжении старинной усадьбы с ее Рембрандтами и книгохранилищами или китайских неистовствах Чеки. Никто никогда не узнает, никто не раструбит на всю чувствительную Европу о тысячах солдат, расстрелянных на высоком камском берегу, зарытых течением в илистые мели, прибитых к нежилому берегу. Разве было хоть одно местечко на Каме, где бы ни выли от боли в час нашего прихода».

Григорий Померанц: «Неотложность сегодняшней задачи: отказаться от поисков козлов отпущения, найти путь к пониманию совиновности и к терпимости, а в перспективе – к взаимному пониманию и сотрудничеству больших и малых культур, связанных историей в один узел Евразии… Важно не дать личности потонуть в океане коллективных эмоций. Сохранить человеческий подход к конфликтам – вот это должно быть, мне кажется, сегодня основным. Почти из каждого положения есть разумный выход. Но люди упускают его, если ум их помрачен. Катастрофы можно избежать, если в нас самих возникает состояние внутренней тишины, свободы от порабощающих нас страстей. В эту минуту к нам приходит некое видение вещей как они есть. Это единственная точка, в которой гаснет обида. Гаснет раздражение. Гаснет всё, что должно быть погашено. Я встречал людей, проживших долгую трудную жизнь без обиды, без ненависти, без жажды возмездия. У всех этих людей было чувство вечности. Они не помнили обиды, не думали о них, а думали о сути дела».

Офицеры на флотилии

Военных специалистов в среде революционеров, среди рабочих, крестьян было очень мало. Мобилизовывали офицеров. Контроль за ними осуществляли комиссары. Лариса Рейснер как писатель, к тому же имея психологическое образование, стремилась понимать всех.

«Конечно, отдельные люди не делают истории, – писала она в очерке „Маркин“, – но у нас в России вообще так мало было лиц и характеров, и с таким трудом они выбивались сквозь толпу старого чиновничества, так редко находили себя в настоящей, трудной, а не словесной и бумажной борьбе. И раз у революции оказались такие люди, люди в высоком смысле этого слова, значит, Россия выздоравливает и собирается. В решительные минуты они сами собой выступали из общей массы, и вес их оказывался полным, неподдельным весом, они знали свое геройское ремесло и подымали до себя колеблющуюся и податливую массу.

…Вот Николай Николаевич Струйский, флагманский штурман и наопер (начальник оперативного управления. – Г. П.)флотилии во вторую половину камского похода. Один из лучших специалистов и образованнейших моряков, служивших безукоризненно советской власти в течение всей гражданской войны. Между тем, его вместе с несколькими младшими офицерами насильно мобилизовали и чуть не под конвоем привезли на фронт. На «Межень» они прибыли, ненавидя революцию, искренне считая большевиков немецкими шпионами, честно веря каждому слову «Речи» или «Биржевки».

На следующее утро по прибытию они участвовали в бою. Сперва сумрачное недоверие, холодная корректность людей, по принуждению вовлеченных в чужое, неправое, ненавистное дело. Но под первыми выстрелами все изменилось: нельзя делать наполовину, когда от одного слова команды зависит жизнь десятков людей, слепо выполняющих всякое приказание, и жизнь миноносца, этой прекраснейшей боевой машины. От каждого матроса – стальная нить к капитанскому мостику. Хороший моряк не может саботировать в бою. Забыв о всякой политике, он отвечает огнем на огонь, будет упорно нападать и сопротивляться, блестяще и невозмутимо выполнять свой профессиональный долг. А потом, конечно, он уже не свободен. Его связывает с комиссаром, с командой, с красным флагом на мачте – гордость победителя, самолюбивое сознание своей нужности, той абсолютной власти, которой именно его, офицера,

интеллигента, облекают в минуты опасности.

После десяти дней походной жизни, которая вообще очень сближает, после первой победы, после первой торжественной встречи, во время которой рабочие какого-нибудь освобожденного от белых городка с музыкой выходят на пристань и одинаково крепко пожимают и руку матроса, первым соскочившего на берег, и избалованные, аристократические пальцы «красного» офицера, который сходит на «чужой» берег, нерешительно озираясь, не смея поверить, что он тоже товарищ, тоже член «единой армии труда», о которой так взволнованно, неуклюже и радостно трубит хриплая труба провинциального «Интернационала».

И вдруг этот спец, этот императорской службы капитан первого ранга с ужасом чувствует, что у него глаза на мокром месте, что вокруг него не «шайка немецких шпионов», а вся Россия, которой бесконечно нужен его опыт, его академические знания, его годами усидчивого труда воспитанный мозг. Кто-то произносит речь – ах, эту речь, задиристую, малограмотную, грубую речь, которая еще недавно, еще неделю назад не вызвала бы ничего, кроме кривой усмешки, – а капитан первого ранга слушает ее с сердцебиением, с трясущимися руками, боясь себе сознаться в том, что Россия этих баб, дезертиров и мальчишек, агитатора товарища Абрама, мужиков и Советов – его Россия, за которую он дрался и до конца будет драться, не стыдясь ее вшей, голода и ошибок, еще не зная, но чувствуя, что только за ней право, жизнь и будущее.

Еще через неделю, одев чистый воротничок, смыв с головы и лица угольную и пороховую копоть, застегнув на все золотые, с орлами, пуговицы китель, на котором не успели выгореть темные следы эполет и нашивок, товарищ Струйский идет объясняться со своим большевистским начальством. Он говорит и крепко, обеими руками, держится за ручки кресла, как во время большой качки.

– Во-первых, я не верю, что вы и Ленин, и остальные из запломбированного вагона брали деньги от немцев.

Раз – передышка, как после залпа. Где-то вдали, где морской корпус, обеды на «Штандарте» и золотое оружие за мировую войну – взрывы и крушение. Запоздалый Октябрь.

– Второе, с вами Россия, и мы тоже с вами. Всем младшим товарищам, которые пожелают узнать мое мнение, я скажу то же самое. И третье, вчера мы взяли Елабугу. На берегу, как вы знаете, найдено до ста крестьянских шапок. Весь яр обрызган был мозгами. Вы сами видели – лапти, обмотки, кровь. Мы опоздали на полчаса. Больше это не должно повториться, можно идти ночью. Конечно, опасный фарватер, возможна засада в виде

батареи… но… – Из кармана достается залистанный томик «Действия речных флотилий во время войны Северных и Южных штатов»».

На Волжской флотилии воевал будущий писатель Сергей Колбасьев, дорогой для Рейснеров человек. Его мать Эмилия Петровна и Екатерина Александровна Пахомова-Рейснер всю жизнь были самыми близкими подругами. Где они познакомились? Для меня это притягательная загадка. Может быть, на школьной скамье?

Эмилия Элеонора Филиппина Матильда Каруана, красивая южной средиземноморской красотой, – из старинного рода мальтийских негоциантов. Своим будущим мужем Адамом Викторовичем Колбасьевым она была украдена чуть ли не из-под венца. «Блестяще образованная, музыкальная, прекрасно знающая несколько европейских языков, она стала лучшим учителем и другом маленькому сыну», – сообщает Олег Стрижак, исследователь жизни Сергея Колбасьева. После ранней смерти отца Сережу, гимназиста частной гимназии Лентовской, осенью 1915 года определили в Морской кадетский корпус. Братья отца были капитанами 2-го ранга. В гимназии Сергей учился вместе со своим одногодком Игорем Рейснером.

Весной 1918 года, после окончания Морского корпуса, Сергей Колбасьев оказался на короткое время в Северной флотилии, которой командовали англичане. Повесть «Центроморцы» написана им как участником событий, и автор сделал тот же выбор, что и его герои. На «Прыткий» Сергей пришел в октябре 1918 года. Скоро он стал старшим помощником командира, а затем командиром. «Положения были необычны и неправдоподобны», – писал С. Колбасьев. В его книге «Поворот все вдруг» отражены люди и события Волжской флотилии. На «Прытком» Колбасьев служил до мая 1919 года. Об одном из своих постоянных героев Бахметьеве автор писал как о себе: «В юности он впитал в себя дух своеобразного гардемаринского свободомыслия, затем воспитался на миноносцах, где служба шла по-семейному, и, наконец, прошел сквозь всю гражданскую с не признававшей никаких формальностей матросской вольницей».

Ларису Михайловну знали и любили не только матросы и офицеры Красной флотилии, но и Белой, о чем рассказал в 2000 году на лекции, посвященной Ларисе Рейснер (в цикле «Женщины Петербурга»), в Музее истории Ленинграда профессор Петербургского университета Сергей Сергеевич Шульц-младший.

О Ларисе Рейснер С. С. Шульц много слышал от отца, Сергея Сергеевича Шульца-старшего (1898–1981), который учился вместе с С. Колбасьевым и Ф. Раскольниковым в Морском корпусе. С.

Шульц был участником ярославского восстания эсеров, в Перми попал во второй дивизион Камской флотилии Старка флаг-офицером на броневой катер «Ревель». Как и Лариса Рейснер, организовал конную разведку при флотилии. За бой под селом Дубровное получил орден Святого Георгия 4-й степени и орден Святой Анны.

Был арестован в ночь на 7 января 1920 года, когда арестовали и Колчака, на следующий день выведен на расстрел. Спасла его крестьянская семья Шанагиных. «Молись за них», – говорил он сыну. Осенью 1922 года Шульца-старшего опять арестовали, и только самоотверженность родных спасла его от второго расстрела. Впоследствии заведовал кафедрой на географическом факультете Ленинградского университета, был дружен с Львом Николаевичем Гумилёвым, сыном поэта.

«Отрывки воспоминаний (до середины 1919 года), которые написал отец, сохранились. – рассказывал его сын. – Отец был командиром малого буксира в Камской флотилии. Если кто-то из флотилии попадал в плен, то спасала их Лариса Рейснер. Все офицеры Камской флотилии знали о Ларисе. И за жизнь Алексея Щастного она боролась – не удалось. В легендах Белого движения за рубежом искажен ее образ…»

Глава 24
КОГЕНМОР

Она была совершенно неожиданной в Морском Генеральном штабе.

М. Ф. Кириллов

«Каждое утро боцман флагманского судна „Межень“, довольный и улыбающийся, доносит о падении температуры в Каме. В воздухе – ноль. По течению плывут одинокие льдины, вода стала густой и медленной, над поверхностью дымится постоянный туман, верный предвестник мороза. Команды веселеют, предвкушая отдых.

И только теперь, когда близок час невольного отступления, все вдруг начинают чувствовать, как дороги и незабываемы стали эти берега, отбитые у неприятеля, каждый поворот реки, каждая мохнатая ель над крутыми обрывами. Сколько трудных часов ожидания, сколько надежд и страха не за себя, конечно, но за великий восемнадцатый год, судьбы которого зависели от меткости выстрела, от мужества разведчика!

Кто знает, против кого и в каких водах придется начинать борьбу через год, какие товарищи взойдут на бронированные мостики судов, таких знакомых и дорогих каждому из нас», – писала Л. Рейснер в очерке «Маркин», включенном в книгу «Фронт».

К первой годовщине революции Волжская военная флотилия пришла на зимовку и ремонт в Нижний Новгород. Ф. Раскольников, в то время член Реввоенсовета республики, вместе с В. Альтфатером руководил морским комиссариатом.

Ларису Рейсер назначают – с 20 декабря временно, а с 29 января 1919 года постоянно – комиссаром Морского Генерального штаба (когенмором). Комиссаров в Генморе было несколько.

Назначение, судя по всему, произошло по инициативе Л. Троцкого. Лариса, при ее тяготении к исследовательской работе, прочла гору русских и иностранных книг, изучив такие темы, как «Влияние морской силы на историю, на французскую революцию», «Ереси в учении о морской силе», «Броненосцы в бою», «Борьба за обладание морем» и др.

По словам М. Ф. Кириллова, моряка Волжской флотилии, который стал секретарем Рейснер в Генморе (а в двадцатые годы

– актером в Театре Мейерхольда): «Она была совершенно неожиданной в Морском Генеральном штабе, сплошь состоявшем из бывших офицеров царского военно-морского флота. В то время командующим морскими силами республики был Альтфатер, как говорили, незаконный сын Александра III… Она удивительно тонко умела с офицерами ладить и создавала хорошую деловую обстановку. Ее уважали за храбрость и щедрое сердце».

Начальник Генерального Морского штаба (нагенмор) контр-адмирал Василий Михайлович Альтфатер (1883–1919) в 1917 году написал в письме к Иоффе, главе российской делегации в Брест-Литовске: «Я служил, потому что считал необходимым быть полезным России там, где могу. Но я не знал вас и не верил вам. Я теперь еще многого не понимаю в вашей политике. Но я убедился, что вы любите Россию больше многих из наших. Теперь я пришел сказать, что я ваш».

Дед Василия Михайловича – Георг Христиан, родившийся в Мекленбурге, в 1819 году, в возрасте 20 лет, поступил на русскую военную службу. Обладая блестящими способностями, быстро продвигался. Через 10 лет принял русское подданство, через 30 лет ему пожаловали потомственное дворянство. Его сын Михаил Егорович (1860–1918) был произведен в генералы от артиллерии, стал членом Государственного совета. Старший сын – Василий Егорович (1842–1909) – дослужился до генерал-майора.

Василий Михайлович закончил Морской корпус. За оборону Порт-Артура был награжден пятью орденами. В июле 1904 года его крейсер «Аскольд» вырвался с боями из блокады и был интернирован до конца войны в Шанхае. По возвращении в Петербург В. М. Альтфатер с отличием закончил Морскую академию. Служил на Балтике в штабе начальника дивизиона эсминцев, постоянно взаимодействовал с А. В. Колчаком – начальником оперативной части Генмора. Когда в 1912 году Колчак стал командиром эсминца, Альтфатер занял его место в Морском Генштабе.

Авторитет всегда спокойного, ровного, вдумчивого, точного Альтфатера рос настолько быстро, что его, 29-летнего, назначили представителем России в Международной ассоциации судоходных конгрессов. О ходе военных действий в Первой мировой войне Альтфатер постоянно докладывал Николаю II.

В 1916 году Колчак был назначен командующим Черноморским флотом, и пути сослуживцев, а может быть, и друзей, разошлись.

В декабре 1917 года Альтфатер как эксперт по военно-морским вопросам едет на переговоры в Брест-Литовск.

И когда 17 февраля 1918 года перемирие с Германией было

нарушено и возобновились военные действия, спасли русские суда, уведя их под носом у немцев из Ревеля и Гельсингфорса, в первую очередь командующий Балтийским флотом Алексей Михайлович Щастный и флаг-офицер Морского Генерального штаба Василий Михайлович Альтфатер.

Весной 1918 года началась интервенция стран Антанты. Альтфатеру пришлось создавать морские отряды из флотских экипажей, бронепоезда, вооруженные пушками, с кораблей бездействующего флота, запертого немцами в Финском заливе, организовывать речные флотилии. На руки ему был выдан документ: «Ввиду крайне важных задач, поставленных Альтфатеру, всем властям и организациям РСФСР предлагается оказывать ему незамедлительное и всякое содействие под страхом ответственности перед Революционным трибуналом». Подпись – Ленин. В. М. Альтфатер стал первым командующим морскими силами (коморси).

Под этим же «страхом ответственности» работала с Альтфатером и Лариса Рейснер. За ее подписью хранится множество документов в Центральном государственном архиве Военно-морского флота. Она решала вопросы организации снабжения, минирования, траления, борьбы с бесхозяйственностью. Кроме того, в ее компетенции были вопросы личного состава флота, комплектования, учета. Ларисе приходится много ездить в командировки в Петроград, Нижний Новгород, постоянно оказывать помощь разным людям, не только сотрудникам и их семьям. Кто-то погибает в тифу, кто-то неизвестно за что арестован, кому-то нужен перевод на другую должность. В архиве Ларисы Рейснер сохранилось много писем с благодарностью.

«…Зная Вашу отзывчивость, я убедительно прошу Вашего содействия и помощи…» (Э. И. Андерсон). «Обращаюсь к Вам с просьбой – если возможно, посодействовать молодому товарищу матросу Илье Мусихину. Его судьба связана с судьбой молодой девушки, его невесты…» (З. А. Венгерова).

«Нет ли у Вас знакомых в комиссариате по Продовольствию. Это помогло бы мне накормить моих голодающих преподавателей… Искренне уважающий Вас, Виноградов А. Т.». Кто-то просит освободить его от должности командира миноносца, поскольку привести его в порядок невозможно: «Это значит войти в тесное сношение с Петроградским и Кронштадтскими портами, со всеми мошенниками, которые там сидят, окунуться в грязь по самые уши, разменяться на самую мелкую монету».

В эту грязь Лариса погружалась постоянно. 29 января 1919 года из Нижнего Новгорода приходит телеграмма:

«Когенмору Рейснер. Срочно. Москва. Воздвиженка, 9. Серпухов. Реввоенсовету. Аралову. Предреввоенсовет Троцкому.

Заведующим Политическим Отделом Штаба Волжской флотилии Филатовым ведется из шкурных интересов открытая систематическая агитация среди команды штаба и служащих против командного состава флотилии, против ходящих из бывших офицеров, также на технических специалистов. Особенно усиленная и злостная травля ведется на начальника штаба Варваци, которого постоянно публично называют белогвардейцем черной сотни и равно всех его сотрудников коммунистов, которые поддерживают командный состав. Вместе с Филатовым работают члены районного комитета коммунистов флотилии, например:

Стасев, члены следственной морской комиссии Петров, Ларионов и служащие их. Штаб находится под угрозой открытого выступления моряков вследствии зловредной агитации, распространившейся на флотилию и порт. Наблюдается не исполнение приказов ответственных представителей штаба и небрежное отношение к службе, ибо агитаторы вмешиваются в распоряжения начальства. Филатов поступает совершенно автономно: ездил самовольно в отпуск и неизвестную командировку, требует прогонные, поступают точно так же и члены следственной комиссии. Сил для прекращения и обуздания подобного явления не имеется. Благоволите ответить распоряжением. Заместитель Политкома секретарь штаба Сафронов».

На следующий день 30 января Альтфатер вместе с Рейснер выехали в Нижний Новгород. Через две недели туда же выехал Михаил Андреевич Рейснер как юрист, знающий советское законодательство. Лариса, телеграфируя о его приезде, пишет: «О приговоре В. Ч. К. мною будет сообщено в Серпухове. Когенмор. Рейснер».

Об одном из подобных дел Ларисе удалось опубликовать очерк в «Известиях» 18 декабря 1918 года. Назывался он так: «В Петроградской чрезвычайке (Веселая история)».

На следующий день по докладу Ф. Э. Дзержинского бюро ЦК РКП(б) запрещает в печати критику ВЧК. Поскольку очерк никогда более не перепечатывался, приведем его здесь полностью.

«В Петроградской чрезвычайке
(Веселая история)

В Чрезвычайную Комиссию я поехала по поручению Морской Коллегии, предлагавшей взять на поруки семерых моряков, арестованных и заключенных в тюрьму без достаточных оснований еще три месяца тому назад.

Помещение Петроградской Ч. К. извилисто и грязно, как домик улитки, и особенно внизу в общей комнате просителей сохранился тот гнусный запах, которым издавна славятся российские присутственные места: смесь мокрого валяного сапога с жженой сургучной печатью и еще чего-то, неудобопроизносимого.

Чин, сидящий у входных дверей, даже не взглянул, а как-то неуловимо прицелился на мою шубу (котиковую, реквизированную в Казани вместо старой), на мое лицо с виновато-интеллигентским выражением и на того

подстрекательного и веселого беса, который меня всюду сопровождает после 4-х месяцев вольной и трудной жизни на фронте.

Мы, т. е. я и чин, помолчали некоторое время. Он был как неприступная скала – я задавлена величием его деревянных усов, деревянного лица и какой-то деревянной пустоты, похожей на страх, которую распространял этот человек, похожий на дупло. И, однако, голос, выходивший из этого дупла, оказался тонким, скрипучим и сухим, я едва расслышала шепелявые слова.

– Неприсутственный день.

– Я знаю, что неприсутственный, но у меня очень спешное дело и, если случайно есть кто-нибудь из членов комиссии, быть может, вы позволите переговорить или доложите, что я пришла по поручению Р. (Я назвала фамилию одного из членов Реввоенсовета Республики.)

– Неприсутственный день.

– Вы это уже говорили. Примите, пожалуйста, мои бумаги и дайте расписку в их получении.

Чин мельком взглянул на мою бумагу, вернее на то ее место, где должен быть №, и не найдя оного, проскрипел следующее:

– Ваша бумажка без №, никакой расписки не дам.

– Позвольте, есть число и подпись.

– Не дам…

Я с удовольствием припомнила, как за подобное канцелярское выматывание души из живого человека расправляются матросики где-нибудь в Нижнем, но своих мыслей вслух не выразила. Мы продолжали.

– Быть может, вы дадите мне № телефона кого-нибудь из членов Ч. К., я из дому с ними сговорюсь.

– Я вам не справочное бюро. Это был апофеоз.

Даже часовой со своей винтовкой казался поражен столь удачным оборотом и любовно сплюнул.

Надо сознаться, мой коммунистический бес был вне себя. Я намекнула чину, уже без всякой любезности, что это не порядки, а издевательство, самое возмутительное и глупое.

Тут человек-дупло впервые взглянул прямо мне в глаза, положил перо и невозмутимо продолжал:

– Вот поговорите еще немного, и я вас посажу в карцер, вам, видно, очень хочется переночевать в холодной?

Нельзя было отступать перед наглостью маленького и страшного хама. Я просила меня арестовать во что бы то ни стало, я требовала этого ареста.

Чин все также спокойно встал и, улыбаясь, боком, не глядя ни на кого, потащил меня за собой в недра Ч. К. Шли мы очень

длинными какими-то коридорами, лестницами и чуланами. Поскрипывал паркет и старые градоначальничьи шкапы, тусклая лампа едва освещала голые стены, обклеенные прокламациями, воззваниями и эмблемами рабочей Республики.

Наконец дверь, и на ней надпись «комендант». В накуренной, но обширной комнате человек 10 бравых галифе с пистолетами, голенищами и всяческими перевязями. Комендант из числа тех воинствующих товарищей, коих солдаты на фронте зовут «трепло» или «штабная макарона», не пожелал меня выслушать. Чин всецело завладел его вниманием и изобразил дело так, что я недовольна существующими порядками и, значит, хотела бы восстановить старые порядки, которые мне близки и дороги. В воздухе пахло 102 статьей, и эта наглая ложь, возводимая прямо в глаза, без всякого стыда и страха, лишила меня последнего самообладания. И я сказала коменданту, что считаю позором и преступлением по службе все эти формальные придирки. Неприсутственный день! И это говорится во время революции, все дни которой драгоценны и невозвратимы. В учреждении, располагающем жизнью и смертью сотен людей, нет даже постоянного дежурства. А если бы я привезла помилование и оправдание какому-нибудь смертнику? Вы бы расстреляли его сегодня ночью, а разбор бумаг отложили бы до присутственного дня. Стыд, стыд и стыд! Краснею за вас и ваш застенок.

От изумления и злобы вся комендантская приросла к полу и никто не помешал мне выйти за дверь. Но едва сделала я по коридору несколько шагов, вся компания потащила меня в карцер. Это низкое длинное помещение, плохо освещенное, вонючее и грязное. По стенам нары, а у стола посередине человек 10 арестантов: немытых, опухших и ко всему равнодушных. Только одна маленькая уличная фея, голодная и ощипанная, не потеряла и здесь полуобезьяньей, полуженственной грации: перед обломком зеркала, странно, нетрезво улыбаясь, оживляла она краской свои затоптанные губы. Старик, вероятно, спекулянт, отстегнув от рубахи грязный воротничок, на доске стола производил вычисления несуществующих сумм: его мечты порхали в светлой, торопливо живущей конторе, щелкали счетами и улыбались головами бесчисленных механических барышень-машинисток.

Через час пришел случайно узнавший о моем аресте член Ч. К.

Начались извинения, разносы и обещания, причем больше всех суетился и искал виновника посадивший меня на хлеб и воду комендант.

Мораль этого рассказа? О, никакой морали! Вернее, она еще

впереди.

Дело в том, что через неделю и по тому же делу я снова посетила Гороховую, 2. И что же? Чин сидел на прежнем месте, и ежеминутно от него выходили женщины с красными пятнами на скулах, обезображенные слезами и бессильным гневом. В руках их виднелись раскрытые свертки, отвергнутые, брошенные назад чуть ли не в лицо крохи хлеба и белья, собранные так тщательно и безнадежно.

Как он разговаривал, это «дупло»! Целая своеобразная система, причем он ухитрялся никому не дать точной справки и неутомимо и невозмутимо всем и во всем отказывал. «Свиданье в тюрьме? Нельзя!» «Передать белье? Нельзя!» «Жив или расстрелян? Нельзя!» «Когда будет суд? Нельзя!»

Меня мой чин узнал еще издали и заметно оживился.

– А, это опять вы пришли! Напрасно, сударыня. Никуда я вас не пущу.

И не пустил.

Лариса Рейснер».

Первая леди большевистского Адмиралтейства

«Мы захватили в плен первого лорда большевистского адмиралтейства», – писали 10 января 1919 года лондонские газеты. Лордом англичане назвали Федора Раскольникова. Во время разведки на миноносце «Спартак» он был взят в плен недалеко от Ревеля.

Двадцать восьмого ноября 1918 года из Копенгагена вышла английская эскадра, чтобы успеть до ледостава оккупировать порты Либавы, Риги и Ревеля. Слухи дошли до Петрограда. Проводить разведки подводными лодками не получалось – из-за неисправных механизмов лодки возвращались, не достигнув цели. Шел зимний ремонт судов, и Балтфлот для глубокой разведки мог дать только линейный корабль «Андрей Первозванный», крейсер «Олег», эсминцы «Спартак» (бывший «Миклухо-Маклай») и «Автроил». В книге «Рассказы мичмана Ильина» (1934) Ф. Раскольников описал то, что произошло, довольно подробно:

«Разрабатывали план Альтфатер, Зарубаев, начальник морских сил Балтийского моря и я.

– Особенно остерегайтесь английских легких крейсеров, – предупреждал В. М. Альтфатер. – У них сильная артиллерия и скорость хода более тридцати узлов.

25 декабря рано утром перед выходом в поход на «Автроиле» вновь обнаруживается неисправность машины. Решаем идти без него, починится – догонит». Альтфатер и Зарубаев пришли проводить Раскольникова. Кронштадт был весь во льду. Корабли идут с ледоколом.

Накануне Раскольников говорил по прямому проводу с Ларисой: «Срочно передай товарищу Троцкому, что завтра на рассвете я на миноносце „Спартак“ вместе с двумя другими миноносцами отправляюсь бомбардировать Ревель, атаковать неприятельские суда, если они повстречаются. Вызови сейчас Евгения Андреевича (Бернса. – Г. П.) и вместе с ним поезжай к Льву Давыдовичу, чтобы доставить ему следующую записку Альтфатера, которую я сейчас буду передавать».

Уезжал Раскольников, наверное, с тяжелым сердцем. Сохранилось его письмо Ларисе, которое показывает, что они «разбежались» в декабре:

«Дорогой Ларисничек!

Я тебя абсолютно не могу понять, я никак не уловлю линии в

твоем поведении. С одной стороны, ты согласилась остаться моим другом, с другой стороны, ты не отвечаешь на мои, кровью сердца написанные письма, не подходишь к телефону, когда я, весь дрожа от волнения, тебя вызываю. Ты, по словам Миши, предлагаешь мне сноситься не с тобой, а с Михаилом Андреевичем. Позволь тебя спросить, милая, славная Ларисочка, что же это за оригинальная заочная дружба, которая не допускает непосредственных сношений друзей».

Лариса признавалась в письме родителям, что, когда Федя работает над историей партии, она не может разделить это его увлечение. Ей недоставало его внимания. По словам Федора Федоровича, Лариса была очень ревнива. Словом, не сошлись характерами.

Поздно вечером 25 декабря 1918 года корабли подошли к заросшему хвойным лесом скалистому острову Гогланду. Под его прикрытием переночевали. Крейсер «Олег» остался у Гогланда. «Спартак» должен был один идти к Ревелю. В случае встречи с превосходящими силами противника он отойдет к Гогланду под прикрытие артиллерии «Олега». Если эта защита окажется недостаточной, оба корабля отойдут к Кронштадту, заманивая противника под огонь 12-дюймовых орудий «Андрея Первозванного».

Когда «Спартак» подошел к островам Вульф и Нарген, он открыл по ним огонь, чтобы проверить, есть ли там батареи, которые были до революции. Им никто не ответил. Но едва эсминец поравнялся с траверзом Ревельской бухты, как «пять зловещих дымков приближались с молниеносной быстротой». «Спартак» развернулся и полным ходом пошел обратно. Его преследовали пять английских легких крейсеров. Их скорость была большей. Случайный снаряд сильным давлением воздуха разорвал и привел в негодность штурманскую карту, а затем эсминец налетел на подводную каменную гряду, все лопасти винта отлетели. «Спартак» продолжал отстреливаться из кормового орудия. Послали радиограмму «Олегу», чтобы он возвращался в Кронштадт. Открыть кингстоны и затопить корабль не удалось, из-за повреждения днища кингстоны не действовали. Федора Раскольникова переодели в матросскую форму. Подошедшие корабли спустили шлюпки, и английские матросы «с проворством кошек устремились в каюты, кубрики и самым наглым, циничным и беззастенчивым образом, на глазах у нас, принялись грабить все, что попадалось им под руку», – писал Раскольников.

На следующий день был захвачен в плен и подошедший «Автроил». Федора Раскольникова выдал его однокашник по

гардемаринским классам Оскар Фест, из прибалтийских дворян. Судя по тому, как с ним обращались, Раскольников ждал неминуемого расстрела. Команды миноносцев отправили на остров Нарген в концентрационный лагерь, где люди гибли от голода, холода, повальных болезней, от нечеловеческих условий. В феврале 1919 года группа балтийцев во главе с комиссаром «Спартака» В. П. Павловым была расстреляна.

Десятого января 1919 года Раскольникова и комиссара «Автроила» Нынюка доставили в Лондон. На допросе в Адмиралтействе Раскольников отказался отвечать на военные вопросы. В Скотленд-Ярде начальник политической полиции Англии сообщил Раскольникову, что он будет состоять заложником за англичан, попавших в плен недалеко от Архангельска. И предложил отправить телеграмму в Совет народных комиссаров. Затем Раскольникова отправили в тюрьму.

«Когда я проходил внутренними переходами тюрьмы, то был удивлен, с каким утомительным однообразием все тюрьмы мира копируют друг друга. „Брикстон-призн“ больше всего напомнила мне „Кресты“. Те же коридоры, те же лестницы, даже то же расположение корпусов. От нечего делать я измерил камеру – какая тоска! Та же самая площадь, как и в российских тюрьмах: пять шагов в длину и три шага в ширину. Та же самая мебель: привинченная к стене узкая койка, железный стол и крошечный табурет. В углу на полке лежало Евангелие, на полу вместо параши стоял ночной горшок».

А что же в России в это время? 29 декабря Троцкий телеграфирует Рейснер в Москву, чтобы она немедленно выехала в Петроград и узнала, какие меры приняты для отыскания «известных Вам лиц». Уже 3 января Рейснер из Нарвы телеграфирует Троцкому о том, как все произошло. Интересно, она сама ходила в разведку в Ревель? 4 января в Нарву прибывают из Нижнего Новгорода первые моряки. Команды Волжской флотилии записались добровольцами в отряд имени Раскольникова, чтобы отправиться на Ревельский фронт и освободить пленных. Командир отряда – Семен Лепетенко. Через три года эти же моряки в составе охраны посольства отправятся с Раскольниковым в Афганистан.

Шестнадцатого января Лариса Рейснер требует в отряд имени Раскольникова «шоферов из Самарского воздушного дивизиона». Так назывались тогда летчики? Или это из команды обслуживания? В этот же день белоэстонскому премьеру Пятсу от Реввоенсовета Балтфлота было предложено обменять заложников на Раскольникова. Получен положительный ответ.

Телеграмма Раскольникова – «Взят в плен англичанами.

Лондон» – пришла только 7 февраля.

В начале января погиб где-то на юге Семен Рошаль, друг Раскольникова. Лариса публикует два очерка о погибших друзьях: «Дорога из Ораниенбаума в Кронштадт» (газета «Красный Балтийский флот». 1919. № 5) и «Из недалекого прошлого» (журнал «Военмор». 1919. № 1).

«Что только не писалось в буржуазных газетах того времени о знаменитом „Рошале“. Безвестные вруны из „Биржевки“, „Речи“ и других продажных газет ославили его, как убийцу, анархиста или беглого каторжника. Это его, прожившего свою юность в нищете, справедливого и доброго, несмотря на внешнюю суровость, бескорыстного, бесконечно преданного высшим идеалам братства, когда-либо волновавшим мир! Зачем он уехал из Кронштадта? Его ждали и свободный творческий труд, и работа в партии, и трибуна популярнейшего оратора. Но, очевидно, Рошаль, как всякий настоящий революционер, не умел сидеть в тылу в то время, как моряки один за другим покидали Кронштадт…

Рошаль и Раскольников. Один убит, а где другой? Может быть, жив, может быть, оправляет кандалы на руках, привыкших держать дерзкое перо и ключ от той таинственной двери, за которой прячется лучшая часть человеческой души».

И Лариса Рейснер делает все возможное и невозможное, чтобы Раскольников вернулся в Россию. 27 мая в Белоострове состоится его обмен на 17 английских офицеров. Соглашение об этом достигнуто только к 20 апреля.

Двадцать пятого мая отправлена юзограмма Ларисы Рейснер товарищу Зофу: «Сегодня выезжаю в Петроград, везу англичан на обмен Раскольникова, приготовьте помещение для английской миссии – 17 человек, желательно изолированное для всех мер предосторожности, и помещение для охранного отряда 20 человек».

За пять месяцев сидения в тюрьме Федор Раскольников выучил по Евангелию и англо-французскому словарю английский язык. Три раза в неделю в тюремной церкви слушал орган. После богослужения священнослужитель, по его словам, «отчаянно громил русских большевиков».

В мае Раскольников и Нынюк были переведены в отель недалеко от Британского музея. В посольство Дании на имя Раскольникова из Москвы пришли деньги. Датская комиссия Красного Креста, наверное, была единственным иностранным представительством, находившимся тогда в Москве. Пленные приобрели себе приличные костюмы, Раскольников купил еще мягкую фетровую шляпу. За 12 дней они успели познакомиться с

городом, с Британским музеем, который произвел на большевистского лорда «грандиозное впечатление» богатством археологических и художественных коллекций. В «Ковент-Гардене» слушали оперу «Тоска» в исполнении первоклассных итальянских певцов. Побывали в Зоологическом саду.

При отъезде Раскольникова и Нынюка произошла сцена, похожая на притчу о многообразии человеческой натуры. «В купе напротив нас сидел длиннолицый английский офицер. Из разговора выяснилось, что он в качестве добровольца отправляется воевать против нас. В вагоне стало прохладно. Товарищ Нынюк дрожал от холода. Тогда английский офицер снял с себя пальто и предложил моему товарищу, хотя он отлично знал, что имеет дело с большевиками. Что же это? Джентльментство или рисовка классового врага, играющего в великодушие? Вернее последнее, но, во всяком случае, это был красивый жест», – писал Раскольников. Этот текст опубликован в 1934 году и скорее характеризует время и плоский марксизм, нежели бездушие Ф. Раскольникова.

На английском миноносце, еще раз пройдя мимо Ревеля, пленные прибыли в Гельсингфорс. До Белоострова им предоставили вагон третьего класса. Сопровождавшие их представители английского консульства и уполномоченный датского Красного Креста возмутились таким отношением финского офицера, который не скрывал вражды и надменности по отношению к русским, и потребовали перевода в мягкий вагон.

«Была ясная солнечная погода, когда под конвоем финских солдат, в сопровождении англичанина и датчанина, с чемоданом в руках мы проходили путь от финской пограничной станции к Белоострову. Вот, наконец, показался Белоостровский вокзал с огромным красным плакатом, обращенным в сторону Финляндии: „Смерть палачу Маннергейму!“, и впереди обрисовался небольшой деревянный мостик с перилами через реку Сестру. На советской стороне я увидел развевающиеся по ветру ленточки красных моряков. Медные трубы оркестра ярко блестели на солнце. Коренастый финский офицер, руководивший церемонией обмена, вышел на середину моста. Советский шлагбаум тоже приподнялся, и оттуда один за другим стали переходить в Финляндию английские офицеры. Первым прошел майор Гольдсмит, офицер королевской крови, глава английской кавказской миссии, арестованный во Владикавказе. Он с любопытством разглядывал меня, по-военному взял под козырек. Я приподнял над головой фетровую шляпу и слегка поклонился. Когда восемь или девять английских офицеров перешли границу, наши моряки запротестовали. Они потребовали, чтобы я был

немедленно переведен на советскую территорию. Но финны упрямились. Они тоже не доверяли нашим. Было решено поставить меня на середину моста, с тем что, когда от нас уйдет последний англичанин, я окончательно перейду границу. Едва я вступил на мост, как наш оркестр громко и торжественно заиграл „Интернационал“. Финские офицеры, застигнутые врасплох, растерялись и не знали, что им делать. На счастье, их выручили из беды англичане. Те, словно по команде, все, как один, взяли под козырек. Безмерная радость охватила меня, когда после пяти месяцев плена я снова вернулся в Социалистическое Отечество. Я поблагодарил моряков за встречу. На вокзале наши пограничные красноармейцы попросили меня поделиться своими впечатлениями, и я с площадки вагона произнес небольшую речь о международном положении. С особым вниманием остановился на интервенции против СССР и на Версальских „мирных“ переговорах, таивших угрозу новой войны… Дело было 27 мая 1919 года. С помощью английского флота Юденич вел первое наступление на один из самых революционных городов мира».

Раскольников научился читать английские газеты без словаря и однажды прочел о предложении, которое сделали бывшие союзники Советской России и белогвардейцам относительно конференции по перемирию в Принкипо на Принцевых островах. Советское правительство ответило согласием. Тем не менее конференция не состоялась ввиду отказа Деникина и Колчака. Ф. Раскольникову очень хотелось поехать на эту конференцию.

Одно письмо от Раскольникова из тюрьмы дошло-таки до Ларисы. От 22 января: «Дорогая моя, любимейшая Ларисочка! Шлю тебе жаркий привет из далекого пасмурного Лондона…»

После возвращения из плена Федор Раскольников был окружен ореолом романтической славы. Сергей Есенин не скрывал удовольствия от встречи с ним и от того, что «сам» Раскольников восхищается его стихами и взял его книгу на фронт, вспоминал друг поэта Рюрик Ивнев

.

Альтфатер, первый коморси Республики

Радость супругов Раскольниковых была омрачена смертью Василия Михайловича Альтфатера 20 апреля 1919 года от инфаркта. Ему было 36 лет. Омрачена и тяжелыми обстоятельствами смерти. Они узнали, что над В. М. Альтфатером собирались тучи ревтрибунала.

Василий Михайлович тяжело переживал поражение в той разведке боем, в разработке которой он принимал участие. Лариса Рейснер в некрологе особо подчеркнула: «Альтфатер… человек безупречной честности, имени которого ни разу не касалось ни одно подозрение».

Плел интриги Крыленко. 22 февраля в «Известиях ВЦИК» было написано, что в Генеральном Морском штабе «не произведено ни одного ареста шпионов…», а также «о недопустимом ведении дел во всех трех отделах». Крыленко завел «дело» на Морской штаб еще в октябре 1918 года. 7 октября при досмотре парохода «Гогланд», идущего в Финляндию, был обнаружен мешок с письмами, среди которых якобы находился пакет с текстом, шифрованным ключом Генмора (пакета так никто и не видел). Послание будто бы предназначалось для передачи через Германию в английское Адмиралтейство и содержало секретные данные о переговорах с белыми генералами Алексеевым и Дутовым, а также с белочехами. Передавать письма с оказией было обычным делом для моряков, поэтому на «дело» не обратили внимания. А у Альтфатера в Англии находился тесть, генерал Десино, оставшийся там после революции. Теперь в Лондон попал Раскольников, а его жена – комиссар при Альтфатере. Сведения взяты из статьи Н. Цветковой «Альтфатер» в сборнике «Немцы в С.-Петербурге» (№ 1, 2003).

Новый удар Альтфатеру перед 1919 годом нанес Колчак – он взял Пермь. Каждая победа Колчака, с которым Альтфатер столько лет служил рядом, переписывался, обсуждая наболевшие вопросы, будет поражением для Альтфатера.

Девятого апреля 1919 года началось слушание Верховным трибуналом «Дела морского генерального штаба» о шпионаже. Обвинитель Крыленко сразу объявил, что он исходит «из интересов государства, поэтому ни один из обвиняемых из зала суда свободным выйти не сможет». Еще в 1917 году Крыленко был резко против приглашения на советскую службу царских специалистов. Ходатайство защитника обвиняемых Тагера об истребовании подлинных писем и телеграммы из Петрограда, а также о допросе свидетельницы Раскольниковой-Рейснер было

отклонено. Никто из обвиняемых виновным себя не признал. Тем не менее трех человек приговорили к расстрелу, двоих к отправке в концлагерь, двоих к тюремному заключению на пять лет.

По свидетельству дочери В. М. Альтфатера Ирины в субботу 19 апреля к отцу пришел незнакомый мужчина и они надолго закрылись в кабинете. Потом отец повел детей гулять на Москву-реку, смотреть ледоход. Ночью В. Альтфатер с женой пошли на пасхальную службу в Никитский монастырь, что находился рядом с Воздвиженкой, 9, где были штаб флота и квартира В. Альтфатера. Службу Василий Михайлович выстоять не смог, ему стало плохо. Дома прилег на диван, почувствовав сильную слабость, вскоре потерял сознание и, не приходя в себя, несмотря на медицинскую помощь, умер от «разрыва сердца».

В «Известиях» от 27 апреля и в «Красном Балтийском флоте» от 6 мая опубликован очерк Ларисы Рейснер «Памяти Альтфатера».

«Когда умирают такие люди, как В. М. Альтфатер, смерть долго кажется неправдоподобной, немыслимой, несуществующей.

Телефоны продолжают свои острые звонки, и все повторяют имя, еще не успевшее остыть и окоченеть в сознании многих сотен людей. Это имя приносят телеграммы со всех концов России, им помечены бумаги, пакеты, донесения, и весь этот поток воли, труда и творчества останавливается и умирает у дверей запертого кабинета, на письменном столе, перед которым пустует старое кресло, перекочевавшее из Адмиралтейства в Москву.

Видеть Василия Михайловича неподвижным, видеть его слепым и безгласным, когда еще звучат в ушах острые слова и шутки после длинного рабочего дня, когда, сидя на подоконнике и складывая последние бумаги в портфель, он так молодо грелся на солнце, облитый золотым током раннего апрельского тепла. Видеть мертвым человека, все дни которого были разорваны на куски и разделены между бесчисленными делами, людьми и учреждениями.

Вскрытие точно установило причину нелепой и злобной смерти – склероз сердца. И, правда, было от чего переполниться и лопнуть этому сердцу. Через него прошли полтора года революции и полтора года ежечасной, непрерывной борьбы сперва за сохранение, потом за обновление и будущее красного революционного флота. В самые тяжелые дни Василий Михайлович защищал свое детище от гибели. Сперва в Бресте, где Альтфатер говорил с немецкими генералами тоном победителя, со всем достоинством, на какое способен безоружный, придавленный железным сапогом насильника.

Потом мертвая полоса после Бреста, когда самый воздух был отравлен клеветой и ложью на революцию, на пролетариат, на новое советское правительство. Тогда В. М. Альтфатер не выходил из своего кабинета, собирал обломки разоренного флота и еще находил время, чтобы гнать вперед колеблющихся, объединять лучшую часть офицерства, не разъединенную саботажем и мелкой классовой злобой.

Это было для В. М. самое тяжелое время. На востоке поднялись чехословаки, один за другим пали Симбирск, Саратов и, наконец, Казань. Нужно было спасти Волгу, создать сильную флотилию, вооружить суда, найти людей, снаряжение, боевые припасы. И все это, почти не имея помощников, с неопытными или недобросовестными подчиненными. В конце концов, самое трудное было сделано: миноносцы прошли на Волгу. Балтика как будто ожила, кончился для флота период мертвой спячки и бесшумного разложения.

Следующая зима, последняя зима, прошла в неустанном труде, в лихорадочных приготовлениях к предстоящей кампании. И результаты скоро сказались. Знавшие жизнь флота в 1917–1918, не узнали бы ее в 1919. Из матросских и офицерских масс выделились лучшие люди и пришли на помощь друг другу. Военные специалисты и комиссары обрели общий язык и взаимное понимание, и никогда этот процесс демократизации флота и примирения его интеллигенции и пролетарских матросских масс не совершился бы так быстро, если бы во главе офицерства, шедшего с революцией и за нее, не стоял человек безупречной честности, имени которого ни разу не касалось ни одно подозрение.

Не принадлежа к партии, Альтфатер носил высокое звание члена Реввоенсовета Республики и командующего всеми морскими силами страны и ни разу не обманул безграничного доверия, которым был облечен.

Не только подчиненные, но и политические комиссары, работавшие с ним, никогда не забудут всесторонний творческий гений Альтфатера, его рыцарскую верность долгу и молодому Красному флоту. Смерть украла у нас Василия Михайловича ранней весной, накануне великих ледоходов, которые должны были очистить моря от мертвых ледяных полей. За несколько часов до смерти В. М. гулял с детьми вдоль бурно вскрывшейся Москвы-реки – и особенно долго стоял на мосту, наблюдая лебединый ход белых льдов. О чем он думал, наклонившись над темной водой, с шуршанием уносившей обломки своих оков? Быть может, о близком времени, когда по освобожденным водам потекут быстрые, стальные тела республиканских кораблей, весну

которых он сам готовил все долгие зимние месяцы.

Или о мире народов, который придет на смену войне, когда

…по дружным им волнам
все флаги в гости будут к нам.

Когда зацветут гавани и тяжело нагруженные суда без боязни стекутся к далеким и дружным берегам. Вместе с бурным ледоходом ушла в бесконечность жизнь Василия Михайловича. Но не должны, не могут рушиться его надежды. Все, что грезилось ему ранним пасхальным вечером над возмущенной рекой, – все должно сбыться.

Из бессонных ночей, точивших слабое человеческое сердце, из его железной воли и гордой мечты о победе родится новая жизнь, – свободная стая крылатых кораблей – буревестников. Все, кому дорога цель, которой Альтфатер пожертвовал жизнью, помогут жить и расти его осиротелому детищу, Красному флоту.

Помните, как он говорил: «Не надо уныния и слабости! Все это – мартобря и проклятие Гарибальдии. Надо работать»».

Не щадили своего здоровья пассионарии, находясь на своем месте и в свое время. Лариса Рейснер выполнила выпавшую ей неожиданно миссию флаг-офицера. У Альтфатера был неутомимый, умный помощник.

Четвертого июня Лариса освобождается от должности когенмора и уезжает с Федором Раскольниковым на Волгу, в Царицын. В Волжско-Каспийской флотилии появится новый корабль «Альтфатер». 14 мая свой день рождения, хочется думать, Лариса провела с родными. Первой леди большевистского Адмиралтейства исполнилось 24 года.

Глава 25
ДИАНА-ВОИТЕЛЬНИЦА

Дианой-воительницей называл Ларису Федор Раскольников. В Царицыне Ф. Раскольникова, члена Реввоенсовета, в июле назначили командующим Волжско-Каспийской флотилией. Лариса Рейснер, как и в 1918-м, – старший флаг-секретарь и корреспондент «Известий».

В 1919 году обстановка на Нижней Волге и Каспийском море оставалась тяжелой. Деникинская армия, снабженная Антантой оружием и боеприпасами, насчитывала около 100 тысяч человек. В ее тылу формировалась Кавказская армия Врангеля, которая должна была овладеть Царицыном, помочь деникинцам соединиться с уральской белоказачьей армией, идущей от Гурьева, с колчаковскими войсками. У Колчака было 300-тысячное войско, которое рвалось к Волге. Часть территории Закавказья была занята интервентами: немцами, турками.

Весной 1918 года мусаватисты подняли мятеж, добиваясь отделения Азербайджана от России. Мятеж был подавлен Красной гвардией, армянскими национальными частями, и в Азербайджане была установлена советская власть, которой постоянно приходилось бороться с разными националистическими отрядами, с иностранной интервенцией. «Отстоять Баку от турецких захватчиков!», «Не допустить в город английских интервентов!» – такими были лозунги Бакинской коммуны. Английские войска оккупировали всю северную часть Персии, превратив ее в плацдарм для дальнейшего наступления на Баку. С осени 1918-го до весны 1920 года власть в Баку менялась около десяти раз.

Из Москвы в Астрахань была направлена группа большевиков, возглавляемая С. М. Кировым. Командир эсминца «Деятельный» И. С. Исаков, впоследствии адмирал флота, записал в дневнике: «Что душой и разумом всей обороны является Сергей Миронович Киров – это понимают и знают абсолютно все. Как в Астрахани, так и в стане врагов». Обращаясь к жителям Астраханского края, Киров говорил, что Красная армия имеет своей задачей не только борьбу с контрреволюционными силами, но и завоевание для Советской России хлеба и нефти.

Ковер-самолет над Каспием

Куда бы Ларису ни забросил вымечтанный когда-то ею ковер-самолет ее судьбы, она всегда изучала историю этих мест. Тем более Каспия, где сосредоточено было так много исторических событий.

Каспийское море на протяжении веков имело десятки названий, которые чаще всего возникали по географическим признакам, либо от наименований сменяющихся племен, народов, государств. Ассирийцы называли его Восточным, а народы, жившие далеко на востоке, – Западным. Древние персы именовали его Гирканским, Персидским. Завоеватели-арабы называли его Хоросанским. Жители юго-восточных прибрежных пустынь дали ему свое имя – Туркменское, а кочевавшие вдоль северо-западных берегов хазары – Хазарское. Время от времени появлялись местные названия. В русских летописях оно известно как Хвалынское. От древнего племени каспиев – Каспий.

Около трех тысячелетий назад Каспийское море с Черным соединял Манычский пролив, по которому приезжали древнегреческие путешественники, торговцы, исследователи. Первое появление руссов на Каспии относится к 880 году, когда они напали на остров Абезгун. Наиболее известен поход дружины князя Игоря в 913 году, стремившегося наладить отношения с прикаспийскими странами, о несметных богатствах которых он слышал. К тому времени руссы имели уже достаточный опыт мореплавания. Руссы волоком перетаскивали суда от Дона до Волги, где эти реки ближе всего сходились.

Первый русский военный корабль «Орел» появился в Астрахани в 1669 году. Немалую роль в развитии мореходства на Хвалынском море сыграла казачья флотилия Степана Разина, совершившая в 1667–1669 годах набеги на персидские города. Казаки разбили персидскую флотилию в морском бою.

По указу Петра I в Астрахани строился военный порт. 1722 год является годом основания Каспийской военной флотилии.

За круглым столом

Каждое мгновение, как и каждая жизнь, имеет свою целесообразность.

С. Н. Рерих

В истории почему-то больше всего остается именно военных дат, история перебирает их как четки. Конфликты решаются противоборством. Иной опыт совместной жизни, если возникает, то тоже в рамках войны. Человечество запомнило Александра Македонского, решившего захватническую войну против Персии, давнего врага Греции, превратить в возможность объединения двух разных народов, империй, культур.

Переживший войны, революции, эмиграцию, советскую тюрьму («за тридцатилетнюю антикоммунистическую деятельность»), Василий Витальевич Шульгин (1878–1976) до Октября был монархистом, лидером фракции прогрессивных националистов в 4-й Государственной думе, после чего вошел в число основателей белой Добровольческой армии в ноябре – декабре 1917 года.

В середине 1960-х В. В. Шульгин стал героем документального фильма Ф. М. Эрмлера, в котором прозвучали его монологи и диалоги. Вначале его хотели показать как «Осколок империи», но в итоге фильм вышел под названием «Перед судом истории». В беседе с Петровым, участником штурма Зимнего дворца, Шульгин говорил: «Во всяком человеке живет зверь. Он есть во мне, но и в вас, Федор Николаевич. Этот вселенский зверь есть причина, почему свирепствуют войны и все, что с ними связано. Я же думаю, что единственный род войны, который не только допустим, но и обязателен, это жестокая борьба с самим собой, то есть со звериными страстями, в нас находящимися». (Не вошло в фильм.)

Александр Васильевич Колчак войну считал «выше человеческой справедливости». В письме к Тимиревой уверял, что война стала для него «каким-то религиозным убеждением». В Японии даже увлекся дзен-буддизмом. Целью А. Колчака стало объединение всех сопротивляющихся большевикам отрядов в армию.

Владимир Короленко, писатель-гуманист, в те годы написал немало писем А. В. Луначарскому: «Полное озверение. И каждая сторона обвиняет в зверстве других. Добровольцы – большевиков. Большевики – добровольцев. И благо той стороне, которая первая

сумеет отрешиться от кровавого тумана и первая вспомнит, что мужество в открытом бою может идти рядом с человечностью и великодушием к побежденному. Вообще, теперь на русской почве стоят лицом к лицу две утопии. Одна желает вернуть старое со всем его гнусным содержанием… Лозунги большевистского максимализма привлекают к ним массы, которые склонны в общем признавать „власть советов“. Но явные неудачи в созидательной работе раздражают большевиков и они роковым образом переходят к мерам подавления и насилия».

Дзержинский, Железный Феликс, в чем-то даже вторил В. Короленко в июне 1923 года, когда писал: «У меня полная уверенность, что мы со всеми врагами справимся, если найдем и возьмем правильную линию в управлении на практике страной и хозяйством. Если не найдем этой линии и темпа, оппозиция… будет расти и страна тогда найдет своего диктатора – похоронщика революции, какие бы красные перья ни были в его костюме».

Автор теории относительности Альберт Энштейн считал: «Настоящая проблема лежит в сердце и мыслях человека. Проще изменить состав плутония, чем изгнать злого духа из человека. Что нас пугает – это не сила атомной бомбы, но сила злости человеческого сердца, его собственная сила взрыва на злые поступки».

Дверь Востока

Когда же жизнь была чудеснее…

Л. Рейснер

Лариса Рейснер продолжала посылать в «Известия» свои «Письма с фронта». Рассказывала о детях, изуродованных и погибших от бомб, сбрасываемых с английских аэропланов на астраханские улицы. О пытающихся выжить под бомбами кораблях, о задохнувшемся штурме Царицына. О раненой сестре милосердия среди отступающих солдат. О том, каких жертв стоила «Советской России Астрахань, эта ржавая и обезображенная дверь Востока. Если защищался Петербург, защищался пламенно и единодушно, то он того стоил, со своими площадями, освященными революцией, со своей надменной красотой великодержавной столицы. Но сколько нужно мужества, чтобы защищать Астрахань… много ли найдется людей, способных во имя голого, отвлеченного долга нести все тяготы войны в безлюдных, сыпучих, проклятых астраханских пустошах. И даже не долг спас Астрахань, а общее и бессознательное понимание того, что уйти нельзя, что нельзя пустить англичан на Волгу и потерять последний выход к морю».

Писала о совещании морских командиров, о легендарном комдиве Владимире Азине: «Разве такого, как Азин, расскажешь? Любил, страстно любил свои части, любил и понимал всякого новобранца, извлеченного из-под родительских юбок, – юнца с оттопыренными ушами под непомерной фуражкой, в шинели до пят, и с одной мыслью: где бы бросить налитое тяжестью ружье? С такими умел воевать».

О Е. Беренсе, командующем всеми морскими силами республики: «Он приехал на фронт, милый и умный, как всегда, уязвленный невежливостями революции, с которыми он считается, как старый и преданный вельможа с тяжелыми прихотями молодого короля. И хотя над головой Беренса весело трещали и рушились столетние устои и гербы его рода, а под ногами ходуном ходил лощеный пол Адмиралтейства, его светлая голова рационалиста восторжествовала и не позволила умолчать или исказить, хотя сердце кричало и просило пощады. После падения нашего Царицына Беренс сидит у себя в каюте, и глаза его становятся такими же, как у всех стариков, в одну ночь потерявших сына».

Писала о военной интуиции, предчувствии опасности,

панике. О неравных воздушных боях, когда аэропланы красных почему-то держались в воздухе, несмотря на ужасающий суррогат топлива. Защищал беспомощный город один аэроплан против трех английских на лучшем бензине.

В разведку на корабль взяли «исполкомца», чтобы он показывал в походе деревни на берегу, занятые казаками: «Маленький крестьянин-совдеповец стоит на железном мостике, зажав уши руками. При магическом свете залпов видны на мгновение его лицо с редкой рыжей бородой, его белая рубашка. Никогда и нигде в мире мужицкие лапти не стояли на высоком гордом мостике, над стомиллиметровыми орудиями и минными аппаратами, над целой Россией, над целым человечеством, разбитым вдребезги и начатым сначала революцией».

Лариса Рейснер неоднократно описывала аэропланы и давала монументальные портреты летчиков, пела свой гимн безумству храбрых. Ей приходилось корректировать огонь миноносцев по телефону с воздушной «колбасы».

Только узкая полоска Каспия в 1919 году принадлежит Каспийской флотилии, но и ее было достаточно, «чтобы опьянить навсегда». В девятом «Письме», опубликованном 16 ноября 1919 года, есть сюжет, не вошедший потом в книгу. Идет допрос пленного, взятого на рыбачьей шхуне:

«Ночной жук с размаху стучит жесткими крыльями о стену. Немолодой уже офицер, небритый, измученный вконец ожиданием. Другой, сидящий против него, строгий и правый в своем гневе.

– Куда вы ехали и откуда?

– Из Петровска в Ганюшкино.

– Почему именно в Ганюшкино?

– Я бежал от белогвардейской мобилизации и думал окончательно от нее укрыться в рыбачьем селе.

– Позвольте, но ведь Ганюшкино опорный пункт белых, что вы говорите.

– Недалеко от Ганюшкино есть маленькая деревенька, очень удобная во всех отношениях. Видите ли, я старый человек, мне пятьдесят лет, одинок, изранен во время великой войны. Что вы хотите – устал, опротивела кровь и вечные скитания. Я решил прятаться от Деникина, как прятался бы от вас.

– Зачем у вас в кармане были погоны?

– Воспоминание!

– Хотите служить в Красной армии?

– О нет, никогда!

– Вы приняли наши суда за свои и потом, когда было уже поздно, порвали какие-то бумаги.

– Это ложь, даю вам честное слово.

– Зачем? Не бойтесь, вы не будете расстреляны. Вы умный и, вероятно, мужественный офицер, в немалых чинах, судя по инженерным петличкам. Взяты вы на пути в Ганюшкино, где вас ждали и куда вы не приедете никогда. Отрицание совершенно бесполезно. Да и к чему? На спасение вы все равно не надеетесь и ничем не рискуете, положившись хоть раз в жизни на большевистское великодушие. Так как же?

– Мне нечего сказать, – и дрожащими пальцами закуривает папиросу.

За дверями на цыпочках ходят матросы, спрашивают, сознался ли «он» и не надо ли его накормить. Но часовой печально поматывает головой: «Ен хотит что-то изобразить, но ето ему не удаетси»».

И. Исаков, командир эсминца «Деятельный», в середине марта 1920-го записал в дневнике о мичмане Семченко (с которым учился до революции), как тот задумал перебежать к врагам, захватил в степи верблюда и погнал его в сторону ближайшего расположения белых отрядов. Убаюканный мерным покачиванием, тишиной и однообразием ландшафта мичман заснул. Верблюд к середине ночи повернул на 180 градусов и пошел обратно домой. «Семченко закончил сухопутное плавание и жизненный путь. Так вот, будто по этому поводу Лариса сказала: „Верблюд оказался более честным, чем бывший офицер!“ Потом в каюте я думал: почему мне должны верить больше, чем Семченко?»

Флаг-секретарь комфлота Раскольникова – М. Кириллов вспоминал: «Много пришлось комфлоту „заделывать пробоин“ – исправлять ошибки бывшего командующего Сакса. Большинство бывших офицеров, знакомых комфлоту по войне на Волге и Каме в 18 году и показавших себя честными патриотами, Саксом было расстреляно. Иные бежали в плавни. Их оттуда выволакивали и передавали в Особый отдел 11 Армии, начальником которого был знаменитый Атарбеков, славившийся своей жестокостью. Его неоднократно снимали с работы и отправляли в Москву, но каким-то образом он снова возвращался в 11 Армию на ту же должность».

Раскольниковы продолжали спасать людей. Сохранилось письмо, которое в 1920-м пришло ей от В. Рыбалтовского:

«Простите, что опять беспокою Вас своей просьбой, но Вы единственный человек, который безусловно может нашей всей семье помочь в горе. При ликвидации Архангельского фронта брат уговорил отряд офицерства в 1500 человек перейти на сторону советской власти и вот, несмотря на эту заслугу, он до

сих пор сидит в тюрьме.

Лариса Михайловна, ведь в Каспии Федор Федорович взял массу морских офицеров в плен и все они получили права гражданства и многие из них служат в нашем флоте, за что такая несправедливость? Лариса Михайловна, Вы, я знаю, не откажитесь помочь нам в этом горе, будьте добры, помогите ему получить права гражданства, я видел его в Петрозаводске, говорил с ним, он хочет служить Сов. власти честно, быть может, он пригодится Федору Федоровичу, ведь брат старый артиллерист и опытный».

Раскольников обращался к Дзержинскому, прося его присылать ему морских специалистов и просто высокообразованных людей из пленных для работы в политотделе. Главный артиллерист флотилии Н. И. Ордынский рассказывал мне, что Лариса первой пришла ему на помощь, как оказывала помощь и раненым, и заболевшим, и их семьям. И не только в Гражданскую войну. До конца жизни ее звали «бюро помощи». Откуда брались силы? От чувства необходимости своего места в революции, от энергии самой революции. «Когда же жизнь была чудеснее этих великих лет? Если сейчас не видеть ничего, не испытать милосердия, гнева и славы, которыми насыщен самый бедный, самый серый день этой единственной в истории борьбы, чем же тогда жить, во имя чего умирать», – писала она в книге «Фронт».

Смерть Леонида Андреева

В осенние дни 1919-го, когда шли напряженные бои под Царицыном, Лариса, находясь в смертельной опасности, писала о «Вороне» Эдгара По, о смерти в очередном «Письме с фронта»: «Сотни, тысячи птиц скапливаются в безобразное облако: они летят низко, отыскивая добычу и в воздухе, насыщенном тлением, преследуя незримую тропинку пуль… И хочется просить несуществующего Бога, который есть и должен быть в это одно-единственное короткое мгновение: „Господи, пошли тем, кто дороже всех, любимым, пошли им смерть гордую и чистую, спаси их от плена, от предательства, от тюрьмы. Пусть в открытом бою, среди своих, с оружием в руках, как умирают сотни и тысячи за эту республику каждый день“».

Не только Лариса Михайловна обращалась к «несуществующему» Богу. На подавляющем большинстве красноармейцев были нательные кресты. Об этом писал хранитель Эрмитажа В. М. Глинка Д. С. Лихачеву. И подчеркивал народность революции: «На 1000 бойцов и командиров в августе 1919-го было менее 20 членов РКП(б). А дрался полк с деникинцами отчаянно».

Сколько бы ни написала Лариса Рейснер о Гражданской войне, о революции, все кажется только этюдами к открывавшейся ее взгляду картине. Но и эти этюды с натуры, исполненные как монологи в театре, так зримо, ярко передают энергию событий, так не похожи ни на чей другой почерк, кроме некоторого сходства с почерком Леонида Андреева, ее первого учителя. Для него эти дни были последними. Он умер 12 сентября от инсульта в Нейвале, в Финляндии. Было ему 48 лет.

В 1918 году к Леониду Андрееву приезжал Николай Рерих – их связывали дружеские узы, – который вспоминал: «Андреев горел, он весь горел той же священной мыслью, с которой он скончался. Мысль эта была – раскрыть человечеству весь ужас большевизма в его современных границах».

В статье «SOS», ставшей его последней публицистикой, Л.Андреев писал: «…бросаю в темное пространство мою мольбу о гибнущих людях. Если бы вы знали, как темна ночь над нами: слов нет, чтобы рассказать об этой тьме». В письме племяннику, которое похоже на духовное завещание, он утверждал: «В русском народе есть и ум, и талант, и совесть, – большая совесть, – это показывает та же русская литература, которая не из пальца высосана и не в Германии сделана, а создана русскими людьми. Русский народ сумеет свое стремление к свободе заключить в

более разумные формы и принести истинную свободу не только себе, но и всему миру».

В более ранних статьях 1917 года Леонид Андреев призывал соотечественников: «Верьте в силу свободного человеческого слова! Говорите, доказывайте, спорьте! Узнайте наслаждение слова, которого всю свою жизнь была лишена Россия! Испытайте неиспытанные радости свободного общения!.. О, бойтесь грубости, граждане, – она достояние рабов и лакеев, она позорит народ и искажает его лицо сатанинской гримасой! Будьте вежливы со взрослыми, будьте ласковы с детьми, станьте костылями для калек… Манифестируйте, шумите, весело ходите по улицам и спорьте, – но будьте вежливы, граждане, будьте ласковы и добры и берегите жизнь друг друга, как драгоценное сокровище… Все мы нужны для новой воскресающей России» (Русская воля. 1917. 22 апреля).

Восьмого ноября 1919 года в Тенишевском училище состоялся вечер памяти Леонида Андреева.

Через несколько лет, когда возникнет идея издавать альманах «Мой первый учитель», Лариса Михайловна задумает написать эссе о Леониде Андрееве.

Во весь рост

Вся в белом, резко выделялась среди экипажа миноносца, стоя во весь рост на виду у всех, Лариса Михайловна одним своим видом, несомненно, способствовала водворению и поддержанию порядка.

Ф. Новицкий

Лариса всегда стремилась создавать праздничное состояние, ее присутствие было «явлением», незаурядным событием. В жизни она играла различные роли с разными масками. Ее первым большим произведением была пьеса. Театр – родной дом для нее. Зимой 1919/20 года Лариса Михайловна участвовала в постановке «астраханского варианта» трагедии Гёте «Эгмонт» в клубе моряков.

«Освещение очень скудное. У большинства армейцев между коленями винтовки. Очевидно, это привычка после нескольких казачьих налетов и восстаний. Когда раздвинулся занавес, то по вычурным костюмам графа, графинь и испанских грандов, выкроенных из пятнистого и цветастого ситца, догадался, что дело не обошлось без Ларисы Рейснер», – вспоминал И. Исаков.

Все воспоминания, которые собрала Анна Иосифовна Наумова для сборника о Ларисе Рейснер в 1960-е годы, не поместились на его двухстах страницах. Не привести их полностью и здесь. Надеюсь, они обрели свое место.

Вот свидетельство командира эсминца «Расторопный» Александра Александровича Перроте:

«После занятия белыми Царицына 30 июня 1919 года наш „Расторопный“ был направлен комфлотом для похода вверх по Волге в глубокую разведку позиций белых. Мы приняли, и это было неожиданно, ибо необычайно, 9 человек гостей: командующего флотилией Ф. Ф. Раскольникова, военного специалиста из центра (ученый, пожилой человек с бородкой, в золотых очках), комиссара из РВС Астрахани, флаг-секретаря комфлота моряка Кириллова с сигнальщиком В. Таскиным и 3-х рабочих агитаторов-коммунистов, направляемых в тылы противника. В числе пассажиров была и Лариса Михайловна Рейснер, старший флаг-секретарь комфлота, корреспондент газеты „Известия“.

Необычно было и присутствие женщины на суровом, боевом

корабле, личный состав эсминца, хотя и занятый своими служебными делами, внимательно присматривался к ней. «Мне удивительно, – говорила Лариса Михайловна мне, – как трудно сдвигаются с привычных представлений многие интеллигенты (специалисты); познать же историческую необходимость свершающегося опыта революции, ее закономерность и принять все это – нужно, должно и прекрасно». Ее стройная, статная фигура в белой одежде, глаза умницы, лицо, слегка обожженное ветром, манера твердой уверенности в себе – явились образом единственным и прекрасным на нашем стальном корабле. Ее отличали: поиск нового, ожидание раскрытия человека в каждой новой встрече! Несомненно, и в тебе, собеседник, есть огонь разума и творчества! Ее живое, точеное лицо полно красоты и возбуждения от стремительного движения судна. При прощании она спросила меня: «Капитан, я не мешала вам и вашим матросам здесь, на мостике? Надеюсь, нет?» Понято это было нами так: «флотские словеса», отпущенные сквозь сжатые зубы среди грома орудий и суеты боя, не новость для нее, но она понимает, что народ соблюдал меру в подобном лексиконе, считаясь с ее присутствием».

Другой командир Ф. Новицкий пишет о Ларисе в бою: «Мне пришлось впервые за время гражданской войны наблюдать женщину, и надо признаться, я любовался и восхищался ею. Лариса Михайловна среди поднявшейся при первом выстреле противника естественной суеты ни на одно мгновение не потеряла спокойствия и даже обычной веселости и жизнерадостности».

Моряк В. Шамов, который был в конной разведке, организованной Ларисой в 1918 году из моряков, писал Анне Иосифовне Наумовой: «Лариса Рейснер не выходит у меня из головы… прошу Вас найти командира катера и моряков, если они живы, которые могут подробно рассказать о таком эпизоде…» Далее для краткости придется изложить его рассказ своими словами. Царицын – в руках белых, а Ларисе Рейснер надо прорваться по Волге мимо Царицына вниз по течению в Астрахань. От флагманского судна отошел катер, на котором стояла Лариса, и с большой скоростью направился вниз. Перед Царицыном он резко изменил курс и повернул прямо к пристани. Белые от неожиданности растерялись и предположили, что катер решил перейти к ним, потому мчится в их сторону полным ходом. Они не сделали ни одного выстрела.

Красные на берегу тоже пришли в недоумение, выкрикивали, что Лариса сошла с ума, что это измена… Перед самым носом белых катер круто изменил курс и полетел мимо пристани вниз

по Волге. Лариса стояла, не тронувшись с места. Белые, увидев, что их обманули, открыли беспорядочный огонь из винтовок и орудий, но было уже поздно, снаряды рвались, не долетая до катера.

Еще об одном дерзком прорыве написал И. Оксенов в своей книге о Ларисе Рейснер. Из густого тумана неожиданно показались совсем рядом неприятельские корабли. Лариса скомандовала выкинуть белый флаг. Когда белогвардейцы спохватились, красный миноносец уже прошел мимо них. «На щеке Ларисы осталась царапина: она стояла на корме, и кто-то, очевидно понявший обман, бросил в нее… донышком винной бутылки».

Взяв Царицын, Врангель продолжал наступать на север к Саратову, на юг к Черному Яру. Белое кольцо вокруг красной Астрахани сжималось. Со страной город связывала лишь железная дорога Астрахань – Саратов. Только к 7 ноября части 11-й Армии и корабли флотилии ликвидировали опасность взятия Астрахани.

Реввоенсемейство: из переписки Рейснеров

Июнь 1919-го: «Дорогие мои, пишу Вам по дороге в Саратов, куда еду для свидания с Беренсом. Мой Фед. Фед. сейчас ведет еще два миноносца к Царицыну, он, верно, уже в переделке, и мое сердце стынет, так как операции под Царицыном страшно серьезны… Передам для Вас Беренсу кипу старой китайско-персидской живописи, а себе оставлю на счастье только дивного Будду, взятого в глиняном храме посреди выжженных калмыцких степей. Я ему молюсь, когда Ф. Ф. идет в гибельные места. Как скучно без Вас, особенно, последнюю неделю. Не случилось ли что-нибудь, милые? Не притесняют ли Вас дома? Такие мысли травят мой покой. У нас кончилось затишье. Если сдадим Царицын, то Астрахань окажется отрезана и будем в ней держаться до последнего. При всем том, невзирая даже на падение Харькова, – мы с Федей бесконечно счастливы. Ну, об этом трудно писать. А главное, это не случайная вспышка „добрых“ чувств, но неизменная прямая. Англия сделала из него мужчину…

Офицеры вокруг нас – не то, что было на Каме. В порту – воры, в штабе – пара белогвардейцев. Безупречен, конечно, приехавший с нами Кукель – начальник штаба. И он, и его жена воистину свои, и до конца свои. Ну, пока, бегу на станцию, хочу послать Вам яичек. Получаете ли Вы мои периодические посылки? Цапельки, отчего Вы не пишете?»

1 июля 1919-го: «Милые, Царицын пал. Сегодня ночью железной дорогой еду из Саратова во Владимировку, что ниже Царицына. Где Федя? Ах, сердцу так жгуче больно. Ну, нет, не может быть, через несколько часов мы с ним увидимся и еще раз благословим день нашего брака… Еще раз, где же Гогин?

Да, что за чудный городок Саратов. Вот, кабы Вы, Кизи, здесь вдруг жили. Мы бы Вас питали и, все-таки, хоть изредка виделись. А, впрочем, нет, не бросайте нашего гнезда в Гулесо. Мы с Федей так рады, что именно Вы – там и храните нашу норку общую. Да и порт еще не обосновался, где бы Вы тут жили».

Гогин – брат Игорь – был назначен секретарем посольства в Афганистан, которое готовилось в Самаре под руководством Я. Сурица, первого посла Советской России, к отъезду по месту работы.

Родители, получив от дочери письмо об опасности быть отрезанными, сообщают Игорю, что «Лёви-Лёви нельзя было удержать. Он решил вместе бороться и погибнуть. Кстати, он принял нашу фамилию и поехал на фронт как Лев Михайлович

Рейснер». Его направили служить на ВолжскоКаспийскую флотилию рулевым сигнальщиком на истребительный катер. Ему исполнилось 17 лет. В письме Игорю Михаил Андреевич Рейснер упоминает отца Лёвы Павла Дауге: «А его папаша названый, Павел Д., совсем сошел с ума… находится на попечении психиатров».

От военного моряка в отставке Марата Федоровича Малкина в 1970-е годы я узнала, что существует слух, будто отцом Льва Дауге-Рейснера был революционер Н. Бауман.

«От тебя, слава Року, мы имеем несколько писем, – продолжает письмо Игорю Михаил Андреевич, заменяя Бога Роком (в скором времени он будет писать большое количество популярных антирелигиозных брошюр), – даже фотографию в группе, где ты настоящим бисмарком, и я, конечно, таскаю эту фотографию в знаменитом рваном бумажнике, пока не истреблю ее совсем! От Карахана получил одно торжественное сообщение о вашем парадном въезде в Герат с пушками, парадом и т. п.».

Далее Михаил Андреевич еще раз пишет о Льве Рейснере, что ему доверили командовать сторожевым пароходом, он показал себя «прекрасным командиром, был во многих боях, забрал у белых громадную добычу и приобрел всеобщую любовь своих моряков. Он очень возмужал, стал настоящим юным красавцем-моряком в стиле, знаешь, моряков старого английского флота. Такого воспитания и настоящего морского духа теперь не получить ни в кадетских корпусах, ни на дредноутах. Их могут дать только маленькие суденышки, как сторожевые суда у Левы… Мы с матерью почти все лето просидели в Москве в обществе Эмилии Петровны Колбасьевой, которую высвободили из чрезвычайки и принудительных работ, куда она попала за компанию со всей военной цензурой при ее упразднении. В начале августа мы получили приглашение от Раскольниковых поехать к ним и отправились вместе с Беренсом до Нижнего на поезде, а оттуда на специальном пароходе до Саратова. Мы остановились в Самаре и, боги, с каким замиранием сердца мы с матерью бежали по грязи в темноте по ужасной мостовой от пристани к тебе, чтобы еще раз, хоть один раз перед отъездом увидеть своего сына… Удар был очень тяжел, когда… Суриц объяснил нам, что за несколько дней до нашего приезда Игорь Михайлович уехал в Оренбург…

В Саратове встреча была – можешь себе представить! Мы водворились на Межени и сопровождали наших в боевую зону на Камышин, а затем на Быково и другие приволжские села. Тут мне пришлось впервые видеть взрывы шестидюймовых снарядов, обстановку села, за два часа оставленного белыми с грудами

расстрелянных крестьян, и группы бегущих к нам вереницей по берегу мобилизованных мужиков… В Астрахани я согласился принять на себя у Фед. Федоровича заведование политическим отделом всей его флотилии… Мы все время жили на пароходе или делали поездки на фронт… Мы с матерью прямо расцвели. А если прибавить к этому, что мы буквально утопали в винограде и персиках, что все дивные рыбные блюда были у нас в изобилии – одной икры мы с матерью за эти месяцы съели больше, чем за всю нашу жизнь – то внешняя сторона нашего блаженства станет тебе ясна… Фед. Фед. оказывал мне самое дружеское содействие.

Моряков я хорошо знаю еще со времени Кронштадта, а ты знаешь сам, как я люблю организовывать и создавать. Здесь же у меня был полный простор. И я действительно разошелся: матросский университет, партийная школа, исторические концерты и спектакли, широкая пропаганда коммунизма – все это у меня развилось и выросло. Да и не удивительно: материал моряки благодарнейший, все пролетарии развитые и грамотные, а тут еще благодаря партийной мобилизации все лучшие силы в нашем распоряжении». На этом письмо обрывается.

Почему-то в литературе о Волжско-Каспийской флотилии нигде не упоминается М. А. Рейснер. Все им созданное с гордостью перечисляется, но его имени нет. О Ларисе пишут, что она заведовала культпросветительской секцией политотдела. Даже о Екатерине Александровне вспоминают при частных встречах, как все называли ее «тещей», что при ней хозяйство на «Межени» было в полном порядке. В Москве Михаил Андреевич организовал Социалистическую (Коммунистическую) академию, его, одного из авторов первой конституции 1918 года, приглашали читать лекции, он был нарасхват… И обо всем умалчивают.

Матросские университеты

Всюду она вносила жизнь, бодрость.

Дайковский, работник политотдела армии

Итак, реввоенсемейство, как называли Рейснеров, развернуло свою деятельность в окруженной врагами Астрахани. Об этом мне рассказывал Валериан Людомирович Бжезинский, военный инженер-механик. На кораблях флотилии он участвовал во многих боевых операциях. Награжден орденом Красного Знамени. После Гражданской войны назначен командиром Астраханского военно-морского порта. Политотдел флотилии находился на стрелке Кутума в Бирже (в 1970-е – Дворец бракосочетания). На здании политотдела, хорошо сохранившемся, есть мемориальная доска.

Вся семья Рейснеров жила в здании бывшего Азовско-Донского банка, которое находится напротив гостиницы «Волга».

Астраханская газета «Коммунист» и орган Реввоенсовета Каспийско-Кавказского фронта «Красный воин» сообщали о многочисленных выступлениях Ларисы Рейснер: в августе 1919-го – лекция о Салтыкове-Щедрине; вступительная лекция при открытии Морского университета; лекция о Шекспире в клубе моряков; выступление на концерте-митинге на заводе «Нобель». С темами «Женщина и революция», «Революция и Церковь» Лариса Рейснер выступала на митингах и на «Неделе высшей народной школы для раненого красноармейца».

Второго ноября на вечере революционной поэзии и музыки, с участием драматических актеров, оперных певцов, сотрудников политотдела, Лариса прочла стихотворение «Памяти Камилла Демулена». Другой участник вечера прочел ее стихи: «Письмо», «На гибель военного корабля „Ваня-коммунист“». Работник политотдела Дайковский писал в статье «Астраханцы помнят Л. Рейснер»: «Кто хоть раз встречал ее среди военморов, тот вспоминает, как блестяще умела она организовать культурно-просветительские вечера, умела скрасить тяжелую годину гражданской войны».

В одном из ее набросков то ли выступления, то ли статьи сохранилось любопытное рассуждение: «В лучшие времена Греции, стоящей тогда на рубеже социальных реформ, не было у античной плутократии более ожесточенного и сильного врага,

чем афинский матрос».

С сентября 1919 года начал выходить журнал политотдела флотилии «Военмор». В первом, втором и пятом номерах опубликованы статьи Л. Рейснер. В редакции «Военмора» 17 ноября 1919 года на заседании астраханских журналистов была поставлена задача – привлечь людей в коммунистический союз журналистов. На организованных курсах журналистов работу с начинающими вела Лариса Рейснер.

Из ее очерка «Поэты Красного флота»: «Из десяти рабочих один непременно пробует сложить песню, пишет стихи. В каждой роте, идущей на фронт, и уже, конечно, на каждом боевом корабле есть свой сказочник, певец или поэт… Чем меньше из газет, из книг – и больше о себе, о своей жизни, о корабле, о море, о живой жизни – тем лучше выходит песня».

Из статьи Л. Рейснер «Матросы в русской революции», написанной для издания английской коммунистической партии:

«И не только стойкостью и мужеством эти годы гражданской войны горды и прекрасны: но и своей необычайной духовной культурой. В дикой Астрахани, во время зимних стоянок, не только воевали и строили, но и напряженно учились. Люди, обреченные погибнуть, быть может, предугадавшие свой близкий конец, последние недели и дни перед походами особенно много читали, слушали оркестры Бетховена, орган Баха, скрипку Сарасате. Целыми часами эта аудитория, малограмотная и едва вышедшая из социального невежества, затаив дыхание, слушала лектора, музыканта или агитатора. И даже в день похода многие команды не пожелали оторваться от своего политотдела: несколько профессоров получили разрешение проводить своих учеников до самого рейда, на порог борьбы и страданий. Так, место попа, покрывавшего преступление своим осквернённым крестом, идеалы и ученый заняли место на палубе».

И Бжезинский, и другие, несмотря на большую работу Ларисы Рейснер в культпросвете, считали, что это не характерно для нее. Да она и не засиживалась в Астрахани, часто находясь на кораблях, в командировках. Николай Юльевич Озаровский, начальник обороны 12-футового рейда, в 1918–1920 годах бывавший с Ларисой в разведках и отзывавшийся о ней, как об «изумительной, блестящей, романтической женщине», рассказывал о том, как бесстрашно она выезжала на лодке во время боя на середину дистанции между английскими и нашими кораблями на рейде Каспийского моря и фотографировала моменты боя. Жена Озаровского Нина Павловна говорила мне, что в семьях моряков, служивших с Ларисой Рейснер, дочери часто носили имя Лариса.

В Астрахани в политотделе работала заведующей библиотекой Ольга Петровна Котельникова, имевшая юридическое и художественное образование, знавшая языки. Привлекла ее к работе Лариса, при первой же встрече в театре познакомившая ее с матерью и отцом. Ольга Петровна не только запомнила внешний вид Ларисы, но и невероятные, нигде больше не упоминаемые сведения о ее матери, Екатерине Александровне:

«Образ Ларисы Михайловны сохранился до сих пор. Впечатление незабываемо. Лариса Рейснер любила одеваться, умела одеваться. При первом знакомстве на ней был костюм беж, горжетка, широкая шляпа с розовой лентой, которая очень шла к ней. У Ларисы были большие серо-зеленые глаза, запомнился взгляд с поднимающимися и опускающимися ресницами. У глаз что-то вроде веснушек, что шло к ней необычайно. У нее был звучный, хорошо поставленный голос. Матросы ее очень любили и слушали, вытянув шеи и затаив дыхание. Но были люди, которые осуждали ее за то, что она хорошо одевается, устраивает приемы. В Астрахани Лариса Рейснер купила библиотеку у Федорова для политотдела, которую я разбирала. В то время начальником всех политотделов был Киров, который часто встречался с Рейснер.

По семейному преданию, рассказанному Юлией Укше, которая вместе с Рейснерами приехала в Астрахань, мать Ларисы Михайловны воспитывалась в Смольном институте, до Смольного сироту воспитывал Жунковский, который нашел ее трехлетней девочкой в Польше».

Так неожиданно объяснилась «Педагогическая поэма» Екатерины Александровны. Лишенная родительской ласки, она с лихвой дарила ее своим воспитанникам.

Когда окончилась война на Каспии – в мае 1920-го, – реввоенсемейство весело праздновало это событие с гостями. В архиве Рейснер сохранилась шуточная телеграмма, написанная Михаилом Кирилловым, секретарем генмора флотилии и Коммунистической академии: «Благодаря разгрому белогвардейского флота и взятию Энзели… пробито „третье“ историческое окно. Наградить члена семейного реввоенсовета ВК флотилии тов. Екатерину Рейснер почетной красной юбкой с гербом и соответствующими надписями. Пошел с ходатайством о представлении т. М. А. Рейснера к красным панталонам. Кириллов. 6 июня 1920».

В Персии

В конце войны на Каспии ковер-самолет, когда-то заказанный Ларисой, доставил ее в Персию. 30 апреля 1920 года был взят город Баку. 1 мая на празднике С. М. Киров сказал о Ларисе: «Она у нас особая… Как нежный мотылек, плавает среди моряков и вдохновляет их на боевые подвиги!» С. Г. Орджоникидзе в своей речи тоже остановился на единственной женщине, сражавшейся на флоте: «Если бы Азербайджан имел такую женщину, как Лариса Михайловна, – поверьте, восточные женщины давно побросали бы свои чадры и надели их на своих мужчин».

В Персию, в Энзели (город на южном побережье Каспийского моря) англичане и белые увели из Баку весь военный и транспортный флот. Отвоеванную нефть доставить в Россию было не на чем.

Восемнадцатого мая эскадра кораблей и десантный отряд моряков неожиданно появились у Энзели, застав врасплох английское командование, которое не смогло оказать должного сопротивления. Раскольников разъяснил англичанам, что пришел за имуществом, принадлежащим Советской республике, и получив его, немедленно уйдет.

Лариса Рейснер («Фронт»): «Так близко от нас эта чудесная страна, этот необычайно родственный народ. Стоит отвернуться от моря, оставить слева его совершенно эмалевый проблеск, лежащий голубым челом между двух песчаных холмов на ковре из пены, стоит оставить за собой бухту Энзели с ее японскими крылатыми лодочками и ядовитой водой, – и в полях, полных сырости и роскоши, уже дышит, уже открывается Персия».

Мечтал приехать в Персию и собрать коллекцию персидских миниатюр Николай Гумилёв. Мечта исполнилась для Ларисы. Возможно, какую-нибудь персидскую миниатюру в его вкусе она для него и купила. В Петербург она рвалась уже давно.

К сожалению, не удалось Рейснерам забежать к родственникам, жившим в Баку. Брат Михаила Андреевича – Вадим, его жена и дочь Зоя не дождались их за накрытым столом. Но другая, из серии долгожданных, встреча состоялась. Друг по журналу «Рудин» Сергей Кремков, мобилизованный в артиллерийское училище в 1916 году, воевал и оказался в Баку.

«Когда я получил Ваше письмо из Баку, – я засмеялся: как Вы хотите все обратить в шутку… Не забывайте, не забывайте, что такого чувства Вы не встречали и более не встретите. Великое безумие скрыто в нем и великая радость – в его жгучем страдании. Всё вздор, всё – пепел, пыль. Оно одно не проходит…

то, что связывает меня с Вами, смеется над временем и пространством. Кто знает, может быть, настанет время, когда мне, наконец, разрешено будет умереть за Вас!» О любви Сергей Кремков говорил во всех своих постоянных, но редко доходящих письмах. Они ждали Ларису и в будущем, но после 1924 года их в ее архиве – нет.

Баку в годы Гражданской войны и позже приютил в своем университете, в своих редакциях газет и журналов немало мастеров русской культуры: Вячеслава Иванова, Велемира Хлебникова, Сергея Городецкого. Хлебников весной 1921 года совершит поездку в Энзели, в Иран, «где голубые призраки гор Персии», сады, восточные улицы и море совершенно покорили поэта. «Я – сотрудник русского еженедельника „Красный Иран“ на пустынном берегу Персии», – писал он.

Яков Григорьевич Блюмкин (убийца немецкого посла Мирбаха), на которого Лариса Рейснер и Осип Мандельштам ходили когда-то жаловаться Дзержинскому за его «хочу и расстреляю», этот левый эсер высадился вместе с Волжско-Каспийской флотилией в Иране. Десант превратился в персидскую Красную армию. Во главе с Мирзой Кучек-Ханом на короткий срок возникла «Персидская Социалистическая Республика».

Блюмкин, наизусть знавший все стихи Гумилёва, стал одним из героев его стихотворения «Мои читатели». Расстрелян Я. Блюмкин в 1929 году за верность Л. Троцкому.

Начало автобиографического романа

О, поэты, поэты, единственные
настоящие любовники женщин.

М. Цветаева

Одна из главок книги «Фронт», написанная летом 1919-го, начинается с эпиграфа, в который вынесена строка из стихотворения Н. Гумилёва, но без указания автора: «Где вышиты золотом осы, цветы и драконы». В этой маленькой главке описана буддийская икона: «Вот одна из них: на фоне, темно-зеленом, как чувственная и торжествующая южная весна, сияет розовый полукруг зари, и под сенью его, скрестив изысканно тонкие члены, восседает утреннее божество. В одной руке пурпурный колокольчик, в другой – песочные часы, но не одинокие часы Дюреровой Меланхолии, по крупинкам меряющие отчаяние, но часы пробуждения и вечной жизни… Необычайны глаза этой азиатской Авроры. Слегка косые, под агатовыми бровями, с утренней звездой между ними. Глаза мудрые, холодные, устремленные в себя, несмотря на сладостную улыбку. У ног ее лежит земля, темная, покрытая лесами, с одной светлой, проснувшейся, озаренной поляной посередине».

Азиатская Аврора, видимо, остро напомнила о Гумилёве, а может быть, Лариса с ним и не расставалась в душе, ведь везде, где могла, она читала его стихи. Не случайно в «Оптимистической трагедии» командир корабля читает строфу из гумилёвских «Капитанов».

По настоянию Ларисы «Капитаны» были перепечатаны в «Военморе». Журнал редактировал М. А. Рейснер с августа по ноябрь 1919 года, то есть пока был начальником политотдела. В декабре реввоенсемейство уедет в Москву.

Несмотря на перегруженность работой, физическую усталость, с августа 1919-го Лариса начинает писать автобиографический роман, сначала названный «Реквиемом» (позже – «Рудин»). Этот ее порыв похож на тот, что подвиг ее написать прощальное письмо Гумилёву осенью 1917 года. Тогда для жизни Ларисы Михайловны возникла серьезная угроза, и сейчас, после падения Царицына, когда почти замкнулось вражеское кольцо, она спешила записать свои встречи с любимым поэтом, запечатлеть атмосферу дореволюционного Петербурга.

Начинает она со встречи с Александром Грином, которого делает художником, влюбленным в софистов, и с «Бродячей

собаки», где Гумилёв обратил внимание на красивую девушку, читающую «бездарные», по его мнению, стихи. В 17-й главе книги почти полностью приведен отрывок о встрече в «Бродячей собаке» с Николаем Гумилёвым. Вспомним только одну фразу: «О, кто смел думать о том, что самая земля, по которой ступает это бесчеловечное искусство, должна расточиться, погибнуть и сгореть».

И все же она любила гумилёвскую «бесчеловечную» поэзию, понимала, что «всякий поэт, так или иначе, слуга идей или стихий». Эту точную «формулу поэта» дала Марина Цветаева, которая смогла понять (и написать о своем понимании) Николая Гумилёва, как никто. Даже Ахматова гневалась, что настоящий Гумилёв не оценен. Марина Цветаева пишет только об одном стихотворении «Мужик».

В гордую нашу столицу
Входит он – Боже, спаси! —
Обворожает Царицу
Необозримой Руси…

«Вот, в двух словах, в четырех строках все о Распутине, Царице, всей той туче. Что в этом четверостишии? Любовь? Нет. Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдание? Нет. Судьба. Шаг судьбы… И судьба, и чара, и кара… Не мэтр был Гумилёв, а мастер: боговдохновенный».

Боговдохновенность, пророчество поэзии Лариса Рейснер чувствовала врожденно.

Один из импульсов для начала работы над автобиографическим романом дал Ларисе Михайловне, возможно, Дмитрий Усов, который работал вместе с ней в политотделе флотилии с июня 1919-го по май 1920 года. В 1928-м, будучи в Государственном архиве художественных наук (ГАХН), он вместе с П. И. Цветаевой принял архив Ларисы Рейснер от ее отца и готовил трехтомное собрание ее сочинений со своими комментариями. Архив Ларисы Рейснер после расформирования ГАХН был передан в отдел рукописей Библиотеки имени Ленина вместе с наработанными материалами Д. Усова. Судя по ним, он не раз беседовал с Ларисой Михайловной. Но о их беседе о Гумилёве, естественно, никаких записей к концу 1920-х годов не осталось. И все-таки эта беседа дошла до нашего времени.

С Дмитрием Усовым в 1928 году встретился Иннокентий Оксенов, ленинградский писатель, к тому времени написавший маленькую книжечку о Ларисе Рейснер и собиравший материалы

для более подробной. Он записал встречу с Д. Усовым в дневник, сохранившийся, несмотря на блокаду, во время которой, в 1942 году, Оксенов умер. С дочерью И. Оксенова встречался уже в 1970-е годы военный моряк, журналист, поэт, кронштадтец Владимир Кондрияненко, от него информация о дневнике дошла до меня.

Именно Дмитрий Усов мог посоветовать Ларисе писать воспоминания немедленно, понимая ценность свидетелей уходящей эпохи и астраханскую обстановку. Усов четко обозначил время начала создания «Реквиема» – сентябрь 1919-го. А его разговор с Ларисой о Гумилёве состоялся 26 сентября 1919 года:

«Гумилёв – поэт-конквистадор, он хочет всё взять, овладеть каждой вещью, изнасиловать каждую женщину. Он „сделал“ Ахматову, он ее учил ритмам, поставил на недосягаемую высоту, разломал, и из каждой ее раны потоком хлынуло творчество. И вместе с тем он – черный гусар, ярый монархист».

Д. Усов, имея в виду то, что Лариса облегчила в Астрахани участь многим политзаключенным, спросил, что сделала бы она, если бы Гумилёву грозил расстрел.

«– Топить я бы его не стала, но палец о палец не ударила бы для его освобождения».

Так за два года до расстрела Николая Гумилёва о его гибели уже говорили. Думаю, что Лариса не смогла бы спасти Гумилёва, так как уже написан «Гондла» и предрешен финал. Лариса уйдет из жизни вслед Николаю Гумилёву, как Лера – вслед Гондле.

Д. Усов подробно рассказывал обо всех лекциях, прочитанных Л. Рейснер в Астрахани, память у него цепкая. Но о том, ходил ли он вместе с Ларисой в боевые походы, не упоминал. Может быть, и ходил, иначе откуда же у него сведения, что Лариса Рейснер оказывала Федору Раскольникову в этих походах большую помощь, иногда принимая на себя командование, причем крыла матросов отборным матом.

В декабре 1919 года, приехав в Москву, Лариса посещает свой любимый Музей изобразительных искусств и включает это в роман: «Ариадна пошла туда, где на двух конях, литых из чугуна, возвышались статуи кондотьеров. В черных латах, с ногами, вытянутыми вдоль железных ребер коней, с оружием в руке и с лицами, лишенными всего человеческого, с лицами, проламывающими века волей, силой, – они были так знакомы и понятны. Эти рыцарские доспехи, плотно облегающие грудь и бедра, эти широкие пояса на кольчатых рубашках и, наконец, головы, свободно выглядывающие из плотных воротников, казались кожаными черными одеждами, которые так любит

гражданская война и которые она украшает только красной звездой. Значит, они все те же и теперь, в этой небывалой борьбе за господство над новым миром, все еще живы и молоды древние орлиные были…»

Далее Лариса начинает предполагать, кто из кондотьеров и где мог бы пригодиться в Гражданской войне. Одного всадника, немолодого – «само мужество, пресыщенное почестями и добычей», – нужно послать на Южный фронт, другого – за Урал: «В снегах под Омском и при переправе через Тобол он бы не дрогнул». Третий – «откинутый лоб – это слабость и порок, сентиментальность и меланхолия, при железной челюсти и налитых губах – партизан, без вчера и без завтра, на все способный и ничем не ограниченный. У нас бы он пошел на юг, глубоко в тыл Деникину как прежде за Флоренцию против Пизы, за Ломбардию против Тосканы. И всюду за его дикой конницей, за крадеными драгоценностями, прекрасными женщинами…». Здесь обрыв в записи.

Пока Лариса писала роман, всплыла какая-то ее вина перед Михаилом Лозинским, другом Гумилёва. И вот 24 марта 1920 года она пишет ему письмо:

«Многоуважаемый Михаил Леонидыч!

…Ведь вот уже 3 года, как не стало всего прежнего, библиотек, вечеров в «Аполлоне», длинных и прелестных споров, Бог знает, о чем, – о поэзии, творчестве или душе, и я сама много раз рисковала жизнью ради полного и жесточайшего разрушения нашей прежней среды и, может быть, вместе с прежним обществом временно и прежней культуры. А теперь вот это письмо – точно куда-то в прошлое: его к Вам доставит уэллсовская машина времени.

Так вот, Мих. Леонидыч. Однажды в очень тяжелую и мертвую минуту, когда вся моя двадцатилетняя жизнь рушилась, ну словом, было мне плохо-плохо, я придумала сказку о том, что есть еще выход, что я смогу вырваться, уехать далеко на Восток, забыть стихи, книги, улицы и людей, каждый день и час тащивших меня ко дну. Случайно получилась действительно возможность совершить большое путешествие – и тогда, не дожидаясь окончательного решения, я поехала к Вам проститься. Зачем я сочинила тогда эту запутанную и неправдоподобную сказку – я, право, не знаю. Как бы то ни было, но вечер, проведенный тогда у Вас, до такой степени укрепил иллюзию, так меня успокоил, освободил, что я совсем счастливой шла через белый Крестовский домой… Утром и обман и самообман – все это распалось и мне до сих пор невыносимо вспомнить об этих часах полного отчаянья. Почему я не пошла тогда же утром к Вам или

Вашей милой жене и не рассказала всего полудетского горя. Может быть, все пошло бы иначе, и лучше, и человечнее… Ну хорошо, вот мне уже и легче стало, все-таки Вы теперь не будете думать обо мне дурно.

Раз уже я решилась совсем неприлично писать на четырех страницах о себе – договорю еще немного. Жизнь была ко мне очень доброй. Совсем сломленной и ничего не стоящей я упала в самую стремнину революции. Вы, может быть, слышали о том, что я замужем за Раскольнико-вым – мой муж воин и революционер. Я всегда его сопровождала – и в трехлетних походах, и в том потоке людей, который, непрерывно выбиваясь снизу, омывает все и всех своей молодой варварской силой. И странно, не создавая себе никаких иллюзий, зная и видя все дурное, что есть в социальном наводнении, я узнала братское мужество и высшую справедливость и то особенное волнение, которое сопровождает творчество, всякое непреложное движение к лучшему. И счастье.

Не знаю, там, в Петербурге, слишком велик голод и упадок сил, чтобы почувствовать то нежное движение к новому, которое уже дышит и живет здесь, на окраинах. Войну мы кончаем. Что будет дальше? Не знаю, но, по-моему, то величественное и спокойное восхождение Солнца Духа, тот новый век Ренессанса, о котором мы все когда-то мечтали. В окно мне видна серебряная дельта и среди песков удобренные виноградники. Я свято и безмерно верую.

Крепко жму Вашу руку и привет Вашей жене. Простите за это письмо».

Если Михаил Лозинский получил это письмо, вполне вероятно, что он показал его Николаю Гумилёву. Солнце Духа – гумилёвский образ. Это письмо могло бы предвосхитить приезд Ларисы, познакомить с ней, изменившейся.

Федора Раскольникова в июне 1920-го назначают командующим Балтийским флотом. Ближайшие соратники отправились вместе с ним на Балтику.

«Пересев, – пишет М. Кириллов, – на 12-футовом рейде с корабля „Курск“ на любимую яхту „Межень“, мы прошли на ней мимо Астрахани, Черного Яра, Каменного Яра, Царицына, Быковых хуторов, Саратова, Вольска, до самого Нижнего Новгорода. В местах, где мы сражались, все выходили на верхнюю палубу, снимали фуражки и мысленно прощались с погибшими.

Совершенно другой нам казалась Волга… щемящее чувство охватывало нас, как будто мы прощались с Волгой навсегда. В Нижнем Новгороде нас встретил Председатель Нижегородского Губисполкома. В. М. Молотов – большой друг комфлота».

Глава 26
В ПЕТРОПОЛЕ

Солнце Духа благостно и грозно
Разлилось по нашим небесам.

Н. Гумилёв

Три года Гражданской войны 740 тысяч петербуржцев (из 2,3 миллиона в 1917-м) ежечасно пытались выжить. В городе остановились заводы, прекратилась торговля, не было хлеба, топлива, электричества, замерла обыденная жизнь, только иногда «хвостились» очереди к дверям, где выдавали скудные пайки. В очерке «Петербург в блокаде» Виктор Шкловский писал:

«Питер живет и мрет просто и не драматично. Кто узнает, как голодали мы, сколько жертв стоила революция, сколько усилий брал у нее каждый шаг. Зимой замерзли почти все уборные. Да, сперва замерзла вся вода, нечем было мыться. Мы все, весь почти Питер, носили воду наверх и нечистоты вниз. Город занавозился, по дворам, по подворотням, чуть ли не по крышам. Люди много мочились в этом году, бесстыдно, бесстыднее, чем я могу написать, днем на Невском, где угодно. Была сломанность и безнадежность. Чтобы жить, нужно было биться, биться каждый день, за градус тепла стоять в очереди, за чистоту разъедать руки в золе.

Потом на город напала вошь; вошь нападает от тоски… Чем мы топили? Я сжег свою мебель, книжные полки и книги, книги без числа и меры. Это был праздник всесожжения. Разбирали и жгли деревянные дома. Большие дома пожирали мелкие. Как выбитые зубы торчали отдельные здания».

Николай Оцуп дополняет:

«После девяти часов вечера нельзя было выходить на улицу, когда треск мотора ночью за окном заставлял в ужасе прислушиваться: за кем приехали? Когда падаль не надо было убирать – ее тут же на улице разрывали на куски исхудавшие собаки и растаскивали по частям еще более исхудавшие люди.

И все же в эти годы было что-то просветлявшее нас… Умирающий Петербург был для нас печален и прекрасен, как лицо любимого человека на одре. Но после августа 1921 года в Петербурге стало трудно дышать. В Петербурге невозможно было оставаться – тяжко-больной город умер с последним дыханием Блока и Гумилёва.

Я тайно в сердце сохраняю
Тот неземной и страшный свет,
В который город был одет…
Как будто наше отрешенье
От сна, от хлеба, от всего,
Душе давало ощущенье
И созерцанья торжество…»

В эти годы спасали культуру, в эти первые послереволюционные годы надеялись на ее обновление, создавали самые разные журналы, газеты, альманахи: «Вестник литературы», «Книга и революция», «Красная новь», «Записки мечтателей», альманахи «Серапионовы братья», «Петербургский сборник», «Гостиница для путешествующих в прекрасном». Совершались гигантские скачки в новое, наверное, во всех сферах искусства. В 1918–1919 годах открывается много новых учебных и научных институтов: Институт истории искусств, Институт живого слова, Вольная философская ассоциация, Физтех, Институт киноинженеров, Бехтеревский институт мозга и др. М. Горькому удается организовать Комитет по охране памятников искусства и старины, Комитет по улучшению быта ученых – КУБУ. Горький шутил, что КУБУ следовало переименовать в КБСИ – Комитет бодрости среди интеллигентов.

Девятнадцатого ноября 1919 года открывается любимое детище Горького – Дом искусств, чтобы дать пристанище писателям, художникам. «И редкий писатель, ткнув пальцем в то или другое окно, не скажет: „Здесь я жил и писал мой том первый“» (Ольга Форш «Сумасшедший корабль»). «Здесь были боги», – добавляет Нина Берберова.

«Единственная в России духовная культура»

В те дни я, как и многие, стала более духовным, чем физическим существом.

И. Одоевцева

В Петрограде прямо с вокзала Ларису Рейснер и Михаила Кириллова отправили в больницу с приступом тяжелейшей тропической малярии. Писательница Вера Инбер рассказывала, как после очередного жестокого приступа болезни Лариса Михайловна жаловалась ей, что малярия «съедает всю зелень, выросшую в ее душе».

Из Энзели Лариса привезла еще «страстную любовь к востоку, тропический загар» (Л. Никулин).

В хронике «Красной газеты» был отмечен приезд Раскольникова – 13 июля. С ним приехал и вагон с продовольствием, который организовала Лариса для писателей Петрограда. В больнице она пробыла, видимо, до 18 июля, потому что 19 июля уже присутствовала на открытии Второго конгресса Коминтерна в Зимнем дворце. Среди выступавших был Карл Радек. Тогда ли они и познакомились с Ларисой или до лета 1923-го не обращали друг на друга внимания? Неизвестно.

Конгресс ознаменовался грандиозным представлением «Мистерии освобожденного труда» на ступенях Биржи, с участием более двух тысяч человек. Авторы его – художник Юрий Анненков и режиссер Сергей Радлов. Это театральное действо отражено в очерке Ларисы Рейснер «О Петербурге», опубликованном уже 24 июля в «Красной газете». В книге «Фронт» этот очерк дан в сокращении.

«Вернуться в Петербург после трех лет революционной войны почти страшно: что с ним сталось, с этим городом революций и **единственной в России духовной культуры?**

На военные окраины Республики доходили печальные слухи: холод, голод. Питер вымер, обнищал, это мертвый город, оживающий только для отпора белым, ползущим к нему то от форта Красная Горка, то от Нарвы и Ревеля, то со стороны Польши. И что же? Он не только не умер, Петербург, но к строгости своих проспектов, к роскоши соразмерных пространств, охваченных гранитом, зеленью садов и поясами каналов, прибавил еще спартанскую скромность, пустынность, простоту –

тысячи неуловимых примет, свидетельствующих об отдыхе и перерождении города.

…Сады, не стесненные людьми, безумно и счастливо зарастают, глохнут. Синеет Нева. Острова превратились в зеленый рай, где вместе отдыхают деревья, травы, старинные, наконец, растворенные решетки оград, и тысячи больных детей, и тысячи измученных илотов труда.

Что же это в самом деле? Запустение, смерть? Эта молодая свежесть северного лета среди домов, сломанных на топливо? Эти развалины на людных когда-то улицах, два-три случайных пешехода на пустынных площадях и каналы, затянутые плесенью и ленью, и осевшие на илистое дно баржи? Неужели Петербургу действительно суждено превратиться в тихий русский Брюгге, город 18 века, очаровательный и бездыханный? Неужели смерть? Нет.

Есть последняя слабость, есть головокружительное изнеможение выздоравливающего, есть молчаливый отдых огромной гранитной сцены, с которой только что, рушась и громыхая, ушла целая эпоха и куда еще робко и неуверенно вступает новая мировая сила».

В те же дни, когда писался очерк, Лариса пишет письмо Л. Д. Троцкому: «Дорогой друг, пишу Вам из несуществующего города, со дна моря, которое залило Петербург забвением и тишиной. Вы не представляете себе молчания, господствующего вокруг меня. Предместья уничтожаются, целые улицы обращены в прах… Вот пять лет, и руины севера совершенно подобны развалинам Азии». Дальше в письме идут те же строки, что и в очерке. Но рассказ о поэтическом вечере в Доме литераторов остался только в полном тексте очерка, опубликованном в «Красной газете».

Лариса описывает, как в день, «отмеченный праздником Интернационала» и представлением на Бирже, она побывала в Доме литераторов, услышала, как Ирина Одоевцева читает свою, уже ставшую известной, балладу «Толченое стекло» (солдат продавал на рынке соль, подмешивая в нее стеклянную крошку, покупатели умирают, а солдата ночью мучит раскаяние, но поздно – он умирает и предстает на Божеский суд). Баллады Ирина Одоевцева писала и потому, что ее учитель Николай Гумилёв терпеть не мог «девических» стихов. Это было первое выступление Одоевцевой с эстрады. Вместе с ученицей пришел Гумилёв. Виделись ли они с Ларисой?

Первую после разлуки случайную встречу Ларисы Рейснер и Николая Гумилёва описал И. Оксенов, первый ее биограф. По его словам, Лариса после больницы сидела в Летнем саду, где к ней подошел Николай Степанович, идущий на Моховую во

«Всемирную литературу». Но беседы у них, как пишет Оксенов, не получилось. Николай Степанович знал о фронтовых подвигах Ларисы и вспомнил свое пророчество в «Гондле»:

Я сама, как Валкирия, буду
Перед строем летать на коне.

Ирина Одоевцева утверждала, что Лариса избегала встреч с Гумилёвым.

Но вернемся к фрагменту очерка «О Петербурге», который не вошел в позднейшие издания:

«…все мертвое и все живое Петербурга заговорило внятно и почти одновременно. Первое в форме крошечной комедии, второе – на немом языке мистерии. На тихой улочке и в очень тихом доме, под окнами которого изредка бежит трамвай, закутанный во все красное, – собрались люди духа, интеллигенты, на свой особый, замкнутый праздник культурного времяпрепровождения. Много литературных старушек, всем своим существом отрицающих жизнь, с тем невыносимым и раздражающим смирением, которым в свое время христиане доводили до бешенства несчастных язычников. Несколько профессорских сюртуков, христианнейшего толка, и еще много лиц, совсем оторвавшихся от жизни, ослепленных и сгоревших. Не только старые, но и молодые, не только елейные, но и славные языческие физиономии, все равно давно потерявшие и прогулявшие свое место в православном раю. Несколько добрейших испытанных грешников. Но тоже, тоже помеченных пассивным сопротивлением „гнусной действительности“ и подтянутых невольным постом. О, тут собрался цвет Петербурга. Из какой биржевки времен Керенского и июльских дней взята злостная фигура солдата, торгующего битым стеклом и распарывающего безнаказанно голые животы петербургских обывателей? Добрый человек, впрочем, ближайший родственник тех большевиков, которые до сих пор (по иностранным газетам) питаются мясом христианских детей, ходят на четвереньках голыми и растят пушистый хвост. Они же в свое время продали Россию немцам за сто рублей и ведро сивухи. Итак, долой спекулянтов. Но почему ни одна стильная и добродетельная поэтесса не догадалась пригвоздить к позорному столбу своих товарок по профессии, бесстыдно торгующих духом, с азартом, со смаком спекулирующих – кто грязными подделками поэзии, кто подержанными книгами, поношенными идеями, ворованными откровениями и идеалами? Отчего ее муза не закричит о бесчисленных спекуляциях Богом и богами, Христом и загробной

жизнью, все заборы Москвы и Петрограда оклеивших своими кощунственными и холодно-лживыми бумажками? Что делать с поэтами и богоискателями, подмешивающими битое стекло к науке и искусству, отравляющими не брюхо своих ближних, но тончайшие извилины мозга, беззащитные, едва проснувшиеся от рабской спячки души; что делать с битым стеклом имажинистов и солитиянцев, со злостными осколками политической клеветы, завернутыми в обложку хорошего стиха, что делать со всем этим интеллигентским ядом, всюду посеянным точно для травли крыс?..

За поэтессой был ученый, почти страшный со своим мистическим лепетом и злободневными намеками на «коммунистическую каторгу» – один из многих вероотступников науки, одичавших со своим богоискательством до смешивания Кантовой мистики с его же солнечной и несравненной эстетикой. Оставим все это и скорее на улицу».

Лев Никулин уточняет, что в тот день в Доме литераторов слышал Льва Платоновича Карсавина: «Профессор Карсавин елейно и келейно журчал о „вечности“, „вечном и незыблемом“. Бархатный профессорский баритон пел виолончелью о „неприятии хаоса“. И вдруг в этот затхлый мирок, в тихую обитель старых эстетов и дев ворвался иронический кашель Ларисы Рейснер. Она вошла среди сердитого шипения и негодующих возгласов и ушла, вызывающе стуча каблуками, на улицу, в разлив толпы, в неукротимый прибой флагов».

Николай Гумилёв подвел Ирину Одоевцеву к наклеенной на стене газете со статьей Ларисы. «Теперь вы окончательно знамениты, о вас написала сама Лариса Рейснер». – «Но статья похожа на донос», – ответила «изящная поэтесса». И все же никакой злости к Рейснер у Одоевцевой через 67 лет, когда она вернулась в Ленинград из Парижа, не было.

Философские пароходы Петрополя

В наше трудное и страшное время спасение духовной культуры страны возможно только путем работы каждого в той области, которую он свободно избрал прежде.

Н. Гумилёв

Рейснеровское определение «Мистический лепет» могло относиться и к другим крупнейшим религиозным мыслителям серебряного века, профессорам Петербургского университета Н. О.Лосскому (1870–1965); И.И.Лапшину (1870—?), последователю Канта, развивающему его идеи не так, как хотелось бы Ларисе Рейснер. В 1922 году советское правительство арестовало свыше сотни деятелей науки и культуры по обвинению их в расхождении с коммунистической идеологией и выслало их из России.

Петрополь – просвечивающий сквозь земное воплощение небесный замысел о Петербурге. И чтобы почувствовать его, надо было бы постоять среди провожающих «философские пароходы». Их было два: 28 сентября и 15 ноября 1922 года. Об этой высылке оставил воспоминания сын Н. О. Лосского – Б. Н. Лосский, студент историко-философского факультета Петроградского университета, которому в 1922-м было 19 лет:

«Советское правительство обратилось к немецкому за визой для высылаемых. На что тогдашний рейхсканцлер Вирт ответил, что Германия не Сибирь и ссылать в нее русских граждан нельзя, но если русские ученые и писатели сами обратятся с просьбой дать им визу, Германия охотно окажет им гостеприимство… Москвичи, как обитатели столицы, смогли быстрее нас справиться со всеми связанными с путешествием формальностями и уже 27 сентября прибыли для его продолжения морем в Петербург. Гостями нашей семьи были супруги Бердяевы со свояченицей и тещей Николая Александровича».

Дальше Борис Николаевич рассказывает, что ночью одна из домочадиц слышала доносящиеся из кабинета, где ночевал Бердяев, протестующие вскрики: «Нет!., нет-нет… нет-нет-нет!» Бердяеву было свойственно говорить во сне.

«Их посадка на пароход „Oberburgermeister Hacken“ с пристани на Васильевском острове, против Горного института, началась, помнится, сразу пополудни. На ней мы с родителями,

разумеется, присутствовали среди многочисленных провожатых-петербуржцев. Погрузка длилась часами, потому что вызываемые по фамилии семьи отплывающих должны были проходить поодиночке через контрольную камеру для опроса и обыска на ощупь через платье чекистом и приставленной для женщин чекисткой… Главным предметом нашего внимания была семья Франков: Семен Людвигович, Татьяна Сергеевна, 13-летний Витя, 12-летний Алеша, 10-летняя Наташа и совсем маленький Вася… Отплытия парохода не помню, мы покинули набережную после посадки Франков».

Михаил Осоргин, из этого же рейса, вспоминал:

«От революции пострадав, революцию не проклинали и о ней не жалели, мало было людей, которые мечтали бы о возврате прежнего. Вызывали ненависть властители, но не дело обновления России.

…Наступило, наконец, 15 ноября – несколько раз откладывающийся день посадки петербургской группы на пускавшийся в последний перед ледоставом рейс самый скромный из немецких пароходов Preussen …Я поцеловал сквозь снежную пелену один из камней булыжной мостовой набережной. Первую ночь на борту парохода предстояло провести еще у причала. Поданный в два сервиса – сперва пассажирам 1 класса, потом всем прочим (тремя стюардами, относившимися равно высокомерно ко всем русским пассажирам) довольно скромный немецкий ужин показался нам чуть что не роскошным… Осталась навсегда в памяти зарумяненная ранним солнечным светом через дымку легкого тумана панорама невских набережных с удаляющимся портиком Горного института и силуэтом Исаакия…

Будет, конечно, полезно напомнить… фамилии наших петербургских «экспульсантов». Из университетских философов: Н. О. Лосский и Л. П. Карсавин с семьями (среди которых бабушка М. Н. Стоюнина) и И. И. Лапшин. За философами – два проректора университета: юрист А. А. Благолепов и почвовед Б. Н. Одинцов, директор Томского Технического института Е. Л. Зубашев, экономисты В. Д. Бруцкус, И. И. Ладыженский и Д. А. Лутохин, агрономы П. А. Велихов и Юштин, математики А. С. Селиванов и С. И. Полнер, гражданский инженер Н. Козлов, издатель А. С. Каган, литераторы и журналисты Н. М. Волковысский, А. С. Изгоев, В. Я. Ирецкий, А. Б. Петрищев, Л. М. Пумпянский, С. О. Харитон. К петербургской группе причисляют, не знаю, в какой мере правильно, Питирима Сорокина, которого, во всяком случае, на борту Preussen не было. Были зато некоторые другие, плывшие по своей воле навсегда или на время, известные члены культурного мира: литературовед Нестор Котляревский и

писатель-сценограф Николай Евреинов… В связи с морским рейсом москвичей вспомню рассказ жены Кизеветтера о «золотой книге» на борту их парохода, в которой привлекал внимание рисунок недавно покинувшего на нем Россию Шаляпина, который изобразил сам себя со спины в голом виде, переходящим водную стихию как бы вброд, с надписью, гласившей, что весь мир ему дом».

Научные идеи изгнанников имеют теперь всемирное значение. Но после Октября русская философия раскололась на две крайности: диалектический материализм стал служить социальной идеологии, партийной политике, а метафизическое постижение целостности мира – религии и Церкви. Объединить бы все пути познания на основе взаимопонимания, ведь Дух и материя неслиянно-нераздельны.

Праздник освобожденного труда

После Дома литераторов в тот же день, 19 июля 1920 года, Лариса Михайловна побывала на празднике Интернационала:

«Серебряная бессонная Нева и над ней тоже бессонные несмолкаемые толпы, текущие к белым колоннам Биржи. Того, что было обещано, нет; мистерии не дано, но есть дивная ее первая и вторая часть, наполовину погруженная в тень и выходящая из нее к свету, то в багряных мантиях царей, то в лохмотьях революции. Особенно прекрасен бал сытых и сильных у ступеней трона под шопеновский вальс и бряцание наручников, которые куют себе рабочие. И расстрел первой коммуны и начало войны, когда черные сюртуки, черные рясы разделяют толпу народа на два враждующих хора – все это хорошо до слез. И дальше так понятны всем – и пляска народной победы, беспечная карманьола, обреченная гибели, и первые жертвы восстаний, покрытые траурными знаменами.

А какой великий смех, какое лукавое, мудрое, уничтожающее улюлюканье при виде книжников и интеллигентов, голосующих своими толстыми и лживыми томами за военные кредиты 1914 года. Не только ирония, но стыд и боль. Возле меня в белом свете прожектора болезненно морщатся лица трех иностранных депутатов, не сумевших устоять пред соблазном компромисса, трех участников, на которых упала мертвящая тень убитого Либкнехта. Лица уже не молодые и на них такое ужасающее недоумение, такая тоска, точно вот сейчас при виде мистерии им открылась вся горесть совершенных ошибок, вся глубина падения, весь предательский кошмар, который они благословили 6 лет тому назад. А на сцене… все идут и идут по ступеням постылого трона черные сюртуки с желтыми газетными листами в руках, униженно ползут эти книги недостойных конституций, похожие на могильные камни. Вот и третья часть мистерии. Еще немного и пафос, объединяя десятки тысяч зрителей, разрешился бы очищающей трагедией. Но здесь, к сожалению, приходится ставить точку. Какому-то ученому умнику пришла в голову пагубная мысль сделать из последней части геометрические рисунки, остановить и заморозить движение играющих масс и похоронить в этой дешевой геометрии весь апофеоз.

Зато фейерверки, Нева и зрители не изменили себе до конца. Небо пылало потешными огнями, как в первые молодые годы Петрограда. Нева из белой влаги прожекторов ликует глухим, пронзительным, хлещущим голосом сирен».

Ольга Арбенина, подруга Гумилёва, актриса

Александрийского театра стояла на ступенях Биржи в белокуром парике, изображая «Англию», другие актрисы – «Германию», «Францию» и «Италию». Командовала действом Мария Федоровна Андреева. Гумилёва 19 июля не было в городе.

Ада Ивановна Оношкович-Яцына, ученица студии Михаила Лозинского в ДИСКе (Доме искусств), оставила в своем дневнике запись иного впечатления об этом празднике: «Ночью мы всей компанией идем смотреть празднество. Странная ночь. Облака всклокочены, связаны в узлы, спутаны, взъерошены, Нева плещет на ступени и что-то шепчет.

Воют сирены хором бешеных, визгливых, измученных и жадных голосов, точно стая демонов несется в воздухе».

И. Одоевцева записала, как они с Гумилёвым в 1919 году на празднование 25 октября решили прийти «англичанами». Гумилёв в длинном до пят макферлане-крылатке с зонтиком под мышкой. На шее шотландский шарф. На голове большая кепка, похожая на блин с козырьком. Полевой бинокль на ремне через плечо. Он – делегат *Laborparty,* Одоевцева – его секретарша, в рыжем клетчатом пальто. Говорили по-английски. – Но, отмечает Одоевцева, он больше походил на опереточного англичанина XIX века. Они гуляли по Невскому, прохожие, выслушивая их вопросы на ломаном русском языке, гостеприимно объясняли, как пройти к тем или иным достопримечательностям Петербурга. «Коза сабо», – показывал Гумилёв на Казанский собор.

На них обращали внимание – смотри, английские делегаты! Когда все запели «Интернационал», стоявший с ними рядом красноармеец с явным удовольствием и даже умилением слушал, как Гумилёв выводит «глухим, уходящим в небо голосом» тут же переведенные им на английский язык слова песни. Когда в толпе начались пляски, оба, особенно Одоевцева, еле сдерживались, чтобы не пуститься в пляс, но Гумилёв сказал: англичане не танцуют на улице, это шокирует.

– Должно быть, от своих отбились, надо их на трибуны доставить, – нашелся все-таки деятельный доброжелатель. Гумилёв с Одоевцевой изобразили, что увидели своих в толпе, и быстро скрылись.

Михаил Лозинский говорил:

– С огнем играешь, Николай Степанович! А если бы вас забрали в милицию?

– Ничего, никто тронуть меня не посмеет, я слишком известен. Без опасности и риска для меня нет ни веселья, ни даже жизни нет.

«Потешные» иностранцы-коммунисты гуляли по городу, а настоящих принимали у себя в гостях Лариса Михайловна и ее

отец, которого назначили начальником политуправления Балтийского флота.

В 1920 году 25 октября отмечали постановкой «Взятие Зимнего дворца», в которой участвовали восемь тысяч актеров и 150 тысяч зрителей. На штурм шли рабочие и матросские отряды. Борьба в самом дворце изображалась с помощью теней на белых оконных занавесах. Ударила «Аврора», зажглась звезда на Зимнем дворце. Постановщиками этого действа были Н. Евреинов, Ю. Анненков и их помощники. Обе постановки принадлежали Петрополю.

Субботник

Субботники тоже стали праздниками освобожденного труда. Летом 1920 года в учреждениях Балтфлота их было два – 31 июля и 28 августа. Оба – по разгрузке дров с баржи. Лариса Михайловна участвовала в первом, потому что уже 5 августа в «Красной газете» появился ее очерк «Субботник».

«– Товарищи, разрешите к вам пристать. Не найду своих, а ведь все равно, где работать.

Но они не согласны. Две женщины в фуражках и гимнастерках осматривают меня критически.

– Нам таких не надо. Ходит тут всякий сброд.

Я обижаюсь и сразу впадаю в тон тех славных уличных драк, в которых лет двенадцать тому назад я считалась незаменимым спецом даже среди мальчишек Большой Зелениной улицы…

Принимаю боевую позу.

– Это кто же сброд? – Они смеются.

– Буржуйка! – Я тоже смеюсь, ибо не в бровь, а в глаз. Но, отойдя на безопасное расстояние, оборачиваюсь и убиваю моих девиц единым духом:

– Эй, товарищ рыженькая! – Они не отвечают. Выдерживаю изумительную паузу и затем: – Эй, содкомши, будьте здоровы (содкомша – содержанка комиссара. – *Г. П.)*.

… Вот другая артель. Здесь рады всякой лишней паре рук, и вот я включаюсь в цепь, и через меня течет непрерывный поток воли, ритмических усилий и жизни, опьяневшей от солнца и запаха смолистых дров… Жара все возрастает. Наконец живой голос прерывает безмолвно-гудящую симфонию труда:

– Перерыв на пять минут!..

Матросы с соседней баржи бегут пить из нашего кипятильника. Разговор:

– Мамзель, вы выпачкали кофточку. Только портите народное достояние. Какая от вас польза: выгрузили полкуба, платье истратили на десять косых.

– Мамзель, а где вы служите?

– Нигде.

– А зачем ходите на субботник?

– Да вот хочу с хорошим человеком познакомиться, замуж пора выходить.

– А я другое думаю. Вчера закрыли все магазины на Невском, а владельцев и владелиц – пожалуйте на работу. А? Вы не из той ли сторонки доброволица?

Я обижаюсь и в запальчивости намекаю на трехлетнюю

работу на фронте. Никто, конечно, не верит. Матросы дружно хохочут.

– Так вы воевали?

– Ну да.

– Муха говорит: «мы пахали»…

Последний час проходит, как в угаре. Дерево кажется железным, кружится голова, дрожат руки. Даже матрос устал.

Наконец, кончаем. В руках белеют завернутые в одинаковые пакеты куски хлеба. По всему берегу идут люди с такими же свертками, улыбаются нам устало и радостно и исчезают в белых сумерках. Они – братья».

Когда Лариса Михайловна, кончив работу, в изорванном ситцевом платье вышла на Адмиралтейскую набережную, встретилась там с Акимом Львовичем Волынским, 17-летней Лидией Ивановой, ученицей балетного отделения Театрального училища, и Львом Вениаминовичем Никулиным, который записал эту встречу. Балетная школа знаменитого А. Л. Волынского, литератора, искусствоведа, почетного гражданина Милана за книгу о Леонардо да Винчи, неизвестно почему находилась в ведении политотдела Балтфлота.

Однажды в своей школе он показал Ларисе Михайловне Лидию Иванову, девочку с гениальным прыжком. Лида первая из балерин взлетела над сценой и будто зависла в воздухе, как умел только Вацлав Нижинский. «Наша Цукки, наша Фанни Эльслер», – восторгался Волынский, когда Лида в два прыжка пересекала сцену Мариинского театра.

В 1924 году артистка Государственного академического театра оперы и балета Лидия Иванова двадцати лет утонет на взморье, у железной стенки портового Канонерского острова. Лодка с неисправным мотором перевернется от столкновения с пароходом «Чайка», идущим в Кронштадт. Из четырех пассажиров двое погибнут.

Лидия была любимицей горожан, не только балетной публики. Чуть ли не с каждой фотовитрины в городе улыбалось ее юное лицо. Она часто выступала в домах культуры, клубах, Павловском курзале вместе с труппой «Молодой балет», со своим однокашником и хореографом Георгием Баланчивадзе, с Александрой Даниловой, Николаем Ефимовым. После ее гибели они уедут на гастроли в Германию и не вернутся. На немецком пароходе с той же пристани возле Горного института. Гордость Петрополя Георгий Баланчивадзе создаст балетные симфонии как новый этап развития классического балета, доведя синтез музыки и танца до невероятного совершенства.

Лидочку Иванову высоко ценила Ахматова. Многие годы

хранила ее портрет и неизменно отзывалась о ней как о «самом большом чуде петербургского балета». М. Кузмин разделял мнение Ахматовой и писал о Лиде: «Детская еще чистота, порою юмор, внимательность и пристальная серьезность. До самого конца скупость эмоций и сильно выраженных переживаний».

Стоят рядом у Адмиралтейства Лида Иванова и Лариса Рейснер. Обе чайки, но разной породы. В обеих влюблялись за очарование, восхищались их яркой энергией таланта. У обеих неимоверная насыщенность жизни, царственная свобода полета. Обе выдвинуты (затребованы) революцией. Не похожи друг на друга. Но зачем-то на какие-то мгновения «зависли» рядом друг с другом.

В Адмиралтействе

После прогулки Лариса Михайловна пригласила своих спутников в гости. Она жила в Адмиралтействе в квартире бывшего морского министра. Идти к ней надо было по темным, гулким, длинным коридорам, на стенах которых висели картины морских баталий и портреты знаменитых флотоводцев. У Раскольниковых были столовая, приемная, кабинет. Рабочая комната Ларисы с разбросанными на столе книгами и отдельными листами рукописей выходила окнами на Неву. В этой светлой, в четыре окна комнате рисовал Ларису Михайловну С. Чехонин. Вс. Рождественский вспоминает о другой, маленькой комнате: «…сверху донизу затянутой экзотическими тканями. Во всех углах поблескивали бронзовые и медные „будды“ калмыцких кумирен и какие-то восточные майоликовые блюда. Белый войлок каспийской кочевой кибитки лежал на полу вместо ковра. На широкой и низкой тахте в изобилии валялись английские книги, соседствуя с толстенным древнегреческим словарем. На фоне сигнального корабельного флага висел наган и старый гардемаринский палаш. На низком восточном столике сверкали и искрились хрустальные грани бесчисленных флаконч иков с духами и какие-то медные, натертые до блеска сосуды и ящички, попавшие сюда, вероятно, из калмыцких хурулов. Лариса одета была в подобие халата, прошитого тяжелыми золотыми нитями, и если бы не тугая каштановая коса, уложенная кольцом над ее строгим пробором, сама была бы похожа на какое-то буддийское изображение».

В столовой, видевшей много поэтов, писателей, политработников, моряков, за круглым столом часто возникали споры, кончавшиеся иногда ссорами, как вспоминает Лев Никулин, сотрудник политотдела Балтфлота. Там же была сочинена шутливая поэма, Никулин передал, увы, только одну строфу:

> … над тарелкой Городецкий уж склонился, как цветок,
> соединив гражданский, детский, ученый и морской паек.

Ученый паек – это от «Всемирной литературы»; детский – от общества «Капли молока», которое приглашало писателей читать лекции будущим матерям; морской – для тех, кто читал лекции или выступал со своими произведениями в клубах и школах Балтфлота. «Общеобразовательные курсы, партийные школы,

курсы иностранных языков, курсы театральных инструкторов, драматическая студия, школы балета и фотографии, театр с драматическими, оперными и балетными спектаклями. И эти, как выражалась Лариса Михайловна, „флотские Афины“ выросли „на не слишком тучной ниве продовольственного пайка“» (Л. Никулин).

Лариса Рейснер помогла в получении морского пайка Николаю Гумилёву. Матросы, вспоминал Ю. Анненков, задавали лектору вопросы, часто и нецензурные. А Гумилёв мог читать стихи с упоминанием «портрета моего государя» или давать рискованные ответы. Его спросили: что нужно для того, чтобы писать хорошие стихи? Он ответил: вино и женщины. Не удивительно, что к декабрю проверочная комиссия политотдела лишила его пайка. В отличие от других пострадавших литераторов Гумилёв принял это решение как должное, без возражений, просьб и апелляций, свидетельствовал Л. Никулин. У П. Лукницкого записаны слова Ахматовой, сказавшей, что «озлобленная на Гумилёва Лариса лишила Гумилёва пайка».

Лариса Михайловна приглашала работать в политотдел Михаила Кольцова, с которым училась в Психоневрологическом институте Бехтерева. Для газеты «Утро в Кронштадте» нужны были специалисты. Кольцов к тому времени уже напечатал свои первые заметки в «Правде». Михаил увлекался в то время авиацией, стал первым среди журналистов, кто сделал «петлю Нестерова». Сам обладая кипучей энергией, он восхищался Ларисой Рейснер.

Дни с Блоком

Только полет и прорыв, лети и рвись, иначе – на всех путях гибель. Движение заразительно.

А. Блок

Вечером 2 августа Лариса Михайловна пришла домой вместе с Александром Блоком. За столом, кроме него, были Аким Волынский, Лев Никулин, родители Ларисы. «Они говорили о Карле Либкнехте (его хорошо знал Михаил Андреевич), о Скрябине и Розанове» (Л. Никулин).

Возобновление знакомства Ларисы и Блока (в 1918 году они вместе работали в Комиссии по изданию классиков в Зимнем дворце) произошло 20 июля 1920 года, что известно из дневниковой записи Блока от этого числа: «Вечером Городецкий и Лар. Мих. Раскольникова, Е. Ф. Книпович и Оцуп».

Сергей Городецкий, давний приятель Блока, вернулся в Петроград вместе с Раскольниковыми из Баку, где возглавлял литчасть политуправления Волжско-Каспийской флотилии. О его творчестве Лариса Рейснер написала еще в 1915 году в первом номере «Рудина» (статья «Краса»). В другой рецензии – на его книгу «Дальние молнии», прославляющую войну, живительную, «как воздух, как ветер», она с гневом писала: «Мещанская пошлость, в которой мы задыхались до войны, выходит из рук Городецкого». Симпатией он у нее не пользовался. Тем не менее 1 августа Сергей Городецкий посылает Ларисе Рейснер свои книги и автобиографию: «Дорогой друг, я написал Вам этапы своего мучительного литературного пути… Многое Вам во мне станет ясным. Сохраните эти листы – это единственное, что я о себе написал».

Рейснер и Городецкий 29 июля 1920 года присутствовали на вечере Блока в помещении Вольной философской ассоциации (Вольфилы) в здании бывшего Министерства народного просвещения на Чернышевой площади, дом 2. Со вступительным словом выступал Иванов-Разумник. Блок прочел поэму «Возмездие» и стихи.

А. Блок и А. Белый были учредителями Вольфилы, которая открылась, как и Дом искусств, в ноябре 1919 года.

У Блока с осени 1919-го развивалась сердечная болезнь, время от времени возникал жар, мучила одышка. Весной и летом 1920-го болезнь немного отпустила его, и это время стало для

Блока периодом его оживленной литературной и общественной работы. Превозмогая болезнь, он всякое дело, порученное ему, доводил до конца и никогда не опаздывал на деловые собрания. «Все, знавшие его, – вспоминает Всеволод Рождественский, два года работавший с ним в одних организациях, – знавшие нелегкие условия жизни Блока, радостно наблюдали в нем подъем сил и пробуждение горячего интереса к жизни. Было в Блоке, несмотря на усталость от пережитого, что-то вечно молодое. Прошлое не вызывало в нем тени сожаления. О революции он говорил охотнее, чем о чем-либо другом. Беседовать с Блоком было нелегко. Он, казалось, взвешивал каждое слова и обязывал к этому других».

Лариса Рейснер в очерке «О Петербурге» выразила свое отношение к Блоку и надежду на поэта: «Неужели же в пустыне духа, которую третий год проходит борющаяся новая Россия, неужели в мертвом кольце осады, среди страданий, поражений и побед великого народа не подымется голос поэзии, науки и искусства, чтобы благословить, чтобы увенчать эти жертвы, это одиночество в целом мире, эту геройскую обреченность? Неужели никто, кроме Ал. Блока, не даст революции своего чистого имени и вечного стиха?»

О близости А. Блока к народной душе Лариса Рейснер писала в 1915 году. В статье «Душа поэта» Блок еще в 1909 году был убежден: «Всегда должна оставаться надежда, что в самый нужный момент раздастся голос читателя, ободряющий или осуждающий. Это даже не слова, даже не голос, а как бы легкое дуновение души народной, не отдельных душ, а именно – коллективной души. А ведь эта народная санкция, это безмолвное оправдание может поведать только одно: „Ты много ошибался, ты много падал, но я слышу, что ты идешь в меру своих сил, что ты бескорыстен и, значит, – можешь стать больше себя“».

Мысль Рейснер о том, что у Петербурга «нет большего и опаснейшего врага, нежели А. Блок», не осталась одинокой. По словам Даниила Андреева, Петербург в стихах Блока просвечивает «туманно-лиловым астральным своим обликом, порожденным бесплодным хаосом страстей». В отличие от А. Блока О. Мандельштам видел у Петербурга небесного двойника:

На страшной высоте блуждающий огонь,
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
Твой брат, Петрополь, умирает…

Следующая запись в дневнике Блока (после 20 июля, когда

Городецкий пришел с Ларисой Михайловной домой к Блоку) от 2 августа: «Весь день с Л. М. Раскольниковой. Утром с ней в Малом театре, вечером – на вечере Гумилёва и у них». В примечаниях есть уточнение, что они были на репетиции «Короля Лира». Речь Блока перед актерами о «Короле Лире» как бы продолжает диалог с Ларисой Рейснер.

«Справедливы слова одного английского критика о том, что в трагедии „Король Лир“ Шекспира „всюду для читателя расставлены западни“. Здесь простейшим и всем понятным языком говорится о самом тайном, о чем и говорить страшно, о том, что доступно, в сущности, очень зрелым и уже много пережившим людям.

Все в этой трагедии темно и мрачно… Чем же она нас очищает? Она очищает нас именно этой горечью. Горечь облагораживает, горечь пробуждает в нас новое знание жизни. Во имя чего все это создано? Во имя того, чтобы открыть наши глаза на пропасти, которые есть в жизни, обойти которые не всегда зависит от нашей воли. Шекспир мужественно ставит точку, предлагая «смириться перед тяжкою годиной»».

Гумилёв о «Всемирной литературе»

О деятельности писателей в издательстве «Всемирная литература», основанном осенью 1918 года, кратко, но всеобъемлюще написал Н. Гумилёв в «Письме для зарубежной печати». Обстоятельства появления письма Гумилёва таковы: в парижских «Последних новостях» в ноябре 1920-го была опубликована статья Д. Мережковского, где деятельность «Всемирной литературы» была охарактеризована как «бесстыдная спекуляция». Член редколлегии «Всемирной литературы» А. Я. Левинсон вспоминает, что Гумилёв был оскорблен смертельно, он хотел отвечать в той же заграничной газете. Но если доказать всю чистоту писательского подвига, всю меру духовной независимости писателей от режима, не значило ли это обречь на гибель и дело, и этих самых писателей? Письмо Н. Гумилёв написал, но публиковать его редколлегия не решилась:

«В зарубежной прессе не раз появлялись выпады против издательства „Всемирная литература“ и лиц, работающих в нем. Определенных обвинений не приводилось, говорилось только о невежестве сотрудников и неблаговидной роли, которую они играют. Относительно первого, конечно, говорить не приходится. Люди, которые огулом называют невежественными несколько десятков профессоров, академиков и писателей, насчитывающих ряд томов, не заслуживают, чтобы с ними говорили. Второй вывод мог бы считаться серьезным, если бы не был основан на недоразумении.

«Всемирная литература» – издательство не политическое. Его ответственный перед властью руководитель Максим Горький добился в этом отношении полной свободы для своих сотрудников. Разумеется, в коллегии экспертов, ведающих идейной стороной издательства, есть люди самых разнообразных убеждений, и чистой случайностью надо признать факт, что в числе 16 человек, составляющих ее, нет ни одного члена Российской Коммунистической партии. Однако все они сходятся на убеждении, что в наше трудное и страшное время спасенье духовной культуры страны возможно только путем работы каждого в той области, которую он свободно выбрал себе прежде. Не по вине издательства эта работа его сотрудников протекает в условиях, которые трудно и представить себе нашим зарубежным товарищам. Мимо нее можно пройти в молчании, но гикать и улюлюкать над ней могут только люди, не сознающие, что они делают, или не уважающие самих себя».

В августе 1920 года Николаю Гумилёву пришлось отвечать

письмом на статью «Разложение интеллигенции» (Известия, 12 августа) своего бывшего соратника по акмеизму Сергея Городецкого, который обвинил своих коллег в том, что они саботируют, отлынивают от созидательной работы. «Литература и народ, – писал Гумилёв, – любовно тянутся друг к другу, только встреча их произойдет не на улице, пестрящей обрывками воззваний под выкрики митинговых ораторов, а в просторных светлых дворцах, превращенных в библиотеки, на зеленых лугах, возвращенных всем людям».

ДИСК

Вечер Николая Гумилёва, на котором были вместе с Александром Блоком Лариса Рейснер и Сергей Городецкий, состоялся в Доме искусств (ДИСКе) 2 августа 1920 года. Вспомним несколько редких фактов, которые связывают времена.

Владели участком от Морской улицы до набережной Мойки с тремя зданиями на нем с 1858 года братья Григорий и Степан Петровичи Елисеевы. Последний и жил в доме, который станет Домом искусств, со своей семьей, отдавая в аренду многочисленные помещения по Невскому проспекту и Морской улице. Потомки Степана Петровича вышли из «Торгового Дома Елисеевых» и организовали свои предприятия: страховое общество «Русский Ллойд» и два крупнейших частных банка, располагавшихся на первом этаже здания по набережной Мойки. На банковских бланках после революции написаны произведения многих обдисков (обитателей ДИСКа), в том числе «Алые паруса» А. Грина, «Мамай» Е. Замятина.

В 1862 году в доме Елисеевых было воссоздано Общество любителей шахматной игры, организованное за девять лет до этого графом Григорием Александровичем Кушелевым-Безбородко (1832–1870). Он был меценат, благотворитель, писатель, журналист, организатор и издатель журнала «Русское слово», талантливый шахматист, чья жизнь недостаточно еще оценена. Но одна книга о нем написана – «Идиот» Ф. Достоевского, где он является прототипом князя Мышкина.

Главными инициаторами создания клуба были литераторы. В донесении агента III Отделения сообщается: «Мысль об учреждении шахматного клуба принадлежала Герцену, от которого покойный Добролюбов получил ее во время своего путешествия за границу, и по приезде его эта мысль была осуществлена Григорием Александровичем Кушелевым-Безбородко. На вечерах этого клуба пропаганда революции велась всеми возможными способами».

Видимо, дух оппозиции был присущ гению этого места.

«В Доме искусств профессор Н. О. Лосский положил на стол часы, беспредметно улыбнулся и прочел лекцию о Боге как системе органического целого…» («Короткие рассказы» Ю. Тынянова). В прениях после доклада встал «идеологический агитатор, доктор Шапиро, у которого недоумение переходило в негодование: как же, ведь пришел слушать лекцию о Боге в системе „материалистического“ понимания» (Б. Н. Лосский).

Дом Елисеевых в конце XIX – начале XX века часто называли

«Домом благородного собрания». Это был артистический, литературный, музыкальный центр Петербурга. Отрадно сознавать, что благородный дух не исчез даже из кухни дома: «У нас в ДИСКе на кухне получают дешевые обеды, встречаясь галантно, бывший кн. Волконский и быв. княжна Урусова. На кухне около 15 человек прислуги – и ни одного вора! Поразительно. Это аристократия нашего простонародья. Но где найти 15 честных интеллигентных людей? Я еще не видел в эту эпоху ни одного» (Дневник К. Чуковского).

«Все этажи консерватории звучат, как разом играющие десятки музыкальных табакерок. Все пронизано музыкой, и даже не музыкант, попадая в консерваторию, переходит на какую-то новую удивительную волну, она захватывает его и несет. В Доме Искусств этой волной была поэзия» (М. Слонимский).

В 1921 году ДИСК не раз закрывали и открывали, пока окончательно не закрыли в 1923-м. Откроем его еще раз выдержками из протокола, который вел по просьбе К. Чуковского А. Блок.

«Открытие Дома искусств 19 ноября 1919 года.

Присутствовали: М. И. Бенкендорф (она же Будберг. – *Г. П.),* А. Н. Тихонов, М. В. Добужинский, Ю. П. Анненков, В. А. Щуко, В. И. Немирович-Данченко, А. А. Блок, К. И. Чуковский, А. Я. Левинсон, Ф. Д. Батюшков, А. Е. Кауфман, П. В. Сазонов, Н. С. Гумилёв, С. Тройницкий, Альб. Н. Бенуа, С. Ф. Ольденбург, Е. И. Замятин, В. Н. Аргутинский-Долгоруков.

2. А. Н. Тихонов читает о целях и задачах Дома Искусств.

3. Разносят настоящий чай, булки из ржаной муки, конфеты елисеевские. Н. С. Гумилёв съедает три булки сразу. Все пьют много чаю, кто успел выпить стакан, просит еще, и ему приносят.

6. Ю. П. Анненков ест безостановочно… 8. А. Е. Кауфман говорит о толках.

11. К. И. Чуковский опровергает слухи.

12. С. Ф. Ольденбург благодарит К. И. «Аплодисман».

13. А. Н. Тихонов предлагает избрать председателя, его товарища и секретаря, выдвигая А. М. Горького, М. В. Добужинского и Е. И. Замятина. Принято.

14. М. В. Добужинский отказывается.

15. Его просят не спрячиваться.

16. Бедный согласился.

Дело становится серьезным. Обязанности секретаря переходят к М. И. Бенкендорф.

Ал. Блок» (Чукоккала. М., 1979).

Чай с сахаром и булка были в то время необычными явлениями, поясняет Чуковский, Блок внес их в протокол, а

Анненков нарисовал их в Чукоккале. Добужинский сделал булку с фундаментом Дома искусств.

Двадцать первого июня и 5 июля 1920 года в ДИСКе состоялись два вечера Александра Блока, он читал стихи, его жена – поэму «Двенадцать». Оба прошли при переполненных залах с оглушительным успехом. «Но Блок печален и говорит: „Все же этого не было!“ – показывая на грудь» (Дневник К. Чуковского).

Из дневника Ады Ивановны Оношкович-Яцыной:

«2 августа 1920 г. В малиновой гостиной заняты все стулья и кресла и сидят на ковре. Два окна закрыты ставнями, а на фоне третьего колючий, сутулый, в лиловой куртке – Ремизов, он читает. И голос его звучит таинственно и уютно.

В большой столовой мы все «лозинята» сгруппировались в углу и углубились в маленький томик Леконт де Лиля. За столом: Чуковский, Пяст, Волынский, Гумилёв, Оцуп, Георгий Иванов, Полонская. А у окна в большом кресле – Лозинский читает свой перевод «Эринний»…

Затем в зале звонко взлетают отточенные рифмы. Это – Гумилёв».

Ада Ивановна называет Гумилёва Гум, отсюда прозвище «гумилята», как от Лозинского – «лозинята». А дети ДИСКа звали Гумилёва «Дядя изысканный жираф». На афише значилось:

ДИСК. 2 августа. Понедельник. Вечер Н. Гумилёва. Начало в 19 час.

1. Из африканских воспоминаний. Проза.
2. Дитя Аллаха.
3. Стихи.

Вечера Николая Гумилёва всегда имели успех. Это уже был третий его вечер в ДИСКе за этот год. Подошла ли Лариса Михайловна к Гумилёву на том вечере? Или, может, он подошел к Блоку и к ней? В декабре того же года Лариса жаловалась Мандельштаму (по его словам), что Гумилёв с ней не кланяется. Скорее всего, не подошел, потому что был с Ольгой Арбениной, очень ревнивой.

«Болдинская осень» Гумилёва

У Николая Гумилёва началась его «Болдинская осень». Даже затворничество на природе предоставила ему судьба – на правом берегу Невы, в «Первом доме Отдыха». В восьмом номере журнала «Вестник литературы» за 1920 год отмечено, что во время отдыха Гумилёв выступал на вечерах со стихами и воспоминаниями о своих африканских скитаниях. Одновременно Гумилёв немало писал. Он заканчивал следующие свои работы:

1. «Теория „интегральной поэтики“». Этот курс был читан в Институте живого слова, в студии Дома искусств и пр.

2. «Поэма Начала». Состоит из 18 песен, разделенных на шесть книг: 1) «Дракон»; 2) «Друиды»; 3) «Война»; 4) «Мятеж»; 5) «Огонь и вода»; 6) «Потоп». Действие происходит в Лемурии, предшественнице Атлантиды. Концепция автора выделяет последовательную смену четырех классов творцов (друидов, воинов, купцов и народа).

3. Переводы стихов Жана Мореаса, современного французского поэта.

Из дневника Ольги Арбениной: «Лето становилось засушливым. Гумилёв уезжал на правый берег Невы – дача Чернова, и я обещала его навестить. Приехала на пароме, он встретил меня, и мы пошли по дороге. На пригорке сидела целая куча ребят (не цыганята, а русские дети), они сказали хором Гумилёву: „Какая у вас невеста красивая!“ Он был очень доволен, а я смутилась».

Читала ли Лариса Михайловна последние, мудрые и глубокие, стихи зрелого Гумилёва? Наверное, они ходили в списках, что-то новое Гумилёв читал на вечерах. Что сказала бы Лариса Рейснер о «Поэме Начала»? Возможно, отметила бы, что муза его ведет все выше и дальше от земного, насущного ради «неоспоримого совершенства иного мира, чистой мысли и творчества», как думали многие ее современники. Понимала Гумилёва Ахматова: «Гумилёв поэт еще не прочитанный. Визионер и пророк».

Предоставим слово Николаю Гумилёву (его статья «Читатель» должна была стать вступлением к книге по теории поэзии; опубликована в Берлине в 1923-м): «Поэзия и религия – две стороны одной и той же монеты. И та и другая требуют от человека духовной работы. Но не во имя практической цели, как этика и эстетика, а во имя высшей, неизвестной им самим. От личности поэзия требует того же, что религия от коллектива. Во-первых, признания своей единственности и всемогущества, во-

вторых, усовершенствования своей природы. Поэт, понявший „трав неясный запах“, хочет, чтобы то же стал чувствовать и читатель. Ему надо, чтобы всем „была звездная книга ясна“ и „с ним говорила морская волна“».

Из беседы с лондонским журналистом К. Э. Бехгофером в 1917 году: «Поэзия мистическая… ныне переживает возрождение только в России, где она связана с религиозными идеями народа. В России по-прежнему велико ожидание Третьего Завета. Ветхий Завет – Бога-Отца, Новый Завет – Бога-Сына, Третий Завет – Бога-Духа Святого, Утешителя… и мистическая поэзия параллельна этому ожиданию». На вопрос, существует ли связь между поэтической драмой и мистической поэзией, Гумилёв ответил: «Мне кажется, что они ведут в разные стороны. Одна – о душе, другая – о Духе. Когда сегодняшний поэт чувствует ответственность за себя перед миром, он старается обратить свою мысль к поэтической драме как к высшему выражению человеческой страсти, чисто человеческой страсти. Но когда он задумывается о конечной судьбе человечества и о загробной жизни, он неизбежно обратится к мистической поэзии».

Первая песнь из книги «Дракон» опубликована в первом альманахе Цеха поэтов, вышедшем в 1921 году еще при жизни Гумилёва. Ахматова на своем экземпляре «Огненного столпа» написала: «Сравнить „Слово“ с „Драконом“».

В опубликованной первой песне «Поэмы Начала» жрец Лемурии Морадита спрашивает последнего умирающего дракона о тайнах мира. Наброски песни второй из книги «Дракон» опубликованы в сборнике ЦГАЛИ «Встречи с прошлым» (Вып. 7. М., 1990). Из ответа дракона приведем начало:

Мир когда-то был легок, пресен,
Бездыханен и недвижим,
И своих трагических песен
Не водило время над ним.
А уже в этой тьме суровой
Трепетала первая мысль,
И от мысли родилось слово,
Предводитель священных числ.
В слове скрытое материнство
Отыскало свои пути:
– Уничтожиться как единство
И как множество расцвести.
Ибо в мире блаженно-новом,
Как сверканье и как тепло,
Было между числом и словом

И не слово, и не число.
Светозарное, плотью стало
Звуком, запахом и лучом,
И живая жизнь захлестала
Золотым и буйным ключом.
Но распавшиеся частицы
Друг ко другу вновь повлекло,
И, как огненные зарницы,
Полыхнуло добро и зло…

В редакции «Всемирной литературы» Блок и Гумилёв много говорили друг с другом. Блок, ведомый мистической «Прекрасной Дамой», видел гибель Вселенной. Гумилёв, ведомый Музой Дальних Странствий, видел сквозь драконий ужас «Поэму Начала».

Вечер Ларисы Рейснер и Сергея Городецкого

Через день после вечера Гумилёва, 4 августа, Блок вновь встретился с Ларисой и Сергеем Городецким. В Тенишевском зале. Рейснер и Городецкого приняли в недавно организованный Союз поэтов. Кстати, одно время его секретарем была Эмилия Петровна Колбасьева, закадычная подруга Екатерины Александровны Рейснер.

Перед выступлением новых членов Союза Александр Блок сказал:

«Сегодняшний вечер – первый вечер, устраиваемый только что организованным Союзом поэтов. Мы не хотим никого насиловать, слишком уважая индивидуальность отдельного творца, но, может быть, без насилия может образоваться у нас какое-то ядро, которое свяжет поэзию с жизнью хоть немного теснее, чем они были связаны до сих пор. Я говорю так потому, что великий вопрос о противоречии искусства и жизни существует искони, с тех пор как возникло искусство, – и ясно, что этот великий вопрос не может не возникнуть с новой остротой и силой в великую эпоху, подобную нашей…

Позвольте мне возвратиться к этому вечеру и сказать в заключение, что мы хотим верить, что не случайно как раз в тот момент, когда мы начали организацию Союза, возвратились в Петербург исконные петербуржцы – Сергей Городецкий и Лариса Рейснер и что мы имеем возможность начать свою открытую деятельность с их выступления. Мы их давно не слышали и не знаем еще, какие они теперь, но хотим верить, что они не бьются беспомощно на поверхности жизни, где столько пестрого, бестолкового, темного, а что они прислушиваются к самому сердцу жизни, где бьется – пусть трудное, но стихийное, великое и живое, то есть, что они связаны с жизнью; а современная русская жизнь есть революционная стихия… они дышат воздухом современности, этим разреженным воздухом, пахнущим морем и будущим; настоящим и дышать почти невозможно, можно дышать только этим будущим. И, может быть, если бы все мы с трепетом и верой в величие эпохи приникли ближе к сердцу этой бурной стихии, осуществилось бы то, о чем думать сейчас трудно, и стихи стали бы стихийней, и Союз наш стал бы не только профессиональным союзом, а союзом более реальным, глубоким и новым. Достижение этого зависит от всех нас и от тех товарищей, которые пожелают с нами работать».

Вскоре после 4 августа состоялся вечер Городецкого в здании городской думы на Невском проспекте. Со вступительным словом выступила Лариса Рейснер. Рассказал об этом в «Устных рассказах» по радио Николай Тихонов:

«Я удивился сочетанию этих имен. В июле 1914 года, когда была объявлена война, черносотенцы носили по городу портрет Николая II. И со всех сторон стремились к Дворцовой площади. На балкон вышел царь, и вся площадь встала на колени и пела „Боже, царя храни“. С. Городецкий написал стихотворение, где описал всю эту сцену, и напечатал его в журнале „Нива“. Это сразу отвратило от него всю интеллигенцию.

Народ на вечере был самый разный. Молодежь, студенты, молодые рабочие, женщины. Эти люди представляли зрелище восторженное, они все были обносившиеся, полуголодные, скромные. И вдруг перед ними появилась красотка. Первый раз в жизни я ее видел и она производила впечатление какого-то видения из другого мира. С первых же слов красотки начался полный разгром Городецкого.

После такого вступления участнику можно только возмутиться и протестовать… Городецкий подошел к ней, горячо поблагодарил за выступление и даже поцеловал почтительно ее руку…

В то время я дружил с блестящим моряком Сережей Колбасьевым. Оказалось, что мать Колбасьева и мать Ларисы подруги детства. Екатерина Александровна очень меня полюбила, и я пользовался в ее доме большим гостеприимством. Она и объяснила мне тот странный вечер… Лариса отказала Городецкому в своем выступлении, но Городецкий признался, что ее имя уже напечатано в афише, «потому что я был уверен, что вы согласитесь»».

Георгий Иванов, судя по воспоминаниям, был с Гумилёвым на этом вечере и привел слова Рейснер о Городецком: «Кто из нас бросит в него камень? У кого из нас руки не выпачканы… грязными чернилами „Речи“. Он заблуждался, – теперь он наш». Гумилёв сказал, пожимая плечами: «В самом деле, как в него бросишь камнем? Мы же эту его невменяемость поощряли, за нее, в сущности, и любили его. Ведь не за стихи же? Вот он и продолжает играть в пятнашки. Только, – прибавил он, – теперь я вижу – Бог с ней, с этой детскостью. Потерял я к ней вкус. Лучше уж жить с обыкновенными, не забавными, отвечающими за себя людьми».

Верхом на Острова

Самый частый ритм встреч Рейснер и Блока пришелся на август 1920 года: 29 июля – 2 августа – 4 августа – 11 августа – 13 августа – 15 августа – 27 августа, судя по дневниковым записям Блока. Л. Никулин вспоминал, что «петербуржцы много злословили по поводу прогулок верхом на вывезенных с фронта лошадях, – эти „светские“ прогулки Ларисы Рейснер и Блока в то время, когда люди терпели лишения, были неуместны». Кто-то из романистов, имя Никулин скрыл, уделил большое место «всаднику и всаднице – пара ехала шагом и вела долгие беседы». Одну фразу из бесед Никулин приводит: «И вдруг Блок сказал мягко, с грустной иронией – Вчера одна такая же, как вы, красивая и молодая, убеждала меня писать прямо противоположные стихи».

В первом издании воспоминаний (1922) М.А.Бекетова писала, что «А. А. охотно ездил верхом и вообще не без удовольствия проводил время с Ларисой Рейснер, так как она молодая, красивая и интересная женщина, но в партию завербовать ей, все-таки, не удалось».

Надежда Павлович, с которой в это же время был дружен Блок, вспоминала: «Лариса Рейснер была красавицей с точеным холодным лицом. Очень умна, очень обворожительна, дивно танцевала, напоминала женщин эпохи Возрождения. Одно время Блок встречался и катался с ней верхом, но, ценя ее ум и красоту, относился к ней с несколько опасливым интересом. В ней чувствовалось что-то неверное, ускользающее».

В «Записных книжках» Блока только один раз упоминается верховая прогулка: «11 *августа. О Вл. Соловьеве – речь* (готовилась для вечера памяти философа в Вольфиле. – *Г. П.*). – С Л. М. Рейснер на Стрелку верхом. Вечер у Рейснеров, – Чуковский».

На Стрелку Елагинского парка всадники ехали по любимой ими Большой Зелениной улице. Обитатели зеленинских домов входили в судьбу Ларисы Рейснер и после ее переезда. Оказалось, в доме 3 в 1905 году жил Колчак с женой, лечился от «полярного» ревматизма, приходил в себя после японской войны.

В доме 13 – доме Императорского человеколюбивого общества для бедных – с 1900 по 1919 год жил Юрий Анненков. Ему-то и признался Блок, что любит эту улицу, а Анненков в иллюстрациях к «Двенадцати» отразил силуэты домов именно этой части Петроградской стороны.

Трактир, где на обоях голубые кораблики, запечатленные

Блоком в лирической драме «Незнакомка», еще стоял, он исчезнет в 1940-е годы.

Подъехали к дому Рейснер. «Здесь мы начинали, я и мои двадцать лет», – возможно, повторит Лариса Михайловна свою фразу и о «Рудине» расскажет обязательно, потому что подарит Блоку все восемь номеров журнала. В дневнике 7 марта 1921 года Блок оставит записи о «Рудине»:

«В 1915–1916 гг. Рейснеры издавали в Спбурге (Санкт-Петербурге. – *Г.***77.)**журнальчик «Рудин», так называемый «пораженческий» в полном смысле, до тошноты плюющийся злобой и грязный, но острый. Мамаша писала под псевдонимами рассказы, пропахнувшие «меблирашками». Профессор («Барон») (М. А. Рейснер. – *Г. П.***)**писал всякие политические сатиры, Лариса – стихи и статейки. Злые карикатуры на Бальмонта (№ 1), Городецкого, Клюева, Ремизова и Есенина по поводу «Красы» Ясинского и «Биржевки» (№ 1), Ларисса (Л. Храповицкий) о грязи и порнографии Брюсова. Отвратительная по грязи карикатура на Струве (№ 3). Ругают Л. Андреева (после уже того, как он выгнал их из своего дома, как рассказывали они сами мне). Мамаша пишет «Из воспоминаний поруганного детства», папаша – статью «Дураки» (№ 4) – очень зло. Там же карикатура на С. Венгерова и на Горького. Прозрачная статья о Распутине под заглавием «Свинья» с рисунком (свинья на кровати среди голых женщин)… Карикатуры… На Бурцева и его «Былое» – там же. В № 6 – связанные внутренно статьи Лариссы (Л. Храповицкий) и Н. А. Нолле – «Цирк» и «Тапер». В том и другом – особенно злой taedium (отвращение. – Г. П.), ненавистничество особого рода… Статья Лариссы «Через Александра Блока к Северянину и Маяковскому», где обо мне сказано лестно: что я не был никогда революционером и реформатором, что я большой и незабываемый, мое влияние громадно, как влияние абстрактной идеи, что у меня – полутона, бледный цветок, завершение и пр. <…>

Журнальчик очень показателен для своего времени: разложившийся сам, он кричит так громко, как может, всем остальным о том, что и они разложились. Эта злоба и смрад меня тогда, сколько помню, касались мало, я совсем ушел в свою скорлупу. Да и журнальчик я увидал только прошлой осенью, в период краткого знакомства с Рейснерами».

Знала ли Лариса судьбу владельца дома, где жила их семья и мимо которого они с Блоком ехали? Герцог Николай Николаевич Лейхтенбергский, генерал, был одним из немногих в Генштабе, пытавшихся отговорить Николая II от отречения. В 1918-м герцог эмигрировал на юг Франции, занялся виноделием, прославил

вино «Богарне». В 1919 году коллекция картин и оружия Лейхтенбергских поступила в Эрмитаж. Его старший сын Николай воевал в армии Деникина, после войны в Мюнхене был директором Донского хора.

Дух есть музыка

Что общего было у Александра Блока с Ларисой Рейснер? Стихийность.

Два всадника, два романтика. Незадолго до «Двенадцати» в статье «Интеллигенция и революция» Блок дал еще одну формулу переживаемой эпохи: «"Мир и братство народов" – вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать. <…> Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать нежданного; верить не в „то, чего нет на свете“, а в то, что должно быть на свете…»

И Блок слушал фронтовые рассказы Рейснер. И она, конечно, разделяла его мысли о двух сторонах революции, изложенные в статье:

«Что же вы думали? Что революция – идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути? Что народ – паинька? Что сотни жуликов, провокаторов, черносотенцев, людей, любящих погреть руки, не постараются ухватить то, что плохо лежит? И, наконец, что так „бескровно“ и так „безболезненно“ и разрешится вековая распря между „черной“ и „белой“ костью…

Как аукнется, так и откликнется. Если считаете всех жуликами, то одни жулики к вам и придут. На глазах – сотни жуликов, а за глазами – миллионы людей, пока «непросвещенных», пока «темных»…

Надменное политиканство – великий грех. Чем дольше будет гордиться и ехидствовать интеллигенция, тем страшнее и кровавее может стать кругом».

Их диалог дает И. Оксенов:

«– Александр Александрович, – идите по своему пути до конца, сделайте еще один шаг, – если бы вы открыто заявили о том, что новая советская Россия вам близка и дорога.

А Блок отвечает:

– Партия – это власть, всякая партия тяготеет к власти, а власть мне – лично мне – противна, и я никогда не возьму ее в руки. Вот почему я не пойду в партию, хотя это не значит, что я – «вне политики». Быть вне политики, это, может быть, такой же грех против музыки мира, как и посягать на тайную свободу, которая необходима художнику. Я прошу вас – не будем больше говорить на эти темы. Мне трудно говорить о вещах, в которых я не все понимаю. А порою мне кажется, что я не понимаю в мире ничего».

В. Орлов в книге о Блоке приводит «верховую легенду». Будто бы лошадь у Александра Александровича споткнулась, но он успел выдернуть ноги из стремян, спрыгнуть и не упасть. «Вот настоящий мужчина», – восхищенно произнесла Лариса.

Через Крестовский мост в конце Большой Зелениной улицы всадники выехали на Крестовский остров. Голубая звезда явилась Поэту в драме «Незнакомка» именно на этом мосту. О чем они говорили, когда переехали мост? Возможно, о поэзии, музыке, революции, мысли о которых Блок выразил в своих статьях.

«Душа кровь притягивает. Бороться с ужасами может лишь дух. К чему загораживать душевностью пути к духовности? Прекрасное и без того трудно. А дух есть музыка».

«Что такое гармония? Гармония есть согласие мировых сил, порядок мировой жизни. Из хаоса рождается космос, стихия таит в себе семена культуры, из безначалия создается гармония».

«Что такое поэт? Он пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки, потому что он – сын гармонии. На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, – катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир… Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах. Ритм задерживается, чтобы потом „хлынуть“. Рост мира есть культура. Культура есть музыкальный ритм».

«О Врубеле рассказывали легенду, что художник переписывал голову Демона до 40 раз. И однажды кто-то увидел его за работой, когда на холсте была голова неслыханной красоты. Но он ее переписал вновь и испортил. Нам, художникам, это не важно… ибо важнее всего лишь факт, что творческая энергия была затрачена, молния сверкнула, гений родился…

Что такое «гений»?.. Налетает глухой ветер из тех миров, доносит обрывки шепотов и слов на незнакомом языке, мы же так и не слышим главного. Гениален, быть может, тот, кто сквозь ветер расслышал целую фразу, сложил слова и записал их; мы знаем не много таких записанных фраз, и смысл их приблизителен, однозначащ: и на горе Синае, и в светлице Пречистой Девы, и в мастерской великого художника раздаются слова: «Ищите Обетованную Землю». Кто расслышал – не может ослушаться, суждено ли ему умереть на рубеже, или увидеть на кресте распятого сына, или сгореть на костре собственного вдохновения…

В художнике открывается сердце пророка; одинокий во

вселенной, не понимаемый никем, он вызывает самого Демона, чтобы заклинать ночь ясностью его печальных очей, дивным светом лика, павлиньим блеском крыльев, – божественной скукой, наконец… Падший ангел и художник-заклинатель: страшно быть с ними, увидать небывалые миры и залечь в горах. Но только *оттуда* измеряются времена и сроки; иных средств, кроме искусства, мы пока не имеем…

Врубель – вестник; весть его о том, что в сине-лиловую мировую ночь вкраплено золото древнего вечера. Демон его и Демон Лермонтова – символы наших времен: ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет. Мы как падшие ангелы ясного вечера, должны заклинать ночь».

– В «Двенадцати» вы тоже заклинали ночь? – могла спросить Лариса Рейснер.

Александру Блоку постоянно задавали вопрос: почему в поэме впереди красногвардейцев идет Христос?

Блок, судя по дневниковым записям, своего отношения к явлению Христа в поэме не менял, хотя во время работы над «Двенадцатью» и мучился сомнениями.

Вот некоторые фрагменты из его «Записных книжек» («Книжка пятьдесят шестая. Январь – декабрь 1918»):

«8 января. Весь день – *«Двенадцать»».*

«28января. «ДВЕНАДЦАТЬ»…»

«29 января. Азия и Европа. Я понял Faust'a (Фауста. – *Г. П.*).Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь… *Сегодня я – гений».*

«18 февраля. …Дело не в том, «достойны ли они Его», а страшно то, что опять Он (Христос. – *Г.*77.)с ними, и другого пока нет; а надо Другого —? – Я как-то измучен…»

«13 июня. У меня Р. В. Иванов. Рассказал… что священник Введенской церкви Егоров говорил в проповеди после службы о «Нашем пути» и «Двенадцати» (Христос там, где его не ждут)».

О многом, наверное, говорили Александр Блок и Лариса Рейснер, но их встречи шли к концу.

Тринадцатого августа 1920 года Блок помечает в записной книжке (61-й): «Кончена речь о Вл. Соловьеве. – Президиум и общее собрание поэтов в Вольфиле. Л. Рейснер, автомобильная история. Поэты, круги в глазах».

«Автомобильную историю» описал Лев Никулин (Знамя. 1939. № 9. С. 166).

После вечера в Адмиралтействе у Рейснеров Блок и Никулин возвращались домой вдвоем в машине штаба Балтфлота. За рулем сидел военный моряк.

«– Чья это машина, – внезапно спросил всю дорогу

молчавший Блок, – мне кажется, я ее узнаю. На ней иногда мы приезжали в Следственную комиссию по делам царских сановников летом 1917-го. Большая синяя потрепанная машина. „Деллоне-Белльвиль“, – сказал Блок, – личная машина царя.

Не сказав более ни слова, он доехал до дома. Шофер-моряк подтвердил – правда, машина царя.

Этот разговор имел неожиданное продолжение. На спектакле в БДТ Блок подошел ко мне: «Я виноват перед вами, я сказал вам тогда о машине, о 'Деллоне-Белльвиль'. Потом я подумал о том, что вы уехали один в эту темную ночь в моторе, который принадлежал тому человеку. Не следовало вам об этом говорить»».

Еще одна помета Блока в записной книжке от 27 августа 1920-го: «Вечером заезжала Л. Рейснер с Е. Ф. Книпович по дороге на концерт».

И через месяц: *«28 сентября.* …Вечером мы с Любой и Рейснерами – в «Кривом зеркале», вечер Балтфлота».

Блок – Рильке – Гумилёв

Последняя запись Блока, где упоминается Лариса, от 18 января 1921 года: «Крещенский сочельник. Моховая: Л. Рейснер – Рильке и пр. (Ларисы так и не было…)».

Летом 1920 года Лариса Михайловна узнала о смерти немецкого поэта Р. Демеля и начала писать статью «Демель и Рильке до и после 1914». В коллекции библиофила М. С. Лессмана хранится книга Р. М. Рильке «Die Liebe der Magdaline» («Любовь Магдалины». Лейпциг, 1912). На книге надпись владельца: «Лариса Рейснер 1920». Исследователь творчества Рильке К. М. Азадовский считает, что поэзия Рильке в целом осталась Блоку малоизвестной: «Блок не расслышал совершенно особый, неповторимый голос своего германского собрата… О поэзии Рильке Блок должен был не раз слышать от Ларисы Рейснер. Есть основания думать, что Л. Рейснер обсуждала с Блоком отдельные аспекты своей работы».

Рильке, Блок, Гумилёв – космические поэты, приведенные в мир на рубеже глобальных перемен и на похожие пути. Они ищут за видимыми горизонтами будущее жизни, Земли, Вселенной, хотят «прикоснуться» к подлинному Богу, к изначальной истине, откровению о жизни. Они не только высокие, но великие поэты, считала Марина Цветаева.

«Блуждающий по России нищий и оборванный Христос молодого Рильке („Видение Христа“, 1897) и раскольничий „сжигающий“ Христос, которого искал Блок… имеют общий генезис, хотя внешне совершенно не похожи… Обоим свойственен культ иррационально-женственного начала. Не только Блок, но и Рильке пытались найти проявления этого начала в России» (К. Азадовский).

Имя Райнера Мария Рильке встречается в записях Блока один раз, 18 января 1921 года. Наверное, в планах «Всемирной литературы» стояло издание стихов Рильке в переводе Ларисы Рейснер.

Рильке знал стихи Блока. В Германии особенно популярны были «Двенадцать» и «Скифы». Эти произведения Рильке воспринимал как достоверные сведения о России: «В силу своего глубинного предназначения и призвания Россия – единственная страна, возложившая на себя всю бесконечность страданий, чтобы переродиться в них. Трудно сказать, какой она окажется, пережив их, но во всяком случае она будет иной, чем Запад, пытающийся обойти их стороной» (из письма Рильке Вальтеру). О смерти Блока Рильке узнал в июне 1922 года. «Очень жаль, – это

огромная потеря для России. Я слышал, что после Пушкина Блок один из лучших поэтов России».

Лариса Рейснер любила Блока, Гумилёва, Рильке, Орфея; так любила поэзию, что ощущала магическое действие поэтического слова. А поскольку она, по ее словам, «свои пристрастия ставила выше своих убеждений», то судьба подарила ей роман с Гумилёвым, краткую дружественность с Блоком. Рационализм ее убеждений в конце концов гасил искры взаимопонимания с ней. Но между Блоком и Гумилёвым со своей любовью к Рильке стоит именно Лариса Рейснер. Чтобы знаково проявить их общность, соединить их, хотя бы ради одного, общего для всех троих открытия, сделать которое могли только великие поэты: «Прекрасное – та часть ужасного, которую мы можем вместить в себя» (Р. М. Рильке).

Все трое призваны в мир почти одновременно, с шагом (сдвигом) лет рождения и смерти приблизительно в пять лет. Года рождения: декабрь 1875-го (Рильке) – ноябрь 1880-го (Блок) – апрель 1886-го (Гумилёв); года смерти: 1921-й (Блок, Гумилёв) – 1926-й (Рильке).

> В ветер вливайся! Влюбляйся в огонь вдохновенный,
> Рвущий из трепетных рук всё, что далось им на миг.
> Так созидающий дух, вечный строитель Вселенной,
> Любит в фигурах лишь ритм, – непрерываемый сдвиг.
>
> *Р. М. Рильке*

Лариса Рейснер, не ставшая поэтом, стала проводником связи между тремя великими поэтами. На мгновение. Но такие мгновения – неисчезающие.

Глава 27
«ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР?»

Каждая строка, каждая страница русской революции скреплена загорелой матросской рукой.

Лариса Рейснер

С Алексеем Михайловичем Ремизовым Ларису Михайловну познакомил, вероятно, Александр Блок. Сохранились два письма Ремизова к Ларисе, в одном из них – благодарность за «китайское кушанье» и признание: «Сочинять ничего не могу, а писать еще могу». В написании слов Ремизовым нет ни одной прямой линии, все буквы в завитушках, неповторяемых, фантастических. Сверхбарочный стиль.

Вечера Ремизова в разных местах в 1920 году были довольно часты. Его любили. Несколько сот человек от него получили Обезьяньи грамоты. Первая была нарисована в 1908-м, последняя в 1957 году, уже в Париже. В архиве Рейснер такая грамота сохранилась. От Обезвелволпала – Обезьяньей великой и вольной палаты, от царя обезьяньего Асыки Первого. Грамоты были со знаками разного достоинства. К примеру, П. Е. Щеголев был «старейший князь обезьяний», Ирина Одоевцева – оруженосец князя Гумилёва. Обезьяньи кавалеры: К. Петров-Водкин, А. Блок, Р. Иванов-Разумник. Е. Замятин – «епископ обезьянский Замутий». «Принятыми в члены Обезвелволпала считаются люди, свободные от косности в делах и помыслах, способные к творчеству, обладающие фантазией».

На афише вечера Ремизова в ДИСКе 19 июля 1920 года значилось: «"Жизнь не смертельная". Рассказы и Семидневцы (Русский Декамерон. Сны и сказки)».

Из манифеста Асыки: «Мы, милостью всевеликого самодержавного повелителя лесов и всея природы – верховный властитель всех обезьян и тех, кто к ним добровольно присоединился, презирая гнусное человечество, омрачившее свет мечты и слова, объявляем… что здесь в лесах и пустынях нет места гнусному человеческому лицемерию, что здесь вес и мера настоящие и их нельзя подделать и ложь всегда будет ложью, а лицемерие всегда будет лицемерием, чем бы они ни

прикрывались, а потому тем, кто обмакивает в чернильницу кончик хвоста или мизинец, если обезьян безхвост, надлежит помнить, что никакие ухищрения пузатых отравителей в своем рабьем присяде… не могут быть допустимы в ясно-откровенном и смелом обезьяньем царстве… Дан в дремучем лесу на левой тропе у сороковца и подмазан собственнохвостно».

Гумилёв рассказывал Одоевцевой о том, что у Ремизова «через всю комнату протянута веревка, как для сушки белья. „Они“ – то есть Кикимора и прочая нечисть – все пристроены на ней. А за письменным столом сидит Алексей Михайлович, подвязав длинный хвост».

Рядом с Ахматовой

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам..
Никому, никому не известное,
Но от века желанное нам.

А. Ахматова

Чертовщина противоречивых сведений о Ларисе Рейснер, как будто леший кружит в лесу, мешает выйти на встречу с ней в 1920 году. Насыщенность дней Ларисы ни понять, ни описать невозможно. От бесед с Блоком она могла пойти на матросские танцульки, где, переодетая в простую барышню, крыла матом, чтобы не раскрылся обман, если вдруг кто-то выскажет предположение, что видел ее в Адмиралтействе. Об этих танцульках рассказывал сопровождавший ее Всеволод Рождественский, переодетый матросом. Поэзия для нее – страсть, но и всевозможные танцы – тоже страсть.

Приехав в Петроград, Лариса узнала, что Николай Гумилёв женат на Анне Энгельгардт. Более того, с 1916 года (с некоторым перерывом) «женат» и на подруге Энгельгардт, актрисе Александрийского театра Ольге Арбениной. Увидев Ольгу в соседней ложе Мариинского театра, Лариса Михайловна послала ей коробку конфет. К ней, значит, не ревновала, называла ее «Моцартом». А на Гумилёва пойдет «жаловаться» к Ахматовой. Еще по приезде Рейснер пошлет Ахматовой мешок риса через Н. Павлович. Потом придет сама.

Павел Лукницкий, биограф Н. Гумилёва, с 1925 года записывал все разговоры с Анной Андреевной и другими людьми, которые касались Гумилёва или его близких знакомых. Каждое запомненное слово – драгоценно, но иногда слова столь отрывисты, что кажутся шифром, как азбука Морзе. Кроме того, Ахматова терпеть не могла сентиментальность, «большой сюсюк», как она называла лакированность событий, от этого ее рассказы часто кажутся противоречивыми, даже парадоксальными.

П. Лукницкий: «В августе (1920 года. – *Г. П.)* у Ахматовой было критическое положение. «Всемирная литература» совсем перестала кормить, Шилейко там ничего не получал. Его месячного жалованья хватало на полдня. Мешок риса от Рейснер разошелся почти весь по соседям, которые болели дизентерией. Себе, кажется, раза два сварила кашу.

Затем на три дня Нат. Рыкова увезла АА в Царское Село. Вернувшись, она получила от заведующего Русским музеем немного корешков с огорода, на один суп всего. Но варить суп было не на чем. АА пошла в Училище правоведения, где жил знакомый, у которого можно было сварить суп. Вернулась с кастрюлькой, завязанной салфеткой, и застала у себя Л. Рейснер – откормленную, в шелковых чулках, в пышной шляпе. Л. Рейснер пришла рассказывать о Николае Степановиче. Она была поражена увиденным, и этой кастрюлькой, и видом АА, и видом квартиры, и Шилейко, у которого был ишиас и который был в очень скверном состоянии. Ушла. А ночью, приблизительно в половине двенадцатого, пришла снова с корзиной всяких продуктов. А Шилейко она предложила устроить в больницу, и действительно, за ним приехал автомобиль, санитары, и его поместили в больницу.

…О Николае Степановиче Рейснер говорила с яростным ожесточением, непримиримо, враждебно, была – «как раненый зверь». Рассказала все о своих отношениях с ним, о своей любви, о гостинице и прочем».

«25.04.1928 года. АА: „Почему Лариса Михайловна в 20 году отзывалась о нем с ненавистью? Ведь она его любила крепкой любовью до этого. Не верно ли предположение о том, что эта ненависть ее возникла после того, как она узнала о романе Н. С. с А. Н. Энгельгардт в 1916 году параллельно его роману с ней? А не узнать она, конечно, не могла. Весьма вероятно, были и другие причины, которых я не знаю, но не эта ли была главной?“

…АА. тогда, в 21-м, не знала о Л. Р. ничего, что узнала теперь. Отнеслась к ней очень хорошо. Со стороны Л. Р. АА к себе видела только хорошее отношение. И ничего плохого Л. Р. ей не сделала…»

«9.01.1925 года. АА читает ему (М.Л.Лозинскому. – *Г. П.)* составленный сегодня список (тех, к кому нужно обратиться в Москве за воспоминаниями. – *Г. П.):* «Таким образом, я отвожу Нарбута и Ларису Рейснер. Вы согласны со мной?» М. Л.: "Нарбут? Нет, отчего? Я от Мандельштама слышал о нем, и то, что слышал – почтенно. Это очень странный человек – без руки, без ноги, но это искренний человек.

А вот Лариса Рейснер – это завиральный человек. Это Ноздрев в юбке. Она страшно врет и она глупая!" Засим М. Лозинский иллюстрирует лживость Л. Рейснер несколькими примерами».

Видимо, не дошло до Лозинского письмо Ларисы Михайловны, посланное ему весной 1920 года с фронта, где она просит простить ее, пытается объяснить ложь тоской на душе,

потому что ее «жизнь рушилась».

Запись Лукницкого от 12 января 1925 года по поводу дурных отзывов М. Лозинского о Ларисе Рейснер: «АА: „Меня удивило, как Лозинский прошлый раз говорил о Л. Рейснер…“ Я: „А вы знаете, какова она на самом деле?“ АА: „Нет, я ничего не знаю. Знаю, что она писала стихи совершенно безвкусные. Но она все-таки была настолько умна, что бросила писать их…“»

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой». Запись от 20 июля 1939 года:

«Я стала расспрашивать (Ахматову. – *Г. П.)* о Л. Рейснер – правда ли, что она была замечательная?

– Нет, о нет! Она была слабая, смутная. Однажды я пришла к ней в Адмиралтейство – она жила там, когда была замужем за Раскольниковым. Матрос с ружьем загородил мне дорогу. Я послала сказать ей. Она выбежала очень сконфуженная. Домой Лариса Михайловна отвезла меня на своей лошади. По дороге сказала: «Я отдала бы все, все, чтобы быть Ахматовой!» Глупые слова, правда?..»

П. Лукницкий весной побывал в Москве (запись от 14 мая 1925 года): «Мне удалось повидать всех, кого я имел в виду. Исключение – Лариса Рейснер, но ее сейчас нет в Москве».

В августе 1920 года председателю фабкома фабрики «Светоч» Корнилову пришло отношение: «Петербургский районный комитет Р. К. П. просит Вас предоставить тов. Пахомовой Екатерине (беспартийной) какую-либо работу на фабрике ввиду ее критического материального положения». Речь шла о матери Ларисы Михайловны. Почему Екатерина Александровна взяла себе девичью фамилию, неизвестно. Видимо, не так уж легко им жилось, как представлялось «общественному мнению».

Н. Гумилёв в голодное время поместил дочь Лену в Парголовский детский дом, где при своих детях работала Т. Б. Лозинская. Хотел и Лёву туда поместить вместе со своей матерью, но «АА это казалось непригодным для Лёвы, да и для Анны Ивановны – старой и не сумевшей бы обращаться с фабричными детьми. АА рассказала об этом Л. Рейснер. Лариса предложила отдать Лёву ей… АА, конечно, отказалась» (запись П. Лукницкого от 17 апреля 1925 года).

Под взглядом «Богоматери» Петрова-Водкина

Бурные события лета 1920-го помешали Ларисе Михайловне работать в литературно-художественной части политуправления Балтфлота, куда она была зачислена 31 июля, а уволена 10 сентября, как не приступившая «к исполнению своих обязанностей».

А Михаил Андреевич Рейснер активно выступал со своими лекциями. Например, 17 сентября в Кронштадте прошла его лекция о религии. О лекции в Доме ученых упоминает Г. Иванов («Петербургские зимы»): «Голос у профессора Рейснера был удивительно мягкий, „подкупающий“. Так же мягко, так же „душевно“, помню, звучал этот голос на каком-то официальном собрании в Доме ученых перед голодными и замороженными „дорогими коллегами“… профессор говорил о „святой науке“ и, попутно, о своих заслугах перед ней:

– Достаточно сказать, что в числе моих учеников есть трое ученых с европейскими именами, десять командиров Красной армии, четыре (особенно бархатная модуляция) председателя Чека».

Соединение сентиментальности и резкости, отзывчивости и театральности – в крови и отца, и дочери. От этого времени сохранилось письмо Ларисы к Михаилу Николаевичу Калинину, который прошел с Раскольниковыми весь фронт, одно время был флаг-секретарем командующего флотилией. Затем дружеские отношения резко прекратились, по какой причине, неизвестно, да и не важно. Интереснее другое: это письмо дает представление о Ларисе, какой она была, тем более что подобные письма в ее архиве мне больше не встречались:

«Дорогой Михаил Николаевич!

Сейчас получила Ваше письмо – и оно причинило мне острую боль и, кроме того, я ничего в нем не поняла.

Вы начинаете с того, что я Вас неверно поняла – то есть неверно истолковала Ваш приезд в Петроград, – как желание вернуться к Ф. Ф. и флоту. А между строк всего Вашего письма сквозит искреннее горе именно о том, что цель этой поездки не удалась и Ваше примирение с Федей не состоялось… Я не знала о том, что Ф. Ф. Вас не принял, но я не понимаю: я ему подробно рассказала наш с Вами разговор… Как мог Ф. Ф. на это все реагировать? Он понял, что и теперь, когда Вы, наконец, приехали к нам, Вы не желаете ни вполне признать Вашу

глубокую неправоту, ни исправить ее делом, словом, не делаете ни одного прямого, вполне откровенного шага к объяснению…

Буду прямее Вас, скажу прямо, – да, терять Вас и в служебном, и в моральном отношении нестерпимо – тяжело. И было и есть. И именно поэтому, любя Вас, ни я, ни Ф. Ф. не пойдет на сделку с совестью, разгадывая настоящий смысл Ваших слов, которые все время скрывают и прячут и Ваше, простое, явное горе и, быть может, раскаяние, и желание вернуть прежнее. Скажите прямо, честно, без обиняков, что Вы хотите, и не мучьте ни себя, ни нас – этими письмами, в которых каждая строка противоречит тому, что под ней скрывается. Я пишу эти, б. м., резкие строки с самым нежным братским чувством. Надеюсь, что Вы это почувствуете, и поймете именно так. Сентябрь 1920. Лариса Рейснер».

Через какое-то время дружба с Михаилом Калининым восстановилась.

К своим обязанностям в политотделе Балтфлота Лариса Михайловна не приступила еще и потому, что ее мучила не только малярия, но и давняя болезнь ног, которая вынудила пойти на операцию.

В Психоневрологическом институте преподавал профессор ортопедии Роман Романович Вреден. Преподавал он также в Военно-медицинской академии. Был директором и лечащим хирургом Института ортопедии и травматологии в Александровском парке. Этот институт (до начала 1990-х) находился в построенном для него Р. Ф. Мельцером в 1902–1905 годах здании в стиле модерн. На стене здания сохранилось майоликовое панно в сиреневой тональности – изображение Богоматери. Лик Богоматери с огромными глубокими глазами удивительно красив. Панно сделано по рисунку К. С. Петрова-Водкина, для него это была первая монументальная композиция. Открыл Петрова-Водкина Мельцер, познакомившийся с ним в Хвалынске летом 1895 года.

Первый в России Ортопедический институт – по масштабу работ, по оборудованию – был на тот момент первым в мире. Директор института Вреден обладал незаурядными способностями как врач, обаянием и пользовался любовью у многих пациентов.

Ларисе Михайловне повезло, что именно такой хирург делал ей операцию. 27 сентября Роман Романович прислал ей записку:

«Глубокоуважаемая Лариса Михайловна!

Приношу Вам глубокую благодарность за всё присланное и надеюсь, что Вы вскоре позабудете послеоперационные огорчения… Прошу передать мой сердечный привет родителям,

мужу и остаюсь всегда готовый к услугам».

От Елизаветы Николаевны Калининой, вероятно сестры Михаила Калинина, Ларисе Рейснер пришло письмо: «Очень рада за Вас, Вам ведь хотелось в Петроград… Сюда до меня доходили тревожные слухи о Вашем здоровье, но слава Богу все хорошо и не придется больше Ларочке приделывать больших бантов к туфлям…»

Встреча с Уэллсом

Недалеко от Ортопедического института, на Кронверкском проспекте, 23, с 1914 по 1921 год жил М. Горький. Лариса Михайловна не раз бывала у него. Виктор Шкловский вспоминал:

«Ход к Горькому был по черной лестнице. Потом двери в теплую кухню, за ней холодные комнаты. Столовая с переносной печью. Топили разломанными ящиками.

За столом сидит Горький. Во главе стола – Мария Федоровна, женщина уже не молодая, очень красивая. Перед ней чайник, самовар. Остальные люди меняются. Я тут бывал часто. Приходила Лариса Рейснер с восторженными рассказами. Она потом говорила, что Мария Федоровна в ответ на ее восторги накрывала ее, как чайник, теплым футляром».

В своей книге «Жили-были» Шкловский щедр на живые детали, и одна из них довольно ярко характеризует Ларису:

«Помню, как-то Маяковский пришел в „ Привал комедиантов“ с Лилей Брик. Она ушла с ним. Потом Маяковский вернулся, торопясь.

– Она забыла сумочку, – сказал он, отыскав маленькую черную сумочку на стуле. Через столик сидела Лариса Михайловна Рейснер, молодая, красивая. Она посмотрела на Маяковского печально.

– Вы вот нашли свою сумочку и будете теперь ее таскать за человеком всю жизнь.

– Я, Лариса Михайловна, – ответил поэт, – эту сумочку могу в зубах носить. В любви обиды нет».

В конце сентября 1920 года на квартире у Горького остановился приехавший из Англии Герберт Уэллс с двумя сыновьями (которые вскоре уже играли в футбол со сверстниками во дворе Тенишевского училища).

В ДИСКе 30 сентября в 17 часов в честь Уэллса был дан банкет. О нем написали многие его участники, в том числе и М. Слонимский: «Длинные столы в большом зале были накрыты чистыми скатертями Елисеева. На столах не только хлеб и колбаса, но даже палочка давно не виданного шоколада. Горело электричество, топилась печь. М. Горький и Уэллс сидели друг против друга. За столом большая группа журналистов из закрытых буржуазных газет. Одни из них, рассказывая о жизни, просили помощи, но намеками… „Мы лишены права говорить членораздельно“. Апогеем было выступление Амфитеатрова. По обилию сочиненных книг он был равен только Боборыкину… и был невероятных объемов сам».

Рассказ М. Лозинского о речи Амфитеатрова записала в дневник А. И. Оношкович-Яцына:

«Амфитеатров сказал чудную речь, которую Горький даже предпочел не переводить для Уэллса на английский, что-то вроде следующего:

«Вы попали в лапы доминирующей партии и не увидите настоящую жизнь, весь ужас нашего положения, а только бутафорию. Вот сейчас – мы сидим здесь с вами, едим съедобную пищу, все мы прилично одеты, но снимите наши пиджаки – и вы увидите грязное белье, в лучшем случае рваное или совсем истлевшее у большинства»… А сам Уэллс говорил о нашем дурном правительстве, что М. И. Бенкендорф дипломатично пропустила, переведя «более чем странный опыт» как «великий опыт»».

Лариса Михайловна была на банкете, о чем свидетельствует ее письмо к Герберту Уэллсу, оборванное на желании объяснить поведение Амфитеатрова:

«Глубокоуважаемый т. Уэллс! Заранее прошу извинить за это письмо, но Ваш приезд в Россию глубоко волнует многих из нас – есть что-то торжественное и победное в том, что Уэллс живет в наших полуразрушенных городах, видит наши развалины и муки и дух творчества, над ними пребывающий.

…И почему-то нам страшно, как подсудимым, которым Вы должны вынести от лица мужей Англии *оправдательный или обвинительный приговор.* Вы – Уэллс, Вы не должны, не можете ошибиться. Все мы твердо верим зоркости Ваших глаз, тонкости Вашего социального слуха – ведь это Вы под современной государственностью угадали схемы грозных утопий, предсказали великий упадок буржуазной общественности и под асфальтом лиц угадали глухую и беспощадную борьбу Морлоков и Эльфов, происходящую и сейчас в кромешном мраке подвалов и рабочих предместий. И все предсказанное Вами сбылось и сбывается. На молодое социалистическое человечество уже обрушились марсиане со своей блокадой, со своей технической силой… Выстроена, наконец, машина времени, поглощающая в огне революции десятилетия и века медленного исторического прозябания. Совершилось, наконец, самое чудное из чудес, о котором мы грезили детьми и плакали на рубеже возмужалости. – Спящий проснулся. К сожалению, Вы не увидите русских окраин, не увидите, вероятно, фронта гражданской войны и всего, что связано с этим героического и тяжелого, но печальнее всего то, что в обеих столицах Вы встречены были остатками русской интеллигенции, и что эта…»

Уэллс ответил книгой «Россия во мгле»:

«Мы пробыли в России 15 дней; большую часть из них в Петрограде, по которому мы бродили совершенно свободно и самостоятельно и где нам показали почти все, что мы хотели посмотреть. В этой непостижимой России, воюющей, холодной, голодной, испытывающей бесконечные лишения, осуществляется литературное начинание, немыслимое сейчас в богатой Англии и богатой Америке… В умирающей с голоду России сотни людей работают над переводами; книги, переведенные ими, печатаются и смогут дать новой России такое знакомство с мировой литературой, какое недоступно ни одному другому народу».

Рейснер и Гумилёв в Союзе поэтов

Только тогда и там, в Петербурге, чувствовалась эта горячая, живая связь слушателей с поэтами, эта любовь, овации, бесконечные вызовы. Поэтов охватывало ощущение счастья от благодарного восхищения слушателей.

И. Одоевцева

Объединяло людей искусство. В Союз поэтов принимали по качеству стихов, иногда в порядке аванса на будущее, но независимо от политических убеждений. Однако существовала конфронтация литературных пристрастий. Поэты разделились на два лагеря, одни поддерживали Блока, другие – Гумилёва.

Третьего сентября 1920 года Союз поэтов обрел собственное помещение: Литейный, дом 30 (дом Мурузи), квартира 7.

Оказывается, были заседания, на которых присутствовала Лариса Михайловна. Николай Степанович, естественно, бывал здесь постоянно. Свидетельствует Елизавета Полонская, поэтесса, единственная «сестра» «Серапионовых братьев»:

«Рождественский сообщил мне, что я принята в Союз Поэтов кандидатом и что меня приглашают на следующее собрание, где я, как принято, должна прочитать стихи… Помню холодную полутемную столовую, где вокруг обеденного стола сидели поэты. Было темновато, и я не видела, кто сидит во главе стола – по-видимому, там были Блок и Сологуб. Какая-то женщина принесла поднос со стаканами чая без блюдечек, около каждого стакана лежало по две монпансьешки. Я спросила шепотом у Бермана, откуда чай. Он также шепотом ответил: „От советской власти“. После чаепития Сологуб, Блок и Кузмин ушли. Председательствовать остался Гумилёв, – я узнала его резкий и насмешливый голос. Когда очередь дошла до меня, он предложил мне прочесть новое стихотворение. Не задумываясь, я прочла только что написанное, – довольно наивное, но по тому времени, может быть, показавшееся многим кощунственным. Начиналось оно так:

Я не могу терпеть младенца Иисуса
С толпой его слепых, убогих и калек.

Прибежище старух, оплот ханжи и труса,
На плоском образе влачащего свой век.

Почти всем выступавшим поэтам аплодировали, даже самым слабым. Но когда я прочла эти стихи, наступило грозное молчание. Я почувствовала, что все находившиеся в комнате возмущены и шокированы. Мой сосед, который привел меня сюда, под каким-то предлогом поторопился выйти в переднюю. Гумилёв встал и демонстративно вышел. Вдруг с противоположного конца стола встала какая-то очень красивая молодая женщина, размашистым шагом подошла ко мне, по-мужски подав и тряхнув мне руку, сказала: «Я вас понимаю, товарищ. Стихи очень хорошие». Я вышла вслед за нею и увидела, что на улице ее ждала машина. Это была Лариса Рейснер…»

Елизавета Полонская к тому времени была уже сложившимся человек, ей исполнилось 30 лет. До революции за сочувствие революционерам ее выслали в эмиграцию, и в 1910-х годах она окончила медицинский факультет в Сорбонне. В ее воспоминаниях «Начало двадцатых годов» можно встретить и яркие бытовые подробности того времени, и малоизвестные события.

Так, она рассказала о дуэли между Виктором Шкловским и молодым нэпманом, который ухаживал за одной из поклонниц Шкловского. Он читал в ДИСКе и во «Всемирной литературе» теорию прозы. «Нэпманов презирали, но они оказались необходимыми – их пришлось впустить в свое общество. Впрочем, они вышли из него же».

Дуэль, на которой Елизавета Полонская присутствовала как врач, происходила на Черной речке рано утром. Обошлось небольшим ранением нэпмана. Поклонница Шкловского, восхищенная смелостью нэпмана, вышла за него замуж. Похоже, во все времена Черная речка привлекала дуэлянтов.

Мазурка с командармом

Но часто бывать в Союзе поэтов, где она могла видеться с Гумилёвым, у Рейснер не было ни времени, ни сил из-за бешеного темпа работы в политотделе. Пришлось писать пьесы на злобу дня для спектаклей.

Восьмого ноября 1920 года открылся театр «Вольная комедия» (ныне Театр миниатюр). Он был в ведении Комиссариата театров и зрелищ и политуправления Балтфлота. Театр открылся антирелигиозной пьесой М. А. Рейснера «Небесная механика» и его же «Вселенской биржей». Пьесы писали А. Луначарский, позже Ф. Раскольников, Л. Никулин, М. Левберг и многие другие. Лев Никулин вспоминает, что действие пьесы Ларисы Рейснер происходило в городе, который должны оставить красные: «Очень остро и смело был написан диалог между героиней, женой коммуниста, и ее родителями, которые уговаривали дочь остаться ждать белых, она же хотела следовать за мужем. Лариса Михайловна диктовала пьесу машинистке, даме „из бывших“, как тогда выражались. Дама покорно стучала на машинке, но лицо ее выражало явный протест против доводов, которые приводила жена коммуниста».

Лариса Михайловна и сама владела машинкой. Однажды, когда отключили электричество, ей пришлось почти в темноте печатать поручительство за арестованного моряка для Дзержинского при свете спичек. Письмо подействовало, моряка отпустили. «Ее чувство товарищества было достойно уважения» (Л. Никулин).

Двадцатого октября 1920 года в Риге был подписан мирный договор с Польшей. На переговорах присутствовала Лариса Рейснер. Накануне отъезда у нее начался жесточайший приступ тропической малярии, о чем рассказал Л. Никулин: «Я случайно оказался в ее комнате, когда она с температурой выше 40 градусов, похожая на восковую статую, почти без сознания лежала на диване. Она настолько не похожа была на прелестную молодую женщину, которую мы знали, что у каждого, кто ее видел, мелькнула мысль о смерти. Но смерть пришла только через пять с небольшим лет. На следующий день мы с изумлением увидели Ларису Михайловну, собирающуюся в дорогу. Она была еще очень слаба и бледна, но таков уж был несокрушимый дух этой женщины, сознание чувства долга литератора, журналиста, что она в тот же вечер уехала и была единственным представителем питерской прессы. Лариса Рейснер во всех деталях рисовала заседания конференции и, конечно, как

женщина не умолчала о том, какое произвела впечатление она, советская журналистка, в вечернем платье. „Мы с командармом нашим Егоровым – он был военным экспертом на конференции – прошлись в мазурке, и какой эффект! Их дамы побледнели от злости, особенно эти пани, графини“».

После поездки в «Известиях» появились очерки Л. Рейснер: 12 ноября – «Путевые заметки», 14 ноября – «26 октября в Риге». Статью «Как отваливается пушистый хвост» про латышское учредительное собрание не напечатали по политическим соображениям, ради сохранения добрых отношений со страной, с которой только что были налажены дипломатические связи. То, что написано Ларисой Рейснер про «страну порядка, мира и законности», можно отнести и к сегодняшнему нашему миру с гримасами частного бизнеса.

«В Риге нет пролетариата. Всё остальное – мелкая буржуазия и интеллигенция, каторжным трудом подпирающая дутые ценности рынка и сомнительный авторитет спекулирующего правительства. Венец же плутократического мирка – густая, свежевыпавшая въедливая сыпь биржевиков, коммерсантов и просто крупных мошенников всякого рода. Эти и хозяйничают. Рига набита беглой интеллигенцией. Безработная. Обнищалая. Взбешенная приниженным и нищенским положением, – эта „соль земли русской“ – благодарный материал для всякого рода темных дельцов» («Путевые заметки»).

Сопровождал Ларису Михайловну в прогулках по Риге Андрей Федорович Ротштейн, журналист, историк, сын дипломата. Он родился и воспитывался в Англии, стал, как и его отец, английским коммунистом (в 1960-х годах будет вице-президентом Общества англо-советской дружбы). В 1920 году он впервые посетил Советскую Россию, в поезде Москва – Рига его познакомили с «известной писательницей».

«Я совсем не был готов, входя в купе, к красоте Ларисы Рейснер, от которой дух захватывало, – вспоминал А. Ф. Ротштейн, – и еще менее был подготовлен к чарующему каскаду ее веселой речи, полету ее мысли, прозрачной прелести ее литературного русского языка (какого я никогда не слышал прежде) и при всем этом – ее страстной преданности коммунизму.

Не прошло и нескольких минут, как она забросала меня вопросами о перспективах революции в Англии, о настроениях английских рабочих, об их мощном выступлении за два месяца до этого, когда повсюду создавались Советы, о том, что представляет собой Оксфорд и его студенты, что делает наша компартия. Новая война против Советской республики была приостановлена

угрозой всеобщей стачки.

Никогда еще вопросы эти не задавались мне человеком столь утонченной и изысканной культуры. Казалось, будто он принадлежит к совершенно иному миру. Читая сегодня ее очерки «Фронт», я возвращаюсь на мгновение в прошлое, к этому жесткому вагону по пути в Себеж; к столовой в рижской гостинице, где разместилась советская делегация, где мы встречались после дневных трудов Ларисы Михайловны; к долгим прогулкам по средневековым улицам Риги; к антрактам в рижских кино и Национальной Опере, где мы слушали «Пиковую даму» (по-латышски).

Она была лишь тремя годами старше меня, но и теперь, через 45 лет, мне трудно осознать, какая бездна революционного опыта была у нее в сравнении со мной. И в то же время всегда чувствовался в ней настоящий товарищ, нисколько не гордящийся своим опытом. И если я не влюбился в нее по уши, то не потому, что она не ослепляла меня своим блистательным умом, своей красотой и музыкой своего голоса, но только потому, что она казалась мне, молодому революционеру, истинным идеалом старшей сестры, – чей вкус при выборе шляп можно было критиковать во время хождения по магазинам, с кем можно было горячо спорить о манере себя вести и кому можно было пообещать прислать из Лондона подарок, о котором она попросила (ее любимые духи «Убиган-Роза Франции»), – и вместе с тем постоянно учиться у нее непоколебимой решимости, мужеству, сознательной преданности делу коммунизма… Она была довольна, когда я попросил ее написать статью из ее боевого опыта для нашего нового ежемесячника «Communist Review» «Героические моряки русской революции» (напечатана в первом номере, в мае 1921).

Я и сейчас еще чувствую ледяное сжатие в сердце, как тогда, когда я сорок лет назад прочел о ее смерти.

Я буду до конца дней считать себя счастливым, что знал ее».

А. Ф. Ротштейн первым уехал из Риги. Лариса Михайловна осталась лечиться, пока телеграмма Раскольникова не вызвала, наконец, ее обратно. «Я устала до звона в ушах, до слез от этого города, чужого, живущего в прошлом веке, – пишет Лариса Михайловна в письме Ротштейну в день отъезда из Риги, – в каждой капельке нервов бродит своя творческая искра, требуя воплощения во времени. Пока прощайте, мой спорщик, и пусть хороший ветер и впредь свищет вокруг Вашей упрямой головы без шляпы. Интересно, где Вас настигло Огромное, совершившееся на юге России, и чьи руки Вы могли пожать в этот величайший день. С товарищеским приветом. Карточку мою и мужа вышлю из

Петрограда».

Пятнадцатого ноября 1920 года был завершен разгром белых войск в Крыму и взят Севастополь. Это «Огромное» стоило жизни трем миллионам человек. Плюс 50 тысяч в Финляндии в 1918 году, 1 миллион 110 тысяч – в балтийских странах в 1918-м, 600 тысяч – в Польше в 1920 году.

Красный террор унес: в 1917–1923 годах 160 тысяч академиков, профессоров, писателей, художников; 170 тысяч чиновников, офицеров, промышленников, 50 тысяч полицейских и жандармов, 340 тысяч представителей духовенства, 1 миллион 200 тысяч крестьян и рабочих. И это было только начало: террор 1928–1932 годов унес 2 миллиона; первый голод 1921–1922 годов – 6 миллионов; второй голод 1930–1933 годов – 7 миллионов; раскулачивание – 750 тысяч; репрессии 1933–1937 годов – 1 миллион 60 тысяч; «ежовщина» 1937–1938 годов – 625 тысяч, в том числе членов ВКП(б) – 340 тысяч, из рядов Красной армии – 30 тысяч. В предвоенные и послевоенные годы от репрессий погибли 2 миллиона 700 тысяч; умерли в лагерях 10 миллионов человек.

В очерке «25 октября в Риге» Лариса Рейснер пишет о наших военнопленных, томящихся в латышских тюрьмах уже год, о том, как в этот праздник к ним приезжал наш посол, с которым, видимо, была и Лариса Рейснер.

Бал-маскарад в ДИСКе

Мы пришли ее в наш круг не потому, что она занимает блестящее положение, а несмотря на то, что она его занимает.

О. Мандельштам

(в записи Е. Тагер)

В конце октября в свой Петрополь приехал Осип Мандельштам. Из дневниковой записи Блока от 22 октября 1920 года: *«Вечер в клубе поэтов на Литейной, 21 октября…* Верховодит Гумилёв – довольно интересно и искусно… Гвоздь вечера – И. Мандельштам (так у Блока, видимо, от Иосиф. – *Г. П.),* который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос».

По словам Всеволода Рождественского, Лариса Михайловна очень хотела привлечь О. Мандельштама, М. Кузмина и его, Рождественского, к работе на Балтийском флоте. И пригласила их к себе в Адмиралтейство.

Описания этих приемов у мемуаристов очень разные. Георгий Иванов в «Перебургских зимах» пишет:

«Пышные залы Адмиралтейства ярко освещены, жарко натоплены. От непривычки к такому теплу и блеску (1920 г., зима) гости неловко топчутся на сияющем паркете, неловко разбирают с разносимых щеголеватыми балтфлотцами подносов душистый чай и сандвичи с икрой.

Это Лариса Рейснер дает прием своим старым богемным знакомым. …Что ж, если забыть «особые обстоятельства», то прием как прием: кавалеры шаркают, дамы щебечут, хозяйка мило улыбается направо и налево.

Некоторых она берет под руку и ведет в небольшой темно-красный салон, где пьют уже не чай, а ликеры. Это для избранных. Удовольствие выпить рюмку бенедектина несколько отравляется необходимостью делать это в обществе мамаши Рейснер, папаши Рейснер и красивого нагловато-любезного молодого человека – «самого» Раскольникова».

Вс. Рождественский, О. Мандельштам, М. Кузмин пришли в гости «почитать стихи, выпить чашечку кофе». Рождественский вспоминал:

«Застенчивый, рассеянный и несколько близорукий М. А. Кузмин едва поспевал за нашим провожатым. Огромнейшая

комната. Посередине стол дубовый без скатерти. На столе картошка, вобла; в углу комнаты за машинкой секретарша. Перед дверью Ларисы робость и неловкость овладели нами, до того церемониально было доложено о нашем прибытии. Лариса была очень оживлена, смеялась, много рассказывала о своих военных впечатлениях.

– Я сегодня свободна, целый вечер свободна.

От кофе мы опьянели, и опять возвратилась юность, вернее, продолжалась… Разговор коснулся предстоящего бала-маскарада в Доме искусств.

– Я непременно буду, – сказала она. – Какой же мне выбрать костюм? Пусть каждый посоветует по старой дружбе.

И тут черт дернул меня за язык.

– А я вижу вас в платье с кринолином из балета «Карнавал». Помните белое, с голубым?

Вальсы Шумана и чудесные костюмы Бакста пронеслись в воображении Ларисы. Чуть дрогнули ее тонкие ноздри, а в зрачках пробежала зеленоватая искорка.

– Только, – добавил я притворно равнодушным голосом, – это платье слишком известно всему городу. Оно подлинная драгоценность. Лишь через начальственный труп Экскузовича можно добыть это платье».

Близилось Рождество. Где взять елку? Лариса Михайловна обратилась к начальнику Елагинского военно-морского училища. Курсанты уходили на каникулы с парковыми елочками. Начальник медленно прошелся вдоль выстроившихся курсантов, сказал что-то о рыцарстве, взглядом задержался на особенно прелестной, пышной, с высокой светло-зеленой макушкой елочке, и курсант подарил ее «Снегурочке». Рассказал об этом друг курсанта, тогда подросток, воспитывавшийся в детдоме, расположенном в особняке Кшесинской, ленинградский писатель Лев Рубинштейн в книге «На рассвете и на закате». Кстати, редкий был детдом, в нем жили воспитанницы Екатерининского института благородных девиц (раньше они жили в здании на Фонтанке, рядом с Шереметевским дворцом).

Льву Рубинштейну судьба посылала какие-то совершенно невероятные встречи в нестандартных обстоятельствах. Избитого мародерами маленького Лёву подобрали прохожие, мужчина принес его на руках домой. Вымыли, уложили на диван, женщина, несмотря на крайне голодные годы, напоила его каким-то подобием бульона. Ночью Лёва сбежал от них в свой детдом, не желая доставлять столько хлопот. Лицо и фигура мужчины запомнились. А женщина через десять лет узнала Лёву, когда он попал к ней в дом с товарищем. Оказалось, спасли его Александр

Блок и Любовь Дмитриевна. «Я взглянул на то место стены, у которого тогда лежал, где тогда висел портрет цыганки…»

История с елочкой имела продолжение. Когда Лариса появилась возле училища, приехав на извозчике, «"Ай да Снегурочка!" – сказал один из курсантов, и рот его сделался огурцом.

– Такую бы на елку пригласить!

– Не про вашу честь, – хлопнул его по плечу дружок.

– А интересно, кто она? Из бывших. Небогато одета, но вполне приятно. Наверное, кузина, или как там у них, бывших, говорят?..

Дня через два уже в самый день праздника у нас все же была елочка. Купили на рынке. В гости пришла какая-то женщина, я еще не знал об этом и как ни в чем не бывало отправился в кабинет моего опекуна. Вместе с Марией Михайловной и ее братом Сашей сидела та самая красивая дама и рассказывала о том, как по дороге с Елагиного острова милиция конфисковала подарок курсантов. Мы с Сашей переглянулись, и это было как общий вздох: нашу елочку!»

Тридцатого декабря 1920 года Лариса Михайловна вместе с Михаилом Кирилловым, который тоже работал в политотделе в Кронштадте, уехала в Москву (как и год назад, совпало). В Большом театре началась дискуссия о профсоюзах после закрытия 8-го Всероссийского съезда Советов. «Мы устроились удачно – в помещении оркестра, откуда все выступающие были великолепно видны. Слушали Троцкого, Бухарина, Зиновьева, Ленина. После выступления Владимира Ильича раздался шквал аплодисментов… Лариса Михайловна сказала: „Да-а-а, Лев Давыдович – блестящий оратор, но сегодня он потерпел одно из своих крупных поражений за свою жизнь!“» (из рукописи воспоминаний М. Кириллова).

Наконец состоялся бал в ДИСКе. Это произошло 14 (возможно, 15) января. Тогда, как и сейчас, отмечали еще и старый Новый год. К балу готовились, его ждали. Гражданская война окончилась, все устали предельно, требовалась разрядка. На балу ожидался «весь литературный и театральный Петроград» (Н. Тихонов). У директора государственных театров добились разрешения взять костюмы из Мариинской оперы. С помощью продовольственного отдела Петрокоммуны достали угощение. «Главтоп» обеспечил отопление всего дома. Елисеевский слуга Ефим привез на санках огромную корзину с нарядами из костюмерных мастерских, Экскузович отпустил то, что поплоше, пришлось переделывать, приводить в надлежащий вид. Из Ботанического сада и Таврической оранжереи раздобыли цветы, в

кладовых Елисеева нашли всевозможные драпировки, всюду, где только можно, разместили электрические лампочки. Художники представили целую галерею дружеских шаржей. Стена одной из гостиных была занята карикатурами на врагов Республики. И здесь, конечно, на известном плакате Дени красноармейский штык раздирал толстое пузо «Мирового капитала» в цилиндре и роговых очках.

Ада Оношкович-Яцына раздобыла настоящий японский костюм: «…две хризантемы на голове, лиловое кимоно, вышитое белыми цаплями и розовыми цикламенами, лиловые чулки и деревянные скамеечки вместо туфель». К ней подошел серый капуцин, подвязанный веревкой, – Михаил Лозинский.

Ирина Одоевцева была в длинном с глубоким вырезом золотисто-парчовом бальном платье матери. Она вспоминала в книге «На берегах Невы»:

«На голове вместо банта райская птица широко раскинула крылья. На руках лайковые перчатки до плеча, в руках веер из слоновой кости… Олечка Арбенина и Юрочка Юр-кун, пастушки и пастушок… Мандельштам почему-то решил, что появится немецким романтиком.

– Не понимаю, – говорил Гумилёв, пожимая плечами, – что это Златозуб суетится. Я просто надену мой фрак.

– Ты во фраке, ни дать, ни взять, – коронованная особа, – говорит Лозинский».

В маскарадной толпе мелькали гости деревенского ларинского бала из «Евгения Онегина», днепровские русалки, стрелецкие жены и дети из «Хованщины», офицеры игорного дома из «Пиковой дамы», севильские табачницы, угрюмые крестоносцы «Раймонды» и даже «мыши» из балета «Щелкунчик». В белом зале играл оркестр. В буфете раздавали желтоватое и алое мороженое – роскошь по тогдашним временам.

«Наконец грянул вальс… – вспоминал Вс. Рождественский. – Я стоял у стены. Высокий тугой воротник старинного офицерского мундира немилосердно резал мне шею. Круглые эполетики с двумя звездочками, как крылышки, приподнимались на плечах. Затянутый в рюмочку, с белыми перчатками в левой руке, я чувствовал себя по меньше мере поручиком Тенгинского полка. И вдруг прямо перед собой у входа я увидел только что появившуюся маску в пышно разлетавшемся бакстовском платье. Ее ослепительно точеные плечи, казалось, отражали все огни зала. Ореховые струящиеся локоны, перехваченные тонкой лиловой лентой, падали легко и свободно. Ясно и чуть дерзко светились глаза в узкой прорези бархатной полумаски. Перед неизвестной гостьей расступались, оглядывали ее с восхищением

и любопытством. Она же, задержавшись с минуту на пороге, шуршащим облаком сразу поплыла ко мне.

– Мы танцуем вальс, не правда ли? – прошептал надо мной знакомый голос, и узкая, действительно прекрасная рука легла на мое плечо… Колдовские волны «Голубого Дуная» приняли нас на свое широкое, неудержимо скользящее куда-то лоно.

– Ну, что? Не была ли я права?»

Это была Лариса Рейснер в том самом платье, на которое недавно намекал Всеволод Рождественский.

Вскоре Экскузович появился в зале, увидел «маску» в бакстовском платье, а она – его. Лариса мгновенно сбежала вниз, у входа ее ждала машина, через 15 минут платье было на месте.

«Мы бежим по длинному коридору, – продолжает Рождественский, – образованному бесконечным рядом висящих на распорках театральных костюмов и картонного реквизита.

– Наконец-то! – восклицает дежурная, маленькая старушка, принимая от нас скомканное в цветной клубок знаменитое платье.

– Вот видите, и часа не прошло! – говорит Лариса, торжествуя, и в неожиданном порыве обнимает ошеломленную костюмершу.

Когда мы вновь поднимаемся по витой лестнице елисеевского дома, первое, что нам бросается в глаза, – это Экскузович, висящий на телефоне.

– Как? Что? Не может быть! Вы говорите, оно на месте? Да я сам видел его здесь десять минут назад. Собственными глазами».

Во всех балетных энциклопедиях есть репродукция костюма Кьярины. Первый вариант Бакст создал в 1910-м, второй – в 1911 году для «Карнавала» Шумана в постановке М. Фокина.

Видел ли Ларису Михайловну в этом платье Николай Степанович?

В ДИСК Лариса Рейснер вернулась в другом платье, Одоевцева называет его платьем Нины из «Маскарада» Лермонтова.

На балу с Осипом Мандельштамом разговаривала Елена Тагер, по мужу Маслова. Она недавно вернулась с Волги, муж ее умер от тифа весной 1920 года в Сибири.

«Мы углубились в какие-то давние воспоминания, когда перед нами возникла блистательная Лариса Рейснер, – вспоминает она. – В живописном платье из тяжелого зеленого шелка, в широкой шляпе со страусовым пером, цветущая, соблазнительная и отлично это знающая, она стояла как воплощение жизненной удачи, вызывающего успеха, апломба.

Какой контраст с тем, что я видела в глубине России! Какой

невыносимый контраст! Мандельштам из-под густых ресниц рассматривал великолепную Ларису и внушительно говорил:

– Совсем еще недавно она была в нашем положении. И надо сознаться, она его переносила неплохо. А теперь…

– А теперь она блистает в вашем кругу…

– Мы приняли ее в наш круг не потому, что она занимает блестящее положение, а несмотря на то, что она его занимает».

Балы были еще и в Институте истории искусств, и в ДИСКе, но такого роскошного больше не было. Вместе с Одоевцевой Гумилёв бывал на балах, танцевать не любил – читал стихи:

Мир лишь луч от лика друга, всё иное – тень его!

Когда начался нэп, часть помещений Дома искусств была отдана под ресторан «Шквал». Какое-то время там было казино, пока ДИСК надолго не занял Институт марксизма-ленинизма. В 1989-м, когда в белом зале снимался бал для фильма «Ариадна» о Ларисе Рейснер и Николае Гумилёве, институт этот еще существовал. Все помещения сохранились в хорошем состоянии. Изменения коснулись лишь потолка зала – был другой плафон. По потолку барочного танцевального зала плавно плыл первый советский трактор. Одно время на скульптурах амурчиков по углам потолка появились нарисованные трусы. С 1990-х годов в доме Елисеева разместились казино, бизнес-клуб. История повторяется. Кстати, в период советской культуры в институте изучали философию, религию.

Жизнь страны и жизнь Ларисы Михайловны круто изменил Кронштадтский мятеж.

Кронштадтское восстание

Это восстание сделало необходимым и немедленным принятие новой экономической политики. Оно еще не было подавлено, когда на 10-м съезде РКП был поставлен вопрос о введении продналога вместо продразверстки. Налог был в два раза меньше изымаемого при «военном коммунизме».

Когда в конце 1920 года жить в разрухе, без работы, без хлеба стало совсем невмоготу, на правящую партию обрушилось недовольство. Толчком к созреванию восстания стала партийная дискуссия о профсоюзах, точнее, сама возможность какой-либо дискуссии и перехода к демократии.

Выдвигалось несколько платформ. Ленинская: профсоюзы – школа управления, хозяйствования, коммунизма. Троцкого: профсоюзы должны быть государственными. Шляпникова («рабочая оппозиция»): противопоставление профсоюзов государству, партии. О чем бы ни шла речь в дискуссии, она шла о руководящей роли партии в системе диктатуры пролетариата, о методах строительства социализма.

Между тем нормы хлеба снизились до *1* /8 фунта на иждивенца (50 граммов). 11 февраля закрылись 93 предприятия из-за отсутствия топлива и электроэнергии.

В январе 1921 года проходила первая конференция моряков, где открыто было высказано недовольство разными условиями жизни для руководящей партийной элиты и остальных моряков. В Ленинградском партийном архиве в «Деле Ф. Ф. Раскольникова» сохранилась телеграмма Раскольникова Троцкому, где он сообщает, что собрание моряков «фактически вотировало мне недоверие как комфлоту. Тов. Зиновьеву и Евдокимову стоило большого труда, чтобы удержать собрание от вынесения открытого порицания… Я вынужден просить ЦК об освобождении меня от исполняемых мною обязанностей. Интересы флота будут лучше ограждены, если во главе его будет поставлено лицо, пользующееся полным доверием масс и политической поддержкой Петербургского комитета».

Историки считают, что у Раскольникова был конфликт с Зиновьевым. Раскольников доложил в ЦК партии об угрожающих настроениях моряков в Кронштадте. Зиновьев и Евдокимов расценили этот доклад как клевету. В книге «Кронштадтский мятеж» (выпущенной Ленинградским институтом истории ВКП(б) в 1931 году) приведена следующая информация:

«Организовано в зале Морского Корпуса 19-го января общее собрание моряков-коммунистов, 3500 человек. За платформу

Троцкого голосовало 40–50 человек. Группа Троцкого была во главе с Раскольниковым… Раскольников помогает разложению флота путем введения неправильной политики: отпусков, вербовки личного состава и поведением своей личной жизни – прислуга, излишний комфорт лиц, окружающих его…»

В конце января Раскольников был в Москве на совещании делегатов-моряков 8-го съезда Советов. Совещанием он назначен в Комиссию по восстановлению морских сил республики. Из Москвы в поезде М. И. Калинина, как «троцкистский» оппонент он поехал на юг с дискуссионными митингами. С ним уехала и Лариса:

«Дорогие мои, ма, па, Тетля и Лоти, мои брошенные за две тысячи верст среди вражьего стана. Что с Вами, боюсь об этом думать. Но мне пришлось выбирать. Утром приехали в Москву – вечером – попали в поезд Калинина… С Федей случилась беда – в Харькове он слег, его легкие запылали, и я одна, в женском душном купе, оказалась прачкой, сиделкой и уборщицей. Ну, к счастью, вмешался Калинин, дали вина, особый стол, лекарства – кризис прошел. Счастье, что я была около. Врачи нашли острую угрозу легочной болезни и в течение 10 дней запретили митинговать. Что делать дальше?

Дискуссия практически закончена, проскакивать на съезд фуксом от какого-нибудь городка Федя не хочет, да и не сможет сейчас: он вдребезги болен и разбит. И вот нас озарило. Рядом в 200–300 верстах отсюда лежит рай земной – Сочи. В Новороссийске нас, как родных, встретили моряки, среди них масса каспийцев. Они добыли нам вагон, который потом доставит нас и в Москву; обещали в Сочи кормить – словом, сквозь серый пепел последних недель заулыбалось тропическое солнце. Федя лежит на койке белый и сухой, как травка, и его бедное лицо дает мне мужество не видеть Вас еще месяц и спасать малого в Сочи… Уже в Новороссийске на нас пахнуло счастьем, мы ездили смотреть в горах наши батареи, неслись над пропастью, где внизу лениво и бескрайне дышит море… И жизнь опять показалась нам нужной и прекрасной. Милые, милые, только бы Вас никто не обидел. Калинин будет Вам из Москвы звонить, он обещал все сделать, чтобы на наше гнездо до Фединого выздоровления никто не смел покушаться… Я надеюсь, что Гога с Вами и что мы его увидим на вокзале в день нашего возвращения…»

Рядом с Рейснер в сочинской гостинице жила жена военмора Ольга Константиновна Клименко. Она написала в 1960-х годах А. И. Наумовой (составителю сборника «Лариса Рейснер в воспоминаниях современников»):

«Вы, вероятно, уже знаете, что Л. М. очень любила свою

семью (мать, отца, брата). Всюду возила их за собой, и этот „семейный крендель“ доставлял Ф. Ф. часто много неприятностей, я слышала разные высказывания его по этому поводу. Они жили очень замкнуто, уклонялись от всяких публичных выступлений и общались с очень небольшим числом лиц…

Красивая, самонадеянная, остроумная, властная – такой запомнилась Лариса Рейснер мне. Эта ее властность несомненно подавляла личность Фед. Фед. В ее присутствии он становился молчаливо-серьезным… Из разговоров с редкими сослуживцами «по Волге», которые приходили к ним, можно было понять, что Фед. Фед. больше не вернется во флот, а перейдет на дипломатическую работу…

По вечерам мы часто собирались, иногда большой компанией, гуляли, любовались морем… Часто говорили о стихах Гумилёва… Я часто встречаюсь с женой Мих. Ник. Попова – он был с Раскольниковым на Волге, и с ее слов знаю, что Лар. Мих. очень заботилась и вникала в нужды и дела жен военспецов…»

В той же гостинице жил в то время командующий Черноморским флотом Александр Васильевич Немитц с женой (родной сестрой Врубеля). М. Кириллов, «постоянный секретарь» комфлота, часто бывал у Немитца дома в Москве, как в родной семье. С Немитцем отправится в плавание в июне, через четыре месяца, приглашенный им Н. Гумилёв.

Работник Сочинского райкома Ольга Нестеренко вспоминала:

«Они (Немитцы. – *Г. П.)* соседи Ларисы. У них общий балкон. Как люди умеют жить, – удивляюсь я. Они живут среди нас, в то же время их как будто нет – не видно и не слышно… большая бытовая культура. Как она облегчает жизнь людей. (Л. Рейснер ходила вместе с О. Нестеренко и ее коллегами в деревни для бесед с крестьянами, что было опасно: банды, скрывающиеся в лесах, охотились на коммунистов. – *Г. П.)* Лариса ведет себя превосходно – ей и море по колено. Решения принимает быстро, действует смело… Она необыкновенно душевно богатый человек. Это богатство выплескивается из нее и многое определяет в ее поведении… Душа у нее – кристалл чистый. Она еще молода, но будет большой писательницей, – сказал Михаил по прозвищу Батько, бывший рабочий, знаток театра, меломан, знавший Ларису по Казани в 1918 г.».

Журнал «Красноармеец» в февральских выпусках (№ 33–35) за 1921 год публикует «английскую» статью Л. Рейснер «Матросы в русской революции»: «Каждая строка, каждая страница русской революции скреплена загорелой матросской рукой». Это убеждение Ларисы Рейснер через несколько дней подтвердит

восставший Кронштадт.

В Петрограде 24 февраля забастовали некоторые заводы, на других предприятиях – волынка, саботаж. Крестьяне Тамбовской губернии, Поволжья, Сибири начали восставать еще раньше. Среди моряков больше всего – крестьян. Они знают о голоде в их семьях.

«Как же мы были поражены, когда узнали, что наши требования во многом совпадают с инициативами Ленина по поводу введения нэпа», – сказал один из выживших кронштадтцев.

Кронштадтские моряки решили прийти на помощь петроградским рабочим.

«К населению крепости и г. Кронштадта Товарищи и граждане!

Наша страна переживает тяжелый момент. Голод, холод, хозяйственная разруха держат нас в железных тисках вот уже три года. Коммунистическая партия оторвалась от масс и оказалась не в силах вывести ее из состояния общей разрухи. С теми волнениями, которые в последнее время происходили в Петрограде и Москве и которые достаточно ярко указывали на то, что партия потеряла доверие рабочих масс, она не считалась. Не считалась и с теми требованиями, которые предъявлялись рабочими. Она считает их происками контрреволюции. Она глубоко ошибается.

Эти волнения, эти требования – голос всего народа. Все рабочие, моряки и красноармейцы ясно в настоящий момент видят, что только общими усилиями, общей волей трудящихся можно дать стране хлеб, дрова и вывести республику из тупика. Эта воля всех трудящихся, красноармейцев и матросов определенно вылилась на гарнизонном митинге нашего города во вторник 1 марта. Единогласно была принята резолюция корабельных команд 1-й и 2-й бригад. В числе принятых решений – произвести немедленные перевыборы в Совет. Наша задача дружными и общими усилиями организовать в городе и крепости условия для правильных и справедливых выборов в новый Совет.

Итак, товарищи, к порядку, к спокойствию, к выдержке, к новому честному социалистическому строительству на благо всех трудящихся» (Известия Временного Революционного Комитета матросов, красноармейцев и рабочих г. Кронштадта 1, среда 3 марта 1921).

Из резолюции гарнизонного собрания города Кронштадта:

«1. Ввиду того, что настоящие Советы не выражают воли рабочих и крестьян, немедленно сделать перевыборы…

2. Свободу слова и печати для рабочих и крестьян,

анархистов и других социалистических партий.

3. Свободу собраний профессиональных союзов и крестьянских объединений.

4. Собрать беспартийную конференцию рабочих, красноармейцев и моряков г. Кронштадта и всей Петербургской губернии.

5. Освободить всех политических заключенных.

6. Выбрать комиссию для пересмотра дел заключенных в тюрьмах и концентрационных лагерях.

7. Упразднить всякие политотделы, так как ни одна партия не должна пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей.

8. Немедленно снять все заградительные отряды. Дать полную свободу действий крестьянам над землей так, как им желательно.

9. Уравнять паек для всех трудящихся за исключением вредных цехов.

10. Разрешить свободное кустарное производство своим трудом».

На собрании 1 марта по просьбе Кронштадта присутствовал М. И. Калинин.

Ленин в докладе на съезде «О замене разверстки натуральным налогом» признал свои ошибки: «… Мы слишком далеко зашли на пути национализации торговли и промышленности, по пути закрытия местного оборота… Нами было сделано много просто ошибочного и было бы величайшим преступлением здесь не видеть и не понимать этого, что мы меры не соблюли, не знали, как ее соблюсти». Если бы что-нибудь подобное сказал кронштадтцам на площади М. Калинин, а не повторял агитационные надоевшие фразы, возможно, кровопролития удалось бы избежать.

«Когда в Кронштадте отстраняли от дел комиссара отряда Смирнова, он заявил мне, что, признавая законность наших требований, боится, как бы из-за наших спин не выплыли враги революции… Мы тогда отпустили всех желающих через Цитадельные ворота на материк со всем оружием, что они имели», – вспоминал И. Ермолаев.

Кронштадтцы отпустили арестованных большевиков. Кронштадт надеялся, что его поддержит Петроград. Но Кронштадт, начавший «третью революцию» в дни, совпавшие с Февральской, Петроград не поддержал.

Поддержали анархисты, выпустив прокламацию: «Свобода не дается, она берется. Кому нужна братская кровь?»:

«Рабочие, военные, все трудящиеся Питера! Под Кронштадтом грохочут пушки. Обманутые властью крестьяне и

рабочие, одетые в солдатские шинели, расстреливают своих братьев матросов, не осознавая, что они расстреливают и свою свободу. Коммунистическая власть жестоко расправляется с кронштадтцами, напомнившими ей о давно забытой свободе.

…Всякая власть держится только обманом и кровью… Поддержите же и вы кронштадтцев, заставьте рабоче-крестьянскую власть прекратить обстрел свободных моряков. Рабочие, захватывайте склады оружия, вооружайтесь и отстаивайте свое право на свободный труд. Курсанты и красноармейцы! Ни один штык, ни одна пуля не должны быть направлены вами против братского Кронштадта.

Анархисты».

Кронштадтцы сопротивлялись наступающим частям, пока прикрывали всех уходящих из Кронштадта в Териоки в эмиграцию, до ночи 18 марта. В наступающих войсках была убита половина состава; восставшие всячески старались избежать кровопролития, процент погибших у них меньше.

Командующим Балтийским флотом 2 марта был назначен Кожанов, начальником штаба – Кугель. Оба соратники Раскольникова.

Бунтарский дух был присущ Кронштадту с начала его основания. Сказывался, с одной стороны, вольный ветер странствий по всему миру, с другой – давящая рабская дисциплина закрытой от всего мира островной казармы.

Три тысячи 400 кронштадтцев были расстреляны с марта по октябрь 1921 года. Летом 1921-го, в продолжение мартовских репрессий, в Петрограде и Кронштадте было арестовано 977 военных моряков, 783 офицера, 194 флотских чиновника. Среди них – начальник военно-морских учебных заведений С. В. Зарубаев, проходивший потом по делу так называемой «Петроградской боевой организации» и расстрелянный вместе с В. Таганцевым и Н. Гумилёвым. Балтийский флот в одночасье стал небоеспособным, весь его командный состав оказался в ЧК. Безошибочный приговор историческим событиям выносить приходится поэтам, своими судьбами.

В письме Н. А. Нолле-Коган Александр Блок писал 8 января 1921 года о будущем ее ребенке: «Пусть он будет человеком мира, а не войны, пусть он будет спокойно и медленно созидать истребленное семью годами ужаса. Если же это невозможно, если кровь все еще будет в нем кипеть, и бунтовать, и разрушать как во всех нас, грешных, – то пусть уж его терзает всегда и неотступно прежде всего совесть, пусть она хоть обезвреживает его ядовитые, страшные порывы, которыми богата современность наша и, м. б., будет богато и ближайшее будущее… Жалейте, жалейте своего

будущего ребенка: если он будет хороший, какой он будет мученик, – он будет расплачиваться за все, что мы наделали, за каждую минуту наших дней».

Глава 28
ЗВЕЗДА НЕЗАВИСИМОГО АФГАНИСТАНА

Нет ничего бессмысленнее дипломатического корпуса при старинном восточном дворе. Ничего бессмысленнее и экзотичнее.

Л. Рейснер

Двадцать седьмой день рождения Лариса Михайловна встретила в дороге, в Бухаре или Ташкенте. В садах оазиса: «Белые, розовые, мелово-желтые метели цветения. Начали самые молодые яблони – отгорели в душистом снегу быстро, на заре весны. Потом, совсем особо, не спеша, не смешиваясь с юными, – старые яблони, могучие шатры благословенного белого цвета, с такими широкими объятиями, что для них не хватало солнца и пчел. И, наконец, персики. Розовые одинокие деревца, которые выглядят искусственными – так много на их сухих коричневых ветках ярко-розовых пахучих цветов. Этим мы поклонимся, они – искусство среди всех обычных способов любить, благоухать, распускаться. Они – шедевр, символ простой, весенней религии, еще не познанной людьми. Они – сродни лотосу Индии и хризантеме Хокусаи».

Ссылка в Афганистан после Кронштадтского мятежа воспринималась как награда, как необходимая перемена жизни, тем более что Афганистан до 1919 года был закрыт для европейцев. Федор Раскольников демобилизовался и был назначен послом в Афганистан. На смену первому послу С. Я. Сурицу, с которым Раскольниковы подружились.

В феврале 1919 года эмиром Афганистана стал Аманулла-хан, который провозгласил независимость. Англия отвергла предложение Аманулла-хана об установлении англо-афганских отношений на основе равноправия сторон и развязала третью свою захватническую войну. Россия в марте 1919-го признала независимый Афганистан, и в том же году состоялся обмен посольствами. Первым секретарем первого полпредства был Игорь Михайлович Рейснер, несмотря на 20-летний возраст считавшийся знатоком Афганистана и Индии. После заключения между Россией и Афганистаном договора в феврале 1921 года и Англия признала независимость своей колонии.

Весь март, вернувшись из Сочи, Федор Раскольников набирал сотрудников из своих верных однополчан. К нему обращались моряки с просьбой «быть в его распоряжении». Лев Никулин нашел кинооператора Налетного, который согласился продолжить снимать хронику «изменившей курс флотилии». Писатель Николай Равич рассказывал, что поезд нового полпреда напоминал корабль Волжской военной флотилии, а дипломатический корпус называли военно-морской миссией. Выезжали двумя очередями в теплушках.

Надежда Яковлевна Мандельштам вспоминает, что они в это время выехали из Киева, потому что Осип Эмильевич хотел попасть в афганский поезд Раскольникова: «В Москве выяснилось, что на эту авантюру мы опоздали, и мать Ларисы Рейснер сказала, что Раскольников уперся и, несмотря на все настояние жены, ни за что не согласился взять „поэтишку“. Вместо Мандельштама он захватил Никулина… Мандельштам сказал, что судьба его хранит, чтобы он не путался в афганские интриги Раскольниковых, и принялся искать оказию на Кавказ».

Николай Гумилёв, узнав об афганском путешествии Ларисы, будто бы сказал, что, «если речь идет о завоевании Индии, мое сердце и шпага с ними». Говорили даже, что Гумилёв провожал Рейснер из Петрограда. Насколько достоверен этот слух, неизвестно. Поэты непредсказуемы. В Москве провожал поезд (это уж достоверно) Владимир Маяковский. В «Записках спутника» об этих двух проводах пишет Л. Никулин: «Провожали нас так, как… в рискованную разведку. Владимир Владимирович простился с благожелательным любопытством».

А Всеволод Рождественский рассказывал, что перед отъездом они гуляли с Ларисой по старой памяти на Островах. И грезили об Индии. Отъезд из Петрограда состоялся 1 и 4 апреля. Эшелон особого назначения состоял из двух мягких вагонов и шести теплушек. 3 июня 1921 прибыли в Кушку. Приехавших людей ждали вьючные и верховые афганские кони. Советские люди въезжали в страну, где за 14 месяцев никто из них не увидит местной женщины без чадры, где не было ни одной шоссейной дороги, не говоря уже о железных, где еще два года назад торговали рабами, где фанатики ислама бросались с ножами на европейцев.

По дороге, проложенной Тимуром и Александром

В четвертом номере журнала «Красная новь» за 1921 год был напечатан первый очерк Ларисы Рейснер «С пути». Она посвятила его Сурицу – первому полпреду в Афганистане, предшественнику Раскольникова.

От крепости Кушка, самого южного пункта России, до столицы Афганистана Кабула – 35 дней пути. Кратчайший путь в Индию через афганские города Герат и Кандагар намечен был Наполеоном Бонапартом. А до него – Александром Македонским (Искандером). Редкая страна в мире видела столько пришельцев, как Афганистан – стратегический перекресток на пути из Центральной Азии в Индию: мидийцы, персы, скифы, гунны, арабы, турки, монголы, македонцы…

«Дорога вьется по карнизу гор, внизу прямо под ней течет мирная река, раздвоенная, расчесанная на шелковые ручьи ею же нанесенной плодородной долиной. Этими голубыми бродами, этими плоскими, яркими, как шелк, пастбищами шел Александр» (из очерка Л. Рейснер «Бамиан»).

Тридцать пять дней, раскаленных от зноя, когда ночь «огромное счастье, награда за усталость, слабость и жажду… Из песка степей внезапно вырастают горы. Вокруг вековая тишина, горные склоны снизу кажутся совсем отвесными, и на одном из них, блестя повязкой из голубой эмали того действительно неизъяснимого цвета, какой разучились приготовлять современники, высится конусообразная башня – сторожевой пост Тамерлана» (глава «Башни Тимура» из книги «Афганистан»).

Рассказывая о пещерном городе в скалах Бамиана, Рейснер пытается понять, кто его выстроил: «Арийцы, распространившиеся отсюда в Индию, Персию и на Кавказ? Во всяком случае, это было могучее и высоко цивилизованное племя, боги которого оставались человечными, а искусство, перешедшее в человеческое жилье, покрыло темные стены неувядаемыми красками. И не только большие пещеры богов – маленькие жилые пещеры людей тоже сплошь покрыты живописью… все еще яркие и радостные образы людей с сиянием вокруг головы. Если люди, жившие здесь тысячелетия тому назад, походили на своих богов, то это было рослое, стройное, длинноголовое племя, с золотистым цветом лица, с продолговатыми глазами, мягким подбородком, – словом, тип которого Будда унаследовал вместе с грустной добротой, созерцательностью и мудростью… Здесь началась, прошла все

свои неизбежные фазы и потухла под ножом косоглазого монгола одна из древнейших культур».

Гиндукуш, горный хребет Афганистана, подарил Ларисе Рейснер прикосновение к истокам мироздания. «Лава, железо и коричневый мрамор висят зубчатыми глыбами над краями тенистых пропастей, вдоль которых солнце медленной золотой завесой опускается в неизмеримую глубину. Их непередаваемый беспорядок и великая стройность не изменялись со дня мироздания, они лежат здесь на краю мира, точно в никому не ведомой мастерской, приготовленные для постройки, для творческого акта, который не совершился. В минуту самого жгучего желания жить, когда горы громоздились друг на друга и среди ликований и каменного скрежета строилась новая вселенная, в пламени и кипящей крови металлов прошла охлаждающая смерть…»

«Где-то в глубине пластов лопнули гранитные жилы. Может быть, сердце, оживлявшее семью великанов, переполнилось огнем и лавой и разорвалось на каменные брызги. Все кругом – обрывы, скалы, пыль и щебень, – все пропитано пурпуром, все красно и розово, как предсмертная пена, и даже мазанки пастухов – из глины, смешанной с драгоценной металлической киноварью.

Из такой глины был вылеплен человек» («Афганистан»).

На этой, единственной тогда северной дороге Афганистана Лариса видела и античный виадук, и развалины «македонских крепостей». В оазисах эта земля напоминала ей «гористые луга северной Греции». На этой дороге она видела зарождение смерча от «легкой струйки тепла» до волчка из пыли, который «вращается все быстрее, и вдруг это уже пляшущий костер… обезумевшая наклоненная башня с дымными знаменами на воспаленной вершине… Серый колдун со связанными ногами несется в гору; дерево, растущее ежеминутно из огня в пустоту неба».

На четвертый день путешествия из Кушки добрались до Герата. Перед их появлением одна из восьми башен Тимура упала. Что это, дурное предзнаменование? Для города, для страны? И понеслись гонцы к наместнику провинции Герат, 90-летнему старцу, деду эмира Аммануллы, который мудр и знает все лучше «любого ученого муллы». Старец спросил: как упал минарет, поперек или вдоль дороги? На счастье новоиспеченных дипломатов, минарет упал вдоль, как бы указывая путь в Кабул. И потому пушечный салют приветствовал «азрет али сафир саиба» – посла дружественной страны. Через несколько месяцев сторонники «правоверного» порядка в Афганистане, оппозиция Аммануле-хану в правительстве, добились отключения

радиостанции для «дружественного» советского посольства, несмотря на то, что последнее подарило эту радиостанцию Афганистану и обучило афганских радистов.

Молодой эмир, едва взойдя на престол, приступил к реформам по преодолению феодальной отсталости, надеясь на поддержку Советского государства, своего северного соседа. С 1921 года стали строиться школы, больницы, заводы. В 1923-м было введено неограниченное право собственности на землю, принята первая конституция, создано Министерство народного просвещения. Еще в 1920 году была открыта крупнейшая публичная библиотека (60 тысяч томов). В 1922-м основан историко-этнографический музей и первый самодеятельный театр.

Аманула не был прямым наследником престола, его отец и брат умерли насильственной смертью при невыясненных обстоятельствах. «Обычное явление для мусульманских государств», – уточняет Л. Никулин. Судьба «афганского Петра I» закончилась по-восточному. В конце 1928 года победила оппозиция при поддержке Англии, эмир отрекся от престола. Бывший военный министр при нем Муххамед Надир овладел Кабулом и был провозглашен королем.

Году в 1926-м Аманула-хан приезжал в Москву с визитом. Узнал ли он о смерти Ларисы Рейснер? Говорили, что он был в нее влюблен.

Когда в октябре 1921-го советский консул в Герате подал протест по поводу изоляции консульства из-за отмены радио и почтовой связи, ему ответили: «Чужестранцы (не гости, не консульство, а чужестранцы) вызвали к себе злые чувства со стороны народа Герата. Вас надо охранять, потому что правоверные могут пролить кровь неверных… Большевики хуже неверных! Вы атеисты, язычники, у вас нет писаного закона. Пророк сказал, что кафирам, у которых есть писаные законы, христианам и евреям, можно даровать жизнь, если они примут ислам, но кафиров-язычников, не имеющих писаного закона, надо убивать как собак! В правительственной „Географии Афганистана“ сказано, что каждая пядь земли Кабула дороже, чем весь мир» (Л. Никулин). Слуга Али, видя утреннюю зарядку посла, «сафир саиба», считал ее молитвой и отворачивался в почтительном ужасе.

О народе этой «средневековой» страны писал в 1870-х русский путешественник П. И. Пашино в статьях, напечатанных во время очередного англо-афганского конфликта. Отвага, геройство, воинственность, но и добродушие, гостеприимство. В национальных чертах афганцев кругосветный путешественник,

знаток Центральной Азии усматривал сходство с русскими.

По Хезарийской дороге

Бааманэ худа (Поручаю Вас Богу).

Несчастья начались от Кушки, когда на бешеных коней без одеял и без подушек уселось множество людей.

Эти строки – из дневниковой поэмы Ларисы Рейснер. Из Герата в Кабул отправился караван из 100 человек и 150 лошадей, верблюдов, ослов. Растянулся он на полкилометра. В составе миссии было 32 человека. Восемь моряков составляли конвой миссии. Начальник каравана – Семен Михайлович Лепетенко. Он ездил вдоль каравана с самодельным русско-персидским словарем в руках, подтягивал отстающих и наводил порядок. Афганцы говорили на персидском языке. Лошади доставались разные. Тихого и флегматичного бухгалтера резвый конь, не приученный к медленному караванному шагу, носил по ущельям в стороне от каравана, вдали от бухгалтерского денежного ящика. В составе миссии было пять молодых женщин, из них две переводчицы, машинистка. Все они, кроме Ларисы Рейснер, ехали в тахтараване – носилках, прикрепленных на спинах двух, идущих гуськом лошадей.

Замыкал караван баран, которого везла в клетке вьючная лошадь. Вместо рогов у барана была костяная шапка. Наместник Герата подарил уникального барана эмиру Аманулу-хану. Двадцать слуг дрожали за здоровье этого барана: если с ним что-нибудь случится, они будут избиты до полусмерти. «Так по дороге, проложенной Тимуром и Александром и ставшей кровеносным сосудом, в котором смешалась ненависть двадцати завоеваний, шествует больной и капризный баран, и встречные пастухи и крестьяне… уступают ему дорогу. И когда они стоят, униженно и подозрительно озирая наш караван, отчетливо видны их профили македонских всадников с примесью персидской и еврейской податливости», – писала Л. Рейснер.

Ночью караван останавливался у рабатов – дорожных станций, представлявших собой квадрат глинобитных стен с нишами спален, в потолке которых была дыра для выхода дыма. «Странные люди – эти афганские слуги. Сами они лишены всяких потребностей, – им ничего не надо, кроме куска сурьмы, чтобы подвести глаза, хорошей лошади и ружья, из которого можно было бы всласть подстреливать иностранцев, попавших на большие дороги Афганистана. Так как мы „сафир-саибы“ (послы), то всякая работа, по местным понятиям, для нас унизительна,

кроме письма, конечно. И к моей рукописи солдаты-крестьяне питают такое же уважение, как к старым могилам, убранным обломками греческого мрамора и рогами горных коз, или тем неразгаданным глыбам, которые иногда срываются с горных карнизов и падают на дорогу, все в тонких рисунках и тонких письменах», – записывала впечатления Лариса.

Накормить сто человек и полтораста лошадей – становилось стихийным бедствием для окрестного населения, тем более что афганские начальники каравана пополняли свой бюджет за счет путевых расходов.

И вместе с тем многое поначалу вызывало у Ларисы восхищение:

«Падают крупные звезды, иные нисходят до темных ночных деревьев и в их дремучей листве теряются, как в распущенных волосах. Хорошо до сумасшествия!»

Семнадцатого июня 1921 года караван отправился из Герата в Кабул, куда прибыл 16 июля.

После шумных споров с начальником С. Лепетенко пять человек отвоевали себе право опережать караван на 2–3 километра, распевать песни, пренебрегая дорожными опасностями, афганскими разбойниками. В один из дней они стали «дьявольской свитой» – пять всадников во главе с Ларисой Михайловной.

Слово Льву Никулину: «Матрос Харитонов вынул из дорожного мешка гармонь, и мы с уханьем и свистом и песнями ехали рысью по благополучному месту дороги, и тут, среди гор и ущелий, в полутысяче километров от Индии, появился мулла. Он ехал на жирном и сытом жеребце, сытый и дородный, величественно сидел на подушке и, торопясь, перебирал четки. За ним ехал на осле тощий слуга и клевал носом в ослиные уши. Дальше шла запасная лошадь с палаткой и утварью; мулла возвращался из дальних странствий – может быть, из самой Мекки. И вдруг всадник и его конь окаменели, а слуга едва не упал под ноги ослу: прямо на них ехало существо, женщина в сапогах и мужских шароварах и шлеме со звездой и пела непонятные песни, и рядом гарцевали, ухали и свистели, и приплясывали, и орали песни невиданные люди. Джигитовал Зентик, и приплясывал в седле рыжий доктор, и гармошка выходила из себя. И это было в сердце Афганистана, в пятистах километрах от Кабула, в ста километрах от человеческого селения. Лариса Михайловна увидела сумасшедшие глаза муллы и зияющий, как пропасть, рот и оценила комизм положения. Мы проехали мимо муллы и его слуги, и когда оглянулись, то увидели их в том же положении – окаменевшими от изумления на

дороге. Они даже не повернулись и не посмотрели нам вслед. Для них не было сомнений: они увидели шайтанов и демонов. Через час они повстречались с караваном, и может быть, что-нибудь поняли, увидев подобных людей, но вернее всего мулла на всю жизнь поверил, что видел самого дьявола со свитой».

А вот индийский йог в соляной столб не превратился. Они встретили его, пересекая плоскогорье, 5 тысяч метров над уровнем моря. Сияние вечных снегов. Холод побеждал полуденный зной, и на закате солнца люди надевали афганские телогрейки на бараньем меху. В тот день они увидели голого, с одной повязкой на бедрах, горбоносого старика с «седой бородой библейского пророка. Он шел в отрогах Гималаев, не чувствуя полярного дыхания вечных снегов. Он шел в Мекку», – вспоминал Л. Никулин.

На дороге путешественников подстерегало множество опасностей. Сесть на землю нельзя – укусит скорпион, купаться в реке нельзя – заразишься тропической малярией, пить воду сырой нельзя – угрожает азиатская холера… Многие болели малярией, в том числе и Лев Никулин, описавший ее приступы: «Хуже всего то, что эта внезапная болезнь здравого смысла, воли и даже рассудка настигает человека в пути, в седле или в землянке рабата, когда надо продолжать путь без промедления. После странного поражения воли и разума (сначала странное безразличие и необъяснимая смертная тоска) наступают физические страдания. Пересыхают губы, лицо сводит в гримасу от горечи и свинцовая желтая тень ложится на лицо. Камни и люди и животные начинают вращаться вокруг, пробуешь сосчитать пульс – теряешь счет, и рука падает как налитая свинцом, и тело человека – как каменная глыба. Затем начинается бред. Тридцать девять и девять. А было почти сорок один. И тогда человек проклянет коварную природу субтропиков. Малярийные микробы приручаются и будут мирно жить в селезенке, почти не беспокоя человека, пока весной или бабьим летом припадок не свалит человека».

Врач миссии мог изучать три схожих вида малярии: кабулистанскую, энзелийскую – у Ларисы Михайловны и у Синицына и малярию пограничную из Чильдухтерана – ее на себе изучал сам доктор Дэрвиз.

В Кабуле 17 августа 1921 года азиатской холерой заболел матрос Зентик. «Пулеметчик Зентик был первым и в бою, и в русской пляске. Когда пришли прощаться к умирающему Зентику, Лариса Михайловна наклонилась над агонизирующим матросом, положила руку ему на лоб, доктор был против этого. Похоронили Зентика на горе за оградой мусульманского кладбища над

мечетью султана Бабэра. Лариса Михайловна сама чуть не умерла на Хезарийской дороге от пятидневного приступа малярии».

Горы Афганистана подарили творчеству Ларисы масштаб, уверенность, литую силу почерка, стиля.

В эмирской шапочке

«Взяв приступом последние перевалы – скалистые, цветущие самыми яркими разнообразными породами камней, – дорога наконец спустилась на дно Кабульской долины. Это – самый цветущий и оживленный край Афганистана. Не зная местного языка и не принадлежа к исламу, в такой замкнутой стране, как Афганистан, совершенно невозможно приблизиться к народным массам и тем более проникнуть в средневековую семью кабульца. Здесь женщина больше, чем в других восточных странах, отделена от жизни складками своей чадры, едва просвечивающей на глазах», – пишет Лариса Рейснер. Если случайно на дороге автомобиль или лошадь зацепят за ее чадру, то упавшую женщину прохожий отнесет на край дороги, и ему все равно, стонет ли она или в обмороке. «Это только женщина», – продолжает Лариса.

Территория, которую Лариса Михайловна может посещать, – женская половина эмирского двора и дома дружественных посольств. Ее личная территория – ежедневные верховые прогулки на любимом Кречете. Иногда не слезает с коня целыми днями. Главное – она может писать. Входит в форму, когда приходится писать отчеты, давать портреты всех послов. Пишет очерки: о празднике Независимости, об экзаменах в первой женской школе, о танцах кочевых племен, о первой в Афганистане фабрике, об армии, которая «воспитывается в глубочайшем религиозном фанатизме», об эмире.

«Эмир всегда неспокоен в присутствии англичан. Их белые шлемы, их непринужденные манеры, в которых чудится презрение господ, не стесняющих себя в присутствии людей низшей расы, – все злит Аманулу. У эмира Аманулы-хана огромный природный ум, воля и политический инстинкт. Несколько столетий тому назад он был бы халифом, мог бы разбить крестоносцев в Палестине, торговать с папами и Венецией, сжечь множество городов, построив на развалинах новые, с такими же мечетями и дворцами, опустошить Индию и Персию и умереть, водрузив полумесяц на колокольнях Гренады, Царьграда или одной из венецианских метрополий. Но в наши дни затиснутый со своей громадной волей между Англией и Россией, Аманула становится реформатором и обратился к преобразованию и мирному прогрессу. Само собой понятно, что мир этот нужен властелину как передышка, чтобы подготовить Афганистан к грядущей войне с добрыми соседями.

В маленьких восточных деспотиях все делается из-под палки.

При помощи этой же палки Аманула-хан решил сделать из своей бедной, отсталой, обуянной муллами и взяточниками страны настоящее современное государство. Нечто вроде маленькой Японии – железный милитаристический каркас со спрятанной в нем, под сетью телеграфных и телефонных проволок, первобытной, хищной душой…

К сожалению, отсутствие европейского образования помешало эмиру найти учителей для своей страны. Старые дворцовые дядьки, въедливые вредные муллы, мелкие чиновники министерства иностранных дел, особенно шустрые по части внешних заимствований, взялись уместить в черепах маленьких афганцев всю европейскую премудрость».

Кроме очерков Ларисе приходится писать много писем родным, друзьям, чтобы не сойти с ума от тоски за девять тысяч верст от России. Успевает писать автобиографический роман «Рудин», преобразует фронтовые очерки, добавляя новые фрагменты в книгу «Фронт». «Пишу как бешеная. Приеду и прославлюсь», – шутливо оправдывается она в письме родителям. И не ошибется.

В летней резиденции эмира в Пагмане Лариса Михайловна играла с эмиром в лаун-теннис, оба были очень азартными игроками. За ужином эмирша предложила ей свою тарелку, что по-кабульски большая честь. С эмиршей она каталась верхом. «Советская аристократка», как называла себя Рейснер, блистала на дипломатических встречах, в том числе организованных ею в своем посольстве. На зависть «амбассадорш» (жен послов) Аманула-хан подарил ей, лихой наезднице, кавалерийскую шапочку.

Сотрудник турецкого посольства Джемаль-паша, европейски образованный, прирожденный и увлекательный собеседник, встретил Ларису Михайловну так, как встречают красивую молодую женщину, с которой можно говорить о модах, развлечениях, и с первых слов понял, что именно об этом не надо говорить.

Однако таких интересных собеседников для Раскольниковых, как Джемаль-паша, было немного. Из итальянского посольства их другом стал Скарпа. Нередко советское посольство навещал персидский посол Этела-ол-Мольк. В записке Лариса Михайловна благодарит его за то, что он ей, больной «инфлюэнцией», прислал банку варенья.

В письме Александре Михайловне Коллонтай Лариса Рейснер дает лаконичное описание кабульской обстановки:

«Мое семейное и служебное начальство, он же Ф. Ф. заставляет меня снимать бесчисленные копии с моих „Записок из

Афганистана“ и посылать их по столь же бесчисленным адресам Коминтерна, „сотрудником-информатором“ которого я состою… Между тем единственный человек, который, может быть, прочтет эти заметки об афганской женщине, – и которому они могут быть интересны, – это Вы.

Мы живем под вечным бдительным надзором целой стаи шпионов. Не имеем никакой связи с афганским обществом и общественным мнением по той простой причине, что первое боится до смерти своего чисто феодального эмира и без особого разрешения от министра полиции или иностранных дел никуда в «гости» ходить не смеет; а второе – т. е. общественное мнение вообще не существует. Его с успехом заменяет мечеть, базар и полиция, снабженная соответствующей блямбой на околышке и дешевенькими велосипедами.

Что же остается мне для наблюдений? Nater morte и женская половина двора, куда меня допустили, приняв во внимание почтенные очертания моего носа и вообще – несоветские манеры. (Вот оно когда пригодилось, воспитание, данное родителями!)».

Л. Никулин вспоминал, с какой тоской на банкетах смотрели наши моряки на множество ножей, лежащих справа от прибора, и на три ложки разных размеров слева. Кстати, посольские виллы в летней резиденции Пагмане были построены в стиле европейской архитектуры.

Русское посольство располагалось на окраине города, в шести метрах от реки Кабул. На противоположной стороне реки – первая в Афганистане фабрика, ткацкая. Эмир заставлял своих министров ходить в груботканых, но своих одеждах. Лариса Михайловна знала всех работниц на фабрике. За метафорической роскошью ее стиля стоит глубокое изучение своих героев, изучение событий с исторической, политической точек зрения.

Зримое многоцветье мира – вечный источник ее вдохновения. Своему рижскому спутнику А. Ф. Ротштейну она пишет о будущей книге «Афганистан», которую составляет из очерков:

«Из них Вы узнаете все об этой библейской и феодальной стране, о ее гареме, о школах, судах, праздниках, фабриках, героях, взяточниках и попах. И еще многое другое, ибо Вам известны мои эстетические слабости, а потому возможно, что от этих страниц будет пахнуть не только крупной серой чистой политики, но и запахом цветущего миндаля, пестрыми ароматами базара и еще многим другим. Боюсь, что перевод моего импрессионистического языка довольно затруднителен. К сожалению, в остальных главах-статьях так много секретного, что я их не могу печатать ни в России, ни за границей до своего отъезда из Кабула.

Кроме того, Афганистан – великолепный варвар. Рядом с Персией и Индией – это парвеню – один из косоглазых и скуластых проводников, вся историческая роль которого состоит в том, что он вел под уздцы лошадь Великого Бабура от Хайберского прохода до предместий Кабула. Он сходил в долины из своих гор, когда смута, вырождение и борьба за жемчужину Индию ослабляла гнет иноземного Владыки, крепко лежавший на шее Афганистана. Сейчас это буфер между Россией и Англией, безмерно-хитрый, жадный и ширококостый Asiar, научившийся спекуляции и создавший себе более или менее прочный кредит на такой несложной вещи, как независимость.

На русско-английские взятки создается армия, школы, новая, более передовая, спаянная с эмиратом, администрация и все это под лозунгом: «Афганистан – величайшая держава Востока». И второе, на полученные от наших соседей деньги может при первом удобном случае откусить голову одному из них, а если поможет Аллах – то и обоим вместе. Конечно, Англию они ненавидят больше всего на свете, и боятся ее больше, чем нас – вот мы всеми возможными средствами поддерживаем этот святой огонь, превратились в весталок, днем и ночью подливая в него всякие горючие вещества.

К сожалению, лишь мельком и очень редко (договор, договор) видимся с индусами… Индия… скажу только, что бывают минуты, когда кажется, что рядом, совсем близко, вот за этой горной стеной, которую видно из моего окна – кого-то насилуют. Нам слышны предсмертные хрипы подавленных восстаний, на нашем дипломатическом небе ясно отражается зарево аграрных бунтов и шумные митинги забастовавших рабочих плантаций в Бомбее и Калькутте, забрасывают к нам в Кабул обрывки своих прокламаций, – но мы не смеем открыто ответить, броситься к ним на помощь… Ну, все, крепко жму Вашу руку, мой Федор тоже. Ваш искренний друг Лариса Раскольникова».

С прессой дела в советском посольстве обстояли плохо, она поступала скупо и с огромным опозданием. Английские и индийские газеты «Пайонир», «Сивиль энд Милитари» – через два дня, «Известия», «Правда» и письма из России – через месяц-полтора. Если в результате дипломатических интриг советское посольство не лишали радио, тогда телеграммы приходили через неделю.

Однажды в Кала-и-Фату Лариса Рейснер устроила необычно сервированный торжественный обед в честь нового министра иностранных дел Мухамед-вали-хана. Это он возглавлял в октябре 1919-го прибывшую в Москву афганскую миссию для ведения переговоров о заключении соглашения.

Лариса Михайловна заказала телеграфистам две модели радиостанций: одну – под советским флагом, другую – под афганским. Станции, сделанные с «артистической точностью», были установлены на столе, снабжены электрическими батареями. Под скатертью шли провода. «Во время обеда „передаются“ ругательные телеграммы сэру Гемфризу и приветственные эмиру. Эффект потрясающий, тем более что только утром наши телеграфисты в первый раз пошли на станцию работать», – писала Лариса.

Первое известие о России, когда наша миссия доехала до Кабула, было о голоде в Поволжье, о котором сообщили первыми индийские газеты. Официальные афганские газеты писали, что голод – бич Божий, покаравший большевиков. Индийские газеты не комментировали свою информацию, может быть, потому, что голод в Индии – постоянное явление. Сотрудники советского посольства закупили у афганцев хлеб, верблюдов, лошадей. И первый состав русской миссии, который прожил почти два года в Кабуле, возвратившись домой, привез эшелон хлеба голодающим.

Жалованье платили редко, частично оно шло на взносы для борьбы с голодом. Остальное – родным. «Насколько хватает 5 рупий?» – спрашивала Лариса в письме мать. И добавляла, что как только выйдет из долгов, хорошенько поможет Леви-Леви, ее названому брату, который учился в морском училище, Игорю, который учился в Академии Генерального штаба на отделении Востока, а также Мише Кириллову, ее сослуживцу по флоту, генмору, поступившему в студию Мейерхольда. И как всегда, она помогает многим людям рекомендательными письмами, московским гостеприимством, о чем просит родителей.

«Европейцы не меняют тембра своей листвы, внутреннего шелеста, переступая эти отдаленные границы, затерянные в песке. И особенно русские сохраняют психический запах, окраску, весь быт, ничего не принимая из червонного потока, которым солнце поливает все – крупицы пыли и мозговые клетки», – пишет Лариса родным.

Моряк Владимир Синицын играл на скрипке, молодые матросы из конвоя устраивали олимпийские игры во дворе посольства, возились на траве, бегали взапуски. Бывший боцман Ермошенко был комендантом, и должность ему не позволяла, к его сожалению, участвовать в играх. Кстати, афганцы почитали его, пишет Л. Никулин, одним из первых всадников в Афганистане – стране природных наездников. Когда было необходимо, Ермошенко в шесть дней, загнав в пути трех лошадей, доехал до Герата, в семь дней – до Кушки.

Михаил Калинин (с ним Лариса помирилась) и его брат

Борис, Владимир Синицын (бывший командир миноносца с консерваторским образованием) – помощник военного секретаря, Семен Лепетенко – советник полпреда, Вл. Кукель (бывший начальник штаба Волжской флотилии, Балтфлота) – второй секретарь полпреда, Харитонов, Астафьев продолжали и здесь адмиралтейские вечера. Участвовала в них «мисс Мэри», переводчица, давний друг Рейснеров. На некоторое время под абрикосовыми деревьями собирались «профессиональные собеседники», как их называла Лариса Михайловна, и начинались музыкальные, литературные вечера, вечера воспоминаний не только о недавней Балтике, но и о фронте.

Первая книга – «Фронт»

В жизни каждого поэта бывает минута, когда полусознанием, полуощущением (но безошибочным) он вдруг постигает в себе строй образов, мыслей, чувств, звуков, связанных так, как дотоле они не связывались ни в ком.

В. Ходасевич. Державин

Глава «Казань» выйдет в журнале «Пролетарская революция» (№ 12, 1922), а в 1924 году в издательстве «Красная новь» выйдет целиком книга «Фронт», ни на какие другие не похожая. С сильным голосом самостоятельно мыслящего писателя. В предисловии Лариса Рейснер пишет:

«Новую пролетарскую культуру, наше пышное Возрождение будут делать не солдаты и полководцы революции… а совсем новые, совсем молодые, которые сейчас, сидя в грязных, спертых аудиториях рабфаков, продают последние штаны и всей своей пролетарской кожей всасывают Маркса, Ильича… Это буйный, непримиримый народец материалистов… Скажите рабфакам „красота“, и они свищут, как будто их покрыли матом. От „творчества“ и „чувства“ – ломают стулья и уходят из залы. Правильно… Если нет для вас буржуазно-индивидуалистических любовей, порывов и вдохновений, то есть Бессмертие этих только что отпылавших, в тифозной и голодной горячке отбредивших лет…

Чтобы драться три года, чтобы с огнем пройти тысячи верст от Балтики до персидской границы, чтобы жрать хлеб с соломой, умирать, гнить и трястись в лихорадке на грязных койках, в нищих вошных госпиталях; чтобы победить, наконец, победить сильнейшего своего, в трое сильнейшего противника, при помощи расстрелянных пушек, аэропланов, которые каждый день валились и разбивались вдребезги из-за скверного бензина, и еще получая из тыла голые, голодные, злые письма… Надо было иметь порывы, – как вы думаете?»

Журнал «Красный флот» писал о только что вышедшем «Фронте» Ларисы Рейснер: «Еще никто так одухотворенно не описывал гражданской войны, так тонко не подмечал ее многообразной сущности, не развертывал столько граней этой эпопеи…» Для Вишневского (в 1928-м) эта книга была лучшей из

написанных о волжской кампании. Маршал Мерецков писал в своей книге «Моя юность» (1970), что, когда читал очерк «Казань» в журнале «Пролетарская революция», – «вспомнил казанскую эпопею, подивившись, насколько точно и живо описала события молодая женщина».

Через 50 лет книгу прочел В. Каверин, человек совсем иного способа мышления, нежели Вишневский. И Каверин понял необходимость Рейснер-писателя. «Если представить себе некий „знак историзма“ – его можно разглядеть на страницах этой книги. Это ощущение „надвременности“, которое неопровержимо доказывает историчность того, что совершается на глазах. Рейснер думает только об исторической правде. Так, без помощи рисунка, без технических терминов она описала процесс завязывания исторического узла. События гражданской войны показаны с точки зрения ненаписанного, нерассказанного будущего страны. Между читателем и книгой как бы стоит кристаллическая призма, которая медленно поворачивается на незримой оси» («Воспоминания и портреты», 1973).

Главку «Лето 1919 года» в рукописи Лариса Рейснер посвятила Льву Давидовичу Троцкому. Она пишет ему в это время: «Сегодня я хочу вспомнить очень давнее время, осень 18 года и Свияжск, погруженный в тревогу, осеннюю грязь… Дикие, хорошие недели… С того места, где я сейчас пишу, с нашего балкона, видно хребет Пагманских гор и на нем полосы нетающего снега. Около этих белых ледяных ручьев мы прожили целых 8 дней, в костистом ущелье, с семьей темно-зеленых ив, которые защищают от горного ветра небольшой дом. Эти 8 дней в горах, на высоте 11 тысяч футов (трех километров. – *Г. П.)* так необычайны, так не похожи на наши дипломатические будни, что я… Не могу себе представить, что на свете есть где-то трамвай, телефон, город, Ваш темноватый письменный стол, Золя под Коминтерном, и Вы сами – не торжественный Троцкий из парада, показанного нашим кино, не…» – далее обрыв письма.

Коробки кинолент привез из Афганистана кинооператор Налетный. «Под навесами из живых цветов я устроила сборище всего нашего кабульского дипкорпуса, которое Наль усердно крутил и прятал в безобразный ящик своего кино. Вы это, вероятно, увидите. Боюсь, не много ли я смеялась, но соседи потихоньку острили с серьезными лицами, и некому было, взглянувши сурово, сказать „Ляля, не раскрывай рот до ушей“, „Ляля, Упутьевна, воздержись!“» (из письма Ларисы родителям). В Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов сохранился киножурнал «Киноправда» 1922 года об Афганистане, где запечатлены Раскольников на

прогулке с эмиром и праздник Независимости.

Сергей Кремков, вечно влюбленный в Ларису, сообщал ей в письме, как они ходили в кинотеатр с Игорем, Эмилией Петровной Колбасьевой смотреть «кабульскую ленту».

Праздник Независимости

Обычно праздник проходил осенью, когда кочующие племена афганцев шли к границам Индии. Весной они возвращались на прохладные горные пастбища Афганистана.

Из книги «Афганистан» Ларисы Рейснер:

«Население афганских городов, в том числе и Кабула, почтительно расступается при проходе кочующих племен. Их боятся, ими дорожат, как суровой военной силой и… угрозой англичанам. Эти горцы, установившие для себя исключительное бытовое положение, едва ли не единственное на всем мусульманском Востоке, ревниво оберегают свои независимые границы, не только у себя дома, на Гималаях, но и в городах, на базарах, через которые они проходят. Там, где маленький народец без поддержки извне и без надежды на решительную победу в течение ста лет слишком защищал свою независимость против сильнейшего в мире завоевателя – Великобритании, не могло не сложиться наравне с оригинальным бытовым укладом и эпическое национальное искусство. Бедная событиями, прозябающая общественная жизнь оживляется в эти дни „тамашой“. Город наводнен пестрой толпой, в которой можно видеть представителей всех сословий…

Их позвали плясать перед трибуной эмира – человек сто мужчин и юношей, самых сильных и красивых людей границы. Из всех танцоров только один оказался физически слабым, – но зато это был музыкант, и какой музыкант!

В каждой клеточке его худого и нервного тела таится бог музыки – неистовый, мистический, жестокий. Дело не в барабане, который своей возбужденной дрожью зажигает воинственных кочевников к пляске, а в полузакрытых глазах, в нетрезвой страшной бледности лица, в напряжении всего тела, которое прикасается то к одному, то к другому ряду танцующих, как раскаленный смычок к струнам древнейшей скрипки.

Самый танец – душа племени. Он несется высокими скачками, как охотник за добычей. Он раскачивается из стороны в сторону, встряхивая головой в длинных черных волосах, колдует и опьяняется… Наконец, танец побеждает и любит с протянутыми вверх руками, радостно, на лету, как орлы в горах, как люди на старых греческих вазах. Таков танец, но еще богаче и смелее песня. Лучший певец, стоя в середине, поет стих, и барабанщик его сопровождает, точно гортанным смехом, тихой щекочущей дробью. «Англичане отняли у нас землю, но мы прогоним их и вернем свои дома и поля». Все племя повторяет рефрен, а

английский посол сидит на пышной трибуне, бледнеет и иронически аплодирует.

«Мы сотрем вас с лица земли, как корова слизывает траву, – вы нас никогда не победите». К счастью, не все европейцы похожи на проклятых ференги, – есть большевики, которые идут заодно с мусульманами».

Эти танцы Налетный, видимо, снял. Жаль, что ему не разрешалось снимать танцы в гареме, танцы Ларисы с эмиршей. «У нас все по-прежнему – вчера были опять на женском празднике – видели удивительных женщин, в роскошных бальных платьях, – они сидели на ковре и играли дикие и печальные вещи на старинных барабанчиках и фисгармонии и на бубнах – и были сами собой. Потом танцевали хороводом – я тоже к ним присоединилась – и танцуя рядом с эмиршей, живо выучила простые, ритмичные фигуры. Ну, они были в восторге. Пока все, мои единственные», – писала она домой.

Из другого письма родителям: «Начались танцы – женский хоровод. Конечно, я не удержалась, плясала со всем присущим мне увлечением. Величество все это наблюдал со вниманием… Пожалуйста, уговорите вернуться Синицына, я больше не выдержу и дня без музыки».

Синицын и другие моряки миссии тяжело переживали отрыв от родины, отсутствие живой, ясной работы, добивались разрешения на отъезд.

«Если бы ты знал, как вечерком в легкий снег – хочется взять тебя под руку и пойти на „Онегина“. Фонари сквозь снежную сетку. Скользко. Снится мне музыка чуть ли не каждый день», – обращается Лариса в письме к брату Игорю.

«Правительницы Афганистана»

Этот очерк о правительницах не вошел в книгу, поэтому приведем большой отрывок:

«Дамы двора – жена и возлюбленная эмира, жены его братьев, замужние сестры, жены виднейших министров и фаворитов составляют замкнутый кружок, тесно связанный политическими, любовными и родственными интригами… Здесь есть свои расслоения, если не по культурным стадиям, то по наследующими друг другу династическими поколениями.

Во главе старинного рода стоит мать Эмира Сераджуль, одна из тех властных женщин, которые из своего гаремного заточения вершили судьбами целой страны, возводя на престол своих ставленников, совершая дворцовые перевороты – все это бесшумно, не поднимая чадры, ведя серьезные политические беседы через непроницаемую занавеску. Как только свершилась революция в России, жена эмира, обладавшая лучшим политическим умом, настаивала на пересмотре антирусской и резко англофильской политики Афганистана. Эмир не сумел приспособиться к новым условиям, не пожелал изменить старой рутинной, унизительной для страны системы заигрывания с англо-индийской группировкой Foreiqn office и был сброшен с престола прогрессивной партией, во главе которой стояла его жена и сын, теперешний эмир Аманула-хан.

Рознь между старой и молодой эмиршей сказывается на каждом шагу, при каждой официальной встрече. Старуха вошла в историю страны… Она слабая женщина; три года тому назад писала Эмиру Бухарскому о задачах Ислама, призывала его к единению, к забвению личных дрязг во имя единства религии – это уже нечто для мемуар, для записок великой женщины.

Но молодая эмирша вернула женскую политику в область ревности и мелкого гаремного сыска. Стоит заговорить о прогулке, о красоте каких-нибудь окрестностей – она вас тотчас перебьет и точнейшим образом скажет, с кем и когда, и зачем вы были там-то и там-то. Старуху боятся, но она если и не пережила своего влияния, то близка к этому. Молодой Эмир тяготится всякой опекой. Его властолюбие совершенно равно материнскому, а кроме закона за ним молодость, сила, несомненный талант и предрассудок, который всякую женщину, пусть самую умную, все-таки считает чем-то вроде животного. Сераджуль теперь царит только в гареме… Мать Эмира одна, а молодых много – они и враждуют и поддерживают друг друга в своей политике привилегированного курятника».

Как-то Раскольниковым удалось узнать о готовящемся покушении на эмира:

«Итак, во время чая у эмирши я успела ее предупредить насчет возможного покушения на жизнь ее мужа… После прогулки эмирша пригласила меня на чай – каждую минуту ждали эмира. Но он приехал только через полтора часа, взволнованный, бледный, бешеный. Через всю комнату подошел ко мне, пожал руку и благодарил за сделанное накануне предупреждение. „Оказывается, я в куст, а в кусте – громадная английская птица. В городе объявили народу, что эмир убит, лавки закрылись, начали строить баррикады… Я должен был поехать в Кабул, чтобы показаться народу“.

… Что тут поднялось! Эмирша со слезами бросилась мне на шею, мы целовались, и я тоже уронила некую дипломатическую слезу на ее розовое персиковое плечо. Эмир часа полтора болтал со мною по-французски, я ему бранила англичан, и вообще была «большая политика»».

Но и сами Раскольниковы не избежали покушения. 3 мая 1922 года Лариса пишет родителям:

«Ну, милые, сегодня, вернее, вчера вечером нас могло уже не быть в живых – интересно, чувствовали ли вы какое-нибудь беспокойство. Я верхом приехала в Кабул за Федей часам к 4. Весенние сумерки наступают рано. В 4,5 выехали домой в Кала-и-Фату на автомобиле, на заднем сиденье я, Федя и Мэри, перед Федей – Жданов, перед Мэри – Наль. Слева от шофера афганский офицер. Вдруг около Чельсубуна, где мы летели полным ходом, впереди мелькает толстый медный кабель, протянутый поперек дороги на уровне 1,5 челов. роста. Прежде, чем успели предупредить шофера, машина карьером врезается в этот трос, настолько толстый и хорошо укрепленный, что он останавливает машину, продолжавшую работать на месте, сносит стекло, скашивает руль, как соломинку, цепляется за поднятый верх и, смяв его в кашу, спихивает авто боком в канаву. Через минуту вижу: Федя вскочил и стоит с лицом, залитым кровью. Тоже самое с Налетным, шофером и офицером. Я и Мэри невредимы. Конечно, если бы верх авто был спущен (как я хотела, когда мы садились, но Федя запротестовал), нам бы сбрило головы всем. Ведь летели со скоростью 50 верст в час. Феде железным краем исковеркованного верха рассекло лоб над правой бровью (что если бы на палец ниже?). Мой крохотный в постели; вся голова завязана, глаз опух и затек. Я отделалась сильным ударом в плечо.

Оказывается, к Чельсубуну вели осветительный кабель, работу не кончили и конец провода (толщиной в четыре пальца)

перебросили поперек шоссе к дворцовым воротам. Сейчас пост, люди до заката ходят очумелые от голода – похожи на пьяных. Словом, все условия для того, чтобы свихнуть себе шею.

Сейчас после крушения Феденьку и Н. провели наверх на террасу дворца. Не передать восторга жизни, охватившего всех нас. Федя своим единственным сияющим голубым глазом смотрел как сама любовь – и такое у него было ясное лицо под густыми струями крови. Мы и плакали и смеялись и вспоминали вас. Наши пульсы живые, дышащие послали вам радио: были близки к смерти – между прочим это вовсе не страшно умереть…

Такие минуты (как они похожи на фронт) делают человека лучше, сжигают все старое, открывают будущее. Это рок – судит и прощает. Мои милые, только бы скорее увидеться.

Сегодня выписан из Индии дивный мотор – ни с кем, кроме Астафьева, Федя ездить не будет. Довольно он рисковал из-за грошовой экономии».

Сохранилось одно письмо Ларисы мужу: «В три часа ночи после нескольких часов смутного страха, в глубокой тишине, при свете луны… по-зимнему спокойно два подземных удара. Дом стоит и трясется, как поезд на повороте на курьерской скорости, это самое страшное из всех страхов». Страха от покушений у Раскольниковых не было, от землетрясения – был.

Когда Англия вновь начала войну с племенами осенью 1922-го, Лариса Рейснер боялась за судьбу сотрудников посольства. Раскольников не сомневался, что происшедшее с тросом – покушение.

Опять «балтийские конференции»

Лариса уезжала в Кала-и-Фату, когда становилось невмоготу жить среди сплетен. Замкнутые в тесном мирке посольские женщины втягивались в фальшивый накал мелких страстей. И не только женщины.

Из писем Ларисы родителям:

«Какое счастье, что мы живем в К. Фату. Ибо наши сотрудники и соотечественники за год разложились – каждый в своей скорлупе».

О жене одного из сотрудников, которая жмет из мужа «гроши, гроши без конца на тряпки, дрянное кружево и тесные башмаки с упорством армейской дамы. Иногда мне делается жутко – в какую дрянь и ветошь эта задница переплавляет мозг и благороднейшее сознание долга этого рыцаря труда. Дети их дичают – грязный, немытый и босой Валик во дворе с афганскими мальчишками. Гога, ты обещал для Милы какую-то „Гимназию на дому“, вышли, милый, нехорошо… А где-то далеко-далеко шагает в пространство Революция, поселившая эту неблагородную самку в райском саду, в домике принцессы Турандот. К этому всему прибавьте унылое пустоболтанье иностранцев… – и Вы поймете, как много мне приходится преодолеть, чтобы не лишиться зрения и слуха, особенно живописного зрения, к которому на Востоке сводятся все „высшие“ категории чувств.

…Меж тем из флота – и из Каспия, и из Балтики за последние 2 месяца – телеграммы, письма, сенсационные поздравления со скорым возвращением – что бы это значило? Неужели опять Адмиралтейство? Нет, уж лучше наша пустыня…

…У нас опять комендантом Ермошенко. Пресек пьянство, карты и сплетни, крепко подобрал вожжи и, не поддаваясь на всеобщие маленькие провокации, наводит тот романтический престиж, с каретой посланника, всадниками, скачущими возле нее в облаке пыли, и мрачным великолепием черных галифе, которому он фанатически привержен».

Кстати, моряк-скрипач Синицын, уехавший из Афганистана, написал Ларисе в Афганистан о ее родных: «Ваши старики по-прежнему составляют предмет моего восхищения и в разговорах с ними я получаю исключительное удовольствие». Больше всего родителей беспокоило, чтобы Лариса не «сгнила заживо в розовом варенье», чтобы писала. «Твое великолепное пребывание в развращающей обстановке, – пишет Михаил Андреевич дочери, – грубой роскоши и давящей природы, придворной интриги… все это за 2 года погубит по крайней мере половину,

если не больше, твоих возможностей и сил… Смерть духа… для меня это хуже твоей настоящей смерти…»

Лариса назвала письма родителей – «жестокими и любящими». И отвечала: «Победил ли меня Великий Мертвец, в середине которого стоит наш сад и дом? Были и не могли не быть поражения. Всякая депрессия – а я ими страдаю с печальной правильностью, которая, по-видимому, крепнет с годами, – всякая депрессия здесь значит: сложенные весла и лодку сносит вниз бесшумным потоком мертвого времени, пассивного созерцания… Но даю Вам слово, которому Вы можете верить, что все эти гашиши чистой природы я честно перебаливаю, реакция за олимпийскую жизнь – это моральные болезни. Надо сказать это слово – нестерпимые иногда страдания. Время, к которому относятся Ваши последние письма, как раз совпадает с приливом горьких дней, с расчетами по счетам – за потерянные годы, за ненаписанное, за несовершенное. Но, все-таки, я пишу много. Потом, каковы бы ни были всякие внутренние состояния – каждый день я читаю „настоящее“ – чтобы не отставать от Вас – Маркса III том, историю классовой борьбы во Франции, собственно, его „Политику“ и могу сказать, что не чувствую на своем мозгу никакой жировой пленки, которая мешала бы понимать и спорить с каждой страницей».

Михаил Андреевич пишет, что своей работой удовлетворен: «Сейчас в ученых кругах партии сильный поворот в ту сторону, где я так много работал в качестве „еретика“, а именно в сторону социальной психологии с точки зрения исторического материализма».

В это время, в 1922 году, началась партийная чистка: 170 тысяч человек (25 %) исключены из партии. М. А. Рейснер добавляет: «Травля, особенно, насчет Ларуни не прекращается. По приезде сюда ей, наверное, грозит исключение из партии. Предлог очень прост: не пролетарский образ жизни при дворе и отсутствие работы среди рабочих масс, которых у вас, увы, не имеется…»

История с Минлосом, заведующим бюро печати в посольстве, весьма поучительна: он имел неосторожность не только не написать на Ларису доноса, но, наоборот, очень похвалил ее. После этого его самого исключили из партии.

«Бедная моя „советская аристократка“, – продолжает письмо отец Ларисы, – никакими заслугами перед революцией и партией не стереть тебе ни твоей расовой красоты, ни твоих прирожденных дарований. А пока мы пережили счастливое выступление Ларуни в „Правде“. И Москва всколыхнулась. Лариса Рейснер опять на минуту вспыхнула, как метеор, рядом со своим

супругом, который стал решительно звездой соответственной величины мемуарного неба».

Лариса отвечает: «Посылаю папе подаренную мне мантию – в ней хорошо будет работать или ходить в Комиссию по „очистке“ РКП от нашего реввоенсемейства. И на плечах мантия восточных деспотов, тканная золотом».

Новый, 1923 год родители Ларисы и брат Игорь встречали дома вместе с Сергеем Колбасьевым, его матерью Эмилией Петровной, Михаилом Кирилловым, Сергеем Кремковым.

«В понедельник, 3 января приехал Леви-Леви. Мальчик-моряк, чистенький, в хорошем обмундировании и вообще светлая голова, я очень ему обрадовалась… – писала Ларисе мать. – Родионыч (Тарасов-Родионов. – *Г. П.)* напечатал сногсшибательный рассказ «Шоколад», тема взята из жизни питерской чрезвычайки, все с натуры до мелочей. Глухо недовольны где-то его разоблачениями… он в будущем разоблачит, хотя и художественно, много больных и скверных мест нашего партийного быта верхов…

У нас гостит уже третью неделю Сережа К. Приехал на несколько дней и его друг поэт Тихонов, последний будет хорошим поэтом… Сводила я их к Мандельштаму. Так вот, Мандельштам отчитывал при мне молодых и начинающих: «Не надо сюжета, сохрани вас Галлий от жизни и ее обыденщины – вверх, чтобы Духу прожаренного масла не было, переживания, претворения…»

…Полюбила я очень Николеньку Тихонова, – у него лицо такое, точно он долго плыл и вот скоро берег, и он доплывет и на берег выйдет и радуется этому не только его мысль, но и ноги скачут от радости, но все еще под водой…

…Грустно и то, что великому Ильичу опять худо, его выволокли на показ с речами и хвастовством, а от умственного напряжения болезнь сделала двойной прыжок, и на последнем съезде его уже не было. В работе государственной его отсутствие сказывается прямо в каждом повороте колеса, съезд назначил заместителем Ильича тройку, все ту же: Каменев, Цюрупа, Рыков…»

К этому письму Михаил Андреевич сделал приписку: «Да, еще маленькая новость. Так как Сережа Колбасьев со своей поэзией и женой умирают в Питере с голоду… то Игорь для спасения от голода этого жреца муз решил отправить его к Вам в Кабул на спасение в качестве переводчика».

Иннокентий Оксенов уже в 1928 году записал рассказ Тихонова о разных «звериных» случаях из афганской жизни – об антилопе, приходившей к Колбасьеву «жрать папиросы», о том,

как он ее отучил от этого легонькими ударами молоточком по лбу в течение десяти минут. Об обезьяне Ларисы, однажды напившейся пьяной и свернувшей головы попугаям, о том, как Раскольников отдал приказ эту обезьяну расстрелять и только благодаря заступничеству Ларисы обезьяна была пощажена и с позором изгнана. Наконец, о неудачном «сватовстве» кота Джемаль-паши и персидской кошки Ларисы. Кот сначала только ел, а затем стал отчаянно лупить бедную кошку, после чего был с соблюдением дипломатического этикета отправлен обратно. «Рассказывает Тихонов превосходно, со вкусом – мы заслушались», – заключил Оксенов.

Последняя весна в Афганистане

Всеволод Рождественский рассказывал мне при встрече в 1967 году, что Ларисе все хотелось уехать из Афганистана, но ее запросы оставались без внимания. Или был ответ: берите пример с Александры Коллонтай, она не видит родины много лет. Когда из Афганистана пришло известие, что Рейснер для выездов хочет или уже купила слона, чаша терпения НКВД лопнула и ей разрешили выехать.

Но выехать, как Лариса Михайловна хотела, вместе с Минлосом – не удалось, «остановил приступ малярии, трепавший меня неделю (после годового перерыва). Каюсь, у меня с прошлого года остался такой смертельный страх перед приступом на рабате, да и моя искалеченная спина мне о них часто напоминает. Ну, словом, я смалодушничала, да и у Феди был такой трудный момент, не могла я его оставить в полном буквально одиночестве. Затем пришла эта ужасающая почта. Откровенно говоря, я до сих пор ничего толком не понимаю. Что в Москву вместе с выброшенными отсюда Сергеевыми, Вячесловыми, Розенбергами и т. п. пошли всякие сплетни о нас – это меня ничуть не удивляет. Что мне одно время устроили в Кабуле нечто воде Балаевской гимназии – конференцию Балтфлота, тоже верно. Федя… принял самые решительные меры к прекращению всяческих дрязг и грязи… и вот уже полгода – как мы наслаждаемся полным покоем. Если бы Федя не сделал всего, что нужно, для охранения моей и его чести, я бы в Кабуле не сидела и не помогала бы ему перенести самые тяжелые политические дни. Признаюсь, оставить здесь Федю одного… мне очень больно…» (из письма родным от 19 октября 1922 года).

Вот еще одно письмо, посланное в ноябре – декабре 1922-го: «Милая мама, я выходила не за буржуа с этикой и гладко-вылизанной прямой, как Lensen-all, линией поведения, а за сумасшедшего революционера. И в моей душе есть черные провалы, что тут врать… Мы с ним оба делали в жизни черное, оба вылезали из грязи и „перепрыгивали“ через тень… И наша жизнь – как наша эпоха, как мы сами. От Балтики в Новороссийск, от Камы к апельсиновым аллеям Джелалабада. Нас судить нельзя, и самим нечего отчаиваться. Между нами, совсем по секрету – мы – уже прошлое. Мы – долгие годы, предшествующие 18 году, и мы Великий, навеки незабываемый 18 год. И НЭП, и то, что за ним – потомки, вторая революция, следующая родовая спазма, выбрасывающая 10 и 100-летиями утопию в „настоящее“. Еще несколько книг, на страницах которых будет красный огонь,

несколько теорий, стихов, еще несколько наших революционных ударов по Церкви, по конституции, по пошлости – и finis comedia! Отлив надолго – пока пробитые за три года бреши не зарастут живым мясом будущего, пока на почве, унавоженной нашими мозгами, не подрастет новый, не рахитичный, не мещанский, не зиновьевский пролетариат… Во всей ночи моего безверия, я знаю, что зиновьевский коммунизм (зиновьевское разложение партии), зиновьевское ГПУ, наука и политика – не навсегда.

Мы счастливые, мы видели Великую Красную чистой, голой, ликующей навстречу смерти. Мы для нее умерли. Ну, конечно, умерли – какая же жизнь после нее святой, мучительной, неповторимой».

В январе 1923 года Раскольниковы жили в Джелалабаде недалеко от границы с Индией, где «спасся эмир от зимы».

«Мы в раю. Ведь январь, а в этой чаше из сахарных гор – розы, кипарисы, мимозы, которые не сегодня-завтра брызнут золотом, перец, – все, что прекрасно и никогда не теряет листьев, – писала Лариса домой. – Конечно, Джелалабад не Афганистан, а Индия. Настоящий колониальный городок с белыми, как снег, домами, садами, полными апельсинов и роз, прямыми улицами, обожженными кипарисами и нищим населением, ненавидящим англичан. Этот последний месяц под небом Афганистана хочу жить радостно и в цвету, как все вокруг меня. Ходим с Ф. часами и не можем надышаться, пьяные этой неестественной, упоительной вечной весной. Вот он, сон человечества, „дикой Индии сады…“. Но странно: в Кабуле писала очень много – а здесь не могу. Лежит масса черновиков – но, вероятно, нужен север, чтобы все эти экзотические негативы проявились…

Если сейчас, когда Афг. фактически воюет с Англией, когда на границе хлещет кровь племен и ни на кого, кроме нас, эмир не надеется, когда все поставлено на карту, когда рабочая Россия не смеет отказать в помощи племенам, сто лет истребляемым, сто лет осажденным, – если мы этот момент пропустим, здесь больше нечего делать».

Из Джелалабада Лариса Михайловна пишет давнему другу Мише Кириллову (который был отпущен поступать в студию Мейерхольда):

«Голубчик Миша, Вы написали хорошее письмо – видите, я отвечаю. Теперь о Вас… мне не нравились ваши первые письма – не сердитесь – за возмутительное самодовольство, за что-то дешевое, доступное, слишком легко давшееся в руки. Это вовсе плохо, когда жизнь сразу вдевается в игольное ушко. Слезы, нытье и т. п. мне очень противны, за раздавленностью должен быть период гордости, надежды, задорно поднятого носа, –

послушайте, ведь это театр, это же искусство. Когда Вы в один и тот же день будете мечтать о своей силе и полном ничтожестве, тогда я поверю, что Вы ищите форму, что она, лукавая, уже лежит перед Вами, оборачиваясь и опять исчезая, оставляя на повороте минутный блеск, свою усмешку, намек на то, как надо „сделать“, как велит ваше святое ремесло. Я очень люблю Мейерхольда. Но смотрите, берегитесь, они не любят голоса, они очень восточны в своих „новациях“, очень верят телу (это хорошо) и совсем, совсем не понимают гения слов (это плохо). Пока эти мозги не разовьют в себе величайшей чувствительности – не произойдет сложных реакций Духа. Держите равновесие, ради Бога, не дайте себя изуродовать мастерам телесного, формального, осязаемого искусства. Дух, дух, дух – как хотите и где хотите, без этого нельзя. Я не думаю, чтобы надо было поэтому поступать на математический факультет, но что-то надо, правда. Пишу из Джелалабада. Этот последний месяц буду жить так, чтобы всю жизнь помнить Восток, Кречета, пальмовые рощи и эти ясные, бездумные минуты, когда человек счастлив оттого, что бьют фонтаны, ветер пахнет левкоями, еще молодость, ну, сказать – красота, и все, что в ней есть святого, бездумного и творческого. Боги жили в таких садах и были добры и блаженны. Я хожу и молюсь цветущим деревьям. Лариса Михайловна».

Двадцать седьмого хамаля 1302 года министерство иностранных дел Афганистана сообщает губернатору Кандагара, что из Кабула в Кандагар «выезжают Ф. Ф. Раскольников, Л. М. Рейснер, А. Баратов, а также приезжавшие на время из Герата в Кабул советский консул Таёжник (?) и переводчик Хромой. Из Кандагара все поедут далее в Герат, кроме Ф. Ф. Раскольникова, который вернется назад в Кабул. Из Герата далее до границы поедут только Л. М. Рейснер и А. Баратов, которым нужно предоставить соответствующую охрану (из 4-х человек) и оказывать всевозможную помощь и содействие».

Если Лариса Михайловна вернулась в Россию этим путем, она видела все главные дороги Афганистана с севера на юг и с востока на запад, побывала на главных точках всей страны.

Знакомый уже нам персидский посол Этела-ол-Мольк 29 хамаля 1302 года дал Ларисе Рейснер рекомендательное письмо для персидского посла в Москве Мотарея-ол-Мемалеку, в котором просил своего коллегу принять Л. М. Рейснер, а также оказать ей и Раскольникову поддержку в том случае, если Раскольникова назначат послом в Тегеран, «…потому что в настоящее время Иран нуждается в искреннем и миролюбивом человеке».

На турецком языке написана следующая записка: «Мадам Раскольникова! Еще в Анкаре мы услышали о Вас как о женщине

признанной, чье имя заслуживает похвалы и одобрения. Приехав сюда и познакомившись с Вами, мы поняли, что мы слышали совершенно недостаточно. В самом деле, Вы очень достойная женщина, блестяще владеющая пером, обладающая проницательным умом, знаниями в самых различных областях и, кроме того, красотой и обаянием. И я говорю: слава Аллаху, который создал Вас. Вот потому-то сердца наши полны великой печали оттого, что Вы по необходимости покидаете нас. Но что поделаешь, судьбы не изменить! И от себя лично и от имени моего друга, который будет сопровождать Вас в поездке, заверяю Вас, что Ваше путешествие будет счастливым и благополучным».

Обратная дорога Рейснер с дипкурьером Аршаком (Аванесом) Баратовым описана в сборнике «Дипкурьеры» (Очерки о первых советских дипломатических курьерах. М., 1973). Аршаку всего 19 лет. Он говорил на фарси, как чистокровный афганец, по-тюркски – как тюрк. Сам он – армянин. В рабатах Аршака встречали как старого знакомого: «Салам алейкум, Барат-хан. Что везешь?» – «Хрусталь». – И Аршак тайком указывает на свою спутницу. Устал он больше, чем обычно, потому что все ночи не спал как следует. «Один глаз спит, второй начеку. Ведь мне что поручено? Диппочта – раз, Лариса Михайловна – два. Что ценней, даже не знаю», – улыбался Баратов. Как советовала ему Лариса Михайловна, он пошел учиться в Институт востоковедения.

В черновиках Лариса Рейснер везла очерк «Фашисты в Азии», ставший концом книги «Афганистан». Советское посольство однажды навестили молодые итальянские негоцианты. «Как-то неловко было смотреть на их лица, выставившие напоказ голизну всех своих хотений, назло старым буржуазным фиговым листкам. Эти рвачи, вскинувшие презрительный монокль на суровую страну, не доросшую до спекуляций, ничем бы от миллиона им подобных не отличались, если бы их авантюризм не был помечен печатью убежденного и агрессивного фашизма. Их наглая решительность значит не только „деньги ваши будут наши“, но и „нет в мире такого правового, парламентского и религиозного вздора, который нам помешает содрать с вас пальто среди бела дня, намять вам затылок этими нашими белыми выхоленными руками, в которых сила, спокойствие и ловкость двух хорошо накормленных зверей“. Встречи с нами ждут, как неизбежного, после чего у мира останется только один хозяин… В дверях граф повернул свое тяжелое лицо и сказал с улыбкой: „С такими противниками, как большевики, мне приятно будет встретиться на баррикадах“».

Через пять месяцев, в октябре 1923-го, Лариса Рейснер приедет в Германию и застанет гамбургское восстание уже

подавленным. Она расскажет о нем в своей книге «Гамбург на баррикадах». После революции 1917 года ее жизнь кажется кометой с точной траекторией, то есть оптимально кем-то задуманной и оптимально ею прожитой.

Расставаясь с Афганистаном, она скажет: «Эти два года. Ну, по-честному, положа руку на сердце. Вместо дико-выпирающего наверх мещанства (нэпа. – *Г. П.)* я видела Восток, верблюдов, средние века, гаремную дичь, танцы племен, зори на вечных снегах, вьюги цветения и вьюги снежны. Бесконечное богатство. Я знаю, отсвет этих лет будет жив всю жизнь, взойдет еще многими урожаями. Я о них – не жалею».

Свое 28-летие Лариса Михайловна также встретила в дороге.

Кроме тревоги за родителей ее не могли не терзать неизвестные обстоятельства гибели Николая Гумилёва, Гафиза, который напророчил ей Восток, когда писал «Дитя Аллаха» в первой эйфории влюбленности в нее.

«Иду в последний путь»

Самобытная русская мысль обращена к эсхатологической проблеме конца.

Н. Бердяев. Из лекции, прочитанной в Москве в Вольной академии духовной культуры зимой 1920 года

Родители послали Ларисе в Афганистан журнал, который издавался группой символистов во главе с Андреем Белым в петроградском издательстве «Алконост» в 1919–1922 годах. «Мои милые, прежде всего должна поблагодарить за „Записки мечтателей“. Там много интересного».

С Андреем Белым Лариса встречалась в Институте Ритма, как вспоминает томский художник Вениамин Николаевич Кедрин, сначала ученик Гумилёва, потом студент этого института. Письмо Ларисы родителям датировано 7 мая 1922 года:

«Еще два слова о петербургских изданиях. Упивалась Гершензоном, стихи Ахматовой еще раз, болью и слезами, раскрыли старые раны, и тоже навсегда их закрыли. Она вылила в искусство все мои противоречия, которым столько лет не было исхода… В общем, эти книги и радуют и беспокоят, точно после долгой разлуки возвращаешься – на минуту и случайно – в когда-то милый, но опостылевший, брошенный дом. А петербургские книги – это саше из „Привала“, „Аполлона“ и „Вех“».

С москвичом М. О. Гершензоном (1862–1925) у Рейснер очень много общего от природы. Он также темпераментно бросался в неиссякаемые увлечения. По словам А. Белого, пламень неистовства – его характерная черта. В 1916 году он стоял перед квадратами, черным и красным, супрематиста Малевича, точно молясь им: «История живописи и все эти Врубели перед такими квадратами – нуль! Вы посмотрите-ка: рушится всё» (А. Белый «Между двух революций»).

В марте 1917 года Гершензон был одним из организаторов Всероссийского союза писателей, первым его председателем. После революции пытался обосновать неизбежность революционных сдвигов с религиозно-философской точки зрения. Активно работал по налаживанию культурной жизни, заведовал литературной секцией Государственной академии художественных наук (ГАХН). По мнению Гершензона, натиск

материалистической культуры приводит к противоположному процессу – осознанию человеком своей духовной нищеты, а это уже предпосылка для перспективного развития личности в творческой «жажде правды».

Под властью настроения Лариса Михайловна в письме лукавит – разве бывают у искусства опостылевшие, брошенные этапы? И сама же отвечает в письме Ахматовой, когда в октябре 1921 года дошла до Афганистана весть о смерти Александра Блока: «Теперь, когда уже нет Вашего равного, единственного духовного брата – еще виднее, что Вы есть… Ваше искусство – смысл и оправдание всего – черное становится белым, вода может брызнуть из камня, если жива поэзия… Горы в белых шапках, теплое зимнее небо, ручьи, которые бегут вдоль озимых полей, деревья, уже думающие о будущих листьях и плодах под войлочной оберткой, – все они Вам кланяются на языке, который и Ваш и их, и тоже просят писать стихи… Искренне Вас любящая Лариса Раскольникова. При этом письме посылаю посылку, очень маленькую: „Немного хлеба и немного меда“».

В декабре, через два месяца после известия о смерти Блока, в Кабул придет весть о гибели Николая Степановича Гумилёва.

Пятым января 1922 года помечен последний день ее работы над автобиографическим романом «Рудин». Она посылает его родителям: «Признаюсь, я немножко обижена: как-то не примирилась с забракованием своего романа. Ни папа, ни мать не пишут ничего по существу. Что, по-Вашему, плохо, почему первые главы, которые мне казались такими удачными, не получили даже мотивированного приговора? Неужели все так отвратительно?»

Кабульский фрагмент, машинописная копия которого помечена 5 января, включает в себя сцену расставания В. Веселовского (Святловского) с Елизаветой Алексеевной (Екатериной Александровной Рейснер). Возможно, она навеяна мыслями о Николае Гумилёве. Вспомним эту сцену:

«Они обняли друг друга. Наполеоны бесстрастно смотрели в темноту мимо двух теней, так крепко, так горестно друг друга державших. Это продолжалось столько времени, сколько нужно огню, чтобы упасть на вытянутую, обнаженную, вечно молодую вершину; и ветвям, листьям, всем волокнам, чтобы ощутить этот огонь, текущий мучительной струной сверху вниз, вдоль могучего ствола, и, наконец, в земле, глубоко под дрожащими корнями.

– Прощай!»

В 1922 году Лариса Рейснер посылает Скарпа, сотруднику итальянского посольства, с которым установились дружественные отношения, гумилёвскую «Оду д'Аннуцио» (из книги «Колчан»):

«Дорогой товарищ… Ода к д'Аннуцио написана в 1914 году одним из лучших русских поэтов Николаем Гумилёвым, который, будучи монархистом, поступил добровольцем в армию. Он умер в Петрограде в прошлом году. К сожалению, он ничего не понимал в политике, был русским „парнасцем“. Я написала по-русски – и перевела, как смогла. Извините меня за 1001 ошибку, которые я наделала здесь. До свидания в Риме или в Москве, дорогой друг. Л. Р.».

Из первой же строфы стихотворения ясно, почему Лариса послала его итальянцу.

Опять волчица на столбе
Рычит в огне багряных светов…
Судьба Италии – в судьбе
Ее торжественных поэтов…
И все поют, поют стихи
О том, что вольные народы
Живут, как образы стихий,
Ветра, и пламени, и воды.

По мысли Гумилёва, поэзия – одна из форм освобождения скрытых сил, заложенных в природе Вселенной. Его последняя книга «Огненный столп» несет в себе энергию ясновидения. Найдет ли Лариса Рейснер по приезде в Москву эту книгу?

Марина Цветаева, не видевшая Николая Гумилёва, знала про его «Болдинскую осень». Более того, у Гумилёва и у нее есть одинаковые названия поэм: «Поэма Начала» и «Поэма Конца». У Гумилёва они – о развитии солнечной системы, о зарождении жизни. Темы разные, мудрость любви – общая у них. Стихия нежности и огня – неукротимые стихии обоих. Невозможно не привести заключительные строфы цветаевского обращения к Гумилёву:

«Дорогой Гумилёв, породивший своими теориями стихосложения ряд разложившихся стихотворцев, своими стихами о тропиках – ряд тропических последователей, – Дорогой Гумилёв, бессмертные попугаи которого с маниакальной, то есть неразумной, то есть именно с попугайской неизменностью повторяют Ваши – двадцать лет назад! – молодого „мэтра“ сентенции, так бесследно разлетевшиеся под колесами Вашего же „Трамвая“, – Дорогой Гумилёв, есть тот свет или нет, услышьте мою, от лица всей Поэзии, благодарность за двойной урок: поэтам – как писать стихи, историкам – как писать историю.

Чувство Истории – только чувство Судьбы».

Крупнейший мыслитель России погиб в схватке с силами

хаоса – убеждены современные исследователи творчества Н. Гумилёва Н. Богомолов, Ю. Зобнин. А повод, обстоятельства гибели не так уж и важны.

Но обстоятельства надо знать. Уверена, что Лариса Рейснер узнала подробности об участии Николая Гумилёва в «Таганцевском заговоре». Следователь по делу о «Петроградской боевой организации» (ПБО) Я. Агранов (он же следователь по Кронштадтскому мятежу) был другом Ф. Дзержинского. Ф. Раскольников тоже был об этом осведомлен, потому что в 1932 году в серии «Литературное наследство» анонсировал свою статью «Гумилёв и контрреволюция». Опубликована его статья не была. Зато в томе 93-м «Литературного наследства» в 1981 году напечатан автобиографический роман Л. Рейснер «Рудин».

Надежда Яковлевна Мандельштам вспоминала о своем разговоре с Екатериной Александровной Рейснер: последняя не придала значения, как и многие, аресту Гумилёва, а когда, наконец, пришла к Дзержинскому, было поздно. Надежда Яковлевна уверена, что слух о том, что Лариса Рейснер спасла бы поэта, пустила сама Лариса Михайловна (впрочем, добавляет она, ни в чем нельзя быть уверенной).

Наверное, спасти человека, втянутого в заговор против власти и в поддержку мятежного Кронштадта, было невозможно. Яснее всего отражают это дневники Николая Степановича Таганцева (1845–1923), отца расстрелянного Владимира Таганцева, а также рассказы Б. П. Сильверсана и Л. В. Бермана (Даугава. 1990. № 8, 11). Страницы дневника Н. С. Таганцева найдены его внуком Кириллом в 1991 году (Звезда. 1998. № 9).

Николай Степанович Таганцев – основоположник науки уголовного права в России, сенатор и член Государственного совета. Его прадед жил на Таганке, отсюда возникла фамилия. Н. С. Таганцев преподавал в Училище правоведения, в Александровском лицее (любимые ученики: в лицее – В. Н. Коковцов, в училище – В. Д. Набоков). Он также обучал уголовному праву сына Александра II – Сергея. Н. С. Таганцев добивался в праве соблюдения прав личности. В новом уголовном уложении 1880 года не было пыток и жестоких видов казни. Сенатор стал противником смертной казни с тех пор, как повесили Д. В. Каракозова, его соученика по Пензенской гимназии. В 1887 году Николай Степанович помог Марии Александровне Ульяновой получить свидание с сыном Александром.

Сын Н. С. Таганцева Владимир Николаевич осенью 1919 года вступил в политическую борьбу как «Ефимов», потрясенный расстрелом своих знакомых кадетов, руководителей

«Национального центра». Отец и сын приветствовали Февральскую революцию. Октябрьскую революцию Н. С. Таганцев воспринял как гибель правового государства.

Таганцевы жили на Литейном проспекте, дом 46, а Владимир Таганцев некоторое время жил в ДИСКе.

Пятнадцатого мая 1921 года, в праздник Красного флота, члены «Таганцевской организации» повредили взрывом памятник Володарскому, комиссару по делам печати и пропаганды. Памятник стоял на бульваре Профсоюзов. Это произошло после того, как не удалось поддержать Кронштадтское восстание. Вот и вся их «боевая» деятельность. Памятник разрушили, не людей убили.

Эта организация состояла в основном из интеллигенции. По «Таганцевскому делу» было привлечено 833 человека, 96 казнены, многие сосланы в лагеря. Академик В. Вернадский, кристаллограф, автор учения о биосфере, был членом ЦК партии кадетов (1905–1918), в 1917-м – товарищем министра народного просвещения и членом подпольного Временного правительства. Он был арестован после обыска 14 июля 1921 года, увезен в Дом предварительного заключения на Шпалерную и освобожден 15 июля по распоряжению управляющего делами Совнаркома Н. Горбунова. Опасаясь последствий «Дела Таганцева», Вернадский уехал с семьей за границу в том же 1921-м. И Максим Горький тоже ускорил свой отъезд. О его попытках спасти Гумилёва, о двух разговорах с Лениным рассказано в статье Р. Тименчика (Даугава. 1990. № 8).

В. Н. Таганцева арестовали в июне 1921-го. Его отец 16 июня 1921 года написал письмо Ленину о деле сына, сделав приписку, что чекисты увезли его собственные вещи: «платье, белье, посуду». Ленин ответил через секретаря Фотиеву (его здоровье резко ухудшалось, и он жил в Горках) 10 августа: «Таганцев так серьезно обвиняется и с такими уликами, что освободить сейчас невозможно».

Первого сентября 1921 года петроградская газета «Правда» опубликовала официальное сообщение ВЧК о расстреле 61 человека по «Делу Таганцева».

В приведенном списке расстрелянных 25 августа фамилия поэта стоит тридцатой: «ГУМИЛЁВ Н. С. 33 л., б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии издательства „Всемирной литературы“, беспартийный, б. офицер. Содействовал составлению прокламаций. Обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов. Получал от организации деньги на технические надобности».

И за это расстрел? Дзержинский будто бы ответил на вопрос:

«Можно ли расстрелять одного из двух или трех величайших поэтов России?» – «Можем ли мы, расстреливая других, сделать исключение для поэта?» *(Серж Б.* Воспоминания революционера // Даугава. 1990. № 8).

Ирина Одоевцева упомянула одного «малоизвестного» поэта, которого Николай Степанович назвал ей в качестве лица, причастного к «делу». Она не помнила его фамилии, но запомнила четыре строки его стихотворения (из интервью с И. Одоевцевой // Вопросы литературы. 1988. № 12).

Фамилия поэта Лазарь Васильевич Берман. Рассказ этого поэта в 1974 году записал Валерий Сажин, сотрудник отдела рукописей Публичной библиотеки в Ленинграде. Именно Берман зимой 1920/21 года ввел Гумилёва в круг заговорщиков. «История такова. В 1914 году в Петрограде существовал 4-й запасной бронедивизион. Был зачислен в него и Берман (как, кстати, и В. Шкловский, здесь они подружились). Многих объединяла тогда принадлежность к эсеровской партии. Однако в конце 1910-х Берман отошел от партийной работы. Гумилёв обратился к Берману с просьбой устроить ему конспиративную встречу с эсерами, объясняя это желанием послужить России. После неудачных попыток отговорить Гумилёва от опасного шага Берман согласился выполнить его просьбу. Ахматова говорила, что Гумилёв обладал вулканической энергией и шел к поставленной цели упорно и бесстрашно. Берман предупредил заговорщиков, что с ними желает познакомиться один из лучших поэтов России (фамилия не называлась) и просил использовать его лишь в случае крайней необходимости.

О том, что Гумилёва все-таки использовали в деле, Берман узнал летом 1921-го, когда Николай Степанович обратился к нему за помощью: принес две пачки листовок разного содержания и предложил поучаствовать в их распространении. Одна из листовок начиналась антисемитским лозунгом. «Связной» возмутился: «Понимаете ли вы, что предлагаете мне, Лазарю Берману, распространять?» Гумилёв с извинением отменил свою просьбу».

Через некоторое время Берману передали просьбу Ахматовой помочь отыскать место казни. Связи Лазаря Васильевича с автомобилистами-военными были известны, и надеялись, что он отыщет человека, который вел машину с приговоренными. Шофера нашли, он указал на так называемый Охтинский пустырь, признанный сейчас наиболее вероятным местом казни. Район деревни Бернгардовки, примыкающий к реке Охте. От того же шофера узнали, что на месте казни выкапывалась большая яма, перебрасывалась доска-помост, на нее вставал расстреливаемый.

Среди шестидесяти расстрелянных – пять сотрудников Сапропелевого комитета Академии наук, Н. И. Лазаревский (р. 1868, профессор Петроградского университета), князь С. А. Ухтомский (р. 1886, сотрудник Русского музея), А. Ф. Бак (р. 1879, переводчик Коминтерна), В. П. Акимова-Перетц (р. 1899, студентка консерватории), моряки, домохозяйки, лица без определенных занятий.

В 1923-м в период подготовки процесса над эсерами Берман был арестован. Тогдашний начальник Петроградской ЧК тот же Агранов… склонял Бермана к тому, чтобы тот публично обратился к Виктору Борисовичу с просьбой вернуться в Россию – ничего, мол, с тобой не сделают. Шкловский, вовремя почувствовав нависшую опасность, весной 1922-го переправился за границу. Берман от сотрудничества с ЧК отказался, но в одной из бесед с Аграновым, пользуясь выгодным положением «нужного» человека, задал ему вопрос: «"Почему так жестоко покарали участников дела Таганцева?" Последовал ответ: „В 1921 году 70 % петроградской интеллигенции были одной ногой в стане врага. Мы должны были эту ногу ожечь!“ Вот собственно и все» (Даугава. 1990. № 11).

В «Петроградской правде» от 26 июля 1921 года под заголовком «Раскрытые заговоры» напечатаны выдержки доклада ВЧК о заговорах против советской власти в период мая – июня 1921-го. В этом докладе В. Н. Таганцев назван «главарем заговора» и обильно цитируются его высказывания.

Гумилёв считал, что про него знает только сам Таганцев и он не проговорится. Фотография Гумилёва в его «Деле» дает повод для предположения, что его избивали, как и Таганцева.

На стене общей камеры № 7 в Доме предварительного заключения на Шпалерной улице была надпись, которую навсегда запомнил Георгий Андреевич Стратановский (1901–1986), арестованный осенью 1921 года по делу, к которому не имел никакого отношения. Он был в камере после расстрела Гумилёва и видел эту надпись, о которой рассказал только сыну. А сам впоследствии работал переводчиком, преподавал в университете. После его смерти в начале перестройки эту тайну сын сообщил гумилёвоведу М. Д. Эльзону (Гумилёв. Исследования и материалы. СПб., 1994. С. 298). Вот эта надпись:

> «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь.
>
> *Н. Гумилёв».*

Пятнадцатого октября 1920 года Н. Гумилёв заказал

панихиду по М. Лермонтову, и ему показалось, по словам Одоевцевой, что священник ошибся и помянул один раз имя «Николай». До этого 8 октября ему снился сон, что он не избегнет общей участи, что и его конец будет страшный. Когда проснулся, почувствовал ясно, что жить осталось несколько месяцев.

«Гумилёв оставил жену и ребенка (девочку 2-х лет), жена – лахудра, словом, надумала я взять девочку. Жаль мне одинокую и беззащитную. Одобряешь?» – писала Екатерина Александровна Ларисе в Афганистан в 1922 году. В ноябре – декабре 1922-го Лариса Михайловна отвечала:

«Девочку Гумилёва возьмите. Это сделать надо – я помогу. Если бы перед смертью его видела – все ему простила бы, сказала бы правду, что никого не любила с такой болью, с таким желанием за него умереть, как его, поэта, Гафиза, урода и мерзавца. Вот и все. Если бы только маленькая была на него похожа.

Мои милые, я так ясно и весело предчувствую, сколько мы еще с Вами понаделаем. О, НЭП, ведь мы не какой-нибудь, а 18 год, ну все».

Ее путь впереди будет недолог, через четыре с половиной года Лариса Рейснер умрет от брюшного тифа. Лена Гумилёва вырастет за кулисами театров, где играла ее мать Анна Энгельгардт, тоже станет актрисой и вместе с дедом и матерью умрет в блокадном Ленинграде.

Пока Лариса шла по строчкам своей судьбы, указанным Н. Гумилёвым, ее Бог хранил. Валкирией на коне перед строем воинов, как Лера из «Гондлы»; напоминанием о Пери из «Дитя Аллаха» в Афганистане. Когда Гондла умер, Лера села рядом с его телом в лодку:

Только Гондлу я в жизни любила,
Только Гондла окрестит меня.

Так уйдем мы от смерти, от жизни
– Брат мой, слышишь ли речи мои? —
К неземной, к лебединой отчизне
По свободному морю любви.

Даниил Андреев в «Розе мира» утверждает, что Николай Гумилёв сразу вознесся в Небесную Россию без периода посмертных испытаний.

Глава 29
«БЕСПОЩАДНАЯ МУЗА БОРЬБЫ»

О, жизнь, благословенная и великая, превыше всего зашумит над головой кипящий вал революции, нет лучшей жизни.

Л. Рейснер

Национализм толкает на войны, интернационализм – на революции.

Г. Померанц

Свою музу Лариса Рейснер называет не только беспощадной, но и трагической, неверной. В Москву Лариса Михайловна приехала в начале июня. Необходимость нэпа ее очень огорчала. Можно ли этим путем прийти к социализму? Не заразятся ли «красные купцы» ядом индивидуализма? Пошлость массовых «культурных» развлечений нуворишей, как любое мещанство, вызывала у нее резкое неприятие. «Кончилась романтика, авантюра, опасность, но кончилась и радость жизни. Иногда после вольного воздуха походов очень тесной и облезлой казалась ей жизнь», – писала она в очерке «Старое и новое».

Но с другой стороны – «Изумительная американская новая Москва. Жесткая, быстрая, жадная, аккуратная в известке ремонтов, в вонючих облаках бензиновой гари. В свирепой конкуренции своих со своими – с чужими, – в твердом, как из крепкого шелка, червонце, пожирающем мятую, мягкую, грязную, как старый чулок, миллионную деньгу, от которой пучатся только сумки кондукторш. Москва душных приемных, где на своих маленьких, в третьем классе протухших тючках сидят и ждут очереди рабфаки – чтобы одному из сотни пройти в тесную дверь университета. Москва гениальных плакатов, советской рулетки, нелепого НЭПа и таких пролетарских шествий, таких демонстраций гнева и силы…»

Далее речь идет о Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке:

«Эта выставка того, что есть, и того, что неизбежно будет. Это пронизанный электричеством осколок нашего Всероссийского завтра… это полыхающая в небе будущего реклама РСФСР олицетворяет только тысячную долю творческих сил, заложенных

в ее железном теле».

Чтобы понять, почувствовать «Всероссийское завтра», Лариса Рейснер слетала на самолете на Нижегородскую ярмарку: «Покрытая серебром озер, расписанная извилинами рек, лежит огромная, лесистая страна, все поля оттуда, сверху кажутся едва населенными. Редкие селения, вытянутые вдоль одной улицы, редкие города с белыми кремлями и колокольнями, в садах и церквях, монастырь на острове посреди круглого озера – несколько крупных фабричных поселков и во все стороны бесконечные неиспользованные земли».

Живые ниточки знакомств

Летом 1923 года Лариса Михайловна с родителями и Эмилией Петровной Колбасьевой жила на даче в Кунцеве (в Крылатском), как и все последующие летние месяцы, за исключением редкого отдыха в любимом Крыму. О подмосковной деревне сразу после Афганистана:

«Внизу в деревне тускло воет сельский праздник. Над обрывом дети, в картузах, пригибающих уши, играют во взрослых. Взрослые, переодеты в человеческие платья, играют в людей. На самом деле это пещерники, жители коровников, изготовители фальшивого синеватого молока, под-дачные пригородные крестьяне… На все светлые горячие месяцы деревня единодушно выселяется из своих домов, всеми правдами и неправдами выжимая из жильцов лимонарды, и после вшивого лета, наконец, пьяный и дождливый праздник. Это в 1923 году, в 11 верстах от Дорогомиловской заставы, в 15-ти от ЦК».

«Пишу накануне знаменитого дня; завтра подписываю с издательством 2 контракта: 1) на „Письма с фронта“, 2) „Восток“. На днях была моя „Машин-хане“ в „Правде“ (24 июня)».

Сразу по приезде из Афганистана «с головой окунулась в Коминтерн. Захватила еще последние заседания расширенного пленума. Какая честь, какое счастье быть деятельным членом этой великой интернациональной партии. Встретила Луначарского. Перезнакомил со всей немецкой партией. Много говорили с ним о современной и будущей Германии – завязала и тут новые живые ниточки». Речь идет о III пленуме Исполнительного комитета Коммунистического интернационала (ИККИ). Служебный билет на пленум Рейснер выдали 16 июня. В Коминтерне она работала в женотделе *(Тихонова З. Н.* Л. Рейснер – дочь революции // Вопросы истории. 1965. № 7. С. 205–208).

Скорее всего, на этом пленуме и заметили друг друга Лариса Рейснер и Карл Радек, который стал для нее родным и близким человеком, который понимал ее с полуслова.

Дачный поселок Кунцево был, видимо, популярен. В это же лето Лариса Михайловна заходит к Юрию Либединскому, участнику Гражданской войны, 25-летнему автору повести «Неделя» о времени военного коммунизма, чтобы познакомиться, и Юрий Николаевич записывает эту встречу:

«Лариса Михайловна жила поблизости. В один из сереньких дней того дождливого лета она пришла вместе с А. И. Тарасовым-Родионовым. Александр Игнатьевич, комиссар Высшей стрелковой школы, стал писателем. Он рассказывал мне о Ларисе

Михайловне, о ее семье. Он же написал эпиграмму на журнал „Рудин“:

Свой журнал иметь приятно,
Пишет папа, пишет дочь,
Мама написать не прочь:
И одно лишь непонятно,
Почему читатель прочь?

Первое, что бросилось в глаза, когда она в скромном платье, в простой соломенной шляпке вошла в нашу калитку, – это необычайная красота ее… не то античная богиня, не то валькирия древнегерманских саг. За Ларисой Михайловной шел Тарасов-Родионов, далее следовала мать Ларисы Михайловны с собачкой на руках, – это было какое-то комическое подобие свиты, сопровождавшей богиню, которая высоко держала свою красивую голову и дружественно-ласково улыбалась. И я почувствовал, что увидать ее, а тем более говорить с ней, – это счастье и необыкновенная удача. В своем обращении Лариса Рейснер была проста и естественна, умна без всякой позы и претензии, приветлива без снисходительности, сразу установила со мной товарищеский тон, высказала мне все, что думала о «Неделе», и когда я ответил ей тем же – покритиковал ее афганские очерки за вычурность стиля, – Лариса Михайловна согласилась неожиданно и просто, как все, что она делала.

– Это уже прошлое, – говорила она и хмурилась. – Это у меня позади. Я ведь ученица Гумилёва. Теперь я буду писать не так, проще, сильнее. – И даже свела в кулак свою большую и красивую, как все в ней, руку».

Юрий Николаевич Либединский пригласил Ларису Михайловну на собрание молодых писателей литературной группы «Октябрь», являвшейся ядром Московской ассоциации пролетарских писателей (МАПП). Лариса Рейснер, как и редактор главного тогда журнала «Красная новь», в котором печатались писатели-«попутчики», Александр Константинович Воронский, отрицательно относилась к делению литературы на классы.

«Она сдержала слово, пришла на один из активов МАППа. Раздираемые противоречивыми чувствами, смотрели поэты-комсомольцы на эту красавицу-валькирию: поклониться ли ей или порицать ее за „буржуазность“, за костюм, хотя и отлично сшитый, как я сейчас понимаю – вполне скромный, за духи, за шляпку. Но когда она заговорила, то вдруг обнаружила такую же, как и у каждого из нас, убежденную страстность. Вечер был посвящен творчеству только что приехавших с Украины

талантливых поэтов – Голодного, Светлова и Ясного».

Об этом заседании вспоминали и другие писатели: Марк Колосов, Александр Безыменский. В этом сентябре 1923-го восстали рабочие Софии, Гамбурга. Александр Ясный выразил общее для молодых людей чувство:

И может, щедрою рукой
Подруга-осень кинет счастье,
И за весну под барабанный бой
Паду с раздробленною головой
Я где-нибудь на Фридрихштрассе.

Погибнет А. Ясный в 1945 году в боях за озеро Балатон в Венгрии. Подруга-осень подарит счастье и Германию Ларисе Рейснер.

А. Безыменский вспоминал, как Лариса Михайловна попросила его тайно узнать номера обуви Голодного и Ясного. Через неделю на следующем собрании по просьбе Рейснер Безыменский пригласил троих поэтов в пустую комнату.

«Лариса Михайловна дважды повернула ключ в двери и душевным голосом произнесла:

– Вот что, товарищи поэты. Стихи у вас хорошие, но выглядите вы не очень фешенебельно. Примите от меня подарок. Не отказывайтесь, надеюсь, вы-то лучше других понимаете, что такое подлинное товарищество в большом и малом.

И Лариса Михайловна вынула из портфеля новые брюки и две пары ботинок… Номер светловских брюк мне выяснить не поручали; все было ясно: очень высок и настолько тощ, что рядом с ним, по его собственной формуле, Дон-Кихота принимали бы за пузатого нэпмана».

О встречах тех лет с Ларисой Рейснер вспоминает Л. Розенблюм, друг семьи Рейснеров. В доме Бориса Федоровича Малкина, одного из руководителей печати, собирались писатели, были в одно время Л. Рейснер и В. Маяковский с Л. Брик. Лариса Михайловна рассказала о том, как ехала недавно в поезде «Петроград – Москва» и настолько произвела впечатление на Склянского, заместителя Троцкого (она была в темном платье с открытой шеей, на которой висела цепочка с подобием черного креста), что тот, покоренный ее совершенной красотой, встал на колено и поцеловал ей ногу (запись рассказа Л. Розенблюм 9 июня 1973 года. Мемуаристке 83 года). Из ее же воспоминаний: в Ларису Михайловну был влюблен Краснощеков, первый директор банков. Он окружил ее вниманием, лестным для женщины, но Лариса Михайловна не допускала денежных расходов на себя.

Писатель А. Демидов, видевший не раз Ларису Рейснер в редакции «Летописи» и «Новой жизни» М. Горького, встретил ее в 1923 году на банкете, устроенном издательством «Московский рабочий», решившим издавать новый журнал «Жизнь»: «Я слушал речь Ларисы Михайловны о том, что журнал должен быть бодрящим, что нытикам писателям в нем не должно быть места, что таким, каким жизнь у нас в СССР не нравится, лучше убраться за границу».

Жили Рейснеры в Пятом доме Советов, квартира 98, на улице Грановского (бывший Шереметевский переулок). Эту квартиру описала сестра Вивиана Итина – Нина Азарьевна: «До Дома Советов была двухкомнатная квартира, в одной комнате жили родители, в другой Игорь, Лариса была в Афганистане.

Квартира 98 была коммунальной, и Рейснеры жили в «заквартирье». Из передней две двери вели в парадные комнаты, а третья в коридор с большой кухней на одном конце и с ванной комнатой на другом. За кухней шли 3 комнаты: небольшая однооконная, где жила прислуга Рейснеров, за ней двухоконная комната Ларисы Михайловны и угловая – кабинет и спальня Михаила Андреевича и Екатерины Александровны. Напротив этой комнаты находилась маленькая, но очень удобная и любимая семьей столовая. Игорь Михайлович, тогда уже женатый, жил отдельно».

Федор Раскольников до конца 1923 года оставался послом в Афганистане, откуда слал Ларисе Михайловне письма.

Шлейф Афганистана

Англия потребовала убрать Ф. Ф. Раскольникова (нота министра иностранных дел Керзона). «Смертельно боясь вмешательства России, ее заступничества и помощи Афганистану или племенам, – Керзон прикрывает свое поражение шумом мирового скандала… Позвольте мне безнаказанно резать, жечь и грабить на Востоке – иначе мы вам устроим новый Рур. Уберите Раскольникова или война. Пусть не будет Раскольникова, останется великая Республика Советов, самый факт ее существования есть и будет такой агитацией против старого разбойничьего мира, которая вот уже 5 лет не перестает звучать не только на Востоке, но и на Западе» («Из истории англо-афганских отношений», не напечатано).

Сергей Сергеевич Шульц, свободомыслящий человек, считал, что в первом издании книги Рейснер «Афганистан» прослеживается наша политика, как мы натравливаем всех друг на друга, чтобы перевести ситуацию в революцию.

Проводив Ларису до Кандагара, Федор Раскольников сразу же пишет ей письмо (Сергей Колбасьев привез ему много книг): «Глотаю, как устрицы, тоненькие брошюрки стихов. Знаешь, сколько интересного вышло за последние два года. Чего стоят одни стихи Киплинга. Из посмертных стихов Н. Гумилёва мне больше всего нравилось „Приглашение к путешествию“. Прочел небездарные воспоминания Шкловского „Революция и фронт“ и „Эпилог“».

От 25 июля 1923 года: «Огромное спасибо тебе за невероятно ценные для моей коллекции старинные монеты, которые ты прислала из Герата. Большинство их является парфянскими монетами и персидскими – времен сасанидов.

Но маленькая золотая монета – это действительная находка, которую я стремился разыскать в течение двух лет. Знаешь ли ты, глупенькая девочка, что держала в своих руках монету Александра Македонского? Кроме воспоминаний обеими руками пишу сейчас задуманную книгу: «История русской революционной мысли». Начаты одновременно 2 главы: «Декабристы как идеологи мелкопоместного и мелкого служилого дворянства» и «Движение русской революционной мысли в 60-х годах XIX в.»».

От 28 июля 1923 года: «Знаешь, мышка, тебя здесь совсем было похоронили… Была получена телеграмма: „Ваша жена умерла“… В министерство иностранных дел было вызвано пять переводчиков… Можно представить себе панику, какая

воцарилась среди сердаров и послов. Душка-маркиза проплакала себе все глаза. Дипломатический корпус имел заседание для обсуждения вопроса о способе подготовления меня к этой трагической новости. А я недоумевал, почему все послы встречают меня с вытянутыми лицами и избегают говорить о тебе. В результате, когда все разъяснилось tout le mond *(фр.* – весь свет), решил, что тебе, как заживо похороненной, предстоит долго жить… В общем, без тебя очень и очень скучно».

От 26 августа 1923 года: «Милейшие Патерно уехали, взяв на прощание твой адрес, чтобы написать тебе по прибытии в Рим. Опыт нашей дружбы показал возможность и взаимную пользу контактной работы Италии с Советской Россией на Востоке. Маркиз проникся соответствующим настроением и дал мне категорическое обещание добиваться полного признания Советского правительства, рассматривая этот вопрос под углом зрения итальянской политики на Востоке».

Дальше Ф. Раскольников пишет, что на банкете в честь уезжающих итальянцев Патерно начал свою речь с того, что около года назад ему был оказан радушный прием в Кала-и-Фату среди цветов. «Лучшего цветка сейчас, к сожалению, нет среди нас», – с унынием прибавил итальянский посол. И добавил: «Я каждый вечер ходил в кинематограф специально для того, чтобы посмотреть фильму, снятую Налетным в свое время в Кабуле и Кала-и-Фату… Горячо любящий тебя твой Федя».

От 12 сентября 1923 года: «Дорогая моя, единственная моя Ларунечка! Ну откуда ты взяла, моя милая крошка, о каком-то мнимом „охлаждении“? Поверь, что все обстоит по-прежнему и я жду не дождусь того счастливого мига, когда, наконец, заключу тебя в свои объятия. Ай-яй, Ларуня, какая ты, оказывается, злопамятная! Мало ли что может быть между супругами, мало ли какие слова могут вырваться у меня с языка в порыве минутного раздражения. Но нельзя же в самом деле думать, что все это было всерьез. Как бы то ни было, наша теперешняя разлука мне еще больше показала, насколько мы с тобой не случайные попутчики, а муж и жена воистину, по призванию… Передача этого письма внушает мне уверенность, что эта „лирика“ достигнет непосредственно тебя, минуя нежелательных читателей, без всякой нужды, а исключительно по своей врожденной подлости перлюстрирующих чужие письма. Ведь не может быть и речи о контроле надо мной. Я прекрасно знаю, что партия мне безгранично доверяет. А между тем почти все письма от матери приходят ко мне с явными следами грубого, неумелого вскрытия. По советским законам письма на имя полпреда перлюстрации, конечно, не подлежат. Значит, находятся такие негодяи, которые

вопреки закону проявляют свое любопытство. Это меня огорчает и заставляет воздерживаться от обнаружения своих интимных чувств. В этом отношении я подозрителен и недоверчив даже к хорошим знакомым, которым я передаю свои письма, адресованные к тебе, моя божественная жена».

От 13 сентября 1923 года: «Кстати сказать, знаешь ли ты, что недавно были обнаружены сильные признаки отравления у т. Соловьева, а затем у меня… Доктор Вахтель усмотрела в нашем заболевании симптомы отравления медленно действующим ядом. В связи с этим афганский повар, навлекший подозрения, был рассчитан. Сейчас все благополучно. Только ты, пожалуйста, шума по этому поводу не поднимай. Я отношусь к таким эпизодам, как к неизбежным в море случайностям. Помнишь, как я равнодушно отнесся к читульсутунскому происшествию с проволокой? А ведь это было несомненное покушение… Все твои треволнения, о которых ты мне пишешь, это буря в стакане воды. Пожалуйста, не заботься обо мне. Мое отношение к тебе в полном порядке. Я тоже уверен в тебе, как в каменной скале. Крепко-крепко обнимаю тебя, моя любимая жена. Искренне твой Ф. Ф.».

Октябрь 1923 года: «Дорогая, улетевшая из моего гнезда ласточка!

Твое роковое письмо от 4 сентября произвело на меня ошеломляющее впечатление, так как я по-прежнему люблю тебя без ума. Спасибо за деликатное соблюдение аппарансов. Пусть для внешнего мира мы разошлись по обоюдному согласию. Но на самом-то деле мы оба хорошо знаем, что ты меня бросила, как ненужную, никуда не годную ветошь…

Я только не хочу, чтобы мы разошлись под влиянием каких-нибудь несчастных недоразумений. Вспомни, сколько раз ты уже апеллировала к разводу и, однако, каждый раз после этого наша взаимная любовь всходила на новые вершины счастья. Ведь именно после декабря 1918 г., когда ты также решительно стремилась разойтись со мной, была и разлука английского плена, и наше ликование после встречи на белоостровском мостике, и Астрахань, и деревенька Черный Яр, и Энзели, и Баку. А разве мы плохо жили в Афганистане? Разве этой двухлетней жизнью в искусственной, оранжерейной обстановке мы не доказали, что достойны быть супругами на всю нашу жизнь? Решай, как хочешь, пушинка, я не хочу тебе навязываться… насильно мил не будешь… Пожалуйста, обязательно приходи встретить меня на вокзал… Наконец, мне было бы слишком тяжело передавать формальный документ о разводе кому-нибудь другому, кроме тебя. Я делал предложение лично тебе, и если необходим развод, то согласись лично принять его от меня.

Малютка, малютка, не забывай, что нас соединяют золотые ниточки, закаленные в огне гражданской войны».

От 18 октября 1923 года: «Ты пишешь мне о ребеночке. Но разве я его убийца? У меня до сих пор все переворачивается изнутри, когда, продолжая твою политику, я на вежливые вопросы иностранцев: „Как чувствует себя мадам?“ – вынужден отвечать: „Большое спасибо. Все хорошо, я надеюсь, что через два месяца стану отцом“. Мышка, но разве мы с тобой виноваты, что на втором месяце его жизни произошел выкидыш? Нет, виноваты затхлые условия „жирного и сытого“ афганского прозябания, условия, вдвойне тяжелые для таких нервных и впечатлительных натур, как мы с тобой. Кроме того, ты сама писала, что все равно не довезла бы его – такая страшно трудная была дорога…

…Чтобы не было недоразумений, пишу черным по белому: никакого развода я никогда не хотел и в никакой степени не желаю его сейчас. В Джелалабаде и Кабуле я говорил только о том, что нам надо об этом подумать, когда люди все время живут вместе, то они зачастую не могут дать отчет в своих чувствах. Разлука в этом смысле является прекрасной проверкой».

По слухам, бытовавшим среди родственников и близких Ларисе Михайловне людей, у нее случилось три выкидыша, и врачи были убеждены: чтобы сохранить ребенка, Лариса Михайловна должна была всю беременность лежать.

Из последних писем Федора Раскольникова Ларисе Рейснер после редких встреч в Москве в январе 1924 года:

«Мы с тобой похожи на две стрелки часов, обладающие разным темпом… но оба мы бежим по одной орбите. В самом деле, я почувствовал наличность кризиса еще в феврале прошлого года в Джелалабаде, когда ты об этом и слушать не хотела. Я был тогда под влиянием тех же противоречивых настроений, как ты в настоящее время…

Конечно, найдутся много людей, которые превзойдут меня остроумием. Но где ты найдешь такого, кто был бы тебе так безгранично предан… Конечно, я был перед тобою виноват: порою груб, порою невнимателен. Такую жену, как ты, нужно было носить на руках… Только ради всего святого, во имя революции, не унижайся до жалкой роли любовницы какого-нибудь женатого человека. Тебя, с твоей принципиальностью, с твоей способностью любить, с твоей неукротимой ревностью, это истерзает и исковеркает. А в таком случае твоему творчеству наступит конец».

Письма почти без купюр опубликованы в книге «Федор Раскольников. О времени и о себе. Воспоминания, письма, документы» (Лениздат, 1989).

Двадцать второго октября Ларисе Рейснер написал В. Баженов: «Ф. Ф. пока здоров, слава богу, только страшно скучает об Вас, каждый день раз пять про Вас говорит, что-то Лариса Михайловна, думает ли обо мне или нет, целую неделю почти перестали обедать и ужинать… Все по-старому, не забывайте нас… Остаюсь покорный Ваш слуга».

Лариса Рейснер была в это время в Германии с Карлом Бернгардовичем Радеком, который не мог ради нее оставить жену и четырехлетнюю дочь, горячо любимую. При этом на его столе дома всегда стояла фотографическая карточка Ларисы Рейснер.

«Ни имени, ни адреса не надо»

Право на ошибку – условие динамики человека и культуры.

Ю. Лотман. Воспитание души

Служебный заграничный паспорт на имя Магдалины Михайловны Краевской, сотрудницы Полномочного представительства, отправляющейся с дочерью Алисой двух лет в Германию, с фотографией Ларисы Рейснер, был получен ею 21 сентября. Выезд из Москвы – 24 сентября. Отметка Берлина – 30 сентября. 18 января 1924 года Магдалина Михайловна Краевская с дочерью Алисой пересекла советскую границу на обратном пути. Транзитных штампов около десяти. Дрезден – по свидетельству Карла Радека – 21 октября.

По партийным документам, в Дрезден Лариса Рейснер приезжала в качестве члена правления Всероссийского кинотреста, затем направлялась в Берлин и Гамбург *(Тихонова З.* Л. Рейснер – дочь революции // Вопросы истории. 1965. № 7. С. 205–208).

На бланке «Красного Интернационала профсоюзов» А. Лозовский (настоящее имя Соломон Абрамович Дридзо) пишет: «Дорогая Лариса Михайловна. Я знаю, что Вас ожидает, но не понимаю, почему Вы не подаете никаких масонских знаков о Вашем существовании. А между тем ввиду предстоящих Вам похождений (к которым я руку приложил) я должен Вас видеть. Звоните или просто приходите ко мне на квартиру завтра во вторник около часу. Телефон: Кремль, квартира. Привет звезде Афганистана, внезапно появившейся и еще более внезапно померкшей на небе Профинтерна».

По словам Карла Радека, Лариса Рейснер пришла к нему в сентябре с просьбой помочь ей выехать в Германию. К. Радек, член Президиума Исполкома Коммунистического интернационала, 25 января 1924 года выдал ей справку: «Настоящим удостоверяю, что тов. Л. М. Рейснер провела время с середины октября 1923 по половину января 1924 на нелегальной зарубежной работе».

В Германии – послевоенный экономический кризис, безработица, голод, нищета. В сентябре 1923 года Коммунистическая партия Германии (КПГ) и Исполком Коминтерна, учитывая обострение революционного кризиса,

пришли к выводу, что через месяц вооруженное восстание неминуемо. По решению ЦК КПГ гамбургский пролетариат должен был подать сигнал к всеобщей забастовке и всегерманскому вооруженному восстанию для создания общегерманского рабоче-крестьянского правительства. 23–25 октября гамбургские рабочие сражались на баррикадах. В разгар сражения стало известно, что ЦК КПГ отменил всеобщую забастовку, рабочие правительства в Саксонии и Тюрингии были разгромлены, не было единства действий среди рабочих Германии. Возглавивший гамбургское восстание Тельман дал приказ к отступлению, прошедшему с минимальными потерями. После разгрома восстания начались массовые репрессии; коммунистическая партия, участники восстания ушли в подполье; кто мог, уехал за границу.

Гамбург, с XVI века крупнейший порт, прославился как вольный город. Основан Карлом Великим в начале IX века как крепость на обоих берегах Эльбы, в 110 километрах от Северного моря. В конце XII века Гамбург добился самоуправления, в 1510 году – прав вольного имперского города. В 1867 году в Гамбурге вышло первое издание «Капитала» Карла Маркса. Революционные выступления гамбургских рабочих случались не раз – в 1896, 1906, 1911 годах. Рабочим Гамбурга принадлежит значительная роль в ноябрьской революции 1918 года.

С. С. Шульц считал, что гамбургское восстание «закрутил Радек». Другие современные исследователи убеждены, что Радек и Рейснер «контролировали финансовую помощь Советской России немецким коммунистам во главе с Тельманом» (Лариса Рейснер – загадочная женщина русской революции // Смена. 1995. 12 мая. С. 9).

В статье Радека о Рейснер в энциклопедическом словаре «Гранат» можно прочитать: «Рейснер отправляется в Германию с двоякой задачей: она должна дать русскому рабочему картину гражданской войны, назревающей там под влиянием захвата Рура французами и экономической разрухой. В случае захвата власти в Саксонии должна стать офицером связи между частью ЦК Германской коммунистической партии и представительства Коминтерна, находившегося в Дрездене, и остальной частью».

После детства Лариса Рейснер впервые оказалась в Германии. Радеку она рассказывала, как ходила в гости к «тетушке Бебель», о дымящемся кофейнике, о сладком пироге. Она помнила детей рабочих из Целендорфа (район Берлина), с которыми училась в школе, помнила рассказы работницы Терезы Банд, помогавшей ее матери по хозяйству. В Берлине в 1923 году в рабочей семье она чувствовала себя как дома.

В очерках, составивших книгу «Берлин в октябре 1923 года», Лариса Рейснер пишет о том, как голодает Берлин, как растет безработица. «Жена безработного, беременная теперь, зимою 1923 года – это труп». Пишет о том, как отмечают нищие рабочие пятилетнюю годовщину немецкой революции 9 ноября 1918 года. На этот день фашисты наметили свой переворот. Массовые демонстрации, погромы, расстрелы рабочих. Социал-демократическая партия бездействовала. «Собравшиеся с исключительным волнением ждали представителя СД партии, встретили его абсолютным молчанием, беззвучным вопросом – что же теперь делать? Что же эта „рабочая“ партия сочла нужным сказать рабочим накануне путча? Дала им оружие? Разработала план борьбы? Что стоило организовать революционную оборону в городе, наводненном сотнями тысяч безработных, целой армией женщин, выброшенных на мостовую, инвалидами, которым правительство дает издевательские субсидии, наконец, толпами организованных рабочих, из числа которых более 20 тысяч человек обречены на голодную смерть».

В Германию Лариса приехала с удостоверениями «Известий», «Правды» и «Красной газеты». В «Известиях» под рубрикой «Очерки современной Германии, от нашего спецкора Revera» напечатаны: «Дети рабочих» (14 ноября 1923 г.), «Хильда – человек 8 лет» (16 декабря 1923 г.), «Гамбург – город вольный» (17 февраля 1924 г.); в журнале «Жизнь» (№ 7, 1923) «Меньшевики после восстания» с рисунками восьмилетнего «комсомольца» Ганса П. Свои рисунки гамбургский Гаврош подарил Ларисе Рейснер. Берлинские очерки были опубликованы в составе книги «Гамбург на баррикадах» в 1925 году (издание ЦК МОПРа). В 1924 году – в издательстве «Новая Москва».

«Немецкий рабочий культурнее русского, его жизнь после первых лет молодых скитаний гораздо крепче связана семьей, оседлостью, часто обстановкой, приобретенной в течение десятков лет на грошовые сбережения. Мелкобуржуазная культура, мещанская культура давно просочилась во все слои немецкого пролетариата. Она принесла с собой не только всеобщую грамотность, газету, зубную щетку, любовь к хоровому пению и крахмальные воротнички, но и любовь к известному комфорту, необходимую опрятность, занавески и дешевый ковер, вазочки с искусственными цветами, олеографию и плюшевый диван… Война и особенно пятилетие мирного грабежа, последовавшие за ней, нанесли жестокий удар этой мещанской культуре, просалившей верхние привилегированные слои немецких рабочих» (отрывок, не вошедший в окончательный текст).

Обращаясь к родителям, Лариса Михайловна несколько раз предупреждает: «Пишите мне через т. Уншлихта – для Изы. Ни имени, ни адреса не надо. Помните, никому ничего не перерассказывайте, погубите меня».

Магдалина, Иза, Ревера…

И еще несколько отрывков из писем Ларисы Рейснер родным:

«Зайцы милые, конечно, жива, здорова, въедаюсь в эту новую страну, которая мне знакома только в те минуты, когда какая-нибудь улица похожа на Фозанек или люди из другого народа поют „Интернационал“. Самочувствие – блистательно. Будьте очень, очень спокойны… Начнется буря, я ее смогу встретить во всеоружии, зная Германию сверху донизу… На моем столе Каутский, Меринг, все лучшее, что есть о Германии. Меня заставляют читать и думать. Нация на дыбе… Ваша одиночка, которая хочет быть сильной».

«Пишу из восхитительного приморского Гамбурга. В Берлине во всяких трущобах ущучила целый ряд беглецов, записала их личные рассказы. Теперь сижу у нашего консула и пожираю литературу о славном, вольном городе Гамбурге. Затем дней на десять перекочую в рабочие кварталы собирать сведения о боях. Милая мама, никогда еще с 18 года не жила чище, никогда столько не читала и не думала в полном молчаливом одиночестве. Снег мне на душу падает, стою как дерево зимой».

«…В Германии нет еще революции, нет девятого вала, пеной и трепетом которого пишутся книги, какую я хотела вывезти из Берлина… Революция эта, которая должна быть сделана не порывом (всякий, всякий порыв влипнет, утонет, захлебнется в теплой грязи проклятого мещанства), но каторжным, многомесячным трудом…

Еду в два путешествия… в круг крупной промышленной буржуазии, – словом, не к богеме, а к серьезной немецкой интеллигенции, буду учиться, прирастать к великому чужому народу и его истории и писать – не под давлением денежной необходимости, но по строгим велениям своей литературной совести».

«Гамбург на баррикадах» не только документально точная книга, но и художественно целостная. Уже в Москве Лариса Михайловна проводила много времени с Эрнстом Тельманом, который вынужден был бежать из Германии. Уточняла с ним свой материал. Художественные достоинства «Гамбурга на баррикадах» были признаны немецкой критикой, считавшей, что подобного изображения Гамбурга нет в мировой литературе.

«На берегу Северного моря Гамбург лежит как крупная, мокрая, еще трепещущая рыба, только что вынутая из воды.

Вечные туманы оседают на заостренные чешуйчатые крыши его домов. Ни один день не остается верным своему капризному, бледному, ветреному утру. С приливом и отливом чередуется влажное тепло, солнце, серый холод открытого моря и бесконечный, неуемный, шумный дождь, обливающий блестящие асфальты так, точно кто-то, стоя у взморья, из старого корабельного ведра, каким вычерпывают дырявые лодки, захлебывающиеся во время сильной качки, подымает из моря и выливает ползалива на непромокаемый, как лоцманский плащ, дымящийся от сырости, вонючий, как матросская трубка, согретый огнями портовых кабаков, веселый Гамбург, который стоит под проливным дождем крепко, как на палубе, с широко расставленными ногами, упертыми в правый и левый берег Эльбы».

Три дня восстания изображены с таким сиюминутным напряжением свершающихся событий, с такой живой ритмичностью пульса, что зримо представляешь воюющих людей.

«Весь рабочий Гамбург… ослеп от боли, получив приказ ликвидировать восстание… Начало революционного движения надо считать не с октября, а с августа предшествующего года. В этой преемственности, в этом постоянном и длительном нарастании, которым отмечена работа гамбургских товарищей, лежит коренное отличие вооруженного восстания от так называемого политического „путча“. У „путча“ нет ни прошлого, ни будущего. Гамбургское восстание является классическим примером… уличных боев и единственного в своем роде безукоризненного отступления».

Все книги Ларисы Рейснер зримы. По этой книге – «Гамбург на баррикадах» – в 1926 году был снят в Одессе художественный фильм «Гамбург» Всеукраинским фотокиноуправлением (ВУФКУ), режиссером В. Баллюзеком. В киноархивах ГДР в 1980-х был найден этот фильм без первой части, где была марка ВУФКУ. «Если бы на картине не было марки ВУФКУ, – писал в журнале „Кинофронт“ Измаил Уразов в 1926 году, – мы были бы твердо уверены, что она сделана в Германии». К высокой оценке фильма относилось и то, что его считали лучшим фильмом украинских кинематографистов в 1920-е годы. На украинский язык книга «Гамбург на баррикадах» была переведена почти сразу же после выхода в Москве.

Марку ВУФКУ поднял до мирового уровня Дзига Вертов своим «Человеком с киноаппаратом», вошедшим в число двенадцати лучших документальных фильмов мира.

В 1925 году «Гамбург на баррикадах» напечатали и в Германии. Рейхсвер приговорил книгу к сожжению: «Под

предлогом так называемого исторического изображения эта брошюра преследует вполне определенную цель – дать инструкции сторонникам КПГ для будущей гражданской войны». Против директора издательства, выпустившего книгу, Вилли Мюнценберга было возбуждено судебное дело. Издательство выпустило листовку, распространенную на митинге творческой интеллигенции 11 октября 1925 года. Советник юстиции доктор Вертхауэр говорил: «Книга показывает автора, как поэта правды. Книга захватывает разум и сердце читателя вне зависимости от его отношения к напоминаемым событиям… Автор никоим образом не помышляет о будущих событиях, а исключительно описывает прошлое». С протестом против конфискации выступила газета «Rote Reihe», в которой приводились отзывы о книге многих писателей, в том числе Томаса Манна. Как свидетельствует листовка, ко времени выхода «Гамбурга на баррикадах» немецкий читатель уже хорошо знал Ларису Рейснер по книге «Фронт», которая была издана не только в Германии, но и в Вене. В Германии в 1927 году – раньше, чем в Советской России – выйдет «Избранное» Ларисы Рейснер (правда, без «Гамбурга»).

Этот блистательно короткий путь к признанию был пройден в то время, когда рядом с Ларисой Рейснер был Карл Радек.

Единственный друг

Liebe, Liebe, Leri! Думаю о тебе и вижу тебя каждое мгновение.

Карл Радек

Невероятно, но в 1975 году состоялась моя встреча с человеком, знавшим Ларису Михайловну Рейснер и Карла Бернгардовича Радека в Германии в 1923-м.

Но сначала необходимо хотя бы краткое знакомство с самим Радеком. Карл Бернгардович (1885–1941/?) известен как видный государственный деятель, организатор международного рабочего движения. Родился во Львове, родной язык – польский. С 14 лет – активный социал-демократ Галиции, с 1902-го – член Польской социал-демократической партии, в 1903 году вступил в РСДРП. За активное участие в первой русской революции в 1907 году был арестован и выслан за границу. Учился в Кракове.

Вел переговоры о проезде «вагона с Лениным» в 1917 года через Германию. После Октября 1917 года Радек приехал в Петроград. Участвовал в переговорах в Бресте как член Коллегии Наркоминдела. Выступал против заключения мира с Германией. Ленин, многие годы близко знавший Радека, очень ценил его публицистический талант, но часто и порой беспощадно критиковал по многим вопросам партийной политики и международного движения. Радек, сохранив в речи сильный акцент, писать по-русски научился с редким совершенством. В 1918 году активно участвовал в революционных событиях в Германии; 15 февраля 1919 года был арестован немецкими властями (в этот же день у него родилась дочь Софья). В Россию он вернулся лишь в декабре 1919-го.

В 1919–1924 годах Карл Радек был членом ЦК РКП(б), членом Президиума Исполкома Коминтерна, сотрудником «Правды» и «Известий». Один из немногих в ЦК одобрил нэп. С 1923 по 1929 год поддерживал Л. Троцкого. В 1927-м 15-й съезд ВКП(б) исключил Радека из своих рядов в числе семидесяти пяти «троцкистско-зиновьевских оппозиционеров» и отправил в ссылку в Томск. Летом 1929 года в письме в ЦК партии Радек заявил о своем разрыве с Троцким, после чего был восстановлен в партии. Делегат ряда партийных съездов, в 1935-м он вошел в состав Конституционной комиссии ЦИК СССР. Принимал участие в первой редакции «Большой советской энциклопедии».

Обладая огромной эрудицией, острым умом, темпераментом,

не раз выступал с резкой критикой политики большинства в ЦК по вопросам внутренней и внешней политики. Арестован в сентябре 1936 года. В «Правде» от 20 января 1937 года опубликован отчет об окончании дела «параллельного антисоветского троцкистского центра»; среди главных обвиняемых – Пятаков, Радек, Сокольников, Серебряков. Радек и Сокольников приговорены к десяти годам тюрьмы. Погиб Карл Радек от руки наемного уголовника в лагере (по информации кандидата исторических наук О. Донкова).

Некоторые сведения из «Ненаписанных романов» Ю. Семенова. В редакции «Известий» Радек возглавлял иностранный отдел. Являлся другом Дзержинского и Розы Люксембург. Был ядовито-остроумным. После 1929 года стал одним из тех, кто славил Сталина вдохновенно и талантливо: «К сжатой, спокойной, как утес, фигуре нашего вождя шли волны любви и доверия, шли волны уверенности, что там, на мавзолее Ленина, собрался штаб будущей победоносной мировой революции». Его анекдоты распространялись по стране. На дне рождения Максима Горького Радек, глядя неотрывно на Ежова и Сталина, сказал: «Я пью за нашу максимально – горькую действительность».

Из воспоминаний Софьи Радек известно, что он любил детей своих и чужих, не делая разницы между приемным сыном, дочерью и сыном домработницы. «Я бы сказала, что чрезмерная любовь отца ко мне портила меня. Но именно память об этой любви поддерживала меня всю жизнь». Соню Радек в 18-летнем возрасте отправили в ссылку на 13 лет и на 10 лет в лагерь. Дочери отец успел сказать перед арестом: «Что бы про меня ни говорили – не верь».

В быту был скромен до аскетичности. Единственную роскошь, которую позволял себе, – книги; читал на нескольких языках, его библиотека насчитывала 12 тысяч томов. Друзья – Бухарин, Смилга, Н. Преображенский. Любил удивлять, по-мальчишески радуясь эффекту. Мог прийти куда-нибудь в краге на одной ноге и домашнем тапке – на другой. В Томске появлялся в черном с драконами халате, его принимали за китайца, и он был доволен. С 1925 года он был ректором Китайского университета в Москве. В честь любимого Мицкевича отпускал пышные бакенбарды. Славился неистребимой веселостью, готовностью посмеяться над всем и над собой в первую очередь, неизменной находчивостью. Может быть, поэтому, несмотря на более чем скромную внешность – он был невысок, щупл, – нравился женщинам.

Художник-карикатурист Борис Ефимов запомнил мгновенный ответ Радека Зиновьеву, когда тот публично объявил его прихвостнем Л. Троцкого: «Лучше быть хвостом у Льва, чем ж…ю

у Сталина».

Некоторые из книг Карла Радека: «Либкнехт» (М., 1918); «Жизнь и дело Ленина» (Л., 1924); «Революционный вождь» (Л., 1924); «Роза Люксембург, К. Либкнехт, Лео Иогихес» (М., 1924); «Портреты и памфлеты», с посвящением «Памяти незабвенного друга Ларисы Михайловны Рейснер» (М.-Л., 1927) (несколько изданий); «Портреты вредителей» (М.-Л., 1931); «Зодчий социалистического общества» (М., 1934; 2-е изд.); «Современная мировая литература и задачи пролетарского искусства» (М., 1934). Из публикаций: «От Гёте к Гитлеру» (Известия. 1932. 31 марта).

Софья Радек вспоминала об отце и Ларисе Рейснер: «Да, они очень дружили. Может быть, между ними было и большое чувство. У меня к Ларисе Михайловне такая тоска сидит по сей день. Красивая она была женщина, а я люблю красивых женщин. Отец брал меня на свои свидания с Ларисой» (Огонек. 1988. № 52).

Про большую Ларису Рейснер и маленького ростом Карла Радека ходила тогда такая острота (парафраз из «Руслана и Людмилы» Пушкина): «Лариса Карлу чуть живого в котомку за седло кладет».

Удивительно, до чего много схожих черт у Ларисы Рейснер и Карла Радека: насмешливость, ирония, мгновенная реакция, находчивость, резкость, решительность, безоглядность. Оба любили софистов, детей, животных, театр до страсти, легко отдавали деньги более нуждающимся. При всей своей независимости полная преданность любимой, пусть и утопической, цели – создание Царства Божия на земле. Словом, собратья по духу.

Из рассказа Абрама Владимировича Зискинда на встрече в 1973 году:

«В 1920-е я работал в министерстве почты и телеграфа.

По делам этого министерства я отправлялся в Германию… И часто бывал в кафе в Берлине, где писал Эренбург, куда приходило много писателей на огонек его лампы. Помню Андрея Белого, обоих Ивановых – Вячеслава и Георгия, Алексея Толстого, Бориса Пастернака, Виктора Шкловского… В кафе раза два приходила с кем-то Марина Цветаева, которая была непростым человеком в общении. Видели ее в основном разговаривающей с Андреем Белым… Скоро все разъехались, готовилась революция, Германия переживала кризис.

Осенью в гостинице меня познакомили с Карлом Радеком и Ларисой Михайловной, живущими в этой же гостинице. Представили как людей, присланных в помощь немецкой

революции. Про их дела я ничего не знал. Каждый занимался своим делом, я – телеграфными аппаратами.

Сразу мне было видно, что передо мной счастливые люди, недавно встретившиеся. Оба славились своим бесстрашием. По Берлину были развешаны плакаты с фотографией Карла Радека, обещавшие за его голову соответствующую награду. Карл Бернгардович с огненной шевелюрой, в точности похожий на фотографию, незагримированный, спокойно ходил днем по городу. Правда, его бесстрашие опиралось на знание немцев. О немецких рабочих Радек сказал, что их восстания будут неудачны, так как они не возьмут вокзалы, а пойдут брать перронные билеты.

В гостинице мы провели несколько вечеров. Карл Радек в то время острил напропалую. Я и сейчас вижу, как Лариса Михайловна сгибалась от смеха, слушая анекдот, знаете, наверное, о петухе? Человек сошел с ума, вообразил себя петухом, залез на крышу, кукарекал, не ел человеческой еды. К нему поднимались многие врачи, пытаясь уговорить вернуться на землю. Ничего не помогало. Поднялся русский: «Ты петух? И я петух. Мы оба это знаем, а до остальных нам дела нет. Верно? Зачем нам тратить силы и кукарекать, когда мы и так знаем, что мы петухи». «Слушай, а зачем нам клевать зерна, когда у нас есть нечто более вкусное – колбаса…» И так далее, пока оба не спустились с крыши.

Удавалось среди работы несколько раз гулять по городу. Я показывал его Ларисе Михайловне, ведь со времени ее пребывания в нем многое изменилось. В один из вечеров решили поехать в ресторан и сняли там ложу. Поехало несколько человек – Карл Радек, Лариса Михайловна, я и другие. Коммунисты… и ресторан? Но выяснилось, что почти все любят танцевать, и с восторгом приветствовали эту идею.

Тогда входило в моду танго. В первой паре аргентинского танго мы увидели ослепительную красавицу Эльзу Триоде. Пригласили в свою компанию. При входе в ложу она встретила быстрый, моментально оценивающий взгляд другой красавицы, Ларисы Михайловны. Эльза рассказала о своем замужестве за губернатором Таити. Ее забросали вопросами о Гогене. Увы, его картины ничего не стоят и не покупаются на Таити.

Несколько раз я присутствовал на рабочих собраниях. Слушали ораторов вежливо, терпеливо и спокойно, даже после блестящих речей никак не реагируя, отправлялись домой. История политической борьбы в Германии полна примерами красноречия. Тогда, надо сказать, говорящие с трибуны были образованнейшими людьми. Таким был и Радек, и Луначарский,

который легко переходил с одного языка на другой, чтобы цитировать на языке подлинника.

Лариса Михайловна почти каждый день в Тиргартен-парке занималась верховой ездой. Мальчишки, подававшие ей лошадь, были уверены, что она – скандинавка. Русскую в ней из непосвященных никто не признавал. Когда началось восстание в Гамбурге, Лариса Михайловна уехала туда. Мне повезло уехать вместе с ней».

Рассказывая об одном из вечеров, проведенных в кругу интересных людей, Абрам Владимирович лукаво улыбнулся и произнес: «И вот вошла Лариса Михайловна и, знаете, как-то хорошо, светло стало вокруг. Я тогда был мальчишкой. И Бухарин был влюблен в Ларису Михайловну и говорил, что Радеку – черту, незаслуженно повезло».

Из писем Ларисы Рейснер родителям:

«Никогда еще не работала с человеком более близким по тому „fason de parler“, который царил еще на Зелениной – никогда таким коренным образом не училась политическому зрению и знанию, которого, увы, несмотря на все „чтения вслух“ – у меня нищенски мало…

…Мои единственные, вся моя любовь, как я вам бесконечно благодарна за то, что помогли уйти от компромисса, от полной интеллектуальной гибели, это-то я теперь вижу. Бедного (Раскольникова. – *Г. П.)* всей душой жалею, плачу еще иногда, и вы его пожалейте, если придет – но ничего изменить нельзя.

О Гоге послала письмо в Восточный отдел Коминтерна, дано поручение его отыскать и использовать, надеюсь, что там ему удастся устроиться хотя бы временно. Так безумно жаль, если его восточный опыт пропадет даром. Веру милую люблю и поздравляю. Хоть останется что-то от нашего сумасшедшего революционного семейства (в это время Игорь женился первым браком. – *Г. П.*)… В книге «Афганистан» на статье «Вандерлип» надо написать «посвящается Раскольникову». Я ему давно и крепко обещала. По существу нельзя было совместить … (неразборчиво) и его Ф. Я любила его» (далее листок из письма оборван).

«К. (Карл. – *Г.* 77.) взялся за мою запущенную голову, обложил меня книгами, заставил читать, не позволил уйти в частную по отношению ко всегерманской революции – партийную работу, сделал все, чтобы дать мне почувствовать прошлое Германии, ее политическое вчера, позорное разложение, словом, все, чему сам учился так много лет. Но так как при неслыханной травле, которую полиция вела по его следам – каждый мой неловкий шаг мог погубить все дело – мне на время пришлось

совсем отказаться… от всякой связи с интеллигентными и иными праздно болтающими кругами, догнивающими на шее Германии…

Я не могу вам сказать, что для меня сделал этот человек, обеспечивший мне свободу труда, расшевеливший в моей ленивой и горькой душе творческие струны… Может быть, он только слишком щадил меня – хотя зная его безжалостную щепетильность, думаю, что это делалось из целесообразности, чтобы потом, когда я встану на ноги, партия взяла от меня больше и лучше, чем бы это было теперь. К. фрейдист. Будет говорить с папой. Во всем, что касается духа – будет, думаю, союзником. Я очень жалею, что не могу быть при Вашем знакомстве. Милая Ма, только одно: пусть личная горечь – как она ни справедлива, не помешала ему увидеть трагический, чисто принципиальный стержень нашей жизни. Прошу тебя, не сердись».

«Завтра надо жить, сегодня – горе»

Лариса Рейснер вернулась в Москву в середине января. И уже 19 января 1924 года Федор Раскольников пишет ей записку с просьбой о второй встрече.

«Плетцуня моя родимая, милая, любимая головушка, маковый цветочек! Безумно нужно мне тебя, кизотную, повидать. Наша бурная первая встреча, вполне естественная после 9 месяцев разлуки, нарушила всю программу наших разговоров. А ведь нам нужно о многом поговорить.

Давай увидимся сегодня или завтра. Я постараюсь держать себя в руках и по мере возможности не расстраивать мою малютку, шлепнувшуюся в арычек, откуда мне так хочется вытащить ее…»

Федор Раскольников вернулся из Афганистана в декабре 1923 года. Перед отъездом в октябре афганское правительство наградило его орденом.

В начале 1924 года вышел «Фронт» Ларисы Рейснер (рисунки и обложка Р. Мазель. М.: Красная новь. 130 с), и счастливый автор первой настоящей книги подарила ее Федору Раскольникову.

«Милый Пушитончик, моя ощущаемая супруга, моя неисцелимая любовь. Огромное тебе спасибо за твою книжку – эту прекрасную поэму о нашей любви под выстрелами… Знаешь, почему бы нам не встречаться, почему бы нам не продолжать наше духовное общение? Ведь мы очень большие друзья. Разве это нормальное состояние, когда мы, живя в одном городе, сидим по разным углам и довольствуемся случайной информацией друг о друге. Само собой разумеется, что наши беседы должны протекать спокойно, без всякой истерики. Я думаю, что мы оба в этом отношении сумеем с собой совладать… Мне кажется, что мы оба совершаем непоправимую ошибку, что наш брак еще далеко не исчерпал всех заложенных в нем богатых возможностей. Боюсь, что тебе в будущем еще не раз придется в этом раскаиваться. Но пусть будет так, как ты хочешь. Посылаю тебе роковую бумажку».

«Роковая бумажка» – согласие на развод. Но развод с Раскольниковым затягивался. Да и Радек не разводился с женой.

Девятнадцатого февраля 1924 года Лариса Рейснер получила вид на жительство как «гражданка г. Люблина Л. М. Раскольникова. Замужняя».

После Афганистана Федор Федорович работал в Исполкоме Коминтерна, главным редактором журнала «Молодая гвардия». В это время выходят из печати его воспоминания, рассказы, впоследствии пьеса «Робеспьер», исторические, литературные,

политические, дипломатические очерки.

С 1 января 1924 года удалось провести денежную реформу. «1 миллиард рублей 1923 г. равен 25 копейкам», – пишет в дневнике К. Чуковский. Первая стабилизация экономики благодаря нэпу состоялась, и сразу после нее – смерть В. И. Ленина.

У Ларисы Рейснер был пропуск «на право прохода в Дом Союзов к телу Председателя Совета Народных Комиссаров». И пропуск на заседания 11-го съезда Советов Союза ССР (на трибуну). Организация СССР – последний подарок судьбы умирающему. 21 января Ленина не стало, 27 января в «Известиях» печатается очерк Ларисы Рейснер «Завтра надо жить, сегодня – горе».

«В Колонном зале лежит мертвый Ильич, и мимо него день и ночь проходит Россия.

Это могло случиться не сегодня, а пять лет назад, когда истеричная баба вогнала свои пули в этот огромный, угловатый череп, в котором думало и пульсировало будущее пролетарской России… Не мог Ленин тогда умереть, – революция, в те дни еще молодая, свалилась бы вместе с ним… Чудом были все эти годы неслыханного труда, ни разу или почти ни разу не прерывавшегося для отдыха. Считали – так и полагается: над Кремлевской стеной гаснут к утру и вечером зажигаются белые огни; приходят и уходят вереницы людей. Приходят озлобленными, больными внутренней неуверенностью, сбитые с толку; уходят насыщенными, знающими зачем, как и куда, уходят, разнося по России кусочки его бессонного мозга, а Ленин где-то там сидит всегда.

А болезнь уже сидела в нем, потихоньку умерщвляла огромные и нежные клетки мозга, одолевала стенки сосудов сухим и ломким панцирем склероза. Сколько раз он рвал на себе веревки, потихоньку накинутые, потихоньку затянутые болезнью. Вырывался из лап паралича, стегал омертвелую свою память кнутами воли, пинками подымал с земли в изнеможении упавшее сознание, и два раза отброшенный ударами в детство, два раза из него вырастал в гиганта: учился говорить, терял одну область восприятия за другой и завоевывал их назад…

Неоткуда было ждать помощи… Сотни лабораторий разлагают и снова спаивают элементы живого вещества… в каком-то безымянном углу сидит человечек и, не торопясь, подходит к тайне тайн, к загадке всего живого. Изобретатель, ты опоздал! Ленин заплатил жизнью за революцию, которую вынес на своих плечах… Теперь он уходит в землю, как ушли под знаменами им введенные в мировые битвы Либкнехты и Роза, Свердлов и Рид, и тысячи наших солдат, съеденных тифозной

вошью, и другие тысячи, замерзшие вдоль великой сибирской магистрали, и тысячи тысяч, высушенные голодом и штабелями лежащие от Нижнего до Астрахани.

Ильичу предстоит теперь долгая, может быть, бесконечная жизнь. Он будет вставать со всякой подымающейся революцией, будет умирать со всякой сломленной».

По журналистским дорогам

Колеса – это катушки, на
которые намотано пространство.

Л. Рейснер

После приезда в Москву Лариса Рейснер обратилась в районный комитет партии с просьбой поставить ее на учет в заводскую организацию. Ей предложили один из наиболее многолюдных и отсталых заводов. «Я с радостью согласилась и начала готовить ряд докладов по истории революционного движения как на Западе, так и на Востоке». Прошло три месяца, партийное начальство менялось, Лариса Михайловна договаривалась с новым, но не только доклады не организовывались, но и вообще никакой партийной работы ей не давали. Тогда она обратилась в Московский комитет РКП и в конце концов ее прикрепили к бронедивизиону Хамовнического района.

Что происходит в стране? Что думают люди? Какие пути ведут или не ведут к социализму? На все эти вопросы о судьбе революции ответ, по мнению Ларисы Рейснер, можно получить от тех, кому приходится тяжелее всех, кто восстанавливает промышленные предприятия России. В Москве не получилось оказаться среди рабочих, тогда – на Урал, на металлургические заводы, на шахты, рудники. И как всегда, она осваивает горы экономической, технической, статистической литературы. Получает корреспондентские удостоверения и рекомендательные письма к руководителям заводов в главных промышленных центрах страны.

«Удостоверение.

Правлению Егорьево-Раменского Х/Б треста.

Уважаемые товарищи, предъявительница сего партийная журналистка Лариса Михайловна Рейснер имеет задачей журналистски охватить работу наших государственных текстильных фабрик и быт текстильщиков.

Нами намечен для этого в числе некоторых других также Егорьево-Раменский Текстильный трест. Тов. Рейснер уже ездила с такой задачей для журналистского описания промышленного Урала и очерки ее, помещенные в «Красной Нови», показывают, что делает это она отлично.

С коммунистическим приветом Председатель правления Ц. УГПрома. 5 декабря 1924».

В последовательности ее маршрутов наверняка была своя целесообразность, невидимая сейчас. 16 мая – Екатеринбург (в этом городе, пишет Рейснер, поставили первый в России памятник революции – две голые фигуры рабочих). – Рудники и заводы Билимбая. – Ревдинский (Демидовский) завод. – Лысьвенские доменные печи. – Кытлымские платиновые прииски (Тагильские). – Кизеловские копи руды и угля. – Надежденские домна и листопрокатный цех. В августе – Донбасс: шахты Горловки – соляные рудники украинского Бахмута. В декабре – текстильные фабрики Иваново-Вознесенской губернии.

Из этих маршрутов сложилась книга Ларисы Рейснер «Уголь, железо и живые люди».

Радек писал, что «книга „Уголь, железо и живые люди“ – … это была работа тяжелая и физически, и морально, за которую взялись бы немногие писатели».

С. С. Шульц в лекции о Ларисе Рейснер (в 2000 году) рассказывал, что она первая заговорила о бокситах на Кольском полуострове, и Ферсман благодаря ей получил деньги на экспедицию для поиска бокситов. У нее был исключительно тонкий и аналитический ум.

В свой день рождения, 14 мая (по новому стилю), когда ей исполнилось 29 лет, Лариса Михайловна оказалась в пути – на Урал. Когда шесть лет назад, в 1918-м, она ехала на Волжский фронт, то в поезде ее попутчиком был белогвардеец. В мае 1924-го – женщина, высланная за непролетарское происхождение:

«– Простите, мадам. Ваше лицо мне страшно симпатично. Совершенно две капли воды моя знакомая…

Ее белая шея, как плохо подтянутый чулок, сползает в размякший вырез платья. Копоть уже потрогала черным пальцем кирпичные румянцы, расклеила пару вялых завитушек…

– Вы тоже едете… туда?.. Какой ужас… и вероятно без мужа, без средств. Такое беспомощное дитя. Вы молоды, легче можете переносить свое горе. Наконец, встретите хорошего честного господина. Но я, боже мой, 50 лет. Все потеряно. Пришли, ограбили. Сослали. И за что?

Перерыв.

– Простите, мадам. Вы за валюту? Или просто, как элемент?

Я делаю порывистое движение.

– Не говорите – я уж знаю. Невинны, конечно, невинны. Как я, как сотни других. Кто в этом сомневается. Но, все-таки, по какому пункту? Мы с мужем пострадали за квартиру.

– Простите, а где была Ваша квартира? Где? В Эрмитаже…»

Прежде чем услышать со страниц «промышленной» книги голос Ларисы Рейснер, оглянемся на 1924 год: а какие были

передышки в ее бесконечных дорогах? Она еще успела подписать договор с «Зарей Востока» в июле 1924-го на очерки о Закавказье, Кавказе, Персии. Не состоялось, может быть, потому, что для повторения прошлого не было времени.

Передышки в 1924 году

Партнер то ли по танцам, то ли по конькам, Гульб пишет Рейснер 1 марта 1924 года: «…обещаю в будущем году взять с Вами первенство России». Может быть, в этом году они были первыми в Москве?

С конца марта до начала апреля – отдых под Севастополем.

Семнадцатого апреля вечер «Русский современник» в Москве, в Политехническом институте. «Анна Ахматова – черный бриллиант на вечере, – отмечает в дневнике К. Чуковский. – Успех огромный».

В июле – цепь бесконечных собраний.

С 17 июня по 8 июля 5-й Конгресс Коминтерна, на котором Зиновьев критиковал Радека в «правых уклонах»: «Радек говорил здесь очень весело, с массой шуток и юмором. Я завидую ему, это действительно было подвигом в его положении. Его сильная сторона состоит в том, что он хороший журналист. Его слабая сторона в том, что он видит всю политическую жизнь через столбцы газет» (Правда. 1924. 1 июля).

На этом конгрессе был снят документальный фильм, где показан заведующий отделом национально-освободительного движения ИККИ Федор Раскольников.

Третьего июля на 1-м Всесоюзном съезде библиотекарей выступил Л. Троцкий.

Восьмого июля открылся III Конгресс Профинтерна.

Тринадцатого июля вся страница «Правды» отдана речи Л. Троцкого на Всесоюзном съезде работников лечебно-санитарного и ветеринарного дела «О силе коммунистической партии и уровне культуры страны, о фашизме и реформизме».

Четырнадцатого июля – открытие 1-й Международной конференции МОПРа (международной помощи революционерам).

Четырнадцатого июля – 6-й Всесоюзный съезд Российского ленинского коммунистического союза молодежи (РЛКСМ).

Пятнадцатого июля – открытие 4-го Конгресса Коммунистического интернационала молодежи (КИМа).

Шестнадцатого июля – в «Правде» заметка Л. Рейснер «На международной конференции коммунисток. О создании будущего женского европейского союза».

О следующей передышке со второй половины октября написал А. Гудимов, тогда юный журналист:

«У каждого из нас, очевидно, есть нестареющие воспоминания, от которых всегда становится грустно и радостно и многолетняя светлая печаль сжимает сердце. Именно эти

чувства у меня всегда вызывает имя Ларисы Рейснер. По краю моей юности прошла эта необычайно талантливая, яркая женщина. Стояла необыкновенная мягкая для второй половины октября 1924 г. погода, окна концертного зала Дома Печати были распахнуты настежь, и в зал то и дело врывался грохот проходившего по бульвару трамвая. Он на мгновение приглушал гудящий, как набат, голос Маяковского, в первый раз читавшего свою поэму „В. И. Ленин“.

Зал был полон. На стульях и в креслах сидели по двое, по трое, стояли в проходах, у стен. И все же, когда по рядам чуть слышно прошелестело: «Рейснер!» – и в зал уверенно вошла молодая красивая женщина, люди расступились, образовав узенький коридорчик. Она прошла по нему и остановилась около меня, быстро окинула взглядом зал, ища свободное место или знакомых, затем оглянулась, присела на подлокотник моего деревянного кресла. Я хотел встать и уступить ей место, но она прижала меня рукой, не давая подняться, и спросила:

– Давно?

– Только начал, – застенчиво буркнул я.

Сердце мое разрывалось от счастья, я слушал поэта, и рядом со мной сидела женщина, журналистка, вся жизнь которой для меня, рабкора, имевшего на своем счету 3 заметки в «Правде», была предметом затаенной зависти…

Наша дружба – я с сомнением произношу это слово, так как сам понимаю, что какая может быть дружба между 17-летним рабочим парнем и талантливой, блистательно эрудированной журналисткой, – продолжалась, к сожалению, недолго. Два или три раза мы бывали с ней на катке, ходили вместе на лыжах в Серебряном Бору и в Петровском-Разумовском. Она хорошо ходила на лыжах, широким размашистым шагом, но еще лучше бегала на коньках. Все это она делала профессионально. Она много расспрашивала о делах на фабрике, где я работал. Расспрашивать она была великая мастерица. Иногда она подолгу молчала, а потом неожиданно говорила, отвечая каким-то своим беспрерывно текущим и неведомым мыслям:

– Послушайте, если вы не приучитесь терпеливо высиживать 8—10 часов, пока пишете свои 20 строк дневного задания, не мечтайте сделаться стоящим журналистом! Не можете выдержать? Привязывайтесь по рецепту Чехова к стулу вожжами!»

В конце декабря на катке, который назывался Кокаревка, в Замоскворечье (около Третьяковской галереи), где теперь шумят огромные деревья тенистого парка напротив Дома правительства, появилась со свитой молодых людей Лариса Рейснер. Она выбрала себе в партнеры хорошо катавшегося голландским шагом

шестиклассника, оставившего воспоминания, но под ними не сохранились ни имя, ни фамилия:

«Взявшись крест накрест за руки, мы ждем музыку. Под мелодию испанского вальса (играл духовой оркестр, гревшийся у жаровен с углями) мы поехали, чертя ребром конька длинные дуги голландского шага, наклоняя корпус и подолгу скользя, увлекаемые удивительной силой мелодии.

Снежная королева и ее друзья так же внезапно ушли, как и появились. Один из ее друзей остался. Катаясь об руку со мной, он как-то особенно значительно произнес:

– Вы, юноша, катались со знаменитой журналисткой Ларисой Рейснер. Запомните этот вечер. – И я запомнил…

Легко скользя, не отталкиваясь ногами, она словно летала большой птицей надо льдом на раскинутых как крылья руках. Останавливаясь, привставая на носке конька, она, казалось, повисала в воздухе. Удивительно стройная красавица в вишневого цвета костюме в талию, отороченном серым каракулем».

Сохранился сезонный билет Ларисы Рейснер для входа на другой каток – «Петровка, 26».

«Приеду и прославлюсь»

Так писала, как помним, Лариса Михайловна из Афганистана родителям. И действительно, хлынула лавина публикаций в 1924 году: «Промышленные» очерки – в «Красной нови» (№ 4–8, 10, 11); Афганские очерки – в «Звезде» (№ 1), в «Ленинграде» (№ 1), в «Известиях» (16, 18 июля, 25, 28 декабря).

Откликнулись на них рецензиями: «Сибирские огни» (№ 1); «Правда» (24 июля, 28 февраля 1925 г.); «Печать и революция» (№ 4); «Красный флот» (№ 7); «На отдыхе» (№ 10); «Книгоноша» (№ 16); «Коммунист» (8 июня).

Отзывы противоположны. В журнале «Печать и революция» В. Полянский от имени читателей «рабоче-крестьянской России», которым скучна и непонятна «чисто интеллигентская психология автора, литературно холеный язык… Отрывочные миниатюры („Фронт“) больше показывают, каков автор, чем открывают читателю душу и мысль героев пролетарской революции. Что касается идеологии, которой проникнута книжка, то она, конечно, революционная, коммунистическая. Иначе и не должно быть».

«Иначе» еще было возможно. Одновременно с «Фронтом» весной 1924 года вышли «Белая гвардия» (альманах «Россия», кн. 4, 5) и «Дьяволиада» (альманах «Недра», № 4) Михаила Булгакова. Лариса Рейснер, увы, книги М. Булгакова считала вредными.

«Фронт» нравился морякам, «Уголь, железо и живые люди» – рабочим. «Очень умно написала Лариса Рейснер о собрании рабочих, которые не хотели подписывать коллективный договор из-за нового снижения зарплаты, тяжелых условий труда», – писал директор Лысьвенского завода. Спустя 40 лет собрались ветераны в музее завода, в руках директора была книга Рейснер: «До чего же верно написано!»

Другим рецензентам нравился «сильный и красочный язык поэтессы». Заметка Михаила Кольцова опубликована в «Правде» 24 июля, в рубрике «Библиография»: «С огромным увлечением прочитываешь „Гамбург на баррикадах“. Излишняя пряность языка, делавшая вязкими прежние вещи Рейснер, и здесь немного заметна».

К Ларисе Михайловне потоком шли письма из тех мест, где она побывала. Приведу только одно, как очень характерное для ленинского призыва 1924 года. Оно от студента Иннокентия Буйнова, работавшего техническим секретарем профкома, с просьбой о рекомендации в партию: «Тов. Рейснер, в моих

убеждениях прошу не сомневаться: я сын рабочего и мне дорог каждый час существования нашего рабочего правительства. Недаром же я пошел добровольцем в Красную Армию». Рекомендацию тогда должны были дать пять поручителей.

Каждая главка книги «Уголь, железо и живые люди» начинается с истории того завода, которому посвящена. История же обычно открывается с пугачевских дней, которые внесены в летопись заводов. Касалась история и недавнего «колчаковского» периода:

«Зачем Колчаку было идти в Кытлым? Мостить болота трупами, дышать гарью лесных пожаров, чувствовать со всех сторон уколы партизанщины, проваливаться в трясину со своими пушками и обозами? Но по полевому телеграфу, по стальной бечевке, висевшей от сосны к сосне, – из Парижа и Лондона шли длинные и повелительные приказы.

– Черт возьми, адмирал, для чего же мы вас нанимали?

Телеграф икал от иностранных слов, от этого взбешенного urgent, urgent, urgent, с которыми Европа стремилась к серебристой платине, мирно дремавшей в земле под оборванным пологом из моха, хвои и снега».

«Представить себе Урал – с его вековыми промышленными гнездами, рассеянными по лесным трущобам, всю эту выдержку, дисциплину, десятки и сотни тысяч самых квалифицированных, самых искусных рабочих, бьющихся за существование и победу республики труда, сколько жизней, сгорающих в тропиках металлических заводов, сильных, мужественных жизней, брошенных в горы, на наковальни, под молот нищеты, в болота ядовитых цехов, под пресс трудных, по существу несправедливых тарифов, которые отпадут только с возрождением хозяйства… И не надо забывать, что мужество это на голодный желудок…

Каждый взмах кирки на этих дьявольских рудниках совершается в надежде на скорое наступление жизни более человеческой и справедливой.

Не позволяйте пухнуть спецу, штатам, всей этой стае мелких цифр, раскладных расходов…

Нелепость какая-то. Сидят люди в тайге; где деревья тысячами мрут от старости, где их рубить некому, а рабочий забит в клопиную щель, не может добиться бесплатного или очень дешевого теса на постройку…

А что будет, если где-нибудь рядом с Кытлымом появится хотя бы уркартовская концессия, даст рабочим сапоги, в двадцать четыре часа нарубит светлого строевого леса, поставит глазастые солнечные дома, привезет прозодежду и консервы? Люди сбегут или нальются ядом зависти.

…Массы, отстоявшие свои рудники с оружием в руках, засеявшие их своими костями в годы голодной войны, совершившие то, что специалистам казалось невозможным, требуют теперь одного – и к этому сводятся все жалобы, все недовольства и недоразумения, – такого же отношения к своему быту, какое они сами уделяют машине, производству и всем его нуждам. Невнимание к мелочам карается на производстве самым безжалостным образом, и притом немедленно: взрывом, увечьем, ранением.

…Случайно или нет, на прокате листового железа работает целое село фабричных крестьян… Все пожилые люди, имеющие собственные домики и хозяйства при старинном вятском заводе. Крестьяне, не бегавшие ни от белых, ни от красных, и выброшенные теперь на пролетарскую улицу разорением своего барина – завода, пустившего их по миру, как раньше дедушка проигрывался в карты. Они не могут забыть ни старого режима, ни своих покинутых деревень, долго живших под кнутом, но сытно, в собственном домике, при собственной корове… Эта деревня у станка ни одного человека, ни единого не дала в ленинский набор. Молча отказала.

…Товарищ Юферов – тоже большевик… старый штейгер. На вопрос о том, какая же последняя мысль, какой внешний толчок заставил его вступить в ленинский набор, товарищ Юферов дал ответ, от которого мрак этой ямы повел черными бровями, а воды, мокрые лапти, зарплата, все колышки, которыми измеряется рабочий быт, потеряли вес и значение.

– Я в партию пошел, чтобы буржуазия заграничная смотрела на нас не так, как на ничтожество».

Глава 30
НАДЕЖДА ЛИТЕРАТУРЫ

Голос музы высок и щедр.

Л. Рейснер о Рильке

Возвратившись из одной поездки, Лариса Михайловна уже мечтала о другой. Когда она приходила в редакцию «Известий», к ней тянулись сотрудники. Где бы ни появлялась Лариса Рейснер, она приносила ощущение свежести и воодушевления.

«По длинному коридору кто-то удаляется, звеня коньками. На лице замредактора, обычно сморщенном, оживленье: очевидно, он только что спорил, доказывал, хмурился и улыбался. Одним словом, испытал всю гамму переживаний, связанных с настоящей, живой, человеческой беседой. Будьте уверены, что здесь побывала Лариса Рейснер. А вот иные воспоминания. Дело происходит в маленькой провинциальной шершавой редакции. Время – лето. Сотрудники, в сандалиях на босу ногу, тщетно борются с летней истомой. И вдруг… – „Откуда?“ – „Из Москвы“. – „Кто такая?“ – „Журналистка, Рейснер Лариса“. После этого быстрый вихрь косовороток и сандалий вниз по лестнице. Остается один секретарь, совершенно босой, бритоголовый, в спортивной фуфайке. „Товарищ, где же сотрудники?“ – „Товарищ, они, знаете, побежали бриться…“» (Вера Инбер).

«Из своих частых поездок она привозила такой богатый запас тем и наблюдений, что иногда почти терялась… – „Ну, когда я буду все это писать?“ – задумчиво капризно говорила она, прищуривая глаза… В Рейснер всегда поражало ее уменье одинаково, без всякой натянутости и подчеркнутости, вести себя с самыми разнообразными людьми. В разговоре с родниковским рабочим и белорусским пастухом Лариса Михайловна, не позируя и не подбирая выражений для так называемой простой речи, держалась с исключительной естественностью» (Николай Смирнов).

На Советской площади находилось московское отделение ленинградской «Красной газеты». Это было бойкое место для дружеских свиданий, в «угрюмой от полутьмы редакции» перебывало много известных писателей, журналистов, художников. Лев Рубинштейн, чью елочку для нового, 1918 года подарил Ларисе Рейснер начальник морского училища на Елагином острове, увидел возле этой редакции свою давнюю

незнакомку:

«Часто бывал здесь суровый и неспокойный М. Булгаков, всегда удивленный И. Бабель, В. Инбер, широкоэкранный Д. Бедный… Вошла лучисто-праздничная Лариса Михайловна Рейснер.

Праздничная, но не праздная – независимая. Сдержанно кивая головой то одному, то другому, прошла… к заведующему отделением. Заведующий говорил громко, часто щелкая языком, и шумел как целый базар. Слышно было, как прелестно смеялась Рейснер.

– Пойдем отсюда, – сказал мне Уткин.

А мне почему-то не хотелось уходить. Иосиф хитро прищурился: он меня понял. Хотелось еще раз увидеть, когда будет выходить Рейснер… Сколько о ней, оказывается, знал Уткин!.. Иосиф задумался. Потом вполголоса запел:

Плыви, мой челн, и в этом рейсе
линкор старинный не задень,
где, может быть, Ларисы Рейснер
Бессмертная проходит тень…

Из редакции выходит она. Я чувствую, что краснею. Иосиф замолчал.

– Я где-то ваш голос слышала, – повернулась ко мне. Краешком глаза покосилась на Иосифа. И ушла, больше ничего не сказав.

– Ка-ка-я! – с восторженной злостью сказал Уткин. Когда курьершу «Красной газеты» Клавдию Петровну отправляли с пакетом к больной Ларисе Михайловне, Иосиф Павлович чуть ли не на колени бросился перед нею.

– Клавушка Петровушка, – умолял он, – отдохните, а я за вас схожу.

Клава души не чаяла в Ларисе Михайловне, поэтому ни за что не уступала Уткину случай побывать у Рейснер.

Когда я готовил в набор «Гамбург на баррикадах», издание 1932 года, зашел ко мне в издательство «Молодая гвардия» Уткин. Он долго всматривался в портрет Рейснер.

– «Стихи о Прекрасной Даме» – у Блока. А если я так же назову стихи, которые посвящу Ларисе Рейснер? А?» (Л. Рубинштейн «На рассвете и на закате»).

Был, естественно, и другой полюс отношения к Рейснер. Некто Данилов, видимо обиженный Ларисой, писал ей: «Я себя еще 200-летним не чувствую, но все же, всё то, что связано с жизнерадостностью, мне как-то становится все более и более

далеким – а когда я это вижу в других – меня это злит». В апреле 1925 года Лариса Рейснер написала «Заявление в партийную ячейку газеты „Известия“ о конфликте с редактором газеты Стекловым»:

«В январе 1925 г. я была привлечена редакцией „Известий ЦИКа“ в число ближайших сотрудников газеты. Принимая на себя эти обязательства, я предупредила т. Стоклицкого, что пишу редко, только тогда, когда есть в голове действительно серьезная мысль, что писать статьи о чем попало и как попало, лишь бы нагнать побольше строк, я не умею и не буду. На что мне было сказано, что никто не собирается делать из меня репортера, что редакция постарается использовать меня в том роде, где я всего сильнее – в очерке, дающем широкую картину быта, борьбы за увеличение производительности труда и т. п.

Все шло прекрасно, пока заместителем т. Стеклова и т. Стоклицкого не оказался т. Эрде – может быть, хороший товарищ, но имеющий весьма приблизительные понятия о том, что такое обязанности редактора. Не предупредив меня ни единым словом, он вымарал специально приготовленный для женского дня фельетон (так тогда назывались очерки. – *Г. П.)* «Старое и новое». Могу сказать, что за всю десятилетнюю работу в литературе никто и никогда на моих статьях не делал таких циничных и разухабистых резолюций, как т. Эрде. Статью без моего ведома носили в женотдел ЦК, откуда дело передали обратно на усмотрение редакции, найдя фельетон, быть может, не совсем подходящим именно к женскому дню, но, впрочем, написанным очень хорошо и отнюдь не еретически. Достаточно сказать, что этот фельетон идет в ближайшем номере «Прожектора».

С тех пор началась форменная травля. Из трех фельетонов, представленных за последний месяц: «Старое и новое», «Гетто» и «Мещанин», прошел только один и то в урезанном виде. Я бы охотно подчинилась приговору редактора, если бы знала, что он справедлив и беспристрастен. Но мне сообщил т. Стоклицкий, что т. Стеклов буквально не мог слышать моего имени после истории с Эрде. В ответ на всякое мое обращение он, по словам товарищей, кричал, что я ничего не делаю, что мною страшно недовольны все сотрудники и т. д. …

И в пять минут мне было заявлено т. Стоклицким от имени Стеклова, что с 1 числа я больше не состою штатным корреспондентом… В переводе на русский язык меня, все-таки не новичка в литературе и члена партии с 1918 г., без всякого предупреждения выбросили вон так, как в старое «доброе» время буржуа гоняли свою прислугу. Вдогонку мне было сказано, что я самый плохой сотрудник газеты, не выполняю нормы и т. д.

Несколько слов об этой норме:

1) трудно выполнять норму, когда редактор в месяц вырезает по 800 строк,

2) на меня, очевидно, имея в виду мою партийность, навалили норму в 7000 строк, между тем ни в «Правде», ни в других наших газетах такой огромной нормы не существует,

3) так как я пишу не воду, а художественный фельетон и не привыкла изо дня в день переливать из пустого в порожнее на страницах газет, то еще недели три назад просила редакцию сбавить эту норму, ответа, однако, не получила…»

Лягнул Рейснер и Демьян Бедный: выступая на конференции пролетарских писателей, назвал ее «нарочито-изломанной, жеманной». Но редакция «Правды» осудила его выступление как «отрыжку комчванства» (Правда. 1925. 15 января).

Один из знакомых Ларисы Рейснер – Владимир Лавров, приглашавший ее приехать на Алтай, писал ей из Сибири 6 апреля, то есть в те дни, когда она осталась без работы:

«Сволочь Демьян! „Нарочито-изломанная, жеманная“. Со злобы это он, что ли? С зависти? Где же это он „жеманность“ нашел? Л. М., у меня сейчас есть… пума. Сжалась, напряглась, дрожат от напряжения клубки мышц – вот сейчас, через мгновение прыжок! Сила! Такой же, как эта пума, и ваш стиль… Ничего не понимает Демьян!.. „Афганистан“ – лучшая ваша вещь… Почему-то вспомнился мне каток. И здорово же вы катаетесь!»

Партийная комиссия вынесла на суд общественности недостатки «Известий», Ю. Стеклов был снят с должности ответственного редактора. По предложению М. Калинина Президиум ВЦИК СССР с 19 июня назначил редактором И. Скворцова-Степанова. 17 июня вышла резолюция ЦК «О политике партии в области художественной литературы». Года на три писателям-«попутчикам» (то есть непролетарского происхождения), как их назвали А. Луначарский и Л. Троцкий, стало легче дышать. Для «попутчиков» и были возрождены толстые журналы, уничтоженные к середине 1920 года. Л. Троцкий, влюбленный в искусство, писал в книге «Литература и революция»: «Развитие искусства есть высшая проверка жизненности и значительности каждой эпохи… Подлинная человеческая культура внеклассовая».

В январе 1925 года к Ларисе Рейснер обратился Госиздат с предложением написать вступительную статью к альбому автолитографий Е. Е. Лансере «Ангора». К сожалению, Лариса Михайловна не успела этого сделать. В феврале ее направили корреспондентом «Известий» на судебный процесс в Минск.

«Наследие гетто»

О судебном процессе сельского корреспондента и секретаря сельсовета Григория Лапицкого писала вся центральная печать. Это был сложный процесс по делу о преследовании селькора зажиточными крестьянами белорусской деревни, которые занимали официальные посты в органах советской власти, занимались незаконными поборами, обогащались за счет односельчан. Нелегко было распутать клубок доносов, краж, интриг. В гостиницу «Европа», единственное тогда в Минске четырехэтажное здание на бывшей Соборной площади, к Ларисе Рейснер приходило много людей: крестьянки из деревень Жирховка и Кабановка Стрешинского района, журналисты, партийные работники, рабочие завода «Пролетарий»…

В своих корреспонденциях Лариса Рейснер не сдерживала гнев. Ведь крестьяне «отождествляли советскую власть с такими, как Овсянников, – сказала она комсомольцу и начинающему журналисту Мише Златогорову, – понимаешь, как это опасно? Только теперь, говорят они, открылись у них глаза». Ее гнев был направлен против самодуров с партийными билетами, ведь они «больны чиновничьим атеросклерозом, превращающим в дрянные чернила кровь революционеров».

«– Чувствую, – рассказывала Лариса Михайловна, – что на процессе что-то недосказано. Отзываю Лапицкого и говорю: „Послушай, товарищ Лапицкий, приходи ко мне вечером. Поговорим“. Лапицкий пришел. Почти вся ночь ушла на отчеканивание стиля статьи, а утром был передан по телеграфу в „Известия“ подвал-фельетон о бывшем городовом Овсянникове, до тех пор незаметной фигуре в процессе, привлеченной в качестве свидетеля. Когда газета с фельетоном пришла в Минск, ее держали перед собой и судьи, и по дсудимые, и свидетели… статья имела свое следствие. Овсянников из свидетеля был превращен в подсудимого» (статья М. Живова в «Известиях» от 11 февраля 1926 года).

От Соборной площади к речной долине спускались узкие улицы, которые вели в район Немиги или Нижнего рынка. Лариса Михайловна попросила Мишу Златогорова пойти с ней на Немигу. До революции там находилось гетто, и этот район был заселен еврейской беднотой. М. Златогоров вспоминал:

«– Мне сказали, что на Немиге в семье портного Каштана недавно повесился мальчик. Ты знаешь об этом?

– Об этом трагическом случае я слыхал. Говорили, что Хаим Каштан повесился из-за того, что не имел сапог, чтобы ходить в

школу.

– Хочу поговорить с его мамой. Помоги мне разыскать их дом.

Шли мы неторопливо. Рейснер часто останавливалась. То она смотрела на остатки полуразрушенной, изогнутой по склону холма монастырской стены. То останавливалась у раскрытых дверей синагоги. То, чуть шевеля губами, вслушивалась, как торговки в рыбном ряду крикливо зазывали покупателей:

– Вайбеле, вайбеле, а решт фиш! (Женщины, женщины, берите остаток рыбы!)

Она заходила в крохотные, тесные лавчонки. Жалкий товар помещался весь на одной полке. Торговали всякой мелочью – шнурками для ботинок, английскими булавками, катушками ниток. Рейснер часто вынимала кошелек.

В тесной бедной квартирке Капланов посреди полутемной комнаты стоял длинный портновский стол, на нем – обрезки материи, ножницы, тяжелый утюг. Дома была только мать Хаима. Она удивилась, что незнакомая русская пришла посочувствовать ее горю… Я это отчетливо помню, – как на ветхом диванчике сидели рядом две женщины, такие непохожие, – и обе плакали… Мать погибшего мальчика говорила, как боялся Хаим сутулиться за портновским столом, что бегал на стадион смотреть на гимнастов и что уроки учил по чужим учебникам, потому что денег на книги не хватало, а вот на МОПР откладывал по 2 копейки в месяц. И что в синагогу не ходил, и отец за это ругал. Да, сапоги у него развалились, купить новые сразу не могли, но кто же мог подумать, что мальчик решится на такое?»

Уезжая из Минска, Лариса Михайловна подарила Мише Златогорову свою фотографию с надписью: «21. 2. 1925. Дорогой поэт, товарищ Мишка. Пиши милый, радуйся жизни, люби партию, как любишь, – и слушай, слушай, что говорят старые женщины на улицах гетто. Лариса Рейснер».

Через год, 11 февраля 1926 года, в минской газете «Звезда» Л. Нейфах писал, что Ларисе Рейснер пришлась по душе «наша серая, сермяжная Белоруссия» и она обещала приехать на более долгий срок через год, но помешала смерть.

Одно письмо из Белоруссии от беспартийного крестьянина Андрея Якимовича – «Ларисе Рейснер и А. Зоричу» – поражает мудростью: он считал, что процесс превратился под конец в шабаш ведьм.

«Разрешите идти напрямки. В Вашем лице я вижу подлинных художников слова. Я рад за Минск, рад за „Звезду“, празднующую свой бенефис, помещая Ваши крепкие хирургические статьи. Чего стоит: „Лесной человек“ Рейснер или „Неизвестный гражданин“

Зорича. Ваша роль благодарна и своевременна. Но зачем Вы участвуете в недостойной игре? Зачем перегибать палку?..

Я этим не хочу сказать, что не нужно железным утюгом выводить такие пятна из советской жизни, как Овсянников и Жироков, но Домбровский и Маршаков во всяком случае ничем не хуже воспетого Вами Лапицкого, пожалуй, они честнее. Зачем же Вы окружили ореолом стоицизма и бескорыстности Лапицкого и повергли в прах этих двух незадачливых работников Советской власти?.. Этот же фарс незамедлительно станет известным буржуазной прессе, которая вправе будет перед своими рабочими низвергнуть Вас с пьедестала неподкупной Советской прессы…

Вы так рьяно взяли под свое могущественное крыло такого многогранного «типа», как Лапицкий… от этого парня крепким запахом авантюризма, антисоветского упрямства отдает. Проверьте это, задумайтесь над этим… Потом еще одна вещь недопустимая. Зачем это в зал суда несутся приветствия и пожелания от Позднякова, Садовских и др.? Это слишком напоминает собою карканье воронья, чующего запах свежей крови. Возвратившись в Москву, скажите, кому следует, что нам давно уже нужно прекратить этот шабаш ведьм. Ведь это же позор на весь мир, «крови и зрелищ», и это на восьмом году Новой Эры! Гадко и мерзко. Пишущий эти строки с восторгом в «Правде» читает Сосновского, Зорича и Кольцова и в «Известиях» Ларису Рейснер, Юрия Стеклова и др. Будьте бесконечно строги к себе… Если же Вы на каком-нибудь паршивеньком фарсике, вроде дела Лапицкого, покроете ржавчиной Ваше перо, тогда Ваша литературная деятельность будет иметь обратные результаты… Простите за дерзость совета, но пишу Вам, как верный друг и горячий Ваш сторонник. Беспартийный крестьянин Андрей Якимович. 18 февраля 1925».

Так и кажется, будто руку нам через сто лет протянул этот умный крестьянин Андрей Якимович.

В архиве Рейснер немало более типичных для народа писем. От селькора И. А. Башнака (Гомельская губерния, п.о. Носовичи, с. Грабовка), который называет Ларису более привычным среди народа именем:

«Дорогая и многоуважаемая Раиса!

Я впервые познакомился с Вами через т. Лапицкого. До встречи с Вами я был враг интеллигенции, не верил им ни на одну йоту. Опыт борьбы доказывал, что интеллигенция, соль земли, не может мириться с черной костью и держит себя свысока. Даже в настоящее время я сталкиваюсь с работниками центра, держащими себя слишком консервативно, еще много предстоит ломки. Ваше (неразб.) обращение, не кичливость, не

брезгование и откровенность перевернули у меня душу. Теперь я понял есть интеллигенты – союзники трудового народа, и в союзе рабочих и крестьян с интеллигенцией наше дело будет жить и застраивать культуру».

Сиделка из родниковской больницы (Иваново-Вознесенской губернии) просит Рейснер написать заметку о коммунисте, имеющем трех жен, а «дети от них – нищета».

В архиве сохранились и письма из бывшего гетто. М. Самуйлова благодарит Ларису за ботинки, купленные ее дочери. И таких благодарственных писем в архиве десятки.

А причины рейснеровской излишней категоричности по отношению к тем, кто обижал других, и преувеличение благородства обиженных, о чем писал Якимович, коренились в жгучем сострадании Ларисы Михайловны к людям и, конечно, в неуемном ее темпераменте.

Тридцатый день рождения в Висбадене

У меня оказалось в Германии большое имя.

Л. Рейснер

В заявлении в редакцию «Известий» в январе 1925 года с просьбой принять штатным сотрудником Лариса Рейснер оговаривает условия: «В течение года я имею право, по крайней мере, на пять командировок в более отдаленные производственные центры Союза. На этом пункте я особенно настаиваю, так как лучше всего удаются мне именно живые очерки, путевые заметки. Подчеркиваю, что к сидячей работе, кабинетной, неподвижной я совершенно не способна».

В выданной ей расчетной книжке № 523 указана месячная ставка – 100 рублей 50 копеек; отчисления – 2 рубля. По сравнению с зарплатой уральского рабочего-специалиста – 38 рублей – немало. Но может быть, на Урале через год стало чуть легче? В этой же книжке приведены условия работы: 8-часовой рабочий день. Нерабочие дни: 1 января, 21 января – день траура по Ленину, 9 января (1905), 12 марта – День низвержения самодержавия, 18 марта – День Парижской коммуны, 1 мая – День Интернационала, 6 июля – День принятия конституции, День образования Союза ССР, 7 ноября. Предпраздничные дни – 6 часов. Нормальная длительность рабочего времени для лиц, занятых умственным и конторским трудом, – 6 часов. Отпуск – не менее двух недель через 5,5 месяца после начала работы.

В справочнике «Вся Москва» за 1925 год указаны особые дни отдыха: 18, 19, 20 апреля – Пасха, 2 мая, 28 мая – Вознесение, 8 июня – Духов день, 6 августа – Преображение, 15 августа – Успение, 8 ноября, 25–26 декабря – Рождество. Революция провозгласила щедрые условия труда! Девять советских праздников и 11 церковных. Если бы только зарплата была больше и ее вовремя платили. А для журналистской работы 6-часовой рабочий день – фикция.

Командировки насыщены новой информацией, в которой надо разобраться. Дни наполнены бесконечными встречами с людьми, их просьбами, а потом по ночам писание очерков; все это выматывало не слишком крепкое здоровье Ларисы Михайловны. «Весною жестоко разыгралась моя старая тропическая малярия, я буквально стала терять работоспособность и после консультации с проф. Нечаевым и доктором Цейсом решила ехать в Гамбург

лечиться в тамошний тропический институт, конечно, за свой счет, а не „Известий“», – пишет Рейснер в записке о конфликте со Стекловым. Она просит выдать ей вперед жалованье за два месяца и 100 рублей аванса в счет гонорара – «…я дам для газеты целый ряд очерков из жизни немецкого рабочего, буржуа, интеллигента».

Двадцать второго апреля 1925 года из Гамбурга Рейснерам пришла телеграмма в Пятый дом Советов: приняты в институт. Родители отвечают Ларисе и Игорю, который тоже лечится от малярии: «Мы ждали, что Лери свалится, иначе быть не могло».

Ю. Либединский запомнил рассказ Ларисы Михайловны о тропическом институте: «Ну, кто мог лежать в таком институте? Конечно, всякого рода колониальные хищники, авантюристы и конквистадоры, англичане, немцы, французы, голландцы… Я была единственной женщиной и к тому же коммунисткой… Они таращились на меня, но старались быть галантными. Среди них был заболевший малярией уже в Европе индус. Они все сторонились его, как „цветного“. Он сидел за одним концом табльдота, а они все за другим. Я, поняв ситуацию, села с ним рядом. Так-то!»

Затем брат и сестра Рейснеры переезжают в Висбаден. На курортной карте фрау Рейснер (пользование источниками с 29 апреля по 25 мая 1925 года) значится: «Климатический курорт Нероберг, расположен в 245 м над уровнем моря в горном лесу. Ландшафтный курорт лучше всего подходит и рекомендуется лицам, испытывающим потребность в отдыхе, и людям с расстройством нервной системы». Лариса и Игорь послали родителям фотографию неробергского отеля с отмеченными окнами на последнем третьем этаже. И фотографию, на которой они запечатлены с теннисными ракетками.

В 1894 году в Висбадене проводили свои «медовые месяцы» Александр Бенуа с женой. «Безупречно чистенький отель „У ангела“. Висбаден „милый, уютно старосветский и провинциальный“ после 10 часов затихал совершенно… Поднявшись на подъемнике до верхушки невысокого холма Нероберг, можно было любоваться прекрасным видом. Более приятное впечатление оставила по себе экскурсия в коляске до руин Соненберг». Лариса о Висбадене не написала (или ничего не сохранилось). Игорь через месяц уедет в Россию, а Лариса останется в Германии вместе с Карлом Радеком.

Может быть, в очерке «Старое и новое» косвенно отразились дни пребывания в Германии? «Тогда она проволокой воли затянула зияющие шрамы своих женских обид, оборвала глупые ветки нежности, тянущиеся к свету после счастливых ночей. Труд,

ничего кроме труда – труд, прерываемый гальваническими вспышками физических влечений».

Тринадцатого июля Екатерина Александровна сурово выговаривает дочери в письме: «Получили два твоих тяжелых письма. Для нас они не были неожиданностью – мы давно поставили оценку, мы видели, читали и сами наблюдали мещан этой национальности и знали наперед развязку, но… Не писала Тебе, потому что было тяжело – ведь Ты дала мне слово не ехать за границу вместе, пока все официально не будет оформлено, но данное слово мне Ты забыла легко… ну, да что толковать, мы инстанция для зализывания ран, но с обещаниями, данными нам, с нашими мольбами, просьбами, слезами… это все „родительский вздор“. Такие истории будут сопровождать Тебя те последние 6 лет молодости, которые тебе остались, если Ты не перестанешь насиловать себя и себе и нам врать».

Установленный Екатериной Александровной возраст молодости перекликается с мнением 35-летнего Блока, который писал матери: «Однако мне все еще можно сказать, как Дон Карлос сказал Лауре: „Ты молода, и будешь молода еще лет 5 или 6“».

Полтора года назад Екатерина Александровна была также категорична по отношению к Раскольникову, о чем вспоминает в письме: «Напрасно ты скрыла от нас, что мы были большим камнем в Ваших спорах… Ненависть именно к нам заливала его больное сознание… Конечно, меня пугают, что он заболеет, но я думаю, это преувеличение, партия его спасет. К. (Карл. – *Г. П.)* будет с ним говорить сам… Конечно, около Твоего имени сейчас партийные окуровцы лижут языками, обвиняют Тебя, что Str. одевал тебя и вот амазонку сшил тебе он, а деньги ты внесла после его ареста, ладно; бутылка рисуется своим умом и знанием людей, он-де сам отказался от тебя, ладно. Пишу это для того, чтобы Ты знала, что такое общественное мнение, и вряд ли Тебе, начинающей самостоятельную жизнь, удобно так плевать на него, как это делали твои неумные старики.

…Вчера умер Тэки. Проболел 10 дней, со всеми попрощался (Тэки – такса, которая долго жила с Рейснерами. – *Г. П.)*.

Мой ненаглядный дорогой дружок и собачье крылышко тож, бесконечно много плакала после ухода К. – слушала его теплый искренний тон, в котором он излагал историю Твоего вывиха и необходимых костоправных манипуляций – много так, много нет. Ошибки, сделанные мною при вашем воспитании, ужасающи, но и революция, не давшая довести Ваше образование до конца, сделавшая Вас верхоглядами и беспочвенными, – тоже руку приложила. Но… призвание, поруганное призвание самим

человеком, несколько раз в жизни проходит мимо него, протягивая ему руку…

Будь здорова, моя дорогая писательница, о, если бы Ты пошла по призванию и бросила всю эту суету детей, жен и слабых мужей. Отец Тебя целует и, конечно, недоволен, что я резко написала Тебе… ну, да, всегда так было. Обнимаем и любим до слез».

В 1924 году Екатерина Александровна писала дочери иначе: «Люблю, целую, верю в чистую любовь Твою. Твоя К. Р.».

Михаил Андреевич в одном из писем уверен, что понимает дочь: «Твой внутренний дом населен удивительной публикой – гениальный поэт сидит рядом с маркизой Помпадур, Лассаль помещается возле какого-то забулдыги и Маркс нередко оказывается в соседстве не только с Жанной д'Арк, но и самой несчастной мещаночкой-женой. И всю эту разношерстную команду надо приспособить к мирному житью… Элементарный учебник психологии скажет тебе – чем богаче и разнообразнее силы и глубже основания, тем больше сил и времени придется потратить на постройку машины… Ты мне закидываешь словечко насчет моего ученика („смотри отец, у тебя еще будет ученик – дочь“). Милая девочка, это большая моя травма… Я убедился, что ты очень хотела бы большего сближения между мною, вернее нами с матерью и партией. Опять ошибка… Каждый хорош только там, где он делает такое дело, которое он один может делать лучше всех. Мое дело – политическая теория. Я политик до мозга костей, и вы с братом политики. Но я политик-теоретик. И мне нужен кругозор, который не заслоняли бы текущие моменты. Я не тактик и не стратег. Но теоретик стратегии. Моя страсть к наблюдательной вышке неистребима. Но у меня бывают те же моменты пошлого тщеславия, как у тебя, и тогда мне хочется, чтобы люди меня признали. Истины мои суть истины завтрашнего дня… Что же касается твоего положения, то и тебе надлежит определить „дистанцию“, „аппаратуру“, при помощи которых ты независимо от удовольствия Ивана, Петра или Семена станешь делать свою работу с наибольшей производительностью».

Когда читаешь переписку родных, но таких разных людей, удивляешься: как они достигали понимания? Письма кажутся зашифрованными. А может быть, недостает промежуточных писем.

«Мои Мушки и родители! Во-первых, о творчестве, как о важнейшем. Написала нечто: „Ullstein Verlag“ (очерк „Ульштейн“ для книги „В стране Гинденбурга“. – *Г. П.)*. Кажется, одна из лучших моих будет вещей. Начала «Рур». Привезу домой полный груз. Во-вторых, мои письма относились к периоду кризиса,

который пережит и кончен раз и навсегда. Мне не хочется об этом писать – но как люблю маму: никто не хотел меня поломать и никто бы этого не позволил. Если я сегодня чего-нибудь боюсь, то не мелочных напастей, а большого солнечного света, тяжести, которую, быть может, тяжелее всего нести человекам: тяжести безоблачного и полного счастья.

Мы умели быть легкими и счастливыми, будучи придавлены злым дубовым комодом. Теперь вопрос о том, сумеем ли сохранить эту ясность и вечную свежесть на вольном воздухе. Я не боюсь и не сомневаюсь. Кто проиграет в этой большой игре – прав и богат перед собой и «святым духом»… Всю жизнь ищут, и всю жизнь боятся встретить этот свой неизбежный час жертвы и самоотречения (последняя фраза зачеркнута. – *Г. П.)*. Мы вместе в Берлине. Завтра летим аэро на юг. Затем К. один – домой, я еще 3 недели попишу.

Получила очаровательное письмо от новых «Известий». Пишу и для них. Из намеков видно, что поставлен вопрос о посылке меня в Китай. Вот тебе и Скворцов! Кажется, редактор с чутьем. Еще больше вошла в немецкую grosse Press (большую прессу. – *Г. П.)*.

Вчера ужинали у Бернхарда, который тебя, папа, помнит. Ничего, эти вечера в бесплодном, как электричество, свете интеллектуальных солнц тоже не пропадут даром. Хорошо знать, как роятся песчинки мозга у людей тонкой и враждебной культуры. Ненавижу и очень понимаю. Очень интересный круг возле «Квершнитта» – они показали галереи, библиотеки, несколько садов и фасадов – лучшее, что осталось от старопрусской культуры – Меринга, Фейербаха, Тома и Ронера. Но это все, когда приеду. Целую Вас очень. Не надо за меня бояться. Ни разу еще, даже в худшие дни, не сожалела ни о чем. «Вот он, от века назначенный наш путь в Дамаск…» Но по большой любви – большие будут жгучие слезы Мушки, а главное, насчет творчества – нет никаких причин для недовольства. Есмь и буду.

Затем: у меня в Германии большое имя. Оно звучит гордо, и ношу его с честью и не как привесок к кому-то, а сама по себе; бываю, дружу и враждую».

Последние строки последнего письма из Германии: «Помнишь т. Хитрово, Ангел обмеривает сердце. Какой длины ниточка, такой крест. В этой глупой и ненужной форме – крест кончился. Срублен и брошен в печь. Маме прилагаю платье и туфли… Если может, пусть дошлет хоть 3 червонца. Если нет, обойдусь так. Костюм он получит. Как мы покупаемся в Крылацком».

Всеволод Рождественский рассказал еще одну легенду: будто бы Лариса Михайловна, возвращаясь в Россию, перешла на спор русскую границу нелегально, пешком. Ее не заметили, и она выиграла пари.

Старшие Рейснеры давно пребывали на даче, опять в Кунцеве, варили земляничное варенье, болели, У Екатерины Александровны, если не ошибаюсь, тоже случались приступы малярии, привезенной с Каспия. Екатерина Александровна пишет дочери, что теплая комната на даче для нее приготовлена.

Именно в Кунцеве летом 1925 года Лариса Михайловна написала книгу очерков «В стране Гинденбурга», которая уже в 1926-м была выпущена издательством «Правда» массовым тиражом. А главу «Ульштейн» многие признали шедевром.

Правые и военные силы Германии добились, что Гинденбург, начальник Генштаба, уже зарекомендовавший себя жестоким подавлением революционных выступлений, стал президентом страны. В 1932 году он будет вновь избран президентом, а в начале 1933-го передаст власть фашистам, поручив Гитлеру формирование правительства.

В последнем письме из Германии Рейснер пишет о посещении редакции журнала «Квершнитт», который издает Ульштейн, глава гигантского газетного концерна. Журнал – об искусстве, на веленевой бумаге для нескольких сот подписчиков. Из главы «Ульштейн»:

«Этот журнал лилия, которая как бы совершенно не связана с кучей навоза, из которого растут такие вульгарные злаки, как Бацет и „Иллюстрированная“. Она плавает на поверхности ульштейновских миллионов, благоухает о негрской пластике, о блеске ботфортов старого Фридриха на картинах Менцеля. Дает очень художественные и очень голые, на знатока рассчитанные картинки. Когда старик Ульштейн видит все эти утонченности, то фыркает и ругается. Но… пусть себе Аполлоны роятся, они не приносят дохода, но зато привлекают в дом людей состоятельных и со вкусом. В прихожей хорошо иметь классическую Венеру.

…Фундамент, на котором сегодня стоит Ульштейн, – агитпроп пошлости. По существу, это ноль, ничего, минус. Тридцать две страницы слабительной легкости. Дырка, просверленная в будуар знаменитой артистки, щелка, через которую всякий может подсмотреть, как купаются красивые женщины. Обрывок романа такой выпуклости и быстроты, что его можно было прочесть в уборной. Рекламы. Свадьба принца. Еще реклама. Десять страниц рекламы…

Старый добрый Ульштейн поступает с литературой так, как верблюд с фиником. Своего читателя он заставляет отрыгнуть и

пережевывать снова. Продавщице, учительнице, почтовому служащему необходима вера в счастье. Мелкий буржуа должен знать, что без кровопролития, без насилия, без борьбы честный человек может достигнуть всего – виллы, автомобиля, собственной лавки… Что Толстой, что Гёте по сравнению с г-ном Вебером, написавшим «Да, да, любовь»… Нельзя переоценить услуг, которые эти фабрики буржуазной идеологии оказали правительству во время войны. Армии людей дали себя зарезать под кокаином их литературы. И никогда без помощи газетных трестов не удалось бы правительству выкачать из масс все те миллионы, которое оно выкачало на военный заем».

В очерке «Крупп и Эссен» Рейснер дает историю завоевания рынка сталью Круппа: «Как чайные ложки или наволочки владетельной семьи, так и города Рура, его улицы и заводы и шахты помечены именем Круппа… Фабричные трубы стоят, вытянув шеи, подавленный богатством, оглушенный запахом денег, город бежит мимо… Крупп, как кур, передушил своих слабых соседей, проглотив или насильственно слив их владения со своими в форме акционерных компаний… Далеко на юге Германии, на Руре, день и ночь дымились заводы, пылали печи, лился и плавился металл, изготовляли пушки, ружья, мортиры, гаубицы, взрывчатые вещества для всякого, кто за них мог заплатить. Это был арсенал мира».

Рейснер дает слово не только измученным рабочим, их женам, не только Ульштейну и Юнкерсу, но и самой послевоенной земле: «Мир облился кровью, сделал судорожную попытку освободиться и, наконец, затянулся тонкой коркой стабилизации с зияющими черными полыньями голода и безработицы».

Став на день разносчиком молока в многоквартирном доме, Лариса Рейснер постигает жизнь не только с самолета, но и изнутри: «Пока берут молоко, есть надежда. В жалкой игре жизни дети – последняя ставка. Шаги молочника на лестнице вонючего дома, это – шаги судьбы… С первого взгляда мне показалось, что эссенский горняк или металлист живут лучше нашего. Воротничок и манишка, чистая обувь, приличная шляпа… Немецкий рабочий отказывает себе в самом необходимом, недоедает, недосыпает, лишь бы прилично одеться и не выделяться в толпе своим бедным платьем. Культурные потребности его бесконечно выше наших. Он никогда, пока нищета не переломит его костей, не оденет грязной рубахи, не потерпит в своем доме клопа или таракана».

Сейчас мы проходим уроки частного предпринимательства, и как они похожи на европейские 1920-х годов. «История – это

история состояний сознания», – определил В. Налимов. Эти состояния повторяются.

Уже в августе «немецкие» очерки Л. Рейснер хлынули на страницы «Известий», ленинградской «Красной газеты» и далеко не все они вошли в книги. «Берлинская газета» 9 февраля 1928 года констатировала: «Писать о Круппе невозможно в течение нескольких десятилетий после того, как гениальная Лариса Рейснер описала свое путешествие через „Страну Гинденбурга“».

Нина Азарьевна Итина, сестра Вивиана, писателя и друга юности Ларисы, описывая «заквартирье» Рейснеров, передала и рассказы Ларисы Михайловны за чайным столом о ее поездке в Германию: «В высшие сферы ей помогала проникнуть немецкая фамилия – фон Рейснер. Много за свой короткий век интересного написала Л. Рейснер. Но самым удивительным остается она сама, слитая, казалось, из несовместимых черт в единый образ незабываемой яркости».

Алеша

В этом «заквартирье» с 1925 года, скорее всего с лета, стал жить 12-летний беспризорник Алексей Макаров. В начале этого года Лариса Михайловна вновь побывала в Екатеринбурге, совсем недавно ставшем Свердловском, и написала очерк о свердловском художественном техникуме «Слово из мрамора», опубликованный в журнале «30 дней» (№ 4, 1925). «Школа – живое олицетворение живущей в массах художественной потребности. Не рассадник искусства вообще, но искусства уральского пролетариата. Ваяние как бы существует для молотобойца, кузнеца, листопрокатчика. Все они – ваятели по профессии, в которых работа воспитала чувство пространственности, безупречный глазомер и умение согласовать мускульную силу с сопротивлением материалов…

Нелегко дается это мужественное искусство. Первые люди, которых мастера вырубают по образу и подобию своему, не сразу просыпаются от каменного сна… С великой правдивостью говорят уральцы сами о себе словами из мрамора: о своей силе, о глубокой усталости, почти переходящей в смертный сон, о мягкой улыбке рослых и сильных, твердых в труде и любви женщин, и о смерти, которая продумана этим поколением до конца, как всякая другая мысль, от которой не спрятаться и не сбежать человеку».

К концу этого года глубокую усталость в Ларисе стали замечать ее друзья, коллеги-журналисты.

В свердловском Уралпромбюро работала К. Е. Макарова, ее зарплаты поломойки не хватало, чтобы прокормить семерых детей, а муж, рабочий, погиб на Гражданской войне. Два старших сына давно уже были беспризорниками. Они не хотели жить в приютах, где нередко старшие воспитанники «лупят даже воспитателей», истязают младших, где дети часто изводятся тяжелой работой или мертвящей скукой. Об обитателях приютов той поры нам осталась «Республика ШКИД» Л. Пантелеева.

В семье Макаровых на несколько дней пришлось остановиться Ларисе Рейснер. Рассказывает Алеша Макаров: «Товарищ Сулимов говорит маме: „Клавдия Ерофеевна, сегодня сюда приедет товарищ Рейснер“. Он сказал: „Лариса Михайловна“, а я не мог выговорить и подумал, что ее зовут „Бориса“… Я открыл дверь, смотрю: загорелое лицо, в белом во всем и корзина, и мама тут подоспела, взяли все. Она устала и уснула. Потом на скрипке играли, я иду со двора, она подкралась на лестницу, слушать. Я подошел, она за руку взяла, стали вместе слушать. Я назвал ее „Бориса“. Потом в тот же день мы пошли в кино с ней. Мы так сошлись, стали уж такие друзья, что на

обратном пути взялись под ручку. Она нам с Тоней купила по мороженому, мы съели его. Потом мы обедали с ней, танцевали, воопче-то веселились, она всем понравилась. Потом уж назавтра выходит Лариса Михайловна и говорит: хочу ли я идти с ней. Я согласился. Мы пошли сперва в „Крестьянскую газету“, потом уехали на ипподром. Еще сделали вечер: пели, танцевали, и Лариса сказала, что она едет куда-то, через три недели вернется, и я поеду в Москву. Наконец, вернулась, я поехал в Москву, а теперь расстаюсь навсегда с нею».

Записала рассказ Алеши писательница Лидия Николаевна Сейфуллина уже после смерти Ларисы Михайловны, вставила запись в рассказ «Алеша», помещенный в ее книгу «Простые рассказы» (1928).

«Эта последняя строчка, – пишет Сейфуллина, – самая скорбная из всех, написанных на смерть Ларисы Рейснер. Алеша, несмотря на все исхоженные пути, еще не устал, не разучился жить правильно. Скорбь не пригнетает его. Он смеется, играет с собакой около комнаты Ларисы, ушедшей из дома навсегда, потому что он ощутил здоровым своим телом, что она спасла его не для скорби, а для радования, для действия. Он устроил радио в квартире, жадно читает, очень способный музыкант и музыкой занимается с увлечением, ходит в школу, возится с товарищами. Но черные живые глаза его стали очень серьезными, когда он сообщил, глядя мне прямо в лицо: „Я от них никуда не убегу; Лариса Михайловна как хорошо меня устроила, а то разве мне хорошо было бегать-то. Здесь мне живется хорошо“. Подумал, очевидно, поискал слова, чтоб рассказать, как много сделала для него случайно встретившаяся с ним на жизненном перекрестке „Бориса“, прекрасная, большая женщина, неизменно мужественная и в бою, и в труде, и в деле милосердия, но добавил только: „Сколько она возилась с моей головой и в больнице лечила, и дома. Стригущий лишай у меня на голове был. Мне теперь жить очень хорошо. Ночью мне так жалко стало, зачем-то Лариса Михайловна померла“.

Друг Леша! всем знавшим хорошо твою «Борису» ночью жалко и страшно. Но не все знают о ней столько, сколько знаешь ты. Она была столь красива, что всегда казалась слишком богатой и праздничной для тягостных мелких жизненных забот. И немногие знали, что она мало зарабатывает, трудолюбива, слишком боязлива в оценке своих достижений и безбоязненно добра. Не убоявшись ни лишаев, ни грузного прошлого мальчика, обреченного на беспризорность, она взяла его к себе. Не рассчитывая, хватит ли у нее заработка на содержание приемыша, не оробев перед трудностью перевоспитания бродяжки и вора,

она протянула ему руку».

Мать Алеши написала Ларисе Михайловне 31 августа 1925 года, добавив несколько строк для сына Лели: «Я очень довольна вами за Ваше родственное отношение к моему Леле. Лариса Михайловна, если Вам не трудно, то черкните, как живете, как живет Леля, слушается ли он и что делает… Лелечка, слушайся Ларисы Михайловны, которая тебе может дать в будущем много полезного».

После смерти Ларисы Михайловны Алеше Макарову по ее распоряжению должны были отчислять 50 процентов гонорара за выходящие книги Рейснер, другие 50 процентов должны были идти в издательство МОПРа.

В 1927 году умерла Екатерина Александровна, в 1928-м – Михаил Андреевич, следы Алеши потерялись. Последний воспитанник Рейснеров, хочется думать, попал к таким людям, как Макаренко с его «Педагогической поэмой».

«Моя любимая Лидия Николаевна!»

Лидия Сейфуллина стала широко известна в 1922–1923 годах, когда были опубликованы ее произведения «Правонарушители», «Перегной», «Александр Македонский». Родилась она в Оренбургской губернии 2 апреля 1889 года в семье сельского священника. Была библиотекарем, учительницей, актрисой. В 1920-м в Москве окончила Высшие педагогические курсы. В Новосибирске принимала участие в организации журнала «Сибирские огни» вместе с мужем Валерианом Правдухиным, Вивианом Итиным, от которого наверняка слышала о Ларисе Рейснер. На книги Сейфуллиной в то время были очереди в библиотеках.

В 1925 году опубликовано ее самое знаменитое произведение «Виринея». С 1924-го жила с мужем в Москве. У них часто собирались писатели. В записной книжке Ларисы Рейснер, составленной 24 августа 1924 года, есть запись: «Сейфуллина – 1 Басманный пер. 10б кв.19 за Красн, ворот. 2-й».

В сборнике воспоминаний о Л. Рейснер Н. Смирнов назвал свою главку «Неотразимый образ»: «Здесь можно было увидеть и молодого крестьянского поэта, писавшего „гнедые“ стихи о башкирских кобылицах, и солидную, похожую на институтскую классную даму Ольгу Форш, читавшую своим мужским баритоном антологические стихотворения, и цыгански-смуглого М. М. Пришвина в охотничьих сапогах и синей толстовке, из левого кармана которой всегда выглядывала новая рукопись, а иногда в качестве воздушного деликатеса – звонкого Виктора Шкловского, самовлюбленно роняющего свои „бисерные“ афоризмы, вроде:

– NN не критик, а знак восклицательный к Бабелю! Нередко приходил сюда и степенный, неторопливый Исаак Эммануилович Бабель, очень подробно рассказывающий о залежах своих рукописей… Ларису Михайловну можно было узнать по звонку, – во всяком случае, Л. Н. Сейфуллина различала ее звонок безошибочно.

– Это Лариса, – говорила она, идя открывать дверь. Лариса Михайловна и здесь, как всегда и везде, не могла сидеть спокойно: с кресла пересаживалась на диван, с дивана – к письменному столу, на котором лежала рукопись «Виринеи», написанная учительски строгим широким сейфуллинским почерком. Она не могла допить чашки чая, бросалась к дремлющему в углу ирландскому сеттеру, пушистой, агатово-золотистой Тайге, потом с такой же поспешностью переходила к

книжной полке.

О литературе она говорила увлекательно и горячо. В своих суждениях была прямолинейна, иногда резка. Много рассказывала о Леониде Андрееве, собиралась писать воспоминания о нем. Мечтала о выпуске альманахов «Мой любимый писатель» и «Моя первая любовь». В них должны были принять участие лучшие современные беллетристы. В редколлегии альманахов она видела Сейфуллину и себя. Обо всем говорилось по-настоящему: темпераментно, с огоньком.

Лариса Михайловна, постепенно оживляясь, успокаиваясь, прочно осаживалась в кресле.

Было бы ошибочным представлять Ларису Михайловну скульптурно-строгой или, с другой стороны, постоянно веселой, подвижной, смеющейся женщиной. В ней проскальзывала иногда некоторая утомленная грусть, – она нередко была усталой и молчаливой, внимательно слушающей других. Слушая других, она чуть склоняла свою небольшую, гладко причесанную голову, слегка щурилась, неторопливо поигрывала бровями и подолгу смотрела в одну неопределенную точку. Обычно она завладевала разговором, ведя его с непринужденной легкостью. Она была редкостно-интересной собеседницей. Ее вызолоченный, напряженный голос звучал уверенно и удивительно ровно. Слушали ее с неутомляющимся вниманием.

Сейфуллина, не мигая, следила за ней своими темными, ночными, древнестепными глазами. Сощурившийся Бабель, тонко сжав яркие губы, старался запомнить и певучий голос рассказчицы, и играющий отблеск электричества на крыле птичьего чучела туманно-радужной горной индейки. И только неутомимая Тайга беззаботно прохаживалась по комнате, жестко выстукивая восковыми когтями и, по очереди обходя гостей, тепло опускала на их колени молчаливую бронзовую голову».

Продолжил свой рассказ писатель Николай Павлович Смирнов при встрече со мной в 1970 году:

«– Стихи Лариса Михайловна писала всю жизнь, они были огромной частью ее души. Она все время, каждый день искала чего-то, могла переобратиться во все веры. Авторитет – Бог-Дух.

Говорила о приближающейся старости. В последний год исчез блеск глаз.

О влюбленности в Ларису Рейснер Л. Троцкого (как факт и без подробностей). Троцкий думал о новой революции и Лариса примкнула бы к нему.

На одну из партийных конференций Лариса Михайловна приехала на лошади.

В споре могла дойти до слез, обижалась, была капризна».

В записной книжке Ларисы Михайловны вписаны знакомые нам имена: «Бабель (она – Евг. Бор. Белоконь), Вовсы, А. Воронский, Герсон – секретарь Дзержинского, М. Кольцов, Вл. Нарбут, Вера Инбер, Раскольников, Раковский, Пастернак, Пильняк Бор. Анд., Таиров Ал. Як., Шкловский В.».

Театр Таирова был любимейшим театром Ларисы Михайловны. Много раз смотрела она «Жирофле-Жирофля», видели ее там с Радеком. В этом театре не играли драм, только комедии, фарсы, трагедии. Кто знал, что в 1933 году, столь недалеком от 1925-го, ее любимая Алиса Коонен сыграет Комиссара в «Оптимистической трагедии» на сцене этого театра насыщенных страстей, как его называли. Изысканный Таиров, казалось бы не годящийся для советских пьес, мечтал о современной трагедии.

Двадцать девятого декабря 1924 года Лариса Михайловна послала ему телеграмму: «К сожалению, болезнь мешает мне лично поздравить прекраснейший театр Новой России с десятилетней годовщиной творческой борьбы и великолепных достижений. Лариса Рейснер».

В том же Пятом доме Советов, где жили Рейснеры, в небольшой темноватой квартире жила писательница Галина Серебрякова, которой в 1925 году было 19 лет. Она вспоминала: «…я нашла в Рейснер очень нужного мне доброжелательного критика… И мысленно прозвала ее королевой амазонок. Соразмерность черт лица, приятный взгляд светлых глаз, красивые зубы – все было безупречно. Смущал только высокий рост, величина рук, ног и всего могучего тела. Позже, бывая в Германии, я не раз встречала очень похожих на нее женщин и поняла, что она родилась образцом саксонской красоты».

Мать Г. Серебряковой часто играла на рояле. Слушать приходили Б. Пастернак, Б. Пильняк. «Я любила наблюдать, как слушают музыку: одни, поглощенные своими мыслями, отключались от нее, другие отдавались звуковым волнам, как пловцы, и лишь немногие проникались содержанием и, постигая душу ее, оказывались в иной сфере. Так именно постигал музыку Пастернак».

Галина Серебрякова вспоминает еще один дом, где видела Ларису Рейснер: «В небольшом коттедже где-то около Петровского парка Пильняк и его миловидная и так же, как муж, светски воспитанная жена, актриса одного из московских театров, на редкость радушно принимали гостей. От Пильняка, как от писателя, многого ждали. Писал он хорошие очерки… напряженно думающий, ищущий новаторских путей, сложный, умеющий любить и отстаивать себя человек».

В 1924 году в рассказе «Расплеснутое время» Борис Пильняк писал: «Мне выпала горькая слава быть человеком, который идет на рожон. И еще горькая слава мне выпала – долг мой – быть русским писателем и быть честным с собой и Россией». Пильняк помогал семье арестованного в 1936 году Карла Радека.

И все же самая крепкая дружба возникла у Ларисы Михайловны с Лидией Николаевной Сейфуллиной. Михаил Светлов даже хотел писать о них обеих пьесу. А тот же Николай Смирнов дал несколько иной образ Ларисы Рейснер в сборнике воспоминаний о Лидии Сейфуллиной: «Особенно трогательно любила Сейфуллина Ларису Михайловну. Тонкая (тонколицая), прелестная Лариса Рейснер, и русоволосая, напоминала деву гор из старинных сказок Севера. Что-то очень легкое и музыкальное, подобное мелодии Грига, чувствовалось и в ее голосе, и в легкости ее походки».

У подруг были общие черты характера: верность и требовательность в дружбе, прямолинейность, большой ум, необыкновенная доброта и нерасчетливость, эмоциональная несдержанность, обе могли впасть в ярость. Летописцы революции, они имели и похожее мировоззрение. «Прийти в советскую литературу не так просто. Это был разрыв с традицией, с большинством интеллигенции и страшная ломка всего мировоззрения», – говорила Сейфуллина, выступая в Союзе писателей (Новый мир. 1931. № 1).

Почти каждый вечер в комнате Сейфуллиной собирались друзья. Делились замыслами, обсуждали литературные новости, читали свои еще неопубликованные произведения. Когда уставали от споров, – пели, читали стихи, пили чай. Обстановка была непринужденная и сердечная. Продолжалось это, увы, совсем недолго – осенью 1925 года Сейфуллина и Правдухин переехали в Ленинград.

«11 октября 1925 г.

Лариса Михайловна!

Где Вы, неподобная и бесподобная бабенка! Жажду поглядеть на Вас, послушать Вас. С марксистской точки зрения, Вы – большая свинья, но т. к. я «попутчик» с путаной идеологией, то думаю, что в общем и целом Вы – ангел, и я Вас по-прежнему люблю. Черкните, мерзкая бабенка, хоть пару слов о себе. А лучше всего приезжайте к нам, хоть на день, посмотрите на нас, проживающих ныне в бельэтаже и распространенности на целых 4 комнаты с кухней и теплыми удобствами в соответствующей стильной обстановке. Жду ответа. Передайте большой привет К. Р. Я с ним тщилась поговорить по телефону, но телефон заупрямился. Очевидно, заподозрил меня в эротических

устремлениях. Этого не было, хотя и помираю, так он мне глянется, правда, очень его люблю. Но позвонила я, чтобы узнать, где Вы. Так и не узнала. Пребываю в горестном неведении до сих пор, извлеките из него.

Ваша, конечно, только душой, ибо тело мое Вам никак ни к чему, Л. Сейфуллина».

Ответное письмо Ларисы Рейснер написано на бланке «Известий»:

«Моя любимая Лидия Николаевна, только вот вернулась из Ялты, куда уехала на другой день после того, как Вы были здесь, и пишу Вам из мутного места, как видите, на бумажке. Чем больше времени уходит с Вашего бегства из Москвы, тем больнее болит то пустое место, где были Вы, Ваш самовар, чучела, и необыкновенное тепло, которого нигде, кроме Вашего дома, не испытывала. Пожалуйста, простите меня: какая ужасная ошибка Ваш отъезд. Кажется, тут пищит и плачет не только мой личный эгоизм, – хотя я действительно потеряла единственных друзей, какие были. До сих пор не зажил № 24, и Мясницкая, где так удивительно бывало ехать мимо мрачных этажей и тяжелых вывесок, все каких-то электротрестов, труб, бог знает чего, в состоянии глубокой влюбленности.

Долго не писала Вам – какое право я имею встать тут и выть, что Вас нет. Но не только это. Москва – это где делают искусство, и вообще всю ту паутину, без которой нельзя человеку дышать. Питер – город отражений. Вы – в доме ученых. Среди этих людей, маляриков духа, отчаявшихся, отчаянных. Их солнце давно закатилось. Только узкая полоска полярного света на их небе. И Вы – там. Пусть как угодно здоровы и у Валериана крепкие кулаки – мертвечина там, нельзя там быть. Видите, неприлично повышаю голос, плохо доказываю, но, Лидия Николаевна, уходите оттуда, говорю Вам это, и больше пилить не буду, уходите поскорее.

Дальше Москва, Азия, вроде базара где-нибудь в Самарканде. Нужно тут сидеть со своим молотом, нельзя уходить. Сейчас у них поход на Вас. Он был решен задолго до появления Вашей новой вещи (прочту и немедленно напишу). Так что справедливости, конечно, никакой тут нету. Но все, что есть лучшего в этом беспутном городе, говорит о Вас, думает о Вас, как надо. Мелкая напостовская грязь потому, кажется, так и брызнет сейчас на Ваше имя, что в самых широких кругах за Вами молчаливо признали право писать, как Вам хочется; выйдет дивно – так. Не выйдет – тоже Ваше дело. Это и есть привилегия таких ужасно талантливых людей, как Вы.

Берут ее с одного удара, и раз навсегда никто уже после

отнять не может. Вы не сердитесь? Мне так хочется Вас просить. Напишите скверную, совершенно нелепую, кверх ногами бегающую вещь. Это нужно, без этого нельзя сделать ни одного шага вперед. И пусть эти сукины коты ее проглотят. По головам их, чтобы не смели трогать того, что художник покупает себе такой тяжкой ценой: его творческую независимость и его право валяться в канаве или ходить по потолку.

Между прочим: работаю декабристов, скоро приеду к Вам. Отчасти из-за них, и очень из-за Вас. Мы продадим там все Ваши уродственные вещи и вместе уедем оттуда, поплевав на окружающих.

Милая Лидия Николаевна и Валериан Павлович, уже пятый листок. На днях напишу Вам о Пильняках, Иванове, театре и вообще. Сейчас бурная сцена, которую Вам сделала, извела все мои силы, не могу.

Отираю холодный пот с чела, и Вы не знаете, как я Вас люблю. Лариса».

На Лидию Сейфуллину в 1925 году обрушилась критика. В десятом номере «Нового мира» была напечатана резкая, недоброжелательная статья Г. Якубовского, принадлежавшего к литературной группе «Кузница». Ответ Ларисы Рейснер «Против литературного бандитизма» появился в первом номере «Журналиста» за 1926 год:

«Не всякое дарование подается с крепкими костями, и не всякий творческий аппарат можно безнаказанно гнать вперед пинками… Сколько вещей осталось ненаписанными и сколько других испорчено под влиянием гипноза – давления критики.

Великие между тем несправедливости целых эпох, целых пластов, целых общественных групп против замечательнейших произведений искусства в известном смысле неизбежны. Неизбежны потому, что в литературе воюют не о форме сюжета, не о красоте слога, не о завязке и развязке, а прежде всего о политике. Нигде борьба социальных сил не ведется острее, ярче, беспощаднее, чем в области искусства… Возможна ли у нас «справедливая» критика? Конечно, нет! Булгаков написал талантливейшую книгу, но скверную и вредную. Его книга – книга врага, и она не будет признана. Устрялов – замечательнейший публицист, и Устрялова бьют, и будут бить, потому что он враг, потому и опасный, что необыкновенно умный и талантливый. Со всеми ними наша критика ведет гражданскую войну, то есть самую беспощадную из всех войн.

Но как случилось, что под удары – и какие – попадают не Устрялов и Булгаков, а Лидия Сейфуллина, Бабель, Вс. Иванов – самые близкие нам писатели – единственные, выдвинутые не

коммунистической, но, во всяком случает, советской революционной Россией… Кто пишет у нас эту, с позволения сказать, критику?.. «Под кистью писательницы деревня приобретает черты хаоса, и в этом хаосе действуют единицы… цепь случайных, внутренне неоправданных событий». Не стоило бы, пожалуй, приводить образчики этого литературного бандитизма, если бы в нем кроме невежества и клеветы не было одной, очень интересной черты… Автор мимикрирует под марксиста. Он прямо выступает… от имени партии и партийного общественного мнения… Если подвести под один знаменатель все глупости и пошлости этой статьи, останется громкий и наглый окрик против натурализма…

Но литература, и особенно литература пролетарская, в пеленках. А всякая попытка вести ее против натурализма, в сторону заслащенной, подмалеванной, бесконечно лживой мещанской идеологии должна быть отбита самым решительным образом… Нам казалось, что сила таких писателей, как Сейфуллина, в том, что они бесстрашными глазами умели видеть мрак, ужас, жестокость и мерзость старой, дореволюционной деревни, во всем своем старом рубище перешагнувшей в новую эпоху, и то великое и революционное, что поднялось из этого мрака и мерзости по зову революции».

Булгаковские «Роковые яйца» и «Дьяволиада» противодействовали смертельно опасной идеологизации жизни. Михаил Булгаков писал в это время: «Нет пагубнее заблуждения, как представить себе загадочную великую Москву 1923 года, отпечатанной в одну краску. Этот спектр, световые эффекты в ней поразительны, контрасты – чудовищны».

Человек неистов в своих пристрастиях. Не принимали Булгакова не только Рейснер, Раскольников, Луначарский, Маяковский, но даже Шкловский со своим чутким, пронзительным умом критика. Но разве могли они спокойно смотреть булгаковские «Дни Турбиных», когда на сцене пели «Боже, Царя храни»? М. Булгаков, работая над «Мастером и Маргаритой», расспрашивал двоюродную сестру Ларисы Рейснер, писательницу и актрису Екатерину Михайловну Шереметьеву о Ларисе и, главное, о Михаиле Андреевиче Рейснере, о семье его отца. И взял резко антирелигиозные высказывания для своего Берлиоза из вступительной статьи М. Рейснера к книге А. Барбюса «Иисус против Христа».

Декабристы

Истина, добро и красота осознаются объективно, осуществляются постепенно лишь в соборном сознании человечества.

Кн. С. Н. Трубецкой

Мы пришли на Землю для пронизновенного Дела, для Бунта.

В. Налимов

В 1925 году праздновалось столетие восстания декабристов. Не увлечься «своей темой» Лариса Михайловна не могла. Историк Павлов-Сильванский, друг ее отца и персонаж ее романа «Рудин», первым из историков читал следственные дела декабристов в начале века. В декабре 1925-го Лариса Михайловна приехала в Ленинград и встретилась со знаменитым историком П. Е. Щеголевым. Об этой встрече рассказал И. Зильберштейн, который вместе с А. Толстым, К. Фединым, Н. Радловым тоже был в гостях у П. Щеголева в тот день. Хозяин восхитился Ларисой Рейснер, ибо она знала все, что было известно ему, даже следственные дела, первый том которых только-только напечатали как юбилейную новинку.

Открытия, споры о декабристах продолжаются. И до сих пор ищут оптимальные формы государственности без насилия, мятежей. «В двадцатые годы была удивительная вера в то, что социальную справедливость можно осуществить здесь и сейчас. Шел напряженный поиск во всем – в философии, в научной и религиозной мысли, в искусстве (особенно в театре), в школе, в сектантстве – народном и изысканно эзотерическом, переживавшем пору расцвета. Такого же духовного поиска, такой же напряженности, как было в нашей стране в эти годы, – в зарубежной жизни, увы, нет», – пишет В. Налимов, родившийся в 1910 году. Д. Лихачев, старше его на четыре года, вспоминает, что было множество кружков, особенно среди молодежи: «Философские, религиозные, политические, без направления. Я входил в Космическую Академию Наук. В городе была тьма-тьмущая лекториев и мест встреч. Мое студенческое время совпало с расцветом гуманитарных наук. Такого соцветия ученых-литературоведов, лингвистов, историков, востоковедов, какое

представлял собой Ленинградский университет и Институт истории искусств в Зубовском дворце в 1920-х годах, не было в мире».

После революции народ стал сам делать выбор веры и знаний. Если в 1917 году численность евангельских христиан-баптистов составляла 250 тысяч, то в 1928-м – два миллиона. «Естественно, – пишет В. Налимов, – что народ выбрал прежде всего баптистов, несущих большую духовную свободу и требующих большей доброты, отзывчивости, честности». Сам В. Налимов был сторонником мистического анархизма, для кого главное – «свободный поиск новых ненасильственных путей преображения, в который включилось бы все общество, а не отдельные лица и группы… Религия застыла на месте, она не признает весь духовный опыт равноценным. Необходимы попытки объединить духовный опыт, не противопоставляя современной науке… Часть российской интеллигенции была готова признать мистический анархизм, заквашенный на гностическом христианстве».

Значительная часть членов оккультных обществ, распространенных в дореволюционной России, лояльно отнеслась к революционным событиям и осталась в России. Теософы, антропософы, розенкрейцеры, тамплиеры, другого рода масоны… Яснее и определеннее других по поводу мистических знаний высказался Андрей Белый: «Эзотеризм присущ искусству: под маской (эстетической формой) таится указание на то, что самое искусство есть один из путей достижения высших целей». (Подробнее об этом можно прочесть в кн.: *Богомолов Н. А.* Русская литература начала XX века и оккультизм. М., 2000.) Люди, стремившиеся к эзотерическим знаниям, стремились к созданию целостного, всеохватывающего мировоззрения, основанного на свободной мысли; стремились к терпимости, взаимопониманию с любым человеком.

Заговорщиками они не были и «ни в какой заговор по созданию революции никто в 1920-е годы не верил. Говорить о зловредном заговоре, об ужасном демоническом образе вождей – крайне наивно. В стране произошло то, что было ей уготовано предыдущим. Революция – это порыв народной страсти, безудержный, раскованный, жестокий… Мы пришли на Землю для проникновенного Дела. Для Бунта. Для встречи с трагизмом, неизменно ведущим к состраданию. Пришли, чтобы увидеть Христа во всем… Я думаю, что наша встреча с Богом проявляется не столько в молитве, ритуале, аскезе или догме, сколько в делании… Благодарю судьбу за то, что мне довелось прийти на Землю в этот бурный век, жестокий и обильно политый кровью. В

рьяную страну, где сталкивались, а иногда и переплетались сурово противостоящие течения мысли. Благодарю за то, что удалось отстоять себя, не сдаться, не сломиться», – писал В. Налимов, который был дважды арестован и чудом выжил в лагерях.

Похоже, что и декабристы, и Лариса Рейснер тоже пришли в мир для Дела и Бунта ради свободы. Лариса Михайловна отличалась «духом искательства». Несмотря на преданность коммунизму, революции, в ее произведениях есть прорывы в целостное сознание, которое пробуждается в человеке на тоску по совершенной красоте, на зов бесконечности.

Четвертый конгресс Коммунистического интернационала, состоявшийся в Москве в 1922 году, в особой резолюции запретил коммунистам принадлежать к каким-либо масонским ложам. Оказывается, до революции масонами были Анатолий Луначарский и Карл Радек, последний интернационалист, как его называли *(Богомолов Н. А.* Указ. соч. С. 430).

Очерки о декабристах Лариса Рейснер пишет с точки зрения победившего революционера, отмечая, что «цвет своей эпохи, самые тонкие, самые блестящие люди того времени» отказались от революции, не желая допустить народных бунтов. Поэтому были обречены, а их цель повернуть Россию на путь законов и свободы личности недостижима противостоянием «нелепого каре» на Сенатской площади. Ее портреты Штейнгеля, Каховского, Трубецкого дышат жизненной энергией живых людей, современников. В этом художественная сила ее очерков.

Ее любимый герой Рылеев – из «третьего сословия», которое даст продолжение делу декабристов. Очерк о Трубецком завершается единством места, связующим времена: «Как раз напротив Кронверкского вала и того места, где вешали декабристов, наискось через небольшой канал стоит теперь небольшой белый дом. С его балкона через сто лет после казни декабристов говорил Ленин. Когда Рылеев корчился в петле, дома этого еще не было».

Дом этот – особняк балерины Матильды Кшесинской, а рядом с «небольшим каналом» построен Ортопедический институт, где лечилась Лариса Рейснер.

Очерк «Князь Сергей Петрович Трубецкой» был опубликован в «Известиях» 1 января 1926 года. Там же 5 января был напечатан очерк «День 14 декабря». 9 января в «Красной газете» вышли отрывки «О бароне Штейнгеле, декабристе», «О Каховском». Целиком «Барон Штейнгель» был опубликован во втором номере «Красной нови» за 1926 год. Газетные публикации Лариса Михайловна успела увидеть.

Ю. Либединский собирался позвонить Ларисе Михайловне и «выразить свое восхищение… Будто она сама была среди декабристов». Впрочем, так оно и было бы, родись она на 90 лет раньше.

«Лучшая ее статья – о бароне Штейнгеле. Она только что научилась не описывать, не называть, а развертывать предмет. Из русской журналистики как зубами вырвали живой кусок», – писал Виктор Шкловский.

Глава 31
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Тебе покажется, что я умираю, но это неправда. И когда ты утешишься, ты будешь рад, что знал меня когда-то.

Сент-Экзюпери

В Таировском театре в декабре 1925 года Ларису Михайловну с Карлом Радеком увидела друг семьи Рейснеров Л. И. Розенблюм, знавшая Ларису с подросткового возраста. Они отошли поговорить. «Весь тот год и в этот день Лариса плохо себя чувствовала. На бледном лице лишь блестели глаза. А былого, единственного совершенного блеска уже не было. Усталая и замученная двойственностью положения, отсутствием сочувствия родных к ней с Радеком, не верящая в свой талант, в свое имя, в свой литературный путь. Эта последняя встреча была тяжела и запомнилась».

Судьба предоставила возможность проститься с Ларисой ее другу юности Всеволоду Рождественскому, когда тот приехал из Ленинграда в Москву на открытие Дома Герцена на Тверском бульваре. «Было шумно и бестолково. И вот, в самый разгар общего веселья, на пороге как-то неожиданно выросла стройная фигура Ларисы Рейснер. Навстречу ей понеслись восклицания, протянулись руки с бокалами. Держалась она непринужденно, по-товарищески, но вместе с тем была в ней какая-то внутренняя отчужденность от окружающей шумной и уже достаточно подвыпившей литературной компании. Через некоторое время она встала и покинула свой стол почти незамеченной. Я видел, как она переходила от одной группы к другой, как обступали ее собеседники, как она смеялась, отвечала на вопросы и шла дальше. Потом вышло так, что мы в этой толпе нашли друг друга, сели в какой-то отдаленный и сравнительно тихий уголок, и началась обычная наша беседа так, словно она и не прерывалась все эти годы. Может быть, особое чувство – „землячество по городу на Неве“ – сблизило нас в эти минуты, но говорили мы о многом и долго. Она рассказала о себе с необычайной для нее простотой и откровенностью. Не обошлось, конечно, и без стихов, которые мы вполголоса читали друг другу. Я смотрел на нее и думал: какие у нее умные, все понимающие глаза, сколько в ней

еще неизжитой юности… Только иногда в ее прямом внимательном взгляде проходила тень беспокойства или просто усталость, сразу сменявшаяся с давних лет знакомой мне улыбкой. – „Самое большое мое желание – писать, собраться с мыслями. В деревне. Я никогда не видела мирного леса. Вся жизнь в изнуряющем дыму городов. Дурной кинематограф. Я устала. Мне нужно остановиться. Отдохнуть“. – Она протянула мне руку – мне кажется, что и сейчас я чувствую в своей ладони теплоту ее узких и сильных пальцев».

Николай Смирнов, сотрудник «Известий», вспоминал: «В морозный зимний день она шла по Тверскому бульвару, – шла своей размашисто-быстрой походкой, мягко кутаясь в широкую доху из каштанового, посеребренного меха. Месяц назад она вернулась из Крыма, привезла медово-медную свежесть бахчисарайского загара. В ее руке перезванивали коньки, в глазах, за эти годы уже заметно поблекших, отуманенных, светилась все та же молодая радость. Встретясь со мной, она улыбнулась, посмотрела кругом и сказала с восторгом:

– Чудесный сегодня день… – На ходу обернулась: – А замечательно жить на свете…

Это было в декабре 1925 года. Через 2 недели я встретился с ней в Камерном театре на «Жирофле-Жирофля». Во время действия в зале можно было различить ее смех, заразительный и веселый, каким смеются только в юности…

Утром я позвонил ей по редакционному делу. Ее голос был необычайно усталым и тихим.

– Вы нездоровы?

– Да, очевидно возвращается моя азиатская малярия». А. Гудимов, юный журналист:

«В последний раз я видел ее на похоронах Есенина. Мог ли я думать, что через месяц 30 лет от роду она сама, с чуть полуоткрытыми глазами, такая знакомая и чужая, будет лежать в том же зале того же Дома Печати?»

Последний приезд Ларисы к Лидии Сейфуллиной: «Она приехала до письма, неожиданно. Оттого так остро было впечатление и так все запомнилось. Звонок. Я боязливо выглядываю в коридор. В дверях высокая женщина в желтовато-коричневом кожаном, ловко обхватывающем ее пальто; чудесное лицо ее с неярким румянцем, с глазами серо-синими, которые в радости, в привете светя, излучают золотистый цвет; по-детски заливистый смех ее во весь рот, она – Лариса Рейснер!

…Она настолько ценила жизнь, что никогда не бесчестила ее ленью, разгильдяйством, творческой дешевкой… Стиль ее был пышен от огромного ее богатства. Неутомимый художественный

аппетит к жизни побуждал ее набрать полней, полней и рассказать обо всем этом многообразии праздничными словами. Но она никогда не боялась искать… Передо мной домашний фотографический снимок Ларисы Рейснер за работой. Это совсем не то лицо, что сияло мне в дружеской беседе. Здесь – маленький рот сжат, четкие брови, сдвинутые в напряжении мысли, кажутся суровыми, особенно отметна красота ее чистого, чуть выпуклого лба…

Эти дни в декабре прошлого года оказались прощальными. Если бы можно человеку знать, кого он потеряет завтра, через неделю, через год, может быть, легче ощущался его уход. А то остаются несказанные слова, неотданная ласка, от этого горше печаль».

Лидия Сейфуллина 12 января 1926 года написала письмо Ларисе с приглашением на литературные чтения в Харьков: «Бесценная моя Лариса Михайловна! Я по-прежнему пламенею к Вам… Поедем, ясынька, ведь мы же собирались вместе ездить. Срок от 7 до 15 февраля. За последние 3 дня я острей обычного вспоминаю Вас и еще больше люблю».

Ассоциация революционной кинематографии приглашала Ларису Рейснер 14 января на дискуссионный просмотр картины «Кирпичики». Дом печати на Никитском бульваре приглашал на дискуссию о «Нашей газете»… Приглашения приходили непрерывно.

Газеты писали о предстоящем воздушном перелете из Москвы в Пекин и Токио. Лариса Рейснер должна была лететь в Тегеран. Под одним из ее фотоснимков подпись: «Лариса Рейснер правит очерк о полете над Россией».

Кроме поездки в Китай намечалась поездка с делегацией Х. Раковского в Париж «на франко-советские переговоры». Задумана была историческая трилогия об Урале, все не хватало времени написать о Леониде Андрееве. Еще один замысел – дать масштабные картины истории освободительной борьбы пролетариата.

В 1925 году вышли «Афганистан» (М.-Л.: Госиздат), «Азиатские повести» (М.: Огонек), «Гамбург на баррикадах» (М.: МОПР), «Уголь, железо и живые люди» (М.-Л.: Госиздат) и десятки очерков в журналах и газетах. Первая цепь достигнутых вершин. Расцвет.

«Я устала»

Со смертью Рейснер современная литература уронила один из своих самых солнечных самоцветов.

Н. Смирнов

«Сколько раз, бывало, в горах, в ущельях, там, где в жарком июле не тают снега, говоришь ей: „Зачем вы глотаете снег? Зачем пьете из лужицы?“ Сколько раз врачи миссии убеждали ее не купаться в ледяной воде горных рек, не вызывать припадки малярии. Она как бы в недоумении высоко поднимала плечи и только смеялась», – вспоминал Л. Никулин.

«Пустая и злая случайность, глоток сырого молока, отравленного тифозными бактериями, прервал на середине эту удивительно задуманную и блестяще выполненную жизнь», – писала В. Инбер.

Сестра Михаила Андреевича Рейснера Екатерина Андреевна рассказывала, что на молоке был сделан крем для пирожных. Поскольку Михаил Андреевич не ел пирожных, он единственный из домашних не заболел.

Из газеты «Вечерняя Москва» (4 февраля, 1926): «Известная писательница Лариса Рейснер опасно заболела брюшным тифом. Больная помещена в кремлевскую больницу. В течение нескольких дней она находится в бессознательном состоянии. В настоящее время положение ее признается критическим. Одновременно с нею заболели также тифом и помещены в ту же кремлевскую больницу мать Л. Рейснер, брат ее и домашняя работница. Эпидемическое заболевание тифом в одной семье – представляется последнее время исключительным».

Тиф был распространен. От брюшного тифа в 1920 году умер Джон Рид, в 1828-м – Франц Шуберт. В одной из газет сообщалось, что Лариса Рейснер болела около пяти недель. Значит, заболела сразу после выхода 5 января в «Известиях» двух своих очерков о декабристах. Карлу Бернгардовичу обещала, что будет бороться с болезнью всем напряжением сил, но болезнь сопровождалась тяжелыми осложнениями.

Первой сообщила о смерти Ларисы Рейснер 9 февраля 1926 года «Вечерняя Москва»:

«Сегодня в 7 утра скончалась от брюшного тифа писательница Лариса Михайловна Рейснер… В течение последних дней т. Рейснер находилась в бессознательном

состоянии и никого не узнавала. Только три дня тому назад она на некоторое время пришла в сознание и сказала окружающим: „Только теперь я понимаю, какая грозит мне опасность“. Несмотря на все принятые меры, сердечная деятельность больной непрерывно падала. Тов. Рейснер умерла, не приходя в сознание. В момент смерти около больной находились врачи и ее отец, проф. Рейснер. Лечили т. Рейснер д-ра Канель, Левин, Файнберг, проф. Нечаев, Елистратов и др.

Сейчас в Кремлевской больнице находятся мать и брат покойной, тоже больны брюшным тифом. Состояние их здоровья – удовлетворительное. Тело Л. Рейснер будет сегодня перенесено в Дом Печати. У гроба будет поставлен почетный караул литераторов и поэтов».

Гроб в Дом печати несли на руках «тт. Радек, Волин, Пильняк, Бабель, Вс. Иванов и др. За гробом шли друзья покойной» (Вечерняя Москва. 1926. 10 февраля).

«Гроб вносится в Белый зал. Открывается крышка. Восковое, исхудалое, постаревшее лицо. Говорят шепотом. Плачет какая-то старушка, живущая в квартире Рейснер. Сегодня с 10 ч. утра до 12 ч. ночи вход в Дом Печати открыт для всех желающих проститься с покойной».

В карауле стояли красноармейцы бронедивизиона, к партийной ячейке которого была прикреплена Лариса Рейснер. В 11 часов утра 11 февраля к моменту выноса гроба приехал австрийский посол Отто Поль. Его прощальная речь была напечатана в «Известиях» 12 февраля: «Как старый журналист, я чувствую себя обязанным, когда рядом с восхищением перед всем созданным покойной вырастает боль, вызванная ее внезапной кончиной, присоединиться к скорбящим». Соболезнование выразил и корреспондент нескольких немецких газет, в том числе и «Ульштейн Нахрихтен-Динст», Н. Бессехес.

Более двадцати газет и журналов поместили сообщение о неожиданной смерти Ларисы Рейснер. Печатались небольшие воспоминания о разных периодах ее жизни, в основном о фронтовых событиях, о поездках и книгах. В архиве Рейснер хранятся три стихотворения за подписью Вс. Рождественского, Толстой, Аверьяновой, а также множество траурных писем, телеграмм, адресованных Михаилу Андреевичу Рейснеру: из Кабула, Берлина, от Н. Альтфатер, от Раскольникова, который был в Ташкенте, от Сейфуллиной и Правдухина, успевших приехать из Ленинграда на похороны, от Раковских из Парижа, из Осло от Коллонтай, от посольства Афганистана в Москве, от редакций, музеев, разных учреждений.

К 11 часам 11 февраля огромная толпа запрудила весь проезд

Никитского бульвара около Дома печати, откуда слышалась траурная музыка в исполнении струнного квартета Страдивариуса.

Варлам Шаламов писал Борису Пастернаку, что «сотни раз перечитывал каждую строку, которую она написала… Героиня моей юности, в которую я был по-мальчишески влюблен, и эта влюбленность очищала, подымала меня… На похороны Ларисы Михайловны Рейснер я не имел сил пойти, но обаяние ее и теперь со мной – оно сохраняется не памятью ее физического облика, не ее удивительными книгами, начисто изъятыми давно из всех библиотек, – оно сохраняется в том немногом хорошем, что все-таки, смею надеяться, еще осталось во мне».

В разговоре с В. Шаламовым Б. Пастернак сказал: «…когда я написал „Доктора Живаго“, имя главной героини я дал в память Ларисы Михайловны Рейснер».

Как выносили гроб из Дома печати, Шаламов видел.

«За гробом вели под руки Карла Радека. Лицо его было почти зеленое, грязное, и неостанавливающиеся слезы проложили дорожку на щеках с рыжими бакенбардами…

Каждая новая книжка Л. Рейснер встречалась с жадным интересом, – писал Шаламов. – Еще бы. Это были записи не просто очевидца, а бойца. Чуть-чуть цветистый слог Рейснер казался нам тогда большим бесспорным достоинством. Мы были молоды и еще не научились ценить простоту. Некоторые строки из «Азиатских повестей» я помню и сейчас. «Декабристы» – поэма, а не историческая работа… Если Есенин и Соболь покидали жизнь из-за конфликта со временем, то смерть Рейснер была вовсе бессмысленна. Молодая женщина, надежда литературы…» (Юность. 1987. № 11).

Лидия Сейфуллина, «скорбная и заплаканная, была неутешна. Тихо с отчаяньем спрашивала, роняя слезы – скажите, что же это такое. Как это может быть, чтобы Лариса умерла… Сейфуллина всю жизнь хранила печальную и нежную память о Ларисе Рейснер, ее портрет постоянно стоял на ее письменном столе», – вспоминал Николай Смирнов.

«Тело Ларисы Рейснер погребено на „площадке коммунистов“ Ваганьковского кладбища рядом с могилой поэта Нечаева», – сообщали «Известия» 12 февраля 1926 года.

На похоронах выступили заместитель главного редактора «Известий» Б. Волин, начштаба 5-й армии во время Гражданской войны, а в 1926-м наркомпочтель И. Н. Смирнов, красноармейцы бронедивизиона.

Студент свердловского художественного техникума Петр Павлович Шерлаимов предложил сделать надгробный памятник.

Но ухаживать за могилой было некому, и она скоро потерялась. Екатерина Александровна умерла 19 января 1927 года, Михаил Андреевич Рейснер – 5 или 8 (приводятся обе даты) августа 1928-го. В мае 1964 года на предполагаемом месте захоронения Ларисы Рейснер был открыт небольшой надгробный памятник с портретом. Недалеко от могилы Сергея Есенина и могилы дипломата Нексе.

«Ей нужно было умереть где-нибудь в степи, в море, в горах, с крепко стиснутой винтовкой в руках, ибо она отличалась духом искательства. Этот воинствующий дух, не щадя себя, она отдавала революции», – из некролога А. Воронского в «Красной нови». Через год Воронского первый раз арестовали, отдав журнал другому главному редактору.

Многие читатели, следившие за очерками Л. Рейснер в разных уголках России, только из некрологов в центральных газетах узнали, что Л. Рейснер – женщина. Один из них написал Вере Инбер: «Теперь ее портрет висит над изголовьем моей постели».

Прислал соболезнующее письмо Рейснерам и Вивиан Итин, недавно похоронивший своего ребенка: «Дорогие! У меня и слов нет никаких. Я много летал. Авиатор мне рассказывал, как у летчика Аниковского на большой высоте обломились крылья, но он не разбился, сломал, кажется, ногу. А умер в госпитале от тифа. Такова жизнь Лери. Казань. Азия. Полеты. Прекрасный, волшебный талант. И бутылка зараженного молока, русская грязь. Я любил, люблю Лери. И я знаю, какая пустота в жизни, когда умирают дети».

Екатерина Александровна и Михаил Андреевич пригласили на лето 1926 года к себе на дачу сестру Вивиана Итина – Нину. «Они внешне хорошо держались, как это свойственно интеллигентным людям. Екатерина Александровна так и не оправилась от этой катастрофы… умерла от рака. Михаила Андреевича… тоже съел рак».

Екатерина Александровна в 1924 году писала дочери: «Без тебя у нас тихо и мертво; все звери нашего заквартирья говорят, что „пусто стало“, а что Ты им? Они не знают ведь, как я, что значит жить около Тебя, когда твой смех дробит вокруг твердыню зла и подлости, когда Твоя… э, мой друг, только мы с отцом пьем сознательно и живем Твоей мыслью, Твоим великим умом и „суетным“ сегодня».

В архиве Рейснер хранится обрывок письма Екатерины Александровны к Радеку: «Пишу Вам, К., несколько слов с кровати, которая завтра выбросит меня в кресло. Значит, я осталась жить… Не знаю, поймете ли Вы меня, почему я хочу

пожать Вам руку. Она Вас любила. Вот и все. Увидимся с Вами, когда приду в себя…»

В это же время Михаил Андреевич писал (и, видимо, не отправил) письмо Лидии Сейфуллиной:

«Пишу Вам прежде всего потому, что мне очень приятно писать Вам: через дочку перекинулась к Вам какая-то нить. Хотя радостного сообщить нечего. И жена и сын меня далеко не утешают. У Игоря после 12 дней нормальной температуры второй рецидив – вещь редкая, но весьма ощутительная. У Екатерины Александровны до сих пор не было нормы… врачи удивляются и говорят – удивительная по силе инфекция. По ночам выдумываю роман, где женщина-врач, чтобы погубить соперницу, пользуется новейшим и совершенно безопасным способом – подбрасывает ей в пищу, скажем, в молоко – изумительную по силе разводку тифозных бацилл, а затем ходит в больницу и с „любовью“ следит за действием яда. Прекрасная тема для киносценария. О себе сказать нечего. Работаю, чтобы забыться. И вместе с тем анализирую любопытную вещь: значение любви и живых объектов для ощущения реальности окружающего мира. Выходит очень странно. Умом познаешь жизнь и теоретический принцип ее наличности. Но этот факт остается мертвым как плохая фотография. С таким фактом расходится вера, и оказываешься одиноким как в клетке.

Только если есть, кого любишь, тогда через него веришь по-настоящему, живой в живое и лишь такая реальность – говоря суконным языком Льва Толстого – реальна. Вот и жизнь моя такая же, сухая и мертвая, как сейчас я сам. Только и жизни, что между двумя кроватями в больнице. 11 марта 1926 г.».

М. А. Рейснер был на похоронах М. Фрунзе в конце 1925 года и, может быть, как Б. Пильняк, узнал от ближайшего окружения Фрунзе обстоятельства его смерти, которые Пильняк использовал в своей «Повести о непогашенной луне». Поверить во внезапную смерть молодых людей наше сознание отказывается и видит причину в убийстве. Рейснеровское «реввоенсемейство», троцкистско-радековское гнездо могли мешать власти. Какие злоключения преследовали Игоря Михайловича Рейснера, я не знаю. Его, специалиста по Индии, за границу не пускали.

Смерть Ларисы Рейснер в 1926 году еще могла быть естественной, не зря она писала, что «революция бешено изнашивает своих профессиональных работников… Еще немного лет, и из штурмовых колонн, провозглашавших социальную революцию, не останется почти никого». В 1926 году ее смерть была на виду, ее оплакивали тысячи людей.

Друг Ларисы Михайловны во времена выпуска журнала

«Рудин» Петр Васильевич Казанский написал в марте 1926-го Михаилу Андреевичу: «Вам дано великое счастье и великая гордость – быть отцом такой дочери, как Лариса Михайловна. Этого счастья и этой гордости никто в мире – ни даже судьба и смерть не в силах отнять. Таково первое из Ваших утешений. Но есть и второе. Давно, давно, еще в те дни, когда я бывал у Вас, Вы сказали, что Вы живете и трудитесь ради служения особой религии – Религии без Бога. Все религии мира, дорогой М. А., являются лучшим убежищем в скорби, в этом, в конце концов, лучшее их назначение».

Лариса Михайловна верила в могущество творческого человека, возможно, эта вера и была ее главной религией.

Предвестия смерти. Завещание

В Афганистане Лариса Рейснер писала рассказ «Елена и Грик», оставшийся незаконченным. Умирает Елена, муж Грик безутешен, но врач успокаивает его, что уже не раз он воскрешал людей.

«Под стеклом сложных аппаратов ему удалось сохранить сложные соединения того, что было еще час назад живым человеком, прекрасной Еленой… В прозрачных кристаллах уснули таинственным сном составные части духа и, наконец, в самый час смерти все, все, что отделяется от мертвого тела, чтобы вернуться в вечность, – было схвачено поверхностями особых электрических приборов – дисками, сверкающими, как снег и огонь. Все движения агонии, вплоть до последнего трепета ресниц и неописуемого усилия, с которым разрывается человеческое сердце, перелились в тонкие провода… и раздалось нечто вроде слабой музыки – всего несколько нежных, но отчетливых звуков – гармония того, кто умер».

Воскресшую Елену надо было учить всему – ходить, узнавать мир. «Она росла заново гораздо лучше, свободнее и прекраснее прежнего. Смерть унесла и сожгла в пепел все худшее, смутное, все горючее ее интеллекта – но не могла вытравить широких профилей Канта и Спинозы, не могла потушить гармоний, которые вечны сами по себе. В слезах, с улыбкой победы, с силой жизни, воскрешенная из мертвых, впивающая воздух своей первой более, чем человеческой весны, – играла Елена „ковку меча“ и „полет Валькирий“, и „огонь Брунгильды“. И Грик был счастлив – меч героя свистел над его головой, и из каждого удара вырывался брызжущий огонь. Все еще не узнанный, он стал спутником ее побежденного духа. Он мог открыть ей наслаждение стиха, видеть бледность на ее щеках, вызванную совпадением рифм, которые встречаются как влюбленные – через стену строчек, через жестокие затруднения формы, все трудности слова, звука и начертания. Он вернулся с ней к древнейшим песням». На этом рукопись обрывается.

На афганских горных дорогах Лариса Рейснер чуть не умерла от приступа малярии. Рассказ «Елена и Грик» начинается с голоса умирающей Елены: «Она умирала медленно, уже после того, как болезнь потеряла остроту и опасность – просто от слабости сердца. В комнате больной установился тот неопределенный сладковатый запах, которым всегда сопровождается тление. Иногда, слишком слабая для того, чтобы поднять руку, она ощущала на своих веках беготню мух – черных, быстрых и злых.

Ее томила жажда, жара – и необъяснимая печаль о жизни, которую она вдруг забыла. В общем, было бесконечно легко лежать так: без воспоминаний, без тела и без речи».

Рассказ этот был известен Лидии Сейфуллиной, первые строчки она взяла эпиграфом для воспоминаний о Рейснер.

Юрист, экономист, философ, продолжатель развития идей «Общего дела» Н. Ф. Федорова – Н. А. Сетницкий прислал М. А. Рейснеру письмо-соболезнование. Сетницкий был уверен, что Лариса могла бы работать над преодолением смерти с помощью «организации мировоздействия». Он считал, что образ, главный элемент искусства, – «образец действия» для человека, образец «тела духовного», в которое предстоит облечься человеку, перешедшему к искусству литургическому, воскрешающему.

Лариса Рейснер обладала щедрым даром образного видения мира, острым аналитическим мышлением и почти религиозной верой в интеллект человека. Последнюю ее статью «Против литературного бандитизма» (в защиту Лидии Сейфуллиной, Исаака Бабеля, Бориса Пильняка), вышедшую уже после смерти, можно считать ее завещанием: «Мы слишком современники нашей эпохи, чтобы понимать, какую ценность для будущего имеют эти книги, выросшие из революции, ее очевидцы, неподкупные свидетели ее страданий, героизма, грязи, нищеты и величия. Немногие писатели научились видеть революцию такой, какая она есть на самом деле. Их интеллигентским глазам, глазам романтиков и идеалистов, часто бывало больно смотреть, не мигая, в раскаленную топку, где в пламени ворочались побежденные классы, победитель душил побежденного и целые пласты старой, родной им культуры превращались в пепел. И все-таки они смотрели, не отворачивались и с величайшей правдивостью написали потрясающее, безобразное и ни с чем не сравнимое в своей красоте лицо революции».

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Л. М. РЕЙСНЕР

1895, 2 мая — в Люблине в семье 27-летнего преподавателя законоведения Ново-Александрийского института сельского хозяйства Михаила Андреевича Рейснера и его 20-летней жены Екатерины Александровны (урожденной Пахомовой) родилась дочь Лариса.

1897–1898 — семья живет в Гейдельберге, где в университете работает отец.

1898, осень – 1903, май — живут в Томске. Отец работает на юридическом факультете Томского университета.

1898, 28 декабря — родился брат Ларисы Игорь, в будущем профессор-востоковед.

1903, май – 1907, май — семья живет в Берлине, Париже. Отец – корреспондент петербургского журнала «Русское богатство».

1907, август – 1918, март — живут в Петербурге. Отец преподает в университете и других учебных заведениях.

1912, май — Лариса окончила с золотой медалью частную гимназию Д. Прокофьевой.

1912–1917 — Л. Рейснер – студентка Психоневрологического института В. М. Бехтерева, вольнослушательница Петербургского университета на юридическом и филологическом факультетах.

1913 — выход в миниатюрной библиотеке «Наука и жизнь» в Риге «Офелии», «Клеопатры» – первых книжечек Л. Рейснер под псевдонимом Лео Ринус.

В альманахе «Шиповник» напечатана пьеса Л. Рейснер «Атлантида».

1915–1916, апрель — издание своего журнала «Рудин». Знакомство с

О. Мандельштамом и другими авторами журнала. *1916, весна – 1917, май* — роман и переписка с Н. Гумилёвым.

1916, осень – 1917— сотрудница журнала «Летопись», затем газеты М. Горького «Новая жизнь». Статья «Поэзия Райнера Мария Рильке» в «Летописи».

1917, сентябрь – 1918, февраль — работа в комиссиях по вопросам искусства при Исполнительном комитете Совета рабочих и солдатских депутатов, работа по сохранению сокровищ Зимнего дворца, работа в комиссии по изданию русских классиков, член художественного совета Наркомпроса и секретарь А. В. Луначарского.

1918, апрель — семья Рейснеров переезжает в Москву.

Май — Л. Рейснер выходит замуж за Ф. Ф. Раскольникова, заместителя народного комиссара по морским делам. *Июль* — уезжает с мужем, членом Реввоенсовета Восточного фронта, в Нижний Новгород.

Август — Лариса Рейснер – флаг-секретарь командующего Волжской военной флотилией Ф. Раскольникова, комиссар отряда разведки, корреспондент газеты «Известия», где печатаются ее очерки «Письма с фронта».

1919, 29 января — Л. Рейснер – комиссар Морского Генерального штаба в Москве.

Июль — флаг-секретарь командующего Волжско-Каспийской флотилией Ф. Раскольникова, корреспондент «Известий».

1920, июль — переезд в Петроград. Ф. Раскольников – командующий Балтийским флотом.

Август – сентябрь — кратковременная дружба Л. Рейснер с А. Блоком.

1921, 14 января — участие в знаменитом бале-маскараде в Доме искусств в костюме Л. Бакста для балета Шумана «Карнавал».

1921, апрель – 1923, май — в Афганистане с Ф. Раскольниковым, послом Российской республики. Л. Рейснер написаны книги «Фронт» и «Афганистан», большая часть автобиографического романа «Рудин».

1923, октябрь – 1924, январь — Л. Рейснер на нелегальной работе в Германии. Собирает материалы для книги «Гамбург на баррикадах». Развод с Ф. Раскольниковым. Роман с К. Радеком.

1924 — корреспондент «Красной газеты», «Известий», «Правды». Поездки по заводам, шахтам, рудникам промышленных районов России: Урала, Донбасса, Иваново-Вознесенска. Написана книга «Уголь, железо и живые люди».

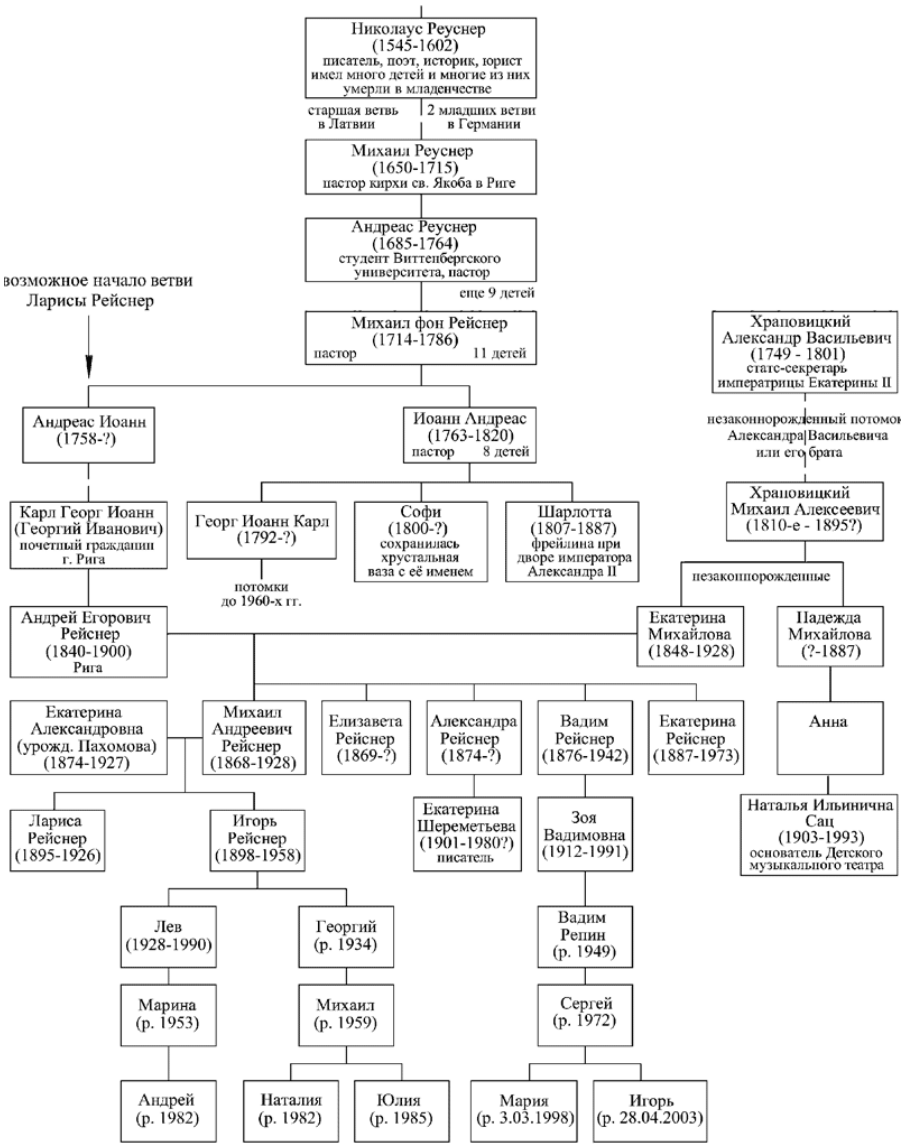
1925, май – июль — поездка в Германию для лечения от малярии. Посещение предприятий Круппа, Ульштейна. Подготовка книги «В стране Гинденбурга». Берет на воспитание беспризорника Алешу Макарова. Дружба с Л. Н. Сейфуллиной.

1925, осень — работа над очерками о декабристах.

1926, 9 февраля — смерть в кремлевской больнице от брюшного тифа в возрасте 30 лет.

Краткая родословная Рейснеров [3]

(род Рейснеров возник в Галиции, вышел в Германию, Латвию)



БИБЛИОГРАФИЯ

Лео Ринус (псевдоним Ларисы Рейснер). Женские типы Шекспира. Офелия, Клеопатра. – Миниатюрная б-ка «Наука и жизнь». Рига, 1912. Вып. 1. № 25; 1913. Вып. 2. № 34.

Рейснер Л. М. Атлантида, пьеса. – Литературно-художественный альманах издательства «Шиповник». СПб., 1913. Кн. 21.

Рейснер Л. М. Райнер М. Рильке (о творчестве немецкого поэта) // Летопись. 1917. № 7–8.

Рейснер Л.М. Н. Гумилёв. Гондла // Русская мысль, янв. 1917; Летопись. 1917. № 5–6.

О публикации других статей, очерков, стихов см.: Библиографический указатель «Русские советские писатели – прозаики», т. 7, дополнительный, ч. 2. М.: Книга, 1972. Представлена подробная библиография Л. М. Рейснер.

Рейснер Л. М. Собрание сочинений. Т. 1. Фронт. Афганистан; Т. 2. Гамбург на баррикадах. В стране Гинденбурга. Уголь, железо и живые люди. Декабристы. М.-Л.: Госиздат, 1928.

Рейснер Л. М. Избранные произведения. М.: Художественная литература, 1965.

Рейснер Л. М. Рудин. Автобиографический роман. Литнаследство. Т. 93. М.: Наука, 1983.

Рейснер Л. М. Краткий обзор нашей современной поэзии. Акмеизм (статья об О. Мандельштаме, А. Ахматовой, Н. Гумилеве). – Сб. «День поэзии». Л.: Советский писатель, 1989.

Итин В. Солнце сердца. Новосибирск, 1923.

Оксенов И. Лариса Рейснер. Критич. очерк. Л.: Прибой, 1927, с портр.

Храмов И. Литературные портреты. М.: Советский писатель, 1962.

Лариса Рейснер в воспоминаниях современников. М.: Советский писатель, 1969, с фотогр.

Хейфец М. В какой-то высшей точке бытия // Аврора. 1969. № 3, 4.

Тихонова З. Н. Л. Рейснер – дочь революции // Вопросы истории. 1965. № 7.

Соловей Э. Лариса Рейснер. М.: Советский писатель, 1985.

Остальной перечень литературы о Л. Рейснер см.: Библиографический указатель «Русские советские писатели – прозаики», т. 7, дополнительный, ч. 2. М.: Книга, 1972.

Основной архив материалов Л. М. Рейснер – Российская государственная библиотека. Отдел рукописей. Ф. 245.

Алянский С. Встречи с А. Блоком. М.: Детская литература, 1972. *Андреев Вадим.* Детство. М.: Советский писатель, 1964. *Андреева Вера.* Дом на Черной речке. М.: Советский писатель, 1980. *Белый А.* Между двух революций. М.: Художественная литература, 1990.

Бенуа А. Н. Мои воспоминания. Литературные памятники. М., 1980. *Березарк И. Б.* Штрихи и встречи. М.: Советский писатель, 1982. *Бердяев Н.* Самопознание. М.: Книга, 1991.

Блок А. Дневники, письма. Собрание сочинений. В 8 т.: Т. 7, 8. Дневники, письма. М.-Л.: Художественная литература, 1963.

Блок А. Записные книжки. М.: Художественная литература, 1965.

Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм. М.: Новое литературное обозрение, 2000.

Бурцев В. Л. В погоне за провокаторами. М.: Современник, 1989.

Варшавский С, Рест Е. Билет на всю вечность. Повесть об Эрмитаже. Л.: Лениздат, 1981.

Васильева Л. Кремлевские жены. М.: Новости, 1992.

Вишняк М. В. Современные записки. СПб.: Логос, 1993.

Горький М. Несвоевременные мысли. М.: Советский писатель, 1990.

Григорьева Н. В. Путешествие в русскую Финляндию. СПб.: Норма, 2002.

Губерман И. В. М. Бехтерев. Страницы жизни. М.: Знание, 1977. Николай Гумилёв в воспоминаниях современников. М.: Вся Москва, 1990.

Гумилёв Н. В огненном столпе. М.: Советская Россия, 1991.

Гумилёв Н. Исследования и материалы. СПб.: Институт русской литературы, 1994 (Дневник О. Арбениной).

Гумилёв Н. Неизданное. Париж: YMCA-Press, 1980. (Письма Л. Рейснер и Н. Гумилёва).

Гумилёв Н. Письма о русской поэзии / Комментарии Р. Тименчика. М.: Современник, 1990.

Давидсон А. Николай Гумилёв. Смоленск: Русич, 2001.

Дело Щастного // Звезда. 1996. № 6; Нева. 1999. № 4.

Дипкурьеры. М.: Изд-во политической литературы, 1973.

Дневники петроградского чиновника. 1917–1918 // Нева. 1990. № 8-12.

Добужинский М. В. Воспоминания. М.: Наука, 1987. *Драбкина Е.* Черные сухари. М., 1963.

Ершова Г. Г. Древняя Америка. Полет во времени и

пространстве. М.: Алетейя, 2002.

Иванов Георгий. Закат над Петербургом. Сб. М., 2002.

Иванов Г. Петербургские зимы. Мемуарная проза. М.: Захаров, 2001.

Каверин В. А. Письменный стол. Воспоминания и размышления. Л.: Советский писатель, 1985.

Коонен А. Страницы жизни. М.: Искусство, 1985.

Кронштадтский мятеж. Л.: Ленинградский институт истории ВКП(б), 1931.

Кузнецов Марат. За что был расстрелян Кронштадт. СПб., 2001. *Либединский Ю.* Современники. М.: Советский писатель, 1957. *Линник Ю.* Абсолютное. Петрозаводск: Святой остров, 1993. *Лихачев Д.* Книга беспокойств. М., 1993.

Лосский Б. Н. Воспоминания // Исторический альманах «Минувшее». М.; СПб., 1993. № 12.

Лукницкая В. Николай Гумилёв. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л.: Лениздат, 1990.

Мандельштам И. Я. Воспоминания. М.:Согласие, 1999.

Мандельштам О. Шум времени. СПб.: Азбука, 1999.

Мейлах В. С. Судьба классического наследия в первые послеоктябрьские годы // Русская литература. 1967. № 3.

Муравьева И. А. Век модерна (Былой Петербург). СПб.: Изд-во Пушкинского фонда, 2001.

Налимов В. В. Разбрасывая мысли. В пути и на перепутье. М.: Прогресс, 2000.

Налимов В. В. Канатоходец. Воспоминания ученого и философа. М.: Прогресс, 1994.

Немцы в Петербурге. Сборник. Вып. 1. СПб., 2003 (О В. М. Альтфатере).

Никулин Л. Записки спутника. М.: Советская литература, 1934. *Одоевцева И. В.* На берегах Невы. М.: Художественная литература, 1988.

Оношкович-Яцына А. И. Из дневника // Исторический альманах «Минувшее». М.; СПб., 1993. № 13.

Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник, 1983. А. Парнис, Р. Тименчик: Программы «Бродячей собаки».

Пастернак Б., Гора И. К истории одного перевода // Вопросы литературы. 1979. № 7.

Померанц Г. С. Собирание себя. Курс лекций. М.,1993.

Раскольников Ф. О времени и о себе. Воспоминания, письма, документы. Л.: Лениздат, 1989.

Раскольникова Муза. Тень быстротечной жизни. М.: Советский писатель, 1991.

Проблемы истории Индии и стран Среднего Востока. Сб.

статей памяти И. М. Рейснера. М.: Наука, 1972.

Рейснер М. А. Мы – балты // Русское богатство. 1906. № 6.

Рейснер М. А. Государство и верующая личность. Сб. статей (Библиотека «Общественной пользы»). СПб., 1905.

Рейснер М.А. Духовная полиция в России. СПб., 1908.

Рейснер М. А. Леонид Андреев и его социальная идеология. СПб., 1909.

Рейснер М. А. К Общественному мнению. Мое дело с В. Л. Бурцевым. СПб., 1913.

Рейснер М. А. Кенигсбергский процесс К. Либкнехта против русского царя. Рязань, 1925.

Рождественский Вс. Страницы жизни. М.: Современник, 1974.

Рошаль М. Г. На путях революции. М., 1957.

Рубинштейн Л. На рассвете и на закате. М.: Советский писатель, 1975.

Сашонко В. Н. Коломяжский аэродром. Л.: Лениздат, 1983.

Серова Ольга. Воспоминания о моем отце Валентине Александровиче Серове. Л.: Искусство, 1986.

Сорокин П. Долгий путь. Сыктывкар, 1991.

Столетие Цусимы // Петербург-Классика. 2005. № 5.

Хроника действий Волжско-Каспийской флотилии и отрядов судов за 1918–1920 годы. Издание боевого землячества моряков В-К в. ф. Горький, 1934.

Чижевский А. Вся жизнь. М.: Советская Россия, 1974.

Чулков Г. Люди и странствия. М.: Федерация, 1934.

Шкловский В. Жили-были. М.: Советский писатель, 1968.

Шульц С. С, мл. Бродячая собака. СПб.: ООО «Алмаз», 1999.

Шульц С. С, мл. Дом искусств. СПб.: ООО «Алмаз», 1997.

Энциклопедический словарь Русского библиографического института «Гранат»: т. 36, ч. 1 – ст. И. Д. Ильинского о М. А. Рейснере; т. 41, ч. 2 – ст. К. Радека о Л. М. Рейснер.

Пржиборовская Г. А.

74 / Галина Пржиборовская. – М.:, 2008. – 487[9] с: ил. – (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1086).

ISBN

Пржиборовская Галина Андреевна

ЛАРИСА РЕЙСНЕР

Главный редактор **А. В. Петров**Редактор Л. **С. Калюжная**Художественный редактор **И. И. Суслов**Технический редактор **Н.И. Михайлова**Корректоры **Г. В. Платова, Т. В. Рахманина**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 19.04.2007. Подписано в печать 25.10.2007. Формат 84x108/зг. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 26,04 + 1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 73667.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://mg.gvardiya.ru. E-mail: dsel@gvardiva,ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва, Сущевская ул., 21.

ISBN 978-5-235-03073-2

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Лариса Рейснер



Невский проспект от Михайловской до Садовой улицы. Петербург. 1907. Фото Буллы



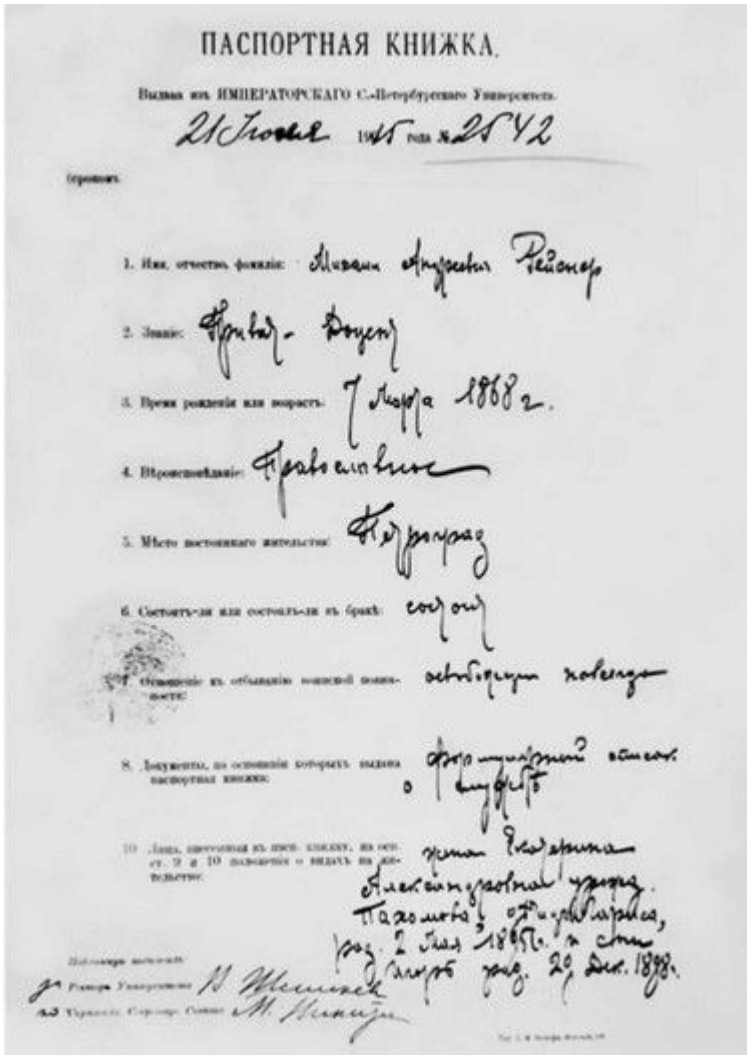
Михаил Алексеевич Храповицкий, прадед Л. Рейснер. Портрет работы неизвестного художника



Семья: Андрея Егоровича Рейснера, деда Л. Рейснер. Сидят: Катя, его дочь, Екатерина Михайловна, жена, Ольга Захаровна, теща, Андрей Егорович, неустановленное лицо; стоят: Михаил Андреевич, старший сын (отец Л. Рейснер), Вадим, младший сын. Конец 1890-х гг.



Лара с матерью Екатериной Александровной и отцом Михаилом Андреевичем



ПАСПОРТНАЯ КНИЖКА.

Выдана изъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета.

21 Іюня 1915 года № 2542

(строевого)

1. Имя, отчество, фамилія: Михаилъ Августовичъ Рейснеръ

2. Званіе: Приват-доцентъ

3. Время рожденія или возрастъ: 7 Іюня 1868 г.

4. Вѣроисповѣданіе: Православное

5. Мѣсто постояннаго жительства: Петроградъ

6. Состоитъ-ли или состоялъ-ли въ бракѣ: холостой

7. Отношеніе къ отбыванію воинской повинности: ополченецъ ІІ разряда

8. Документы, на основаніи которыхъ выдана паспортная книжка: Формулярный списокъ о службѣ

10. Лица, внесенныя въ посемейный списокъ, кромѣ указ. въ ст. 9 и 10 подлежащихъ о видахъ на жительство: жена Екатерина Александровна урожд. Тахомина, дочь Маргарита, род. 2 Іюня 1895 г. и сынъ Глѣбъ род. 20 Дек. 1898.

Подпись выдавшаго: За Ректора Университета [illegible]

За Управл. Секретар. Совѣта [illegible]

Паспортная книжка М. А. Рейснера. 1915



Лариса с братом Игорем. Томск. Около 1903 г.



Лара в фотоателье города Тюбингена. Германия. 1904



Лара и Игорь с отцом. Берлин. 1901



Лариса у окна своей квартиры



Дом герцога Н. Н. Лейхтенбергского на Большой Зелениной улице, где жила семья Рейснеров в 1907–1918 годах. Петербург



Лариса с Игорем на теннисном корте. 1910-е гг.



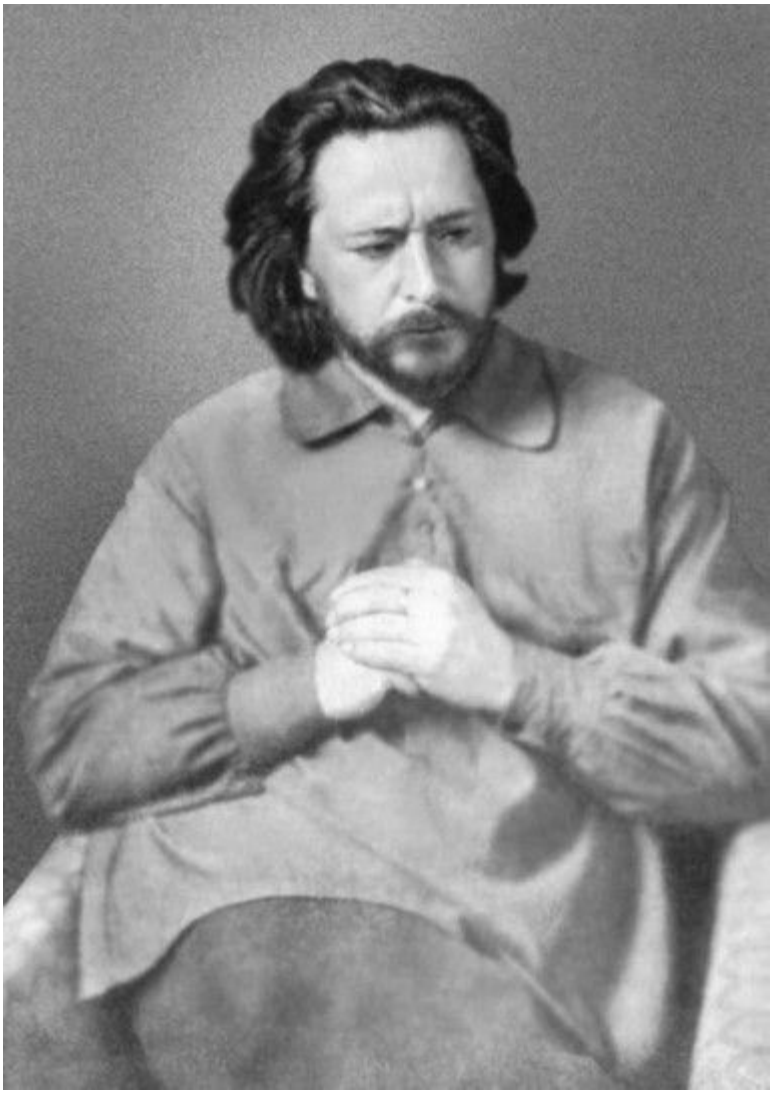
Каток начала XX века. Кадр из документального фильма «Ариадна» о Ларисе Рейснер. 1989



Лариса – гимназистка. Петербург. 1910



Владимир Львович Бурцев



Леонид Андреев



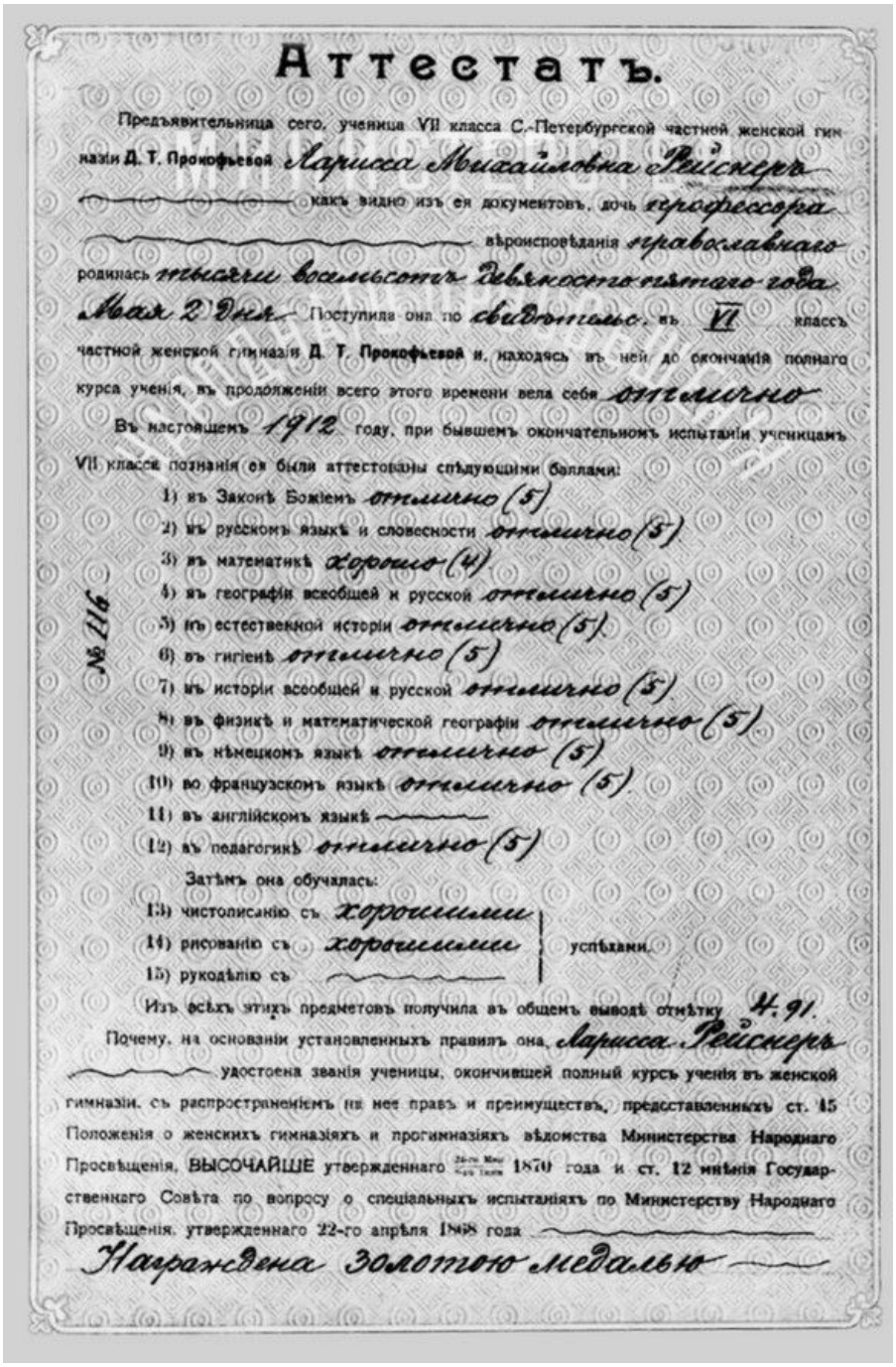
Дача: Леонида Андреева на Черной речке



Совместные маневры авиации и конницы. Фото начала XX в.



Лидия Зверева среди авиаторов-петербуржцев. 1911



Аттестатъ.

Предъявительница сего, ученица VII класса С.-Петербургской частной женской гимназіи Д. Т. Прокофьевой Лариса Михайловна Рейснеръ, какъ видно изъ ея документовъ, дочь профессора, вѣроисповѣданія православнаго, родилась тысячи восьмисотъ девяносто пятаго года Мая 2 дня. Поступила она по свидѣтельству въ VI классъ частной женской гимназіи Д. Т. Прокофьевой и, находясь въ ней до окончанія полнаго курса ученія, въ продолженіи всего этого времени вела себя отлично.

Въ настоящемъ 1912 году, при бывшемъ окончательномъ испытаніи ученицамъ VII класса познанія ея были аттестованы слѣдующими баллами:

№ 116

1) въ Законѣ Божіемъ отлично (5)
2) въ русскомъ языкѣ и словесности отлично (5)
3) въ математикѣ хорошо (4)
4) въ географіи всеобщей и русской отлично (5)
5) въ естественной исторіи отлично (5)
6) въ гигіенѣ отлично (5)
7) въ исторіи всеобщей и русской отлично (5)
8) въ физикѣ и математической географіи отлично (5)
9) въ нѣмецкомъ языкѣ отлично (5)
10) во французскомъ языкѣ отлично (5)
11) въ англійскомъ языкѣ —
12) въ педагогикѣ отлично (5)

Затѣмъ она обучалась:

13) чистописанію съ хорошими
14) рисованію съ хорошими
15) рукодѣлію съ —

успѣхами.

Изъ всѣхъ этихъ предметовъ получила въ общемъ выводѣ отмѣтку 4.91.

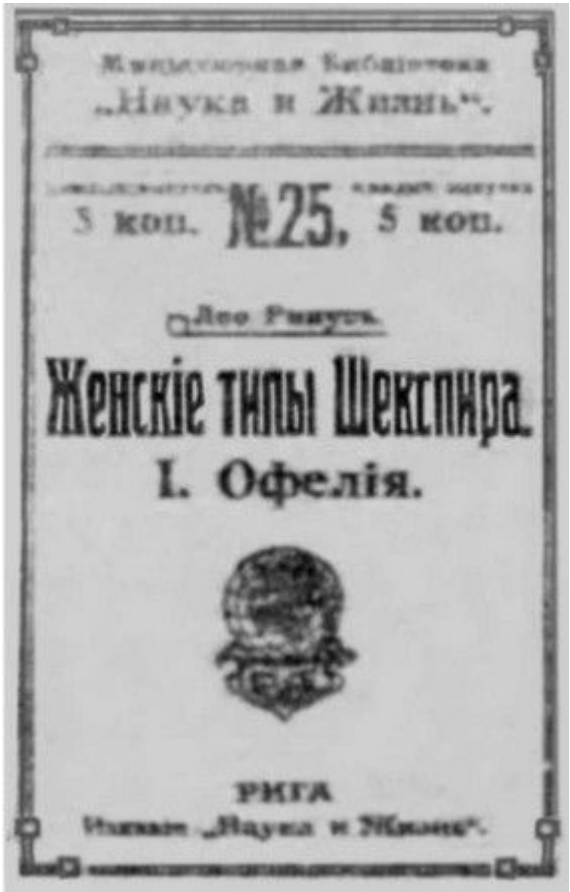
Почему, на основаніи установленныхъ правилъ она, Лариса Рейснеръ — удостоена званія ученицы, окончившей полный курсъ ученія въ женской гимназіи, съ распространеніемъ на нее правъ и преимуществъ, предоставленныхъ ст. 15 Положенія о женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 30-го Мая 1870 года и ст. 12 мнѣнія Государственнаго Совѣта по вопросу о спеціальныхъ испытаніяхъ по Министерству Народнаго Просвѣщенія, утвержденнаго 22-го апрѣля 1868 года —

Награждена золотою медалью —

Аттестат зрелости золотой медалистки Ларисы Рейснер, выданный Петербургской частной женской гимназией Д. Прокофьевой 7 мая 1912 года



Лариса Рейснер. Начало 1910-х гг.



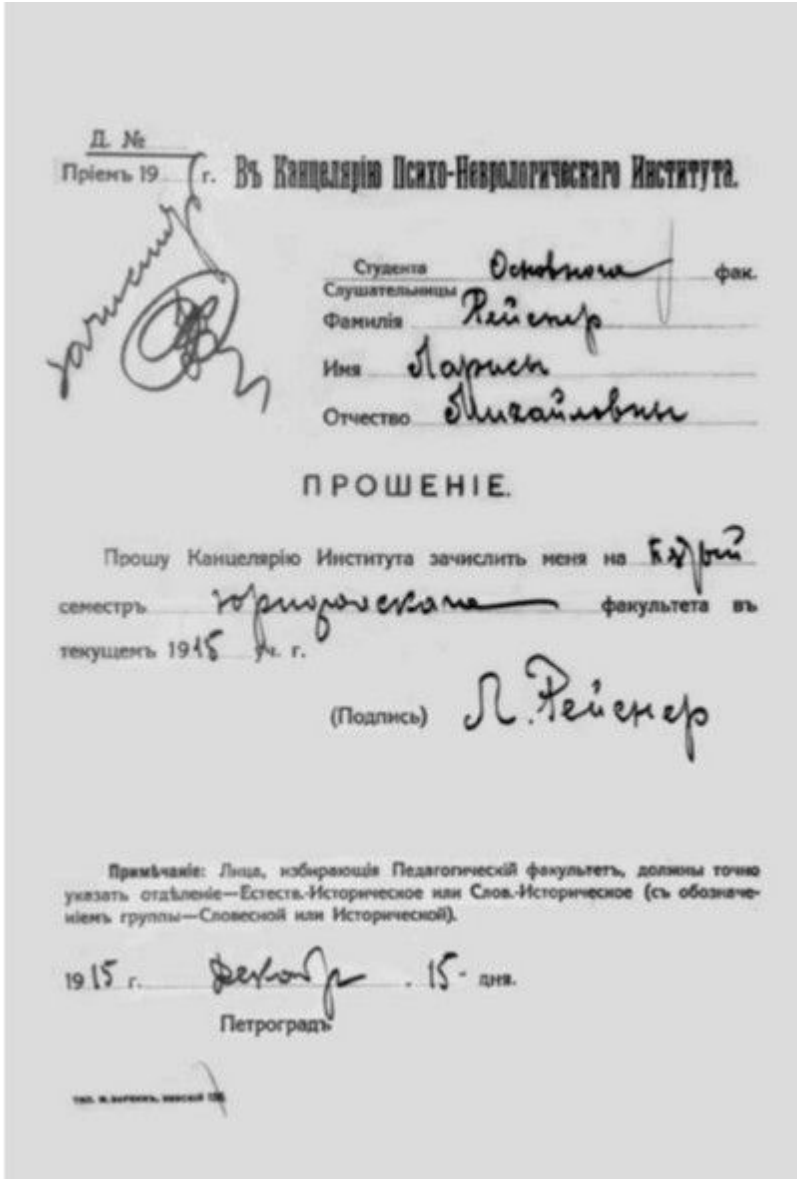
Первая книжка Л. Рейснер (псевдоним Лео Ринус) «Женские типы Шекспира». 1913



Обложка журнала «Рудин», издававшегося семьей Рейснеров в 1915–1916 годах



Альманах «Шиповник», где опубликована пьеса Л. Рейснер «Атлантида». 1913



Д. №

Пріемъ 19 г. Въ Канцелярію Психо-Неврологическаго Института.

Студента Основного фак.
Слушательницы
Фамилія Рейснер
Имя Лариса
Отчество Михайловна

ПРОШЕНІЕ.

Прошу Канцелярію Института зачислить меня на будущій семестръ юридическаго факультета въ текущемъ 1915 г. г.

(Подпись) Л. Рейснер

Примѣчаніе: Лица, избирающія Педагогическій факультетъ, должны точно указать отдѣленіе—Естеств.-Историческое или Слов.-Историческое (съ обозначеніемъ группы—Словесной или Исторической).

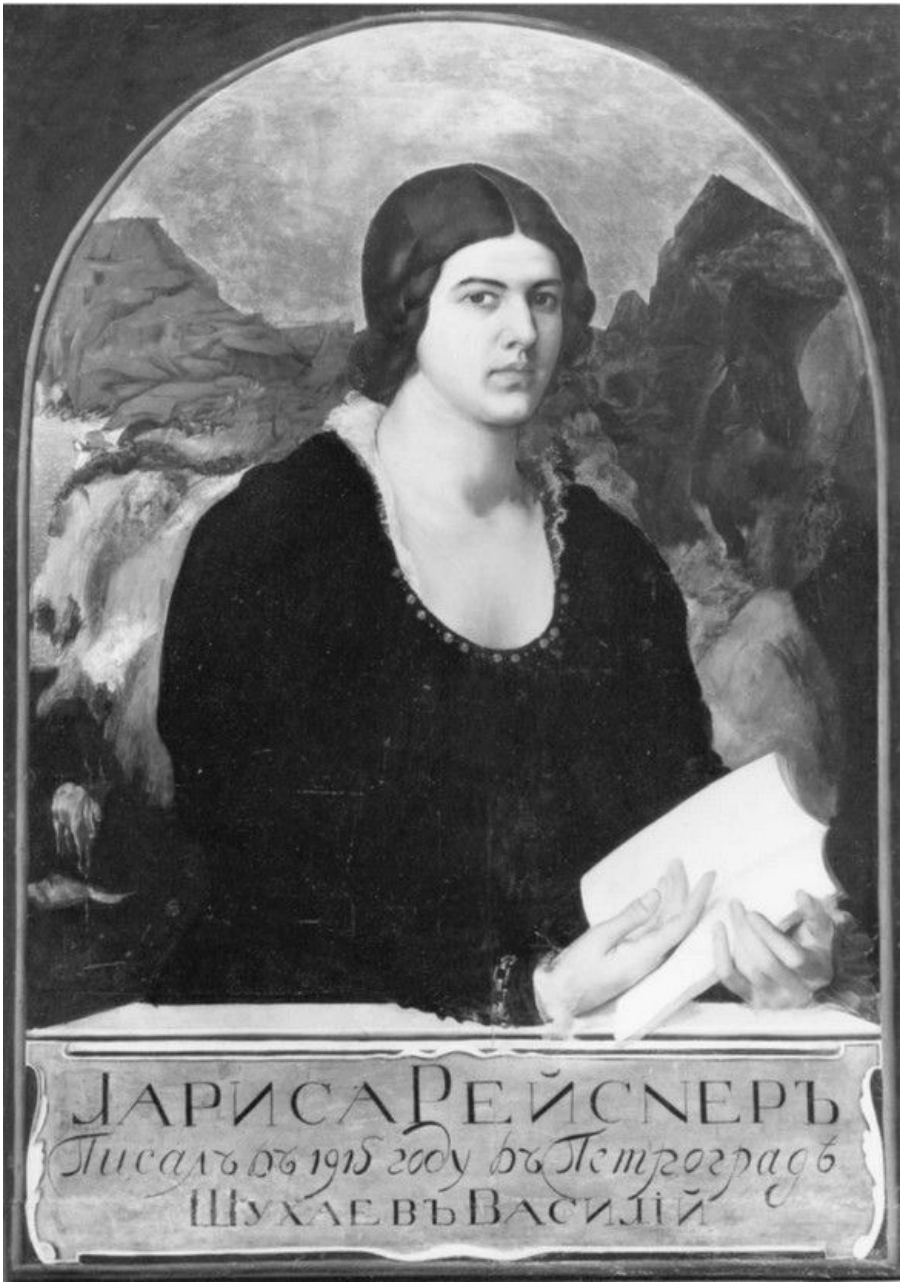
1915 г. декабря 15-го дня.

Петроградъ

Прошение студентки основного факультета Психоневрологического института Л. Рейснер о зачислении на юридический факультет. 1915



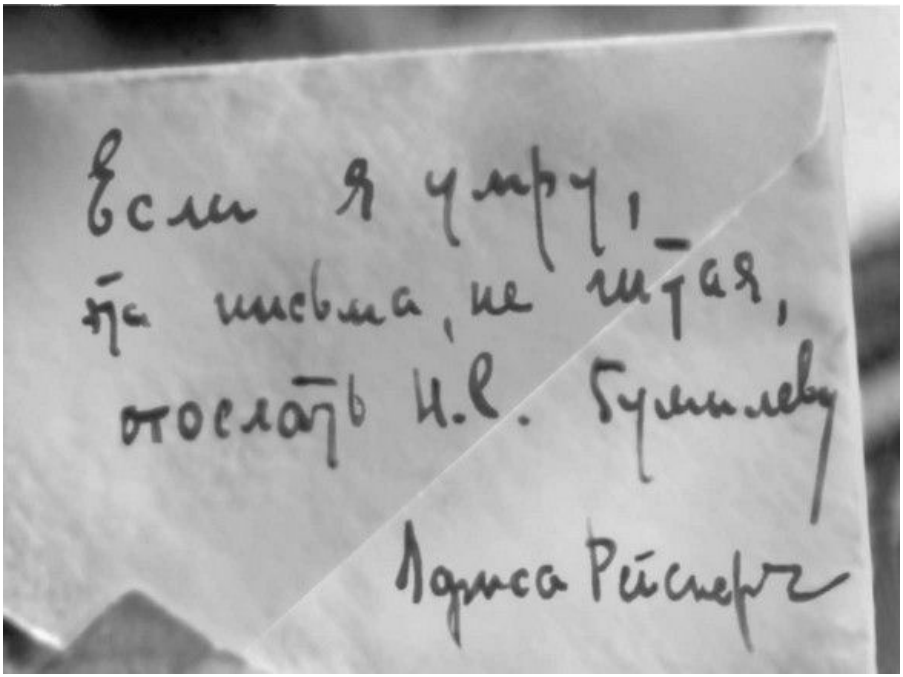
Среди гостей Ильи Репина: Л. Рейснер (в первом ряду слева), В. М. Бехтерев (в центре за столом), К. Чуковский (стоит в дверях), а также С. А. Венгеров, Н. И. Кульбин, С. О. Грузенберг и др.



Портрет Ларисы Рейснер работы В. Шухаева. Петроград. 1915



Николай Гумилёв. 1914



Надпись на конверте рукой Л. Рейснер: «Если я умру, эти письма, не читая, отослать Н. С. Гумилёву»



Акварельный портрет Ларисы Рейснер работы С. Чехонина



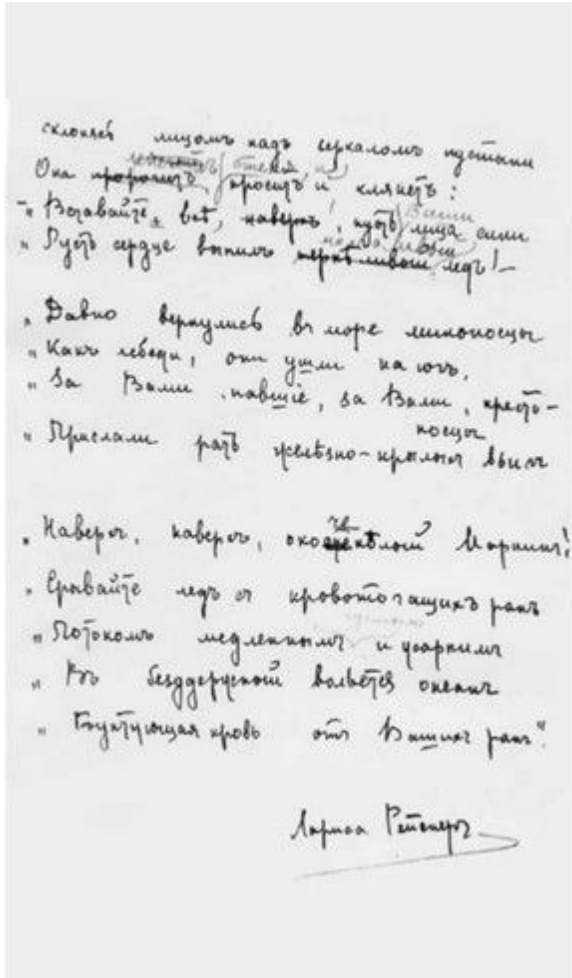
Лариса Рейснер на Волжском фронте в своем обычном наряде. Около 1919 г.



Федор Раскольников



Семья: Федора Раскольникова (справа налево): отец Федор Александрович Петров, священник петербургского Сергиевского собора, Федор (в будущем Раскольников), младший брат Александр (в будущем Ильин-Женевский), мать Антонина Васильевна Ильина



Автограф стихотворения Л. Рейснер «На гибель корабля „Ваня-коммунист“». 1918



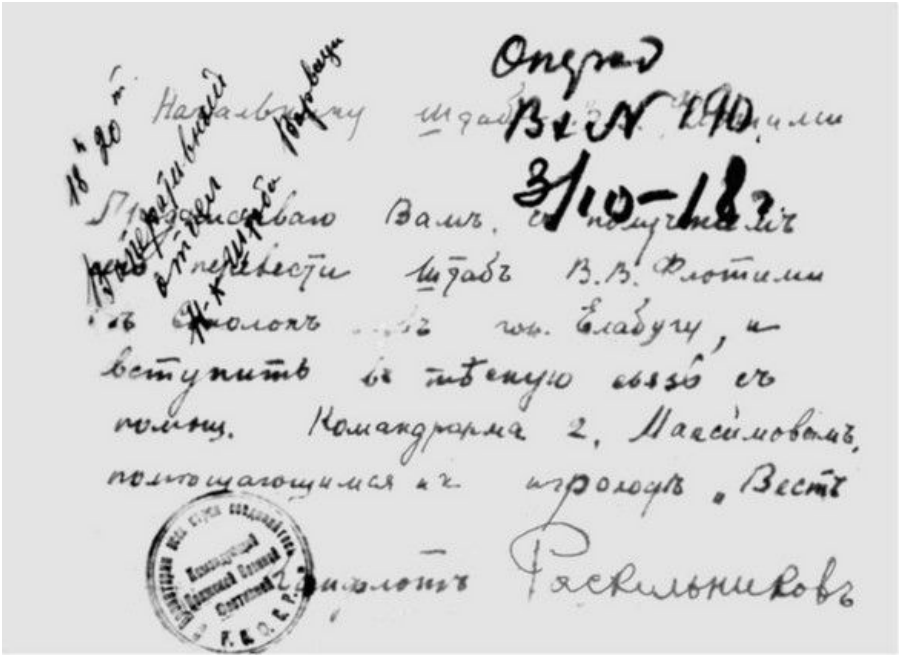
Николай Маркин, командующий канонерской лодкой «Ваня-коммунист», с племянницей



В команде «Вани-коммуниста» в 1918 году воевал Вс. Вишневский, автор пьесы «Оптимистическая трагедия»



Борис Пастернак: «Бреди же в глубь преданий, героиня…»



Приказ о переводе штаба Волжской военной флотилии из Соколок в Елабугу. Подписи: «Комфлот Раскольников. Флаг-секретарь Рейснер». 1918



Александр Блок



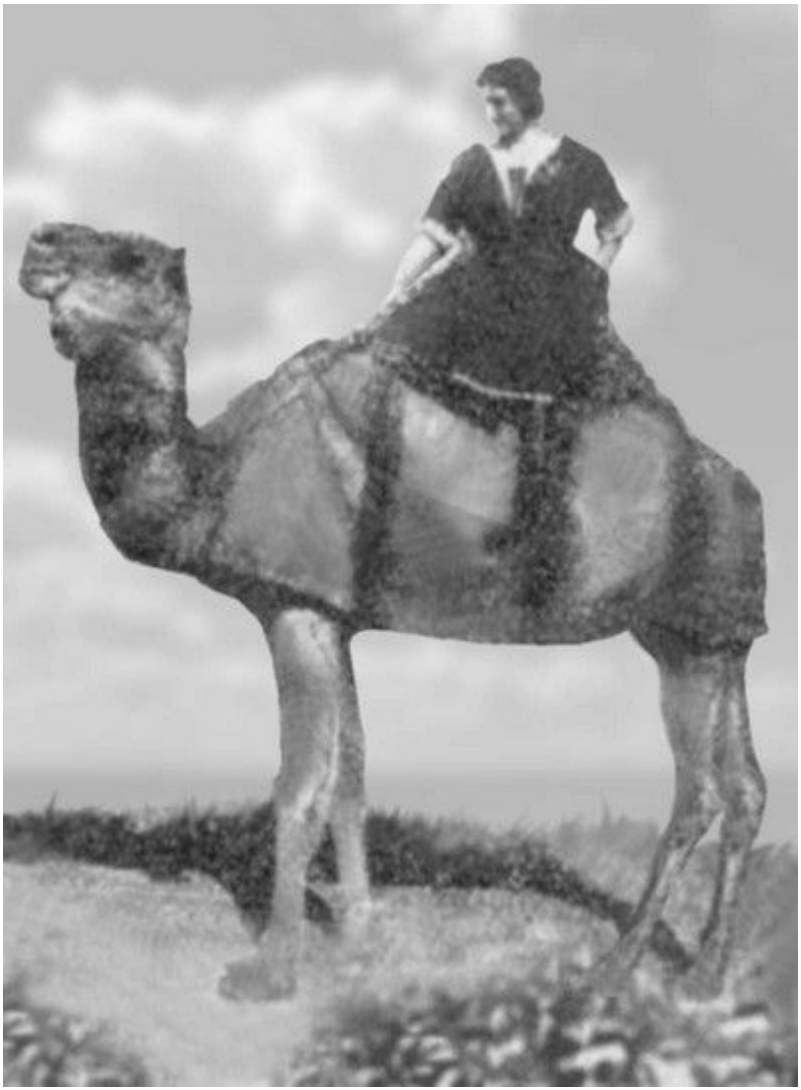
Лариса Рейснер на любимом коне Кречете



Акварельный портрет «поэтессы с бантом» Ирины Одоевцевой работы В. Милашевского



Одна из последних фотографий Николая Гумилёва



На афганской дороге



Лариса Рейснер (вторая слева) с французским послом и его женой (справа от нее). Фото из архива Л. Никулина, ЦГАЛИ



Лариса Рейснер (вторая слева) и сотрудники российского посольства на афганском Празднике независимости. 1922



Федор Раскольников (первый слева)и Лариса Рейснер в Афганистане. Фото из архива Л. Никулина, ЦГАЛИ



Обложка книги Ларисы Рейснер «Афганистан». 1925



Лариса Рейснер и Федор Раскольников на территории российского посольства в Афганистане



Лариса Рейснер правит свой очерк о полете над Россией



Лариса и ее названый брат Лев Михайлович Рейснер



С. С. С. Р.

Об'единенное
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
при
Совете Народных Комиссаров.

Апреля 29. дня 1924 г.

Удостоверение № 2914

Выдано гр. Рейснер Ларисе

, проживающему по Грановск

в доме № 3, на право ношения и хранения револьвера

Браунинг № 6.3548, винтовки

№ , холодного оружия

Действительно по 29 октяб. 1924 г.

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Действительно на всей территории СССР.

2. При перемене адреса сообщить в ОГПУ.

Нач. Информатура ОГПУ

Председатель ОГПУ

Удостоверение Ларисы Рейснер на право ношения и хранения оружия. 1924



Карл Радек с дочерью Соней



Обложка книги Ларисы Рейснер «Уголь, железо и живые люди». 1925



Л. М. Рейснер с А. И. Брадуловым, первым секретарем кустового парткома в Горловке. 31 августа 1924 г.



Лидия Сейфуллина



Лариса Рейснер. 1925



Лариса Рейснер (в центре) в Минске во время процесса селькора Лапицкого; его односельчане пришли в ее гостиничный номер



Лариса с братом Игорем. Висбаден. 1925



Открытка с видом санатория в Висбадене. Надпись рукой Игоря: «Здесь жила Л. М. летом 1925 г.»



На похоронах Ларисы Рейснер: слева Исаак Бабель поддерживает Карла Радека



Лариса Михайловна Рейснер скончалась 9 февраля 1926 года



Открытие памятника Л. М. Рейснер на Ваганьковском кладбище. Выступает рейснеровед А. И. Наумова. Москва. 5 мая 1964 г.



Моряки на открытии памятника Л. М. Рейснер



Лариса Рейснер: «Мы слишком современники нашей эпохи, чтобы понимать, какую ценность для будущего имеют… ее очевидцы, неподкупные свидетели ее страданий, героизма, грязи, нищеты и величия»

notes

Примечания

1

Впервые доклад был прочитан 13 ноября 1908 года в Религиозно-философском обществе по поводу «Исповеди» Горького. 12 декабря А. Блок повторил доклад в Литературном обществе под названием «Обожествление народа в литературе» (которое было дано устроителем

2

В то время имя Лариса писали с удвоенной «с». – Прим. ред.

3

Составлена автором книги.